

# МИНУВШЕЕ



# ***МИНУВШЕЕ***

**ИСТОРИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ**



**ATHENEUM**

---

**Editorial board: Jean Bonamour, Elda Garetto, John Malmstad,  
Richard Pipes, Marc Raeff, Dmitri Segal**

**Editor: Vladimir Alloy**

---

**Copyright by Atheneum, 1989**

**All rights reserved**

**Publisher: Atheneum, 10 bis, rue Duhesme, 75018 Paris  
Printed in France**

**ISBN 2-906141-12-X**

**На первой странице обложки воспроизведены фотографии А.Ахматовой (1958, справа — Н.Пунина, слева — А.Каминская); О.В. Ивинской (1958); А.М. Горького (1933, справа — А.В. Храбровицкий и А.Б. Халатов); Б.Л. Пастернака (1948); автографы М.И. Цветаевой и А.М. Ремизова.**

***ВОСПОМИНАНИЯ***



## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НИНЫ ПЕТРОВСКОЙ

Публикация Э.Гарэтто

Настоящая публикация объединяет два различных материала: воспоминания Н.И. Петровской о Брюсове и эпохе русского символизма<sup>1</sup> и ее письма к О.И. Ресневич-Синьорелли<sup>2</sup>. И мемуары, и переписка приходятся на берлинский период жизни Петровской (1922-1926), последовавший за почти девятилетним пребыванием в Италии и предшествовавший ее переезду в Париж. В приложении даются ее письма к Ю.И. Айхенвальду<sup>3</sup>, отправленные из Парижа в 1927 — начале 1928 г. и свидетельствующие о последних месяцах жизни Петровской, почти до момента ее самоубийства.

Автор писем и мемуаров, Нина Ивановна Петровская (1884-1928) — писательница<sup>4</sup>, переводчица, жена и помощница Сергея Алексеевича Соколова (Кречетова), владельца издательства «Гриф» и редактора одноименного альманаха, — была широко известна в кругах московских символистов первого десятилетия XX века.

Участница кружка «аргонавтов», близкая подруга Андрея Белого, вдохновительница брюсовского сборника «Stephanos» и героиня его же «Огненного ангела», женщина, ставшая причиной разрыва между двумя писателями<sup>5</sup>, «покорительница» поэтов всех возрастов, истеричка, нарко-

---

<sup>1</sup> Отрывки из этих воспоминаний опубликованы в кн. *ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ*. «Литературное наследство», 1976, т.85, с.775-789.

<sup>2</sup> Ольга Ивановна Ресневич (в замужестве Синьорелли, 1883-1973) — переводчик, популяризатор русской культуры в Италии. О ней см. «Минувшее», т.5, 1988, с.167-168.

<sup>3</sup> Юлий Исаевич Айхенвальд (1872-1928) — критик, переводчик. После высылки из России в 1922, жил в Берлине, где сотрудничал в журнале «Новая русская книга» и в газете «Руль» (под псевдонимом Б.Каменецкий). Был одним из организаторов Русского Научного института и Клуба Писателей.

<sup>4</sup> Автор рассказов, эссе, фельетонов, рецензий. Сотрудничала в альманахе «Гриф», в журналах «Весы», «Перевал», «Русская Мысль», в газетах «Московская газета», «Утро России». Выпустила сборник рассказов *SANCTUS AMOR* (1908).

<sup>5</sup> Об этом и о контексте их взаимоотношений см. прекрасную (см. след. стр.)

манка, алкоголичка, сгусток всех крайностей своего времени, — и одновременно существо незащищенное, без достаточной внутренней силы, — такой портрет «Грифихи» дают свидетельства очевидцев и документы эпохи начала века. Но пройдет совсем немного времени и имя Нины Петровской будет почти забыто. В автобиографических материалах Брюсова она практически не упоминается. Единственным свидетельством их многолетних отношений, помимо художественного образа Ренаты из «Огненного ангела», является богатейшая переписка Петровской с Брюсовым<sup>6</sup>. Точно так же ее личные отношения с А.Белым остаются почти целиком за рамками берлинской редакции «Воспоминаний о Блоке»<sup>7</sup>, а в книге «Начало века»<sup>8</sup> Белый расчленяет ее образ на два: «официальной» Нины Петровской и Н\*\*\*\*.

Вне всякого сомнения, наиболее ярким свидетельством о судьбе «Ренаты» остаются мемуары В.Ф. Ходасевича<sup>10</sup>, дружба которого с Петровской началась, когда поэт сотрудничал в «Гриффе». Написанные всего через два месяца после ее самоубийства, мемуары Ходасевича восстанавливают картину жизни Петровской, в том числе период ее «добровольного изгнания», т.е. после окончательного отъезда из России в 1911 г. Ходасевич приводит и некоторые сведения из писем Петровской (он был едва ли не единственным из старых знакомых, с кем она не порывала отношений до самого конца) относительно ее скитаний и полной превратностей жизни в Италии, и в частности в Риме, в годы Первой мировой войны.

Следующий период открывается в письмах Петровской к Ольге Ивановне Синьорелли (1919-1925 гг.). Часть из них охватывает последнее время пребывания Петровской в Риме, но большинство касается ее берлинской жизни.

Хотя документальных свидетельств о точной дате и обстоятельствах знакомства Петровской с Ольгой Синьорелли нет, можно с большой до-

---

статью С.С. Гречишкина и А.С. Лаврова *БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ РОМАНА БРЮСОВА «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ»*. — «Wiener Slavistischer Almanach», 1978, Band 1, S.79-107; Band 2, S.73-96.

<sup>6</sup> Переписка Брюсова и Петровской за 1903-1911 гг. хранится в ЦГАЛИ, ф. 376, оп.1, ед. хр.4; ф.56, оп.1, ед. хр.95; ГБЛ, ф.386.72.12 и 386.98.18-22; ИМЛИ, ф.13, оп.3, ед. хр.38, 39, 105 — и является не только свидетельством их личных отношений, но также ценнейшим источником сведений о литературной деятельности Брюсова. Отрывки ее опубликованы в «Литературном наследстве», т.85, с.789-797. В письме к С.А. Соколову от 9.05.1911 Брюсов оговорил условия опубликования переписки с Петровской (ЦГАЛИ, ф.56, оп.3, ед. хр.4-925, л.5): он требует, чтобы письма не печатались до истечения десятилетнего срока по смерти корреспондентов и чтобы в случае публикации этим занималась особая комиссия в составе К.Бальмонта, С.А. Полякова, С.М. Соловьева и А.Белого.

<sup>7</sup> «Эпопея», №1-4, Берлин, 1922-1923.

<sup>8</sup> М.-Л., 1933.

<sup>9</sup> Дополнительные подробности об отношениях Белого и Петровской см. в: А.Белый. «Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора» (1923). — ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед. хр.3. Отдельные цитаты из Материала приводятся в вышеуказанной статье Гречишкина и Лаврова.

<sup>10</sup> *НЕКРОПОЛЬ*. Брюссель, 1939, с.7-25; 40-41; 68-72; 91-92.



лей вероятности предположить, что оно состоялось в римском Русском центре<sup>11</sup>, вокруг которого объединялись многие русские эмигранты. По необычайно теплому тону, с которым Петровская обращается к своей корреспондентке, и по некоторым замечаниям в тексте писем, можно заключить, что Синьорелли неоднократно помогала ей в последние годы ее римской жизни. Многие детали подтверждают, что Петровская в это время отошла от литературной деятельности, почти не поддерживала связи с представителями русской интеллигенции в Риме и жила в крайней нужде<sup>12</sup>. Исключительно бедственное положение заставило ее заняться черной работой. Позднее, в письме к Горькому, она, в частности, замечает: «За 9 лет жизни без гроша в кармане я узнала там быт и людей и такие положения, которые никому и не снились в золотые дни символизма»<sup>13</sup>. Дополнительные сведения о годах, проведенных в Риме, впрочем, весьма смутные и неопределенные, можно почерпнуть из римских очерков-фельетонов и кратких путевых заметок об Италии, которые Петровская впоследствии опубликовала в берлинской газете «Накануне»<sup>14</sup>.

В ее итальянских письмах из архива Синьорелли ничего не говорится о намерении переехать в Берлин, однако понять причины, побудившие ее к этому переезду, нетрудно: немецкая столица, превратившаяся к тому времени в крупный русскоязычный издательский и культурный центр, своего рода «вольную территорию» между послереволюционной Россией и Западом, представлялась ей как спасение, как драгоценная возможность возвращения к литературной жизни.

В сентябре 1922 года Петровская уже в Берлине. Здесь она вновь встречается с Белым, Ходасевичем, со многими старыми знакомыми, одни из которых эмигрировали бесповоротно, другие — только что высланы из России, третьи — пребывают в состоянии нерешительности и ожидания. Письма подробно освещают деятельность Петровской в первые месяцы ее пребывания в Берлине, ее работу в сменовеховской газете «Накануне», выходившей под литературной редакцией Толстого, где она печатает статьи, воспоминания, рецензии, фельетоны, эссе. Из них мы узнаем о первых ее контактах с Горьким и с крупными издательствами, о многочисленных планах переводов с итальянского, о ее сотрудничестве с Толстым в подготовке отдельных переводов и изданий. Среди них — антология итальянской современной прозы, которая должна была выйти при содействии О. Синьорелли. Работа над антологией становится одним из центральных мотивов всей переписки.

<sup>11</sup> При Центре была открыта знаменитая Гоголевская библиотека. Там в 1920-е годы образовался женский кооператив, где Петровская некоторое время работала.

<sup>12</sup> См. по этому поводу справку о ней в «Русской книге», 1921, №2, с.28, где говорится, что Петровская не занимается литературной работой, а в качестве ее адреса приводится Русский центр в Риме. См. также письмо Н.Петровской из Рима к А.С. Яценко от 12.6.1921, опубликованное в кн.: Л.Флейшман, Р.Хьюз, О.Раевская-Хьюз. *РУССКИЙ БЕРЛИН. 1921-1923*. Париж, 1983, с.229-231.

<sup>13</sup> Архив Горького, КГ-П-57-6-8.

<sup>14</sup> См. об этом упомянутую ст. С.С. Гречишкина и А.С. Лаврова. — «Wiener Slavistischer Almanach», 1978, Band 2, S.95.

Первые шаги Петровской в Берлине подтверждают ее стремление восстановить связи с Россией, открыть себе путь к скорейшему возвращению на родину, хотя в этом следует видеть, как она сама говорит в одном из писем, «соображения более материальные, чем идеологические». Тем не менее, это решение и само сотрудничество в «Накануне» обострили ее отношения с представителями русской колонии Берлина; расхождение с ними отчетливо проявляется в ядовитых высказываниях, в беспощадных суждениях Петровской о внутренних эмигрантских распрях, в растущем чувстве одиночества, в неспособности и сознательном отказе слиться с окружающей средой.

Возвращение А.Н. Толстого в СССР в середине 1923 г. лишает Петровскую главной опоры, попытка «распутаться с эмигрантскими издательствами» — ставит в полную зависимость от газеты «Накануне», толкает на поиск прямого сотрудничества с советскими издательскими учреждениями. Стремительное и резкое ухудшение обстоятельств, которые способствовали возникновению «Русского Берлина», осложняет условия жизни и работы. Литературная деятельность становится все больше и больше единственным материальным источником существования. Напряженный ритм, в котором Петровская вынуждена работать, приводит к увеличению проходных, незначущих статей, часто под псевдонимом. В письмах к О.Синьорелли, отменному знатоку итальянской литературы и известной переводчице, звучат непрерывные просьбы о присылке все новых материалов. Петровская переводит огромное число произведений, по большей части так и оставшихся неизданными. Летом 1924 г., с закрытием газеты «Накануне», положение становится по-настоящему безвыходным. Опять, как и в Риме, начинаются трудности с квартирными хозяевами, житейские нужды мало-помалу оттесняют все остальное. Решение вернуться в Россию уже не столь твердо, возникает мысль вновь переехать в Италию, но отчаянная бедность не позволяет Петровской даже мечтать об исполнении этого намерения. К тому же, в связи с трудностями, возникшими при подготовке к печати антологии итальянской прозы, портятся и ее отношения с О.Синьорелли. Переписка их прекращается осенью 1925 г.

Хотя объективность высказываний Петровской часто страдает от чувства раздражения и неприязни (в той или иной степени это свойственно многим свидетельствам той поры), — письма к О.Синьорелли остаются богатейшим источником сведений как о судьбе самой Петровской, так и о жизни русских писателей (например, А.Белого), о деятельности берлинских издательств, особенно в период заката «Русского Берлина». С безнадежной ясностью создает она картину распада эмигрантской колонии, закрытия органов печати, опустения города, отъезда многих знакомых<sup>15</sup>.

В переписке с О.Синьорелли Петровская предстает во всей трагичности своей человеческой судьбы. Многие мемуаристы упоминают о беспросветной нужде, в которой она живет эти годы, о ее сломленности,

---

<sup>15</sup> Об этом она пишет также в статье *ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЕРЛИН. ИТОГИ*. — «Накануне», №50, 29 февраля 1924.

запущенном быте, пьянстве<sup>16</sup>. Эта же сломленность чувствуется и в словах самой Петровской о том, что пора «эффектных жестов» прошла, что осталось самое трудное — достойно «замкнуть круг жизни». Письма к Синьорелли позволяют восстановить психологический фон, на котором Петровская создает свои воспоминания.

Последние годы жизни в Берлине она, главным образом, посвящает бесплодным попыткам опубликовать мемуары. Интересный документальный материал об этом содержится в ее письмах к Горькому (1925 — начало 1927 г.) и в переписке самого Горького с различными корреспондентами<sup>17</sup>, из которой ясно видно желание писателя помочь Петровской, заинтересованное участие в ее судьбе. По-видимому, Горький имел возможность ознакомиться с текстом воспоминаний Петровской.

<sup>16</sup> См. например: Н.Берберова. *КУРСИВ МОЙ*. Н.-Й., 1983, с.194; Р. Гуль. *Я УНЕС РОССИЮ*. Н.-Й., 1984, с.206-212.

<sup>17</sup> В архиве Горького хранятся девять писем к нему Нины Петровской, написанных с конца 1924 г. до начала 1927 г. (КГ-П-57-6-1/9). Впервые Петровская обращается к нему 23 ноября 1924 г.: «*.../ Простите, что врываюсь к Вам — может быть не вовремя — я ведь знаю, что Вы больны! С фантастической надеждой на спасение я стучалась эти дни, буквально умирая с голода, во многие двери, и не за подавнием, а просто работы /.../. В Россию не обещают скорого отъезда. Была у меня надежда на мою книгу "Воспоминаний", собственно о Брюсове и эпохе с ним связанной, личных и литературно-общественных. Давно вела переговоры с [Книгоиздатель]ством "Петрополис" /.../» (АГ, КГ-П-57-6-1). Горький сразу отзывается на просьбу и пишет из Сорренто М.Ф. Андреевой: «Нина Ивановна Петровская, жена поэта Соколова-Кречетова, и долголетняя подруга В.Я. Брюсова, ныне умирает с голоду, в буквальном, не преувеличенном смысле этого понятия. Человек она очень битый и трепаный, человек прикосновенный к литературе, написала книгу своих воспоминаний о Брюсове — вероятно, эта книга будет единственным "добрым", что скажут о нем. Знает несколько языков. Не можем ли мы дать ей какую-либо работу? Женщина достойна помощи и внимания. Затем: у нее паспорт Временного правительства: она выехала из России в 9-ом году, до 22-ого жила в Италии и там поменяла свой царский паспорт на княжеский князя Львова и с этим паспортом в Россию не пустят, а советского ей не дают. Нельзя ли уговорить Н.Н. Крестинского [в это время полпред РСФСР в Берлине. — Публ.] легализовать ее, Н.П.? Тогда бы она поехала в Москву, где, может быть, и не так скоро помрет с голода». (Письмо без даты [1924], Пф-рл-2а-1-59).*

Из письма Петровской от 28 декабря 1924 г. (АГ, КГ-П-57-6-2) узнаем о предложении Горького, пока без результата, печатать «Воспоминания» в «Беседе». По поводу этой возможности С.Г. Каплун, издатель «Беседы», сообщает Горькому 5 января 1925 г.: «Петровской я заплачу половину гонорара и с ней снесусь. Как только получу рукопись, pošлю ее Вам» (АГ, КГ-П-34-7-23). И снова — 16 января: «Нине Петровской я деньги заплатил, хотя рукописи от нее не получил. Обещала доставить через несколько дней» (АГ, КГ-П-34-7-24). 28 января Каплун пишет М.И. Будберг, которая тоже, будучи в Берлине, стала хлопотать об издании «Воспоминаний» (см. КК-рл-2-20-18 и КГ-рзн-1-157-71): «Посылаю Алексею Максимовичу заказным письмом рукопись Нины Петровской».

В связи с закрытием «Беседы» планы публикации «Воспоминаний» вновь рушатся. Тогда к Горькому обращается В.Ф. Ходасевич с просьбой помочь Петровской чисто материально: «Вы неосторожно заикнулись о какой-то прибавке к "Беседе". Если она будет, напишите Каплуну, в то же время мне. Хотя я думаю, что не будет. Очевидно, во-1-ых, что она [Петровская. — Публ.] (см. след. стр.)

Экземпляр, на основе которого делается настоящая публикация, был передан в Москву Е.В. Галлоп-Ремпель, которая жила в Берлине в те же годы, что и Петровская. Обстоятельства, связанные с получением рукописи воспоминаний (правда, хронологически несколько противоречащие вышеприведенным фактам), Галлоп-Ремпель излагает в своего рода предисловии, где она дает и портрет Нины Петровской<sup>18</sup>:

еще не знает о конце "Беседы". Во-2-ых, вот что: если помните, Вы хотели ей помочь, под видом прибавки за воспоминания о Брюсове, и написали Крючкову, чтобы он дал денег Каплуноу для передачи Петровской под этим соусом. Это было около 20 марта!! К 10 апреля выяснилось, что Крючков денег не дал, и Вы вторично ему написали. Как видите, и это ни к чему не привело. Если Вы захотите ей помочь — пошлите просто от себя, из Сорренто. Адрес ее новый: Frau Nina Sokoloff. Baureuterstrasse 3, Pension Ewald, Berlin. Крючков, конечно, денег не даст никогда, это ясно. Я бы, право, не писал Вам об этом, если б не та беда, что человек был обнадежен. Голодному это тяжелее, чем голодать просто». (Письмо от 25 мая 1925 г.; АГ, КГ-П-83-8-40). В письме к А.Н. Тихонову от 9 августа 1925 г. Горький рекомендует «Воспоминания» для «Русского современника» (см.: *ГОРЬКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. 1953-1957*. М., 1959, с.51). 30 июля 1926 г. Петровская пишет Горькому: «Мне остались две надежды: одна, скоро получить, наконец, паспорт (только с помощью Вашего удостоверения), и другая: продать "Воспоминания" в Москве». (АГ, КГ-П-57-6-5). Она обращается к нему повторно 2 сентября 1926 г.: «Глубокоуважаемый и дорогой А.М., пишу Вам буквально в агонии. У меня расхворалась сестра, иссякли все ресурсы, нет никакой работы, денег из Москвы не шлют, мою комнату в пансионе через неделю сдают и много-много есть другого, и перед всем этим я стою, "как преступник перед казни". Около месяца назад в день большого отчаяния я решила, пока не поздно, все это радикально изменить. Словом, я решила переселиться в Париж, где для сестры будет хотя один плюс, — климат. О России врачи и думать не позволяют. Ехать на зиму, почти раздетыми, без надежды скоро устроиться под крышей — и это человеку с легочной болезнью. На лит[ературную] работу или переводную я в Париже почти не рассчитываю. Но жила же я в Риме ручным трудом пять лет, в этой области я умею многое и меня не огорчит никакая, — пусть даже грубая работа. Даже этого здесь нельзя найти, а в белогвардейские учреждения я пойти не могу, Вы это сами понимаете. И /.../ вот, — в субботу (через неделю) истекает срок визам. Снова надо за них платить. Это хотя и немного, но когда нет ничего... Если я не заплачу в пансионе, — тоже в субботу должна его оставить. Конечно, очень часто в таких случаях люди уже никого не беспокоят и тихонько ликвидируются. Но мне лично это трудно, потому что я не одна. На Париж у меня есть другая и утешительная надежда: там у меня есть друзья, семья, — два человека, 18 лет переселившиеся во Францию, далекие всяким общественным событиям и своим и чужим. Живут они в городке под Парижем, и сестра могла бы у них отдохнуть и подышать хотя месяца два. /.../ В Париже я возьмусь за всякую работу и еще напишу вторую книгу, на этот раз об Италии, в своем роде "Мои университеты"». (АГ, ПГ-П-57-6-8). 4 сентября Горький поручает П.П. Крючкову дать Петровской денег (ПГ-рл-21а-1-93). В письме, отправленном из Берлина 17 февраля 1927 г., Петровская сообщает Горькому, что последний раз пытается уехать в Париж, и просит «помочь последний раз». (ПГ-П-57-6-9).

<sup>18</sup> Биографических сведений о Е.В. Галлоп-Ремпель обнаружить не удалось. В литературном приложении газеты «Накануне» от 1 октября 1922 г. (номер посвящен Горькому) была напечатана ее заметка *ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО*. Выдержки из предисловия Галлоп-Ремпель приводятся в статье С.С. Гречишкина и А.С. Лаврова — «Wiener Slavistischer Almanach», 1978, Band, 2, S.89.

Нина Ивановна Петровская интереснейшая представительница эпохи символизма, участница его возникновения и развития, свидетельница его падения, жертва этой эпохи и ее же обвинительница, потому что ее записи — настоящий обвинительный акт. Эпоха была краткая, яркая и содержательная. Рядом с нарастающей бурей революции /.../ шла другая жизнь — богоискательства, суеверий, распутства, утонченного эстетизма и совершенно истинного служения искусству в пустом пространстве. Революция была задушена на время, символизм погиб навсегда.

В те годы я встречалась с Н.И. Петровской, блестящей, талантливой, умной... Мы встречались очень редко, обменивались десятком колких любезностей, и, при всем взаимном уважении и интересе друг к другу, расставались, чтобы не поссориться. Дело в том, что я была среди тех, кто готовился к революции, а она среди тех, кто готовился не больше не меньше, как к светопреставлению. /.../

В 1911 г. Нина Ивановна после разрыва с Брюсовым уехала в Италию, чтобы никогда не возвращаться больше в Москву. В 1924 я встретила ее в Берлине. В опустившейся, старой, больной, нищей женщине трудно было узнать сразу блестящую хозяйку модного литературного салона. Но через несколько минут разговора я уже узнала ее. Она не представляется мне ни бедной, ни нищей, ни истрепанной голодом и наркотиками. Больше того, я видела ее в состоянии полного опьянения, выражавшегося в самых неприемлемых формах, и все же она остается в памяти сильной духом, ясно мыслящей, вполне сохранившей внутреннее достоинство.

К эмигрантам она не пристала. Работала в сменовеховской газете «Накануне», делала переводы для советских издательств, предпочитала голод и нищету там, где она могла бы сравнительно легко устроиться, покрывив душой. Я застала ее на краю гибели, когда хочешь не хочешь, а надо выбирать между медлительной смертью от голода и быстрой от яда. Мне удалось уговорить ее пока отказаться от самоубийства и принять мою помощь, взамен которой она напишет для меня свои воспоминания о той эпохе, которая казалась ей баснословной, а мне — пиром во время чумы.

За четыре года посильной поддержки она вознаградила меня полностью и с излишком. Если был бы в нашей стране человек, на котором целиком отразилась целая эпоха с самого начала ее возникновения и вплоть до ее полного крушения, так это была именно Петровская. Ей пришлось наложить на себя руки, как пришлось это сделать и одному великому, которому тоже жить стало нечем.

После моего возвращения в СССР Петровская, оставшись без всякой поддержки, очутилась буквально на улице, потом в одном из благотворительных учреждений Армии спасения. Ее по-

следние отчаянные письма дошли до меня уже после ее трагической смерти.

/.../ В моем распоряжении имеются ее последние письма и богатый запас сообщенных мне фактов, касающихся как ее лично, так и ее современников<sup>19</sup>.

\*\*

Текст воспоминаний, который мы публикуем, возможно, не соответствует полному варианту, задуманному автором, но, тем не менее, может рассматриваться как самостоятельное, завершённое произведение.

В записках Нины Петровской события литературной Москвы 1903-1905 гг., портреты известных и малоизвестных писателей переплетаются со сложной судьбой самого автора, тесно связанной с жизненным и творческим путем таких крупных художников, как Белый и Брюсов. Множество новых сведений о возникновении издательства «Гриф», о его сотрудниках, об отношениях между деятелями русского символизма — обогащают картину литературной эпохи живыми деталями, и даже если они не добавляют существенных элементов к истории символизма, то в целом «Воспоминания» Петровской позволяют ощутить атмосферу тех лет и того круга, в котором она жила.

Несомненный интерес мемуаров и в том, что слово в них предоставлено третьему, хотя и не столь крупному, действующему лицу в истории сложных взаимоотношений Брюсова и Белого. С самого начала ясно авторское стремление выступить не просто свидетелем, а непосредственным участником событий, сыгравших значительную роль в русской культуре начала века. С этой точки зрения пристрастность записок, их подчеркнутая «субъективность» — не только не портят их, но вносят дополнительный элемент живости и занимательности. Следует учесть и еще одно обстоятельство, позволяющее лучше понять точку зрения автора. Без сомнения, Петровскую побудило к писанию мемуаров русское окружение в Берлине и, в первую очередь, присутствие там Белого, встречи с ним, публикация его «Воспоминаний о Блоке», воссоздававших эпоху начала века, а затем и окончательный разрыв с Белым, отъезд его в Россию и наконец смерть Брюсова. Все это заставляет Петровскую постоянно возвращаться к прошедшему. Годы символизма, несмотря на их невозвратность, остаются единственным живым воспоминанием, за которое она может ухватиться в своей нынешней тягостной жизни. В то же самое время работа над мемуарами и их предполагаемое издание являются последней возможностью выжить, а может быть и вернуться в Россию. Отсюда двойственность отношения Петровской к прошлому — взгляд как бы со стороны и, одновременно, попытка воскресить то драгоценное, что заключено для нее в ушедшей эпохе. Именно поэтому, откликаясь на «Воспоминания о Блоке», она возражает Белому на его истолкование аргонавтизма, отстаивает искренность тех, кто верил в него, возлагает

---

<sup>19</sup> ЦГАЛИ, ф.376, оп.1, ед. хр. 3, лл.1-1 об.

на самого Белого вину за «развенчание тайн», обвиняя его в лжепророчестве. Отсюда же стремление Петровской утвердить центральное, ключевое место Брюсова в поэзии русского символизма — и это именно в те годы, когда, растратив запас творческой энергии, все более превращаясь в советского литературного чиновника, он становится мишенью для критики своих бывших спутников, в том числе и Белого, возродившего в своих мемуарах образ «мага-заклинателя». Петровская отстаивает иной, свой образ Брюсова — одинокого благородного творца судеб символизма, ставившего поэзию выше всего, стоически обрекавшего себя на жертву, на почти полное одиночество, вынуждаемого всеобщим непониманием к тому, чтобы постоянно скрывать душу под маской жреца и мэтра. Петровская явно гордится тем, что была одной из очень немногих, кто понимал «настоящего» Брюсова и видел его в редкие минуты без маски. Он остается центральной фигурой воспоминаний, и всюду предстает прежде всего как поэт, крупнейший деятель символизма. Но рядом с этим «парадным» портретом возникают картины частной жизни писателя, его влечений и привязанностей. При этом, останавливаясь на бытовых подробностях, Петровская опять полемизирует с Белым, давая совершенно иную трактовку образу Брюсова. Даже брюсовская страсть к спиритизму и карточной игре предстает у нее лишь как оборотная сторона все той же высокой поэтической сущности, и это резко отделяет Брюсова от всех остальных персонажей воспоминаний — Кречетова, аргонатов, и самого А.Белого. В личности последнего Петровская как бы по контрасту с брюсовской цельностью, — выделяет вечные метания, внутренние противоречия, странности характера и поведения Белого, стремясь, по-видимому, показать эфемерность его «тайноведения» и соблазнительность его «лжепророчеств».

В тексте отсутствуют наиболее острые подробности отношений с Брюсовым и Белым, о которых упоминают многочисленные мемуаристы. Вообще в трактовке событий ее личной жизни заметно стремление Петровской к умолчанию некоторых эпизодов. Это можно объяснить тем, что «Воспоминания» подвергались переработке в связи с попытками их публикации, и Петровская намеревалась представить окончательный «официальный» их вариант для издания в Москве. Подтверждением этому может служить, в частности, тот факт, что в рукописном варианте, хранящемся в ЦГАЛИ, многие места, связанные с личными взаимоотношениями, просто вычеркнуты.

Язык «Воспоминаний» отличается необычайной живостью описаний, которая, впрочем, в некоторых местах нарушается избытком интроспекции и отрицательного «самолюбования», в нем чувствуются порой отголоски того «странного языка девятисотых годов», о котором пишет Ходасевич. Но в целом «Воспоминания» несомненно выявляют ту оригинальность наблюдения и стиля, которые отмечал у Петровской Брюсов<sup>20</sup>.

••

<sup>20</sup> Письмо от 11 декабря 1908. ЦГАЛИ, ф.376, оп.1, ед. хр. 4, лл.57-57 об. (цит. в предисловии к Воспоминаниям. — «Литературное наследство», т.85, с.773).

Воспоминания публикуются здесь полностью, включая отрывки, уже вышедшие в «Литературном наследстве», последние выделены квадратными скобками и отмечены в примечаниях.

В публикации учтены все три редакции, хранящиеся в ЦГАЛИ (черновой автограф, машинописный автограф — ф.376, оп.1, ед.хр.2, и второй машинописный вариант — редакция Галлоп-Ремпель с ее предисловием, ф.376, оп.1, ед.хр.3). Они отличаются между собой некоторыми различиями, пропусками и, главным образом, перестановками разных частей текста; в наибольшей степени это относится к части, посвященной Брюсову, которая несомненно подвергалась многочисленным переработкам<sup>21</sup>. Мы придерживались в основном 1-й машинописной редакции и прибегали к редакции Галлоп-Ремпель и к некоторым перестановкам лишь в тех случаях, когда их необходимость мотивировалась, с одной стороны, отсутствием четкого порядка в оригиналах, а с другой — требованиями большей ясности. Это относится к части, посвященной Брюсову.

Письма к О.И. Ресневич-Синьорелли хранятся без номеров в фонде Синьорелли в Венеции. В настоящую публикацию не включено шесть писем.

Письма к Ю.И. Айхенвальду хранятся в ЦГАЛИ, ф.1175, оп.2, ед.хр.140, 8 лл.

---

<sup>21</sup> К третьей редакции воспоминаний присоединено также письмо от 28 октября 1936 г. на именном бланке В.Д. Бонч-Бруевича, гл. редактора сборников «Звенья», в Государственный Литературный Музей, директором которого был все тот же Бонч-Бруевич. Письмо подписано секретарем редакции сборников «Звенья»: «Вследствие того, что "Воспоминания" Нины Петровской о Брюсове и других идут в соответствующем томе Вашей "Летописи", при сем препровождаю два машинописных экземпляра этих воспоминаний для приобщения к Брюсовскому фонду. Секретарь редакции сб. "Звенья" [подпись неразборчива]» (оп.1, ед.хр.3, л.1д).



# ВОСПОМИНАНИЯ

## ПРЕДИСЛОВИЕ<sup>1</sup>

Я не эмигрантка и в книге «Воспоминания» хочу подчеркнуть это перед читателями с первых строк.

9-ого ноября 1911 я выехала из России, из Москвы, с твердым решением остаться за границей навсегда<sup>2</sup>. Мотивы сложные и чисто интимные привели меня к этому решению.

Войну и годы революции я провела почти безвыездно в Риме. Воспоминания пережитой эпохи остались в моей памяти неприкосновенными, ничем не искаженными, не подмененными в перспективах наслоением русских событий.

Людей, о которых я рассказываю, за небольшим исключением, никогда я больше не видала и, наверно, не увижу. Образы их, может быть, неузнаваемые сейчас, или мертвые, — запечатлены в моем сердце прежними.

Выпуская эту книгу, я обхожу одно из этических литературных правил прошлого — но ждать исполнения десятилетия после смерти последних из упомянутых в моих «Воспоминаниях» лиц — мне кажется абсурдом.

Русская современность слишком молниеносно изменила все ритмы и темпы жизни общественной, литературной и личной.

Отражение на этих страницах эпохи отошедшей во времени, но органически связанной с настоящим звеньями преемственной культуры, интересно именно сейчас, когда слышится столько молодых самоуверенных голосов, отрицающих ее преемственное значение.

Предлагаемая книга написана мною в уединении, через 12 лет после отъезда из России. В ней очерки и заметки разных периодов. Память, хранящая в своих темных изгибах все, увы! скудно возвращает, «едва ли десятую часть».

Эти последние слова, взятые из стихотворения Валерия Брюсова, да будут мне оправданием в допущении мелких неточностей дат, в опущении стертых временем диалогов и проч.

*Нина Петровская*

1903 г. — Возникновение К[нигоиздательств]а «Гриф».  
В. Брюсов. К. Бальмонт. А. Белый. Плеяда молодых.  
Итоги первого года.

[Помнится, приблизительно за год до возникновения книгоиздательства «Гриф», у меня необычайно обострилось томление по жизни, горькая тоска существования, где ничто не вызревает и не завершается, где каждый день с утра очеркивается сознанием ненужности, а вечером сводится к нулю, к пустоте, к небытию.]<sup>3</sup> Не хотелось писать, потому что не было литературных связей, и я не знала, кто стал бы меня печатать, — не хотелось даже и жить, потому что все встречи с людьми оказывались ничтожными и напрасными. И дни мои проходили точно под нелепым стеклянным колпаком, откуда мало-помалу выкачивают воздух.

Помню нашу квартиру на Знаменке, в Москве<sup>4</sup>, словно нарочито несуразную, ничем не одухотворенную, бесстильную, с башнеобразными комнатами-тупиками. Диваны, кресла, столы, «модерн» дурного вкуса, купленные без любви к вещам. Тонконогие лампы под шелковыми юбками уныло торчали, словно в мебельной лавке. Я, впрочем, никогда не умела полюбить своего жилища, ни тогда, ни потом, в многолетних скитаниях по Европе.

Дух бродяжничества живет во мне от рождения; я ненавижу скопление бесполезных предметов, всякого рода «имущества», не служащего малым насущным потребностям человека.

Но обывательски-комнатный быт тогдашней русской жизни буржуазных кругов и в частности этой моей с моим бывшим мужем Сергеем Кречетовым<sup>5</sup> пригвоздили меня (правда, не надолго) к этому своеобразному домашнему гнезду.

Помню необычайно пышные закаты и медленные умирания их на причудливой башенке Румянцевского Музея.

Суровые тени залегали в нелепых тупиках за мебелью. В столовой пристойно погромыхивала посуда, приготавливались какие-нибудь очержденные яства, кого-то ждали или было нужно, — вернее сказать, совсем не нужно, — куда-то собираться.

Странная пустыньность тяготела над моею жизнью. Вероятно где-то так же томились близкие мне по муке небытия, — но как было докричаться до них, как разузнать в толпе те лица, которым было суждено потом неизгладимо врезаться в пейзаж моего личного существования.

Иногда мне казалось: вот, уйду в сумерках, потону в оснеженных переулках, и где-то там, под одиноким тоскующим фонарем, под нависающими льдом ветвями, — встречу... кого... — не

знаю... Что будет за встречей... — тоже не знаю. Ах, пусть все что угодно, но только не это!

[Читала тогда много с инстинктивным, но глубоко тенденциозным выбором. Прежде всего шли оккультные книги, потом французские символисты, русские — Минский, Мережковский, Гиппиус, все вышедшие сборники Брюсова, Бальмонта, «Мир Искусства», «Северные цветы» и т.д.

Вся новая русская литературная проповедь, осмеянная растлителем мысли критиком Акимом Вольтинским<sup>6</sup>, была мне известна от доски до доски. И все, обусловившее художественный стиль целого поколения, было мне близко органически, но реальное бытие этих больших писателей представлялось легендой о башне из слоновой кости, где мало и званых и избранных. Первым из тех недоступных, державших в руках ключи подлинной жизни и подлинной литературы той русской эпохи, томил мою мечту Брюсов.

Маленькие сборники его «Chefs d'Oeuvres» и «Me eum esse», — потом пышное «Urbi et Orbi» стали для меня символом моей новой веры. Их брали иногда с полок и этажерок наши гости, выложенные мумиеподобные адвокаты и прокуроры и их вертлявые жены в бриллиантах; элегантнейшие артиллерийские офицеры (сослуживцы Кречетова по отбыванию воинской повинности), целкая шпорами, непрочь были тоже поболтать о литературе. До них, очевидно, как-то досочилась ядовитая слюна Акима Вольтинского и слово «декадент» — смешное, пошлое и крикливое, ни в чем Брюсова не выражающее, — как бумажный хвостик, прицепилось к краю его багряницы.

Офицеры, адвокаты, разжиренные спекулянты, модные актеры и т.п. — вся эта нечисть, питавшаяся гноем эпохи перед 1905 годом, так и была уверена, что Брюсов ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах!.. Слово «Метрополь» вызывало немедленно приятнейшую ассоциацию пышного раззолоченного кабака, и едва ли кто-нибудь из них знал, что на заднем дворе этого сладостного «Метрополя» в двух маленьких комнатках уютится настоящий русский литературный Олимп<sup>7</sup>, где куется самая утонченная наша культура. Кто знал тогда имена Ив[ана] Коневского, Добролюбова, Балтрушайтиса, тех самых верных соратников Брюсова, и самоотверженного издателя «Скорпиона», «Весов» и «Северных цветов» — Сергея Полякова, в прекраснейших переводах познакомившего публику с избранными образцами скандинавской литературы<sup>8</sup>. Кто их знал?]<sup>9</sup>

За несколько лет до возникновения К-ва «Гриф», еще в зеленой юности, мне пришлось встретиться с Брюсовым, — тогда автором только первых сборников, — в доме известной спиритки и одной из основательниц журнала «Ребус»<sup>10</sup> — А.И. Бобровой.

А.И. Боброва, вся на страже потусторонних, одной ей слышных зовов, поминутно куда-то отлучалась, кто-то собирался читать очередной реферат.

И вот он появился, — в воспетом поэтами двух поколений глухо застегнутом черном сюртуке, нездешний такой и такой земной, преувеличенно корректный, светский. Совершенно не гармонируя со всем обликом, «острым как меч», из-под углевых черных дуг, сурово сросшихся на переносье, сияли золотисто-черные, совсем «собачьи» глаза. Жующие, сонно булькающие чаем с лимоном, старики и старушки съезжились точно от сквозняка, заморгали совиными глазами, зашуршали, зашелестели, подняли головы. А.И.[Боброва] почему-то поспешно увела его в свой кабинет (она считала Брюсова сильным медиумом) и, верно, нашлось у них о чем поговорить. И почему-то тоже ушла я, не выслушав реферата, с огорченным сердцем. Я могла бы процитировать ему наизусть два его сборника целиком, а он на меня взглянул мельком, как на стену.

Мы встретились снова только через годы и иначе...

Очень трудно человеку стать однажды большим, еще больше того быть большим всегда, но прожить жизнь маленьким — ничего не стоит. В минуты обостренной внутренней раздвоенности мучила меня случайность, приблизительность, ничем не оправданная ненужность изживаемой жизни. Тогда только шуршали в руках страницы обещающих книг, и может быть, еще смутно, но уже вызревали идеи подлинной жизни, — любви, подвига, смерти. А обывательски-комнатное брало свое, сонно укачивало, влекло по инерции, — конечно, не вперед, а в постоянные «куда-то» с маскарадными переодеваниями.

Театры, улицы, карты, сиденье за столами, ломящимися от еды, которой и есть-то никому не хотелось, ликеры, вина, фрукты, цветы, сборища нарядных и тщательно замаскированных людей. Полу-мысли, полу-слова, полу-чувства, — вся эта разукрашенная на краю бездны пошлость тогдашней русской жизни являлась базисом не только одного моего существования.

Но не пойму я теперь, как среди всего этого бездарного времяпрепровождения интеллигентских кругов встретились, — нашли друг друга мы, действительно жаждущие друг друга!

Проследить шаг за шагом, как это произошло, — я теперь не сумею, но где-то, и часто в самых неожиданных местах, стали встречаться «величины» мало объясненные, или совсем не принятые издательством «Скорпион».

Вынырнул некий Ланг-Миропольский<sup>11</sup>, — личный, но не литературный друг В. Брюсова, — его полу-тайный сотоварищ и медиум (В. Брюсов, повторяю, в прошлом был убежденным спиритом), Виктор Гофман<sup>12</sup>, тогда еще совсем юноша, внезапно отмеченный Валерием Брюсовым и так же внезапно им отлученный от себя; скитавшийся довольно неудачно по всем литературным станам А. Рославлев<sup>13</sup>. Изредка еще высывал острую умную мордочку из-за гимназической парты В. Ходасевич. Встречался начинающий беллетрист Пантюхов<sup>14</sup>, горько влюбленный в «Скорпион», третирующий все вне его, но тоже не нашедший там полного гостеприимства; зароились и совершенно безымянные мрачно-эстетизирующие гимназисты в синих очках с пышными шевелюрами, и разутюженные чистенькие юноши с орхидеями и туберозами.

С. Кречетов, будущий редактор К-ва «Гриф», очевидно, влек их импонирующей внешностью, любовью к пышным фразам, умением при случае блеснуть ораторскими способностями и, вообще, явной своей приверженностью к так называемому «декадентству». Это слово вошло тогда в употребление повсюду, судилось вкривь и вкось и одним своим боком даже въезжало в улично-популярное нищезанство, но у Кречетова оказался соперник, — не помню его фамилии, — какой-то прыщеватый молодой человек в фантастическом ярком галстуке. Он претендовал на редакторский трон в намечающемся журнале, где должны были процвести непризнанные и полупризнанные таланты, и вел себя крайне развязно<sup>15</sup>.

Но будущему издателю «Грифа» не пришлось прикладывать никаких усилий, чтобы прыщеватый молодой человек провалился в люк, как театральный призрак, с толпой вознегодовавших гимназистов. Название журнала «Маяк», предложенное им, было осмеяно, а избранники перебрались к нам и плотно осели в гостеприимных башнях на Знаменке.

Магически испарились офицеры, адвокаты и прокуроры с их дамами (они распустили потом о нас по Москве самые двусмысленные слухи, поговаривали о черных мессах, афинских ночах, о каких-то «ритуальных празднествах»). Одна актриса и фарс, знающая мужа, умоляла его: «Пустите посмотреть хоть разочек, я буду делать, что все, и никому не расскажу!»).

У С.Кречетова, кроме всех указанных его преимуществ, было одно и главное: не считая подмосковного «угодья», 40 тысяч рублей остались после продажи владимирского имения и ждали наилучшего употребления.

Наступило очень веселое время. Эстетствующее полубарство удачно и довольно красиво задрапировалось в потертый плащ литературной богемы. Творческий энтузиазм тех лет, где бы и как бы он ни проявлялся — первые шаги к прочной славе деятелей, заложивших основание последующей культуры, — зачатие подлинного европейства в искусстве, которым главным образом мы обязаны В.Брюсову, — конечно все это останется одной из сильнейших и красивейших страниц нашей литературной Истории. И если я позволяю себе говорить о К-ве «Гриф» иногда в тоне добродушно юмористическом, то только потому, что оно, в частности, никаких новых течений не выявило, *своего* слова не сказало, а так и осталось эстетически-барственной затеей в духе времени, стучанием в открытые уже двери. «Бросить перчатку» Брюсову было, конечно, намерением очень по тем временам воинственным, но это сделать издатель «Грифа» мог, только подняв свое собственное знамя с начертанным новым лозунгом, пусть безумным, но новым. И так решено было на общем собрании основать не журнал, а издательство, серия которого открывалась бы Альманахом.

«Маяк» был осмеян, но как же его назвать? Какое-то крылатое, лапчатое, когтистое чудовище возникло в коллективном воображении. Ну «Гриф»! Конечно, «Гриф», но имена В.Гофмана, Рославлева, Пантюхова, А.Курсинского<sup>16</sup>, самого редактора под псевдонимом Сергей Кречетов, Ланга-Миропольского, как и мое имя, тогда совершенно неизвестное, — явно были недостаточны для нового начинания. Требовался «премьер», хоть один из трех китов для фундамента. Уже ходили слухи, что В.Брюсов к нам относится насмешливо, даже недоброжелательно, а сотрудники «Знания», кроме Л.Андреева и Б.Зайцева, нарушили бы совершенно программу.

Зайцев, несмотря на личную дружбу, при первом же намеке отказался наотрез, а Андреев, — если бы даже дал вещицу величиной с куриный нос, медвежьей лапой своей задавил бы остальных. Да и нужен был премьер-поэт, а не прозаик. Оставалось надеяться только на Бальмонта. Причудливый капризник, самодержавно разрешающий все идейные и практические затруднения, органический житель вершин и потому не подчиняющийся никаким декретам с «Олимпа», — почему он откажется выступить в приятной роли «мэтра»? Гриф его наметил и скоро взял «мертвой хва-

ткой». Но все же некоторое время нам пришлось потоптаться как стаду без вожака.

На Знаменке читалось много стихов, выпивалось много вина. Весь дом, что называется, «встал вверх дном». Соседи жаловались домохозяйину на вечный ночной шум.

Помню Виктора Гофмана тех дней, помню, как он читал:

Не хочу умереть молодым,  
На заре соблазнительных грез,  
Не упившись всем счастьем земным,  
Не сорвавши всех жизненных роз...

ровно за десять лет до своей трагической смерти!<sup>17</sup>

И никто бы не сказал тогда, любуясь его горячими вишневыми глазами и задорной белозубой улыбкой, что ничего ему не будет отпущено кроме шипов в короткий срок смятой и придавленной жизни.

Начинающий беллетрист — студент М.Пантюхов, тоже трагически погибший<sup>18</sup>, бледный старообразный блондин — давил тяжестью грузного крупного тела и почти смущал напряженностью свинцового буравящего взгляда. Он мало говорил и мало же писал. Напечатал несколько рассказов и выпустил повесть «Старик и тишина» — очень характерное для эпохи произведение. Пантюхов был несомненно талантлив, но все, что он говорил и писал, носило уже тогда явные признаки психического разложения.

Александр Курсинский — прекрасный переводчик польских поэтов, человек достаточно образованный — в творчестве индивидуальном оказался круглым нулем<sup>19</sup>.

Болезненно самолюбивый, до крайности обидчивый, с какой-то неприятно преувеличенной складкой «польского изгнанника» (хотя никогда им не был), — насквозь проеденный до смешного утрированным «бальмонтизмом» — за свое пребывание в «Гриф» он всем страшно надоел. Маленьким ростом и духом он проходил сквозь жизнь, словно на цыпочках.

Две строчки его стихотворения врезались мне в память, как неповторимый курьер: «Я безумец, я поэт! / Для меня закона нет!». При этом говорил «безумэц», «нэт».

Уютный, добродушный Ланг-Миропольский, соучастник тайных спиритических действий В.Брюсова, поблескивая глазами и размахивая граблеобразными руками, любил рассказывать всевозможные потусторонние небылицы<sup>20</sup>. Как поэт он просто не существовал, но был одарен довольно тонким пониманием искусства и очень приятен в общении.

Длинноволосый А. Рославлев, похожий на орангутанга, налитый до краев водкой, живущий буквально как птица в воздухе, — у него, кажется, даже не было постоянного жилища, — человек с неким литературным прошлым (провинциальный газетчик), пришел поэтом с определенными устремлениями, но было непонятно, какими корнями питается дарование в этом некультурном, оторванном от всех корней существе его.

Иногда он мне казался пустым сосудом — чувствительным проводником самому ему непонятных идей. Появлялся Рославлев неизвестно откуда и, серый, бесследно таял в рассветной мгле за углом Румянцевского музея. Впрочем, так приходит и исчезать тенью было тогда в моде.

Самым дорогим другом из этой плеяды «молодых» на всю жизнь без единого туманного пятнышка, остался для меня А. Койранский<sup>21</sup>. Тогда он кончал Креймановскую гимназию, тогда же обещал многое, но впоследствии не сдержал ни одного обещания. Рассказы его, всегда слишком проникнутые личным, — горькой лирикой бесприютной души, рассеялись по случайным альманахам и канули навеки в бумажную пучину, — также и стихи. Портреты куда-то свалились с голых стен его ателье у Храма Спасителя, и больше их никто не видал. Полное отсутствие честолюбия было его отличительной чертой. Полжизни он проводил в скитаниях, чуть не пешком по Европе, одно время выдвинулся (тоже совершенно об этом не заботясь), как журналист.

Жизнь не дала ему ни одного мгновенья счастья. «Сашу» любили все, чужие и свои, так и звали, шутя, — «Саша радость наша». Но, умея быть радостью других, горче полыни он был для самого себя. Сейчас Койранский живет в Канаде, один, тоскующий, больной. Портрета его я не берусь набросать — только разве глаза — прелестные, голубые, прозрачные, но мертвенно застывшие как два кусочка январского льда.

Среди наших доморощенных талантов — он, насквозь пропитанный наследием самой утонченной европейской культуры, часто казался иностранцем. Сблизила нас лично, быть может с первых же шагов, самая маленькая общая психологическая подробность нашей внутренней структуры — нелюбовь к предметам, к вещам. Их у него было всего даже меньше, чем у меня сейчас!

Но возвращаюсь к событиям.

С. Кречетов познакомился с Бальмонтом на каком-то вечере в Литературно-Художественном кружке. В передаче впечатлений вообще очень сдержанный, на мою просьбу рассказать, какой Бальмонт, только буркнул: «Увидишь сама. Он скоро придет». Ожидала я этой встречи с благоговейным трепетом. И вот од-



нажды часа в три предвесеннего дня раздался очень нетерпеливый, тревожный, совсем необычный звонок. Невысокий господин, с острой рыжей бородкой и незначительным лицом, не похожий на портрет Бальмонта, показался мне совсем незнакомым. «Я Бальмонт!» — сказал он и быстро сбросил пальто. Верно, растерянно потопталась я в прихожей, прежде чем догадалась пригласить гостя в кабинет.

Он вошел, беглым прищуренным взглядом скользнул по стенам, потом, оглядев меня с головы до ног, сказал:

«Вы мне нравитесь, я хочу Вам читать стихи. Только стойте»...

Он стоял посреди комнаты точь-в-точь в той же позе, как на ехидном портрете Серова, краснея рубиновым кончиком носа, вызывающе выдвинув нижнюю губу, буравя блестящими зелеными остриями маленьких глазок. Петух или попугай.

«Спустите шторы... зажгите лампу...»

Спустила, зажгла.

«Теперь принесите коньяку...»

Принесла.

«Теперь закройте дверь».

Не заперла, но плотно затворила.

«Теперь... (он сел в кресло) встаньте на колени и слушайте»...

Я двигалась совершенно под гипнозом. Было странно, чего-то даже стыдно, но встала и на колени.

В первый раз в его чтении зазвучали убедительной силой вкрадчиво, соблазнительно то безнадежно печальные, то не договаривающие чего-то самого главного, то шуршащие, как камыши, то звенящие, как весенние ручья, — пленительные строфы. Рая, волнуя, мучая, радуя.

Будем как солнце всегда-молодое  
Нежно ласкать огневые цветы.  
Счастлив ли? Будь же счастливее вдвое,  
Будь воплощеньем внезапной мечты.

Читать Бальмонта одно, слушать совершенно другое. Он читал с вызовом, разбрасывая слова, своеобразно ломая ритм, в паузах нервно шурша листочками записной книжки (с ней он не расставался), крепко закусывая нижнюю губу необыкновенно острым белым клыком.

Пауза — и опять звенящие, рвущиеся нити, шуршание крыльев, журчание весенних ручьев. Через мою голову время от времени рука поэта тянулась к рюмке. Я, сохраняя неудобную позу, едва успевала ее наливать. И бутылка пустела...

Вернулся Кречетов, в недоумении посмотрел, протер пенсне, опять посмотрел и скромно присел на диван.

Цельность этого прекрасно-нелепого действия нарушилась, к тому же подошел час обеда. «Пойдем обедать, Бальмонт», — радушно пригласил Гриф.

Бальмонт посмотрел на него уничтожающим взглядом и залился фальцетным саркастическим смехом.

«Я хочу пить, а не есть! Пить... еще!» Он произносил «пть», забавно сглаживая гласную. Опять появился на подносе коньяк и кое-как мы перебрались в столовую. Что-то с одного, с другого блюда полетело на пол. В требовании *еще! пть* зазвучала уже угроза, змеиное шипение.

«Ах, тебе жалко!.. Тогда вот... монеты, позови прислугу!»

«Здесь не кабак, дорогой Бальмонт», — мягко, но решительно ответил Гриф. И тут *началось*...

Пришлось уйти и оставить Бальмонта наедине с самим собой. Мне не было ни жалко, ни грустно, ни противно. С того же первого дня мне уяснилось, что Бальмонт страдает самым обыкновенным раздвоением личности. В течение нашего долгого знакомства мне в этом пришлось убедиться окончательно. В нем было два духа, две личности, два человека: поэт с улыбкой и душой ребенка, подобный Верлену, и рычащее безобразное чудовище. Бальмонт — «одержимый», а вовсе не В. Брюсов, как это для красного словца утверждает З. Гиппиус<sup>22</sup>.

Он погасил электричество. Собравшиеся к вечеру «грифята», сжавшись в кучку, боязливо прислушивались к грохоту летящих стульев, к звону разбиваемых тарелок и буквально к зубовному скрежету бушующего чудовища.

Какая сила удержала его на несколько часов одного в темноте — не знаю. К часу ночи Бальмонт вышел сам без малейших следов пронесшегося шквала на лице и хотел, чтобы было «много стихов! Стихов!»

Читали все, талантливые и бездарные. А к трем часам ночи башенная гостиная превратилась в затихшую благоговейную аудиторию перед мэтром, который читал им свое завещание.

Тише, тише совлекайте с древних идиолов одежды,

Слишком долго Вы молились, не забудьте прошлый свет<sup>23</sup>.

Мудрый завет будущему поколению поэтов, увы, кажется, забытый сейчас.

И так Бальмонт стал постоянным гостем на Знаменке и, не боясь оппозиции «Скорпиона», заложил первый камень в наш фундамент<sup>24</sup>.

Гриф — крылатый, лапчатый, по рисунку художника М. Дурнова<sup>25</sup>, был искусными чьими-то руками вырезан из черного атласа, наклеен на желтый атласный же фон и преподнесен Бальмонту.

Но, а как же обойтись без Андрея Белого? Его маленькую книжку, четвертую «Драматическую симфонию»<sup>26</sup> читали в Москве нарасхват. Критики из «Русского Слова» улюлюкали. Публика ругала. Вот так произведение, где Вл. Соловьев путешествует по крышам в крылатке, где преподносятся такие перлы:

«Свод неба синий, скучный, с солнцем-глазом посреди...»<sup>27</sup>

Нас же поразила и ошеломила неслыханная новизна формы, образы и язык красок, в которые он их воплощал, обесмысливание всех эмпирических обликов во имя совершенно нового постижения жизни, разрыв со всеми унаследованными литературными традициями и, наконец, просто черты гениальности.

Кречетову А. Белый понадобился для эффекта, как уникам, как истинный раритет.

Проходили дни, а Белый все что-то не появлялся.

«Расскажите, какой он», — просила я, но рассказать никто не сумел. Увидела я его случайно.

В вестибюле Исторического музея, после чьей-то лекции, в стихии летящих с вешалок, ныряющих, плавающих шуб, словно на гребне волны, беспомощно носилась странная и прекрасная голова, голубовато-прозрачное лицо, нимб золотых рассыпавшихся волос вокруг непомерно высокого лба.

«Смотрите! Смотрите же, — толкнули меня в бок, — это Андрей Белый!»

Так я увидела в первый раз А. Белого, сражающегося с ужасами эмпирического мира. А он просто искал свою шубу... с вдохновенно-безумным лицом пророка.

Потом я отметила, что выражение его лица редко соответствовало совершаемому акту. Он пил из крохотной рюмочки шартрез с таким удивлением в синих (лучисто-огневых) глазах, точно хозяин предложил ему не простой ликер, а расплавленный закат; ходил по Арбату, направляясь в гости или на заседание в дневной толпе, точно по осиянной звездами пустыне или по дантовскому лесу, кишашему видимыми и невидимыми опасностями, то натываясь на людей среди бела дня, то странно озираясь, пряча голову в плечи, прижимаясь к стенам.

Таким он был тогда, когда я увидела его, высоко вознесенного потоком шуб, звериных шкур, таким полюбили его все «грифята» без исключения.

Андрей Белый дал для Альманаха стихи и для издательства третью симфонию «Возврат»<sup>28</sup>.

Грифский круг со временем очень расширился, среди него оказались те «аргонавты», о которых Белый то иронически, то нежно говорит в «Воспоминаниях о Блоке», и он пополнился еще пришедшими за самим же Андреем Белым.

Свое настроение и деятельность тех лет он называет теперь «левым соловьевством, настоящим на символизме»<sup>29</sup>. В то время Андрей Белый хотел «украсить обрядом мистерию», занимался проблемой елевзинских таинств и манил обещаниями, как самый настоящий жрец... Теперь, почти отрекаясь от самого себя тех лет, он говорит: «Лишь лозунг, что будущее какое-то будет, соединял нас в то время. "Аргонавтизм" оказался в годах проходным двором; в 1904 г. аргонавты, — столкнулись мы в нем; а теперь рассеяны по идеям, даже по странам»<sup>30</sup>.

Но это неверно. Аргонавтизм не оказался проходным двором, «простираение А.Белого к тайне, к братской мистерии» люди приняли слишком глубоко, и виноваты не они, если он не оправдал надежд. Сам же А.Белый в этом сознавался потом, говоря:

Распинайте меня, распинайте,  
Обманул я вас песней моей<sup>31</sup>.

«Братские мистерии», над которыми сколько угодно может смеяться современность, тогда, 20 лет тому назад, сыграли бы, быть может, роль катакомб, весьма нужных перед наступлением 1905 г. во всех смыслах.

Но в этот соблазн вовлекались не все. Для многих А.Белый был и остался лишь гениальным поэтом. Он воплощал собой — для каждого по-своему — его лучшую поэтическую мечту о «не-сказанном», мечту, которой жила вся литературная эпоха, все замкнувшее от мира в оранжереях и «башнях из слоновой кости».

Он пел — не читал, и не декламировал, — а именно пел:

Вы шумите. Табачная гарь  
Дымносиние стелет волокна.  
Золотой мой фонарь —  
Зажигает лучом ваши окна.

Это я в заревое стекло  
К вам стучусь в час вечерний  
Снеговое чело  
Разрывают, вонзаясь, иглы терний<sup>32</sup>.

И вдруг все начинало казаться грузным, инертным, бездушным, грешным.

Жемчужно-грустная заря  
Она одна твердит о чуде,

— написал мне на своем портрете А.Белый.

О каком чуде? — спрашиваю я сейчас... Не раз задавал мне потом этот же вопрос и В.Брюсов. Может быть, он один знал, как печально рассеется мечта о мистериях, и в классической своей позе — скрестив руки на груди, издали наблюдал. Помню я один вечер, угли дотлевали в печке, лицо А.Белого тоскующе пламенело в полутьме. Он говорил:

«Скоро, скоро наступят строгие, пышные дни...»

«А где же? А как же?» — спросила я полушепотом.

Представлялись белые, холодные залы, белые одежды, белые цветы, белыми слезами истекающие непорочные свечи, и мы, слиянные в таинстве служения новому Христу. Здесь и крылся самый тонкий, отравный соблазн: новым Христом я и некоторые считали самого Белого — «лжепророка», кот[орый] писал:

Проповедуя скорый конец  
Я предстал, словно новый Христос,  
Возложивший терновый венец  
Разукрашенный пламенем роз.

или

Ну, мальчики, с Богом!  
Несите зажженные свечи.  
Пусть рогом  
Народ собирают для встречи<sup>33</sup>.

Да, в «розово-золотой и напряженной атмосфере эпохи» был неизбежен «лжепророк».

Мы познакомились весной. Поздно, часов в 11, пришел А.Белый на один из грифских вечеров. Вошел точно пробираясь сквозь колючую изгородь. Вид его меня взволновал второй раз, но, храня пристойнейший вид «хозяйки» дома, я пошла к нему навстречу. Помню, что захотелось иметь мне в руках какие-то необычайные «дары». Но какие? Вот разве ландыши в вазочке на столе Грифа, ранние ландыши ранней и дорогой московской весны. Он вдел веточку в петлицу, не удивляясь, точно знал, что так будет, и с ней весь вечер спорил с кем-то о Канте.

Эти ассамблеи в «Грифе», — особенно одну из них, А.Белый описывает, искажая перспективы<sup>34</sup>. Неправда, — пошлости не было. Половину из присутствующих составлял его же собствен-

ный «штат», его «свита»; все они описаны в «Воспоминаниях о Блоке» — Петровский, Батюшков, Эртель, иступленный Эллис<sup>35</sup>.

Бальмонт, если быстро не превращался в «чудовище», оставался Бальмонтом при всех условиях, «лунноструйные барышни» в то время не переступали моего порога — «грифята» же держались более чем скромно. Свою роль несомненно эти сыграли, хотя бы потому, что в «Грифе» можно было часто и интимно встречаться людям, так или иначе нуждающимся друг в друге и в «безутешной тьме» тех общественных лет, они казались оазисами.

И вот, наконец, вопреки всем трениям, материал для первого альманаха из редакторского портфеля отправился в типографию. Квартира наша наводнилась гранками, мы обращались с ними бережно, любовно, преувеличенно внимательно, как мать с первенцем-сыном.

Страстно спорили об обложке. Хотелось, конечно, «поразить» модернизмом, но, как всегда, первый блин вышел «комом». Да простится полное отсутствие вкуса тому, кто присоветовал Кречетову выбрать для пеленок новорожденного грязно-серую, инертную, тотчас же отставшую от корешка самую обыкновенную «сахарную бумагу».

К тому же прекрасный дурновский гриф плохо вышел в клише, растекся чернильными кляксами, оплыл.

Ну, ничего! Многие печатались в первый раз и справляли литературное рождение.

Манифест Бальмонта<sup>36</sup> произвел впечатление даже во враждебных станах.

Зазвучали новые имена и, как говорится, — «что написано пером, то не вырубишь топором»; новоявленные таланты гуськом побрели за С.Кречетовым в Л[итературно]-Х[удожественный] Кружок в качестве оппозиционного элемента.

В первый и, кажется, в последний раз выступил в качестве поэта на страницах альманаха художник Модест Дурнов. К сожалению, помню точно только начало этого замечательного стихотворения:

Крупный ливень, соленая влага  
Исхлестала кнутом мне глаза  
На боках изграненных оврага  
Так мышей забивает гроза<sup>37</sup>.

Альманах «Гриф» вышел. Знаменательный день был шумно отпразднован на Знаменке. Появился он и в продаже, пошел по

рукам и, может быть, мне, второй после В. Брюсова, пришел вопрос — «зачем».

Какие школьные признаки, еще не выявленные «Скорпионом», в нем отмечались? Никаких решительно! Приемлемым и желательным в «Грифе» являлось все новое, яркое, самобытное, бесстрашно разбивающее оковы обветшалых литературных форм. Но разве не об этом же ратовал В. Брюсов, с первых лет своей деятельности осмеиваемый на всех перекрестках? Об этом же самом, только с той разницей, что, совершив тяжелую подготовительную работу, тяготел слить струю русского символизма с европейской культурой и требовал от своих учеников положительных знаний, эрудиции и настоящей работы, — чего совершенно ни с кого не спрашивал любезный, ищущий дешевой популярности редактор «Грифа».

На страницы «Весов» и «Северных цветов» попасть было не легко, и потому для каждого молодого сотрудника, прошедшего через рукавицы В. Брюсова, они становились золотыми скрижальями.

[Валерия Брюсова сжигала мечта об увенчании русской литературы в веках и, «гордый, как знамя, острый, как меч», он шел по пути, им сознательно намеченному, вынося на своих плечах «Весы» и весь «Скорпион» до последней гранки. Даже вся техническая часть проходила через его руки.

В программе же «Грифа», кроме произведений немногих сотрудников «Скорпиона», утопающих в неприятной пестроте ненужных имен, не было ничего нового.]<sup>38</sup>

Кого же собственно из молодых того времени, оставшихся потом в литературе, он выдвинул?

Линденбаума<sup>39</sup> (впоследствии издателя «Перевала»). Но стоило ли разводиться правоверный бальмонтизм в присутствии самого оригинала? И где сейчас этот Линденбаум?

А. Койранский, напечатав несколько стихотворений, остался поэтом не выявленных потенций.

Курсинского? Ланг-Миропольского? Пояркова?<sup>40</sup> Но их имен, кроме литературных Несторов-летописцев да личных знакомых, не знает ни один русский читатель.

Разве В. Ходасевича, почему-то всю жизнь не получившего права входа в «Скорпион»<sup>41</sup>. Но Ходасевич годом-двумя позднее и без «Грифа» вышел бы в люди. А. Тиняков<sup>42</sup> также.

[«Гриф» при его гордых замашках не стал филиальным отделением «Скорпиона», а это было бы вовсе не плохо и даже полезно для расширения одного сплоченного фронта, в то время

очень нужного. Если бы не стихийный К. Бальмонт и республикански настроенный С. Кречетов, а «академический» Брюсов был бы хотя его даже отдаленным руководителем, дело бы по-настоящему и пышно процвело.

Стоя к «Грифу» ближе всех, я с первых же шагов поняла, какой червь выест, может быть, совершенно незаметно для публики, слабую, но тогда еще живую ткань сердцевины его.

Разговор об этом повел к внутреннему расколу между мною и мужем-редактором, потом к бесполезной борьбе и, наконец, к открытой вражде.

Для непосвященных, для газетных церберов (Любошиц, Яблоновский<sup>43</sup> — «имя им легион»), свирепо лающих со всех эстрад (как и для московских обывателей), между «Скорпионом» и «Грифом» не было разницы. Для них просто-напросто развернулся ненавистный декадентский фронт — усилилось растлевающее литературное влияние. Такое ошибочное приятие «Грифа» всячески способствовало славе его, сначала, конечно, скандальной, а потом и признанию, как довольно крупного культурного начинания.

Сами сотрудники «Скорпиона» этому способствовали потом всячески (кроме Брюсова, Балтрушайтиса, Садовского<sup>44</sup> и нескольких второстепенных сотрудников «Весов»). Присылал свои вещи А. Ремизов, прислал М. Кузмин после яростной ссоры между нами отвергнутые редактором «Крылья»<sup>45</sup>, печатался С. Ауслендер, Дымов<sup>46</sup>.

Вещи, отвергнутые «Скорпионом», радушно принимались «Грифом», оскорбленные самолюбия выплакивались в редакторскую жилетку. Терпимость С. Кречетова приобрела широкую популярность, особенно когда возник «Перевал», окончательно загубленный журнал, несмотря на большие возможности.

Что делал в это время Брюсов? Он пока только равнодушно отмахивался от шумихи, как отстраняет могучей лапой большой пес шумливого надоедливового щенка. Впоследствии он даже появился на одном из наших вечеров<sup>47</sup>. Очень сухой, корректный, выслушал несколько стихотворений, один мой рассказ (стыдно вспомнить, до чего плохой), не высказал никаких суждений, любезно согласился остаться ужинать, прочел сам несколько вещей, все время оставался как капля масла на воде, и скрылся на полтора года.]<sup>48</sup>

Меня всегда влекло к синтезу и стилю. Бесшкольность «Грифа» вызывала поэтому досаду и сожаление, горшее, чем отрицание. Все содержание моей тогдашней новой веры определялось принятым на глубине искусства зрением В. Брюсова. Пафос «Грифа», его стучание в открытые уже двери, размахивание знаменами



в неподходящие моменты, полубарственный эстетизм его, — все это мучило и раздражало.

Нужен ли был «Гриф»? Спрашиваю я через двадцать лет. И отвечаю: «Как боевой клич — положительно нет, как издательство — да». С.Поляков просто количественно не смог бы выпустить у себя все грифские удачные издания<sup>49</sup>. Да, роль «Грифа» в эпоху расцвета русского символизма была только третьестепенной<sup>50</sup>.

Альманах вышел. Редакторский портфель вздулся материалами для издательства. Наступило лето. Отшумели вечера, рефераты, эрмитажи, премьеры «Худ[ожественного] театра». Люди накричались, наспорились, устали толпиться и задумались о дачах. Как же без дачи? Быт брал свое.

Бальмонт, накуролесивши за зиму, буржуазно уезжал с семьей куда-то на Балтийское море, кажется в Меррекюль. А.Белый — в свое имение Серебряный Колодезь, Рославлев, пропыленный серый призрак, с остеклевшими от водки глазами, жался у нас по диванам, остальные где-то рассыпались в парках, как молодые воробьи.

Мне предстояла унылая перспектива ехать с С.Кречетовым второй раз «на кулички» — подмосковный артиллерийский лагерь «Клементьево», где он отбывал последний срок воинской повинности.

Клементьево все же, после этой оглушительной зимы, казалось мне одним из блаженных островов Таити. Туземцы его не были искушены ни в утонченностях символизма, ни в декадентской мистике, а мне именно в таких условиях хотелось собраться с мыслями, окончательно выявить себя и высвободить из хаоса душевное ядро. И как это ни странно мне сказать теперь — отдохнуть.

Сейчас я себя спрашиваю — от чего? Улыбаюсь через 20 лет себе самой, томной в движениях с полудня до рассвета, распускающей шлейфы хитонов по салонам, театрам, выставочным павильонам, эстрадам, по ночным дорогам кабакам.

К лету выветрился из комнат ядовитый аромат неизбежных по тому времени тубероз.

Наша историческая Матрония «элементал», как звала я ее на авгурском диалекте, а на деле просто дореволюционная белая рабыня, неистово и восторженно усыпала нафталином мебель и наши зимние звериные шкуры. Ее истомили «ночи безумные, ночи бессонные» эстетствующих хозяев, попросту говоря, груды тарелок, батареи стаканов и рюмок, полночные визиты поэтов, рвущие душу звонки Бальмонта на рассветах.

Все, начиная от неотвратимого А.Рославлева до обоев, потускнело, полиняло, обескровело.

Неприятно официальной и растерянной внутренне была моя последняя встреча с А.Белым.

Раскаленно сухой, режа синими лезвиями глаз, складывая в банальную улыбку серпик детского рта, он желал всего хорошего и счастливого пути. В пошлую кожуру светской корректности А.Белый часто укрывался, словно улитка в раковину. Мы обещали писать и встречаться потом в Разумовском, где наняли дачу с июля.

«Кулички» было прекрасное подмосковное село Клементьево, широкое и раздольное. Таким мне почему-то представлялось знаменитое «Мокрое» Достоевского.

Верстах в трех — лагери, артиллерийский полигон, — в сыровато-душистом лиственном лесу. У нас была маленькая дачка и кухня — идиллическое царство изнемогшей от московских утонченностей Матрони.

Туземцы меня встретили (это было второе пребывание в Клементьеве) с соответственными дарами: в зальце цвел сиреневый сад. Кудряво-лиловые безлиственные деревца, вывернутые с корнями, стояли в ведрах, в кадках, в чем попало. Их привезли из настоящего сиреневого рая: верстах в четырех от нас доживал век дореформенный помещичий дом. Уже ничего не осталось от барских угодий, кроме фасада с покривившимися колоннами, старика сторожа да буйно-лилового океана, заглушившего все, дурманящего последние проблески сознания в его отмирающем мозгу.

Я часто ездила туда на закатах. В ветреные вечера бледно-лиловые волны вставали гребнями, бушевала невыразимая стихия. Ничего подобного я не видала в жизни. Дальше, из-за двух тонких зонтичных сосен на пригорке, тоже волнами золотыми, нестерпимыми, разливалась бархатисто-закатная пыль.

Пронизала вершины дерев  
Желтобархатным светом заря  
И звучит этот грустный напев:  
«Объявись, — зацелую тебя»<sup>51</sup>.  
А.Б.

Напротив нашей дачки, через широкую дорогу под навесом вековых лип белели стены офицерского собрания. Дуплистые старики с грузным кряхтением падали почти каждую неделю. В аллеях стоял приятный густой запах древесного тления, внизу под крутым откосом меланхолически синела Москва-река.

Умирающая красота быта и природы вызывала в душе напеты за зиму строфы:

Есть в русской природе усталая нежность...<sup>52</sup>

Но обитатели прекрасных «куличек» всего менее к ней оказывались восприимчивыми.

Забубенно откалывал духовой оркестр вальсы и разные модные танцы, на террасе звенели шпоры, в трансах кружились розовые, белые и голубые дамы по охающему паркету и к рассвету усталыми сильфидами разлетались по супружеским и родительским кровам.

Тогда начиналось самое главное... Налитые пивом и водкой, их кавалеры, мертвенно синяя кителями, слонялись под черными многодумными липами, нечленораздельно рычали и завывали совсем не на бальмонтовские темы.

С Кречетовым мы расходились все дальше и бесповоротнее. Всякий обсуждаемый вместе проект обложки, шрифта, даже технических деталей служил причиной ожесточеннейших ссор.

Художник Владимир<sup>53</sup>, который сделал две-три обложки для намеченных изданий, казался мне тяжеловесным иконографом, совершенно не соответствующим стилю и духу издательства.

В «Весах» и в «Скорпионе» работал тогда Феофилакто<sup>54</sup>, тонкий изящнейший график, некрупный, но гибкий талант, в высшей степени одаренный чувством стиля вообще. Получался минус... Издания «Скорпиона» печатались на прекрасной бумаге, прекрасными шрифтами, были технически совершенны. Наши разлетались в руках. Никогда я не могла добиться, почему это. От всякого моего совета и замечания, по выражению С.Кречетова, пахло «брюсовщиной». Оставалось пока что молчать, выбрав тот худой мир, что лучше доброй ссоры.

Только в сиреновом раю, да под стонущими от дряхлости липами «куличек» забывала я и об обложках и вообще о вкусах С.Кречетова, улетавшего куда-то на долгие часы на велосипеде, и сосредоточенно доживала последние дни моего небытия.

А.Белый. Разумовское. Снова А.Белый. Осень в Москве.

Жизнь благополучно заканчивала свои маленькие бытовые циклы. В июле, покончив с «Куличками», мы перебрались на дачу в Разумовское. Дача эта, зачем-то для двоих двухэтажная, пустынная, тоже не обуютилась, как квартира на Знаменке... Перед

террасой, честь честью обывательский палисадничек. Не хватало стеклянного шара и вечной жаровни с варением. Несколько чахлых березок да хилая клумба. Цветов в нее насадили множество, но они почему-то все ударились в одни листья или погибли. Перед загородкой небольшая русская, невылазная даже в засуху, дорога.

Поселился у нас Рославлев. Часто приезжали Гофман, Койранский, чуждый всякому декадентству мой старинный друг Б.А. Фохт<sup>55</sup> и, совсем некстати, некий артиллерийский офицер В., большой любитель коньяку.

Сырость вокруг была страшная, дачники непрестанно чихали, сморкались и проклинали свою судьбу. А меня радовали необычайно красивые ночные туманы. Седыми кудрями, прозрачными белыми лентами спадали они с дряхлых ветвей, расстилались простынями по полянам, водили хороводы вокруг пруда. За туманами, за обостренной тоской небытия, вставал лазурно-окий лик. Далекий голос пел на мотив цыганского романса:

Вот скитался я долгие дни  
И тонул в предвечерних туманах  
Изболевшие ноги мои  
В тяжких ранах<sup>56</sup>.

Зовами к несказанному шумели ивы на плотине:

Объявись, зацелую тебя...

Уклон мой к декадентскому мистицизму и к «аргонавтизму» был скучен окружающим.

С.Кречетов, Рославлев, Гофман и перерафинированный Койранский всего менее интересовались «пришествием нового Христа». С ними бывало весело по-прежнему, с ними бывало приятно по уши погружаться в стихотворные волны. Тогда мы не знали, «что значит хлеб, вода, дрова» (М.Кузмин). И жили «лучшими словами»... Удачная строчка, новая рифма, выход новой книги волновали, как решающее событие жизни.

А.Белый писал мне длинные письма (часто, как потом убедилась, отрывки из готовящихся к печати статей). К сожалению, ни одного я не сохранила. После нашего разрыва, весной 1905 года, мы с В.Брюсовым привязали к этим письмам камень и торжественно их погрузили на дно Саймы<sup>57</sup>. Так хотел В.Брюсов.

Когда-то расшифровать эти строчки было для меня целью бытия. «Когда душа стонет, как схваченная ветром березка...» — писал он.

Над головой трепетали чахлые березки, охваченные ветром, дрожали мелкой дрожью, точно подрубленные топором под самые корни. Золото поздних летних дней расплавленным током пронзало лазурь. А.Белый научил меня «прозревать» за явлениями косного земного мира.

Рославлев и Кречетов, сидя тут же за яствами или покуривая на ступеньках, блаженно купались в жаре и взапуски читали стихи. Гудели точно два шмеля о своем, мне не нужном. От «жемчужно-грустных» зорь ложились, верно, на мое лицо непонятные им отсветы. Улыбались скептически, а Рославлев, глядя поверх пенсне стеклянными своими глазами, говаривал: «В транс впадете? Не доведет Вас до добра Ваше новое христианство».

Не довело. Ну, так что же? Я не жалею. За житейским здравым смыслом я никогда не гналась.

(Вскоре наша дачная идиллия нарушилась самым неожиданным образом. Рославлев и Гофман, первый из органического своего пристрастия ко лжи вообще, второй, верно, от юности, похвастались где-то и к тому же одновременно «моей взаимностью». Узнал об этом первым Саша Койранский и на улице ударил перчаткой Гофмана по лицу. Рославлева судил сам С.Кр[ечет]ов у нас на террасе за утренним чаем в моем присутствии. Совестно, противно было. Вдруг вскрылась целая эпопея хлестаковщины. Завопил газетчик Ермилов, недавно женатый и живший тут же через несколько дач. Рославлев клеветнически посягнул на честь его жены — совершеннейшей курицы и ни на что подобное даже во сне неспособной. Поползли как скользкие увертливые гады сплетни из Москвы, загалопировали вскачь 40.000 курьеров.

Этот эпизод я опускаю.

Комната наверху (Рославлева) опустела. Исчез навсегда и Гофман. Черные августовские ночи уже заглядывали в незанавешенные наши почему-то окна. С.Кр[ечет]ов куда-то исчезал на велосипеде. Частым гостем моим был только Б.А.Фохт<sup>58</sup>.)

В последнем письме А.Белый писал: «Приеду с Семеновым (поэт)<sup>59</sup> послезавтра».

У А.Белого только что умер отец<sup>60</sup>, и это меня смущало. Как найти не фальшивый тон с человеком в горе? Как говорить с опечаленным неожиданной потерей? Я ждала его грустного, одним словом, огорченного по-человечески.

И в первый раз безмерно удивилась. Чуть похудевший, но светлый, какой-то по-новому осиянный, он рассказывал:

«Папа умер в нашей городской квартире, внезапно. Я остался потом один с ним. За стеной стоял гроб его... Я думал, как хоро-

шо... смерть, как просто!..» И улыбался серпиком детских губ, удивленно вскидывая загнутыми ресницами, точно спрашивал: «Ведь правда, хорошо? Смерть, когда "Лежу в цветах онемелых, гиацинтах розовых, лиловых и белых"...» Говорил о мертвом, как о живом, о вечном покое, как о вечной жизни, о могиле, как о вершине, озаренной утренней зарей. День этот, с двух часов, шел довольно томительно. Было ясно — кто-то кому-то мешал.

Мне не понравился поэт Леонид Семенов. Сдержанный, замкнутый, почти надменный, казался он мне начиненным очень крепко вросшими и очень чуждыми мне догматами. Прочел стихи.

Я в пустыню иду и свечу восковую нес<sup>61</sup>.

Они мне ничего не сказали. Не понимала, зачем Белый привез его с собой. Зачем вообще он «водится» с народниками (им и был Семенов), с теософами, спиритами, меценатствующими дамами, превратившимися в пыль профессорами и т.п.

Он расточал себя с людьми понапрасну всю жизнь.

Через 13 лет после нашего последнего свидания в Москве, здесь в Берлине, за столиком кафе жаловался он по-прежнему:

«Ах, это ужа-асно! Они меня живьем съели... разорва-а-ли...»

И тут же с безумным лицом срывался со стула.

«Боже мой! Опять опоздал».

И бежал на заседание, на елку, на собрание «антропософских теток», в гости и т.д. и т.д. Весь в клочьях, на рассвете плелся домой, а завтра — все сначала.

День шел, украшенный всеми бытовыми атрибутами, а я томилась, вела себя глупо, не дамой, не хозяйкой дома, молчала и забивалась в угол. Выручал, как всегда в таких случаях, очень светский и уравновешенный С.Кречетов.

Часам к шести кто-то предложил пойти к пруду. Чуть позади Кречетова и Семенова шли мы с А.Белым. Он снова говорил об отце. Схоронили его в Девичьем монастыре, недалеко от могилы Соловьева. И опять — о мертвых, как о живых:

Прошумит ветерок  
Белоствольной березой.  
Колыхается грустно венки  
Дребезжащей фарфоровой розой...

Черных ласточек лет,  
Воздух веющий, сладкий,  
С легким треском мигнет  
Огонек лампадки...

Ты не умер, нет, нет!  
Мы увидимся вскоре...<sup>62</sup>

В его присутствии мне хотелось высвететь насквозь, стать березкой, охваченной ветром, и горько томилась я — не могу! Еще почему-то не могу!.. Как у гоголевской ведьмы из «Утопленницы», внутри оставалось органически непрозрачное темное ядро.

На плотине шумели ивы, холодный ветер срывал первые сгоревшие листья, ничего еще не настало, будущее приближалось лишь в туманных символах и намеках, но моя, всегда опережающая события душа в тот день уже исполнилась предчувствием очень горестных и неизбежных событий.

Потом все было обычно, как полагается. С группой дачников, провожающих дачных гостей, стояли мы на станции, поджидая паровичок. Пыль скрипела на зубах, мне было холодно в белом платье, бились под ветром тощие кустики у рельс.

— Мы скоро увидимся?

— Да, да, конечно... через три недели в Москве...

Свистнул жалобно паровичок, алой молнией просквозил за деревьями. И все померкло в суровых тенях.

«Гриф» мужественно окрылился, прочно укрепился на своем месте, стал быстро входить в моду. Эстетическая позиция нового издательства определенно выяснилась, а гостеприимство и доступность создавали ему широкую популярность. Стихи призывали от неведомых поэтов из неслыханных захолустий. С.Кречетов, поощряя молодых авторов, не посылая даже категорических отказов без маленьких обстоятельных рецензий, написанных в отеческом тоне. Ободренные авторы стали появляться и собственными персонами: В.Линденбаум, Абрамович<sup>63</sup>, Поляков, А.Тиняков, Поярков — всех не припомню.

Стиль нашей жизни на Знаменке резко изменился. Прежде всего, конечно, стало нужно что-то *делать*, и какими бы заблуждениями это «делание» ни грешило, оно внесло в дни бодрый рабочий дух. Корректуры, рукописи, переговоры заполнили прежние праздные часы.

Готовились к выпуску «Только любовь» и «Горные вершины» Бальмонта, роскошные издания «Саломеи» и «Портрета Дориана Грея», Симфония Белого «Возврат». Набирался материал для второго очередного альманаха<sup>64</sup>.

Дружеское отношение Бальмонта к издательству и личная его дружба с Кречетовым крепили.

А у меня с этой же осени медленно, но неуклонно началось охлаждение и к самому Бальмонту и к его поэзии.

Прежде всего нужно было выбрать в поведении с ним определенный стиль и такового держаться. То есть, или стать спутни-

цей его «безумных ночей», бросая в эти чудовищные костры все свое существо, до здоровья включительно, или перейти в штат его «жен мироносиц», смиренно следующих по пятам триумфальной колесницы, говорящих хором только о нем, дышащих только фимиамом его славы и бросивших даже свои очаги, возлюбленных и мужей для этой великой миссии. Или же оставалось холодно перейти на почву светского знакомства, то есть присутствовать в назначенные дни на пятичасовых чаях, которыми сам триумфатор тяготился безмерно и к которым он выходил настоящим «человеком в футляре», с хмурым, скучающим, а иногда и без маски совсем, с каким-то зверским лицом.

Для второго пункта я оказалась окончательно непригодной, и с этой же осени решила вообще от Бальмонта отдалиться по многим причинам... Но увы! Только через несколько лет выяснилось совершенно наше взаимное органическое недружелюбие. В 1904 году оно почему-то называлось дружбой, и эта дружба, часто против воли, почти обязывала меня вовлекаться в бальмонтковский оргиазм и у нас дома и вообще «в пространствах».

О поэзии Бальмонта написано столько! Начиная с Акима Волынского, все современные критики сочли долгом сказать о нем свое слово<sup>65</sup>.

Что могла бы я добавить, кроме глубокого субъективного суждения? Бальмонт был для меня неким берегом в юности, от которого я скоро отчалила. Не был он для меня ни теургом, осиянным свыше, как А.Белый, ни мэтром, достойным поклонения и глубокого добровольного подчинения, как В.Брюсов. Сам же Бальмонт однажды написал:

Нам нравятся поэты  
Похожие на нас...<sup>66</sup>

В.Брюсов считал это одним из мудрейших бальмонтских изречений, только смеясь над следующими строчками:

Священные предметы  
Дабы украсить час...

Но смешение проникновенной мудрости с нелепостью считал вообще органической чертой Бальмонта-поэта и Бальмонта-человека.

Так вот: мы друг на друга непохожи, Бальмонт мне не нравился и я его не полюбила.

Блестящая его лирика тех лет мне казалась потом стихийным цветением в пустоте. Опыты его — творческий, мистический и жизненный мне оставались чуждыми и, чужды, не научили меня ничему решительно.



[В ту осень, накануне грозного 1905 г., как во все катастрофические эпохи, московская жизнь завилась блистательным вихрем. Развращающее влияние популяризованного декадентства, буйно прорвавшего все плотины и хлынувшего в толпу, закружилось смерчами во всех эстетизирующих кругах и докатилось даже до гимназических застенков. И, конечно, законодателем, хотя и невольно, быть может, всех этих круживших голову дамам, их мужьям, старцам, девам и юношам неистовств — был Бальмонт.

Его солнце стояло тогда в зените. Французов, профильтрованных в русский символизм, как-то просмотрели или просто не читались в них. Брюсов долго стоял одиноко, и такого рода популярность презирал и ненавидел.

А тут вдруг, как гонг, ударил свой отечественный лозунг: «Будем как солнце!». Станем безудержным «воплощением внезапной мечты», насладимся всеми утехами «Зачарованного грота»<sup>67</sup>.

А «внезапность мечты» людей пресыщенных, по всем статьям быта благополучных, в большинстве случаев совершеннейших бездельников, была иногда весьма многообразна. Это желание непременно вылезти из кожи и «сладко падать с высоты», рожденное в тупиках мысли и чувства, в тупиках же и иссякало, но в общую атмосферу жизни вливало явно разлагающую струю.

Где-то уже явно слышались грозные гулы грядущего 1905 года, а над Москвой, утопающей в переутонченных причудах, в вине, в цветах, в экзотической музыке, стоял столбом мертвенно зеленый масляничный угар.

Подбор вошедших в моду литературных произведений и бешеный спрос на них являлись тоже знамением времени. Возрос небывалый интерес к Оскару Уайльду, раскупили вмиг «De profundis», «Балладу Редингской тюрьмы», «Портрет Дориана Грея» и «Саломею», последние два очень дорогие роскошные издания «Грифа»<sup>68</sup>. Потребовалось буквально рынком новое издание «Цветов зла» и все до последней строчки Бодлера. «Номо sapiens» в издании «Скорпиона» стало новой моральной проповедью<sup>69</sup>. Интерес к личной жизни новых писателей набухал пикантными сплетнями, выдумками, росказнями небылиц.

Маленькие газетные церберы — прихвостни старых толстых журналов и маститых авторов — вопили «караул» с эстрады Художественного кружка, поносили в лицо непристойными словами докладчиков враждебного лагеря. Очередные вторичные рефераты редко кончались без скандалов.

Но ничего не помогало. Унылое платоническое народничество и канитель житейского быта под разными соусами надоели читающей публике. Бессознательно жаждала она чего-то нового,

а это новое, да еще в извращенном понимании, ошарашивало воображение концепциями, формами, трепетными, раздражающими намеками символов.

Так — хаотически, скачками, среди карикатурных курьезов завоевывала свое место на страницах истории новая русская литература. Все эти нелепости отвалились потом, как отмороженные пальцы. Осталось крепкое стальное звено в цепи русской — и европейской — преемственной культуры, которое, как черно-рабочий, начал одиноко ковать Брюсов. Умиравший, расползающийся по всем швам, разлагающийся быт отражал эту эстетическую сумятицу в самых комических подробностях.

Дамы, еще вчера тяжелые, как куклы в насиженных гнездах, загрезили о бальмонтовской «змеиности», о «фейности» и «лунно-струйности»; обрядились в хитоны прерафаэлитских дев и, как по команде, причесались à la Monna Vanna<sup>70</sup>.

Кавалеры их и мужья приосанились, выутюжились à la Оскар Уайльд. Появились томно-напудренные юноши с тенями под глазами. Излюбленным цветком стала «тигровая орхидея», впрочем, еще до Бальмонта увековеченная пикантным Мопассаном как «грешный цветок».

За ассамблеями подавались рюмки и бокалы на тончайших и длиннейших хрупких ножках, гостинные раскорячились «стильной» мебелью отечественного изделия, на спинках диванов повисли лоскутки парчи, вошли в моду тусклые, линиялые цвета, в употребление — слова: «нюанс», «аспект», «переживание», «многогранность».

В те дни действительно «угрюмым магом» с высот «Метрополя» смотрел на этот «балаганчик» Брюсов, окруженный очень немногими друзьями, соратниками и почитателями, не пустившимися в пляс. Именно в те годы он, может быть, остро, как никогда, чувствовал потерю Ивана Коневского, на которого возлагал самые большие надежды и как на поэта и как на человека. Когда Брюсов говорил о Коневском, у него менялось лицо и он делался тем Брюсовым, которого так хорошо знала, может быть, одна я и которого так легкомысленно проглядел до конца Андрей Белый!.. Помню, в одну из наших совместных летних поездок Брюсов предложил мне поехать в «Ливонскую Швейцарию» (поблизости от Риги на берегу реки Аа<sup>71</sup>, на могилу Коневского. Он не любил ни кладбищ, ни могил, и меня это желание удивило. В жаркий июльский день стояли мы на берегу Аа. Чуть заметные воронки крутились на сверкающей солнцем и лазурью воде.

— В одну из таких втянуло Коневского, — сказал Брюсов, — вот в такой же июльский день, вот под этим же солнцем... Он был

без бумаг, его схоронила деревня как безвестного утопленника и только через год отец случайно узнал, где могила сына...

Он стоял, отвернувшись от меня, и бросал камешки в воду, с необычайной точностью попадая все время в одну точку. Это бросание камешков я видела потом много раз, — оно выражало всегда у В. Брюсова скрытое волнение и глубокую печаль.

Потом мы пошли на кладбище. Ах, ничего не потерял Иван Коневской, если деревня похоронила его в этом пышном зеленом раю, как безвестного утопленника. Зеленым шумящим островом встало оно перед нами, — низенький плетень, утопающий в травах, — ни калитки, ни засова, только подвижная рогатка загоразживая вход — и то, верно, не от людей, а от коров... Совсем у плетня скромный черный крест за чугунной оградой, на плите веночек из увядающих полевых цветов, а над могилой, сплетаясь пышными шапками, разрастается дуб, клен и вяз.

Брюсов нагнулся, положил руку на веночек, долго и ласково держал ее так и оторвал несколько травиночек от венка. Я знаю, что он очень берег их потом.

Ивана Коневского он вспоминал не раз в горестные минуты жизни. Кроме него, у Брюсова настоящих друзей уже не было никогда.]<sup>72</sup> С. Поляков, издатель «Скорпиона» и журнала «Весы», М. Семенов<sup>73</sup> и Ю. Балтрушайтис остались ему верны до конца и умели высоко держать раз взвившееся знамя, но подойти интимно не сумели и не смогли.

Книгоиздательство «Гриф» с его склонностью к популяризации новых принципов и идей, то есть, по тем временам, к метанию жемчуга перед свиньями (да еще жемчуга, взятого напрокат у того же «Скорпиона»), было им всем не только смешно, но даже противно. Но, к счастью, тень его встопорщенных крыльев не упала на меня...

Так сурово и замкнуто работал для будущих поколений В. Брюсов, изредка выступая на публичных аренах в качестве тяжелого дальнобойного орудия, знающего свои цели и сроки. И с каким-то мазохистским упоением расточал себя А. Белый, распиная себя без нужды на всяческих общественных Голгофах, и писал, чувствуя себя действительно от всего этого несчастным:

Отворяют, сквозь дымный угар  
Задают мне вопросы.  
Предлагают, открыв портсигар,  
Папиросы...

А когда я, молясь, в неземном замираю,  
Предлагают мне чаю...<sup>74</sup>

Мы же, кристаллизующееся ядро «аргонавтов», были прямолинейнее, может быть даже «plus royalistes que le roi même», и стремились обособиться, считая Андрея Белого невинным мучеником общественности.

Да, даже меньше, чем десятую часть возвращает память через много лет. Мне жалко, что вспоминаются только обрывки, что плотная ткань тех дней разорвалась на бедные клочки. Намеки, подобия образов, туманные символы плели эту ткань, может быть уже и не передаваемую через годы словами.

Жизнь не реализовала ни одной из тех «истин». Остались подернутые пеплом угли. В образах вижу те дни: хризолитовые, безакатные дали, жемчужно-грустные зори зимних дней, в тоске сгорающие пышные закаты, белые нарциссы в вазах, запах тления и весны... И строки, от которых пылало сердце, звучат:

Кто зовет благоуханной клятвой?  
Кто зовет в безбрежность отойти?  
Чтобы в день безветренный, над жатвой  
Жертвенною кровью изойти?

Ни жертвы, ни подвига оказалось не нужно.

Что нас связывало с А.Белым? Сейчас говорю: взаимное заблуждение. Черным крестом отмечен в моей жизни тот период<sup>75</sup>.

И Белый же после писал:

Распинайте меня, распинайте  
Обманул я вас песней моей...

С этой же осени наши однажды скрестившиеся дороги с Кречетовым пошли фатально в разные стороны. Вышло это просто, без драм. Наша квартира (мы их потом часто меняли) мне всегда казалась гостиницей, где живу я случайно и проживу недолго, проходным литературным двором, или артистическим кабаре с вечно накрытым для очередных яств и питий столом. К услугам посетителей.

В 1904 году мне это надоело по многим причинам. Если бы С.Кречетов пожелал укрепиться во что бы то ни стало со своими новыми друзьями, я, конечно, уступила бы ему их. Но он стал вести, что называется, рассеянный образ жизни, днем дома не бывал, работал только глубокой ночью, и весь домашний уют наш остался в полном моем распоряжении. «Аргонавты» вызывали у него зевоту.

— Кто у тебя сегодня? Батюшков? Петровский? Эти гномыки? Тошища. И тебе не скучно? Удивляюсь. — Махал рукой и уходил.

П.Н. Батюшков был моим частым гостем. Маленький, добродушный гном с косым черным глазом. Ходил, семена короткими карандашиками, и почему-то для первого приветствия пускал необыкновенно высокие петушинные ноты.

Спирит и теософ, личный друг и поклонник А.Белого, приносил мне сочинения Анни Безант, Майера о телепатии, что-то Блаватской<sup>76</sup>, не помню, и часами говорил о «карме». А карма страшная вещь, если о ней поглубже задуматься, то и жить невозможно. Это пожизненная адская сковорода, на которой человек медленно жарится в собственном соку, только на глубоко мотивированных мудрецами основаниях. Черное ядро гоголевской ведьмы не укрылось, конечно, от зоркого косога глаза. Несмотря на видимую мою «высветленность», Павел Николаевич чуть-чуть знал, где кроется именно для меня опасность, и самоотверженно пустился в миссионерство. Сам он жил, окруженный вечными потусторонними угрозами. В загробии сторожили гнусные «элементалы», а эмпирический мир кишел ужасами и «ужасиками», готовыми ежеминутно воплотиться.

— Представьте себе, что вдруг, ну, например, знаете, купальная веревочная туфля поползет на вас... пустая... —

Черный гномий глаз скашивался на стену к книжной полке.

— ...или вот том энциклопедического словаря снимется оттуда и ляжет перед вами на стол.

А.Белый П.Н. Батюшкова по-своему очень любил<sup>77</sup> и шутил над ним мягко и добродушно: — А знаете, Павел Николаевич, за вашим гробом побегут в благодарность все птицы и звери, не съеденные вами, поплывут рыбы, покатаются яйца.

Шутил добродушно над упершимся в тупик теософски-спиритическим образом мысли его. Спиритизма А.Белый терпеть не мог, но от его «токов», веяний, «наплываний», кажется, и до сих пор не отделался.

В «Воспоминаниях о Блоке» он рассказывал, что ездил даже советоваться к епископу Антонию и к священнику Флоренскому<sup>78</sup> по поводу вечно возникающих вокруг него медиумических явлений: шорохов, стуков, шепотов и т.п.

В наслании всей этой нечисти он подозревал В.Брюсова. Из многих его слов в «Воспоминаниях» это совершенно ясно. «Валерий Брюсов, этот маг, рышущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь по лесам, за отысканием приемов весьма подозрительного психологического свойства»<sup>79</sup>.

До таких нелепостей в оценке В.Брюсова мог дойти А.Белый. Будущим литературным летописцам придется покорпеть, чтобы из всех этих шлаков восстановить истинный его образ...

## «Аргонавты»

Среди аргонавтов были и люди, ничего общего с литературой не имеющие, но все они тянулись, как подсолнечники к солнцу, к Андрею Белому, вовлекались в мистические воронки, тихие и незаметные, как Батюшков, Эртель, Петровский и пр. В обществе их было скучновато и не одному Кречетову. Но ко мне, в каждой складке нехитрых своих одеяний, они несли эманации А.Белого, они приходили надышаться им как дурманом, с каждым словом выдыхали ядовитый аромат, и хотя косноязычно, но говорили только о самом тогда главном — о мистерии.

Когда они, сбившись в стадо, бежали куда-нибудь за А.Белым, на вечера, заседания, рефераты, мои вечера проходили в чуткой насторожившейся тишине восторженных предчувствий и ожиданий. Надолго затихли на Знаменке топоты, споры, звяканье рюмок, журчание строф.

Кречетов полагал, что я впадаю в тихое маниакальное безумие и по-своему скорбел.

До часу, до двух ночи писала я письма А.Белому. Недоумевал Кречетов — «о чем же? Сумасшествие какое-то!» О чем, не помню в деталях, а в основе все об одном: о грядущей мистерии. Белый стал на них отвечать к январю, до января же ответом были его ежедневные приходы. Но никогда не упоминал о полученных письмах. Сам жил в мире, где ничего уже не выражают слова, где они лишь подменяют смысл. Где-то уже запевала свирель Блока. Он присылал А.Белому ненапечатанные стихи.

Каждая строчка волновала, как мистический намек, как обетование. Читал:

Одинокий к тебе прихожу  
Околдован огнями любви.  
Ты гадаешь, меня не зови,  
Я и сам уж давно ворожу<sup>80</sup>.

«Ворожил» А.Белый, но не золотое, не лазурное было нам суждено будущее, как оказалось потом. Помню эту необычайную ясную, ледяную осень. Осень почти до декабря без снега, жесткую и ослепительную.

В те дни уже предвестники срыва наших чаяний были налицо. Андрей Белый раз пришел в издательство «Скорпион» в полумаске. Не застав как-то меня дома, оставил странную визитную карточку, не помню уже, кажется «Козерог Козерогович»<sup>81</sup>, и совершенно потусторонний адрес внизу. В нем происходили искажения.

Пришел однажды и долго сосредоточенно качал стул над одной шашкой паркета, потом аккуратно уставил ножки по линии ее и изрек: «Так, именно, чтобы ножки стояли на ребре». И после паузы: «Сегодня в мою комнату перед рассветом вошел папа (уже покойный тогда) и сказал: "Боря, ты слишком переутомляешься перед экзаменами, это нехорошо"».

В ноябре-то экзамены! У человека, окончившего уже два факультета! От всех я это скрыла, но было ощущение, что А.Белый проваливается в пустоту и меня туда же тянет.

Один раз он вынул из кармана горсть цикламенов и высыпал их на голову С.Кречетова, потом посвятил ему совершенно издевательский поэму: «Он был пророк, она — Сибилла в храме»<sup>82</sup>. «Аргонавты» сокрушенно качали многодумными головами. Им было не под силу расшифровать туманные намеки, самим владельцем нерасшифрованную до сих пор загадку — душу его.

Так в томлениях, в предчувствии и нарастающей тревоге проходили осень и зима.

Так когда же? Скоро ли? — спрашивала я молчалием и словами. И А.Белый, глядя через мою голову раскаленно-синим взором, хрустел тонкими пальцами («Вот руки — кисти бледных лилей») и не отвечал.

Однажды, в начале января, он многообещающе сказал:

— Вот скоро придет Блок. Мы вместе поедем к епископу Антонию. Вы непременно с ним должны познакомиться.

Ах, не епископ Антоний держал в руках ключи последних тайн, и сомневаюсь я даже, что разгадал он, какой мечтой горела душа А.Белого в те годы.

Блок приехал для меня неожиданно и так же неожиданно, в лазурный январский день, появился с женой в нашей гостиной<sup>83</sup>. Первые минуты глядел на меня с ласковым умилением, точно встретил лучшей, чем думал, или не понимал, зачем же я тут в квартире С.Кречетова, — случайная гостя или хозяйка.

Наружность Блока прекрасно описана А.Белым в его «Воспоминаниях». Там не фотография, а портрет тончайшей гениальной кисти. Меня она поразила не только редкостной красотой, а намеком в каждой черте на огромную еще не выявленную силу. За пленительной улыбкой, за холодным голубым взором, за неподвижностью словно иссеченных из мрамора черт, тогда же в первый раз почувствовала я не Блока «Прекрасной Дамы», а Блока «Незнакомки», участника до сих пор непонятных Белому мистерий, интимного, настоящего, последнего Блока, которого нам в те дни не дано еще было узнать.

Жена его, Любовь Дмитриевна, восторженно описанная А. Белым в «Воспоминаниях», полная молодая дама, преувеличенно и грубовато нарядная, с хорошенькой белокурой головой, как-то не идущей к слишком массивному телу, меня ничем не поразила.

А. Белый говорит, что в ее молчании было что-то таинственное. Не знаю... молчала она почти всегда, это верно.

Говорили о литературной Москве и литературном Петербурге. Москва, в представлении Блоков, была провинциальна, грузна, истерична, Петербург изысканно корректен, холоден, легок для жизни. Встреч с московскими литераторами, знакомыми понаслышке, Блок слегка даже побаивался. Ему казалось, что живем мы в вечных ссорах, бесконечных публичных и интимных пререканиях, неумеренные ни в дружбе, ни во вражде. Надо всем же этим хаосом, скрестив руки на груди, с язвительной усмешкой кровавых уст стоит Валерий Брюсов, маг, звездочет, интимный друг Мефистофеля.

До такого абсурда в характеристике В. Брюсова дошел Андрей Белый, и для многих навеки затемнил и исказил его образ.

Светский С. Кречетов, появившийся в середине визита, с прищущей ему ловкостью литературного жонглера, стал шеголять самыми разнообразными декадентскими темами. Тут же, впрочем, купил у Блока «Стихи о Прекрасной Даме» для издательства «Гриф»<sup>84</sup>. Я слушала, смотрела на Блока и думала о своем: «Ну вот, теперь, с его приездом вероятно начнется».

Кажется, на другой же день, 14 января, поехали мы к епископу Антонию в Донской монастырь. Собрались: А. Белый, Петровский, я. Блок покорно согласился и поехал с женой<sup>85</sup>.

Что опальный волынский епископ Антоний, удаленный из епархии синодом «за недозволенное совершение чудес», обладал до некоторой степени даром ясновидения и был, кроме того, большим и талантливым знатоком человеческой души, в этом я убеждалась потом неоднократно. Но какую роль мог играть в «Элевзинских мистериях» этот человек, лелеявший самую позитивную идею о монастыре-коммуне в Крыму, основанной на самых рациональных началах, где на первом плане вставал общий обязательный труд, зарабатывание хлеба в поте лица монахами новой формации, где каждый день разграфлялся на клеточки, подчиненный во всем железной дисциплине?

Он принимал посетителей в своем заключении, вероятно еще и от скуки, очень охотно.

В башенку у ворот с крошечными древними окошечками, с узкой крутой лесенкой, заточил святейший синод епископа Антония за «совершение чудес, волнующее умы».



Петровский позвонил и, пошептавшись с келейником, ввел нас в маленькую приемную, где в лиловой шелковой рясе уже сидел Антоний на диване, ожидая визита.

Поглаживая редкую острую бороду с сильной проседью, он после первых приветствий стал вглядываться по очереди в каждого из нас очень блестящими небольшими серо-синими глазами.

Блок сидел очень прямой, точно в футляре, с бесстрастным лицом, но я чувствовала, внутренне смущенный. Маленький Петровский, любимец Андрея Белого, ерзал на стуле, поминутно поправляя пенсне на длинном носу. Любовь Дмитриевна загадочно молчала в кресле.

Почему Антоний выбрал очень странную тему разговора, до сих пор не понимаю. Говорил он, точно читал реферат перед аудиторией, именно на него и собравшейся, о девстве и материнстве, о половом аскетизме и браке.

Девство и аскетизм, по-видимому, не отвечали религиозному идеалу епископа Антония. Петровский многозначительно посматривал на А.Белого... А.Белый, с бледным сосредоточенным лицом, вероятно, одним ему понятным методом расшифровывал смысл неожиданного монолога. Блок опустил глаза; мне казалось, что ему просто ужасно хочется курить.

Послушали. Антоний задал каждому какой-то незначительный светский вопрос. Пригласил посещать его впредь. Нужно было и уходить.

На меня этот наш коллективный визит обрушился тяжелым конфузом. Совестно было глядеть в глаза Блока, жадно закурившего сейчас же за воротами, на А.Белого, смущенно топчущегося сбоку его, спрашивающего: ну как, что? Мы расселись по своим извозчикам. Была оттепель. Полозья скрежетали по камням, взлохмаченная лошаденка едва тащила нас с Белым в санях.

Какое-то свое многозначительное заключение вывел, очевидно, из этой встречи А.Белый, и таинственно, как Джоконда, улыбался приподнятыми уголками «серпика». Я смотрела в его лицо и думала: да, будет. Но только без Антония и, верно, без Блока...

[Большим пышным вечером чествовали приезд Блока в доме Белого, потом у нас, в «Гриффе».

Брюсов, сам Блок, Бальмонт, Эллис читали стихи за чайным столом, за ужином. Но не богемный, а чисто светский характер носил этот вечер. Только А.Белый, как-то боком, по-медвежьи или точно по кочкам ходил среди гостей в черненькой своей курточке. Иногда подходил и спрашивал: «Хорошо? Правда? Хорошо, что приехал Блок? Вам нравится Любовь Дмитриевна?»

В этот вечер сковались крепкие звенья той цепи, что связала потом в трагические узлы судьбу и жизнь некоторых присутствующих. Но только молодые сотрудники «Грифа» и аргонавты смотрели на Блока, восторженно ловя его каждое слово. Бальмонт, как всегда слишком занятый собой и уже с легкими признаками наступающего «одержания», был с Блоком почти высокомерен. Брюсов, преувеличенно оживленный, но почему-то крайне сухо, говорил с ним о его книге, о стихах, о «Скорпионе» и т.п.

Всех поразило чтение стихов Блока. На первый раз оно казалось почти топорным, монотонным, нагоняющим скуку. Все на низких однообразных нотах, точно при этом каждую строчку отбивал невидимый метроном. Но именно эта простота потом начала неизъяснимо нравиться, казалась органически связанной со всем его существом.]<sup>86</sup>

Меня Блок издали чувствовал, понимал и относился с нежной осторожностью, точно к цветку, у которого вот-вот облетят лепестки. А может быть, уже пророчески и знал он, что скоро облетят<sup>87</sup>. Говоря об этой эпохе личной жизни, мне хочется сжать повествование до схемы. Она кончилась «балаганчиком», с хором мистиков и дырявым бумажным небом.

[Блок уехал. Аргонавты чутко настрожились, а мистерии все не осуществлялись. В те дни Белый даже как будто избегал аргонавтов. В душе его совершался бессознательный, но тягостный перелом. Подменялись смыслы, колебалась почва под ногами, наплывали тяжелые флюиды, стало пугать то «черное» начало, носителем которого он считал Брюсова. Запомнился мне необычайно отчетливо один вечер. В Художественном театре первый раз давали «Вишневый сад»<sup>88</sup>. Мы поехали вдвоем. Ощущение огромного личного счастья преображало все; все казалось значительным, необычным, полным нового прекрасного смысла. Крупными горящими звездочками кружились снежинки вокруг фонарей. Белые гирлянды небывалых цветов свисали с деревьев. Милый, какой-то родной казалась спина у извозчика — скорбно согнутая спина вечно чеховского Ионы. В фойе — настоящий праздник искусства: вся литературная и артистическая Москва. Русский московский праздник, освященный традициями, тоже казался прекрасным, неповторимым.

Плохие почему-то только нам попались — боковые — места в партере. Приходилось, глядя на сцену, вытягивать шею. В антракте зал задвигался, зашелестел, зашумел, заблестал. Куда смотрел А.Белый с таким ужасом потемневшим синим взором?

— Смотрите? Видите?.. Напротив, в ложе бенуара. *Он! Он* смотрит! Ах, как это плохо, плохо, плохо!

— Он? Кто?

— Валерий Брюсов!

Действительно, напротив, около самого барьера ложи, опустив вниз руку с биноклем, на нас пристально смотрел Брюсов. Точно сквозняком откуда-то подул. Не знаю почему, но сердце сжалось предчувствием близкого горя.

Мы очень официально раскланялись. Потом я напоминала этот вечер Брюсову. Он смеялся: — Вольно же вам было быть такими хрупкими, и еще верить в «сглаз».

В этот вечер неясно для меня Брюсов незримо вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней вечно.]<sup>89</sup>

П.Н. Батушков недаром пугался моего черного ядра гоголевской ведьмы из «Утопленницы». Может быть, в нем-то и заключается моя сущность, бесконечно чуждая Андрею Белому прошлому и настоящему. В вечер «Вишневого сада» она дрогнула первым живым биением.

Переживания тех дней с января по март можно было бы выразить только в симфонической композиции с грозным лейт-мотивом «Пиковой Дамы».

Но «погибших дней осталась песня недопета...» (А.Белый)

Мне до сих пор напоминают их белые нарциссы с Ривьеры, которым суждено было украшать лишь Грифский кабинет, но, увы, не залы Элевзинских таинств.

Андрей Белый конечно знал, что срыв близко, — об этом он пишет в «Воспоминаниях о Блоке»<sup>90</sup>, — и меня же за него первую возненавидел. Бумажное небо проткнули мечом деревянным; правда, именно за ним-то и оказалось настоящее, но пережить этот миг равнялось почти смерти.

Случилось все это в реальности донельзя просто. Бальмонт читал в Историческом музее лекцию об У.Уитмене<sup>91</sup>. Кончил первую часть, а А.Белый, несмотря на обещание, все не приходил. После антракта я оглянулась и увидала его где-то высоко, очень бледного, со странно гневным лицом.

Прерывая причудливую прозу стихами, Бальмонт начал читать «Любовь орлов». И вдруг наверху что-то совсем не вовремя загрохотало. Кто-то не выходил, а бежал к выходу.

Вот с этим гневным незнакомым лицом, с дико вставшим золотым нимбом надо лбом А.Белый бежал к выходу.

Два дня, ничего не понимая, я не видала его. Потом произошла встреча, безумная, враждебная, непонятная. С грохотом обрушился прекрасный недостроенный храм.

Андрей Белый впал в какое-то нервное иступление. Аргонавты перепугались, переполошились и стали хором советовать ему

поехать в Нижний к Метнеру (композитор)<sup>92</sup> отдохнуть. На пятой неделе Поста отправляли.

Пережить крушение реальное, горе, катастрофу с простыми входящими человеческими данными, вероятно, было бы легче и проще.

Это же, ирреальное, оказалось по последствиям острее ножа.

Вдруг вся жизнь погрузилась в свинцовую мертвую мглу, превратилась в пустое иссохшее русло реки, занесенное щебнем. Оказалось, что аргонавты мне были близки только через А.Белого. Теперь один вид их вызывал только озлобленную тоску.

Жемчужно-грустные зори, «золото и лазурь», пылающий багрянец закатов, белые цветы, — все стало вдруг только сценическим атрибутом к недописанной пьесе А.Белого на мистические темы. Он приходил, как медиум, через чью душу проливались неслезанные откровения, и ушел, оставив за собой тьму, пустоту, мрак. Остался «свод неба, синий, скучный с солнцем-глазом посреди», да грифская редакция, рукописи, люди, ненужные, как стены, и стены прежней тюрьмы.

Приближалась Пасха. Жизнь текла своим чередом. На Страстной Неделе, несмотря на все мои протесты, С.Кречетов пожелал устроить вечер, может быть, последний в сезоне. К тому же в Москву приехал Вячеслав Иванов с женой, захотелось, как называется, перед ними блеснуть.

Приглашен был В.Брюсов, конечно, Бальмонт, аргонавты. Лица всех их мне виделись точно издали, точно через болотный туман. Помню только с противной четкостью бледно-лысый череп Эллиса, иступленное лицо, с кровавым вампирным ртом и зеленым фосфоризирующее в тенях глаза-светляки.

Длинный длинный ужин тянулся, как бесконечный кошмар. Ужасно много пили в тот вечер, и дело не обошлось без неприятного инцидента.

Эллис очень почтительно разговаривал с превращающимся уже в чудовище Бальмонтом, который, очевидно, заранее лил какую-то скверную «пулю». Эллис разыскивал, не помню какую, редкую английскую книгу и спрашивал Бальмонта, где ее можно достать.

— Она у меня есть, — сказал с непонятым вызовом Бальмонт.

— Да? Так Вы мне, может быть, ее одолжите дня на три?

Чудовище высокомерно прищурилось и зловеще прошипело:

— Нет! Вы можете посмотреть ее у меня в доме.

— Почему?

— Потому что иначе... Вы...

— Что?

— Вы можете ее присвоить!!

С грохотом опрокинулся стул, Эллис бросился с кулаками на Бальмонта. Их разнимали, как в кабаке.

Покойная Зиновьева-Аннибал наблюдала эту сцену через лорнет. Вячеслав Иванов мирил, но не примирил, и, наконец, увел с собой Бальмонта.

Но, новичок в таком деле, поплатился всем остатком ночи, и Бальмонт до изнеможения таскал его по ночным притонам, а под утро привел на рынок к Сухаревой башне, купил копченого сига, фунт мороженой клюквы и пригласил пойти с утренним визитом к В. Брюсову.

Наученный горьким опытом, Брюсов его не впустил. С проклятием швырнув у двери подарки, Бальмонт скрылся «в пространствах» на три дня.

Вот во что превратились без Андрея Белого вечера аргонатов.

Душный воздух. Табачная гарь  
Дымно синие стелет волокна...<sup>93</sup>

Стол, залитый ликерами и водкой, сыр, утыканный окурками, фруктовая кожа под ногами, да мертвый синий рассвет в мертвых окнах.

Пасха приближалась. Праздничная суета, как ржавчина передала сердце. Безграничную покинутость, одиночество среди людей и положительно ненависть к миру, который обнажил свой голый скелет, — все это нужно было еще скрывать под разными личинами и по разным житейским соображениям. В Страстную Субботу вечером Кречетов сказал:

— Даже подарков своим не купила. Пойдем, к Сиу сходим, скоро магазины запрут.

Пошли, выбрала что-то, еще что-то, не видя, и пошла, тоже не видя... прямо на стеклянную высокую этажерку с дорогим фарфором. На волосок прошло дело мимо катастрофы. Кречетов только крикнул, мгновенно оценив последствия.

Дома ждал Петровский.

— Я за Вами, пойдите к Антонию.

— К Антонию? Зачем?

И Антоний, как все, стал для меня призраком, восковым религиозным манекеном.

Но поехала. У Антония в келье все блестит. Келейник в новом подряснике. Корзина крашенных яиц. Цветы на столе. И сам он расфрантился, темно-малиновая шелковая ряса колом стоит, не

то розовым маслом волосы намазал, не то надушился чем-то при- торным.

Совсем не был визитный час: девять часов вечера в Страстную Субботу. Но он встретил нас точно ждал, и не Петровского, а именно меня, а его выслал в прихожую к келейнику.

Меня усадил в кресло, сел напротив и, сверкая бриллиантами глаз, заговорил на тему «не сотвори себе кумира». Говорил о мистических искушениях, подменах религиозных смыслов, и горчайших последствиях этого. Нет, до сих пор я утверждаю, что епископ Антоний был ясновидец.

Говорил два с половиной часа. Келейник несколько раз просовывал нос через дверь и наконец не выдержал.

— Ваше Преосвященство, через полчаса к заутрене ударят. Антоний невозмутимо ответил.

— Уйди, сам знаю, мне сегодня не служить.

Отпустил он нас без четверти двенадцать. И в церковь не зашли мы. Зачем было?

Я не хочу больше говорить ни о новой встрече с А.Белым, ни о новом разрыве — навсегда.

Наступила новая осень. Мы переменили квартиру. Поселились в Мерзляковском переулке, опять с несуразными, но на этот раз анфиладой расположенными комнатами.

Хорош там был только кабинет, глубокий и отдаленный, где можно было часами разговаривать с В.Брюсовым по телефону.

### Символизм. «Весы». «Скорпион». Валерий Брюсов.

[Символистская эпоха была одной из неповторимых русских литературных эпох, потому что многими корнями своими она вращалась в назревающий катастрофический перелом русской жизни, отмеченный двумя грозными датами: 1905 и 1917.

В романе «Хождение по мукам» А.Толстой описывает Петербург перед разразившимися событиями и разложение самых избранных интеллигентных кругов. На него была похожа Москва в 1903, 1904 гг. В стремлении общества что называется «вылезти из кожи» было бессознательное прощание с бытом, все прелести которого людям, очертя голову, хотелось использовать до последних возможностей. Прогрессивная волна переживаемого момента в те годы не захватила широкую толпу интеллигенции. Деятельность же работников и создателей, обставленная в высшей степени мрачными подробностями, проходила, конечно, подпольно

и в тиши. А на авансцене, словно накануне потопа, бесновались искривленные призраки — люди никчемные, ничтожные, провозгласившие лозунгом жизни дурно понятое самоутверждение.

В пучине исторических событий, конечно, рождаются новые люди, новые ратоборцы будущего, — и они рождались уже тогда, но не на виду, не на глазах.

Что символистские писатели тех лет стояли далеко от общечеловечности, я думаю, за это их не должно упрекать. Может быть, не поднялся еще высоко гребень волны, но когда встал «девятый вал», многие из них доказали на деле свою любовь к подлинной России. А тогда, — да, — они были далеки от общечеловечности и реагировали на происходящее вокруг своеобразно, точно стремясь уйти из этого мира как можно дальше в какой-то манящий тайнами, загадками, обещаниями, намеками сверхчувственный мир.

Характерны стихи и романы Ф.Сологуба тех дней, — особенно «Навь чары», примечателен вопль Бальмонта «Будем как солнце», «Огненный ангел» Брюсова, — вещь, правда, задуманная давно, но написанная со страстным вдохновением именно в то время. Бесформенное мучительное мистическое чувство, живущее на дне души каждого художника, обострилось до мучения в целой плеяде писателей и выражалось в каждом соответственно своей индивидуальности: у Сологуба — в демонизме, а у А.Белого и отчасти у С.Соловьева как заостренная маниакально-религиозная идея, у Блока в туманном мистицизме «Прекрасной Дамы», в безудержном эротизме у Бальмонта. И у молодых: в общем порыве к тому, «чего нет на свете».

О Брюсове я бы сказала, что в душе его «зашевелился» «древний хаос» — его позвали заповедные цветущие сады его поэтической мечты, находящиеся за порогом уютного семейного гнезда на Мещанской.

Стремление к чему-то небывалому, невозможному на земле, тоску души, которой хочется вырваться не только из всех установленных норм жизни, но и из арифметически точного восприятия пяти чувств, — из всего того, что было его «маской строгой» в течение трех четвертей его жизни, — носил он в себе всегда.

Разве не стоном звучат эти строки:

Влеку меня, поток шумящий!  
Бросай и бей о гребни скал.  
Хочу тоски животворящей,  
Я по отчаянью взалкал!<sup>94</sup>

А вокруг него, умильно посматривая на мэтра, бродили поэты с ненапечатанными рукописями, вокруг царствовала, несмот-

ря на разнужданность карнавала, условность чувств и отношений, бродила в полудобре и полужле толпа знакомых и чужих.

«Взалкав по отчаянью», по гомерическим чувствам, которые всегда были единственным стимулом его творчества, он спустил с цепи свой «хаос» и швырнул себя в «поток шумящий» совершенно исключительных жизненных комбинаций.

Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам? Отвечая на этот вопрос, я ничего не преувеличу и не искажу. Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той — «тайной», которой не знали окружающие, с той, которую он в себе любил и, чаще, люто ненавидел, с той, которую сам же предавал, не задумываясь, вместе со мной своим и моим врагам.

И еще одно: в то время как раз облекалась плотью схема «Огненного ангела», груды исторических исследований и материалов перековывались в пластически-прекрасную пламенную фабулу. Из этих груд листов, где каждая крохотная заметка строго соответствовала исторической правде, вставляли образы графа Генриха, Рупрехта и Ренаты.

Ему были нужны подлинные земные подобия этих образов, и во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния (Элевзинские мистерии), оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти, — словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе — в маленькой начинающей журналистке и, наперекор здравому смыслу, жене С.Кречетова, благополучного редактора книгоиздательства «Гриф».

Ни одним из этих моих качеств я не горжусь. Многие из них отмерли с годами, некоторые прошли, как проходят в жизни каждого человека неминуемые детские болезни. Некоторые же не только укрепились, но ощутились, как органическая основа души навсегда.

Тогда же все они цвели во мне пышным букетом и к тому же в прекрасной раме барственной жизни, где даже детали горя обставлялись эстетически.

И я нужна была Брюсову для создания не фальшивого, не вымышленного в кабинете, а подлинного почти образа Ренаты



из «Огненного ангела». Потому любопытство его, вначале любопытство почти что научное, возрастало с каждым днем.]<sup>95</sup>

После первого моего знакомства с В. Брюсовым в доме известной тогда спиритки А.И. Бобровой прошли года. В. Брюсов, вероятно, забыл меня и официально мы познакомились в дни возникновения [нигоиздательств]ва «Гриф».

Как личность, он двоился для меня, далекий и недоступный, выразитель моих идей и веры тех дней, — мэтр, мудрец, любимейший поэт, он жил на неприступных вершинах.

Внутренний такт мне подсказывал, что появиться перед ним с тетрадкой рассказиков-«миньятюр», в стиле Петера Альтенберга<sup>96</sup> невозможно. Их мог хвалить и печатать гостеприимный С. Кречетов, но не В. Брюсов. Значит, доступ в редакцию был для меня закрыт моим же собственным и правильным критерием. Оставался другой. В. Брюсов официальных появлений и встреч, — [«острый, как иголка», сухой, недоброжелательный ко всем нам и, конечно, хотя и несправедливо, ко мне... В те годы он был очень болен и постоянно подвергался каким-то операциям в кости верхней челюсти. Появлялся измученный, исхудалый, со свирепым выражением лица.

— Оставьте меня все! — говорило это лицо.

А Кречетов, ненавидевший Брюсова люто и всю жизнь, злобно подсмеивался:

— Совершеннейший волк! Глаза горят, ребра втянуло, грудь провалилась. Волк, да еще голодный, рыщет и ищет, кого бы разорвать!

Смешных легенд в те годы о Валерии Брюсове ходило множество, и все они почему-то окрашивались в один цвет: черный. Всего больше этому способствовали А. Белый и Соловьев<sup>97</sup>. Ничего кроме облика лубочного демона не узрел А. Белый в личности Брюсова, глубокой, неисчерпаемой, неповторимой...

Будучи человеком бездонных духовных глубин, В. Брюсов никогда не обнаруживал себя перед людьми в синтетической цельности. Он замыкался в стили, как в надежные футляры, — это был органический метод его самозащиты, увы, кажется, мало кем понятый.

Однажды, еще до нашего знакомства, в доме друга В. Брюсова — Ланга-Миропольского, я долго смотрела на портрет двадцатилетнего Брюсова. Пламенные глаза в углевых чертах ресниц, резкая горизонтальная морщина на переносье, высокий взлет мифистофельски сросшихся бровей, надменно сжатые, детские, нежные губы.

Власть и обреченность на суровый жизненный подвиг. Вспоминая тот портрет сейчас, я читаю запечатленные строки:

Ты должен быть гордым, как знамя,  
Ты должен быть острым, как меч,  
Как Данту, подземное пламя  
Должно тебе щеки обжечь<sup>98</sup>.

Он подставлял лицо и душу палящему зною пламенных языков и, сгорая, страдая, изнемогая всю жизнь, исчислял градусы температуры своих костров. Это было его сущностью, подвигом, жертвой на алтарь искусства, не оцененной не только далекими, но даже и близкими, ибо существование рядом с таким человеком тоже требовало неисчислимых и, хуже всего, не экстатических, а бытовых, серых, незаметных жертв.

Для одной прекрасной линии своего будущего памятника он, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь.]<sup>99</sup>

Стили В.Брюсова иногда меня поражали.

Один год я зачем-то поселилась в захолустном дачном уединении по Брянской дороге.

Маленькая усадьба утопала в дряхлом саду, в окнах нашей избушки на курьих ножках бесконечные, струистые, золотые горизонты, да лес, зеленый, сырой, душистый. Две паршивые собаки уныло бродили по аллеям, да стрекотал по беседкам дореформенный штат прислуги.

Хозяин Иван Кузьмич, совершенно глухой старичок, служил в каком-то банке в Москве и приезжал только по субботам, нагруженный пакетами, кульками, бутылками.

Все это расставлялось на столе под вечерними березами, и о чем только В.Брюсов не беседовал с Иваном Кузьмичом! О Боге, русском народе, о современном положении вещей, которое прошлому, конечно, и в подметки не годилось, о собаках, почему-то вечно паршивевших, о клумбах, о высадках, о будущей рубке капусты, о завтрашнем меню.

— Какой обходительный господин, Валерий Яковлевич, — восхищался Иван Кузьмич. — Сейчас видно, что интеллигентный субъект!

[В приемной «Скорпиона» и «Весов», в деловые часы, стиль был строг и неизменен. Здесь более, чем где-либо, одна половина существа В.Брюсова жила своей подлинной жизнью.

Молодые поэты поднимались по лестнице с затаенным сердцебиением. Здесь решалась их судьба — иногда навсегда, здесь

производилась строжайшая беспристрастная оценка их дарований, знаний, возможностей, сил. Здесь они становились перед мэтром, облеченным властью решать, судить, приговаривать.

Не только для Москвы и Петербурга, но тогда и для всей России две комнаты на чердаке «Метрополя» приобрели значение культурного центра, — непоколебимость гранитной скалы, о которую в конце концов разбивались в щепки завистничество и клевета ортодоксальной критики.

Аристократизм «Скорпиона», суровая его замкнутость, трудность доступа в святилище, охраняемое «свирепым цербером» (так говорили, конечно, шутя) — все это вместе относилось исключительно на счет Брюсова, и стена между ним и людьми росла.]<sup>100</sup>

[Фанатиком, жрецом, священнослужителем искусства прошел Брюсов сквозь жизнь, и в этом-то и была его органическая сущность. Мало кто знает сейчас, как жил В. Брюсов в дореволюционные годы. Он был странно охвачен страстью общественной деятельности и в этот тусклый костер (беспартийный костер) бросал немалую часть себя. Художественный Кружок, рефераты, заседания, суды чести, участие в художественных президиумах, редакция «Скорпиона», «Русской Мысли» — все это поглощало у короткого вообще человеческого дня часы и часы.]<sup>101</sup>

[Я как-то спросила одного молодого поэта:

— Каким представляет себе ваше поколение В. Брюсова в реальной жизни?

— Размеренным, конечно, методичным...

Рассказывают, например, что он писал стихи, запираясь, как в башне, у себя в кабинете, требуя вокруг абсолютной тишины, писал по хронометру, от такого-то до такого-то часа...

Смешно, но так думали и так думают многие.]<sup>102</sup>

В. Брюсов [писал свои стихи на ночном, вечернем асфальте, врезал в память строки, как в металлическую доску, писал в трамваях, на извозчиках, во время прогулок. У него не было для них ни одной записной книжки. Иногда лишь приходил и говорил:

— Скорее! Сядь, запиши... я потом сделаю.

Подчеркиваю это слово, как в высшей степени для метода его творчества характерное. «Вдохновение» для него было составной частью предварительной работы, а не самодовлеющим фактором. И строки Бальмонта:

Нам нравятся поэты, похожие на нас,  
Священные предметы, дабы украсить час<sup>103</sup>,

В. Брюсов приводил как яркий и комический пример поэтического

«соловьиного пения», где не требуется «работы», — упорной, часто ювелирной, часто скульптурной, часто философской.

Но когда именно он работал, поглощая тома материалов для предварительных исследований, необходимых для переводов и прозы, как успевал с такой внешней легкостью выбрасывать в печать тома своих произведений, это для меня и до сих пор тайна.]<sup>104</sup>

Так писался им роман «Огненный ангел» — 5 лет. Жизненные жертвы В. Брюсова, для того, кто их знал на себе на протяжении всей его миссии, казались бы более правдоподобными лишь в житии какого-нибудь святого. Существовавшие для дня и не для вечности люди, которые рикошетом ранили горько, по-детски роптали.

Но что касается меня, после его смерти я смотрю в прошлое долгим нежным и благодарным взором. Я говорю — иначе быть не могло! Если бы было иначе, — я жила бы остатки дней с несмысленным грехом на душе<sup>105</sup>.

Но от неизбежных мельканий «стилей» все туманней становился его внешний облик перед людьми.

[Большой сумбур вносит в характеристику Брюсова Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке».

В Москве были и такие, что на первом плане отмечали бытовые-буржуазные черты его жизни.

На многое и я смотрела с грустью...

Но только теперь, через годы, после его смерти, глубокий смысл открылся для меня в его полусутильных, не раз повторяемых словах:

— Ах, позволь мне иногда быть маленьким, маленьким и на это время уходить. Позволь мне иногда прятаться в «коробочку». Я так устал быть всегда «большим».

Да, я, конечно, не могла бы играть с ним и его родственниками по воскресеньям в преферанс по маленькой, чистить щеткой воспетый двумя поколениями поэтов черный сюртук, печь любимые пироги, варить кофе по утрам, составлять меню обеда и встречать его на рассветах усталого, сонного, чужого... Этот терновый венок приходится на долю жен поэтов...]<sup>106</sup>

С того момента, когда Брюсов становится центральной фигурой моих «Воспоминаний», события символистской эпохи делаются только фоном для углубленных личных переживаний — синематографической лентой, то в памяти бледнеющей, то вспыхивающей в зависимости от его присутствия и участия.

Куда делись в эту осень «аргонавты», как они исчезали один за другим, я не помню. Как они жили? Верно, вязли в мистических трясилах арбатских переулков, верно, по-прежнему стадом ходили за А.Белым. О них я не тосковала<sup>107</sup>.

Литературная московская жизнь шла своим чередом. С.Кречетов процветал где-то в ресторанных сферах, отметив для «будущего русской литературы» и крупную и смешную и возмутительную и трогательно русскую фигуру «мецената» Николая Рябушинского<sup>108</sup>.

Словно с сукон Художественного театра сорвался этот красавец-рында. Не хватало ему сценических атрибутов. Но и в черном сюртуке и в куцем фраке, все равно, как в белом кафтане, был он по-старинному, по-отечественному хорош: очи соколиные, брови соболиные, золотая бородка, зубы-жемчуга.

С.Кречетов его отметил.

1905 год приближался, подземные гулы его сотрясали современность и для нас было событием первой важности возникновение «Золотого руна».

В.Брюсов следил издали, как вздувались мыльные пузыри, талантливые или бездарные копии «Скорпиона». Этой осенью мы познакомились ближе.

Меня стали неудержимо манить «спиритические тупики». Прочитав немало спиритических и теософских книг, я хорошо знала, придерживаясь конечно круга принятых идей, к каким отрицательным последствиям ведет бесцельное проковыривание дырок в занавесе, отделяющем потусторонний мир. Прежде всего, конечно, обострится невращения, а за этим — шопоты, шорохи; налетит всякая нечисть, задует противный потусторонний сквозняк и прочее и прочее...

Но неудавшееся преображение жизни оставалось в душе зияющей дырой. Если не удалось преобразить, может быть уже исказить-то удастся, думала я злорадно.

С.Кречетов весьма интересовался спиритизмом и его терминами жонглировал в гостиных очень искусно. У нас еще при аргонавтах, и словно в пику им, собирался раз в неделю небольшой и замкнутый кружок: Ланг-Миропольский, Саша Койранский, покойный композитор Ребиков, студент Б.Попов и забеглый аргонавт А.Печковский<sup>109</sup>.

В эту осень выбыли Саша Койранский и Ребиков. Думаю, поэтому прекратились и феномены.

Загасят свет, ждем впотьмах час, другой — ничего! Через неделю снова ждем.

В. Брюсов о наших сеансах знал, но как будто ими не интересовался. Однажды, когда С. Кречетов заменял своего брата (нотариуса) в конторе на Варварке, я пошла к нему зачем-то днем. Был обеденный перерыв. Я поднялась наверх в квартиру и поразились чуть не до столбняка: за чайным столом в мирной беседе с С. Кречетовым сидел В. Брюсов, простой, добродушный, какой-то домашний, новый мне, невиданный, ну, просто невозможный. На встречу поднялся с пленительной улыбкой:

— Вот и деловым человеком стал, Нина Ивановна. Пришел к Сергею Алексеевичу совершать нотариальный акт.

— Да?

С. Кречетова вызвали.

— Отчего Вы такая печальная? Нет, не печальная, — трагическая... Донна Анна Вы...

Смеялся ли он, что ли? Великая честь быть донной Анной!

Этот разговор на странную тему прервал приход С. Кречетова. Ему было нужно возвращаться в контору. Извинился, предложил нам остаться посидеть.

Но «посидеть» с Брюсовым мне было как-то страшно и неприятно.

— Выйдем вместе? — спросил он.

И в первый раз по-настоящему увидела я его улыбку, прекрасную, лучезарную, меняющую все лицо.

Вышли на Варварку. И хотелось сказать:

— Вам куда, Валерий Яковлевич, направо? А я налево!

Но В. Брюсов, помахивая тросточкой шел рядом и не думал прощаться.

— Почему никогда не приглашаете на сеансы?

— Сеансы? Да могут ли они Вас интересовать?

— Очень! В Москве сейчас кроме вашего нет ни одного спиритического кружка.

— Тогда приходите.

Сказала, и все захолодело внутри. Пророчество А. Белого вспомнилось, да и сеансы-то... ни медиума, ни феноменов. Стыд один. Но светски повторила:

— Пожалуйста, приходите. Все будут счастливы Вас видеть, Валерий Яковлевич.

Мы шли по тротуару около Новых Рядов. Стоял пронзительно лазурный сентябрь, пахло яблоками из подвалов, на углу продавали последние астры с жесткими, словно жестяными, лепестками. Таким ли был прошлогодний сентябрь!

Точно угадав мою мысль, В. Брюсов сказал:

— Вот, к каждому углу привязано воспоминание. И как похожи они все!

— Ну, не все, — ответила я. — Извините, не все.

— Да? Значит у вас есть неизгладимое?

— У меня? Есть!

— А у меня пока нет. Я тоже хотел бы пережить что-то особенное, неизгладимое, чтобы...

Но я перебила:

— Вам в «Скорпион», конечно? До свидания.

На углу Тверской оглянулась. Чертя тросточкой по тротуару, он стоял и смотрел мне вслед.

С.Кречетов переполошился:

— Брюсов придет? А у нас ни медиума, ни феноменов!

— Устройте. Чего стоит...

Люди собрались с торжественными лицами. Честь-то, честь-то какая! Научный характер будет, конечно, носить сеанс, если и без медиума, то с оракулом.

Но ошиблись. Простой, домашний, какой-то уютный, появился среди нас В.Брюсов, и к тому же не в сюртуке, а в сером пиджаке. Уютно уселся за чайным столом, говорил о спиритизме в тоне популярных брошюр, давая советы, ободряя потерявших мужество. Настал момент сеанса. Выдвинули столик, спустили занавесы, заткнули все щелки от уличного света, погасили огонь, встали цепью. Тьма.

Я знаю и люблю ее. И странно, для меня она никогда не бывает абсолютной, даже в черных альпийских туннелях. Наплывает белый рассеянный туман, виснут белые инеем сверкающие нити, леопардова шкура раскинулась по потолку, пятнистая, противная. Стены упали, открылись черные бездонные провалы под ногами, входы в бесконечные лабиринты, без контуров, без отсветов, без теней.

Все противоречит самым элементарным физическим законам, а потому сладостно страшно и хочется это длить, как в последней еще сознательной стадии какого-то наркоза, когда не отличишь видения от яви.

Жизнь, погруженная в эти волны, легка, как пушинка, обескровлена, смешна. Что такое «аргонавты»? Замысловатые знаки препинания во вселенной вместе со своим «лжепророком» А.Белым. Что такое скорбь моя? Черная капля в мировом кубке.

Рука то горит, то стынет, словно в лютый мороз. Наваждение это, что ли? Я не хочу его. Я хочу владеть собою всегда, даже в час смерти, — говорю я себе, — не хочу наваждений!

— Опять Вы размыкаете цепь, — шепчет В.Брюсов.

Глаза участников конфузливо моргали, когда зажгли люстру.  
— Это ровно ничего не значит, — утешал В.Брюсов, — для получения феноменов необходимо коллективное напряжение воли. Очевидно, сегодня чья-то противодействовала, здешняя ли, потусторонняя ли, — не знаю.

— Моя! Моя! — злорадно подумала я.

После сеанса и ужина С.Кречетов в приятном настроении учитывал выгоды от неожиданного сближения на спиритической почве с В.Брюсовым.

— Может быть, теперь грызть меня меньше будет? Как ты думаешь? А?

Я этого не думала...

Через дня два-три В.Брюсов позвонил по телефону:

— Когда же у Вас предполагается сеанс?

Объяснила, что сеанса не будет, что мы едем в «непокойный дом» расследовать обстоятельно на месте феномены.

Стилистически заинтересовался В.Брюсов.

— Ах, я сам давно жду такого случая. Вы возьмете меня с собою, а? А Вы все в трауре, Донна Анна?

Сурово и отчетливо проговорила я в трубку:

— К Вашим услугам, Валерий Яковлевич. Будем Вас ждать, чтобы ехать на поезд.

В вагоне терзало нелепое сочетание людей, искусственное производство разговоров и ничем не мотивированное присутствие В.Я. Часов в 6, в глубоких сумерках вышли мы из вагона. Ждали экипажи: коляска парой и тряский тарантас, заваленный сеном...

Поехали. Начала разговора — и десятой части его не помню, — весь в полунамеках, как в моде было тогда говорить. Но, видно, Брюсов был отлично осведомлен о крушении «Элевзинского храма».

Было странно и нерадостно ехать так рядом с человеком, которого годы и годы хотелось встретить совсем не так, перед которым хотелось стоять ученицей, тербя передник в холодных руках. Ученицей перед мэтром!.. А тут что? Глупая поездка, в чей-то глупый «непокойный дом».

Наконец лают собаки, виднеется серый забор, ворота... Какие-то люди (их было четверо) подошли к нашим экипажам с приветствиями.

Это были туземцы, ожидающие спиритическую комиссию, — старший и младший учителя с женами. Младшие повели нас к себе и начали с места в карьер угощать почетных гостей.



Это были молодожены. Розовая ситцевая бомбоньерка — их комната, начала скоро качаться перед глазами, как корабль в буре: то все в ней туманилось, то назойливо лезла в глаза каждая деталь — клетка со спящей птицей, альбом с бронзовыми застежками в виде львиных лап. На плюшевой скатерти, длинно-белый унылый нос хозяина жил перед глазами самостоятельной жизнью.

— Ну, так расскажите же, в чем дело. У вас беспокойно в доме? Феномены?

Допрашивал, конечно, Кречетов. Он всегда вывозил на своих плечах людей, не знающих, как себя в некоторых случаях вести...

— Ужасно беспокойно. Жить нельзя! По ночам стучи то в крышу, то в стену, в сенях кто-то шаркает туфлями, в дверь стучатся. А наберешься духу, выглянешь — ни души. Да кому же у нас ночью ходить? Коллега с женой спят, сторож тоже, а кругом лес да поле.

— Гм... Нужно устроить немедленно сеанс, — решили сообща.

Бутылки значительно опустели. Сеанс обещал удачи...

В пустой огромной сельской школе ночью было похоже на церковь. Облака упали за лесом, высоко стояла желтая луна. Черные кресты рам режут пол. Парты словно гроба. Все куда-то разбежались. Постояла одна, вышла, опять вошла и черная узкая тень поднялась из-за парты.

— Вы?

— Я... Сядьте здесь. Пусть он устраивает сеанс. Сядьте же, я очень много хочу Вам сказать. — И ничего не сказал. Мимо нас, натываясь на парты, бродил Попов, ощупывал нас за плечи и не узнавал.

Кречетов был вне себя, но, сохраняя престиж, пространно объяснял молодоженам трудность добиться спиритических разъяснений с первого же раза.

Но молодожены во всем сознались сами, когда бутылки опустели совсем: старший учитель метил на их место свою племянницу и попросту выживал их с помощью «потусторонних» вторжений в их скромную жизнь.

Валерий Яковлевич хохотал, как сумасшедший.

Спать мне не пришлось. Спиритов положили в бомбоньерке, а меня приютил тот самый злодей, старший учитель, на клеенчатом диване в прихожей. Всю ночь зверски ели клопы, огромные, какого-то апельсинового цвета.

На другой день до вечера обозревали окрестности. Обозревать собственно было нечего. Впрочем, в деревне жили кустари

и, уже зараженные московскими микробами, делали терракотовые несуразные вазы и бюсты женщин с зелеными волосами. Называли они их «декадентками».

Маленький русский раритет обнаружился на сельском кладбище: церковь-миниатюра, с папертью-колокольной и тончайшими внутренними деталями. Влезая в нее боком раз в год, священник с игрушечными дарами на игрушечном престоле совершал литургию. Так отблагодарил Господа за избавление от какого-то злого недуга своего пятилетнего сынишки местный Тит Титыч.

Было ужасно холодно. Почему-то без пальто, заложив руки в карманы серого пиджака, стоял В. Брюсов, опершись спиной на ствол дерева. Ледяной красный бисер рябины свисал над его головой...

Было ль? Не знаю. Мальмстромом крутящим...  
Дни все, что было, сметают на дно!<sup>110</sup>

В кабинете Кречетова висел в углу телефонный аппарат, и никогда я не думала, сколько возможностей затаено было в этой коричневой деревянной коробке...

Никогда не забуду, как буквально «проворковал» в нем на бархатных нотах в первый раз голос В. Брюсова, без всякой нужды, без всякого дела, чтобы потом звучать часами, часами, часами...

Это было на другой день после поездки в «непокойный дом», в три часа.

— Нина Ивановна, это Вы?

— Я...

— Я Вас ни от чего не оторвал?

— От чего же меня можно оторвать?

— Что Вы делаете?

— Просматривала корректуры, смотрю на соседнюю крышу, кажется, плачу или буду скоро плакать...

— Все о том?

— О чем? — я рассердилась, — откуда Вы можете знать? Какой гимназический вопрос.

Ах, потери роковые, невозвратимые, никогда не ощущается во всем комплексе за ними грядущих духовных минусов.

Грохот самой катастрофы иногда бывает упоителен, как всякое чувство, переполняющее человека до краев. Пустота начинает зиять из каждой щели только потом, — усиливаясь с каждым проходящим днем, и тогда разливается, как полноводная река, неутешное горе.

Так было и со мной. В час, когда позвонил Брюсов, стены грифского кабинета казались мне могилой, а этот голос зовом земли.

— Может быть, мы увидимся сегодня?

Холодно, как всегда, я сказала:

— Пожалуйста, в 8-9 мы дома...

Но в этот же вечер, когда в первый раз В. Брюсов пришел, как гость, я поняла, что видеться нам здесь лучше не надо.

— Что это он повадился-то? — спросил потом Кречетов.

Этого вопроса с меня было довольно. Я сама еще не знала, ни зачем он «повадился», ни почему я ему в этом не отказываю.

На другой день мне принесли корзину белых лилий. Тех самых, что должны были «украшать братский стол в Элевзинском храме»...

Я тоже чувствовала теперь к Брюсову острое болезненное любопытство и, совсем запутавшись в мистических тупиках, стала возлагать на него странные надежды.

«Маг-заклинатель, рысь, рыскающая по подозрительным оккультным трущобам» (А. Белый — «Воспоминания о Блоке»), этот человек, конечно, владеет темными тайными знаниями, и если нельзя преобразить жизнь в «золото и лазурь», то, может быть, уж из тьмы-то никто не вышвырнет!

Меержковский сказал же:

Небо вверх  
Небо вниз,  
Что вверх,  
То и вниз...

Может быть, даже еще упоительнее и прекраснее эта нижняя черная бездна, утыканная золотыми гвоздями навеки потерянных звезд...

И я однажды сказала В. Брюсову:

— Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда...

[Было это поздней ночью, в каком-то трущобном переулке около Дорогомиловской заставы. Ледяной ноябрьский ветер свистал по пустырю, кололся на лету замерзающий дождь. Глубоко пряталась в пухло-черных тучах маленькая хилая луна. Свет ее в грязных прорезах был мертвенно сер. По рытвинам, по тоскливому бездорожью тянулись низкие дощатые заборы. «Золото и лазурь» задернулись погребальной пеленой этой ночи, навсегда.

— Вот видите, В[алерий] Я[ковлевич], — обступил ведь «сон глухой черноты», и уйти некуда, — нужно, значит, войти в него. Вы уже в нем, теперь я хочу туда же.

Он, конечно, знал, о чем я говорю. Под эту «декадентскую» фразу даже здесь, сейчас, я могла бы подписать простую, удобопонятную. Но тогда выразаться удобопонятно было не в моде.

Он знал, но все-таки мы еще не понимали друг друга.

Брюсов положил мне руки на плечи и посмотрел в глаза невыразимым взглядом:

— И пойдете? Со мной? Куда я позову?

С этой ночи мы, сами того не зная, с каждым днем все беспоротнее вовлекались в «поток шумящий», который крутил нас потом семь лет.

Наступила настоящая зима — с морозами, с запевающими на перекрестках белыми вихрями.

В наших излюбленных печальных и бесприютных местах, в Дорогомилове, в Девичьем монастыре, на Ваганьковском кладбище, в вымершем Петровском парке наметало сугробы. Тогда мы стали проводить дни в музейных и выставочных залах, а ночи в ресторанах, всего больше в ресторане «Метрополь».

Помню наш столик, — говорю «наш», потому что лакеи, включив нас в круг ночных забулдыг, как-то умели его освободить к одиннадцати часам. Он стоял около внутренней подъемной машины. Стекланный высокий ящик, разрисованный по изумрудно-морскому фону какими-то подводными цветами, медленно поднимался и опускался каждые пять минут. В нем, просто-напросто, возили пустые тарелки и привозили кушанья. Но в слегка затуманенном вином и музыкой мозгу возникали причудливые грезы о подводном морском дне. Качались полумертвые водоросли, они словно ждали утопленников, чтобы оплести их тела цепкими зелеными волосами, тарасили глаза морские рыбы, шевеля радужными вуалевыми хвостами, дышали ядовито жгучие подводные цветы...

Красный фрак дирижера неаполитанского оркестра развевался узкими фалдочками в синеватой ресторанный мгле.

Об этих ночах Брюсов писал:

Словно в огненном дыме и лица и вещи...

Как хорош озаренный, бессонный хрусталь.

За плечом у тебя чей-то призрак зловещий...<sup>111</sup>112

Иногда приходил к нам С.А. Поляков, издатель «Скорпиона» и «Весов». Где он сейчас, не знаю, но вспоминаю этого человека с глубокой и горестной нежностью.

После каких-то роковых крушений своей интимной жизни, он жил в полном внутреннем одиночестве, как Робинзон, выкинутый на дикий берег. Он чувствовал чужую душу глубоко и про-

никновенно, и сам умел страдать молча, проходя сквозь жизнь, как гамсуновский герой, может быть потому был в то время единственным прекрасным переводчиком Кнута Гамсуна.

Нам иногда были коротки целые ночи втроем. Тушили люстры, бра, церковный мрак залегал в сводах зала. Нужно было уходить. Куда? Домой? Это слово для нас троих звучало язвительной шуткой.

Вследствие врожденной психической дегенерации (один врач сказал мне: «... такие экземпляры рождаются в перекультуренных семьях...»), меня тянуло к наркозам всякого рода буквально с малых лет.

В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным терпким вином, где как жемчужина Клеопатры была растворена его душа, и сказал:

— Пей!

Я выпила и отравилась на семь лет...

Стало так, что дни проходили до вечера, погруженные в какую-то куриную слепоту.

Вокруг жизнь процветала. Книгоиздательство «Гриф» достойно плелось за «Скорпионом». Что оно именно «плелось» по проторенной дороге, этим возмущались только мы с В. Брюсовым. В публике же его почти от «Скорпиона» не отличали, потому что сотрудники и лозунги (все, кроме вкуса и литературно-исторической необходимости) были почти одни и те же.

Теперь посетители, поклонники, почтальоны, типографские рассыльные целый день рвали звонок. В столовой с 12 дня открывалось кафе со спиртными напитками.

Среди знакомых и незнакомых, приезжающих и прощающихся, я бродила, как сомнамбула, до вечера. Из всех моих платьев, помню, выбрала одно, черное, бархатное, удобное, как хорошо прилаженный футляр, как просторный гроб.

Приезжал с женой, Зиновьевой-Аннибал, Вячеслав Иванов, кажется, Сологуб, читали лекции в Художественном Кружке Чуковский, Аничков<sup>113</sup>, приезжал Кузмин, — все они проходили для меня где-то далеко, и вообще жизнь я видела точно через обратное стекло бинокля — в невыразимой дали.

Как призраки горько ненужные  
Мы, люди, скользим пред тобой.  
Ты смотришь в дали жемчужные  
Поникшей душой<sup>114</sup>.

— писал мне в стихотворении «Портрет» В. Брюсов.

— Куда ты? — спрашивал изумленный Кречетов. — Вьюга. Мороз!

Я уходила... все равно.

— Меня ждет В[алерий] Я[ковлевич]. Мы идем в концерт... в театр.

— Удивительная дружба. Ведь вы же прежде недолюбливали друг друга. Неужели влюбилась?

[Но ни в концерты, ни в театры мы почти никогда не ходили, иногда разве, и то словно по наряду, на значительные премьеры. Серьезная музыка, да что, даже опера, навели на него буквально сон. Самый сладкий, запретный и неприличный сон.

Какой-то новомодный режиссер Большого театра вывез почти все декорации для «Мадам Батерфляй» из Японии. Это было сенсационно, и вся Москва сбежалась слушать и смотреть. Мы тоже пошли. К концу первого акта В.Я. начал зевать, в начале второго просто заснул, а в конце его уехал на заседание Художественного Кружка. «Братьев Карамазовых» я, благодаря ему, из двух представлений видела три четверти первого с грехом пополам. А на «Жизнь человека», где я проплакала от поднятия занавеса до конца над «разбитой жизнью», он и совсем не пошел.

Современный театр его не удовлетворял. Он находил его обветшалым, слишком связанным с отжившими традициями. Даже Художественный тех лет...]<sup>115</sup>

Стало ужасно холодно. Однажды, это было в начале декабря, мы, встретившись, как-то моргали обмерзшими ресницами.

— Пойдемте, — сказал В.Я., — нельзя тут стоять.

— Куда?

— Ну, пойдемте же. Меня ждет извозчик. Вы закройте глаза, потом увидите.

Глаз я, конечно, не закрыла. Мы пересекли Театральную площадь и свернули за Большой театр. Эту улицу я знала, но никогда не отмечала. Самый обыкновенный московский дом, над дверью вывеска «Гостиница Русь».

Маленькая узенькая комната с окнами на Театральную площадь. Перед диваном стол — весь в цветах. Гиацинты на этажерке, на подзеркальнике. Я не удивилась. Хотелось только присесть и погреться.

Там было еще низкое глубокое плюшевое кресло. Я никогда не видала его днем. Мне кажется, что вытертый на ручках плюш был зеленый с розовыми веночками.

Я села в это кресло, озябшая собачонка, выкинутая на улицу из храма Элевзинских мистерий. Он встал предо мной на колени,

и я положила ему руки на плечи. Никогда не забуду этого ощущения под пальцами, уже интимного, незабвенного уже, угловатые плечи под атласным сукном знаменитого сюртука.

— Хотите, чтобы тут был наш дом? — спросил он.

«Дом» — замкнутый от мира мир! Гостиница «Русь Вселенная».

Но в человеческом, в житейском смысле я еще не любила В.Брюсова. Его присутствие действовало на меня пока только как наркоз, как шприц морфия, заглушающий нестерпимую боль, как шепотка кокаина, воскрешающая полутруп.

Сядь на это кресло, я точно завертывалась в нагретый чужим телом мягкий бархатный плащ. В янтарно-черных прекрасных глазах зажигались золотые искры начинающего разгораться огня, от них становилось тоже тепло и приятно.

Черный сюртук, пропахший насквозь моими духами и просоленный моими слезами о «невозможном», однажды в негодовании вышвырнула на мороз жена его. Но, как всегда бывает в жизни, в трагедию вкрался комический элемент: она по ошибке выкинула старый, не тот!

А в это время муж мой С.Кречетов кружился в литературно-светских вихрях. Я от него уходила все дальше, все невозвратнее, с каждым днем. Но впрочем, он меня и не удерживал особенно. Я стала ему неприятна. Наши встречи, обыкновенно за столом, редко уже не кончались тяжелой ссорой. Наша вражда на литературной почве обострялась и крепла. Кречетов ненавидел С.А. Полякова, ненавидел весь скорпионовский уклад дела с В.Брюсовым во главе. А я на каждой складке платья носила сейчас ненавистный ему дух.

Иногда, совершенно не желая пускаться ни в какие дебаты, я, возвращаясь, начинала говорить о постороннем, но он, злобно сверкая глазами из-под пенсне, говорил:

— Ложилась бы ты лучше спать. Видишь, какая у меня грудка корректур. К тому же от тебя слишком пахнет «Скорпионом» и его присными.

Да, к счастью, С.Кречетов меня положительно разлюбил. Однажды, перед формальным уже разводом, в знойный июльский вечер мы возвращались из Москвы в его Малаховку. У него уже тогда начиналась новая личная и более приятная жизнь<sup>116</sup>.

О чем-то острым опять говорили, — он посмотрел на меня и с негодованием зафыркал:

— Да разве ты женщина? Куришь, пьешь, как матрос. Ты

просто фельетонист в юбке, отвратительный мне тип! Женщина должна быть женщиной во всем.

— И в глупости? — спросила я с лукавым намеком. — И в пристрастии к фарфоровым собачкам?

— Даже в этом. Это женственно по крайней мере.

В январе этого года подступила к сердцу такая невыносимая тоска, что я решила умереть.

Я сказала однажды Брюсову:

— Ты будешь скучать, если я не приду к тебе больше никогда?

Он не ответил и спросил:

— А ты найдешь второй револьвер? У меня нет.

(Поверит ли кто-нибудь, что в зените своей славы, холодный, бесчувственный, математически размеренный в жизни, В. Брюсов написал:

Смерть, внемли сладострастью  
Смерть, внемли славоволью  
Ты нетленно чиста  
Сожигают любовью  
Твои уста.

Действительно, спустив свой хаос с цепи в те годы, ничего не желая, жаждал упиться мигом экстатической смерти.

Потом, гораздо позднее, он звал меня два раза умереть вместе, и я не могу себе простить, что в 1909 году не согласилась на это...)

— А зачем же второй?

— А ты забыла обо мне?

Один мне подарил С.А. Поляков, а другой перед 1905 годом было нетрудно достать, и я получила его от какого-то товарища Миши через знакомых, да еще по дешевой цене.

— Ты хочешь умереть? Ты... ты? Почему?

Он сказал:

— Потому что я люблю тебя.

Но мы не умерли, и в январе следующего года пышно чествовали ужином приехавшего в Москву Н.М. Минского<sup>117</sup>.

Окультиные интересы в Москве все разгорались. Стали интересоваться спиритическими феноменами, и не на шутку, даже какие-то молодые ученые и университетские приват-доценты, группирующиеся около некоего А.С. Хомякова, — последнего отпрыска знаменитого рода славянофилов Хомяковых.



По его инициативе вскоре выписали в Москву из Варшавы известного профессионального медиума Яна Гузика<sup>118</sup>. Он же любезно предоставил для сеансов помещение в своем особняке на Новинском бульваре.

Я не была в Москве 14 лет и могу ее помнить только прежней, и почему-то этот обломок быта, особняк Хомякова и сам он врезались в память с яркостью воспоминаний детства. Вот звонишь, но это не веселая электрическая трель, а какой-то гулкий, хриплый стон вдали.

Шарканье старческих ног в вестибюле, особенный дряхлый скрип двери, и старик в белом жилете, с лицом министра, с седыми баками, почтительно кланяясь, встает на пороге:

— Барин дома?

— Дома. Пожалуйста-с, они в детской.

Идешь по анфиладе комнат с допотопными люстрами, с унылыми диванами тридцатых годов, обитыми плюшем. В одной из последних комнат, где в горках аккуратно расставлены самые замысловатые игрушки, из-за низенькой парты поднимается «барин» в куцем синем пиджачке с протертыми локтями. Барин, расточительный миллионер, полу-ученый, полу-писатель, владелец колоссального конского завода и бесчисленных угодий по всей России, высокий, прихрамывающий человек, с атласисто черной маленькой змеиной головкой и умными небольшими фиолетовыми глазками.

Наружность совершенно дегенеративная и неприятная и чем-то привлекательная.

В. Брюсов потом очень любил бывать в этом доме и уверял, что в нежилых комнатах мезонина непременно скрыты какие-то тайны в духе Эдгара По.

Инициатива пригласить Яна Гузика исходила из хомяковского особняка. За поездку тот спросил 1200 р[ублей], и участники, человек 18, охотно поделили расходы.

Н.М. Минский, захваченный врасплох настроением умов, непременно пожелал принять участие в первом сеансе.

Ян Гузик появился в гостиной Хомякова перед нарядной публичкой, с приятным внутренним щекотанием ожидающей наплыва спиритической жути, совсем как призрак. Более отвратительного существа я в жизни моей не видала.

Небольшой, весь какой-то узкий, с зеленовато-трупным лицом, с зеленоватыми же, словно замершими, глазами, по моему впечатлению даже холодный и сыроватый наощупь, в узко облегающем узкое тело, словно пропитанном плесенью сюртуке, он как-то странно мигал от яркого света и жался к стенам. Н.М. Мин-

ский попросил его посадить непременно рядом с медиумом для контроля.

Сели цепью, погасили огни. Только на камине — кроваво-черная лампада.

Около Яна Гузика положили и поставили все необходимые атрибуты: какой-то ящик, вроде клетки, с бубенчиками внутри, ручные колокольчики, карандаш и бумагу и пр.

Звоните, пишите, трясите клетку с бубенчиками, духи! Шарьте по лицам холодными пальцами, убеждайте в существовании загробного мира! Но — ничего! Ровнехонько ничего! Кто-то негодующе шипел, верно думал: зазря вышвырнул ты денежки!

Но вдруг, как будто что-то началось. Явственно звякнул в клетке бубенчик.

Экспансивный Минский, сразу поняв, что это действует дух самого Яна Гузика, сделал по его адресу какое-то неосторожное замечание. Опять тишина, и вдруг отчаянный крик Минского:

— Ай, ай! Меня бьют. Зажгите же огонь. Черт знает что!

Всполошились. Вспыхнула люстра. Ян Гузик сидел, тяжело дыша, как зеленое изваяние, а Минский отчаянно тер покрасневшую щеку.

— Он, это он меня ударил. Ощущение такое, точно ногой в шерстяном носке.

С Яном Гузиком мы устроили второй сеанс, более интимный и малолюдный, в конторе брата моего мужа на Варварке. Огонь загасили совсем. Мы с В[алерием] Я[ковлевичем] сидели по обе стороны от медиума, держась с ним за руки.

И минут через 15 на этот раз действительно началось нечто очень противное: медиум захрипел как в агонии, и что[-то] стал нашаривать моей рукой за спиной в пустоте, и рука моя прикоснулась к какому-то очень твердому, не то окоченевшему, не то замершему телу, покрытому холодной отсыревшей тканью вроде полотна. Обшаривали мы это тело снизу от пола, но верха не достигали, верно, было оно слишком рослое.

Это удовольствие испытывали все по очереди. Волосы приятно пошевеливались на голове. Потустороннюю пакость одновременно хотелось и длить и прекратить.

Но длить не пришлось. Прекратить же ее немедленно настоял В.Я. Потому что Ян Гузик закатился в конвульсивном нервном припадке.

Сеансы с тех пор заглохли, но в столовой Хомякова, точно сорвавшейся с подмостков Художественного театра, мы ужинали потом не раз.

— Кушать подано.

И седовласый министр умирающего барского быта торжественно распахивал дверь.

Чуть-чуть охает и поскрипывает паркет, свечи в люстре тридцатых годов обливаются белыми слезами о невозвратном, сиротливы в углу клавишины, только стол лопаются от яств, цветов и бутылок.

Словно смеясь над прошлым и еще более того презируя настоящее, поблескивая умными глазками, улыбаясь беззубым ртом, хозяин говорил заученно-радушное:

— Милости просим!

Где-нибудь в уголке, за вазой с камелиями, за серебряным ведром с шампанским, склонившись друг к другу до неприличия тесно, мы с В[алерием] Я[ковлевичем] чувствовали себя где-то за тридевять земель.

[Ах, слишком долго с маской строгой  
Бродил я в тесноте земной...<sup>119</sup>

Годы, о которых я пишу, были годами расцвета таланта, сил и общественно-поэтической деятельности Брюсова. Он приступил тогда к печатанию сборника «Stephanos», о котором пишет в «Последних мечтах»:

Когда в великих катастрофах  
Наш край дрожал и кликал Рок, —  
Венчал я жизнь в певучих строфах,  
Я на себя взложил «Венок»<sup>120</sup>.

Жизнь венчала его истинной славой и признанием, и именно в те дни слагалась его ложная легендарная характеристика. Будет ли она исправлена, разъяснена после смерти, — не знаю.

Увидавшись с А.Н. Толстым здесь, в Берлине, спросила:

— Ну, а что же Брюсов? Расскажите.

Экспансивный и жизнерадостный Толстой сделал безнадежный жест.

— О чем с ним говорить-то? Сидели рядом за столом, «заседали», обсуждали вопрос о писательских пайках.

Толстой повел плечами как в ознобе:

— Холод какой-то вокруг Валерия Яковлевича. Даже физический, могильный какой-то! Больше не встречались...

Так рассказывал о Брюсове последних лет А.Н. Толстой — человек чуткий, хотя и далекий ему, но все же не чужой. За «маской строгой» и он ничего не прозрел.

Но не виню в этом А.Н. Толстого, встретившего Брюсова за два года до смерти — верно, полубольного, на 50-й весне. Ве-

роятно, как никогда, загородившегося «стилем». Но и в те баснословные наши годы, когда имя его было окружено ореолом славы, никто не подошел к его сущности верным путем.

Литераторы, особенно петербургские, критика, публика, просто знакомые, — все без исключения, сделав схему из его подлинных же черт, рассматривали в Брюсове какого-то «бумажного», бесплотного человека. Молодые поэты, талантливые и бездарные, перед ним почтительно преклонялись, принимали каждое слово за его схоластическое откровение, расшифровывали, споря до пота, каждую строчку его поэзии, как некие замысловатые профессиональные ребусы, падали ниц перед его «мастерством», в редакцию «Скорпиона» шли, как на казнь.

Было, конечно, больно, когда анатомически-расчленяющий нож вонзался в живое тело. Было очень больно, и боль казалась незаслуженной, потому что не понимали *отчего* и *зачем* эта мука и *какой властью* терзал их Брюсов.

Помню эстетизирующего новеллиста-петербуржца С.Ауслендера, свалившегося однажды в Москву, как лягушка в чужое болото. В оливковой суконной рубашке до пят, без пояса, с белым воротником «à la Робеспьер», с локоном, свисающим до кончика носа.

От «инквизиционной пытки» «Весов» он пришел отдыхать в «Перевал» под гостеприимный кров С.Кречетова. И в «Весы» не вернулся. Инквизитор от литературы, схема, картонный манекен, начетчик, маг, волхв, звездочет, «одержимый», маниак честолюбия и величия, в общении человек трудный и тяжелый, ядовитый, колющий, как игла, — так покончило с личностью Брюсова общественное мнение, так поставило на нем штамп...

Для петербуржцев (да простится это и покойному А.Блоку!) литературная Москва казалась царством Брюсова, очень неприятной «монархией», царством «ежовой рукавицы».

А в Москве, уже маститый, на всех перекрестках признанный Брюсов, председатель Художественного кружка, член многочисленных обществ, член суда чести, *arbitre* художественного вкуса — считался каким-то дальнобойным колоссальным крепостным орудием, консервированным, замаринованным в строфах, трудах, томах — сухарем.

Жертв его никто не понимал и не принимал. И его никто не любил.]<sup>121</sup>

Домашний быт его, преферанс по воскресеньям, буржуазно размеренная жизнь на Мещанской, все это в течение семи лет терзало и меня.

С мefистофельской улыбкой рассказывал мне В.Ходасевич:

— Хорошо было вчера... хорошо... очень приятно. Все честь честью, как во всех приличных домах. Чаю напились с тортом, потом в картишки сразились. Талантливо играет В[алерий] Я[ковлевич] в винт...

И подсматривал за мной. Да чего подсматривать! Видел на моем лице тоску, и, видя ее, наслаждался и, как умел, меня любил тогда...

— Чем выше идея, которой пытаемся мы служить, тем глубже и упорнее стремление жизни к ее искажению, к предательству, — сказал Ф.Степун в своей лекции «Трагедия и современность»<sup>122</sup>.

Этой истины не мог не знать В.Брюсов, и шел на «искажение» и на «предательство» сознательно, во имя защиты большого, главного, непреходящего.

[Жизненные встречи его были лишь профессионально-социальными отношениями, лучше сказать, — «клише» отношений, семейная жизнь его — фикция — привычный отель с мягкой постелью. Всю боль раздвоенности, весь огонь чувств, всю трагедию свою он укрывал под «маской строгой».

Вечно повторяющиеся слова его стихотворений, фатальные, знаменательные, исчерпывающие — проходили мимо внимания современников не отмеченными или назывались «риторикой».

— Ну что общего у этого манекена в черном сюртуке со страстью, отчаянием, безумием, алчностью, трепетами, гибелью?

Было признано в 1905 году пресловутое бальмонтское «безумие», возникающее на дне третьего стакана. Бальмонт творил из жизни поэмы по кабакам и канавам арбатских переулков, а Брюсов в это время «заседал», копался в архивах и рыскал по оккультным подозрительным произведениям, собирал материалы для «Огненного ангела» — так говорит об этом А.Белый в «Воспоминаниях о Блоке».

А.Белый писал о нем чепуху и смущал отдаленного, в себе замкнутого Блока; Сергей Соловьев гомерически, чисто по-соловьевски, им упивался лишь как поэтом; Ходасевич ядовито эстетически наблюдал. За столами, крытыми зеленым сукном, стояли его троны, стояла уже перед ним на задних лапах реакционная критика, дамы заучивали наизусть его строчки, редакции распахивали перед ним двери, толпа при его появлении в публичных местах смущенно замолкала, а Валерий Брюсов, как человек, оставался мифом, провинциальной легендой на демоническую тему, сочиненной А.Белым.<sup>123</sup>

[В 1905 г. покойный Врубель писал портрет Брюсова, находясь в психиатрической лечебнице доктора Усольцева в Петровском парке в Москве. Шемящей безнадежной тоской над особняком шумели облетающие липы. В коридорах тоже тоска смертная. Помню, дверь была полуотворена в одну камеру. Кто-то сидел у стола, закрыв лицо руками, рядом стоял служитель и уговаривал:

— Барин, скушайте котлетку...

— Голубчик! Скучно мне, — отвечал голос на звенящих струнных нотах.

И опять:

— Да барин, скушайте ж котлетку.

В одной из этих одиночных камер, полуслепой, безумный Врубель писал портрет В. Брюсова — каменную легенду невысеченных плоскостей, линий, углов, стараясь замкнуть в гранитном футляре огненный язык.

Брюсов не любил этого портрета. Чуть наклоненная вперед фигура поэта отделяется от полотна, испещренного иероглифами. Все в ней каменно, мертво, аскетично. Застывшие линии черного сюртука, тонкие руки, скрещенные и плотно прижатые к груди, словно высеченные из гранита лицо. Живы одни глаза — провалы в дымно-огневые бездны. Впечатление зловещее, почти отталкивающее. Огненный язык, заключенный в теснящий футляр банального черного сюртука. Это страшно. Две стороны бытия, пожирающие друг друга, — какой-то потусторонний намек...

Портрет этот никому не понравился. Мы с Брюсовым тайно согласились его уничтожить, — просто искромсать ножом, — совершенно по-скифски и совершенно не думая ни о вечности, ни об убытках мецената<sup>124</sup>. Помешало одно непредвиденное обстоятельство: в тот вечер, когда мы, будучи своими людьми, могли свободно пройти в редакцию «Золотого Руна» в отсутствие издателя, лакей Филипп напился и не отпер нам дверь. Потом прошла неудобная для действия неделя, и Николай Рябушинский, верно что-то учуяв в воздухе, портрет куда-то скоро сплавил. Где он сейчас — не знаю. Но недавно видела репродукцию его здесь, в Берлине.]<sup>125</sup>

Однажды в апрельский день, в полдень, в Риме, в Гоголевской библиотеке (это было приблизительно в 20-ом году) один эlegantнейший эмигрант, ровно ничего о моей интимной жизни не знавший, и только слегка осведомленный о моих литературных занятиях, вкусах и знакомствах, положил передо мной на стол номер какого-то русского еженедельного журнала.

— Посмотрите, здесь есть стихи Брюсова, вздор совершеннейший!..

За окном вся горела от солнца, словно вызолоченная, стена госпиталя Сан-Джакомо, и вдруг она посинела, будто надвинулась грозная туча.

— Да что с Вами? Посмотрите только, как они сейчас пишут! Вот:

Помню, помню вечер нежный,  
За окном простор безбрежный,  
Взор твой нежный, неизбежный,  
Белой яблони цветы...

— Бессмыслица просто! Почему нежный и неизбежный? При чем тут «белой яблони цветы»?

Молодой человек пожал плечами и, оставив передо мной на столе номер журнала, пошел по своим делам...

10-ого апреля исполнилось полгода со дня смерти Валерия Брюсова. Апрельский дождь окропит его могилу в Девичьем монастыре, но уже не воскликнет как однажды:

Что же мне делать, когда не пресыщен  
Я этой жизнью хмельной...<sup>126</sup>

Я не видела В.Брюсова в гробу. В моей памяти он жив и бесмертен. Но говорить о человеке и поэте, которого я не только знала, но которого чувствовала и чувствую до сих пор неотъемлемой частью моего бытия, говорить через полгода после его смерти, не только трудно, но и ответственно. Ни в одной детали событий, нас связывающих, мне не изменяет память, но, следуя внутреннему голосу, я отдаю этим страницам не больше, чем десятую часть моих личных и интимных воспоминаний.

*Нина Петровская*

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Только в рукописной редакции (ед.хр.2).

<sup>2</sup> О ее отъезде см.: *НЕКРОПОЛЬ*, с.41.

<sup>3</sup> См. «Литературное наследство» (далее — *ЛН*, если не указан номер, то речь идет об этом же томе), 1976, т.85, с.775.

<sup>4</sup> Дом Фетисова, Знаменская 20.

<sup>5</sup> Сергей Алексеевич Соколов (псевд. Кречетов, 1878-1936) — поэт, издатель. Основатель и редактор альманаха «Гриф» (3 вып.: за 1903, 1904 и 1905 гг. и 4-й юбилейный — за 1914 г.) и издательства того же названия (просуществовало до 1914 г.); редактор журн. «Перевал» (1906-1907); литературный редактор журн.: «Искусство» (1905) и «Золотое руно» (за первую половину 1906 г.). О его деятельности в начале века см.: *ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С.А. СОКОЛОВЫМ*. — *ЛН*, т.92, кн.1, с.526, и статью А.В. Лаврова «*ПЕРЕВАЛ*» в кн. *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА XX ВЕКА. 1905-1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания*. М., 1984, с.174-190. См. также: А.Белый. *НАЧАЛО ВЕКА*, с.229-232, и *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*, Л., 1934, с.245-254. О дальнейшей деятельности Соколова см. п.3 в наст.публикации.

<sup>6</sup> Аким Львович Волынский (Флексер, 1863-1926), литературный критик и искусствовед. См.: *ЛН*, с.797.

<sup>7</sup> Имеется в виду редакция журн. «Весы».

<sup>8</sup> Иван Иванович Коневской (наст. имя Ореус, 1877-1901), поэт-символист. См. с.36-37 настоящей публикации.

Александр Михайлович Добролюбов (1876-1942?), поэт, философ, мистик.

Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873-1944), поэт, переводчик, сотрудник журн. «Весы».

Сергей Александрович Поляков (псевд. С.Ешбоев, 1874-1942), издатель «Скорпиона» и «Весов», переводчик и литературный критик.

<sup>9</sup> *ЛН*. с.775-776.

<sup>10</sup> «Ребус» — еженедельный журнал (1881-1917), «независимый орган спиритуализма, психизма и медиумизма», выходил с 1904, Москва. Брюсов опубликовал в нем несколько статей о спиритизме (в 1900 г. две статьи: *МЕТОД МЕДИУМИЗМА*, №28, 9/VII, с.257-259, и *ЕЩЕ О МЕТОДЕ МЕДИУМИЗМА*, №41, 8/X, с.349-351; в 1902 г. — цикл статей *О СПИРИТИЗМЕ*, №№7, 11, 14, 18, 29 — за подписью В.).

<sup>11</sup> Александр Александрович Ланг (1872-1917), поэт-символист, товарищ Брюсова по гимназии Креймана, печатался под псевд. Миропольский (*ЛЕСТВИЦА*, поэма в семи главах. М., «Скорпион», 1902, с предисл.



Брюсова; *ВЕДЬМА. ЛЕСТВИЦА*. М., 1905, с предисл. Белого). Участник сборников *РУССКИЕ СИМВОЛИСТЫ*, альманахов «Северные цветы», «Гриф», журнала «Ребус». Ему посвящен брюсовский цикл юношеских стихотворений (1882-1896) в 1-м т. *ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ*, М., 1908. Увлекался спиритизмом. Что касается его отношений с Брюсовым, то после нескольких лет тесной дружбы и совместных литературных занятий к 1895 г. между ними наступает охлаждение (см.: В. Брюсов. *ДНЕВНИКИ*, М., 1927, с.20). Белый называет Ланга «одним из могикиан от "декадентства"» (*НАЧАЛО ВЕКА*, с.59).

<sup>12</sup> Виктор Викторович Гофман (1884-1911) — поэт и беллетрист. Участвовал в 1-м выпуске альманаха «Гриф», сотрудничал в журн. «Весы», «Искусство» и «Золотое руно». Брюсов упоминает о нем в *ДНЕВНИКАХ* как об одном из своих поклонников (с.121) и пишет предисловие к кн: В.В. Гофман. *Собрание соч.*, М., изд. Пашуканиса, 1917. См. также *ЛН*, с.207, и *НАЧАЛО ВЕКА*, с.206.

<sup>13</sup> Александр Степанович Рославлев (1883-1920) — поэт и беллетрист. Участвовал в 1-м альманахе «Гриф».

<sup>14</sup> Михаил Иванович Пантюхов (1880-1910) — писатель, печатался в 1-м альманахе «Гриф» и в журн. «Весы» и «Золотое руно» (М.Пант-ов). Опубликовал повесть *ТИШИНА И СТАРИК*, СПб, 1907, и книгу воспоминаний: *М.И. ПАНТЮХОВ. АВТОР ПОВЕСТИ «ТИШИНА И СТАРИК»*. Киев, 1911.

<sup>15</sup> Лицо неустановленное.

<sup>16</sup> Александр Антонович Курсинский (1873-1919) — поэт, беллетрист. Автор сб. стихов *ПОЛУТЕНИ* (1896), *СТИХИ* (1902) и *СКВОЗЬ ПРИЗМУ ДУШИ* (1906). В 1895 был репетитором детей Л.Толстого. Товарищ Брюсова по университету; сотрудник «Весов»; участник альманахов «Северные цветы» и «Гриф» за 1903, 1904, 1905 гг. Секретарь «Золотого руна»; после ухода из журн. Соколова одно время был его лит. редактором.

<sup>17</sup> В.Гофман покончил с собой в Париже 31.VII.1911. Б.Садовской в своих неизданных воспоминаниях о «Весях» дает такой портрет Гофмана: «болезненный молодой человек с землистым лицом. Поверх очков надевал он еще пенсне» (ЦГАЛИ, ф.464, оп.1, ед. хр.3, л.29).

<sup>18</sup> Пантюхов умер в психиатрической больнице.

<sup>19</sup> Ср.: «Нигде и никогда не приходилось мне видеть более цельного типа полнейшей абсолютной бездарности. Дюжинная внешность ординарного обывателя: маленький рост и большая не по росту голова, стереотипная бородка, оловянные глазки, пошловатые манеры». (Б.Садовской, указанная рукопись, с.22).

<sup>20</sup> 20 февраля 1898 г. Брюсов записывает в дневник: «Это душа угасшая. Последние струйки дыма поднимаются над ней только при разговоре о спиритизме» (*ДНЕВНИКИ*, с.34).

<sup>21</sup> Александр Арнольдович Койранский (1884-?), писатель, поэт, художник и критик. Автор статей по вопросам искусства и литературы в журн. «Весы» (Александрский), в «Перевале» и в газ. «Утро России» и «Русское слово». Б.Садовской в своих воспоминаниях характеризует его как «игрушечного декадента». «Маленький, остренький, старообразный — к двадцати годам борода и плешь — в зеленой студенческой тужурке "царского сукна", Койранский в одно и то же время мыслитель, поэт, живописец, музыкант и театральный рецензент. На всех выставках и первых представлениях можно встретить его рыжую бородку и пенсне, услышать отчетливые резкие суждения. И все в гомеопатических дозах. Но Койранский служит не просто искусству, а непременно "новому"» (ЦГАЛИ, ф.464, оп.1, ед. хр.3, л.12). Участвовали в литературной жизни начала века и два его брата — Борис (печатался во 2-м и 3-м альманахах «Гриф») и Генрих. В мемуарах они часто упоминаются как «братья Койранские» (см., напр., *НАЧАЛО ВЕКА*, с.207). В эмиграции А.Койранский жил некоторое время в Лондоне, затем в Париже, печатался в журн. «Общее дело», «Зеленая палочка», «Современные записки» (в 1921 г. — секретарь редакции). См. о его эмигрантском периоде *РУССКИЙ БЕРЛИН*, с.321-323, и М.Вишняк. *ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ, 1919-1969*. Париж-Нью-Йорк, 1970, с.183-185.

<sup>22</sup> «Одержимый» — название очерка З.Н. Гиппиус о Брюсове. Написан в 1922, впервые опубликован в журн. «Окно», 1923, №2, с.199-234, затем вошел в сб. *ЖИВЫЕ ЛИЦА*, Прага, 1925, 1-й т., с.73-119.

<sup>23</sup> Начало стихотворения К.Бальмонта «Тише, тише...» из сб. *ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ* (1903). Этим стихотворением открывался 1-й альманах «Гриф».

<sup>24</sup> В письме к Блоку от 3.11.1903 С.Соколов сообщает, что Бальмонт очень близок к «Грифу» и является «его внутренним руководителем» (*ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С.А. СОКОЛОВЫМ*. — *ЛН*, т.92, кн.1, с.529). Бальмонт печатался во всех трех выпусках «Грифа» и под своим именем, и под псевдонимом «Люнель». В войне между «Скорпионом» и «Грифом» Бальмонт был единственным, кто мог себе позволить не подчиняться брюсовскому «ультиматуму», согласно которому авторы «Грифа» не допускались на страницы «Скорпиона». Об этом свидетельствует и текст «Конституции "Весов"», относящийся к концу 1905 г.: «Бальмонт может быть принят в члены редакции, не давая обязательства, требуемого §2» (*ЛН*, с.281). В издательстве «Гриф» Бальмонт опубликовал сб. *ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ* (1903), *ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ* (1904) и сб. критических статей (1904).

<sup>25</sup> Модест Александрович Дурнов (1868-1928), поэт, художник, архитектор. Его стихи напечатаны в *КНИГЕ РАЗДУМИЙ*, СПб, 1899. В сб. Брюсова *TERTIA VIGILIA* ему посвящен цикл стихов *ЛЮБИМЦЫ ВЕКОВ* и стихотворение *ПРИЗРАКИ*. Дурнов участвовал в 1-м альманахе «Гриф» и в «Перевале». О нем см. также: *НЕКРОПОЛЬ*, с.9.

<sup>26</sup> Описка, речь идет о 2-й Симфонии. М., изд. «Скорпион», 1902.

<sup>27</sup> Неточная цитата мотива, повторяющегося в начале 2-й Симфонии.

<sup>28</sup> Белый дал для 1-го альманаха «Гриф» 8 стихотворений и отрывки из 4-й Симфонии. Затем, после брюсовского «ультиматума», долго колебался, продолжать ли свое участие в альманахе (об этом и его отзывах о «Грифе» см.: А.Блок, А.Белый. *ПЕРЕПИСКА.*, М., 1940, с.51, 59, 64-70). О конфликте, возникшем в конце 1903 между Брюсовым и Белым из-за сотрудничества последнего в «Грифе» см. *ЛН*, с.371-372. Белый печатался во всех трех выпусках «Грифа». Симфония *ВОЗВРАТ* вышла в 1905 г.

<sup>29</sup> *ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ*. Берлин, 1922, «Эпопея», №2, с.237.

<sup>30</sup> «Эпопея», №1, с.225; *НАЧАЛО ВЕКА*: с.107-116.

<sup>31</sup> Неточная цитата из стихотворения *ВОЗМЕЗДИЕ* (1901: с посвящением Эллису); впервые опубликовано в «Северных цветах» за 1903 под названием *ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА*.

<sup>32</sup> Начало стихотворения *БЕЗУМЕЦ*, I (1904). Первое четверостишие Белый включил в *ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ*. — «Эпопея», №1, с.226.

<sup>33</sup> Цитаты из стихотворений *ВЕЧНЫЙ ЗОВ*, II (1903) и *МАНИЯ* (1903), вошедших в сб. *ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ*.

<sup>34</sup> Н.Петровская имеет в виду описание вечера, на котором присутствовал А.А. Блок («Эпопея», №1, с.227). Об этом же далее.

<sup>35</sup> Алексей Сергеевич Петровский (1881-1958), филолог, переводчик, близкий друг А.Белого и С.М. Соловьева.

Павел Николаевич Батюшков (1864-1930?), теософ, знаток и переводчик индийской мистической литературы. О нем: *НАЧАЛО ВЕКА*, с.54-64.

Михаил Александрович Эртель — историк, теософ, «некогда друг — потом враг» А.Белого (*НАЧАЛО ВЕКА*, с.65-75).

Эллис (псевд., наст. имя — Лев Львович Кобылинский, 1879-1947), поэт, литературный критик.

<sup>36</sup> Вероятно, имеется в виду издательское вступление, которым открывался 1-й альманах «Гриф»: «Быть может, то, к чему мы стремимся — лишь мираж, обманчивый призрак. /.../ Наша цель в неустанной тревоге искания. Мы не фанатики идеи. Привет тебе, неизвестное».

<sup>37</sup> Дурнов печатался во 2-м выпуске альманаха. Цитируется начало стихотворения *СЛЕЗЫ* (1904).

<sup>38</sup> См. *ЛН*, с.776.

<sup>39</sup> Владимир Линденбаум печатал стихи во 2-м и 3-м выпусках альманаха «Гриф». О его деятельности в качестве издателя «Перевала» см.: А.Лавров. «*ПЕРЕВАЛ*». — *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА XX ВЕКА...*, с.174-175 и 190.

<sup>40</sup> Николай Ефимович Поярко (1877-1918), поэт и литературный критик, в «Гриф» печатался под псевдонимом Н.Ярков. О нем см.: *ПИСЬМА Н.Е. ПОЯРКОВА К БЛОКУ*. — ЛН, т.92, кн.4, с.530-545.

<sup>41</sup> Ходасевич впервые напечатался в 3-м выпуске «Грифа» и участвовал также в юбилейном выпуске альманаха.

<sup>42</sup> Александр Иванович Тиняков (псевд. Одинокий; 1886-1934), поэт, критик. Выпустил в издательстве «Гриф» первый сб. стихов *NAVIS NIGRA* (1912). Печатался во 2-м выпуске альманаха «Гриф» и в «Весях». См. о нем: ЛН, т.92, кн.3, с.132-133.

<sup>43</sup> См. ЛН, с.797.

<sup>44</sup> Борис Александрович Садовской (Садовский, 1881-1952), прозаик, поэт, критик, сотрудник журн. «Весы», «Золотое руно», «Русская мысль», «Северные записки». Автор неизданных воспоминаний о «Весях» (ЦГАЛИ, ф.464, оп.1, ед. хр.1, 2, 3).

<sup>45</sup> Повесть Кузмина опубликована в журн. «Весы», 1906, №11. Во 2-м выпуске альманаха «Гриф» А.М. Ремизов напечатал 3 рассказа: *МОЛИТВА, ПОСЛЕДНИЙ ЧАС, ИВАН КУПАЛА*.

<sup>46</sup> Сергей Абрамович Ауслендер (1888-1943), писатель, драматург. Вместе с Петровской был в Италии в 1908 (см. далее в настоящей публикации). Ему посвящен сб. рассказов Петровской *SANCTUS AMOR*. О взаимоотношениях Петровской и Ауслендера см. указанную статью Гречишкина и Лаврова, «Wiener Slavistischer Almanach», 1978, Band 2, S.84-85.

Осип Дымов (наст. имя Осип Исидорович Перельман; 1878-1959) писатель, журналист, драматург. В издательстве «Гриф» Дымов выпустил сб. рассказов *СОЛНЦЕВОРОТ* (1905).

<sup>47</sup> Брюсов пишет в *ДНЕВНИКАХ*: «С Грифами я познакомился так. Затеяли они издавать журнал — увы, тоже "Маяк". Пришли студенты и пригласили меня на собрание. Я пошел. Несколько десятков юношей занимались тем, что голосовали и большинством голосов принимали или отвергали свои стихи и рассказы. Я их заругал. Это было у Соколова. За ужином читали стихи. Местным гением был некий Рославлев — дюжий парень с длинными волосами, — таланта весьма посредственного. Юноша Белов говорил восторженные глупости. Гимназист Хесин глупости не восторженнее. Многих имен не упомянул. После встречался с ними в Кружке. Кажется, среди них нет никого истинно талантливого. "Маяк" не состоялся. После они издали альманах "Гриф" — серый и по обертке, и по содержанию» (с.131). Несмотря на это, Брюсов дал для первого выпуска альманаха три стихотворения: *SANCTA AGATHA, НАПОЛЕОН, ЛЕСНАЯ ДЕВА*. См. об этом также: А.В. Лавров, Д.Е. Максимов. «ВЕСЫ». — в кн.: *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА XX ВЕКА*, с.101-105.

<sup>48</sup> См. ЛН, с.776-777.

<sup>49</sup> Среди изданий «Грифа»: *СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ* Блока (вышла в 1904, на обложке — 1905); А.Белый. *УРНА* (1909); Ф.Сологуб. *ИСТЛЕВАЮЩИЕ ЛИЧИНЫ* (1907); первая книга стихов В.Ходасевича *МОЛОДОСТЬ* (1908).

<sup>50</sup> О «Грифе» как пародии на «Скорпион», как эпигонском журнале, дискредитирующем весь символизм, отозвались почти единодушно сразу после выхода первого и второго выпусков альманахов многие крупнейшие поэты, в том числе и А.Блок. См. его письма к С.М. Соловьеву от 3 и 8 марта 1904. — *ЛН*, т.92, кн.1-я, с.370-374, 528.

<sup>51</sup> Неточная цитата из стихотворения *ВЕЧНЫЙ ЗОВ*, I (1903), вошедшего в сб. *ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ*.

<sup>52</sup> Начало стихотворения *БЕЗГЛАГОЛЬНОСТЬ* Бальмонта (сб. *ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ*).

<sup>53</sup> Василий Васильевич Владимиров (1880-1931), художник; оформил также обложку *СТИХОВ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ*. Участник кружка аргонавтов, друг Белого.

<sup>54</sup> Николай Петрович Теофилактов (1878-1941), художник-график, иллюстратор, участник «Голубой розы». В «Весех» заведовал художественной частью. Сотрудничал также в журн. «Искусство» и «Золотое руно».

<sup>55</sup> Борис Александрович Фохт (1875-1946), философ, ученик М.Л. Лопатина, профессор Московского ун-та. В 1899-1900 был близок к Брюсову.

<sup>56</sup> Третье четверостишие из стихотворения *БЕЗУМЕЦ*, I.

<sup>57</sup> Сохранилось письмо от 9 августа 1903 из Серебряного Колодезя (ЦГАЛИ, ф.376, оп.1, ед. хр.5). Ср. забавное совпадение: С.М. Соловьев в письме к Блоку от 31 октября 1904: «В двух письмах, которые я писал Любе, очень много ненужных славянизмов, глупых мыслей /.../. Вероятно, Люба положила эти письма в "шкатулку", и я надеюсь, что они потонули в лазурных волнах озера Саймы, где тонет всякая моя неровность, брюсовщина и т.д.» (*ПЕРЕПИСКА А.БЛОКА С С.М. СОЛОВЬЕВЫМ*. *ЛН*, т.92, кн.1, с.383).

<sup>58</sup> Зачеркнуто в 1-м машинописном варианте.

<sup>59</sup> Леонид Дмитриевич Семенов (1884-1918) — поэт-символист, университетский товарищ Блока. Выпустил один сб. стихов (СПб, 1905), печатался в «Новом пути». Участвовал в революции 1905 г., затем оставил литературу, полностью уйдя сначала в революционную деятельность, а потом — в религиозные поиски. Стал последователем Добролюбова, странствовал по России, часто посещал Л.Толстого в Ясной Поляне. Погиб во время гражданской войны. Оставил книгу «Записок». См. о нем *ЛН*, т.92, кн.3, с.123-124. С Белым познакомился в 1903, в день похорон его отца (см. «Эпопея», №1, с.173-174; *НАЧАЛО ВЕКА*, с.250-254).

<sup>60</sup> Николай Васильевич Бугаев умер в Москве 29 мая 1903 г.

<sup>61</sup> Неточная цитата из стихотворения Л.Д. Семенова *СВЕЧА*, впервые опубликованного в журн. «Новый путь» (ноябрь 1903).

<sup>62</sup> Стихотворение, написанное в Серебряном Колодезе в августе 1903 и впервые опубликованное в Берлине (*СТИХОТВОРЕНИЯ*, 1923), является переработкой второй части стихотворения *РАЗЛУКА* (1903).

<sup>63</sup> Николай Яковлевич Абрамович (псевд. Аратов и Н.Кадмин, 1880-1922), поэт, лит. критик. Печатался в 3-м выпуске альманаха «Гриф».

<sup>64</sup> Второй выпуск альманаха был наиболее богатым и солидным, благодаря участию А.Блока, В.Иванова, А.Ремизова и др.

<sup>65</sup> О Бальмонте Волюнский писал в книгах *БОРЬБА ЗА ИДЕАЛИЗМ* (рец. на сб. *ПОД СЕВЕРНЫМ НЕБОМ, В БЕЗБРЕЖНОСТИ, ТИШИНА*), СПб, 1900, с.383-396, и *КНИГА БОЛЬШОГО ГНЕВА*, СПб, 1904, с.200-217, 430-445.

<sup>66</sup> Начало стихотворения из сб. *ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ* (1899).

<sup>67</sup> Цикл стихов в сборнике *БУДЕМ КАК СОЛНЦЕ* в изд. «Скорпиона», М., 1903.

<sup>68</sup> *САЛОМЕЯ* вышла под редакцией Бальмонта (1903).

<sup>69</sup> Роман Пшибышевского (1903) в переводе М.Н. Семенова.

<sup>70</sup> Героиня одноименной пьесы Метерлинка. См. *ЛН*, с.797.

<sup>71</sup> Коневской утонул в реке Аа 8/21 июля 1901. О нем многочисленные упоминания см. в *ДНЕВНИКАХ*; Брюсов редактировал посмертное издание сочинений Коневского (*СТИХИ И ПРОЗА*, М., «Скорпион», 1904). О взаимоотношениях Брюсова и Коневского см.: А.Е. Парнис, Р.Д. Тищенко. *ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА*. — «Даугава», №5, 1983, с.113-116; см. также о Коневском: С.К. Маковский. *НА ПАРНАСЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА*, Мюнхен, 1962, с.177-194; В.Я. Мордерер. *БЛОК И ИВАН КОНЕВСКОЙ*. — *ЛН*, т.92, кн.4, с.151-178.

<sup>72</sup> *ЛН*, с.778-779.

<sup>73</sup> Михаил Николаевич Семенов (1872-1952), один из главных сотрудников «Весов». Долго жил в Италии.

<sup>74</sup> Неточная цитата из стихотворения *БЕЗУМЕЦ*, I.

<sup>75</sup> Ср.: «На черном платье Нины Петровской явилась черная нить деревянных четок и большой черный крест. Такой крест носил и Андрей Белый...» (В.Ходасевич. *НЕКРОПОЛЬ*, с.16).

<sup>76</sup> Annie Besant (1847-1933); Елена Петровна Блаватская (1831-1891) — крупнейшие деятельницы Теософского общества.

<sup>77</sup> О нем см. *НАЧАЛО ВЕКА*, с.54-64.

<sup>78</sup> Епископ Антоний (1847-1918). О нем см.: Иеромонах Андроник. *ЕПИСКОП АНТОНИЙ (ФЛОРЕНСОВ) — ДУХОВНИК СВЯЩЕННИКА П.ФЛОРЕНСКОГО*. — «Журнал Московской Патриархии», 1981, №9, с.71-77; №10, с.65-73. В 1903-1904 А.Белый часто обращался к Антонию и приводил в Донской монастырь своих друзей, в том числе Мережковских и Блока, последнего во время его пребывания в Москве в январе 1904 (см. А.Блок, А.Белый. *ПЕРЕПИСКА*, с.65). Позднее Белый отдалется от еп. Антония. Весной 1904 он пишет Блоку: «Ты не то что Антоний, который в меня бросил камнем суровости в тот миг, когда я, и без того разбитый и уничтоженный, ждал от него слов утешения. Кроме всего: он высказал такое незнание меня и в то же время так грубо определил насильно, чем мне нужно быть, что я из гордости решил не подходить к нему ближе, но застегнуться на все пуговицы. Больше мне нет смысла бывать у него» (*ПЕРЕПИСКА*, с.90). В указанной выше статье иеромонаха Андроника (ЖМП, №10, с.67-68) цитируется отрывок из дневника еп. Антония, содержащий суждение о Белом: «Это юноша изящный, нежный, ему нужно чистое дело, а не туман. Я давно за ним смотрю, но только я человек гордый, самолюбивый, в чужую душу я без приглашения лезть не стану. Вот если бы он ко мне сам обратился, это другое дело. Тут я пустил бы в ход свою педагогику. Я не пророк, но я вижу, что если он вовремя не остановится, то погибнет совсем. Я знаю, что эти опыты (развитие в себе оккультных сил) давно уже стал делать, с тех пор как умер отец. Растреплется совсем, а жаль, он очень талантливый».

<sup>79</sup> «Эпопея», №2, с.158-159.

<sup>80</sup> Начало стихотворения Блока *ОДИНОКИЙ* (1901).

<sup>81</sup> Б.Садовской в своих мемуарах пишет: «Редакция "Весов". Полдень. Вхожу в кабинет. Ликиардопуло за столом тихо беседует с человеком в черной маске. Немного пугаюсь, но тут же узнаю в незнакомце Андрея Белого. Здравуюсь, сажусь. Говорят о самых обыкновенных вещах, о новостях, о книгах, но Белый маски упорно не снимает. — Зачем это, Борис Николаевич? — Не хочу, чтобы видели мое лицо» (ЦГАЛИ, ф.464, оп.1, ед. хр.3, лл.23-24). В это же время «А.Белый разослал знакомым карточки (визитные) будто бы от единокоров, силенов etc.» (В.Брюсов. *ДНЕВНИКИ*, с.134). Среди писем Белого к Блоку сохранились две такие карточки (см. А.Блок, А.Белый. *ПЕРЕПИСКА*, с.63). См. также *БЛОК В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ*. — ЛН, т.92, кн.3, с.208-209.

<sup>82</sup> Цитата из стихотворения *ПРЕДАНИЕ* (1903), впервые опубликованного в альманахе «Гриф» за 1904; вошло в сб. *ЗОЛОТО В ЛАЗУРИ*. Стихотворение, вызванное отношениями с Петровской, Белый сначала озаглавил *SANCTUS AMOR*. В ноябре 1904 В.Брюсов написал стихотворение с таким же названием — ядовитую пародию на первоисточник, и посвятил его Белому. Брюсов не публиковал его и несколько раз перерабатывал до начала 1906 г. Тогда же, как вспоминает Ходасевич (*НЕКРОПОЛЬ*,

с.69-70), он прочитал его на вечере в присутствии Петровской и Белого. (Анализ обоих стихотворений см. в упомянутой статье Гречишкина и Лаврова. — «Wiener Slavistischer Almanach», 1978, Band I, S.91-93). С первоначальным названием стихотворения связан также сб. рассказов Н.Петровской, о котором Белый написал отрицательную рецензию, вошедшую затем в его кн. *АРАБЕСКИ*, М., 1912, с.346-349.

<sup>83</sup> Блок с женой были в Москве с 10 по 23 января 1904. О своем пребывании и встречах там Блок сообщает матери: «Мы идем вдвоем с Любой к Соколовым. Нина Ивановна очень мила, довольна умная (умнее своего мужа) (Собр. соч. в 8 тт., М.-Л., 1963, т.8, с.81. Запись от 11 января. В письме Блока упоминается также визит от 13 января — с.83).

<sup>84</sup> Об истории издания сборника см. *ПЕРЕПИСКА БЛОКА С С.А. СОКОЛОВЫМ*. — *ЛН*, т.92, кн.1, с.527-551.

<sup>85</sup> «14-е — среда. Утром: мы, Бугаев, Петровский и Соколова едем в Донской монастырь к Антонию. Сидим у него, говорит много и хорошо. Любе — очень хорошо, многое — и мне. О Мережковских и "Новом пути". Обещал приехать к нам в Петербурге. Прекрасный, иногда грозный, худой, с горящими глазами, но без "прозорливости", с оттенком иронии. О схиме, о браке.» (Блок. Собр. соч., т.8, с.84). См. также *ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ*, с.224.

<sup>86</sup> *ЛН*, с.779-780, с разночтениями.

<sup>87</sup> Белый пишет, что Блок относился «нежно, чуть с жалостью к Нине Петровской» (*К МАТЕРИАЛАМ О БЛОКЕ*. — *ЛН*, т.92, кн.3, с.800).

<sup>88</sup> Премьера состоялась 17 января 1904. О ней Брюсов написал статью (незавершенную). См.: *НЕОКОНЧЕННАЯ СТАТЬЯ О «ВИШНЕВОМ САДЕ»*. — *ЛН*, с.190-199.

<sup>89</sup> *ЛН*, с.780, с разночтениями.

<sup>90</sup> Ср.: «Грядущее расхождение чувствовал я; и — страдал; я искал атмосферы, а атмосфера разламывалась, ускользала; и остались: кричащие противоречия эмпирической жизни; они меня резали» («Эпопея», №1, с.226). В «Материале интимном» (ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед. хр.3) Белый пишет, что в феврале его отношения с Петровской становятся все тяжелее: она счастлива, он, наоборот, стесняется их перед друзьями (и Блоки знают об этом), чувствует недружелюбие Брюсова. В марте в Белом нарастает ощущение внутреннего разлада (он пишет стихотворение *БЕЗУМЕЦ*, хочет уехать из Москвы). См. также: Гречишкин, Лавров, указанная статья, Band II, S.85-87.

<sup>91</sup> Лекция состоялась 13 марта 1904 г.

<sup>92</sup> Николай Карлович Метнер (1879-1951). Ср. письмо Белого (1904 г.) к старшему брату Метнера — Эмилию Карловичу (1872-1936), музыкальному критику, владельцу издательства «Мусажет», с которым Белый был дружен многие годы: «Был один момент, когда я чувствовал себя



совершенно погибшим. Я боялся, не задавил ли я — камень — насмерть кого-нибудь? Тогда меня обуяла страшная и странная веселость; тогда же пришлось концерты Никиша. Слушая 5-ую и 6-ую Симфонию, где фигурирует рок и смерть, я в самом деле полагал, что фактически я убийца. И вдруг, когда мне казалось, что черта перейдена, все как-то сразу улыбнулось — мягко, дружески, любовно. И нежное Христово дуновение, точно осветило меня белым, чуть-чуть розовым цветом» (*БЛОК В НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКЕ И ДНЕВНИКАХ СОВРЕМЕННОКОВ.* — ЛН, т.92, кн.3, с.213).

<sup>93</sup> Неточная цитата из стихотворения *БЕЗУМЕЦ*.

<sup>94</sup> Из стихотворения «И снова я, простерши руки...» (1911, сб. *ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ*).

<sup>95</sup> ЛН, с.780-782, с разночтениями.

<sup>96</sup> Peter Altenberg (наст. имя Richard Engländer, 1859-1919), австрийский писатель.

<sup>97</sup> Сергей Михайлович Соловьев (1885-1943), поэт-символист, филолог, переводчик, друг Белого, троюродный брат А.Блока.

<sup>98</sup> Из стихотворения Брюсова *ПОЭТУ* (1907, сб. *ВСЕ НАПЕВЬ*).

<sup>99</sup> ЛН, с.784-786.

<sup>100</sup> ЛН, с.784.

<sup>101</sup> ЛН, с.786, с разночтениями.

<sup>102</sup> ЛН, с.786, с разночтениями.

<sup>103</sup> Начало стихотворения из сборника *ГОРЯЩИЕ ЗДАНИЯ*.

<sup>104</sup> ЛН, с.786, с разночтениями.

<sup>105</sup> Только в рукописной редакции.

<sup>106</sup> ЛН, с.786-787, с разночтениями.

<sup>107</sup> Только в рукописной редакции.

<sup>108</sup> Николай Павлович Рябушинский (1876-1951), художник-любитель, поэт, меценат, издатель «Золотого руна». Соколов заведовал в журнале литературным отделом, Н.Петровская писала театральные рецензии. В середине 1906, после разрыва с Рябушинским, Соколов ушел из журнала. Подробнее о «Золотом руне» и о роли Соколова в нем см.: А.Лавров. *ЗОЛОТОЕ РУНО* — в кн. *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА...*, с.137-173.

<sup>109</sup> Владимир Иванович Ребиков (1866-1920), композитор, пианист.

Александр Петрович Печковский — друг Белого; о нем см. *НАЧАЛО ВЕКА*, с.21-22.

<sup>110</sup> Цитата из стихотворения *В ПЕРВЫЙ РАЗ* (1920), — сб. *В ТАКИЕ ДНИ* (1921).

<sup>111</sup> Неточная цитата из стихотворения *ОБРЯД НОЧИ* (1905-1907), — сб. *ВСЕ НАПЕВЫ*.

<sup>112</sup> *ЛН*, с.783 (не указана купюра).

<sup>113</sup> Евгений Васильевич Аничков (1866-1937), историк литературы, фольклорист, критик.

<sup>114</sup> Цитата из стихотворения *ПОРТРЕТ* (1905), вошедшего в сб. *STEPHANOS*.

<sup>115</sup> *ЛН*, с.783.

<sup>116</sup> С.А. Соколов женился на Лидии Дмитриевне Рындиной (1883-1964), драматической актрисе. Рындина оставила воспоминания об эпохе символизма (*УШЕДШЕЕ*, — «Мосты», №8, 1961, с.295-312).

<sup>117</sup> Николай Максимович Минский (Виленкин, 1885-1937), поэт, философ, публицист; один из первых русских символистов. В 1906 был в числе главных сотрудников «Перевала».

<sup>118</sup> Ср. также в переписке Блока — Собр. соч. в 8 тт. М.-Л., 1960, т.7, с.217.

<sup>119</sup> Из стихотворения Брюсова «И снова я, простерши руки...» (1911, сб. *ЗЕРКАЛО ТЕНЕЙ*).

<sup>120</sup> Из стихотворения *О САМОМ СЕБЕ* (1917).

<sup>121</sup> *ЛН*, с.787-788, с разночтениями.

<sup>122</sup> Федор Августович Степун (1884-1965), философ, публицист, мемуарист. Имеется в виду лекция, прочитанная в Берлине 11 декабря 1922 г.

<sup>123</sup> *ЛН*, с.788-789, с разночтениями.

<sup>124</sup> Имеется в виду Н.П. Рябушинский.

<sup>125</sup> *ЛН*, с.784. О врубелевском портрете Брюсова см. с.798. В *ДНЕВНИКАХ* (с.137) Брюсов указывает иную дату создания портрета — 1906 год.

<sup>126</sup> Начало стихотворения *SED NON SATIATUS* (1912).

[Рим,] 16.IX.[1]919

Дорогая моя,

я ждала дня беззаботного и легкого, чтобы написать Вам. Иначе не хотелось. Но день этот не приходит и не пришел. Вашу открытку прочла с печалью. Я не могу приехать, я живу в стране Невозможности. Для меня сейчас *все* невозможно, и большое, и малое, — равно. Мне кажется, что с роковой последовательностью передо мной закрываются *все* двери. Я не хочу жаловаться и Вас печалить собой, но правда остается правдой. Потому-то мне и хотелось писать Вам в день счастливый и удачный, — чтобы не удручать, чтобы не удручить напрасно. С Вами желала бы я встречаться в лучшие годы, — те самые, которые, увы!, прошли. Тогда я умела гораздо нежнее любить. А в сердце сжатом мучениями — темно и холодно. В такие дни, какие провожу сейчас, я только живу одним утешением, что за злым феноменальным миром есть *иной*. «В блаженном успении вечный покой» — как утешает одну безнадежную душу одна бледная и холодная Сологуб-героиня.

Этим летом мне бесконечно близок колдун Сологуб, с его страшным восприятием мира. И солнце мне кажется, как ему, «Змеем», золотым, жестоким, жалящим чудовищем. Я знаю, как люди доходят до бреда без повышенной температуры, без явных признаков разрушительной болезни. Душа начинает раскачиваться над последними гранями, а над безднами голова сладостно кружится и в них непременно нужно упасть. Но такое лето! Такое лето! Может быть первое и последнее в моей жизни провожу?

Мне бы хотелось говорить с Вами только стихами, только цитатами из них, лучшими словами, какие знаю я. Мне бы хотелось бродить с Вами по каким-то неизвест[ным], темным аллеям, и в них, может быть, заблудиться, чтобы не настало обычное утро, *мое* утро, когда прежде меня просыпается моя боль. Мне бы хотелось завернуться в складки той широкой шали, которую я видела однажды у Вас на плечах, завернуться в нее, прижавшись к Вам так нежно, как я еще умею, и, закрыв глаза, молчать около Вас. Потому что Вы единственная, потому что Вы не умеете ранить, потому что около Вас моя память возвращает мне годы и дни, мое любимое, мое незабвенное, что так странно *вдали* так же полюбили и Вы.

Милая! простите мне это письмо. И поймите: ведь мне не осталось ничего, «кроме глубокой, кроме бездонной печали». Письмо ограничивает, *написать* о несказанном обезличивает это *несказанное*. За слова, написанные вечером, бывает стыдно утром. Потому я так сжимаюсь в письмах. «Маска» в конце концов прирастает к лицу, и снимать ее причиняет большую боль. Но с Вами, с Вами одной хочу я быть без нее, хочу смотреть на Вас большими, детскими, прежними моими глазами, хочу забыть, что я в аду, что веду между острых камней мою беззащитную подводную лодку. Ах, не могу к Вам приехать!

[На полях:] Вам, может быть, и не понять, что «мне жить в застенках судьбы». И нет у меня сил, нет светлой ясности сказать как А.Белый: «Увы! Застенок мой прекрасен». Напишите мне, милая, любимая, единственная!

Ваша Н.Петровская

2

Берлин, 13/X [1]922

Дорогая Ольга Ивановна,

хотела Вам написать тотчас по приезде<sup>1</sup>, но дела, беготня, устройство жизни, — все это еще и до сих пор в процессе.

Вы бы не поверили, — отдыхаю в Берлине. Он весь серый, «серый как тоска», а итальянское солнце меня искололо. Эти тонкие дымные туманы, эти скверы, похожие на Москву, люди с серьезными лицами и умными серыми глазами, — нет, не люблю, окончательно не люблю Италию!<sup>2</sup> И наконец, такая близкая возможность передвинуться в Россию. Русский человек должен туда однажды вернуться! Скитания и эмигрантство сушат душу. Отдыхаю здесь, несмотря на то, что мое устройство еще в процессе. Пришлю Вам мои «письма из Италии», будут помещены в одной газете в это воскресенье<sup>3</sup>. Буду еще переводить, одним словом, здесь живу, борюсь, цепляюсь и надеюсь выплыть из мертвых итальянских вод.

Видела несколько раз Белого<sup>4</sup>. Говорила с ним о Вас. Ну, понимаете как... И как я Вас потенциально люблю, хотя бы мы не виделись годы! Он очень, очень доволен, что его Вы переводите<sup>5</sup>. Если хотите его портрет, — он его Вам пришлет и надпишет. Хотя это уже не А.Белый прежних дней, тот, каким я его знала. Растворился, изменился, иначе думает, иначе живет и «конкретизируется».

Здесь чудесная осень. Недавно была за городом, в лесу; плакать бы под соснами, если бы слезы были! И небо такое родное, серенькое, низкое, вечно любимое. Вы говорили как-то, что Го-зиасон<sup>6</sup> страдает в Берлине, снится ему Италия; и хочет он вернуться. Очевидно, он не русский художник, если так чувствует.

Мне же даже климат итальянский стал вреден, здесь чувствую себя как когда-то, как в Москве. Из России приехали, кажется, все, кто уцелел: А.Белый, Зайцев, Ремизов, Айхенвалд, Ходасевич, проф. Бердяев с женой etc., etc.<sup>7</sup> И Москва, и Петербург.

Помните, в последний вечер мы говорили о переводе Guido Di Vegona?<sup>8</sup> Устроилось ли бы это дело? Я его перевела бы с удовольствием. Но ведь нужно иметь издателя в Берлине. Не правда ли? Говорила по этому поводу с Эфроном<sup>9</sup>. Он, вероятно, согласится. Но согласится ли Guido Di Vegona сначала на один том? Здешние издательства пока не могут браться за целое сочинение. Яковенко<sup>10</sup> же мне говорил, что он хочет все сразу. Это невозможно.

Я пока живу фантастически. Все в процессе, и очень трудно здесь с комнатами.

Милая Ольга Ивановна, напишите мне, и скоро! Вы единственная в Риме для меня. Вспоминаю Вас с *живой* нежностью и чувствую Вас близкой мне и дорогой всегда.

Ваша Нина Петровская

Wilmerdorff (Berlin)  
Kaiserplatz. Tübinger Strasse 8  
1 stok. Frau Keidel  
Nina Sokoloff

Извините за косноязычие, тороплюсь, бегу.

<sup>1</sup> По всей вероятности, Петровская приехала в Берлин в середине сентября 1922 г.

<sup>2</sup> Во время путешествия по Италии в 1908 она пишет Брюсову: «Италия мне не нравится /.../ только для здоровых, для светлых духом» (п. от 5 мая, ЦГАЛИ, ф.56, ед. хр.4). И почти одновременно она сообщает Е.Л. Янтареву: «Италия мало нравится. Кровь южная, — а душа северная. Чужой мне юг с его цветами и солнцем и олеографическим синим небом» (п. от 13 апреля, ЦГАЛИ, ф.1714, оп.1, ед. хр.17).

<sup>3</sup> В №22 литературного приложения к газете «Накануне» за 15.10.1922 Петровская публикует первую часть этих «писем» под заглавием *РИМ I*. Вторая часть (*РИМ II — ФАШИСТЫ/ЛИТЕРАТОРЫ*) выйдет в №23 за 22.10, а третья (*ИТАЛИЯ III — ИЗ ФРАСКАТИ В АБРУЦЦИ*) — в №25 за 5.11. В конце 3-й части она пишет: «Вспоминаются горест-

но годы, проведенные в Риме в какой-то неизглядимой обиде на эту вздорную крикливую жизнь, просачивающуюся в каждую щель самого уединенного жилища и грубо выбивающую человека из его интимного ритма). Другие статьи об Италии, о русских в Риме, о литературе, а также многочисленные фельетоны на итальянские темы вышли в разных номерах литературного приложения и в самой газете «Накануне» за 1922-1924 гг. Среди них статья *В ЧИСТИЛИЩЕ* (о русских в Риме, о деятельности Красного Креста и о княгине Юсуповой) — номер за 27.10.1922. В целом эти очерки содержат весьма ограниченную конкретную информацию о литературном и «русском» Риме тех лет, например, в них лишь упоминаются гастролы Дягилева, литературные кафе, имена Папини, Пиранделло, д'Аннунцио и т.д.

<sup>4</sup> Белый приехал в Берлин в ноябре 1921. Упоминание о встрече с Петровской см. в кн.: В.Ходасевич. *НЕКРОПОЛЬ*, с.91, и Н.Берберова. *КУРСИВ МОЙ*, с.194. О берлинском периоде Белого см. также: J.E. Malmstad, *ANDREJ BELYJ AT HOME AND ABROAD. 1917-1923. Materials for a Biography*. — «Europa Orientalis», 6/II, 1987.

<sup>5</sup> В это время О.И. Ресневич переводит *СЕРЕБРЯНОГО ГОЛУБЯ*, частично опубликованного в журнале Ло Гатто «Russia», 1921, с.61-73 (отрывки из 2-й главы).

<sup>6</sup> Гоziасон Филипп Германович, художник. В 1920-21 жил во Флоренции и в Риме. В 1-м номере журн. «Russia» переведена его статья о русской живописи (*SULLA PITTURA RUSSA*, с.233-236). В 1922 переехал в Берлин. Там выполнил литографию для книги Гоголя *РИМ* (изд-во Ракинт), работал для Берлинского Романтического театра. Затем перебрался во Францию.

<sup>7</sup> А.М. Ремизов приехал в Берлин летом 1921, Б.К. Зайцев — в начале 1922, В.Ф. Ходасевич — в начале лета 1922, Н.А. Бердяев и Ю.И. Айхенвальд — в группе высланных профессоров в конце лета того же года.

<sup>8</sup> Guido Di Verona (наст. имя Guido Verona, 1881-1939), итальянский писатель, автор романов эстетского направления, пользовавшихся большой популярностью. Петровская переведет для «Накануне» его рассказ *ДОМ МЕРТВОЙ ДЕВУШКИ* (напечатан в литературном приложении №56 за 10 июня 1923).

<sup>9</sup> Семен Абрамович Ефрон — петербургский издатель («Грядущий день» и «Огни»). В начале 1921 основал в Берлине изд-во «С.Ефрон».

<sup>10</sup> Возможно, речь идет о Борисе Валентиновиче Яковенко (1884-1948), философе, публицисте. Эмигрировал в 1917, жил в Италии, где сотрудничал в газетах «La Russia», «La Russia Nuova», «La giovine Europa». С 1922 переехал в Берлин, затем в Прагу, где с 1925 редактировал, вместе с С.И. Гессеном и Ф.А. Степуном журнал «Logos».

Берлин, 30/X [1]922

Дорогая Ольга Ивановна,

не отвечала Вам тотчас, потому что забегалась по издательствам, а это берет дни и дни. Кроме того, погружаюсь в газетную работу, и нужно помнить об «очередных номерах». Где, в *какой* я работаю, — боюсь Вам и признаться... в «Накануне»!..<sup>1</sup> Так вышло. Не потому, чтобы я «покраснела» здесь, а из соображений простых, материальных. Еще одно меня притянуло: там литературный редактор Алексей Толстой, большой писатель и приятный человек<sup>2</sup>. Знаю его еще по Петербургу и Москве. Печатают они *без ять* и газета *явная*, — расходится всего больше в России. Но от меня никаких «отступлений» не требуют. Пишу что хочу. Недавно была у Горького (уж во всем Вам признаюсь!..). Он со мной очень добр и дал разные советы и письма в издательства. Что бы ни говорили, он большой человек. Это я узнала еще 11 лет назад, в первую встречу с ним на Капри<sup>3</sup>. Живет уединенно, в санатории под Берлином<sup>4</sup> и пока от всего уклонился. Я не знаю, знакомы ли Вы с ним<sup>5</sup>, но думаю, что Вам он не мог бы не понравиться, и что он действительно *большой*. А вот о Белом расскажу Вам вещи странные: он сейчас «ищет своего ритма»... в... танце. Учитесь танцевать новейшие, танцует в кафе с кельнершами, пьет, ухаживает за дамами и девицами, шьет костюмы у лучших портных, расстался с антропософией навеки и, так сказать, конкретизируется во все тяжкие. (При этом остается Андреем Белым и пишет удивительные вещи)<sup>6</sup>. У меня — впечатление все-таки чудовищное. Не таким я его знала, и хочется мне (мне лично) объяснять все это новыми изломами, каким-то вызовом выброшенной за окно антропософии. Но люди смеются и не верят. Говорят: «Это просто потому, что *добирает* у жизни невзятое». Говорила с ним долго и много о Вас. Ему страшно приятно, что Вы переводите его вещи и те самые, ему самому дорогие<sup>7</sup>. Обещал и портрет и написать, но сказал: «Ах, это все не то! Я бы хотел с ней познакомиться!»<sup>8</sup> Забыла ему сказать в тот раз, но скажу теперь, чтобы послал Вам «Эпопею», где его воистину единственные «Воспоминания о Блоке». Знаете ли Вы этот журнал, что выходит под его редакцией?<sup>9</sup> Вероятно, нет еще.

Зачем Вы не здесь, милая, милая! Жизнь в Берлине редко у кого веселая, но вся иная, лучшая, чем в Италии. Я только сейчас себя понемногу откапываю из-под какого-то мусора. Жила 8 лет точно в Шлиссельбурге. Верно, только на том свете мне воздадут

за эти воистину погибшие годы. «Здесь все мне на память приводит былое...»

И Владя Ходасевич, горький друг моего прошлого<sup>10</sup>, и А.Белый, и туманы, и моя комната, точно чудом восставший номер Северной гост[иницы] в Петербурге<sup>11</sup>, и мягкая утренняя муть, и сама я снова похожа на «ту», которая «была живой когда-то», над бумагой по 8, 9 часов в сутки. Здесь, мне кажется, нужно приготовить душу к России, и переход уже не будет труден. Знаете, что меня особенно радовало, умиляло и восхищало так до половины октября — огороды на окраинах. Вам непонятно? Русские старые огороды, запущенные, дикие, с подсолнечником, березками и мальвой, с заросшими тропинками и бродящими курами. И это почти в Берлине!

Кажется, на Берлин надвигаются тучи, слишком много разных признаков и частных известий. Но ничего, и *это* лучше пережить здесь, чем в Италии. Я ее не люблю, разлюбила навсегда.

Теперь буду о делах<sup>12</sup>: о Бунине по-моему нечего и думать. Он при всем его таланте человек корыстный и избалованный гонорарами. На рассказы в газетах, нечего и думать, не согласится. Хочет два, три, четыре тома сразу, половину вперед, еще какие-то проценты, словом, трудно. Итальянские же издатели прижми-сты, инертны, все сразу не издадут. Еще он горд ужасно, и все это непреодолимо. Другое я Вам хотела предложить: если бы Вы перевели 1-2 рассказа Алексея Толстого, — куда угодно, хоть в газеты. С ним сговориться просто, и я уже говорила с ним. Он очень этого хочет. Вы его конечно знаете. Писатель таланта крупного, своеобразного, очень приятного *и для перевода*. В Италии понравится безусловно. Я тоже переведу, но только между прочим, ибо у меня почти все время берет газета. Подумайте, милая, и ответьте, я Вам тотчас же пришлю лучшие вещи. Ведь нужно чтобы Италия знала не только классиков, а и *moderne*.

А у меня лично к Вам огромная просьба. Горький меня направил в два издательства: Гржебина и... Государственное, Московское (отделение здесь) — Наркомпрос (!!)<sup>13</sup>. Гржебин просит перевести с итальянского что-то новое, очень хорошее по детской литературе, а Наркомпрос по педагогике — тоже ультра-новую книгу. Оба сейчас же бы дали крупные авансы (а это мне так нужно), я же ничего не знаю в этих двух областях, и в Берлине итальянских книг нет совершенно. На *Ваш* выбор полагаюсь с закрытыми глазами. О детской и говорить нечего, а о педагогической ведь можно, наконец, разузнать (школьная педагогика). Если бы Вы, и очень скоро, выслали мне налож[енным] платежом, если таковой практикуется, две книжки. Только детские потолще, иначе ма-



ло заплатят. Я знаю, что все эти дружеские просьбы ужасно затруднительны, но в Риме кроме Вас [у] меня попросить некого совершенно. А как мне это нужно, Вы и без слов поймете. И нужно скоро, скоро. Если нельзя наложенн[ым] платежом, я Вам вышлю стоимость тотчас же.

Дорогая, не откажите мне в этом. И еще: словарь, итальянский, маленький, энциклопедический, забыла чей, как-то на М. издание, кажется для школ. Очень удобный, но у меня был в Риме чужой. Он небольшой толщины. Ну, забыла, невежественно забыла имя. Деньги у меня будут тотчас, и из двух издательств порядочных. Можно ли надеяться, что Вы не откажете? Guido Di Vegoпа тоже, конечно, взяла бы. Тогда можно и с газетой урегулировать. В данный же момент опираюсь только на нее.

И опять хочется от «дел» отступить. Знаете, встречаться с людьми, после десяти лет, не так приятно, как кажется издали... Например, А.Белый растолстел, и голос у него, как из бочки, и весь потому в глазах двоится и в душе смутно от его «танцев». Зайцев поправел до отвращения и дружит с «Грифом», а «Гриф» (его не видела, к счастью!) из кадетов махнул к белогвардейцам и мечтает о монархии<sup>14</sup>. Ходасевич же меня смущает тем, что стал работать в газете Керенского «Дни»<sup>15</sup> и гнется в разные стороны. Здесь же этого ни под каким видом нельзя. Или «беспартийность», так полное отсутствие цвета, или выбирай любой, но один. Ко мне пока ярлычка не приклеили, но приклеят скоро<sup>16</sup>. Только Вы-то хотя не смущайтесь. За проповедь евангельского коммунизма проф. Бердяева выслали в Берлин<sup>17</sup>... Хорошо, что не... То же было бы и со мной.

Сплетня: в первый же раз встретила в «Накануне» К.Вейдемюллера. Изумление мое было так велико, что спросила редактора «что он тут делает?». Ответ был простой: «работает». В 7 номере, посвященном Горькому, была его статья!!!<sup>18</sup> Вы что-нибудь поняли? Я нет.

Ну, кажется, довольно болтовни! Милая, милая, милая, Вы мне, пожалуйста, пишите о себе, и знайте, что каждое Ваше письмо для меня радость. Когда приедет Дузе<sup>19</sup>, расскажите мне о ней много. И о себе. Письмо мое глубоко неинтересно. Я на сегодня выдавила все из головы и просто ужасно устала. Обнимаю Вас нежно.

Ваша душой

Нина

Wilmersdorf — Berlin  
Kaiser-Platz Tübingerstrasse 8 stок 1  
bei Keidel

<sup>1</sup> Сменовеховская ежедневная газета. Выходила в Берлине с 26 марта 1922 после закрытия пражского издания «Смена вех» и являлась его продолжением (гл. редактора: Ю.В. Ключников и Г.Л. Кирдецов, ведущие сотрудники: С.С. Лукьянов, Б.В. Дюшен, Ю.Н. Потехин). Газета имела также редакцию в Москве. Сотрудничали в «Накануне» А.Н. Толстой, редактор еженедельного «Литературного приложения» до июля 1923 г.; Р.Б. Гуль, литературный редактор после возвращения Толстого в Россию (с 29.07.1923 «Литературное приложение» переименовано в «Литературную неделю»); А.С. Яценко, редактор «Научного приложения» (25.01 - 13.04.1923); А.Дроздов, Е.Г. Лундберг, И.М. Василевский (Не-Буква). Газета просуществовала до 15 июня 1924 г. О ней см.: *РУССКИЙ БЕРЛИН*, с.37-47; Р.Гуль. *Я УНЕС РОССИЮ*, с.196-202; Г.Струве. *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ*. Париж, 1984 (2-е изд.); М.Агурский. *ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМА*. Париж, 1980.

<sup>2</sup> Алексей Николаевич Толстой (1882-1945) был в Берлине с октября 1921 до июля 1923. О его деятельности в эти годы, работе в «Накануне» и решении вернуться в Россию см.: «Новая русская книга», 1922, №1, с.44; *РУССКИЙ БЕРЛИН*, с.31-46, 59, 108-131; З.Г. Минц. *ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ НА РОДИНУ* (журн. «Русская литература», 1959, №1, с.175-180). См. также переписку Толстого с Горьким (*ГОРЬКИЙ И СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. Неизданная переписка*. — ЛН, т.70, с.397-404).

<sup>3</sup> Петровская ездила на Капри вместе с С.А. Ауслендером 25 апреля 1903. В письме к Е.Л. Янтареву от 26 апреля она отзывается о Горьком, как о «пленительном человеке», «глубоко культурном и деликатном», и добавляет, что собирается писать о нем «литературный силуэт» (ЦГАЛИ, ф.1714, оп.3, ед. хр.3; письмо частично опубликовано в кн. *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЖУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА XX ВЕКА*, с.91). Статья Петровской *МАКСИМ ГОРЬКИЙ НА КАПРИ* вышла в газете «Астраханец» (1908, №7, 5 мая). О визите Ауслендера и Петровской упоминается в приписке М.Ф. Андреевой к письму Горького А.В. Амфитеатрову от 10 декабря 1910. Вместе с письмом Горький посылает их карикатуру, выполненную М.С. Боткиной во время их пребывания на Капри (письмо и карикатура опубликованы в кн. *ГОРЬКИЙ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА*. — ЛН, т.95, М., 1988, с.243-244).

<sup>4</sup> Имеется в виду Сааров, куда Горький переехал из Герингсдорфа 25 сентября 1922.

<sup>5</sup> Ольга Синьорелли была по всей вероятности знакома с Горьким уже с середины 1910-х годов, но ближе сошлась с ним в 1920-е, когда Горький жил в Сорренто; она часто хлопотала о получении виз для его друзей, советовалась с ним при отборе книг для перевода, была близко знакома с членами его семьи.

<sup>6</sup> Перечень берлинских изданий Белого см. в кн. К.Мочульский. *АНДРЕЙ БЕЛЫЙ*, Париж, 1955, с.239. Кроме того, Белый опубликовал в «Новой русской книге» (1922, №1, с.38-40) автобиографическую заметку о своей работе в России за годы революции.

<sup>7</sup> Кроме отрывков из *СЕРЕБРЯНОГО ГОЛУБЯ*, нам неизвестны другие переводы.

<sup>8</sup> О.И. Ресневич-Синьорелли познакомится с Белым в конце сентября 1923 г. в Берлине. Об этой встрече она рассказывает в своих неизданных мемуарах.

<sup>9</sup> «Эпопея», М.-Берлин, изд. «Геликон», 1922, №1, с.123-273; №2, с.105-299; №3, с.125-310; №4 (1923), с.61-305. Журнал выходил под редакцией Белого, в нем публиковались стихотворения М.Цветаевой, В.Ходасевича, Ю.Балтрушайтиса, самого Белого, Г.Иванова, произведения Ремизова, Пильняка, Муратова и др.

<sup>10</sup> Н.Петровская и В.Ф. Ходасевич были знакомы с 1903 г., когда создавались издательство и альманах «Гриф», особенно сблизились они в годы любовной драмы Петровской и Брюсова. Об этом свидетельствуют ее письма к нему за 1907 г. (ЦГАЛИ, ф.537, оп.1, ед. хр.77).

<sup>11</sup> Вероятно, имеется в виду поездка в Петербург вместе с Брюсовым весной 1909 г. (об этом см. *ПЕРЕПИСКА БЛОКА С В.Я. БРЮСОВЫМ*. — *ЛН*, т.92, кн.1, с.512-513).

<sup>12</sup> Вероятно, О.Синьорелли, которая в 20-е годы переводила современную русскую прозу для итальянских журналов и газет, — просила Петровскую связать ее с писателями, чтобы договориться о разрешении на перевод и публикацию и о гонорах.

<sup>13</sup> О деятельности издательства «Гржебин» (издатель: Зиновий Исавич Гржебин, 1869-1929; гл. редактор: М.Горький) за границей и его отношениях с Госиздатом, а также о позиции, занятой Горьким, см.: Л.М. Хлебников. *ИЗ ИСТОРИИ ГОРЬКОВСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ: «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» И ИЗДАТЕЛЬСТВО З.И. ГРЖЕБИНА*. — *ЛН*, т.80; В.И. ЛЕНИН И А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ. *НЕИЗДАННАЯ ПЕРЕПИСКА*. М., 1971, с.668-703. Об изданиях детской литературы берлинскими издательствами см. также: «Русская книга», 1921, №1, с.6: «/.../ чтобы дать детям материал для чтения, различные издательства начали усиленно печатать детскую литературу».

<sup>14</sup> С.А. Соколов эмигрировал в 1920, жил сначала в Париже, откуда переехал в Берлин (в 1922). Руководил журналом монархического направления «Русская Правда» и издательством «Медный всадник», выпустил один номер альманаха «Медный всадник» и сборник стихов *ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЕРСТЕНЬ* (1922). О его деятельности в эти годы см. *РУССКИЙ БЕРЛИН*, с.223-229; Р.Гуль. *Я УНЕС РОССИЮ*, с.130-131 и 136.

<sup>15</sup> Ежедневная газета А.Ф. Керенского; являлась продолжением газеты «Голос России». Выходила в Берлине с 1922, затем в Париже (1925-27), где стала еженедельной. В Берлине Ходасевич был литературным редактором «Дней» вместе с М.А. Алдановым. (см. *КУРСИВ МОЙ*, с.349-350). В «Днях» сотрудничали А.Белый, Н.Н. Берберова, Б.К. Зайцев, А.М. Ремизов, М.А. Осоргин.

<sup>16</sup> 31 мая 1922, после отъезда в Москву Ю.В. Ключникова и Ю.Н. Потехина, все участники газеты «Накануне» были исключены из берлинского Союза писателей и журналистов. В письме от 16.02.1923 (не вошло в настоящую публикацию) Петровская сообщает О.Синьорелли: «Союз писателей /.../ не пускает нас в свой клуб».

<sup>17</sup> Н.А. Бердяев был выслан вместе с группой более 160 профессоров, литераторов, врачей — по постановлению ГПУ — в августе-сентябре 1922. (См. об этом: М.Геллер. *ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — УДАР ХЛЫСТОМ*. — «Вестник РХД», №127, 1978, с.187-232). В Берлине Бердяев создал Религиозно-философскую Академию и вел активную общественную и литературную деятельность. С 1925 — переехал в Париж.

<sup>18</sup> Карл Людвигович Вейдемюллер — публицист. После революции жил в Риме, где сотрудничал в журн. «Voce dei Popoli», руководимом Zanotti Bianco, и в журн. «La Russia Nuova». О нем см. *РУССКИЙ БЕРЛИН*, с.230-231; см. также: Angelo Tamborra. *ESULI RUSSI IN ITALIA*, pp.227-230. Литературное приложение к «Накануне» за 1 октября 1922 было целиком посвящено Горькому, в связи с 30-летним юбилеем его творческой деятельности. Вышли следующие статьи: *М.ГОРЬКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ* (без подписи); Б.Дюшен. *М.ГОРЬКИЙ И РУССКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО*; Е.Лундберг. *РОМАНТИКА СВОБОДЫ И КУЛЬТУРА*; А.Толстой. *ВЕЛИКАЯ СТРАСТЬ*; К.Вейдемюллер. *«НОВОЕ СЛОВО» ГОРЬКОГО*; З.Венгерова. *ГОРЬКИЙ В ЕВРОПЕ*; Е.Ремпель. *ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО*.

<sup>19</sup> О.Синьорелли была очень дружна с Э.Дузе, написала ее творческую биографию (*ELEONORA DUSE*, Roma, 1938), переведенную на многие языки.

Berlin, 8/XII [1]1922

Дорогая Ольга Ивановна,

наконец-то могу Вам написать! У А.Белого умерла в Москве мать<sup>1</sup>, я к нему зашла, и он не был способен разговаривать. Прошла неделя, он оправился, и мы снова увидались. Дело такое: «Эпопеи» у него нет. Всю свою роздал, здесь скупое, редакция больше не дает. Очень будет рад, если переведете «Воспоминания о Блоке», но это труд в 25 печатных листов. Нужно очень сократить. Об этом он сам Вам пишет. Надеюсь, что письмо отослал. Придется Вам, значит, выписать. По нашей валюте вам будет стоить мало. Теперь: он дал мне для Вас книги (все с надписями), последние<sup>2</sup>. Но мне нужно пойти взять *разрешение* от какого-то учреждения их послать. Сделаю это дня через два. Иначе Гер-

мания книг не выпускает. (Простите почерк — руки замерзли). Рассказ А.Толстого Вам *половину* вкладываю в письмо, чтобы обойти формальности. Вторую пошлю тоже письмом. Рассказ чудесный<sup>3</sup>. Вообще А.Толстой сейчас один из самых лучших писателей (если не лучший). Как писатель и человек. Я его люблю тоже больше всех: в нем заложены всякие чудесные возможности. Я ему о Вас говорила. Он очень доволен, и ничто «авторское» в данном случае его не интересует. Вторая половина будет лучше первой. Вникните в его юмор, — он весь такой — человек и писатель. Это в Берлине мой «новый друг хороший лучше старых двух»... У него не только блестящее настоящее, но и верное чудесное будущее... Буду счастлива, если Вам понравится. С А.Белым у меня ужасный «политический» разрыв. Хотя мы и нежны, как прежде, но разделяет пропасть. Господи, что такое жизнь! Ведь мы однажды друг друга любили «как любят»... и все этим было живо. А теперь... точно актеры, сыграли драму, сняли грим и в кафе прозаически коньяк пьют. Мне от этого скучно и томно и совестно чего-то. Может быть, и ему тоже. К тому же он работает в «Днях» Керенского, а я в «Накануне», на 3/4 коммунистическом. Мне в Россию — скатертью дорога, а ему никогда!..<sup>4</sup> Тоже Ходасевичу, тоже Грифу, Зайцеву — зубрам из «Беловежской пущи». А в Риме люди живут, не заостряясь. Странно это.

Дорогая, меня Ваше письмо обрadowало бесконечно. Ну, да! Я знала (хотя подлый бес и заставлял сомневаться!), что Вам это все — все равно, — «зыбь на поверхности», знала, что Вы человек широкого понимания, что имя «Горький» не доведет Вас до обморока. А о себе вот что скажу, чтобы Вы все поняли. Меня пригласили писать в Москву, в «Известия» коммунистов. Оказалось, что не записавшись в партию — нельзя. Платят 500 т строчка, т.е. всякий фельетон в 500 ст[рок] 250 000 т... А я не пишу... Это, конечно, не к заслуге мне говорю, а просто так, чтобы Вы меня уяснили. Жизнь здесь — многотрудная всячески. Во-первых, снег. После 8 лет в Италии не умею с ним уживаться. Во-вторых — канкан сен. Сегодня 100, завтра 200, а через неделю оно же — 1000. Говорят, так и в России не было. Конечно, заработок не поспевает за танцем. В-третьих — люди. Это хуже всего, кажется. Все политики нетерпимые к тому же. Газеты перегрызают друг другу горла, бывшие приятели — тоже. Из-за этого закрываются разные литературные учреждения. Нужно жить или в катакомбах, или носить «забрало». В газете меня безжалостно тычут в политику, жую в фельетонах Вашего Муссолини<sup>5</sup>, ныряю с головой в «Avanti»<sup>6</sup>, пишу социальную хронику и чувствую себя престранно. Но ничего — скорее забавно. Говорю лишь то, что субъективно ду-

маю и чувствую, пока им соответствую, — пишу. А как в Риме? Расскажите, очень ли он внутренне изменился? И как все это действует на жизнь вообще?

Наверно уже приехала Дузе? Расскажите мне о ней. Она мне всегда представляется на кресте распятой и большой, большой.

Милая Ольга Ивановна, если Вы переведете рассказ Толстого, для меня это будет огромное удовольствие. И не только это мое мнение, — а он сейчас самый большой писатель в России и от самых лучших зерен, по самым лучшим культурно-преемственным линиям<sup>7</sup>. Если этот рассказ Вам не понравится, пришлю другой, третий, — любовные ситуации, что захотите! Отвратительный закон, не выпускающий книг из Германии, задержит посылку книг Белого дня на три — не больше.

Теперь: издатели детских переводов здесь скупы и разборчивы, настоящие черти. На них я махнула рукой. Ах, если бы Вы прислали одну педагогическую, очень новую в этой области и одну каких-нибудь очень новых коротеньких рассказов. Без авторских прав можно переводить по 3/4 печ[атного] листа. И здесь это очень ценится, прекрасно платят и желают везде. Педагогическую купит Наркомпрос (Гос[ударственное] Моск[овское] Изд[ательство]) для России и заплатит «золотом», а рассказы пойдут в Альманахи и разные лит[ературные] приложения. Это уже было бы наверно. Только мне очень стыдно просить. Если Вы мне не хотите ответить о цене, я Вам как *ricompensa*\* (не сердитесь!) pošлю русских хороших книг. Белый Вам просил переслать «Офейру», стихи «После разлуки», поэму «Первое свидание» и стихи «о России»<sup>8</sup> (чудесно!). Но это он посылает, а не я. Я pošлю другие. Если возможно, сборник каких-нибудь новелл пришлите мне поскорее. Очень все просят, а здесь нет, ни за какие деньги — нет.

Еще, дорогая, если сумеете, дайте мне один совет (верно, у Вас найдется, кого спросить). У нас с сестрой во время поездки в Берлин пропал сундук с вещами. Там было буквально все, — белье, платья, мелочи etc. — 42 chili di goba morbida!\*\* Два месяца живем, точно из пожара выскочили. Купить невозможно. Prezzi pazzeschi!...\*\*\* И это очень прискормно, главное потому что уже очень холодно. С итальянской и немецкой границ ответили, что «багаж не приходил», значит пропал в Италии. № квитанции 200, серии aaa 137. Можно ли с *ferrovìa*\*\*\*\* требовать уплату (за багаж не застрахованный), можно ли его искать и надеяться по-

\* как возмещение

\*\* теплых вещей

\*\*\* безумные цены

\*\*\*\* железнодорожное управление

лучить? Написала а *Caro Stazione Termini\**, просила *av. Ravignano* (Рим) справиться — молчат оба. Милая, спросите кого-нибудь. Может быть, махнуть рукой, отнеся факт на счет каких-то кармических враждебных сил? Или есть еще способы? Черт знает что! Здесь нельзя купить самого простого платья меньше чем за 27000 *maghi*.

Пишите мне, пожалуйста. Вся моя связь с Италией — интимная и *дорогая* — это одна Вы. (Кстати, кроме Вас, никто даже адреса моего не знает, и не хочу, чтобы знали, — боюсь вредных «флюидов» рим[ской] колонии.

Нежно Вас целую. Мой привет *da lontano\*\* Sre Angelo*<sup>9</sup>.

Ваша душой

Нина Петровская

<sup>1</sup> Александра Дмитриевна Бугаева (урожд. Егорова) скончалась в конце ноября.

<sup>2</sup> В архиве Синьорелли письма не обнаружено. В ее библиотеке хранится много изданий Белого (большинство с дарственными надписями), включая четыре номера «Эпопеи». Замысел перевода *ВОСПОМИНАНИЙ О БЛОКЕ* не осуществился.

<sup>3</sup> Речь идет о рассказе *ЛУННАЯ СЫРОСТЬ* (в одноименном сборнике, — *РУССКОЕ ТВОРЧЕСТВО*, Берлин, 1922). См. письмо 9.

<sup>4</sup> В письме к Н. А. Щупак от 17 ноября 1922 Белый сообщает, что у матери был удар, но «вернуться к ней в Россию нельзя, путь отрезан» (см.: Boris Sapir. *AN UNKNOWN CORRESPONDENT OF ANDREY BELYJ*. — «The Slavonic and East European Review», №16, 1971, p.451).

<sup>5</sup> В «Накануне» появились за ее подписью три статьи о Муссолини: *МУССОЛИНИ ДИКТАТОР* (22 ноября 1922 г.); *МУССОЛИНИ И TERRE INCOGNITA* (10 декабря 1922 г.); *С ПОМОЩЬЮ МУССОЛИНИ* (25 февраля 1923 г.). В других статьях встречаются многочисленные упоминания о нем и о фашизме.

<sup>6</sup> «*Avanti*» — орган итальянской социалистической партии, основан в 1886 г.

<sup>7</sup> В 1920-1921 гг. А. Н. Толстой считался многими «самым ярким и талантливым представителем молодой русской литературы» (см. по этому поводу статью А. С. Ященко в журн. «Русская книга», 1921, №1, с.7. Перепечатана в *РУССКОМ БЕРЛИНЕ*, с.121-125).

\* начальник римской железнодорожной станции

\*\* издалека

<sup>8</sup> *ОФЕЙРА — ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ*. Часть 1. Кн-во Писателей в Москве, М., 1921 (на обложке — 1922); *ПОСЛЕ РАЗЛУКИ*, «Эпоха», Петербург-Берлин, 1922; *ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ*, изд. «Слово», Берлин, 1922; *СТИХИ О РОССИИ*, «Эпоха», Берлин, 1922.

<sup>9</sup> Муж О.И. Ресневич. См. письмо 7.

5

31/XII/[1922]<sup>1</sup>. Berlin

Дорогая О.И.

не писала Вам, потому что все ждала разрешения на высылку книг, и — проклятые немцы! — до сих пор не дали. К тому же «праздники». Празднуют истово, долго, тяжело, по-саксонски. Одну книжечку, маленькую — «Стихи о России», рискну послать заказным. Конечно, дойдет. Остальные слишком громоздки, боюсь, конфискуют.

Спасибо Вам, дорогая, за ит[альянские] книги. Представьте только! — блестяще продала «Муравьиную кучу»<sup>2</sup>. Продала перевод Наркомпросу (Минист[ерство] Народ[ного] Просв[ещения] в Москве). А Толстой предложил редактировать русский текст и написать предисловие. Ухватился. Воспроизведут рисунки, изддут 25 т. экземпляров. Гонорар царский... Дело еще в том, что Госиздат — это неиссякаемый источник всякой работы, лишь бы всунуть нос с шиком... Я и всунула. С Толстым-то!.. Он видел, как меня стала сосать газета, — это очень тяжело. Нужно было писать все и так: сейчас! завтра! к 8 утра! к вечеру! А платят *così così*\*. Вечная дыра. Жизнь безумно дорога. Теперь, если пойдет хорошо, — уеду на месяц в сосновые леса. А газету заставлю танцевать на задних лапах. И это все благодаря Вам!.. Милая! Милая! Педагогические книги отослали в Москву на утверждение. Тоже, конечно, будет работа. А платят «долларами»... Только не думайте, я «им» вовсе не продаюсь, а работаю пока «линии» совпадают. Что такое «Муравьи» и «Безработица в Англии»?.. Или «Зверства Муссолини»?.. Что верно, то верно! Толстой едет в Москву. Грустно и завидно. Физиономия Берлина — «мелкий бес», серость, пересылка... А шагнуть за рубеж еще боюсь. Там встретят такие инкубы<sup>3</sup>, что моментально оборвут все ткани небытия, в которые я увернулась. А слухи дурные... Что хорошо здесь — природа. Такие тучи, такие облака, такие закаты, словно в Москве на Воронухиной горе! И все прорывается Март, косма-

\* так себе, скупо (итал.)



тый, растопленный, сине-изумрудный. Мне нравится, а у многих от этого только сверление в висках.

Люди живут здесь серо. Почти все мрачно, безвкусно напиваются. Пьют inferнальные зелья под именем ликеров, ходят желто-зеленые, куда-то хотят «прорваться», но не выходит. «Прорывается» лишь А.Белый; но в жизни земной весь замученный, истерзанный газетой «Дни». Там Керенский... Лучше ли «Накануне» недохваткой гонораров и потусторонними зовами, на которые отвечать не так уж просто...

Из области сплетен: куда-то совсем исчез Вейдемюллер. Говорят, приехала Анна Гр[игорьевна]<sup>4</sup> (я не верю). Месяц назад меня пригласили в Редакцию «для переговоров». Оказалось, недовольны К[арлом] Людв[иговичем]<sup>5</sup> — жалованье получает, а ничего не делает... Хотите на его место? — Хочу. Но ведь он должен уйти сначала. — Да. Но *не ушел*... Так до сих пор коптит и чадит какие-то, чорту самому ненужные, «экономические» фельетоны *без подписи*. Но я не очень жалею: пойти на жалованье в газету — значит в рабство, или лодырничать, как *magnifico Carlo* Людвигович, — тоже не умею. Пусть себе зарабатывает на галстуки и духи!..

Дорогая моя, Вы не думайте, что уж совсем-то я измельчала! Все *мое* — у меня на дне лежит и этого дара вручить мне некому. Так, верно, «назад» понесу...

О В.Брюсове говорят, что он так унизился с Б.<sup>6</sup>, так упал, так выродился, состарился... Тоже не верю... пока не вложу «персты в язвы»...

Утешительно одно: новая русская литература. Есть книги, рожденные Революцией, совсем удивительные. Лезут, — здоровые, ядерные, душистые, как рыжики после дождя. И без позы, без ломанья — запросто, хорошо, словно так и надо быть простыми и большими.

Дорогая моя Ольга Ивановна, Вы — единственное звено, связующее меня с Италией. Потому не забывайте, пишите, когда захочется.

Еще раз спасибо. Если уеду в сосновые леса, там отдышусь. Хочу писать книгу. Запродала ее «на корню», как мужики хлеб в голодный год!<sup>7</sup>

Получили ли Вы письмо А.Белого? При мне заклеил в конверт. Но это ничего не значит. У него от газеты в голове кавардак.

Не сердитесь за молчание. Я тоже разорвана в куски. Расскажите о себе. Приехала ли Дузе? Обнимаю Вас крепко и нежно.

Ваша Нина Петровская

Wilmsdorf. Berlin  
Kaiser-Platz. Tübingerstr. 8 st.I  
bei Keidel

[На полях:] Нравится ли Вам рассказ А.Толстого? Посылаю еще листы.

<sup>1</sup> Датировано по содержанию.

<sup>2</sup> Имеется в виду книга *CIONDOLINO* (1895) итальянского детского писателя Luigi Bertelli (псевд. Vamba, 1858-1920). Перевод, под заглавием *ХВОСТИК. РОМАН ИЗ ЖИЗНИ МУРАВЬЕВ*, вышел в серии «Библиотека для детей», Гос. Издат., М., 1923. В Отделе рукописей ИМЛИ, в фонде А.Н. Толстого, (ф.43, инв.7020) хранится беловик перевода, отредактированный Толстым. Книга издана без предисловия Толстого.

<sup>3</sup> Калька с итальянского: «кошмары».

<sup>4</sup> Анна Григорьевна Айзенштат — жена К.Л. Вейдемюллера. Знакомая Петровской по Риму. Справка о ней дается в «Русской книге»: «автор работ по экономическим и социальным вопросам. Живет в Риме» (1921, №2, с.21).

<sup>5</sup> Вейдемюллер.

<sup>6</sup> Лицо неустановленное. Возможно, речь идет об А.Белом.

<sup>7</sup> Речь, по-видимому, идет о книге об Италии, упоминаемой в других письмах.

6

Берлин, 31/II[1]923

Моя дорогая, любимая!

я не потому Вам не писала, что ждала от Вас, вовсе не потому. Весь январь просидела с «Муравьями», — наконец, — готовы. Сделала их в 25 дней всего, а кроме того — другая работа. Сидела иногда по 11 часов. И вот такая заковычка: Толстой редактирует перевод и хочет написать предисловие, а данных-то у нас о Vamba никаких нет. Я знаю только, что он очень и очень известен, но жив или умер, стар или молод, какие у него еще есть книги, — об этом никто не знает здесь. Милая! пожалуйста, Вы, конечно, это

все знаете, а подробности, если какие ускользнули, сейчас же ведь могли бы восстановить. Вот просьба: напишите это скорее, скорее. Если Вы не забудете и не поленитесь, то дней через десять я могла бы получить и ответ? Толстой через две недели едет в Москву, тогда сможет сам отвезти предисловие. Теперь еще одна, и покончу с «просьбами». Благодаря Вам я сейчас живу и дышу уже приблизительно легче. «Муравьев» я продала прямо блестяще, а здесь итальянского *ничего* достать нельзя. И выписывать как-то не хотят. В Госиздате сейчас огромный интерес к хорошей иностранной литературе и к итальянской особенно — ее очень мало знают в России. Так вот, — если бы до отъезда Толстого Вы мне прислали сборник каких-ниб[удь] очень новых, хороших новелл, только не очень остро-эротического содержания. Тогда, боюсь, не пройдет. Госиздат ведь также и Наркомпрос (т.е. глава издательств) — Министр Нар[одного] Просв[ещения]). Это не значит, что выбор суживается идейно или художественно, но эротикой можно напугать. Повторяю — очень или слишком «рискованной». Напр[имер], Грация ди Ледда<sup>1</sup> — не переведено, хотя уже и не очень-то ново. Или еще что нашумевшее, очень известное, хотя с двумя строчками *от Вас* данных об авторе и его лит[ературной] карьере. Вот если бы Вы мне прислали теперь, сейчас, я бы опять им продала с помощью Толстого, и это бы меня избавило на время от «рабства строчек» в «Накануне» и дало бы возможности. Не сердитесь, что прошу *скоро*. Без Толстого не выйдет или затормозится, а он умеет требовать у них безапелляционно.

Я постараюсь всеми силами не остаться у Вас в долгу. Пошлю Вам в начале марта книги с Зайцевыми<sup>2</sup> и Белого и другие. Отсюда выслать невозможно. Хотя тем же способом, т.е. почтой, пошлю завтра стихи Белого с его надписью для Вас. Только придется в *два* раза, в двух конвертах. Вы ее, конечно, сейчас же переплетете? Пришлось расшить страницы, чтобы не приняли за книгу.

Милая! отчего Вы не здесь?.. Вы тоже тот «новый друг», который «лучше старых двух»... Я ведь по самой натуре моей одинока, и очень мало кого люблю всем сердцем. Между мною и старыми друзьями время, годы заложили что-то неодолимое. И они не те, и я не та! Мы шли разными дорогами и к различным внутренним достижениям. Я дошла до огромной безграничной свободы, — вероятно вследствие моей оторванности от жизни за итальянские годы. А они еще как-то не совсем прогрызли скорлупу, не совсем презирают «внешнее»... Один Белый только, но он стал *страшен*. Я когда-нибудь Вам расскажу о нем очень много. Он — чем выше взлетает, тем ниже падает. А при его-то полетах,

это воистину страшно и он совсем не бережет своей души. Недавно, после 15 лет, встретила Минского<sup>3</sup> — Вы его знаете как поэта? Это была прекрасная встреча. К тому же ему 65 лет, а я очень люблю хорошую старость. Что Вам еще сказать? Вот, начинаю писать книгу об Италии — бытовую, очень парадоксальную. Написала два рассказа и массу статей и фельетонов. Один, так, для шутки, Вам посылаю, — пустяк совершенный. Только итальянцам не рассказывайте! Это просто газетный шарж. В этом духе они нравятся в «Накануне». Когда так пишу, прячу имя<sup>4</sup>. Не бранитесь за него!

Толстому передала — он очень, очень Вас благодарит. Ему, как человеку крайне честолюбивому, будет приятно сказать: «Кроме голландск[ого], англ[ийского], франц[узского], еще переведено на итальянский»<sup>5</sup>. Пришлю его рассказы тем же способом.

Здесь, кажется, скоро будет весна. Вчера видела один кустик, зазеленел. И какая весна! Медленная, душистая, *sigina\** русской!

Пишите мне, дорогая! Все же не молчите по два-то месяца!..

Обнимаю Вас нежно и крепко, люблю Вас нежнее чем в Риме!

Ваша Н.Петровская

<sup>1</sup> Grazia Deledda (1871-1936), итальянская писательница, близкая к веризму.

<sup>2</sup> Б.К. Зайцев уехал с семьей в Италию в сентябре 1923 г. В ноябре того же года, вместе с Н.А. Бердяевым, С.Л. Франком, Л.П. Карсавиным, Б.П. Вышеславцевым, П.П. Муратовым, М.А. Осоргиным и др. участвовал в конференции, организованной в Риме Ло Гатто и Итальянским Комитетом помощи русским интеллигентам. Здесь он познакомился с О.Синьорелли, которая хлопотала о получении виз для него и его семьи. Зайцев жил в Cavi di Lavagna до конца 1923 г.

<sup>3</sup> Н.М. Минский уехал за границу в 1914. Жил в Париже, печатался в журн. «Грядущая Россия» и в газете «Последние Новости». В Берлине был председателем «Дома Искусства», сотрудничал в журнале «Сполохи» и выпустил сб. стихотворений *ИЗ МРАКА К СВЕТУ*. Гржебин, 1922.

<sup>4</sup> О книге об Италии нет никаких сведений. Видимо, замысел так и не осуществился. За этот период вышло в «Накануне» много рецензий и «итальянских» фельетонов Петровской. К письму приложена вырезка из газеты «Накануне» с фельетоном *ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ*, подписанном «А.Д-ский».

<sup>5</sup> Речь идет о переводе *ДЕТСТВА НИКИТЫ*. Отрывки из него были помещены в журн. «Russia», 1923, pp.116-121.

\* кузина.

Берлин, 7/V/[1]923]

Дорогая моя!

с радостью посылаю Вам книги. «Эпопею» берегите, никому не давайте читать. А.Белый ушел, и она в таком виде будет библиографической редкостью. Увидите, — остальные есть хорошие, есть похуже и плохенькие, но все *новые*.

Посылать по почте обставлено до сих пор трудностями, и я просто счастлива, что Sre Angelo<sup>1</sup> их берет.

Я раздавлена, задавлена срочной работой, потому долго и не писала. Души не соберешь!.. Живу как в Чистилище. Вижу впрочем множество людей, но всегда по делам. Милых мне так мало осталось. Напишу Вам скоро очень длинное письмо. Сейчас несу книги Sre Angelo. Какая радость его видеть и говорить по-итальянски!

Он сказал, что м[ожет] б[ыть] Вы будете здесь в июле проездом? Вот утешение! Хотя на часок увидеть бы Вас!

Целую, обнимаю с любовью и нежностью

Ваша Нина

[На полях:] Тут есть детская красная книжонка. Милая, пошлите ее Лене Первухиной<sup>2</sup>, пожалуйста.

Адрес их (жив ли он?), Via Clitunno 41 (quart. via Po).

P.S. Как полагается припертому к стене человеку, письмо-то и забыла на письменном столе, а книги Sre Angelo передала. Посылаю его следом за ним. Простите! Голова у меня с дыркой. Напишу очень скоро.

<sup>1</sup> Муж О.Ресневич, Angelo Signorelli (1876-1952), врач, был в Берлине на обратном пути из Москвы.

<sup>2</sup> Михаил Константинович Первухин (1870-1929) — писатель, журналист; редактор газ. «Крымский курьер». В 1907 г. уехал в Италию, жил на Капри и в Риме, бывал у Горького (опубликовал о нем очерки: *У М. ГОРЬКОГО НА КАПРИ*. («Одесские новости», №73302 за 11 августа 1907 г.) и *I RUSSI A CAPRI — MASSIMO GOR'KIJ*. (Журн. «Le pagine dell'isola di Capri», №1, 1923). Итальянский корреспондент газет «Биржевые ведомости», «Речь», «Русская мысль». За 1918-1920 напечатал большое количество статей в римских газетах «La Tribuna», «Epoca», «Il Giornale d'Italia», «Il Corriere d'Italia», «La Domenica del Corriere» (часто под псевдонимом Староверов). В 1918-1919 сотрудничал в антибольшевистской

газете «La Russia Nuova». В Италии вышли его книги: M.Perwoukhine. *I BOLSCEVICHI*, Bologna, 1918; *LA SFINGE BOLSCEVICA*, Bologna, 1920. О нем см.: «Русская книга», 1921, №1, с.28; №3, с.26, и «Новая русская книга», 1922, №3, с.39. См. также: А.Тамборра. *ESULI RUSSI IN ITALIA DAL 1905 AL 1917*, Bari, 1977, pp.30-31, 229-230; А.Venturi. *RIVOLUZIONARI RUSSI IN ITALIA 1917-1921*, Milano, 1979, pp.151-152. «Лена» — его внучка.

Берлин, 10/V/[1]923

Дорогая моя,

и я на этот раз молчу долго. Знаю, что не нужно ждать от Вас ответов «по календарю», но писать без них — кажется, что в пустоту проваливается письмо, уж такая психология у писем вообще... Что Вам рассказать? И много, и нет как будто ничего! Самое главное *во мне* то, что хочу в Москву до тоски. Берлин же на каждом шагу обостряет это желание своими веснами, зимами, закатами — совсем точно в России, и люди русские кругом, но не то, не то — только искусная подделка, а внутри дыра без содержания. Главное, слишком много чужих мне, настоящих эмигрантов, озлобленных потерями, закоснелых в «дореформенных идеях», настоящих «беловежских зубров». Кто поумнее — подставляет под это все идеологию и России не приемлет по сложным будто причинам. Так и остается один Толстой да жена его — милая, милая — Крандиевская<sup>1</sup>. Но Толстой уже уехал в Москву нанимать на осень квартиру там. Верю, что если я сама не уеду из Берлина, меня вытолкнет судьба, иначе чем из Рима, но выпихнет непременно. Даже и работы здесь, в конце концов, мало: все, что делаю, и переводы и «Накануне», — это же для России. Увидим! — А у меня для Вас маленький, но хороший подарок — четыре № «Эпопеи» — приобрела их для Вас в один благоприятный момент, и «Путевые записки» А.Белого<sup>2</sup>. Завтра пойду с Вашим письмом в издательство и попрошу послать. Валютная надбавка для России отменена наконец. Кстати «Эпопея» в таком виде только и есть в четырех №. Андрей Белый по какому-то пустяку поссорился с «Геликоном», пришел, наскандалил, назвал Вишняка<sup>3</sup> «ах ты, издательская харя!» и редактирование бросил, — я полагаю, окончательно. Сейчас пишу об «Эпопее» статью в «Накануне»<sup>4</sup>. Сегодня кончу, а завтра Вам вышлю. А.Белого я разлюбила навсегда. И жалко!.. Сколько людей ушло из души и стали чужими. Отпадают, как сухие ветки. Иные — так просто отживают, иные... ху-

же... вырывают с болью чувства к себе, а иные так вылиняли, что ничего не осталось. Может быть, и я... не знаю. Вообще же страшны встречи через десять лет. Не люблю старых вещей, реликвий, старых пожелтевших писем. Прежде любила ночь и прошлое, теперь день и хотя кривое, однобокое, но будущее. Вот потому-то и тоскую по Москве. А теперь, милая, опять «просьба». Пригласили меня из Петербурга во «Всемирную Литературу» — в журнал, выходящий там — забыла название<sup>1</sup>, писать об итальянской литературе. Обзоры новой, статьи, рецензии, переводы, — критическая работа. За материалы, т.е. книги или журналы, они будут платить в Берлине через представителя. Но ведь надо быть в курсе и знать, что выписывать. В этом я так полагаюсь на Вас. Выберите, напишите мне о чем надо и стоит писать и, конечно, необходим для ориентации какой-ниб[удь] литер[атурный] критический журнал. Напишите об этом поскорее! Я им послала мои условия, и уже скоро придет ответ, а я не знаю, что предложить и как принять. И еще, если можно, пришлите мне какой-нибудь номер вроде «Tutto»<sup>2</sup>, но потолще, попестрее, со всеми оттенками современности, со «смесью», с пустяками. Ведь такие есть? Не серьезный, но именно пестрый; в таких масса материала для фельетонов, коротеньких статей и проч[ее]. Я решила теперь за каждую итальянскую книгу сторицей посылать Вам русские. Не сердитесь! Без валютной надбавки это уже легко, а доставить Вам удовольствие для меня такая радость. И еще: в «Геликоне» ужасно хотят д'Аннунцио для перевода, нового, но не драмы. Что есть? И как Вы думаете, доступен ли он для русского издательского кармана? Я думаю, что нет. И как, откуда к нему подступить? Не раздулся ли он от славы и спеси? Вот на все это ответьте мне. Уже не решаюсь сказать *поскорее*... Но мне так нужно, а то, придет ответ из России, а я ничего не знаю и не только книг не могу указать, но и для себя плана не имею. Если Вы скоро куда-ниб[удь] уедете, пришлите мне адрес. Здесь дождь почти непрерывный, но Берлин утопает в сирени, ландышах, яблонях. Я живу совсем возле парка. От этого по вечерам тоска пронзительная... Целую Вас, дорогая! Не забывайте

Вашу Н.Петровскую

<sup>1</sup> Наталия Васильевна Крандиевская (1889-1963), поэтесса, третья жена А.Н. Толстого.

<sup>2</sup> Описка: речь идет о «Путевых заметках».

<sup>3</sup> Абрам Григорьевич Вишняк (1895-1943), возглавлял изд-во «Геликон», выпускавшее «Эпопею».

<sup>4</sup> Рецензия Петровской на «Эпопею» (№1-4) была опубликована в 54-м номере литературного приложения к «Накануне» за 27.05.1923 в отделе «Библиография». В статье она дает оценку журналу, его авторскому составу, комментирует *ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ*: «"Воспоминания о Блоке", конечно, не роман, не гениальный вымысел гениального футуриста, но эти роковые свойства своего творчества А. Белый неминуемо вносит и в них. Его Блок клонится к гибели с первых страниц, путь его от "Прекрасной Дамы" до конца проходит под знаком Смерти. "Тихая сила Блока", его "лучезарность" — только в первой книге "Эпопей". Дальше срыв в жизни общественной и личной — костер, — и образ А. Блока, раздвоенный, пересыщенный ледяной экзотикой самого А. Белого, мучает мистическим небытием своим». В статье Петровская комментирует также решение Белого прекратить редактирование «Эпопей», цитируя его письмо в редакцию «Геликона»: «многообразные занятия и отсутствие свободного времени не позволяют мне продолжать редактирование "Эпопей"».

<sup>5</sup> По всей вероятности, имеется в виду «Современный запад. Журнал литературы, науки и искусства» (ежемесячный — 1922-1924); Пг., «Всемирная литература». Редколлегия: К.И. Чуковский, Е.И. Замятин, А.Н. Тихонов. См.: *ОБ ОДНОМ ЗАМЫСЛЕ А.М. ГОРЬКОГО*. — в сб. «Труды по русской славянской филологии», VIII. Литературоведение. Ученые записки Тартуского Ун-та, вып.167, Тарту, 1965, с.202.

<sup>6</sup> Еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Риме.

## 9

Берлин, 23/VI/[1]923]  
Tübingerstr 8/Ist. Kaiserplatz. Vilmersdorf

Дорогая моя!

я видела в Абруцци и во Фраскатти<sup>1</sup>, в горах, ослов, которые целые дни, и целые дни тащут тяжелую поклажу, и тогда еще не думала, что мне суждено превратиться в одного из них!.. Мне некогда написать письма, пришить пуговицу, купить шляпу! Встаю в 5-6 ч[асов] утра и за письменным столом не вижу ни жизни, ни дней. Сказать, чтобы я устала, — нет! Особенное состояние, словами не выразимое. Я и я и не я... Особый род аскетизма, не подневольного, но и не желанного. Или только наркоз, или сон... Потому и не писала ничего, кроме коротенького письмеца после отъезда Sre Angelo. Чтобы вывезти на себе все тяготы реальности, становящейся в Берлине во всех смыслах нестерпимой, мало было бы работать и целые сутки в сутки. Конечно, это потому, что до сих пор не распуталась с эмигрантскими издательствами и позволяла себя эксплуатировать в «Накануне». Теперь понемно-



гу начну работать исключительно для России, и может быть, перевалив горный хребет вот этих месяцев, вздохну, переведу дух. По крайней мере, в этом уверяет Толстой. Он сам через десять дней окончательно со всей семьей уезжает в Москву. Счастливый! Конечно, придется уехать и мне. Здесь и сейчас неприятно, трудно, чуждо, а *потом* будет невозможно. Да, чем «в чужом пиру похмелье», лучше уж *дома* делить все, со своими. Даже русский «Ад» мне был бы любезнее берлинского «Чистилища» — серого, серого, начиная с погоды: ровно 1/2 месяца, ежедневно, с утра и до вечера идет холодный дождь. Даже душа вся отсырела! Нет, русский человек должен и жить и умереть в России, даже после долгих странствий по свету! Не для Вас я это говорю. Вы — другое дело, у Вас семья и другой склад всего существа. Допек меня Берлин не сразу. Сестру сразу<sup>2</sup>, а в меня просачивался медленно и крепко. Одно здесь хорошо: огороды и цветы... Город цветов, как ни странно... Таких и в таком безумном количестве не видала в Италии. Еще собаки... чудесных пород — мои младшие братья, самые любимые среди всего живого.

И вот, дорогая, опять «просьбы»... Не сердитесь... Итальянский язык — один из самых крупных шансов и плюсов сейчас в моей рабочей жизни. Дело вот в чем: у меня два крупных приглашения в два толстых журнала. Один в Петербурге, другой в Москве, что будет с сентября выходить под редакцией Толстого<sup>3</sup> — писать обзоры новейшей итальянской литературы, хотя бы и компилятивного характера (ибо где бы я могла прочесть всю уйму нужных книг!), периодически, одну за другой. Конечно, я пойду к Толстому, и такую статью он у меня просит сейчас. Но что я вычерпаю из одного номера «I libri del giorno»!<sup>4</sup> О, если можно, подумайте и пришлите мне какую-нибудь обстоятельную статью хорошего и не поросшего мохом академизма итальянского критика. Или две. Тогда дело в шляпе. И, кроме того, июньский номер «Il libri del giorno». Если бы Вы знали, как это нужно не только мне, потому что заплатят буквально «золотом», но и Толстому и России, имеющей живейший интерес к Италии. Мне очень стыдно Вас все просить и просить, но на этот раз, милая!, если возможно и «по календарю», сделайте это поскорее. Толстой ужасно торопит, ибо уже намечает места для материала и размеры номера и имени.

Отчего не пишете Вы? Иногда думаю — не стали ли меня считать в каких-то смыслах «чужой», с какой-то чужой Вам отгиснутой на мне печатью? Нет! чем больше *вижу*, узнаю и понимаю, тем более становлюсь *собой*, своей собственной и ужасно чуждой всяким перемещениям молекул в общественной жизни. Все это

было и все это будет... И все это ни к чему, пока человек не ощутит Бога в сердце. Только тогда настал бы «Paradiso terrestre»\*. И не настанет никогда, хотя из кожи вылезут все строители жизни. Заблуждение и самообман. Говоря так, ничему не изменяю и ни к чему не привязываю моей свободной лодки.

В этом письме мне не о чем посплетничать. Никого не вижу. А.Белый уехал куда-то, весь разорванный, искаженный<sup>1</sup>. Уезжает Толстой, единственный, кого я крепко и верно люблю. Это для меня, до новой встречи, большая печаль. Окончательно разошлись (без гансоге\*\*) с Зайцевыми, — их окружают «люди с песьими головами»... Невозможно встречаться. От Толстого *спасибо* за книгу. Перевели ли Вы «Лунную сырость?» Нет? Жаль. Это чудесная вещь.

[На полях:] Неужели Вы приедете на часок в Берлин? Боже мой! Целую Вас нежно и любовно. Сердечный привет Sre Angelo.

Ваша Нина Петровская

В книгах была гаденькая дрянь для Л.Первухиной. Перешлите мне<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Abruzzi — область в Центральной Италии; Frascati — городок в окрестностях Рима.

<sup>2</sup> Сестра Петровской, Надя, была серьезно больна и нуждалась в постоянном уходе.

<sup>3</sup> О петербургском журнале см. прим.5 к письму 8. Что касается журнала А.Н. Толстого, о нем помещена справка в «Новой русской книге», 1923, №5-6, с.45: «Уехавший в Москву А.Н. Толстой принял на себя редактирование "Альманахов новейшей русской литературы", которые будут выходить с осени большими книгами по 16-18 печатных листов раз в 3 месяца». Замысел не осуществился.

<sup>4</sup> Ежемесячный литературный журнал (обзор итальянской и иностранной современной литературы). Милан, 1919-1929.

<sup>5</sup> Белый провел около месяца с К.Н. Васильевой в Harzburg (см.: J.E.Malmstad, предисловие к книге К.Н. Бугаевой *ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ*. Berkeley, 1981, с.16).

<sup>6</sup> В это время М.Первухин уже переехал в Берлин.

\* рай земной

\*\* без обиды

Берлин, 11/7/[1]923

Моя дорогая, любимая,

только вчера получила Ваше письмо и спешу ответить, чтобы Вас мои строчки застали. Ах, спасибо от всего сердца за материалы! Я тоже очень упала духом, и Ваше письмо и книги меня живой водой sprysнули. Теперь можно дать ряд хороших обстоятельных статей в журнал Толстого. Вы говорите, «книга немножко устарела», — это ничего. У меня есть чутье. Я выберу только нужное, а к тому же, в России ничего почти не знают об Италии, — все будет ново на первых порах. К тому же гонорары *золотом* платят, а я в нем так нуждаюсь. Жизнь здесь за два последние месяца совсем обезумела. Стали уже нужны, как в России, «лимоны» (советс[кое] название миллионов)! Работать в Берлине совсем невозможно. Эмигрантские издатели пьют кровь из писателей, «Накануне» — тоже. Я там сейчас почти не пишу. На Толстого все мои надежды, на Москву.

Вам нравится Эренбург? Мне он иногда ненавистен. Так я о нем однажды писала, и он затаил на меня злобу. Но это ничего, я с ним поговорю на самых близких днях, если он в Берлине. Он — продукт современности. Со всего сорвал покровы и живет и творит одним отрицанием. Читать его мне противно, поэтому и страшно и весело, но это его веселье гробовщика, это выкапывание самых последних мерзостей в человеке, — почему *Вам* могло так понравиться? Вероятно, по какому-то злому контрасту с самой собой? Он правда очень умен и талантлив, но качества его таланта мне лично отвратительны. Для того, чтобы Вы меня поняли, Вам нужно прочитывать его роман «Жизнь и гибель Николая Курбова»<sup>2</sup>. Здесь в Берлине на счет этого романа относят самоубийство одного мальчика 18 лет. Эренбург читал, а тот слушал, да, придя домой, отравился газом. Конечно — гипербола, но не глупая...

Какой он человек? Не знаю. Но думаю, что сговориться с ним легко, ибо честолобив. Напишу Вам тотчас же. Мне пришлось участвовать в одной французской антологии, которую он редактирует в «Геликоне». Ничего! никаких козней не устроил. Думаю, что и разговор обойдется хорошо.

Толстому сегодня передам Ваше письмо и постараюсь устроить с писательским гонораром, как Вы пишете. Ответ его тоже напишу.

Теперь посоветуйте мне, как быть. У меня здесь просили детских книг в одно *очень бедное* издательство. Я перевела «Данте

для детей» Dino Provenzal и перевожу «Шахматную доску перед зеркалом» Bontempelli<sup>2</sup> — буквально за грош, почти даром, можно сказать. Русские издательства в России сейчас по советскому закону совсем не платят авторских за границу<sup>3</sup>. В Берлине нужно платить. Нельзя ли умиловать Provenzal и Bontempelli, чтобы они дали свое согласие *gratis*\*, во имя «высоко-культурных целей»? Может быть, это удалось бы Вам! Особенно «Данте» для русских, неумытых еще советских детей — ведь Данте *мировой гений!* Иначе заплачу я из своих, но что тут можно платить из своего кармана при таком падении марки!.. Скандала, конечно, тоже не хочу. Милая, подумайте Вы, как это сделать. Я поступила легкомысленно, не списавшись. Надо поправить. Бог с ним! пусть будет совсем даром переведено, только хоть для имени и для детей. Деньги у меня будут из России. Если окажется необходимым — заплачу, но хотя не чудовищные цифры! Подумайте об этом, родная, и напишите мне. Это меня очень беспокоит.

Еще: если Вы написали уже Муратову о второй антологии<sup>4</sup> — то и хорошо. Я за язык старинный не возьмусь. Раз уже отказалась от биографии Бернини. Слишком много труда, да может выйти плохо, все равно. Если еще не писали, напишите. Это здесь может издать роскошно «Нева» под его редакцией<sup>5</sup>. А переводчиков он найдет. Меня и не пригласит, конечно, ибо он бел, как снег, и мы с ним друг друга определенно и враждебно не выносим. Между прочим, из-за него (почти всецело) я больше не бываю у Зайцевых. Но это дрязги! Не стоит. Все они люто завидуют и ненавидят Толстого. Все ясно! Вот и кончается письмо. Вышло сплошь деловое! А что я могу сказать о себе? Живу без души... Тоска невыносимая, люди чужие, Берлин противен, немцев видеть не могу — они гнетут русских всеми способами, и самое ужасное это квартиры. Выгоняют за зря, не пускают, пьют сок, как пауки. Ах, как тяжело без России! Всегда не дома, вечно с чужими! Мне были тяжелы и итальянцы, но иначе. Легче с ними все же жить.

Родная, пришлите Ваш каприйский адрес сейчас же. Если не удосужитесь, напишу в Рим, на имя S. Angelo, с просьбой переслать Вам. Нежно и крепко Вас обнимаю.

С любовью неизменной. Ваша Нина П.

[На полях:] Здесь зной — густой, тяжелый. Нечем дышать. Это не итальянская жара! И никуда не могу поехать после 9<sup>1/2</sup> месяцев каторжной работы! Ну ничего: «мы отдохнем... мы увидим ангелов и все небо в алмазах»!.. Это уж наверно! *Мы с Вами увидим...*

---

\* бесплатно.

<sup>1</sup> Изд-во «Геликон»: 1922. Оценка Петровской повторяет распространенные в то время обвинения Эренбурга в «отрицании ради отрицания», в разрушительном нигилизме (см., напр., рецензию А.С. Яценко на роман «Хулио Хуренито» в «Новой русской книге», 1922, №3, с.4-6). Чувствуются в замечаниях Петровской и отзвуки полемики в связи с публикацией нашумевшей статьи И.Василевского (*ТАРТАРЕН ИЗ ТАГАНРОГА*) о творчестве Эренбурга, появившейся в литературном приложении к «Накануне», №24, 29 октября 1922, с.4-7.

<sup>2</sup> Dino Provenzal (1877-1972) — беллетрист, специалист по итальянскому фольклору, автор многочисленных адаптаций классиков для детей. Книга, о которой идет речь, — *IL DANTE DEI PICCOLI*, Firenze, «La Voce», 1922. Итальянское название романа М.Бонтемпелли (1878-1960) — *LA SCACCHIERA DAVANTI ALLO SPECCHIO*. О нем см. в письме 16.

<sup>3</sup> Об этом декрете «Новая русская книга» сообщала: «В отношении заграничных авторов предлагается предоставить русским издательствам полную свободу» (1922, №8, с.37).

<sup>4</sup> О замысле антологии итальянских классиков нам ничего не известно. О.Синьорелли познакомилась с П.П. Муратовым весной того же года во время его поездки в Италию.

<sup>5</sup> Издательство «Нева» (редактор Виктор фон Струве) выпускало переводы русских классиков на немецкий язык и переводы на русский язык книг по искусству, а также книги об итальянском Возрождении.

Берлин, 2.8.[1]923

Дорогая моя,

я только что сдала перевод «La gaçonpe»<sup>1</sup>, который три месяца сосал как вампир мою душу. Это пятая книга, переведенная мной за 10 месяцев в Берлине, не считая мелочей, — еще на маленькую книжонку. В труднейшем и противнейшем тексте 11 1/2 листов. Сейчас такое чувство, точно меня из тюрьмы выпустили. Теперь: Толстой уехал и, уезжая, просил меня извиниться, что не пишет сам, разорванный хлопотами, и просил передать Вам, что ему очень хотелось бы перевести его последний роман «Аэлита»<sup>2</sup> на итальянский. Человек он в делах весьма и весьма неуступчивый. «Аэлита» — ее переводят на датский, английский, французский, немецкий, венгерский — сыплет ему на голову буквально золотой валютный дождь. Когда же я ему сказала, что Италия платит мизерно вообще, он ответил: «Наплевать! Это меня не

интересует! Сколько хотя!» И так же отдал еще кому-то, чехословакам, кажется. Так вот, родная, сделайте это! Переведите Вы! Оно, конечно, — легко сказать! Целая книга. Но такой будет успех! Это единственный сейчас русский фантастический роман, свежий, как озон, написанный большим автором. Книгу завтра возьму у его издателя и пошлю Вам. Подумайте и ответьте... утвердительно. Об «Антологии» вот что просил он Вам сказать: рассказы (не все, а пять-шесть) необходимо напечатать один за другим в русских журналах. Авторские или постепенно будет посылать Вам для каждого писателя в отдельности, по расчету желаемой за книгу суммы, или сразу, когда продаст книгу. Но по моему это хуже. Через два-три дня я ему уже высылаю два переведенные. Но деньги *верные*, с Толстым в делах никаких задержек и недоразумений не бывает. Антология была уже обещана нами «Накануне». Но Толстой не хочет издавать ее в Берлине. Да они и платят хуже. Пусть кусают потом локти. Вид у нее, конечно, будет шикарный и она будет первым настоящим литературным звеном между Италией и Россией. Кроме того, и мои «обзоры» сослужат службу. И все это, конечно, только благодаря Вам!..

Еще он очень, очень просил Вас выбрать какую-нибудь очень живую, очень острую, жизненную, бытовую пьесу (ни за что «салонную»). Даже из деревенского быта — но яркую, характерную, словную, чтобы была *italianissima*. В России голод в театрах. Ставят дрянь. Я бы ее немедленно перевела. *Авторские гарантированы*. Опять он даст свою редакцию и всякое артистическое содействие при постановке. Тогда мы совсем полно покажем нашу Италию в России! Милая! Я только потому так бессовестно прошу Вас обо всем этом, что знаю: *такие* хлопоты мира Вашей души не нарушают, и в конце концов дадут некое благородное удовлетворение. Переводчиков с итальянского среди русских почти кроме меня *нет*. Муратов занят собой самим и своей (по моему весьма малой!) «славой». Зайцев, нежно любя Италию, не знает языка. Толстой же кроме меня еще никогда и никому в мире своей редакции не давал. Значит, пришлите что-нибудь нам!..

Третье дело: я напечатать в «Накануне» статью Sre Angelo *не могу*. И ему там быть напечатанным тоже *не годится*. Он влюблен в Муссолини, а я его там обзываю плохими словами... Передам Зайцеву или Осоргину для «Дней», переведу «под сурдинку», а они напечатают под их именем. Но где же конец? У меня только 3 номера. Пришлите конец и объясните Sre Angelo, что это вовсе не мое «нежелание», а политические соображения<sup>3</sup>. Он же итальянец! наших русских дел ему не понять! Только, ради Бога, чтобы он не обиделся. Вы-то ведь это все понимаете? Дело ведь еще в

«оттенках». Мне Сов[етская] Республика вчера в лице одного ее ярого представителя сказала: «Милости просим к нам!» Уезжая, Толстой сказал на подножке вагона: «Нина, если не хочешь умереть, приезжай скоро!» И он прав. В Берлине жить нельзя. Начинается голод, начинается «в чужом пиру похмелье».

Милая, милая, милая! Все это письмо одно сплошное «дело». Но если я Вас увижу здесь, мы посидим в каком-нибудь огороде и будем говорить о Вечном!..

Целую нежно и крепко.

Ваша всегда Нина.

[На полях:] Отвечайте мне заказным. Меня гонят с квартиры за то, что я *всегда дома*. В 3-4 дня переберусь на новую. Но заказное не пропадет.

<sup>1</sup> Роман французского писателя Paul Margueritte (1860-1918) в переводе назывался *ХОЛОСТЯЧКА*, изд-во «Север» (без года изд.).

<sup>2</sup> Изд-во Ладыжников, 1923.

<sup>3</sup> По всей вероятности, имеются в виду статьи, написанные А. Синьорелли после возвращения из Москвы, где он участвовал во Всесоюзной конференции по медицине в мае 1923 года. Три статьи о поездке в Россию, о Москве, о больном Ленине — были опубликованы в газете «La Tribuna» в июне 1923 г.

Берлин, 22.8.[1]923

Дорогая, двадцать дней лежало неотправленное письмо, пока меня трепали отвратительные житейские вихри. Ни за что ни про что хозяйка после 9 месяцев выгнала из квартиры. Это здесь часто случается. Пришлось бегать, искать, мучиться, чтобы ничего к тому же не найти. Живу у отвратительной яги в салоне, плачу за мучение валютой и проклиная все.

Когда это кончится, не знаю. Решила окончательно ехать в Россию. Здесь жить нельзя во всех смыслах. Уже ничего не хватает ни на что. Дошло (только не в гонорах!..) до астрономических цифр.

Поедете ли Вы, как собирались?<sup>1</sup> Заедете ли в Берлин? Найдете ли меня? Будет горько, горько, если не увидимся.

То письмо от 2-го все остается в силе<sup>2</sup>. Нет только пока в Берлине людей из «Дней».

Посылаю мой адрес: Olivear platz. Wittelsbacherstrasse 26, III st: bei Löwenschtein.

Когда я уеду из этого ада, письмо все равно передадут.

Целую крепко с любовью и неизменной нежностью. Не сердитесь. Я совершенно изнемогла за эти 20 дней от житейских пакостей, а работы по горло!..

Если приедете, сколько у меня для Вас книг!

Ваша Нина

<sup>1</sup> См. письмо 13.

<sup>2</sup> Речь, по-видимому, идет о возможности напечатания статьи А. Сильорелли (см. письмо 11).

Берлин, 28.[9.1]923<sup>1</sup>

Дорогая моя, теперь мне кажется, что наша встреча была во сне... Ничего я не сказала Вам! Точно за стеклом прошли Вы, только овеяло чем-то стародавне-милым, неизбывным, незабвенным. Я живу в разлуке с моей душой — много раз Вам говорила это в письмах — живу где-то на глубоком дне, а внешне... вот мое серое пальто, — цвет небытия на земле, — да глаза... Но за это не счеркивайте меня со списка Вам милых...

Кипела опять «в котлах», меняла комнату, бегала. Чувствую себя, как бы вроде [неразб.], по которому долго колотили ногами, — долго, годы уже... Но ничего!..

Сейчас напишу всего несколько строк. Уже из России буду, вероятно, говорить с Вами и другим голосом и о другом.

Милая! Если можно, пришлите мне *не медля*, пока издатель не остыл и не уехал. Эти книжки для рабочих — приключения, интересный какой-нибудь даже полицейский роман в духе Ш.Холмса, или быт с напряженной динамикой, книжка должна быть не больше 5-ти листов. И еще если можно «Novelle rusticane» Verga и, если есть, какую-нибудь драму. Это просит Толстой для Москвы. Вот и все. Сегодня же посылаю в главную questura\* просьбу об информации. Если у вас есть кто-нибудь, может быть, справился бы (piazza SS. Apostoli). Я послала прямо на имя шефа — Cavaliere Bernardini<sup>2</sup>.

\* квестура, полицейское управление.



Как было в Вене? Расскажите мне. Не забывайте меня! Мне так дорога Ваша любовь. Целую крепко, грущу, что теперь уже, верно, не увидимся.

Ваша душой

Нина

P.S. Книжечки пришлите поскорее, родная!

<sup>1</sup> Датируется по содержанию. О.Синьорелли была в Берлине во второй половине сентября.

<sup>2</sup> По всей вероятности, речь идет о получении документов для советской визы.

14

Берлин, 3/II/[1]924

Дорогая моя!

не сердитесь на меня. Я жила эти месяцы разорванная самыми мучительными житейскими заботами, чужая сама себе. Вы и представить себе не можете, что делает с человеком иногда Берлин. Просто сказать, что эта моя комната шестая с начала августа, но пережить это было отвратительно. Из одних чужих стен — в другие. Ушли на это силы, деньги, выкачана на это вся энергия, нужная на работу. К тому же и работы кроме «Накануне» не было. Толстой ограничился одними обещаниями. Только три дня назад получила, уже здесь, огромную, месяцев на пять [работу] и этим себя сознательно пригвоздила к Берлину<sup>1</sup>. В Россию сейчас не поеду. Я там жить не сумею и не смогу. Там нельзя укрыть усталость в *небытии*, там нужно отдавать себя, а у меня сейчас нечего дать никому. Да начинаю привыкать к Берлину, к тому же весной запахло и влезу по уши в работу... Здесь стало совсем пусто, только, точно остров, «Накануне», да два-три издательства. Грустно — кажется, совсем прекратился «Геликон». Берегите «Эпопею», не давайте «зачитывать». Когда была там в последний раз, вспоминала о Вашем желании перевести отрывок из «13 трубок». Но Вишняк сказал, что Эренбург «заломит» огромные авторские. Это из Италии-то! «Трубки» его их по-моему не стоят, а всего больше *мне* было бы жаль Вашего труда. Не люблю я Эренбурга!

Пишу я Вам сейчас, и как-то опускаются руки. Сколько времени прошло без Вашего привета... Захотите ли скоро ответить? Не выпала ли вся я из Вашей памяти? Но милая, милая, не должно

бы нас с Вами разделять ни время, ни пространство, ни случайности. Если я Вас *там* еще раз встречу, — в другом существовании, — буду по-прежнему любить и никакие нити не оборвутся для меня.

Расстроилась я еще внутренне (недавно) по поводу, который только Вам могу сказать. В Москве праздновали 50-летний юбилей со дня рождения Валерия Брюсова. «Накануне» посвятило этому номер воскресного приложения<sup>2</sup>. Очень просили меня написать, и нельзя было уклониться, осталось бы пустое место, именно мое. Написала, и вот затосковало сердце... Портрет его повеяла, смотрю... Стал он старый, старый, уже не на «мага», а на «шамана» похож. Смотрю и понять не могу, как и зачем эти годы мои прошли!.. И за 10 лет первый раз Вам это говорю. Теперь уже поздно. Прошло время всяких прекрасных «жестов» — нужно доживать, довести до конца какую-то неудавшуюся жизненную миссию... Вот!.. Впрочем, как только опять погружусь в работу, — все перестану чувствовать в великолепном деловом одеревенении. Это лучше наркоза и вина...

---

Милая, теперь «деловая» часть письма. Что мне делать с антологией? У меня 9 рассказов, — остальных не прислали. Чтобы Толстой ее редактировал, не надеюсь. Напишу ему сегодня же еще. Если авторы ставят непременным условием его редакцию, — то я его окончательный ответ тотчас же Вам передам. И конечно, авторские нужны сейчас же. А если он раздумал? Там есть «Всемирная литер[атура]» — издательство в Петербурге. Можно издать там, а, впрочем, пока не получу от него окончательного ответа, что можно сказать? Не сердитесь на меня за все это. Я не виновата.

Теперь другое: здесь у меня просят ту, первую антологию, что Вы мне прислали летом<sup>3</sup>. Для Берлина, — так что если их выйдет две, — они одна другой мешать не будут. Авторс[кого] гонорара издатель согласен заплатить 1000 лир. К кому же обратиться? В Милан, к Guido Podrecca?<sup>4</sup> И еще, быть может, Вы мне тут помогли бы... Куда нужно написать Borgese о разрешении перевести его роман «Rubè e i vivi e i morti»?<sup>5</sup> Корыстный ли он человек и согласился ли бы уступить его тоже за 1000 лир, так как больше не дают? Если же его не пер[еведу я], то переводить для России некому, не будут же это делать литературные «генералы», как Муратов!

Ах! если бы Вы, милая, спросили Borgese от моего имени, согласится ли отдать этот роман за сумму 1000 лир. Он, кажется,

очень любит шум, поклонение и успех. Почему бы ему не согласиться? А я тогда летом смогла бы хотя ненадолго на море поехать... Еще... скажите, это *итальянская* детская вещь «Don Amendo»? Я понятия не имею. Если да, пришлите мне и ее, как и роман Borgese. Уверяют, что итальянская, и просят перевести. Потеряв все надежды на Толстого, я стала стараться раздобыть работу здесь, и вот результат, но как все это сложно, долго, тяжело.

Вот пока и все.

Напишите, дорогая, не ставьте мне в счет этих месяцев. «Душа моя скорбит смертельно»... Этому поверьте, и Вашей нежности у меня не отнимайте.

О себе расскажите, что можно. Я с Вами сердцем всегда!

Ваша Нина.

Адрес: Regentburgerstrasse 25. 4 stok. bei Vengel.

<sup>1</sup> Вероятно, речь идет о переводе Бокаччо (см. письмо 15).

<sup>2</sup> «Литературная неделя» за 16 декабря 1923 была полностью посвящена В.Брюсову (статьи Б.Дюшена, Р.Гуля, А.Кусикова). Петровская напечатала отрывок из своих «Воспоминаний», о портрете Брюсова, написанном М.А. Врубелем.

<sup>3</sup> См. предыдущее письмо.

<sup>4</sup> Guido Podrecca (1863-1923), журналист, редактор «Avanti» и сатирического журнала «L'asino».

<sup>5</sup> Речь идет о двух отдельных романах: *RUBE* (1921) и *I VIVIE I MORTI (ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ)* (1923). Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), литературовед, прозаик, публицист (см. письмо 16).

Берлин, 2/4/[1]924  
Regenzburgst. 25, 4 stok, Pens[ion] Vengel

Дорогая моя,

знайте навсегда одно: если я не пишу долго, — значит мне очень и очень плохо. Вот вижу, что вся моя работа, и борьба, и завоевания в Берлине, — nulla\*. Все свелось почти к невозможности

\* ничто.

существования, — простого, человеческого, не выходящего из самых узких границ, насущных потребностей. Потому силы растрачиваются зря, на «борьбу с ветряными мельницами», душа сминается в комок, и для работы *настоящей* ничего не остается. Единственный выход видится мне — Италия; может быть, выйдет что-нибудь при Посольстве. Собираюсь взять себя за шиворот и начать хлопотать очень скоро. В Рим назначен Советником и Саро отдела *Stampa*\* Кирдецов<sup>1</sup>, наш бывший главный редактор. Попробую.

Проводя так день за днем в томлениях всякого рода, начинаю ненавидеть себя и потому о себе могу говорить только сцеля зубы, потому же писать кому-то милому труднее всего на свете.

Недавно, два месяца назад, я себя было совсем посадила в силки, — сегодня шлю отказ. Взялась (с ножом у горла) перевести Бокаччио — 30 листов! сами знаете какого текста. Перевела 12 новелл на ветер, — сколько часов рабочих выброшено. Не могу. Синтаксис этого языка ужасен; понимая все от слова до слова, не могу расшифровать конструкцию. Некоторых фраз совершенно не понимаю, — слова точно на проволоку нанизаны. Издатель — «Нева», конечно, будет реагировать бурно, ибо взят аванс. Но вся моя надежда уладить — это на антологию и «Rubè». Антологию он берет охотно, просит ее делать как можно скорее, деньги вышлет. «Нева» в Берлине — И[здательст]во шикарное, и сейчас их осталось всего три, на весь зарубежный мир. Авторский гонорар можно будет получить двойной, т.к. они хотели бы еще перевести ее на немец[кий] язык. «Нева» — и[здательст]во полунемецкое. С Толстым *ничего* больше выйти не может. Он занят в Москве исключительно собой, и кроме того из Москвы авторских по *убеждению* (!) не платят, печатают все, что им хочется, и даже перепечатывают...

Милая, не надо собирать новую антологию! Сделаем эту! Пусть ей два года, для России, не знающей совершенно новой ит[альянской] литературы, — это младенческий возраст. Пришлите мне немедленно остальные рассказы *со всей библиографией*. Уверяю Вас, что наши итальянцы будут довольны. Я уже перевожу, и если не получу скоро остальные, «Нева» мне отрежет голову! Я им должна вернуть аванс за Бокаччио. Ах милая, милая! Иногда я думаю: вот, у меня ничего не болит, нет надо мной ни пушек, ни ружей, я свободна, не в тюрьме, кажется, — а жизнь стала хуже осадного положения, хуже! Ибо давит незаметно, шел-

---

\* пресс-атташе

ковым шнурочком... Не надо... Душа моя, «взыскующая чуда», все-таки живет вне тяжестей жизни земной, проклятой.

На условия Боргезе «Нева» тоже почти согласна. Если будет успех, то конечно, можно платить и с экземпляра. Но Вы ему скажите или напишите, что *кроме меня* переводить его некому. Все равно, если он не захочет, так Россия о нем и не узнает. Там еще De Amicis не дошел<sup>3</sup>.

Теперь — [неразб.] — но ведь это кажется *стихами* написано. Тогда я не могу совершенно. И вообще из Берлина просить московского Толстого о чем-то... ничего не будет.

Здесь жизнь замерла. Два моих друга, художник Зарецкий<sup>5</sup> и [неразб.], открыли художественную школу. Устраивают вечера, там собираются оставшиеся. Ничего. Но это и все. Если опять буду в Италии — с выщипанными перьями, но закаленным сердцем, будем, может быть, говорить не по-прежнему, а лучше...

Пока же — варюсь в котлах и язык мой сер и убог!..

Милая, дошлите скорее, скорее рассказы для антологии, если возможно, тотчас после моего письма.

Целую Вас в глаза любовно и нежно.

Ваша всегда

Нина

За косноязычие меня простите!

<sup>1</sup> Григорий Львович Кирдецов, журналист, работал в просоветских изданиях, в советских торговых и дипломатических миссиях. О нем: «Новая русская книга», 1921, №7-8, с.24; Р.Гуль. *Я УНЕС РОССИЮ*, с.200.

<sup>2</sup> Статья Петровской об изд-ве «Нева» (к трехлетию деятельности) вышла в «Накануне» за 26 февраля 1924 г.

<sup>3</sup> Edmondo De Amicis (1846-1908), писатель, автор (среди других вещей) детской повести *CUORE* (1886).

<sup>4</sup> Николай Васильевич Зарецкий — художник, участник «Мира Искусства», один из сотрудников «Весов». В Берлине был председателем Союза русских художников, работал как книжный иллюстратор, писал рецензии для «Накануне». Переехал в Прагу, затем в Париж. О нем см.: Р.Гуль. *Я УНЕС РОССИЮ*, с.160 и 213-215; «Минувшее», т.3, 1987, с.237.

Моя дорогая,  
я в ужасе от Ваших известий. Мне так представлялось, что весь собранный материал у Вас. Зная, что *нет*, я бы конечно стала

ждать несмотря ни на что. Запродала я антологию — помните — спросив все же Вас, можно ли делать в Берлине и без Толстого. Вы сказали — да. А в это время произошло вот что: я взялась за Бокаччио, по очень дешевой цене, 30 листов ужасного текста, возилась два месяца и увидала, во-первых, что перевести его хорошо не могу, а во-вторых, что эти 30 листов были бы для меня рабством, пожирающим все время. Обдумала это и, не боясь издательского гнева, *отказалась* наотрез. Но был взят довольно крупный аванс. Издатель за мысль об антологии уцепился и попросил тогда делать ее скорее вместо Бокаччио. Думая, что материал у Вас и имея Ваше согласие, я сказала да. Теперь у меня рассказов только листов на 5 1/2 (так я полагаю). Дней через 6 их сдам. А тогда что? Мысль, что Вы должны покупать все книги, меня убивает. Это же трата и зачем же Вам тут поступаться материально! Но что *мне* делать, когда кончу эти 9 рассказов и он будет ждать других? Эта мысль меня приводит в отчаяние. Мне бы пока еще хотя на три листа. М[ожет] быть он скоро вернется из-за границы?<sup>1</sup> Но ведь и библиографические указания совершенно необходимы. Их очень просит «Нева». Не сердитесь на меня, дорогая! Я не виновата. Если бы не этот аванс за Бокаччио, взятый мной ножом у горла, можно было бы антологию отложить. У меня 9 рассказов: 1 Enrico Pea, 2 Bontempelli, 3 Ada Negri, 4 Corrado Alvaro, 5 Riccardo Bacchelli, 6 Borgese, 7 Bruno Barilli, 8 Mario Moretti, 9 Baldini и 10 — Pirandello<sup>2</sup>.

По-немецки он тоже хочет непременно переводить (конечно, с итальянского текста). Письмо с своим согласием придет на Ваше имя на днях, деньги тоже верно скоро. Но с Borgese не выходит. Дела у них у всех здесь плохие. «Нева» — одно из трех уцелевших издательств, и тоже жметя. Говорит: «я очень хочу, но сейчас никак не могу». Мне это тоже неприятно, но и тут вины моей нет.

Вот милая, — дело с антологией волнует меня очень. Если бы еще хотя несколько рассказов, — через неделю у меня *нечего* будет работать. Ответьте поскорее, не сердитесь на меня. Во всех смыслах je suis un «припертый к стенке человек»!

Рассказы Pirandello прекрасны. Я кажется возьму «La cagliola»<sup>3</sup> — это совсем ново по сюжету. Его бы *все* (т.е. этот том) стоило бы перевести для Москвы, но они авторских кажется вовсе не платят. А это обидно автору.

Живу Бог знает как. Устала от всего безумно. Хочется мне, кажется, только спать. Другие желания за их вечным неисполнением упали на дно и лежат под спудом. Здесь холодно, как зимой. Сегодня Страстная суббота, вспоминается Италия, но без боли, так — как сон. И не Рим я вспоминаю, а далекую жизнь в Nervi<sup>4</sup>.

Недавно написала фельетон о «Литературе за границей», где много строк посвящено «La Russia»<sup>5</sup>. Говорю, что «Италия первая прорубает литерат[урное] окно в Россию». Там есть и Вы. Пришлю его. И если можно еще номер «Russia» — напишу длинную рецензию. Как Вы, моя любимая? Пишу уже в Рим, — Ваша неделя в Assisi по-моему прошла.

Целую Вас нежно и крепко. Теперь буду писать часто, хотя по несколько слов. Ответьте поскорее. Спасибо за все, за все.

Ваша Нина.

<sup>1</sup> Имеется в виду фон Струве.

<sup>2</sup> Enrico Pea (1881-1958), поэт, прозаик, театральный деятель и драматург.

Massimo Bontempelli (1878-1960), писатель, публицист, драматург; занимал значительное место в процессе обновления итальянской литературы в первой половине века.

Ada Negri (1870-1945), поэт и прозаик.

Corrado Alvaro (1895-1956), поэт, прозаик, публицист, журналист. Работал редактором и корреспондентом многих газет.

Riccardo Bacchelli (1891-1985), прозаик, поэт, драматург, публицист.

Bruno Varilli (1880-1952), писатель, композитор, музыкальный критик.

Mario Moretti (1885-1979), поэт, прозаик.

Antonio Baldini (1889-1962), прозаик, публицист.

<sup>3</sup> Наверное, имеется в виду повесть *CANDELORA*, которая войдет в сб. *НОВЕЛЛЫ*, М., 1926, в переводе Н.Петровской.

<sup>4</sup> Единственное упоминание об этом — на открытке от 15 ноября 1922, с фотографией виллы в Больяско, недалеко от Нерви (Лигурия) с надписью: «На этой вилле я бывала счастлива 8 лет назад».

<sup>5</sup> Имеется в виду журнал Ло Гатто «Russia» (1920-1925). Статья была опубликована в №86, 15 апреля 1924. Синьорелли упомянута как «прекрасный переводчик и большой знаток русской литературы».

Дорогая моя, не беспокойтесь об антологии. Письмо издателя Вы получили? Деньги он обещал тоже выслать скоро, работу я уже *сдаю* еженедельно. Значит, все хорошо. Посылайте мне все, что можно, *скорее*. Я перевожу 1/2 листа в день, и все скоро закончится. А издадут в «Неве» красиво и благопристойно с моей

стороны. Без Толстого лучше, уверяю Вас, — он совершенно разрушил своей редакцией (это без знания языка редактировал) «Приключения Пиноккио»!

Теперь, милая, печальная новость: «Накануне» *кончилось*... Много раз уже предупреждали, что так будет, и никто не верил, а 15-ого все сотрудники получили официальное сообщение. Кончается с 1-ого июля. Берлин сейчас — это дно обмелевшей (литературно) реки. Люди выскребли все, что можно, и больше нечего взять. Из 33-х издательств осталось три!! Газет — для меня нет. Вопрос встал ребром, — нужно куда-то уезжать. Но куда? В Россию? Нет, я не поеду. Я не эмигрантка. Застигни меня в Москве Революция, я бы по сию пору там и жила. У меня мои *личные*, душевные мотивы, по которым я не могу ехать в Москву. Вы их знаете... Что бы было? Смерть. Слово, конечно, не страшное, даже примиряющее, но «переть на рожон» я не могу, потому что до последнего часа моей жизни (пусть она полна заблуждений!) ответственна за младшую сестру. Из семьи у меня больше никого не осталось. И вот... Единственной страной остается Италия. Как туда поеду, — не знаю. Возможностей денежных нет, их нужно найти, создать. А время не терпит. Вместе с этим письмом пишу в Рим, Кирдецову, нашему бывшему главному редактору «Накануне». Он сейчас там в Посольстве «*persona grata*», *il capo della Stampa*. Может быть, взял бы, зная, что я могу пригодиться. Если нет... Тогда со мной пропадет книга личных воспоминаний о символистах и Символизме. Человек, что купил бы их сейчас, может ее завещать даже своим наследникам, и те состригут жирные купоны. *Таких* «Воспоминаний» нет ни у кого... Но Берлин — это хуже лагуны Венецианской теперь. Издатели, если не умерли для себя самих, то для литературы — да. Кончился «Геликон». Буквально зарос травой «забвения» его закрытый подъезд. Окна со спущенными ставнями, — как глаза с бельмами. И Вишняк обедает два раза в месяц...

Я определенно хочу донести мои кости в Италию, и если умереть, то там, на второй моей родине. Желание по нашим временам не простое.

Тоскую: по оливам, по морю, по небу, по красному вину и S.Pietro. E' una vera nostalgia! Но не могу даже представить, что меня не съест серый Берлин. Да что! Умирать ведь один раз нужно!

Недавно читала в «Кружке художников» на вечере «Весов» реферат о Символистах. Очень *горький*, и, говорят, хорошо. Спасибо за «Russia», спасибо за все!.. Из «Velia»<sup>2</sup> еще не выбрала. Ах, зачем они дают «главы»? Зачем не рассказы?





Нина Ивановна Петровская



С.Клычков. 1937 г.  
(Из собрания Е.С. Клычковой)



С.Клычков, П.Орешин, Н.Клюев.  
Конец 1920-х — начало 1930-х годов.



Экземпляр «Молодца» из библиотеки  
Р.Н. Ломоносовой

Дорогой Павел Карлович Ломаносов!  
на вашу дурну — и спорую ведрину.

Шу

Медом, 17<sup>го</sup> февраля 1931г.

P.S. А слово посвящения — слово из сказки  
мореплоцда и Садном (Алика) — едик.  
савенная, которая из все <sup>(Ф.Б. Вальше ко Божен!)</sup> вещи и ривели  
ка которая одружилея маленькая кричит  
Адамович, как ка отражен дешевой и  
сезонной мфе-народности. (БЫЛИНА!)

Это кафе одна из моих любимых — молч.

Дарственная надпись Цветаевой  
(см. прим.27 к п.13, с.250)



Рождественская открытка работы А.С. Эфрон (1931)  
(см. прим.2 к п.22, с.273)



Б.Л. Пастернак (начало 1930-х гг.)



Парижский антропософский кружок. Первая  
слева в верхнем ряду — А.А. Тургенева (1946).



Н.А. Поццо (1937).



Милая, я знаю, что Вы в горе о Дузе<sup>3</sup>. О ней тоже я писала. Всем очень понравилось: сухо, сдержанно, как хотела бы Она... Целую Вас. Пишите. Простите меня, когда молчу, значит слов нет.

Ваша Нина.

P.S. Сейчас получила Ваше короткое письмо от 17-ого.

Насчет Негри и Varilli сделаю как Вы говорите, но оставимте Соггато Алваго. Во-первых, потому что я его сдала в набор уже, а во-вторых, его отрывок из «Storia di donne» совсем не плох. Из «Velia» беру 7-ую главу 1-й части.

Д'Аннунцио, конечно, хорошо поместить, и Папини тоже прекрасно — какая же новая Антология без него. А вот Вы спрашиваете, что я выбрала Cìcognan (я не разобрала первую букву) — так такого автора я не получала. Или недоразумение? Не понимаю<sup>4</sup>.

Милая, нельзя ли похлопотать в Риме визу для немецкого прекрасного поэта Р.Вальтера? У него паспорт «лиги наций», и кажется с ним не проедешь. А советские едва ли ему дадут. У Вас ведь такие связи.

О «Дневнике» ничего пока не знаю<sup>5</sup>. В Берлине его никто еще не видал. Буду писать Вам теперь часто, как Вы говорите, — хоть две строчки. Целую нежно.

Н.

<sup>1</sup> Перевод книги Carlo Collodi (Lorenzini, 1826-1890) *LE AVVENTURE DI PINOCCHIO* вышел в Берлине в изд. «Накануне» в 1924. На титульном листе: «Перевод с итальянского Н.Петровской. Переделал и обработал А.Н. Толстой». О связях между книгами *ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНОККИО* и *ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК* А.Н. Толстого см.: М.Петровский. *КНИГИ НАШЕГО ДЕТСТВА*, главу «Что открывает "Золотой ключик"».

<sup>2</sup> Вероятно, имеется в виду *LA VELIA* — роман Bruno Cìcognani (1879-1971).

<sup>3</sup> Дузе умерла 21 апреля в Питтсбурге.

<sup>4</sup> См. прим.3.

<sup>5</sup> Не удалось установить, о чем идет речь.

Münchenerstrasse 47  
Pens. Kämpfe. 3 stok  
Берлин, 11/7/[1]924

Дорогая моя, Вы вероятно думаете, что меня уже нет на свете! Да, это-то почти что уже и так! Расскажу Вам вкратце этот ужасный месяц, за которым тоже ничего хорошего, как видно, не будет. И вот: «Накануне» ликвидировали окончательно, причем всех нас «ликвидировали» бессовестно. Уплатили следующее по 15 июня за вычетом авансов, и мне пришлось получить 12 т. 27 pf. Результаты конечно не замедлили. Было нечем платить за комнату, конфисковали вещи: белье, книги, все. Удалось только ночью вытащить чемодан с рукописями и работами. Мы оказались буквально на улице, под дождем, к тому же и выбора не было. Пришлось боком пристроиться в деревеньке возле Берлина у знакомых (почти в таком же положении), и началось медленное умирание с голоду, которое, конечно, длится и сейчас. Вот тут и случилось то, почему Вы, вероятно, получили письма и материалы обратно. Было воскресенье, почта заперта. Пойти дать адрес я не могла и поручила это одному «другу», который запутался в собственных делах и *забыл* сходить для меня на почту. Я ждала, ждала, а в Берлин приехать было невозможно. К тому же чувствовала себя физически ужасно, совершенно без сил, ни физических ни телесных. Написать Вам — Вы не поверите — не было на марку денег! За всю мою жизнь не помню таких дней, такой оторванности от мира, отчаяния и злобы на хворь здорового в сущности человека. А со мной ведь сестра, и переживать это все нужно вдвое. Опять кое-как, невероятными усилиями, вернулась в Берлин, кое-как нашла комнату, как насмешка, — огромную, с четырьмя широкими голыми стенами. Если за это время не поможет случай, судьба, — из нее путь только в могилу. Законы берлинской жизни для человека безработного, — неумолимы. А надежд на улучшение собственно никаких. После «ликвидации» нас так осталось четверо. Издательства — их было 57<sup>1</sup> — все почти закрылись. Несколько дорабатывают начатое, сцепя зубы, потому что Россия запретила ввоз зарубежных изданий почти безусловно. Одним словом, в смысле литературного заработка, Берлин стал бесплодной иссохшей пустыней. Говорят, что с осени «Накануне» начнется в Париже<sup>2</sup>, но не наверно. А до осени, т.е. до сентября, октября, можно умереть с голоду сто раз. Мы ожидали при расчете жалования, как это вообще делается, за 2-3 месяца, тогда можно было бы продержаться. Но вот, обманулись.

Теперь об антологии: — думаю о ней с тоской, с мучением, — присылайте, я работаю, издатель ее хочет размером до 25 листов. Если за моим «исчезновением» прервется, это будет даже пикантно. Листов 12 и маленькое послесловие... Подействует на сбыт как нельзя лучше. Милая, не сердитесь, что так говорю! Это может случиться, у меня остается очень мало физических сил, а если раньше невольно уморю голодом сестру, так этого не переживу. Вам, может быть, как-то дико даже слушать такие слова! Мне и самой непонятно, как длинная, сложная, огневая в прошлом жизнь может кончиться как тараканья, заваренная в щели кипятком. Писать все это Вам мне несказанно горько, и предпочла бы я молчать, если бы не необходимость говорить о книге, которую должна довести до какого-то конца.

Ответьте мне скорее. Скажите, что мою невольную вину не ставите мне в счет. Был за этот месяц один такой день, когда даже огромное мое личное мужество было ни к чему. Вероятно, в Риме при Посольстве мне нашлось бы дело. Но ехать? Но дорога, визы, паспорта!.. Простите, если опечалю Вас этим письмом. Но как же я скрою жестокую правду? Тогда бы Вы ничего не поняли. Молчала из малодушия. Сесть к столу и писать все это — очень, очень трудно. Пишите же скорее. Успокойте итальянцев. Я работаю и буду, пока смогу. Целую Вас нежно, нежно.

Ваша душой

Нина Петровская.

<sup>1</sup> Ср. с предыдущим письмом.

<sup>2</sup> Слухи не подтвердились.

Берлин, 4/6/[19]25  
Bayreutherstrasse 3. Pension Ewald

Дорогая моя! что Вы обо мне думаете? Может быть, Вы вычеркнули уже меня из списка людей *для Вас* живых? Может быть, не захотите больше знать обо мне? Но, верьте, мое «преступное» молчание этих месяцев только на 1/4 происходило по моей вине. Винават Струве, который водил меня за нос и обманывал 15 месяцев: «вот пошлю завтра, послезавтра, через два дня, через неделю». Только 8 дней назад он сказал мне определенно: «Извините меня перед г-жой Signorelli, перед авторами, перед собирате-

лем материала, — я издать антологию *не могу*, я завишу всецело от Trovisch (это немец, владелец типографии и негласный владелец "Невы"), а он отказался издать». В доказательство того, что «Нева» предполагала *наверное* издать антологию, я Вам прилагаю страницу из каталога их. Почему же Вам я не сообщила сейчас же о его обманах, — ах, не по небрежности и лени! Мы с сестрой за это время спасли себя сверхъестественным мужеством духа, ибо и хронически и остро умирали с голоду, — одиноко, запрятавшись от людей в нору. Пришлось жить крохотными итальянскими переводами для одного советского военного журнала («Война и мир»<sup>1</sup>). Но с февраля он негласно прекратился. На Страстной и Пасхе передо мной уже была лишь «Залетейская страна». Но и до этого было ужасно, ужасно. Руки опускались, люди, мир, дела — все отошло в такую безмерную даль. Это и есть та 1/4 моей вины... Потому простите, поймите и не отвергайте меня: материал антологии я могу Вам послать по первому требованию. Все цело. Недавно предлагала ее одному советскому издателю, — не хочет<sup>2</sup>.

Вообще, в издательствах здесь сплошная катастрофа. Я написала книгу «Воспоминаний» о Брюсове. Прочла из нее пять рефератов, была осыпана с ног до головы комплиментами, а продать до сих пор не могу. Предлагают такую цену, что лучше кому-нибудь подарить или сжечь. Струве же вообще человек не плохой, но молодой, легкомысленный до крайности и потому неверный ни в словах, ни в поступках. Если хотите, возьму от него нечто вроде расписки в его несостоятельности, что Вас (и меня) оправдает в мнении составителя о «русских варварах». Милая! если бы Вы только на меня не сердились, если бы простили, *любя*... Я возненавидела этого Струве, как причину нашего долгого разъединения. Сегодня собрала все мужество, пишу Вам, и пошлю письмо, закрыв глаза, точно бросаю в воду. Мне будет горько, горько, если Вы не ответите, если не простите *житейского* проступка, которого — клянусь Вам — я не хотела.

Как живу я сейчас — не знаю. Случаем, случайной и неверной работой с сжатым сердцем, с сцепленными зубами. Через 2 недели здесь будет один советский издатель, который просит у меня какой-ниб[удь] итальянский *социальный* и *художественно* написанный роман. *Новый* или *не очень*, все равно. Это продлило бы мое существование месяца на три. Излечило бы, хотя временно, мою годовую прищемленность. Вот, — если бы Вы выбрали что-нибудь удачное и прислали мне по старой доброй памяти!.. Но нужно очень скоро, иначе он уедет в Москву, и тогда все пропало. Письменно это сделать невозможно.

Дорогая Ольга Ивановна, мне было безумно тяжело жить в вынужденном разрыве с Вами. Я Вас люблю глубоко и нежно, той любовью, какой любила прежде прежних друзей. Здесь у меня нет никого. Не отлучите меня от себя! Целую и обнимаю Вас крепко.

Ваша всегда и навсегда

Нина П.

<sup>1</sup> «Вестник военной науки и техники», под ред. Кельчевского (Берлин, 1922-1925).

<sup>2</sup> О. Синьорелли, не желая полного провала публикации антологии, поручила ее подготовку В. Лидину. В результате книга вышла в Москве в 1926 г. под названием *НОВЕЛЛЫ*.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ПИСЬМА Н. ПЕТРОВСКОЙ К Ю. АЙХЕНВАЛЬДУ

1

Paris, 29.6.27  
rue de Charonne 94  
Armée du Salut

Глубокоуважаемый Юлий Исакиевич,  
спасибо Вам сердечное за память и за «сюрприз». Именно это слово, потому что от Берлина ничего больше не ждала.

Адрес мой, увы, вероятно на все лето останется в Armée du Salut. Здесь чисто, светло, и отдельная норка на двоих — две кровати, шкаф, умывальник и стол. Правда, в 11 ч. запирается дверь и тушатся огни. Но это меня пока мало стесняет. Я ведь выздоравливаю после очень тяжелой болезни и по вечерам почти никогда не выхожу.

По всему вижу, что «Накануне» обречет меня на продолжительное пребывание в некоем карантине. Какой-то забавник распространил еще слух, что я работала в «Известиях». Вопрос о выборе в члены здешнего «Союза» стоит открытым. Нужно поручительство двух членов. За это взялись Зайцев и Алданов. А пока никуда нельзя сунуть носа. Но все равно вижу ясно, что литературой здесь не прожить. Насчет заработка иного рода у меня созрел некий план. Сознаюсь Вам: я по профессии еще зубной врач.

Из ложного стыда потом это тщательно таила от всех... даже самой это хотелось забыть. Но сейчас время суровое — не до жеманства. Конечно, и диплом я потеряла давно и практиковать не собираюсь, но остались у меня некие знания, которые можно утилизировать с другой стороны. /.../ Тогда заработок обеспечен, и заработок верный, достаточный для жизни вдвоем. Вот мой тайный план, моя надежда зацепиться за Париж.

Нехватает одного и самого главного — человек или организация, которые заплатили бы за курс учения. Ищу, надеюсь. Но все это, Юлий Исакиевич, я говорю Вам одному в Берлине и очень «по секрету».

Я совершенно готова к самым суровым подвигам и искусствам, а для них самое подходящее место Armée du Salut. Пока от тоски в моем «чистилище» наблюдаю здешний быт (он совершенно для меня необычаен) и совершенствуюсь практически в языке. Население в нашем «Замке» до 1000 человек с персоналом — но я тоскую внешне, а не глубиной, дорогой Юлий Исакиевич. В Париже мне дышится легче. Здесь страдающее «человечество» волнами перекачивается перед самыми глазами, а не запрятано по окраинам, как в Берлине. Но, страдая, оно шумит, поет, улыбается. Париж (не литературный, конечно) меня не «доканал», а как-то ободрил. Сестру тоже. Сознаю Вас тоже «по секрету», как друзья-литераторы произвели на меня почти удручающее впечатление. Говорю это не категорически, м[ожет] быть я ошибаюсь, но они в сравнении с прошлым испортились, замкнулись в глубочайшем эгоцентризме, и широкого мира, по-моему, не видят. Но это не исключает ни любезности, ни приятного обращения. Мне было бы несказанно горько совсем проститься с литературой, и хочу надеяться, что «Накануне» не сослужит роль топора...

Спасибо Вам за все, за все. Живая память о Вас всегда в моем сердце.

С искренним почтением, преданная Вам

Нина Петровская.

2

Paris, 6.7.[1]927

Глубокоуважаемый Юлий Исакиевич,

Немедленно шлю и письмо и еще раз Вам самую сердечную благодарность за заботы.

Мне очень и очень трудно. Боюсь, что здешние литераторы хотят меня законопатить в гроб из-за «Накануне». Это неспра-

ведливо так карать заблуждения вообще, да еще заблуждения чисто романтического характера, как было со мной. Вторая часть моего существования здесь скорее радостна чем печальна. Меня утешает Париж. Коллективная душа его прекрасна. Ах! Если бы было где писать! Мой адрес все тот же. Привет от сестры.

С истинным почтением, преданная Вам

Нина Петровская

3

Париж, 10.8.[1]927

Глубокоуважаемый Юлий Исакиевич,

спасибо Вам огромное за доброе слово, что замолвили за меня перед здешним Союзом. Оно-то и снимет теперь «проказу» с меня. Так сказал Борис Константинович<sup>1</sup>. Он очень обо всем этом хлопочет. Работы литературной пока нет. Б[орис] К[онстантинович] хотел меня втиснуть в «Новости»<sup>2</sup>, но там ответили, что «завалены материалами». Конечно! Остается ждать возобновления «Дней», где по словам того же Б.К. я могу устроиться недурно. Но есть ли у Керенского деньги — об этом ходят самые разнообразные слухи. То да, говорят, то нет. Пока нет... Ах, дорогой Юлий Исакиевич, взялась я за работу в стиле Дантовского ада: разливаю суп в ресторане (т.е. в кухне) Armée du Salut на 800 чел[овек]. Работаю от 7 до 9 вечера. Но это только легко сказать. Жара градусов 40, наверно. Пальцы мои, привыкшие только держать перо — сводит к ночи крючками. Мир два часа вижу только через суповый пар. Но этот жирный пар наводит меня на философские ужимки, и именно в эти два часа все больше и больше постигаю его подлинную сущность: «*vita nostra vapor est*». Пустила еще в ход почти все мои *не литературные знания*, все мои грубо-человеческие способности, чтобы сестра (а она все больна) хоть на глазах от голода не умерла. А дабы от всего этого не страдать *как все* — (заветы символистской эпохи храню свято) — вспоминаю Бодлера, кот[орый] рекомендовал «опьяняться» чем бы то ни было, но «опьяняться». Опьяняюсь усталостью, тоской, жарой, грубостью окружающих, собственными ядовитыми мыслями... И вот так пока живу!

«Быт» здесь совершенно для свежего человека необычайный. Armée du Salut — ведь это настоящее войско, с самолично утвержденным военным уставом. На каждом шагу «капитаны», лейтенанты, солдаты, бригадиры и т.п. Социальная сторона их дела, конечно, хромая на обе ноги, еще так себе. А религиозная — бери

перо и пиши фельетон! Для познания всякого рода вещей была на трех собраниях. Нет, только в юмористическом фельетоне можно рассказать об этих своеобразных «радениях», где капитаны в шляпах «аллилуя» (так эти шляпы называются) и юбках на сборках исповедуют грешников. Люди м[ожет] б[ыть] они не плохие, но узкие, с протестантским уклоном (они же «общество трезвости»), с тенденцией гнуть мир «в бараний рог». При известной гибкости ума и манер и особенно при умении плавать во всех сферах, как капля масла на воде, с ними можно уживаться. И что самое главное, оставаться всегда Terra incognita. Но надо сказать, что «спасают» они и от «искушений» и от жизненных неудобств всего больше самих себя, а платы за комнаты требуют, как Шейлоки!..

Утешает меня только Париж. Выйдешь на улицу — все забываешь. Я люблю стариков, старух и животных. Первых за опыт, вторых за их полную покинутость на человеческий произвол, за их терпение и преданность. Собаки и кошки здесь, верно от трудной жизни, совершенно очеловеченные. А со старости, целые дни влекущей какие-то телеги и тележки, с этих мудрых морщин, с точно вырезанных из темного дерева рук, если бы была художницей, писала бы неустанно. Вечером наш тихий и скромный бульвар Voltaire дышит югом, покоем и свободой. Тогда курю, курю на скамейке и до 11 ч. выдыхаю пар. А совсем тоже недалеко кладбище, где лежит Альфред де Мюссе<sup>3</sup>. Туда хожу по воскресеньям и романтически грущу под его ивой о прошлом. Всеми силами стараюсь не страдать, «как все», и не вплетать мой голос в хор эмигрантских стонов. А стонут они в Париже как в аду.

Огорчает, действительно, меня только сестра и главное то, что сейчас мне ее совсем нечем кормить. Я вечером получаю обед, а она ничего. От такого «режима» у нее каждый день усиливается лихорадка. А климат, как таковой, в Париже ей гораздо полезнее берлинского. Но что я могу сделать!.. И вот *только это* мне сверлит ежедневно в сердце дыру.

Никому, кроме Вас, о себе ничего не пишу, и потому Вы тоже никому и ничего обо мне не говорите. В глубине души я конечно надеюсь «выбиться». М[ожет] б[ыть] только этой надеждой полубессознательно и живу. Мечтаю о последней «мансарде», где будет «шей горшок, да сам большой», как о рае. Здесь, например, негде писать. У меня стол в поларшина. А в 11 ч. гасят огонь и загоняют в клетки. Сцепив зубы, ныряю в ночь, и не могу ей пользоваться. И это любя ночь больше дня!



Вот пока и все обо мне, глубокоуважаемый Юлий Исакиевич. Как прежде, всем «блаженствам», так сейчас всем «дисциплинам» опьянения (по рецепту Бодлера!) предаю душу и тело.

Поверьте навсегда в мою преданность Вам и если можете не забывайте.

Ваша Нина Петровская.

От сестры привет, большой сердечный привет.

P.S. Вечер 15-ого, нац[ионального] праздника, «общалась с народом», провела с рабочими и их подругами. Ах, сколько можно было бы рассказать в «легком фельетоне» — и сколько этих фельетонов во мне напрасно умирает!

4

[б.д.]

Дорогой, милый Юлий Исакиевич, друг мой сердечный, Ваше письмо получила на кладбище, когда хоронила свою Надюшу.

Я сейчас сама как мертвая. Письмо это пишу не я<sup>4</sup>; писала сама большое письмо, но не могла докончить, не было сил. Я Вас никогда не забуду, Вы незабвенны, как отец родной. Простите меня. Деньги вышлите мне 4, rue Godefroy Cavignac / Hôtel du Progrès, хотя м[ожет] б[ыть] будет поздно. Я больна.

Нина Петровская

5

25/1/[19]28

Дорогой, незабвенный друг!

Слов у меня нет, я мертвая.

Нина Петровская<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Б.К. Зайцев.

<sup>2</sup> Имеется в виду парижская ежедневная газета «Последние Новости» (1920-1940), выходившая под редакцией П.Н. Милюкова.

<sup>3</sup> Кладбище Пер Лашез.

<sup>4</sup> Письмо Н.Петровская диктовала своей знакомой, Нине Петровне Акимовой, которая жила с ней в Palais des Femmes.

<sup>5</sup> В письме приписка:

«Нина Петровская живет недалеко от Palais des Femmes, 4 Godefroy-Cavignac — Hôtel du Progrès. Она очень слаба и нервна, но сейчас примиренная, но встать не может. Все это нервное, по определению врача. Уважающая Вас М.Петро[ж]ицкая».

Подпись Петровской.

**И.М. Гронский**  
**О КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ**  
**(Выступление в ЦГАЛИ 30 сентября 1959 г.)**

Публикация М.Никё

О том, как советская власть осуществляет руководство литературой, известно, главным образом, из официальных постановлений или из писем и воспоминаний опекаемых писателей. Поэтому большой интерес представляют собой высказывания функционеров — тех, кто был не только объектом приложения литературной политики, но и непосредственно участвовал в ее разработке. Иван Михайлович Гронский (1894-1985) и был одним из таких функционеров от литературы первой половины тридцатых годов: председателем Оргкомитета Союза Советских Писателей (1932-1933), ответственным редактором «Известий ВЦИК» (1928-1934), главным редактором «Нового мира» (1932-1937).

Выступление И.М. Гронского, состоявшееся 30 сентября 1959 года в ЦГАЛИ, посвящено «крестьянским поэтам» — С.Есенину, П.Орешину, Н.Клюеву, С.Клычкову и П.Васильеву. Определив сначала отношение каждого из них к революции и расставив их слева направо на идеологической линейке (с любопытными рассуждениями о роли крушения партии левых эсеров в судьбе А.Блока и С.Есенина), Гронский приводит потом воспоминания о своих встречах и «беседах» с Н.Клюевым, С.Клычковым и П.Васильевым. В них-то и раскрываются цели и методы руководства писателями, особенно писателями талантливыми, но ретивыми, — в чьей «перестройке» «руководители партии» были заинтересованы.

Академические пайки, (не)печатание, беседы, угрозы, вплоть до высылки, — весь этот арсенал Гронский искусно использует в попытках подчинить поэта идеологически правильной линии. Ничего не добившись с Клюевым, да еще обнаружив, что тот воспекает гомосексуальную любовь, он просит Ягоду выслать поэта из Москвы. Не получается и с перекровкой Клычкова, который «задержался на позициях буржуазно-демократических». Тогда, по личному поручению Сталина, Гронский берется

за П.Васильева, поэта огромного дарования, которого надо «отбить» от Клюева и Клычкова и перевоспитать. Как будет видно из примечаний (№44), П.Васильев отмежевался от своих друзей, но этим не спасся. Одновременно Гронскому приходилось защищать П.Васильева от нападок других писателей и литературных групп (в том числе и от М.Горького) и вытаскивать его из рук НКВД. К 1937 г. он сам попадает в опалу и спасти Васильева ему уже не удастся...

Судьба Гронского, его карьера и его опала, — прекрасно иллюстрируют тип преданного (и не раскаявшегося) сталиниста, использованного и отвергнутого Хозяином. Иван Михайлович Гронский родился в семье рабочего-народовольца, погибшего в тюрьме. К марксизму он пришел от народничества, в партию большевиков вступил в 1918, в 1920 работал секретарем Курского губкома и горкома РКП(б), в Москву приехал в 1921. Окончив Институт Красной профессуры в 1925, он становится членом редколлегии «Известий ВЦИК», а с 1928 — ответственным редактором (до замены его Н.Бухариным в феврале 1934 г.). Вершина карьеры Гронского приходится на 1931-1933. В начале 1932 он поставлен во главе «Нового мира» и «Красной нивы» (оба журнала выходили при издательстве «Известий») на место снятого в декабре 1931 В.Полонского, «правозащитника», почти до конца стойко сопротивлявшегося РАППу и отставившего от его нападков С.Клычкова и других попутчиков. В апреле 1932, после постановления о «перестройке литературно-художественных организаций» Гронский назначен председателем Оргкомитета ССП (а Горький — его почетным председателем). Он входит в правительственную комиссию (И.Сталин, П.Постышев, В.Ставский, Л.Каганович) по рассмотрению вопросов, поставленных деятелями ликвидированной РАПП (о создании автономной секции пролетарской литературы в ССП и о принятии рапповского диалектико-материалистического творческого метода). По словам И.Гронского, на заседании этой комиссии и был сформулирован метод социалистического реализма<sup>1</sup>. Впервые в печати термин «социалистический реализм» появился в отчете о речи И.Гронского на собрании актива литкружков Москвы 20 мая 1932 г.<sup>2</sup>

Вступительная речь И.Гронского на первом пленуме Оргкомитета ССП 29 октября 1932 года сулила писателям новую эру, конец рапповского шельмования и травли: «Руководить должна критика писателями очень бережно — по-товарищески, без улюлюканья, без всякого угробливания и других... (Г о л о с: «Цветов») ... методов — ну, скажем, "некоей" критики». Гронский призывает не давать «пощады классовому врагу», но в то же время помнить, что «старые писатели — люди очень большой культуры»<sup>3</sup>. В заключительной речи Гронский объявил «неудовлетворительным» лишь одно выступление — «тов. Клычкова»<sup>4</sup>, по-прежнему сто-

<sup>1</sup> См.: С.Шешуков. *НЕИСТОВЫЕ РЕВНИТЕЛИ*. М., 1970, с.337-338.

<sup>2</sup> «Литературная газета», за 23 мая 1932 г.

<sup>3</sup> *СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА НОВОМ ЭТАПЕ*. Стенограмма I-го пленума Оргкомитета Союза Советских Писателей (29 октября — 3 ноября 1932). М., 1933, с.9.

<sup>4</sup> Там же, с.256.

ящего «в раздумьи». Между тем Клычков говорил: «Искусство от художника требует прежде всего ограничения в мире мудрого разбора и выбора, того самого ограничения, которое мне напоминает меловую черту философа Хомя Брута, отчитывающего в чортовом храме чудесную усопшую колдунью»<sup>5</sup>. Тем не менее, Гронский снискал себе репутацию «либерала». Он уже был известен как «покровитель» Б.Пильняка в 1930-31, который именно по его совету переделал «Красное дерево» в роман «Волга впадает в Каспийское море». Гронский отправил его в «творческую командировку» в Таджикистан и тем якобы спас от самоубийства<sup>6</sup>. 18 сентября 1932 Гронский напечатал в «Известиях» защитительное письмо Замятина, это было воспринято как «явный сигнал его общественной реабилитации — после травли 1929 г.»<sup>7</sup>. «Теплые личные отношения» сложились с этим «всесильным вождем литературной бюрократии» у Пастернака<sup>8</sup>, «личная близость» возникла и в отношениях Гронского с Белым в последние годы жизни писателя<sup>9</sup>. Л.Флейшман дает следующий портрет Гронского, относящийся к тому времени:

Гронский был представителем новой формации партийных руководителей, лишенной той глубокой и яркой индивидуальной культуры и интеллектуальной независимости и блеска, которые отличали плеяду организаторов советской литературы двадцатых годов — Троцкого, Луначарского, Воронского, Бухарина, Полонского. По сравнению с ними, стиль его мышления и деятельности, сколь либеральный оттенок она ни принимала бы и сколь резко временами ни отклонялась бы от инструкций вышестоящих инстанций, носил серый, казенно-тусклый характер. В политическом отношении Гронский был фигурой абсолютно ортодоксальной, никогда не дискредитировавшей себя никакими оппозиционными грехами, лично преданной Сталину. Не обладая сколько-нибудь определенной философией «литературной политики» и не имея ярко выраженных собственных литературных позиций и пристрастий, он в своей практической деятельности склонялся к добродушно-либеральной линии «воспитания» писателей-попутчиков и был и в малейшей степени свободен от кроваво-жандармских полицейски-репрессивных инстинктов по отношению к своим противникам, к какому бы флангу они ни принадлежали<sup>10</sup>.

В середине 1933 г. Гронский был смещен с поста председателя Оргкомитета ССП. Горький был избран председателем, но фактически за его спиной Союзом стали руководить А.Фадеев, В.Ставский и А.Стецкий<sup>11</sup>.

<sup>5</sup> Там же, с.159.

<sup>6</sup> См.: Л.Флейшман. *ПАСТЕРНАК В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ*. Jerusalem, 1984, с.35, 122.

<sup>7</sup> Там же, с.83.

<sup>8</sup> Там же, с.128-129.

<sup>9</sup> Там же, с.116, 155.

<sup>10</sup> Там же, с.48-49.

<sup>11</sup> См.: М.Никё. *К ВОПРОСУ О СМЕРТИ М.ГОРЬКОГО*. — «Минувшее», т.5, 1988, с.347, прим.109.

Падение Гронского после второго пленума Оргкомитета, на котором он приписал Сталину отцовство лозунга «социалистического реализма», Л.Флейшман объясняет следующим образом:

Ниспровержение Гронского если и состоялось не по его [Горького] инициативе, то получило его поддержку. Горького не могла не возмущать примитивность и прямолинейность административного стиля безграмотного в литературных вопросах питомца Коммунистической Академии, и он не мог не сознавать, сколь дискредитирующим должно было выглядеть в глазах советской и западной интеллигенции «внедрение социалистического реализма» ссылкой на действительное происхождение этого «лозунга». Назойливое выпячивание председателем Оргкомитета роли Сталина в писательских делах стало беспокоить, по-видимому, самого вождя, предпочитавшего и позднее, в ходе самых бурных кампаний, лихорадивших советскую культурную жизнь, оставаться в тени, за кулисами. Таким образом, отстранение Гронского могло быть продиктовано совпадением в оценке его деятельности у Сталина и Горького<sup>12</sup>.

В августе 1934 Гронский уже не был избран делегатом первого съезда ССП, но его выступление 1959 года показывает, что в то время он еще вхож в партийные верха. В 1937 его обвинят в «гнилом либерализме»: в «Известиях» от 26 февраля была помещена критическая статья о журнале «Новый мир». Гронского уличали в поддержке и печатании Пильняка, Зарудина, И.Макарова, Гладкова, Васильева и др. Во главе «Нового мира» стал В.Ставский. Вскоре Гронский был арестован и провел 16 лет в тюрьмах и лагерях Колымы.

Летом 1955 года Лидия Шатуновская, приемная дочь Красиковых, встретила с ним. Она знала его с 30-х годов:

Был он чем-то вроде комиссара по делам литературы непосредственно при Сталине. Через него Сталин получал информацию обо всем, что происходило в литературе, и через него осуществлялись связи Сталина с писательской средой. /.../ В числе прочих обязанностей на Гронского была возложена и весьма деликатная функция надзора за Горьким<sup>13</sup>.

Гронский рассказал Л.Шатуновской, что Киров был убит Николаевым по чисто личным мотивам (его жена была якобы в любовной связи с Кировым) и что Сталин однажды проговорился, что он один знает, как и от чего умер Ленин.

В том же 1955 г. Гронский появился в ИМЛИ в качестве старшего научного сотрудника (Л.Шатуновская цитирует заметку из «Правды» о том, что он был направлен в ИМЛИ «для укрепления идеологической работы»). В апреле 1956 г. на комсомольском собрании аспирантов ИМЛИ

<sup>12</sup> Л.Флейшман, ук. соч., с.131-132.

<sup>13</sup> Л.Шатуновская. *ЖИЗНЬ В КРЕМЛЕ*. Chaldize Publications, New York, 1982, с.229-230.

он рассказал о своем аресте. Вот его рассказ в передаче одного из его слушателей. В ЦК, после того как были зачитаны показания Бухарина, на предварительном следствии, Гронский встал и сказал: «Иосиф, этого не может быть. Я двадцать лет проработал вместе с Николаем и не верю, что он предатель». Тогда Сталин попросил Ежова устроить Гронскому очную ставку с Бухариным, который подтвердил, что «убивал, предавал». «Но меня он не убедил, потому что сразу было видно — сломанный человек». Через две недели Гронский был арестован, в тюрьме его пытали, но он упорно ничего не подписывал: «Я думал, что это заговор вредителей в НКВД, как же я могу подписать и обмануть партию». И ему дали «катушку» (двадцать пять лет). «Речь Гронского поразила слушателей; более того, она что-то необратимо изменила в их сознании. /.../ Вдруг показалось, что все можно. И в течение следующего года партии пришлось немало потратить сил, чтобы наглядно продемонстрировать, что можно далеко не все. В выступлении Гронского была еще одна сторона, оставившая глубокий след в сознании слушавших: его стиль, манера и проступавшая сквозь них личность. Если бы по московским улицам вдруг промаршировал бронтозавр, то и он, наверное, не произвел бы такого впечатления, как этот человек. "Ребята" в чопорно-академическом институте, вольное "ты" вождем, безжалостность, прямота, честность и фанатическая, превышающая разумение, преданность партии ("верую, ибо абсурдно"?), совсем не похожая на привычную хитрую и изворотливую ортодоксию профессиональных секретарей. Да Гронский и был окаменелостью, случайно уцелевшей от какой-то мезозойской эры революции»<sup>14</sup>.

Гронский состоял членом комиссии по ликвидации последствий «культа», созданной после доклада Хрущева<sup>15</sup>. Однако вскоре он стал сдержанным и осторожным. «Трудно сказать, что было тому причиной — восстановление ли Гронского в рядах партийной идеологической бюрократии или явно ощущавшийся конец "оттепели" и изменение общего политического климата в стране»<sup>16</sup>.

В публикуемом ниже выступлении о крестьянских поэтах память Гронского не всегда точна, но архивные и печатные документы, приводимые в комментариях, в целом подтверждают его высказывания. При всей прямолинейности мышления Гронского, мемуары его ценны для исследования отношения власти к писателям, и можно лишь пожалеть, что мы не располагаем более обширными воспоминаниями. Текст выступления предоставлен нам редакцией альманаха. Оригинал хранится в ЦГАЛИ (ф.1337, оп.3, ед. хр.45). Несколько ссылок на него встречалось в советской печати: в публикациях Г.С. Клычкова и К.М. Азадовского<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Д.Бург. *ОБ ОДНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕКА, ВЕРНУВШЕГОСЯ С ТОГО СВЕТА*. — «Социалистический вестник», 1962, №3-4, с.41-42.

<sup>15</sup> См.: Н.Яневич. *ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1930-е — 1970-е ГОДЫ*. — «Память», ист. сборник, 1982, вып.5, с.117.

<sup>16</sup> Л.Шатуновская, ук. соч., с.233.

<sup>17</sup> Г.С. Клычков, С.И. Субботин. *НИКОЛАЙ КЛЮЕВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ: ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ*. — «Новый мир», 1988, №8, с.188; К.М. Азадовский. *ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА Н.КЛЮЕВА*. — «Нева», 1988, №12, с.181.

Понятие «крестьянских писателей» или «крестьянских поэтов» — не совсем точное понятие. Оно может ненароком сбить исследователя с правильного пути, «закрыть» для него правильную оценку творчества того или иного литератора. Если бы мы хотели выявить определяющие признаки крестьянского поэта, то мы бы сразу столкнулись с непреодолимыми препятствиями. На самом деле: если исходить из содержания творчества крестьянских поэтов, то сразу возникает такой вопрос: а кто из видных писателей или поэтов не разрабатывал тему о крестьянстве?! Многие занимались этим вопросом, почти все классики русской литературы. Из прозаиков много писал о крестьянстве Глеб Иванович Успенский, из поэтов — Н.А. Некрасов.

Но, конечно, ни того ни другого нельзя отнести к разряду крестьянских писателей. В наше советское время из прозаиков много пишут о крестьянстве М.А. Шолохов и Ф.И. Панферов, а из поэтов — А.Т. Твардовский и М.В. Исаковский, но все-таки их никак нельзя отнести к разряду «крестьянских писателей». Их творчество имеет гораздо более широкое значение.

Если же от содержания творчества перейти к вопросу о защите классовых интересов в литературе — то здесь мы опять столкнемся с непреодолимыми трудностями. Какие общеклассовые интересы крестьянства мог защищать поэт после Октябрьской революции? До Октября это было возможно, шла борьба крестьянства против царизма и помещиков. Но после Октябрьской революции такого рода классовых интересов, которые бы объединяли всё крестьянство, уже не существовало. Были в крестьянстве различные слои: кулаки, середняки, бедняки, которые вели борьбу между собой. Защита интересов той или иной группы крестьянства не дает права называть поэта «крестьянским». Тут нужно уточнение: поэт бедноты, середняков, кулачества.

Трудно говорить о крестьянской идеологии. Могут сказать, что такой идеологией было народничество. Но какое? Если взять эпоху, когда на арене русской жизни выступали революционные демократы, то тогда была идеология крестьянской демократии, обряженная в социально-утопические тона. Позже, в эпоху революционного народничества, велась борьба за интересы трудящегося крестьянства. Но потом народничество претерпело величайшую эволюцию. Если Чернышевский был материалистом, то Виктор Чернов<sup>1</sup> — не материалист, я уже не говорю о Н.К. Михайловском<sup>2</sup>. Если борьба Н.Г. Чернышевского носила прогрессивный характер, то борьба Н.К. Михайловского и В.М. Чернова не имела этого характера.



Таким образом, идеология народничества претерпела большие изменения: превратилась в идеологию контрреволюционную, буржуазную. И «крестьянские поэты» не могли выражать ее. Правда, какая-то часть как-то отражала ее, но подавляющее большинство безусловно нет.

Вот с этими оговорками я и перейду к оценке творчества, поведения, участия в революционном движении группы так называемых «крестьянских поэтов»<sup>3</sup>. Кого включают обычно в эту группу? Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. Орешина, С.А. Есенина, из более молодых — В.Ф. Наседкина и Павла Васильева<sup>4</sup>.

Н.А. Клюев, С.А. Клычков и отчасти П.В. Орешин и С.А. Есенин вышли из школы А.А. Блока. А.А. Блок перед революцией в 1916 г. и особенно в период революции 1917 г. проделал очень большую идейную эволюцию. Он перешел на позиции борющегося народа, трудящихся масс. В это время он связал себя с так называемым левым народничеством. Вы знаете, что А.А. Блок постоянно общался с идеологом этого народничества, критиком Р.В. Ивановым-Разумником. И его влияние на А.А. Блока было достаточно большим<sup>5</sup>.

А.А. Блок в 1916-1917 гг. усиленно пропагандировал «Исторические письма» П.Л. Лаврова<sup>6</sup>, и когда я, эволюционировавший от народничества к марксизму, говорил ему о работе Г.В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», то А.А. Блок как-то от этих разговоров отмахивался.

А.А. Блок в это время сильно влиял на всю группу крестьянских поэтов. Но если сам А.А. Блок и, например, молодой П.В. Орешин шли влево, то Н.А. Клюев несколько задерживался на правых позициях. Он делал шаг влево и вслед затем два шага вправо. С Н.А. Клюевым я тогда был знаком плохо, но от других литераторов мне приходилось много слышать отзывов о его поведении в эти дни<sup>7</sup>.

Н.А. Клюев бесспорно очень талантливый поэт. Но он все время корчил из себя юридического, и это вызывало несколько сдержанное отношение к нему А.А. Блока. Такое отношение А.А. Блока к нему было вызвано как этим юродствованием Н.А. Клюева, так и политическими причинами<sup>8</sup>.

А.А. Блок в 1917 г. был тесно связан с партией левых эсеров, хотя формально и не входил в нее (так же, как А.М. Горький до революции и позднее был связан с партией большевиков). А.А. Блок даже входил в состав редакции центрального органа партии левых эсеров — газеты «Знамя Труда»<sup>9</sup>.

С.А. Есенин в это время совершил большой прыжок влево и формально вошел в партию левых эсеров. Он записался красно-

гвардейцем, а после Октябрьской революции добровольно ушел на фронт и с оружием в руках защищал Советскую власть<sup>10</sup>.

К сожалению, у меня нет на руках документов, подтверждающих эти мои слова. Весь мой архив до последней бумажки погиб во время войны, и я не могу сейчас оперировать документами. Но живы люди, которые могут этот факт подтвердить.

П.В. Орешин в это время был на стороне борющихся трудящихся масс. Он, по-моему, не входил в партию левых эсеров, но был с нею связан и фактически выражал ее устремления<sup>11</sup>.

Н.А. Клюев и С.А. Клычков в февральские дни 1917 г. находились на позиции правых эсеров, потом двинулись несколько влево, но остановились на полпути. Особенно Н.А. Клюев. До партии левых эсеров они не дошли. После Октябрьской революции они пытались как-то участвовать в общем движении, их захватила волна народного подъема. Но это участие было незначительным.

Я думаю, что судьба и А.А. Блока, и С.А. Есенина, и Н.А. Клюева, и др. была бы иной, если бы партия левых эсеров не встала на путь контрреволюционных авантюр: летом 1918 г. вожаки левых эсеров убили немецкого посла графа Мирбаха и подняли контрреволюционный мятеж, намереваясь свергнуть Советскую власть. Левые эсеры из партии революционной, пусть весьма путанной по своей идеологии, превращаются в партию контрреволюционную, они переходят в белогвардейский лагерь<sup>12</sup>.

Этот переход партии левых эсеров с революционных позиций на белогвардейские позиции сильнейшим образом ударил по так называемым «крестьянским поэтам». Я помню, как тяжело переживали крушение партии левых эсеров А.А. Блок и С.А. Есенин. Н.А. Клюев и С.А. Клычков переживали меньше, т.к. эта партия не была для них такой близкой. А.А. Блок — дворянин по происхождению, но человек величайшей, кристальной чистоты, поверивший в революцию через эту партию, вдруг увидел, что партия контрреволюционна. Это так потрясло его, что он после этого фактически перестал творить, затем заболел психически и сошел в могилу. С.А. Есенин, тоже поверивший в революцию через левое народничество, тоже как-то растерялся, долго не мог себя найти, а в это время людям, которые были близки к А.А. Блоку и С.А. Есенину, было не до них. Все мы были на фронтах, подавляли восстания, которых в то время было много, с утра и до утра работали. И нам было не до литературы, не до писателей. Мы проглядели и состояние А.А. Блока, и состояние С.А. Есенина, не сумели их удержать на тех позициях, на которых они стояли, не спасли их для революции.

И тут, между прочим, — «помогали» со стороны. Этим замешательством воспользовался Н.А. Клюев, который после мятежа левых эсеров, пошел резко вправо; он потащил за собой С.А. Есенина, и тот, разочарованный в революции, пытался пойти за Н.А. Клюевым. Однако С.А. Есенин понимал, что с Н.А. Клюевым можно далеко пойти в сторону контрреволюции (эти колебания привели его к пьянству<sup>13</sup> [зачеркнуто]), и он заколебался.

Пьянство С.А. Есенина объясняется не тем, что у него плохая наследственность, что у него дед или отец были алкоголиками. Причину пьянства С.А. Есенина надо искать в том переплете событий, который был тогда, и в том тяжелом моральном ударе, который он получил в результате мятежа левых эсеров. Это подкосило и С.А. Есенина, и А.А. Блока.

Потом мы спохватились, стали встречаться и общаться с ними. С С.А. Есениным я встречался несколько раз в 1920-е гг. В 1920 г. я был секретарем Курского губкома и горкома РКП(б). В 1921 г. приехал в Москву. Не помню точно, в 1921 г. или в 1922 г. С.А. Есенин потащил меня в кафе поэтов «Домино».

В Москве в это время было два кафе поэтов: «Стойло Пегаса» — на Тверской около Страстной площади, и «Домино» — у теперешнего Центрального телеграфа. В первом царил В.В. Маяковский и футуристы. Во втором — С.А. Есенин и имажинисты<sup>14</sup>. Мы пришли, сели за столик. Какие-то поэты читали стихи, какие-то девушки, бледные, нанюхавшиеся кокаина, окружили нас.

— Сергей, что это?

— Кафе. Кафе поэтов.

— И это твое пристанище!?

И я увел его оттуда.

Мы встречались с ним потом и в других местах. Но время все же было очень тяжелое, не до литературы. Да и идейные шатания среди интеллигенции были очень большие. С.А. Есенин был то с нами, то отходил от нас. Влияние Н.А. Клюева в это время возросло. Н.А. Клюев боролся за С.А. Есенина и пытался оттащить его вправо.

К есенинскому пьянству руку приложил и С.А. Клычков, более сильный и здоровый физически и психически, чем Н.А. Клюев. И С.А. Есенин фактически допился до белой горячки. Его пыталась спасти Айседора Дункан. На него не могла повлиять ни З.Н. Райх, впоследствии жена В.Э. Мейерхольда, ни тем более С.А. Толстая, честная, скромная, очень милая, но совершенно бесцветная женщина. Наибольшее влияние на С.А. Есенина оказывала А.Дункан. Вы читали воспоминания А.М. Горького о С.А. Есенине и, вероятно, помните его плохой отзыв об А.Дункан. Я гово-

рил А.М. Горькому, что он зря напал на Дункан. Оказывается, он ее очень мало знал. Айседора Дункан заслуживает самого большого уважения. Это артистка с мировым именем. Она увлеклась революцией, бросила все и приехала в Россию, где поставила свое искусство на службу народу. Это очень порядочный человек, человек очень большого сердца, ума, чувства. Это великая актриса в полном смысле этого слова. Она любила С.А. Есенина, боролась за него, возила лечиться за границу, но из этого ничего не получилось; он немного поправился, но не настолько, чтобы работать в полную силу, нормально жить<sup>15</sup>.

О самоубийстве С.А. Есенина все известно, вы знаете его причину. Главное — пьянство, но тут надо сказать об одном неизвестном обстоятельстве.

Я не знаю, стоит ли об этом говорить. У меня нет материалов, но вы копаетесь в документах, вам и карты в руки. Когда С.А. Есенин и С.А. Клычков приехали в Ленинград, они задумали разыграть небольшую историю, чтобы о них заговорили. Они решили инсценировать самоубийство. И Есенин, готовясь к этому, написал письмо В.Эрлиху, рассчитывая, что тот сразу придет в гостиницу и предотвратит самоубийство. Он ведь не вешался на крюке или еще на чем-нибудь, он привязал веревку к батарее. А В.Эрлих, получив письмо, пришел только на следующий день.

Видимо, шаги по коридору показали С.А. Есенину шагами В.Эрлиха, и он, привязанный к батарее, упал на пол. Но никто не вошел к нему, и С.А. Есенин умер.

Этот факт мне рассказывал Павел Васильев. Что-то сбивчиво ему говорил об этом и сам С.А. Клычков и несбивчиво ему говорил об этом Н.А. Клюев. Насколько все это верно, сказать трудно. Но вот такой разговор был у меня с П.Н. Васильевым, а у П.Н. Васильева — с С.А. Клычковым и Н.А. Клюевым<sup>16</sup>.

В последующие годы Н.А. Клюев все больше и больше отходил от революции и переходил на антисоветские позиции, тогда как С.А. Клычков тянулся к революции, правда, часто отступаясь. Я настаивал на том, чтобы он порвал с Н.А. Клюевым. Но он не пожелал этого сделать. Тогда я стал отбивать от Н.А. Клюева молодежь. И это мне в какой-то мере удалось.

Что же такое представлял собой Н.А. Клюев?

Передаю несколько сценок, как это всё было.

В 1932 г. мне сообщают, что Н.А. Клюев стоит на паперти церкви, куда часто ездят иностранцы, и просит милостыню: «Подайте, Христа ради, русскому поэту Николаю Клюеву», — и иностранцы, конечно, кладут ему в руку деньги.

Я вызвал Н.А. Клюева к себе в «Известия».

Помню, тогда в «Известия» я приезжал поздно. Большую часть дня я проводил в Кремле, в ЦК, в СНК и СТО. Вечером, часов в 10-11 вечера, является ко мне Н.А. Клюев. Кабинет в «Известиях» был шикарный, хорошо обставленный мебелью красного дерева, с великолепным камином... Открывается дверь. Входит среднего роста человек. Одет бедно. Пиджачок потертый, рубашка, подпоясанная ремешком, штаны потертые, сапоги русские. Бородка. В руках картуз. Глаза — узкие, умные, хитрые, пронизывающие. Стоит, сложив руки, около дверей. Дальше не двигается.

— Вот, сподобил Господь-Бог повидаться с Вами, Иван Михайлович, сподобил Господь-Бог! Уж и хорошо у Вас, люленьки-ляля, уж очень хорошо! Как в раю, как в раю!

Я подошел к нему.

— Николай Алексеевич, мы с вами знакомы.

— Ну как же, как же, встречались и у Александра Александровича (Блока), и у Сергея Митрофановича (Городецкого).

Я говорю:

— Так вот, либо мы будем говорить, как взрослые люди, либо я совсем не буду с Вами разговаривать.

— Хорошо, будем говорить, как взрослые люди.

И вот передо мной сидит образованнейший человек нашего времени. Вы говорите с ним о философии, он говорит, как специалист. Немецких философов Э.Канта и Г.Гегеля он цитирует наизусть, К.Маркса и В.И. Ленина цитирует наизусть.

— Я самый крупный в Советском Союзе знаток фольклора, — говорил он, — я самый крупный знаток древней русской живописи.

И это были не фразы.

С ним было приятно разговаривать, потому что это был энциклопедически образованный человек, прекрасно понимающий и знающий искусство.

Я говорю:

— Николай Алексеевич, почему Вы пошли на паперть?

— Есть нечего.

— У Вас в вашей келье иконы Рублева есть?

— Есть.

— А оригинальная библия XVII века есть?

— Есть.

— Так вот, если вы продадите хоть одну вещь в музей, то два-три года можете прожить не нуждаясь. Значит, на паперть заставила идти Вас не нужда, а кое-что другое, этим другим является ненависть к большевикам. Вы с нами хотите бороться, мы бороться умеем и в борьбе беспощадны.

— Я не хочу бороться, я хочу работать, но мне надо есть, нужно одеваться.

— Ну что ж. Хорошо.

Вызываю секретаря.

— Дайте Николаю Алексевичу карточку академического пайка и 5 тыс. рублей денег.

А академический паек был тогда в Москве самый лучший. У меня было в моем распоряжении для поддержки литературных работников и интеллигенции до 600 таких пайков. Меня не ограничивали ни распределением этих пайков, ни расходами денег. И.В. Сталин постоянно журил меня за то, что я жадничаю, что мало поддерживаю старую интеллигенцию. В этом отношении я был непосредственно подчинен И.В. Сталину.

Я говорю Н.А. Клюеву:

— Вот Вам паек; тут и питание, и одежда. Вот Вам деньги, чтобы заплатить за все. Что еще надо?

— Я хочу уехать из Москвы в деревню. Нужны билеты.

Говорю секретарю:

— Закажите билет Николаю Алексевичу.

— Я поеду не один, а с племянником<sup>17</sup>.

— Хорошо, пожалуйста, уезжайте с племянником. Достаньте ему два билета.

Заказали два билета.

На другой день ко мне пришел молодой человек, очень красивый, стройный, так называемый племянник Н.А. Клюева. Секретарь отдал ему билеты. И Н.А. Клюев уехал в деревню.

Оттуда он пишет мне письма. Писал он их в черных конвертах, и по черному белым был написан адрес. На письма я ему отвечал. У меня была привычка и правило отвечать почти на каждое письмо, особенно если писали ученые, писатели или художники.

Однажды получаю от Н.А. Клюева поэму. И вот сижу дома, завтракаю. Напротив сидит П.Н. Васильев, который жил в это время у меня. Читаю эту поэму и ничего не могу понять. Это любовный гимн, но предмет любви — не девушка, а мальчик. Ничего не понимаю и отбрасываю поэму в сторону.

— Ни черта не понимаю!

П.Н. Васильев берет ее и хохочет.

— Чего ты, Пашка, ржешь?

— Иван Михайлович, чего же тут не понимать? Это же его «жена».

Мне захотелось пойти и вымыть руки.

Приезжает Н.А. Клюев, является ко мне.

— Получили поэму?

— Да.

— Печатать будете?

— Нет, эту мерзость мы не пустим в литературу. Пишите нормальные стихи, тогда будем печатать. Если хотите нормально работать, мы дадим Вам такую возможность.

— Не напечатаете поэму, писать не буду.

— Итак, Вы встаете на путь борьбы? Тогда разговор будет короток. В Москве Вы не останетесь.

— Мое условие: или печатайте поэму, или я работать не буду.

Я долго уговаривал Н.А. Клюева, но ничего не вышло. Мы расстались. Я позвонил Ягоде и попросил убрать Н.А. Клюева из Москвы в 24 часа. Он меня спросил:

— Арестовать?

— Нет, просто выслать из Москвы.

После этого я информировал И.В. Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал.

Так Н.А. Клюев был выслан из Москвы, но работы по разложению литературной молодежи он не оставил, и тогда уже за эту свою деятельность он был арестован<sup>18</sup>.

Вот облик Н.А. Клюева, повторяю, очень талантливого человека, но полностью отошедшего от революции.

Теперь вот другой персонаж — Сергей Антонович Клычков.

Как-то приходит ко мне С.А. Клычков и кладет на стол поэму «... — победитель»<sup>19</sup>.

Поэма была вложена в чистый лист бумаги, а на нем десятка два-три автографов крупнейших деятелей науки, культуры и искусства. Поэма расхваливалась, поэме давались самые блестящие отзывы. В частности, были отзывы А.М. Горького, А.А. Фадеева и многих, многих других.

Я говорю Клычкову:

— Сергей Антонович, чего же вы ее не печатаете?

— Боятся печатать, ядрена бабушка (у него была такая поговорка).

— Почему боятся? Ведь здесь такие восторженные отзывы. Тут Вам и А.М. Горький, и А.Фадеев. Кого тут только нет! Чего же бояться?<sup>20</sup>

— Вот, боятся печатать, поэтому я к Вам и обращаюсь — помогите.

— Хорошо, оставьте.

Взял я у него поэму, намереваясь прочесть ее дома. Проходит неделя, другая. Прочесть мне ее никак не удастся. Работали тогда, как говорится, с утра и до утра. И.В. Сталин имел привычку звонить нам ночью. Обычно между часом и четырьмя ночи мы

созванивались по телефону, и я к нему ездил ночью для необходимых разговоров по вопросам искусства и литературы, для обсуждения международных проблем. Остальное время оставалось для сна, а оставалось его очень мало. В 4 часа ложились, в 8 уже надо было вставать. Согласитесь, что работать было трудновато. Поэтому в течение недели-полторы я никак не мог прочитать поэму С.А. Клычкова.

Раз приходит он ко мне пьяный.

Спрашивает:

— Прочитали поэму?

— Да нет, извините, к сожалению, не успел.

— Вот видите, и Вы боитесь, и Вы трусите.

Это меня взорвало. Я ему говорю:

— Давайте прекратим этот разговор!

Распростился я с ним довольно холодно и сухо, мягко выражаясь. Потом он говорил, что я его выгнал.

Но поэму его я все-таки прочел и напечатал. Вместе с предисловием и комментарием ученого-этнографа Плотникова.

И вот приходит С.А. Клычков ко мне сияющий и просит заплатить за поэму. Я спрашиваю:

— Сколько?

— Недорого, рубль мне, рубль Плотникову за строчку поэмы.

— Хорошо.

Распорядился, чтобы заплатили. В поэме было 10 тыс. строк, тут же уплатили С.А. Клычкову 10 тыс. рублей. Проходит три недели, вновь приходит С.А. Клычков.

— Плотникова нет.

— Куда же он девался?

— Искал, но не нашел.

— А к чему этот разговор?

— Нельзя ли мне деньги получить за Плотникова?

Я знал, что зарабатывает С.А. Клычков — думаю, мало, ладно, заплачу. А Плотников, конечно, потом нашелся, пришлось и ему платить.

Как-то в редакции сидели Л.М. Леонов, А.Г. Малышкин, А.С. Новиков-Прибой, кажется, А.Н. Толстой. Вдруг влетает секретарь редакции В.К. Белоконь и набрасывается на меня.

— Пришел С.А. Клычков и говорит, что меня Иван Михайлович обжулил, не заплатил мне за предисловие.

Я говорю ей:

— Вера, ради бога, успокойся, выйди с серьезным лицом и скажи, что я забыл это сделать, выпиши ордер рублей на 50 и возьми у него расписку.



Она вышла, извинилась, выписала ему ордер. Он, довольный, расписался и вдруг смотрит — 50 рублей!

— Вот так по морде дали, до чего жадность довела!

Схватил ордер и убежал. Встречает на лестнице Павла Васильева.

— Идем в кабак.

— Я иду в редакцию и денег у меня нет.

— Я заплачу. Мне Иван Михайлович дал по морде.

— Ничего не понимаю.

— Потом объясню.

Затащил П.Н. Васильева в ресторан и рассказал, что после выплаты 20 тысяч бросили ему еще крохи со стола, 50 рублей.

Спустя некоторое время успокоился, приходит ко мне и говорит:

— Вот вогульский эпос, он отображает быт вогулов до революции, а нельзя ли посмотреть, что теперь с этим народом после революции стало. Я хочу поехать к ним.

— Очень хорошо.

Дал ему денег, тысяч 6-7, организация мы были тогда богатая. Пробыл он у вогулов 1 1/2 - 2 месяца<sup>22</sup>. Приехал в Москву, пришел ко мне.

— Был?

— Да.

— Как съездил?

— Ничего.

— Что ничего?

— Нет вогулов.

— Куда же девался целый народ?

— Не знаю. Избы крытые тесом, полы крашенные, зубы чистят. Нет вогулов. Не могу писать.

И не написал. Я этот разговор привел на собрании писателей «Нового мира» и С.А. Клычков его подтвердил.

Вот Вам фигура С.А. Клычкова, и характерные его черты. С одной стороны, он приветствовал революцию, а с другой — «нет вогулов»!

Но все-таки С.А. Клычков работал. Он пытался переводить поэму Ш.Руставели<sup>23</sup>, он работал в издательствах. Он довольно хорошо редактировал разные книги<sup>24</sup>. Он вел довольно большую работу и от работы не отказывался. Врагом Советской власти он не был. Н.А. Клюев был, а С.А. Клычков нет. Он был связан с одной стороны с такими поэтами, как Павел Васильев и Петр Орешин, а с другой — с такими, как Николай Клюев. Впоследствии он был арестован. Как, за что, почему он был арестован —

я этого не знаю<sup>25</sup>. Но я добивался реабилитации С.А. Клычкова, и он в настоящее время реабилитирован. Меня также просили дать характеристику<sup>26</sup> Н.А. Клюеву, когда зашла речь о его реабилитации, но я отказался писать эту характеристику. Н.А. Клюев и по сей день не реабилитирован.

Нужно прямо сказать, что Н.А. Клюев усиленно тащил молодых поэтов вправо. Чем же объяснить, что молодежь тянулась к нему? Почему мы должны были воевать за молодых поэтов, за таких, как В.Ф. Наседкин, П.Н. Васильев, Я.В. Смеляков и многих других? Потому что Н.А. Клюев был большим мастером стиха и у него было чему поучиться, и он умел учить. Если перед ним был талант, он умел его отшлифовать, сделать из человека мастера стиха, поэта. Он много вложил труда в Павла Васильева и в какой-то мере помог ему подняться и превратиться в большого поэта, которого, между прочим, А.Н. Толстой назвал «Пушкиным наших дней»<sup>28</sup>. А А.Н. Толстой кое-что в поэзии понимал. С Н.А. Клюевым пришлось вести нам большую борьбу, ибо вместе со своими знаниями специфики поэтического творчества он передавал поэтической молодежи и свое идеалистическое мировоззрение и свои религиозные чувства. Н.А. Клюев пытался увести от Советской власти поэтическую молодежь, и как можно дальше, и *неволью* в этом деле ему помогал С.А. Клычков. Клычков любил выпить. Он выпивал и с Есениным и с другими молодыми поэтами.

Вот с этим со всем и пришлось довольно основательно бороться в 1920-е и особенно в 1930-е годы.

Несколько слов о П.В. Орешине.

Петр Орешин был исключительно скромным человеком. У него не совсем удачно сложилась личная жизнь. Он, конечно, уступал в даровании и Н.А. Клюеву, и С.А. Клычкову. Это поэт приятный, это поэт значительный, поэт, который никогда не выступал против Советской власти. Он честно шел в ногу с Советской властью. Нельзя сказать, что у него были большие знания, что он мог осмыслить весь комплекс общественных событий, который развертывался на его глазах, но он пытался понять ход событий, пытался идти в ногу с революцией. Правильно сделали, что П.В. Орешина издали<sup>29</sup>. Надо его и дальше издавать, собирать его произведения. Это приятный, вдумчивый поэт, который хорошо изобразил свою эпоху и борьбу своего народа.

Я ничего не буду говорить о И.П. Приблудном и В.Ф. Наседкине<sup>30</sup>.

Скажу несколько слов о П.Н. Васильеве.

Павел Васильев был очень своеобразный человек и очень своеобразный поэт. Он погиб в возрасте 26 лет, по сути дела юношей, а успел уже создать крупные вещи. Мы пытались найти его архив. К сожалению, весь архив его погиб. Там была масса ненапечатанных стихотворений, пожалуй, столько же, сколько сейчас издано. Всё остальное погибло, издали только то, что было напечатано ранее и что удалось сохранить на руках<sup>31</sup>.

Познакомились мы с П.Н. Васильевым в конце 20-х, начале 30-х гг. Он пришел ко мне и принес стихотворения «Август», «Лето» и еще какие-то<sup>32</sup>. Читал он их у меня дома, и я был поражен, во-первых, образностью стиха и тем, как он читает. Я сразу почувствовал в П.Н. Васильеве большого поэта и поэтому с ним обошелся довольно сурово. Я отказался печатать его стихи в «Новом мире»<sup>33</sup>. Отказываться было трудно, потому что это были великолепные, замечательные стихи. Я много говорил ему о С.А. Есенине, как С.А. Есенин сам погубил себя, свой талант. С тех пор П.Н. Васильев приходил ко мне часто, приносил свои новые стихи, читал их. Чтобы отбить его от Н.А. Клюева, я поселил его у себя на квартире<sup>34</sup>. Здесь он написал «Северный бунт», «... кампания», «Кулаки» и другие вещи<sup>35</sup>. Но все-таки я не мог отдавать ему много времени. Я приезжал домой только утром, виделись мы с ним за столом, в воскресенье главным образом. Он продолжал встречаться с Н.А. Клюевым, но чаще с С.А. Клычковым<sup>36</sup>.

К П.Н. Васильеву очень хорошо относились руководители партии, расхваливали его стихи. И меня просили лично им заняться. Все видели в нем огромного поэта, поэта большого дыхания. В 1931 г. он был арестован, причем когда его арестовывали, то факты были подтасованы<sup>37</sup>. Один из поэтов оскорбил девушку, за которой ухаживал П.Н. Васильев. Тот потребовал, чтобы слова были взяты обратно, а так как поэт отказался это сделать, то П.Н. Васильев дал ему такую пощечину, что тот отлетел далеко. П.Н. Васильев был осужден «за хулиганство» на два года принудительных работ.

И вот, как-то в Кремле на одном из банкетов сидел я вместе с М.О. Рейзенем, А.В. Неждановой, Н.С. Головановым, А.Я. Таировым, А.Г. Коонен и Б.А. Пильняком<sup>38</sup>. Подошли к нам Енукидзе и А.И. Егоров, который был тогда начальником генерального штаба<sup>39</sup>. А.И. Егоров решил помирить меня с Мишей Тухачевским, моим большим другом, с которым в то время я был в ссоре. Я встал и хотел идти мириться с Тухачевским, в это время подошел к нам Молотов<sup>40</sup>. Мы пошли с ним по залу.

— Почему нет в печати стихов П.Н. Васильева? — спрашивает Молотов.

Я говорю:

— Васильев арестован.

— Как арестован? — Он ничего не знал.

Молотов мне говорит, что надо было бы об этом позвонить И.В. Сталину. Я ему ответил, что мне неудобно вмешиваться в это дело.

На следующий день состоялось решение Политбюро ЦК, и П.Н. Васильев из Рязанской тюрьмы, где он находился, был привезен ко мне прямо на квартиру.

В Рязанской тюрьме он написал поэму «Принц Фома»<sup>41</sup>.

Все эти передраги очень сильно на П.Н. Васильева повлияли. Он как-то меньше стал писать, хуже стал обрабатывать свои стихи. Появилась у него и некоторая рассеянность. Но постепенно он это преодолел и написал ряд блестящих вещей. Но, к сожалению, был снова арестован.

Это был наиболее талантливый поэт из всей этой группы. Повторяю, что всю эту группу нельзя считать «крестьянскими» поэтами. Н.А. Клюев — это, безусловно, буржуазный поэт, безусловно, выражающий интерес кулачества. С.А. Клычков задержался на позициях буржуазно-демократических. Он хотел перейти на позиции социализма, но это ему удавалось с трудом. П.В. Орешин шел вместе с народом, хотя у него и были кое-какие ошибки. П.Н. Васильев искренно хотел служить советскому народу. Он создал ряд блестящих произведений, в которых всесторонне отразил ряд больших событий своей эпохи: Гражданскую войну («Песнь о казачьем войске», «Принц Фома»), коллективизацию («Кулаки»), дореволюционную борьбу казахского народа («Соляной бунт») и мн. мн. другое.

Вот одна маленькая деталь.

А.М. Горький, настроенный рапповцами, резко выступил против Павла Васильева. Я получил статью А.М. Горького. Мне передавали ее с такого рода комментарием, что статья направлена и против меня, так как в статье сказано, что П.Н. Васильев прячется за широкой спиной сильных мира сего. Я прочитал статью и дал распоряжение печатать ее в «Новом мире»<sup>43</sup>. Но одновременно дал распоряжение печатать и стенограмму своего выступления на заседании писателей, где обсуждалась поэма П.Н. Васильева «Соляной бунт» и где я ставил проблему Васильева, как классовую проблему, сравнивая его с С.А. Клычковым и Н.А. Клюевым<sup>44</sup>.

Вскоре после этого встречаюсь с А.М. Горьким. Сидим, обедаем. Напротив сидит Алексей Толстой. Мы с А.М. Горьким «царапаемся». Мы с ним часто «царапались», хотя в общем дружили.

— Вы на меня сердитесь? — спрашивает Горький.

— За что?

— За Васильева.

— Да нет. Не сержусь. Проблема П.Н. Васильева куда сложнее и серьезнее. (В это время я знал, что руководители партии одобрили мое выступление о П.Н. Васильеве, а не А.М. Горького).

Пока мы спорили, А.Н. Толстой вышел, принес целую пачку журналов и говорит:

— Что вы все лаетесь. Вот послушайте стихи.

И начал читать стихи П.Н. Васильева.

У А.М. Горького потекла одна слеза, другая. Он вообще часто плакал.

— Кто это, Алексей Николаевич?

Толстой продолжает читать.

— Кто это? Это же гениально! Это потрясающие стихи! Это замечательно написано!

А.Н. Толстой нагнулся и говорит:

— Это — Павел Николаевич Васильев.

— Как, как? Ну-ка покажите. Да... Неловко получилось, неловко, — сказал А.М. Горький.

Он тогда написал письмо П.Н. Васильеву, в котором говорил, что П.Н. Васильев редкий талант<sup>45</sup>. Сохранился черновик, но черновик не отражает всего письма. Но там была мысль о том, что мол, если хотите пить, то пейте, но не ходите по кабакам.

П.Н. Васильев написал в ответ А.М. Горькому поэму, из которой прочел мне лишь отрывки, среди которых был такой:

«Пью за здоровье Трехгорки.  
Эй, жена, завесь-ка шторы,  
Нас увидят, может быть.  
Алексей Максимыч Горький  
Приказали дома пить».

Когда я прочитал эти строки А.М. Горькому, тот дико хохотал.

— Какая умница, одно слово «приказали» и обидеться нельзя, а барин обозвал!

Это — Павел Васильев. Человек сверкающий, блестящий.

Как-то мы сидели за столом, В.С. Сварог<sup>46</sup> — художник — читал эпитафию Филиппу Великолепному. Кто-то в шутку спросил П.Н. Васильева:

— Пашка, слушай, а что написать на твоей могиле?

— Ладно, пишите:

«Здесь похоронен юноша и муж  
Все жен своих, да и чужих к тому ж».

Такие экспромты он разбрасывал походя. Это был сверкающий, яркий поэт.

Когда его арестовали<sup>47</sup>, я звонил дважды, трижды — даже Ежову. Мы рассорились. Я позвонил И.В. Сталину, произошел резкий разговор. Мы поругались. Затем я ходил к М.И. Калинин, А.И. Микояну, В.М. Молотову. Мы оптом все пытались его спасти, особенно А.И. Микоян<sup>48</sup>. Но ничего поделаться не смогли. И этот яркий, талантливый поэт, может быть самый выдающийся после В.В. Маяковского, — погиб<sup>49</sup>.

Вот, собственно, и все, что я могу вам рассказать о «крестьянских писателях».

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Чернов Виктор Михайлович (1873-1952) — член ЦК партии с.-р. и главный ее теоретик. В мае-августе 1917 — министр земледелия Временного правительства. 5 января 1918 — председатель Всероссийского Учредительного Собрания. С 1920 — в эмиграции. В 1939-1945 — участник французского Сопротивления.

<sup>2</sup> Михайловский Николай Константинович (1842-1904) — крупнейший теоретик либерального народничества, позитивист, главный редактор журн. «Русское Богатство» (1894-1904), ведшего резкую полемику с марксистами.

<sup>3</sup> Термин «крестьянские поэты», или «новокрестьянские поэты» ввел В.Львов-Рогачевский. (См. его *НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ*. — «Путь», №5, 1919; *ПОЭЗИЯ НОВОЙ РОССИИ. ПОЭТЫ ПОЛЕЙ И ГОРОДСКИХ ОКРАИН*. М., 1919).

<sup>4</sup> Клюев Николай Алексеевич. Родился 10 октября 1884 в дер. Кошутг Вытегорского уезда. Расстрелян в Томской тюрьме в октябре 1937. Первые стихи напечатал в 1904 и первый сб. *СОСЕН ПЕРЕЗВОН* выпустил в 1912 (фактически в 1911).

Клычков Сергей Антонович. Родился 1(?) июля 1889 в дер. Дубровки Тверской губ. Расстрелян 8 октября 1937 (см. «Новый мир», 1988, №11, с.266). Первые стихи напечатал в 1906, первый поэтический сб. *ПЕСНИ* вышел в 1911 (фактически в 1910).

Орешин Петр Васильевич. Родился 16 июля 1887 в Саратове. Расстрелян в 1937 или 1938 (в *КЛЭ* дата его смерти — произвольна). Начал печататься в 1911. Первые его поэтические сб. *ЗАРЕВО, КРАСНАЯ РУСЬ* вышли в 1918.

Есенин Сергей Александрович. Родился 21 сентября 1895 в с. Константиново Рязанского уезда. Покончил с собой в ночь с 27 на 28 декабря 1925. Первые стихи опубликованы в 1914, в 1916 вышел первый стихотворный сб. *РАДУНИЦА*.

Наседкин Василий Федорович. Родился 13 января 1895 в дер. Веровка Уфимской губ. Был женат на сестре С. Есенина — Екатерине. Арестован в конце 1937, погиб в 1940(?). Начал печататься в 1922. Первая книга стихов вышла в 1927 (*ТЕПЛЫЙ ГОВОР*).

Васильев Павел Николаевич. Родился 12 декабря 1910 в г. Зайсане в Сибири. Арестован 7 февраля 1937, расстрелян в том же году. Единственное поэтическое произведение, вышедшее при жизни отдельным изданием — поэма *СОЛЯНОЙ БУНТ* (1934).

К «старшим» крестьянским поэтам принадлежат и Пимен Карпов (1884-1963), Александр Ширяевец (1887-1924), Алексей Ганин (1893-1925).

<sup>5</sup> См. *ПЕРЕПИСКА БЛОКА С Р. В. ИВАНОВЫМ-РАЗУМНИКОМ*. Вступительная статья, публикация и комментарии А. В. Лаврова. — «Литературное наследство», 1981, т. 92, кн. 2, с. 366-414.

<sup>6</sup> Печатные следы «пропагандирования» А. Блоком *ИСТОРИЧЕСКИХ ПИСЕМ* П. Л. Лаврова нам не известны. В статье *БЛОК И НАРОДНИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ* («Литературное наследство», 1987, т. 92, кн. 4, с. 75-122) М. Г. Петрова исследует главным образом отношения Блока и Михайловского.

<sup>7</sup> Н. А. Клюев был активным членом Всероссийского Крестьянского Союза, и в 1906 за распространение прокламаций Союза и антиправительственную агитацию среди крестьян отсидел шесть месяцев в тюрьме. В 1916-1917 вместе с Р. Ивановым-Разумником предпринимал усилия, чтобы вырвать Есенина из-под влияния монархических кругов (см. переписку Клюева с Есениным в 1915, опубликованную К. М. Азадовским в сб. *ЕСЕНИН И СОВРЕМЕННОСТЬ*. М., 1975, с. 233-244).

В мае 1918 Клюев вступает в РКП(б) и избирается почетным председателем Вытегорской уездной парторганизации (1918-1919). В Вытегре он проводит агитационную и культурную работу. В апреле 1920 г. губком РКП(б) Петрозаводска исключает его из партии за религиозные взгляды, несмотря на то, что общегородская вытегорская конференция РКП(б) проголосовала до этого за оставление Клюева в рядах партии (см.: А. К. Грунтов. *МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Н. А. КЛЮЕВА*. — «Русская литература», 1973, №1, с. 125).

<sup>8</sup> В 1908-1911 Н. Клюев сильно воздействовал на Блока, способствуя его переходу к нео-народничеству. Блок предпочитал раннюю поэзию Клюева его поздним стихам, перегруженным метафорами (см. вступит. ст. К. М. Азадовского к публикации писем Н. Клюева к Блоку. — «Литературное наследство», 1987, т. 92, кн. 4, с. 427-462).

<sup>9</sup> Блок, Клюев, Есенин, Орешин (но не Клычков, оставшийся в стороне от «Скифов») публиковались в левозсеровской печати, которая предоставляла им «экстерриториальность»: в газетах «Знамя труда»

(авг. 1917 — июль 1918, под ред. Р.В. Иванова-Разумника, Б.Д. Камкова, М.А. Спиридоновой), «Дело народа», во «Временнике литературы и искусства» «Знамени труда» (под ред. Р.В. Иванова-Разумника, В.А. Карелина и Е.Г. Лундберга; вышло два номера в 1918) и в журнале «Наш путь» (2 номера в 1918 г.).

С левыми эсерами Блок сближал дух революционного максимализма. «На деле речь могла идти только о внешнем присоединении, ибо к политической программе и партийной тактике левых эсеров Блок, всегда остававшийся невосприимчивым к вопросам политики, не имел никакого отношения» (А.В. Лавров. *ПЕРЕПИСКА БЛОКА С Р.В. ИВАНОВЫМ-РАЗУМНИКОМ*, ук. соч., с.378).

<sup>10</sup> В автобиографии 1923 Есенин пишет: «В революцию покинул самовольно армию Керенского и, проживая дезертиром, работал с эсерами не как партийный, а как поэт.

При расколе партии пошел с левой группой и в октябре был в их боевой дружине». (С.А. Есенин. Собр. Соч. в 6-ти тт. М., 1979, т.5, с.224).

В августе 1917 Есенин женился на З.Райх, бывшей членом партии эсеров и работавшей в газете «Дело народа».

Есенин «покинул армию» (при посредстве полковника Ломана он был причислен в апреле 1916 к военно-санитарному поезду) уже после отречения императора (о спорном вопросе «военной службы» Есенина см.: G.McVay. *ESEININ: A LIFE*. Ardis, Ann Arbor, 1976, гл. IV).

<sup>11</sup> В своей революционной поэзии П.Орешин выступает одним из «двенадцати» Блока, «кресткультовским» поэтом «Земли и Воли». Он печатался в эсеровских газетах и в 1918 его сб. *ЗАРЕВО* вышел в петроградском эсеровском издательстве «Революционный социализм» (как и *ГОЛУБЕНЬ* Есенина). Одновременно его *КРАСНАЯ РУСЬ* была издана издательством ВЦИК. Сам Орешин в это время заведовал литературным отделом газеты Крестьянского отдела ВЦИК «Голос трудового крестьянства» (декабрь 1917 — июнь 1919). В 1919 Орешин уехал в Саратов, где «пишет плохие коммунистические стихи» (письмо С.Есенина А.Ширяеву от 26 июня 1920, ук. соч. т.6, с.96).

<sup>12</sup> Ю.Г. Фельштинский подвергает сомнению общепринятую версию об убийстве графа Мирбаха «партией эсеров» и о «мятеже левых эсеров» в Москве в июле 1918 (см. его *БОЛЬШЕВИКИ И ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ. Октябрь 1917 — июль 1918*. ИМКА-Пресс, 1985).

27 февраля 1919 для эсеров была объявлена амнистия, и с тех пор они не вели вооруженной борьбы против большевиков.

<sup>13</sup> Согласно другим мемуаристам, склонность к вину появилась у Есенина зимой 1921 г. (см.: И.Старцев. *МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ* — в кн. С.А. ЕСЕНИН. *ВОСПОМИНАНИЯ*. Под ред. И.В. Евдокимова. М., 1926, с.70-71).

<sup>14</sup> Литературное кафе «Стойло Пегаса» открылось в ноябре 1919 в помещении кафе «Бом» на углу Малого Гнездииковского переулка и Тверской ул., д.37 (снесен). Его хозяином была «Ассоциация вольнодумцев»



(имажинистов) во главе с С.Есениным, А.Мариенгофом и В.Шершеневичем. С января 1919 по 1925 в помещении бывшего кафе «Домино» на Тверской ул., д.18 помещалась сначала эстрада, а потом «Кафе Поэтов», — клуб Всероссийского Союза поэтов (СОПО). См.: *ЛИТЕРАТУРНЫЕ КАФЕ 20-х ГОДОВ. Из воспоминаний И.В. Грузинова «Маяковский и литературная Москва»*. Публ. И.М. Аброскиной. — «Встречи с прошлым». М., 1978, вып.3, с.174-192.

<sup>15</sup> Об отношениях С.Есенина с А.Дункан см.: G.McVay. *ISADORA AND ESEININ*. Ardis, Ann Arbor, 1980.

<sup>16</sup> Есенин выехал из Москвы в Ленинград 23 декабря 1925. Нигде не отражено присутствие С.Клычкова в Ленинграде одновременно с Есениным. Но в своих неизданных воспоминаниях *ДВА СЛОВА О ЕСЕНИНЕ* (1956) В.Ардов приводит рассказ Клычкова о смерти Есенина как о неудавшейся инсценировке:

«— Сережа Есенин любил привлекать к себе внимание. Если он месяца два чего-нибудь не начудесит, то непременно говорит: пора, пора, друг, нас уже забывают... надо как-нибудь "пошуметь"... И я вполне уверен, что самоубийство Есенина было задумано тоже как прием для создания очередного шума вокруг имени поэта. Он не хотел повеситься на самом деле! Голову отдаю: Есенин рассчитывал на то, что дружок его Вольф Эрлих (которому посвящены знаменитые строки "До свиданья, друг мой, до свиданья..." ) вынет его из петли. Поэтому он так поздно и повесился. Он ждал, когда услышит шаги Эрлиха в коридоре гостиницы; тут он сунул голову в петлю... Только он просчитался: в том дальнем отрезке коридора, где был номер Есенина и Эрлиха, ночью возвращался жилец в соседний номер. А Есенин считал, что это может идти только Эрлих, и погиб...»

Клычков, повторяю, плакал, говоря это:

— Я тут же по свежим следам обследовал сам это дело. Я нашел тогда человека, который вернулся в смежный с Есениным номер в три часа ночи... А Сергей не мог убить себя, не мог!» (ИМЛИ, ф.32, оп.3, №3, лл.17-18; уже приведено нами в кн. С.Клычков. *ИЗБРАННАЯ ПОЭЗИЯ*. ИМКА-Пресс, 1985, с.172).

<sup>17</sup> Речь идет, по всей вероятности, о друге Н.Клюева, художнике А.Яр-Кравченко (1911-1983), с которым Клюев познакомился в 1928 в Ленинграде.

<sup>18</sup> Поэма, которая возмутила И.Гронского, — возможно, *ПИСЬМО ХУДОЖНИКУ АНАТОЛИЮ ЯРУ (19 ноября 1932)*, изд. в кн. Н.Клюев. Сочинения, под общей ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. А.Неimanis, т.2, 1969, с.251-254. По оценке Б.Филиппова, «одно из лучших стихов в наследии поэта» (там же, т.1, с.150).

Н.Клюев был арестован 2 февраля 1934 по статье 58<sup>10</sup> (кулацкая агитация) и после четырех месяцев тюрьмы был выслан в нарымский край (см.: Г.С. Клычков и С.И. Субботин. *НИКОЛАЙ КЛЮЕВ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ: ПИСЬМА И ДОКУМЕНТЫ*. — «Новый мир»,

1988, №8, с.165, 168). По-видимому, политическая статья была приписана Ключеву вместо бытовой (статья о гомосексуализме как преступлении была введена в Уголовный кодекс в 1934 г.).

Сам Ключев писал в заявлении ВЦИК о помиловании от 12 июля 1934: «После двадцати пяти лет моей жизни в первых рядах русской литературы я за безумные непродуманные строки из моих черновиков, за прочтение моей поэмы под названием Погорельщина, основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, сослан Московским ОГПУ в Нарым на пять лет» (ук. соч., с.171).

В письме к В.Н. Горбачевой (жене С.Клычкова) от 25 октября 1935 Н.Ключев замечает: «Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною черной виной» (там же, с.187; см. также прим.4 на с.188).

<sup>19</sup> Речь идет о поэме *МАДУР-ВАЗА ПОБЕДИТЕЛЬ* — вольной переработке С.Клычковым поэмы этнографа М.А. Плотникова *ЯНГАЛ-МАН* — реконструкции вогульского эпоса. Часть текста Клычкова была напечатана в «Новом мире» (1932, №7-8, с.258-333) с предисл. самого Клычкова. Целиком *МАДУР-ВАЗА ПОБЕДИТЕЛЬ* вышел в 1933 в изд. Academia вместе с текстом М.Плотникова (переиздан в 1936 ГИХЛ, уже без текста Плотникова).

<sup>20</sup> «Вся поэма Плотникова проникнута идеализацией старого, патриархального уклада жизни манси; идеализируется и поднимается образ шамана. Стремясь показать в поэме тяжелое положение манси после покорения Сибири, М.Плотников не разграничивает политику завоевателей и позиции трудового русского народа, который, придя на Север, работал и вступал в дружественные отношения с манси». (З.Н. Куприянова. *СОБИРАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ СЕВЕРА В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ*. — В сб. *ЯЗЫКИ И ФОЛЬКЛОР КРАЙНЕГО СЕВЕРА*. «Ученые записки ЛГУ», 1969, т.383, с.13).

<sup>21</sup> Не С.Клычков «искал» и «не нашел» М.Плотникова, а издательство Academia, которое поручило С.Клычкову литературную обработку рукописи М.Плотникова (лишь три песни из его поэмы *ЯНГАЛ-МАН* были опубликованы в 1918 в «Сибирских Записках» №4; там же, в №2 за 1924 г. Плотников опубликовал исторический и литературный комментарий поэмы). Изд. Academia не сумело разыскать М.Плотникова, который объявился в Хабаровске через год после публикации обработки его поэмы Клычковым в «Новом мире» и послал в редакцию «Нового мира» письмо, где требовал своей доли гонорара (ИМЛИ, ф.67, №16, л.3, письмо от 29 августа 1933 г.).

За переиздание поэмы Клычкова ГИХЛ заплатил Клычкову за 6000 строк по 2 р. и за 1250 строк по 3 р. при тираже 15000 экз., а Плотникову — «по 1 р. за строку старых стихов» (контракт от 5 сентября 1935 г., ЦГАЛИ, ф.613, оп.3, ед.хр.7, лл.62-63).

В связи с денежным делом возникло «дело о плагиате», несмотря на то, что сам Клычков представил свою работу как «литературное заимствование» («Новый мир», 1932, №7-8, с.258) или «вольную переработку». Оргкомитет ССП создал комиссию в составе Э.Багрицкого, В.Ермилова,

А.Суркова, Д.Горбова, под председательством А.Фадеева. Следующее ее постановление было разослано 5 августа 1933 г.:

«Поэт С.Клычков, ознакомившись с работой т.Плотникова по материалам, напечатанным в "Сибирских Записках" и по рукописи, представленной собирателем в издательство "Академия", подверг весь этот материал литературной обработке, в результате которой текст т. Плотникова подвергся частичным изменениям и был дополнен свыше 2000 стихов, являющихся результатом творческой работы самого Клычкова. В результате обработки сюжет поэмы, как он дан в работе т.Плотникова, не подвергался существенным изменениям, но был развит рядом добавлений бытового, описательного, исторического и лирического порядка, отчего общий художественный уровень произведения повысился.

/.../ Комиссия считает, что в данном случае нет налицо факта литературного плагиата» (ИМЛИ, ф.67, оп.1, №16, л.4).

<sup>22</sup> В ИМЛИ хранятся следующие документы по этому делу:

«Прошу принять в число членов Объединения. Мне необходимо поехать в Сибирь, прошу мне устроить эту поездку. В.Иванов объяснит подробности». (Заявление Клычкова в Объединение писателей-краеведов. ИМЛИ, ф.67, №11, б.д.).

«Ввиду того, что я еду по командировке от "Известий" в Сибирь на р.Обь и мн. др. прошу меня связать с [неразб.] на предмет заключения договора на очерки». (Заявление в Объединение писателей-краеведов. Там же, №12, б.д.).

«Я помещен в список [людей], которых краеведы не рекомендуют или рекомендуют условно. Так как я еще никуда не ездил ... такую "рекомендацию" считаю возмутительной и прошу меня больше в списках краеведов не числить» (там же, №13, б.д.).

<sup>23</sup> С.Клычков перевел «Вступление» из *БАРСОВОЙ ШКУРЫ* («Новый мир», 1934, №6, с.101-108).

<sup>24</sup> В октябре 1928 г. Клычков писал А.Халатову (председателю правления Госиздата в 1927-1932 гг.):

«Глубоко уважаемый товарищ Халатов!

Желая временно прекратить личную литературную работу (бывают такие периоды опустошенности в нашем писательском труде), предлагаю Вам свое сотрудничество по лит. худ. Я давнишний госиздатовский работник (работал около пяти лет, через мои руки прошла в свое время почти вся молодая советская литература, начиная с Гладкова). Никто другой, например, как я, заметил и обработал Неделю Либединского, несмотря на мою беспартийность и даже, стараниями борзописцев, очень невыгодную репутацию (статья напр. Бескина), я честно и не мало поработал для создания советской литературы. /.../» (ЦГАЛИ, ф.611, оп.1, ед. хр.380, л.14).

В 1931 г. в ответе на анкету журнала «На литературном посту» «Какой нам нужен писатель» — С.Клычков сказал: «Правлю рукописи начинающих пролетарских писателей, иногда получаю за это благодарность, больше же неприятности» («На литературном посту», 1931, №20-21, с.59).

<sup>25</sup> «Клычков Сергей Антонович, 1889 г. рождения, член Союза писателей СССР, был необоснованно осужден 8 октября 1937 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ложному обвинению в том, что якобы с 1929 являлся членом антисоветской организации "Трудовая крестьянская партия", имел связь с Л.Б. Каменевым, проводил антисоветскую деятельность в идеологической области. Клычков С.А. был приговорен к расстрелу. Сведениями о точной дате исполнения приговора не располагаем, однако известно, что по существовавшему в то время положению такие приговоры исполнялись немедленно по вынесении. Места захоронения осужденных к расстрелу не фиксировались». (Из письма заместителя начальника секретариата Военной коллегии Верховного суда СССР В.Полюнова Е.С. Клычковой от 6 июля 1988 г. — «Новый мир», 1988, №11, с.266).

<sup>26</sup> С.Клычков был реабилитирован 25 июля 1956 г. Реабилитации С.Клычкова добивался его сын Г.С. Клычков (1932-1987). Автору этих примечаний он рассказал, что сначала И.Гронский отказался дать ему нужную характеристику о его отце. Вторую, очень положительную характеристику, написал С.Коненков, с которым Клычков был на баррикадах 1905 года (характеристика опубликована G.McVay в статье *NIKOLAY KLYUEV AND SERGEY KLYCHKOV: UNPUBLISHED TEXTES*. — «Oxford Slavonic Papers», 1984, XVII, p.107). В заметке «Последние дни поэта» («Литературная газета» от 17 мая 1989 приводится сообщение о том, что Клюев был полностью реабилитирован в 1960 Военным трибуналом Сибирского округа, но это стало известным лишь в 1989 г. В 1988 Клюев был полностью реабилитирован Прокуратурой РСФСР.

<sup>27</sup> Смеляков Ярослав Васильевич (1912-1972). Первый поэтический сб. *РАБОТА И ЛЮБОВЬ* вышел в 1932 г. В 1934-1937 гг. репрессирован. «На характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг». (Из письма «партийца», приведенного М.Горьким в статье *О ЛИТЕРАТУРНЫХ ЗАБАВАХ* (14 июня 1934). — Собр. соч., т.27, М., 1953, с.250-251).

<sup>28</sup> В статье *ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ* («Молодая гвардия», 1963, №2, с.200-201) И.Гронский пишет, что А.Н. Толстой назвал Васильева поэтом «совершенно исключительного дарования».

<sup>29</sup> Речь идет о кн. П.Орешина *СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ*, М., 1958. Орешин отрекся не без боли от своих друзей и от себя в поэме *МОЯ БИБЛИОТЕКА* (сб. *ВТОРАЯ ТРАВА*, М., 1933, с.89-120):

[Клычкову:] Благодарю! Пора настала,  
Разлука к горлу подошла,  
За нашу дружбу мы немало  
Понаписали барахла.  
Ты позабыл, в чертей влюбленный,  
Прибитый к двери очага,

Что блеском сабельным Буденный  
Скосил чертятские рога!

Но есть конец всему, не так ли?  
Коварна жизнь, коварен свет...  
Я ухожу из русской сакли,  
Я больше не мужик-поэт!

<sup>30</sup> Иван Приблудный (наст. фамилия Яков Петрович Овчаренко) род. 1 декабря 1905 в с. Безгинове Харьковской губ. Расстрелян в 1937, после того как написал эпиграммы на советских руководителей (см.: G. McVay. *YESENIN'S POSTHUMOUS FAME, AND THE FATE OF HIS FRIENDS*. — «The Modern Language Review, Jul. 1972, vol. 67, №3, p. 598»). Первые его стихи появились в печати в 1923, в 1926 вышел первый сб. *ТОПОЛЬ НА КАМНЕ*, где чувствуется сильное влияние С. Есенина.

<sup>31</sup> Кое-что сохранилось у вдовы поэта Е. А. Вяловой, у В. Н. Клычковой и др. и вошло в издание П. Васильев. *ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ*. М., 1957, и в издание большой серии Библиотеки поэта (Л., 1968 — в дальнейшем *БП*).

<sup>32</sup> Поэма *ЛЕТО* датирована 30 июня 1932 года и посвящена С. Клычковой. *АВГУСТ* написан в августе 1932 г.

<sup>33</sup> *ЛЕТО* напечатано в журнале «Земля советская», 1932, №11, и *АВГУСТ* — в «Литературной газете» (29 октября 1932). В «Новом мире» стихотворения П. Васильева появились в 1930 (№6), 1931 (№9), 1932 (№10), 1934 (№1, 10, 12), 1936 (№7, 8, 9, 10).

<sup>34</sup> П. Васильев был женат на свояченице И. Гронского Е. А. Вяловой и жил одно время в его квартире.

<sup>35</sup> *СЕВЕРНЫЙ БУНТ* — речь идет о поэме *СОЛЯНОЙ БУНТ* (1932-1933). «...кампания»: по всей вероятности, — поэма *СИНИЦЫН И К°* (1933-1934). *КУЛАКИ* — поэма 1933-1934 гг.

<sup>36</sup> После первого ареста (апрель-май 1932) П. Васильев жил у С. Клычкова, где он начал поэму *СОЛЯНОЙ БУНТ* (*БП*, с. 26 и 610). В 1932 г. к рождению сына Клычкова он написал стихотворное послание *ЕГОРУШКЕ КЛЫЧКОВУ* — «наивысшая точка духовного просветления поэта в этот период творчества» (А. Михайлов. *СТЕПНАЯ ПЕСНЬ. Поэзия Павла Васильева*. М., 1971, с. 85).

<sup>37</sup> В биографической справке, составленной С. Поделковым к *БП*, сказано: «В конце марта 1932 года Васильев был арестован и находился два месяца под следствием. 28 мая его освободили» (*БП*, с. 25-26).

<sup>38</sup> Рейзен Марк Осипович (р. 1895) — оперный певец.

Нежданова Антонина Васильевна (1873-1950) — оперная певица.

Голованов Николай Семенович (1891-1953) — дирижер, пианист; в 1930-1936 и 1948-1953 — дирижер Большого театра. С 1937 — гл. дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета.

Таиров Александр Яковлевич (1885-1950) — режиссер. В 1914 вместе с А.Г. Коонен создал Камерный театр.

Коонен Алиса Георгиевна (1889-1974) — актриса, ученица Станиславского, жена Таирова.

Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894-1938) — писатель. Расстрелян в апреле 1938.

<sup>39</sup> Енукидзе Абель Сарронович (1877-1937). С 1934 — член ЦК ВКП(б). Исключен из партии в 1935, расстрелян.

Егоров Александр Ильич (1883-1939) — бывший левый с.-р., крупный военачальник, в 1931-1937 нач. Генштаба Красной Армии, маршал СССР (1935), с 1937 — первый заместитель наркома обороны (Ворошилова). Расстрелян 22 февраля 1939.

<sup>40</sup> Тухачевский Михаил Николаевич (1893-1937) — с 1931 зам. наркома обороны. Маршал с 1935. Расстрелян.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986) — с 1931 по 1941 председатель Совета народных комиссаров. В 1939-1949 и 1953-1956 нарком, затем министр иностранных дел. Исключен из партии в 1962, восстановлен в 1984. См. его портрет в кн.: Рой Медведев. *ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА*. Chaldize Publications, 1984 (в переработанном виде — в «Юности», 1989, №3, с.68-81).

<sup>41</sup> В *БП* — *ПРИНЦ ФОМА* датирован 1935-1936 гг. Поэма была напечатана в «Новом мире», 1936, №7.

<sup>42</sup> «Песнь о казачьем войске»: точное название — *ПЕСНЯ О ГИБЕЛИ КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА* (1929-1930). В 1932 редколлегия «Нового мира» изъяла ее из ноябрьской книжки журнала. Одновременно был запрещен выход в свет лирического сб. П.Васильева *ПУТЬ НА СЕМИГЕ*, и его творчество стали аттестовать как «кулацкое» (*БП*, с.26).

<sup>43</sup> Речь идет о статье А.М. Горького *О ЛИТЕРАТУРНЫХ ЗАБАВАХ*, опубликованной 14 июня 1934 года в четырех газетах («Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Литературный Ленинград»). Она вошла и в Собрание сочинений — т.27, М., 1953, с.250-251. Статья не была напечатана в «Новом мире», но в №6 за 1934 была ссылка на нее в работе П.Рожкова — руководителя отделом критики журнала (до 1937 г.). См. также следующее прим.

<sup>44</sup> Вечер, посвященный творчеству П.Васильева, состоялся 3 апреля 1933 г. в редакции журнала «Новый мир» под председательством Ф.Гладкова, с участием К.Зелинского, Е.Усевич, И.Гронского, И.Нусинова, П.Васильева, С.Клычкова, Б.Пастернака и др. Выдержки из стенограммы вечера были опубликованы в «Новом мире», 1934, №6, с.218-225. Эту запоздалую публикацию Л.Флейшман объясняет, как и Гронский, желанием «Нового мира» поддержать П.Васильева против М.Горького и раскрывает ее цели следующим образом:

Если сам вечер был задуман как общественно-политическая реабилитация П.Васильева (вслед за цензурными карами), то публикация отчета о нем в *Новом Мире* преследовала более сложные цели. 14 июня 1934 года

Горький выступил в центральных газетах с первой статьей из цикла «О литературных забавках», в которой с беспрецедентной резкостью обрушился на П.Васильева за недостойное советского писателя бытовое поведение, в глазах Горького граничившее с фашизмом. Такое выступление Горького для молодого поэта означало изгнание из литературной жизни. Ясно, что публикация отчета в *Новом Мире* призвана была ослабить этот удар. То, что она была предпринята в ответ на статью М.Горького, подтверждается датой сдачи этого номера в набор. В статье П.Рожкова (в этом же номере журнала) «Социалистический реализм и "здоровая эмпирия"» содержится ссылка на только что появившуюся горьковскую статью (без какого бы то ни было упоминания П.Васильева). Если учесть, что статья Рожкова в основной своей части направлена против враждебного Горькому литературного фланга — партийных функционеров в Союзе писателей, — то становится ясным, что эту ссылку на статью Горького у Рожкова и отчет о вечере Павла Васильева объединяет общая цель: *Новый Мир* стремился показать Горькому, что журнал — союзник его в литературной борьбе, что атака его на молодого поэта — явный тактический промах и что он явно переборщил с нею, так как Васильев — не просто «Богемец» и хулиган, но настоящий поэт, по мнению присутствовавших на вечере в 1933 году, способный совершить переход на советские рельсы. С другой стороны, эта публикация служила целям реабилитации и самого журнала, отводя упрек Горького: «А те, которые восхищаются талантом Васильева, не делают никаких попыток, чтобы перевоспитать его». Речи, помещенные в отчете, все как на подбор носили назидательный характер, и заявление самого Васильева неопровержимо свидетельствовало о его намерении перевоспитаться.

(Л.Флейшман. *БОРИС ПАСТЕРНАК В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ*. Jerusalem, 1984, с.125-126).

Как бы то ни было, «перестройка» П.Васильева осуществлялась ценой унижительного отречения поэта от себя и от его друзей (что его в конце концов так и не спасло) и ценой безапелляционного отбрасывания старшего поколения крестьянских поэтов (С.Клычков и Н.Клюев) в лагерь «врагов народа» (в выступлении И.Гронского). Одной из самых жгучих и зловещих обвинительных речей против крестьянских поэтов стало выступление И.Гронского на вечере П.Васильева, — идущее вразрез не только с фактами биографии (преданность Клычкова и Клюева идеям социализма, хотя бы и утопического, их личное участие в революции...), но даже с высказываниями Луначарского о Клычкове (на первом всероссийском съезде крестьянских писателей в 1929: «от книги к книге он становится прогрессивнее») и с оценками самого Гронского в 1959 г. Вот выдержки из выступлений Гронского и других на вечере 1933 г.:

*И.Гронский:* Боролись ли так называемые «крестьянские поэты» вместе с рабочим классом и крестьянством за начатое большевиками великое дело построения социалистического общества? Нет, не боролись. Так какое же они имеют право называться крестьянскими поэтами, кто им дал это право? Им такого права никто не давал. Говоря откровенно, эти «крестьянские» поэты не друзья, а враги народа или отошедшие в сторону спокойные наблюдатели.

Возьмите творчество Клюева, Клычкова и Павла Васильева за последние годы. Что из себя представляет это творчество? Каким социальным силам оно служило? Оно служило силам контрреволюции. Объективно

оно служило силам контрреволюции. Это резко, это грубо. Но это правда. Я эту правду говорю для того, чтобы определить позицию так называемых «крестьянских» поэтов и определить свое отношение к этим художникам. Позицию тут нужно определить уже хотя бы потому, что к этим художникам прислушивается известная часть подрастающего писательского молодняка, к которому мы относимся не безразлично, в развитии которого мы очень основательно заинтересованы. Поэтому нужно прямо сказать в этой узкой писательской среде о том, что творчество так называемых «крестьянских» поэтов до сих пор служило не революции, не социализму, не народу, а реакции, крепостничеству, кулачеству. Можно ли переделать этих «крестьянских» поэтов? Стариков, мне думается, трудно будет переделать. Они слишком прочно срослись с капитализмом, с кулачеством, а потому и порвать с этой социальной средой им будет труднее. У них имеются сложившиеся убеждения, которые родились не сегодня. Все это тянет их назад, в прошлое. Если бы они хотели служить прогрессу, т.е. пролетарской революции, они давно бы это сделали. Если они этого не делают, то нам нет никаких оснований их агитировать. Да и трудно агитировать этих людей. Им можно лишь сказать: если хочешь сидеть в прошлом, сиди, сиди и жди того дня, когда твой народ забудет о тебе, как о художнике. И он забудет. Это единственное, что можно им сказать.

Но к молодым поэтам мы должны подходить несколько по-другому, к молодым поэтам мы должны подходить с несколько другой меркой. Тов. Васильев вырос во время революции. Творчество его развивалось во время революции; казалось бы, он имеет все данные и все возможности для того, чтобы развернуться в достаточно крупного художника революции. Однако мы этого не видим. В чем дело? Я думаю, что дело заключается в том, что в воспитании Васильева мы проявили некоторое благодушие, мы над ним не работали, а кое-кто другой над ним работал. И, представленный этим людям, Васильев развился не в сторону революции, а в сторону контрреволюции. Сейчас, поскольку мы все это вскрыли и вскрыли до дна, нужно взяться и поработать над Васильевым, еще молодым поэтом, и перетянуть его в лагерь революции. Это — задача нашей критики. И тут всякого рода вежливые похлопывания по плечу ничему не помогут. В эпоху революции надо ставить вопросы по-революционному, резко и грубо. Васильев должен порвать с той группой, у которой он находится в плену, Васильев должен шагнуть в сторону революции. И только в этом случае он может подняться как художник. Художник развивается только тогда, когда он служит силам прогресса, только тогда, когда он представляет те социальные силы, которые ведут общество вперед. /.../

*И. Нусинов:* Пастернак говорит: если писателю необходимо органически переделать себя, то горе нашей поэзии, горе нашей литературе. Мне представляется, что здесь неверное представление об органичности нашей поэзии и о тех требованиях, которые предъявляются Васильеву. Его образность может быть сохранена. Но необходимо совершенно другое отношение к этой образности, которая проистекает из совершенно иного отношения к действительности, раскрываемой этой образностью.

Об этой перестройке и идет речь. Но при этом надо сказать, что без такой идейной перестройки Павел Васильев осужден на повторы старого. Художественная органика, оригинальность, свежесть слова, образа, ритма, теперь должны сказаться в выражении своеобразия новой деревни, новой сущности формирующейся социалистической деревни. Поэтому только на базе органической перестройки возможен такой расцвет твор-



чества Васильева, который действительно был бы новым словом творчества. Неверно поэтому утверждение Клычкова, что уход Васильева из-под его влияния на путь влияния Ивана Михайловича [Гронского. — Публ.] означает уход в пустоту. Если пойти по тому социальному пути, о котором говорил Иван Михайлович, значит попасть в пустоту, — тогда значит, невозможна у нас поэзия. Но тогда эта проблема — не только проблема Васильева, это — проблема любого нашего писателя. Если отношение к действительности, которое Иван Михайлович формулировал и которое есть активное участие в социалистическом строительстве, означает пустоту, тогда конечно скверно. Насколько я понял тов. Пастернака, он именно этого боится в отношении Васильева. Клычков говорил, что, пока он, мол, учил Васильева, все было хорошо, но вот он попадает под другое влияние, — и тогда будет плохо. Клычков, мол, заботился об образной системе Васильева, коммунисты же ее игнорируют. Пастернак испугался, кажется, что перестройка Васильева обрекает его на уничтожение его своеобразной ритмики и т.д., и т.д. Я думаю, что это означает лишь иное использование и иное освещение материала, которое только обогатит Васильева. /.../

*П. Васильев:* — Здесь говорили, что Клычков особенно на меня влиял, что я был у Клычкова на поводу, что я овечка. Достаточно сказать, что окраска моего творчества очень отличается от клычковской, а тем более от клюевской. Я сам хорош гусь в этом отношении. Вообще, если говорить о крестьянских поэтах, — а таковые все-таки существовали и существуют, — то надо сказать, что, хотя Клычков и Клюев на меня не влияли, у нас во многих отношениях родная кровь. И все мы ребята такого сорта, на которых повлиять очень трудно. Это блестяще доказал Клычков, особенно Клюев. Тут — советское строительство, а с Клычкова, как с гуся вода. Мне грустно признаться, но это советское строительство и на меня очень мало влияло. Я должен прямо сказать об этом. /.../ У нас с Сергеем в последнее время был разговор, что нужно решительно выбирать — за или против. Я считаю, что у Клычкова только два пути: или к Клюеву, или в революцию. Сейчас Сергей выглядит бледным потому, что он боится, что его не поймут, его побьют и т.д. Но, к сожалению, должен сказать, что я желаю такого избияния камнями. Клычков в любом месте развернет свою пространную, путанную философию, он поражается тому, что на него смотрят, как на чертополох. Но ты, Сергей, сам активно помогал этому. Я глубоко уверен, что у тебя было много примеров, где ты мог высказаться со всей определенностью за революцию. Клычков должен сказать, что он на самом деле служил по существу делу контрреволюции, потому что для художника молчать и не выступать с революцией — значит выступать против революции.

*Клычков:* — Это политиканство.

*Васильев:* — Ты имеешь право назвать меня политиканом, но твои слова ни в чем никого не убедят.

*Клычков:* — Нужны не слова, а дела.

*Васильев:* — Я допускаю, что молча, под полой, ты пишешь колхозный роман. Нужно высказаться со всей резкостью. Если ты не выразишь, если ты не скажешь, что с революцией, если ты не докажешь, что с революцией, тогда ты не называй меня своей надеждой, и мы с тобой не пойдем, нам с тобой не по дороге, тогда иди к Клюеву, к его лампадке.

(«Новый мир», 1934, №6, с.221-225).

В архиве вдовы П. Васильева сохранился автограф неизданного стихотворения 1933 г., озаглавленного *НА КЛЮЕВА И К°*. — БП, с.619).

<sup>45</sup> В «Литературной газете» от 12 июля 1934 были помещены ответ П. Васильева М. Горькому и ответ М. Горького на письмо П. Васильева. Горький писал: «Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если бы не думал, что Вы писали искренне и уверенно в силе Вашей воли. Если этой воли хватит Вам для того, чтобы Вы серьезно отнеслись к недюжинному дарованию Вашему, — которое — как недостаток — требует внимательного воспитания, если это сбудется, тогда Вы наверно войдете в советскую литературу как большой и своеобразный поэт».

<sup>46</sup> Сварог Василий Семенович (1883-1946) — художник.

<sup>47</sup> П. Васильев был исключен из СП в начале 1935. 24 мая 1935 «Правда» опубликовала письмо двадцати писателей (А. Прокофьев, Н. Асеев, А. Сурков, В. Инбер, Б. Корнилов, Д. Алтаузен, К. Зелинский, А. Безыменский и др.), в котором говорилось: «В течение трех последних лет в литературной жизни Москвы почти все случаи проявления аморально-богемских или политически-реакционных выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева.

Опираясь на странную и неизвестно откуда идущую поддержку, этот человек совершенно безнаказанно делает все для того, чтобы своим поведением бросить вызов писательской общественности.

Меры воздействия (и воспитательные и репрессивные) никакого результата не дали /.../.

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил отвратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош гнусными антисемитскими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева и др. советских поэтов /.../».

Намек на страсть Алтаузена к материальным благам содержался и у Горького — в его третьей статье *ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАБАВЫ* («Правда», 24 января 1935; см. также: Л. Флейшман, ук. соч., с.227). Горький не реагировал на письмо двадцати писателей. В июле 1935 г. П. Васильев был приговорен к полугодовому тюремному заключению.

<sup>48</sup> В 1937 г. А.И. Микоян был назначен заместителем Председателя Совета народных комиссаров СССР. На торжественном активе НКВД, посвященном двадцатилетию органов ВЧК-ОГПУ-НКВД, он сказал: «Учитесь у тов. Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у тов. Сталина. /.../ Славно поработало НКВД за это время!» («Правда», 20 декабря 1937, цит. по кн.: Р. Медведев. *ОНИ ОКРУЖАЛИ СТАЛИНА*) Chaldize Publications, 1984, с.151). «В это же время Микоян оказывал в ряде случаев материальную или иную помощь родственникам некоторых из своих арестованных товарищей» (там же, с.152).

<sup>49</sup> См. характеристику, данную Б. Пастернаком к реабилитации П. Васильева:

В начале тридцатых годов Павел Васильев производил на меня впечатление приблизительно того же порядка, как в свое время, раньше, при первом знакомстве с ними, Есенин и Маяковский.

Он был сравним с ними, в особенности с Есениным, творческой выразительностью и силой своего дара и безмерно много обещал, потому что, в отличие от трагической взвинченности, внутренне укоротившей жизнь последним, с холодным спокойствием владел и распоряжался своими бурными задатками. У него было то яркое, стремительное и счастливое воображение, без которого не бывает большой поэзии и примеров которого в такой мере я уже больше не встречал ни у кого за все истекшие после его смерти годы.

Помимо печатавшихся его вещей («Соляной бунт» и его стихотворений), вероятный интерес и цену должно представлять все, что от него осталось.

(БП, с.27-28; Л.Флейшман, ук. соч., с.125)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### ПИСЬМО П.МАНСУРОВА К О.И. СИНЬОРЕЛЛИ<sup>1</sup>

[10 августа 1972]

Дорогая Ольга Ивановна,

я всегда так радуюсь, когда приходит от Вас письмо. О кражах здесь уже перестали писать. Разве если тоже, как у вас с Этрусскими камнями. Здесь подъезжают с грузовиками к шато, — очищают его от картин и мебели и уезжают. Иногда это делается у всех на глазах. Если этих воров ловят, а они часто и убийцы, то суд находит в них какой-нибудь физический дефект, и они вновь на свободе. Да и вообще Париж, и не только Париж, разрушается. Со времени после войны не перестают ломать. Вместо чудных домов возводится что-то бездарное и не живое. Называется *moderne*, все, вся самая очевидная спекуляция и воровство, все прикрыто словом модерн. Все идеальные замыслы искажены ворами различных категорий. Они взяли в свои руки все. Они управляют Миром. Уйти от этого нельзя. Везде одно и то же. Здесь убивают и грабят людей, а в глубине девственной Природы без нужды убивают драгоценные остатки зверей и механической пилой начисто истребляют леса. Это практикуется и началось у нас в России. Даже самого кормильца-мужика истребили. Я получаю много писем. Видимо, в цензуре там сидят люди, на себе испытывающие результаты такого хозяйства, а потому пиши что хочешь. Я сужу так по письмам, которые я получаю. И по «Литерат[урной] Газете».

<sup>1</sup> Мы приводим здесь письмо Павла Андреевича Мансурова (1896-1984), дающего иную версию событий, чем та, которую высказывает И.М. Гронский. Оригинал письма хранится в архиве О.И. Синьорелли (папка П.Мансурова) в Фондационе Чини (Венеция). Датируется по почтовому штемпелю на конверте. — *Ред.*

В вечер и ночь, в гостинице «Англетер», на Исаакиевской площади были: Есенин, Клюев — его учитель, я — его товарищ с юношеских лет, журналист Устинов с женою и ученик Есенина Эрлих.

Явился к нам с вокзала, в 6 часов утра перед Рождеством, Есенин с огромным красным петухом, а Эрлих нес тоже громадный хлеб — круглый, деревенский.

Ло Гатто был у нас в этой квартире, где жили я с матерью и сестрой в двух комнатах крошечных и кухоньке, а в другой половине в одной комнате, но побольше, чем наша, жил с нами Клюев.

Все это население было разбужено так рано. Но у нас не было тогда ни рано ни поздно. Мне даже помнится, что мы, т.е. я и он, Клюев, с вечера и целую ночь так и сидели, было так много, о чем говорить. И чай продолжался уже с новыми гостями. Петуха мать моя куда-то посадила в корзину. То было у нас, на Морской 45, часов до 11-ти утра, а потом вышли, помню, втроем, т.к. Эрлих уже раньше ушел, а у Есенина было свидание. Он с Устиновым приехал, якобы, для издания какого-то журнала, в Ленинграде поспокойнее, а то в Москве совсем невозможно работать.

Мы расстались, условившись завтра в 5 часов быть у Есенина. Так и было. Был праздник — не то второй, не то первый или третий день Рождества. Была мокрая погода. Снег падал большими хлопьями. Жена Устинова не оставалась долго. Ушла к себе этажом выше. Половой ничего кроме сороковки водки, из-за праздника, достать не смог. И вот мы шестеро выпили, по малюсенькой рюмочке, а потому разговоры о том, что Есенин повесился с перепоя, есть чистая выдумка. Тихо и в разговорах мы опять сидели за неизменным нашим пустым чаем.

Есенин рассказал, что он за полное собрание сочинений получил 20000 рубл., Маяковский 25, Горький один миллион, «а вот эта сволочь (он не назвал имени, но то был Демьян Бедный-Придворов) получил столько, что нельзя и выговорить». Так он и не выговорил. И еще в придачу ему, т.е. Дем[ьяну] Бед[ому], прицепной вагон, чтоб он мог ехать в роскоши, когда и куда он хочет. Впоследствии все это оказалось соответственно действительности, то уже подтвердил Маяковский. А Горький, как Вам известно, поехал из Италии в 29 году получать этот миллион, но тут-то он и сподобился попасть в руки Ягоды, конечно, не без высшего на то соизволения, и родной сын Максим со своей красивой опекой подливали плакавшему папаше микстуру. Иосиф Виссарионович, напуганный неожиданной возможностью применения микстур или чего подобного, вскорости расправился по-своему с незаурядными миллионами по этой части, а для полной очистки себя все было взвалено на Ягоду и его зловерность и ему на смену пришел «несгибаемый» никакими соблазнами Ежов. Как странно, все фамилии соответствуют типам. Испокон веку в России говорили: ну, этот попал в ежовые рукавицы. И вдруг появился, как из-под земли, Ежов.

Потом Есенин читал свои стихи, незабываемые короткие стансы, немного под цыганские романсы,

напр[имер]:

Снежная замять крутит бойко,  
По полю мчитс я чудная тройка,

На тройке мчится чужая младость.  
Где мое счастье. Где моя радость.  
Всё пролетело под вихрем бойким  
Вот на такой же бешеной тройке.

Это я по памяти, но думаю, что не забыл. Другие его стихи, из старых, были хороши тоже. Но «Черный человек», в цилиндре перед зеркалом, немного имел целью быть «странным». Хотя он и был автобиографичен, но сюжет съедал красоту слова, ритм и особенную есенинскую простую лирику. Между прочим, Есенин, по его же словам, был измучен желанием «написать длинную поэму». Это ему, по-моему, решительно не удавалось. Также стихи, изображавшие его не русские переживания. После чтения стихов Клюев сказал ему: «ну, Сереженька, твои стихи так тро[га]тельны, что каждая барышня их будет держать под подушкой». Есенин рассвирепел и полез в драку, и мне пришлось их разнимать, и когда Клюев, к тому привычный, вышел на минутку и мы остались вдвоем, Есенин говорит мне: «ты знаешь, какая стерва этот Коленька. Я один раз прилег у него на кровати и задремал, чувствую, что-то мокрое у меня на животе. Он, сукин сын, употребил меня». «Но это, — говорит, — все ерунда, а вот не ерунда эта история с Ганиным (и он мне может в десятый раз в жизни рассказал), ты знаешь, меня вызвали в ЧК, я пришел, и меня спрашивают: вот один молодой человек, попавшийся в "заговоре", и они все мальчишки, образовали правительство, и он, его фамилия Ганин, говорит, что он поэт и Ваш товарищ, что Вы на это скажете? Да, я его знаю. Он поэт. А следователь спрашивает, — хороший ли он поэт. И я, говорит Есенин, ответил не подумав, товарищ ничего, но поэт говенный». Ганина расстреляли. Этого Есенин не забыл до последней минуты своей жизни. Потом опять все как-то собрались около диванчика, на котором лежал Есенин, и он каждому из нас прочитал по стихотворению, на память. Мне он выбрал «Цветы головки наклонили... Любимая с другим любимым быть может вспомнит обо мне, как о цветке неповторимом». А Эрлиху он дал уже раньше написанное на клочке бумаги и говорит: «ты сегодня этого не читай, прочти завтра». И сунул ему в карманчик пиджака для платочка.

Все разошлись. Мы остались втроем: Есенин, Клюев и я. В окне, напротив, Исаакиевский Собор. Мокрые хлопья снега попадали на окно и плыли вниз. Это была страшная петербургская ночь. Все было им решено. Еще когда мы за день перед этой ночью выходили после утра (с петухом и хлебом) на Морскую и шли посередине улицы, то торцовая мостовая была покрыта мокрым снегом и лужами. Навстречу нам, также по мостовой, шла женщина с маленьким мальчиком, и когда они поравнялись с нами, то мальчик, в страхе смотря на Есенина, начал кричать, а женщина ему говорит — миленький, что с тобой, и они прошли мимо, а Есенин, в своих лаковых башмаках, шел безразлично по лужам.

После всяких воспоминаний и разговоров мы с Клюевым ушли около пяти часов утра. Жили мы в пяти минутах ходьбы.

На следующий день было так мрачно, что я ушел из ИНХУКа (дом Мятлевой на Исаакиевской пл. против самой гостиницы «Англетер») в

4 часа, и вместе со мной поравнялся тоже вышедший оттуда же, ученик Малевича — Рождественский, и говорит мне: а Вы знаете, этот товарищ Ваш, пьяница, поэт, умер, во всех трамваях объявления. Я говорю: какой поэт, какой пьяница, все пьяницы, как фамилия. Он забыл. И мы начали перебирать всех. Все не то. Тогда я говорю: Есенин? Ну да, Есенин. Да ведь, я говорю, он живет в доме напротив, и я побежал туда. В комнате Есенина, на кровати, сидела жена Устинова с другой дамой, и говорит мне: «Ну вот, Павлушенька, больше ты не увидишь Сереженьку». Да где же он? А его, вот, пять минут увезли на дровнях в покойницкую Обуховской больницы. Сани были такие короткие, что голова его ударялась по мокрой мостовой. Все чемоданы были раскрыты, бумаги валялись, и та веревка тоже валялась на полу. Мне Устинова говорит, — как только вы ушли (то передал половой) он вышел из комнаты и поднялся к нам. Постучал. Мы спали, проснулись и спрашиваем: кто там? Это я, Есенин. Да что же ты, Сереженька, ведь мы спим, 5 часов. Приди попозже. Он спустился. Сел в кресло в общем зале, посидел минут 10, а потом пошел к себе. И половой говорит, что вскоре он услышал глухой стук, как будто что-то упало. А потом стало тихо.

За полукруглым диваном в углу стояла колонка, а на ней пошла мраморная головка. Он распаковал чемодан, завязанный веревкой. Залез на колонку. Завязал веревку за трубу парового отопления. Оттолкнул ногой колонку, которая зацепилась за диван и не упала на пол, а головка упала на диван. То и был глухой звук, который услышал половой. Есенин закрутил веревку вокруг шеи и держал ее рукой. Лоб плотно пристал к трубе отопления и на нем было черное пятно, как от удара. Вот то, что я увидел в комнате своими глазами, а его увидал в покойницкой, куда побежал. Кругом по стенам лежали покойники. И он лежал в шелко[во]й рубашке и лаковых башмаках и рука была поднята. Так увидел я его спящим на кровати в первый раз в жизни. И у моего учителя Пав[ла] Сем[еновича] Наумова спросил, кто этот паренек. А это, говорит, чудный поэт, приехал из деревни, — Сережа Есенин.

Было в покойницкой очень темно. Я написал, как успел. Пришла Софья Ильинична Толстая, его жена. Очень милая дама. И о ней он говорил, и любовь потерял к ней, потому что в ее квартире, т.е. квартире Толстого, повсюду висели его портреты, написанные разными художниками. Так что у него появилось вроде галлюцинации, а из-за того ненависть к дому. Мне же С.И. показалась простой и прелестной. И однажды я пришел к доктору Толстому, в Париже, другу Набокова Н.Д., и вижу ее фотографию и называю ее имя. А он мне говорит, что она вчера умерла в Москве. Вот, Ольга Ивановна, мой ангел, как было дело.

Целую. П.Мансуров.

[Приписка на полях:]

Петух был шумный. Я его взял в мастерскую, как модель для учеников. Но он начал бить стекла в 6-ом этаже. С этого этажа бросился вниз поэт Гаршин. А петуха отдали дворничихе.

А Ал.Блок умер в начале Революции. Был поклонником Клюева. Встречался как и все с Есениным. Но роли не играл.

***ИЗ ИСТОРИИ  
ЛИТЕРАТУРНОЙ  
ЖИЗНИ***





## «СЛОВО В ДВИЖЕНИИ И ДВИЖЕНИЕ В СЛОВЕ»

ПИСЬМА БЕНЕДИКТА ЛИВШИЦА

Публикация П.Нерлера и А.Парниса

Имя Бенедикта Лившица (1887-1939), замечательного поэта и переводчика, умного и тонкого мемуариста, незаслуженно забыто. Небольшой сборник грузинских стихов и переводов «Картвельские оды» (Тбилиси, 1964) и дополненное переиздание антологии французских лириков («У ночного окна», М., 1970) — этими двумя книгами пока ограничивается перечень его посмертных изданий. Публикации в периодике — не меньшая редкость: за последние пятнадцать лет — лишь две подборки переводов и стихотворений о Грузии — в ленинградском «Дне поэзии 1982» и в «Литературной Грузии» (1985, №11). Отметим также фактически впервые раскрывшую мир поэзии Лившица статью М.Л. Гаспарова «Петербургский цикл Бенедикта Лившица: поэтика загадки» («Семиотика города и городской культуры. Петербург». — Труды по знаковым системам. Вып.18, Тарту, 1984).

А между тем роль Бенедикта Лившица в литературной жизни, начиная с 1910-х гг., была весьма ощутимой. Его первый стихотворный сборник «Флейта Марсия» вышел в 1911 г. в Киеве. За ним последовали «Волчье солнце» (1914), «Из топи блат» (1922), «Патмос» (1926) и итоговая книга — «Кротонский полдень» (1928). Антология французской поэзии составила из его лучших переводов (под разными названиями издавались в 1934 и 1937, а также в 1970 гг.); кроме того, им переведено немало крупных по значению прозаических книг, в том числе романы О.Бальзака, В.Гюго, Р.Роллана, А.Барбюса, А.Франса, Ж.Дюамеля, П.Ампа и других.

«Пушкин, Гораций и Рембо», — так ответил Б.Лившиц на вопрос о любимых поэтах в одной из литературных анкет начала века, а позже писал, что Рембо и Лафорг «надолго определили путь» его лирики.

Увлечение французской поэзией, начавшись в 1905 г., продолжалось всю жизнь, и одним из его воплощений была собранная Лившицем пре-

восходная по полноте библиотека французских поэтов (около 1000 томов), к сожалению, утраченная. Но главным воплощением были, разумеется, переводы. Верный подлиннику мастер поэтической композиции, Лившиц умел сохранить динамическое ощущение целостности оригинала и при этом воссоздать его структуру.

Лившиц был одним из первых советских поэтов, открывших русскому читателю сокровища грузинской поэзии; при этом он был чуть ли не единственным переводчиком, кто всерьез взялся за изучение грузинского языка. Как и Б. Пастернаку и О. Мандельштаму, встреча с Грузией, дружба с грузинскими поэтами возвратили Лившицу собственный поэтический голос. В середине 1930-х гг. в периодике появлялись стихи Лившица о Грузии и его переводы из В. Пшавела, Т. Табидзе, Г. Леонидзе и других грузинских поэтов. Большинство из них вошло в книгу «Картвельские оды», второе издание которой готовится в связи со столетием поэта.

В 1933 г. в Ленинграде вышла мемуарно-теоретическая книга Лившица о русском футуризме — «Полтораглазый стрелец». К работе над нею он приступил, вероятно, в первой половине 1930 г. В поэзии Лившица тема памяти, исторические мотивы, образы гибнущей культуры возникают еще в начале 1920-х гг., а в 1928 г. была написана и расширена последняя редакция «Автобиографии» — прообраза его воспоминаний. «Автобиография» Лившица, написанная лаконично, но в особом лирическом ключе, многое разъясняет не только в логике жизненного пути поэта, но и в строе его чувств и мыслей.

Еще в 1919 г. в статье «В цитадели революционного слова» Лившиц писал: «Мы заинтересовываемся новым явлением искусства в лучшем случае к тому времени, когда оно начинает агонизировать, обычно же этот интерес возникает к явлению уже завершеному, к течению уже умершему; мы привыкли и любим получать произведения искусства из рук историка, а не художника, и нужны поистине сверхъестественные усилия, чтобы нарушить нелепую привычку нашу приходить "на все готовое" и считать это судом истории. Чтобы добиться общественного признания, необходимо прежде всего обратить на это общественное внимание, запаздывающее на добрую четверть века». Но обращение Лившица к мемуарной прозе было также стимулировано и литературной ситуацией конца 1920-х — начала 1930-х гг. Смерть Маяковского сразу превратила литературный процесс, его «обыкновенные будни» в историю, начиналась новая эпоха и нужно было осмыслить прошлое.

Так, под знаком Маяковского создавалась «Охранная грамота» Б. Пастернака (Л., 1931), а В. Шкловский главу о Маяковском в своей книге «Поиски оптимизма» (М., 1931) назвал «Случай на производстве». Хотя в последние пятнадцать лет жизни Маяковского пути поэтов не пересекались (Лившиц не принимал Маяковского лефовского периода — см. об этом в публикуемом ниже письме к Д. Бурлюку), уход бывшего соратника стал для него тяжелым испытанием. О написанном как бы от лица Маяковского стихотворении Лившица «Варшихе» — о долге поэта перед Грузией — идет речь в публикуемом письме к А. Тарасенкову. В этот период почти одновременно появился целый ряд мемуарных книг, посвященных

недавнему прошлому. В. Каменский в 1931 г. выпустил книги воспоминаний «Путь энтузиаста» и «Юность Маяковского», на которые Лившиц иронически намекал в своих мемуарах. Написал свою книгу воспоминаний «Встречи» (М., 1929) В. Пяст, в Париже Г. Иванов издал беллетризованные мемуары «Петербургские зимы» (1928), намеренно измышляя экзотические подробности и эпизоды. Начали печататься мемуарные книги Андрея Белого (первая — «На рубеже двух столетий», М., 1930; вторая — «Начало века», М.-Л., 1933). В публикуемом письме к М. А. Зенкевичу от 14 января 1934, через полгода после выхода «Полутораглазого стрельца», в связи со смертью Андрея Белого, Лившиц писал о «мучительном чувстве "историзма", которое не позволяет мне отрывать личную биографию от биографии поколения». Выход в свет автобиографической прозы Мандельштама «Шум времени» (Л., 1925) был также одной из скрытых побудительных причин, заставивших Лившица обратиться к жанру воспоминаний. Важным стимулом для Лившица, безусловно, послужили «Фрагменты из воспоминания футуриста» Д. Бурлюка, написанные в 1927-1929 гг. и присланные А. Г. Островскому для публикации в СССР (изданы не были). За несколько лет до этого, в публикуемом письме к Д. Бурлюку Лившиц подчеркивал свои глубинные связи с футуристическим прошлым.

Д. Бурлюк, продолжая давнюю традицию (в 1914 г. он издал второй сборник Лившица «Волчье солнце»), выпустил в 1930 г. отдельным изданием первую главу воспоминаний Лившица — «Гилею». Сохранилось несколько дарственных надписей на издании «Гилей», в которых Лившиц утверждает, что главный герой его книги воспоминаний — Давид Бурлюк.

Заглавие мемуарной книги многозначно и символизирует синтез историко-культурных понятий Востока и Запада. По объяснению Лившица, «полутораглазый стрелец» — мчащийся «дикий всадник, скифский воин, обернувшийся лицом назад [на Восток. — Публ.] и только полглаза скошивший на Запад». Образ всадника-стрельца проходит через все творчество Лившица. Этот образ, впервые появившийся в стихотворении в прозе «Люди в пейзаже» (1911), восходит к портрету «гилейца» Д. Бурлюка (стихотворному и графическому), а также навеян «скифскими» рисунками и кубистическими работами В. Бурлюка, ранними композициями А. Экстер. Лившиц соединяет этот образ с пушкинским «Медным всадником», мифом о Петербурге и Петром, осуществившим в русской истории идею союза Востока и Запада (основная тема книги стихотворений Лившица «Болотная Медуза»). Вероятно, заглавие «Полутораглазый стрелец» включает также и круг ассоциаций, связанных с названием альманаха «Стрелец» I-III, Пг., 1915, 1916, 1922), впервые объединившего футуристов и символистов — как представителей «восточной» и «западной» культурных ориентаций.

Непосредственный участник футуристического движения, Лившиц в своих мемуарах вел, по его слову, «полемику с прошлым и о прошлым», но прежде всего он стремился передать саму атмосферу эпохи, и в этом достиг замечательного успеха.

На характерную особенность мемуаров Лившица указывал в своем предисловии к «Полутораглазому стрельцу» Ц. Вольпе: «Это — мемуары

”теоретические“. Отдельные страницы книги производят впечатление не столько воспоминаний, сколько исследовательской работы по восстановлению литературного прошлого. Мемуарный ”жанр“ в отдельных частях книги кажется псевдонимом ”жанра“ исследовательского». Лившиц, стремясь сделать свою книгу максимально точной, опирался в своей работе на документы, на современную литературу о футуризме, газетные и журнальные отчеты о публичных выступлениях футуристов. В этом ему помогали литературовед А.Г. Островский и поэт-переводчик Д.И. Выгодский, предоставляя различные материалы об участниках футуристического движения. Но стык документа и личных воспоминаний иногда неожиданным образом давал сдвиг фактов, несоответствия и анахронизмы.

Почти в такой же мере, как на документальный материал, текст «Полутораглазого стрелца» опирался и на поэтические реминисценции: воспоминания Лившица пронизаны аллюзиями чужих и собственных стихотворных строк, лирические отступления автора оказываются автокомментариями поэтических текстов (и наоборот).

История выхода из печати книги Лившица была драматична и непроста именно потому, что документально выверенный материал облекал в слово мастер, в совершенстве владевший языком иносказаний и намеков, стилистикой аллюзий и реминисценций. В публикуемом письме к М.А. Зенкевичу от 8 сентября 1933 г. Лившиц излагал ход событий. В октябре 1933 г. в «Звезде» (№10) была опубликована рецензия литературоведа Н.Л. Степанова, исследователя футуризма и редактора «пятитомника» Велимира Хлебникова. Он расценивал книгу Лившица в духе господствовавших вульгарно-социологических установок того времени, но все же отмечал и некоторые достоинства мемуаров. Из появившегося позже уничтожающего отзыва А.Селивановского «Ранний футуризм в освещении буржуазного идеалиста» становятся известны некоторые подробности издательской истории «Полутораглазого стрелца» — в частности, по какой причине книга была задержана выходом в свет: «Издательство, спохватившись с запозданием, отпечатало и вложило в книгу особую вкладку, в которой оно утверждает (и утверждает, вопреки Ц.Вольпе, совершенно правильно), что ”Лившиц в своих мемуарах стоит на тех же идеалистических, буржуазных позициях, что в 1910-х гг.“». («Литературная газета», 1934, 12 марта). Раздавалась критика и из «своего лагеря» — М.В. Матюшин в письме к Н.И. Харджиеву от 4 июля 1934 г. резко отзывался о книге Б.Лившица (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома, Л., 1978, с.67). Но были, хотя и единичные, положительные отклики, например, В.Ф. Ходасевич и Н.Н. Берберова в литературном обзоре хвалебно отзывались о главе «Будетляне и Маринетти», напечатанной в «Звезде» («Возрождение», Париж, 1932, №9).

Время, однако, переставило акценты. В 1960-70-х гг. мемуарная книга Лившица, считающаяся по праву одной из лучших и основных книг по истории футуризма, была переведена в Италии, Франции, США. Готовится и в издательстве «Советский писатель» том сочинений Лившица, включающий почти все его поэтическое наследие, переводы и книгу воспоминаний «Полутораглазый стрелец».

••

В настоящей публикации представлены материалы из почти не сохранившегося эпистолярного наследия Лившица. Личный архив поэта исчез после его ареста в 1937 г., и публикуемые здесь письма извлечены в основном из различных государственных архивохранилищ. Они охватывают более чем 25-летний период — с 1911 по 1937 гг. и затрагивают литературные и личные взаимоотношения с современниками Бенедикта Лившица — поэта, переводчика, мемуариста.

Если не считать писем Лившица к Т. Табидзе и Г. Леонидзе, неоднократно печатавшихся в Грузии, а также писем к В. В. Гольцеву, опубликованных в «Литературной Грузии» (1985, №11), настоящая подборка в сущности впервые знакомит читателя с его эпистолярным наследием. В нее вошли письма к В. Я. Брюсову, А. И. Тинякову, М. А. Кузмину, К. И. Чуковскому, Д. Д. Бурлюку, А. И. Ромму, Л. П. Гроссману, А. К. Виноградову, Л. И. Жевержееву, Н. И. Замошкину, М. А. Зенкевичу, А. К. Тарасенкову, С. Шаншиашвили и Н. Мицишвили.

Выражаем свою признательность Г. Г. Антелаве, М. Л. Гаспарову, И. Н. Мицишвили, И. С. Поступальскому и Е. Ц. Чуковской — за помощь, которую они оказали при подготовке этой публикации.

#### Б. ЛИВШИЦ — В. БРЮСОВУ<sup>1</sup>

К[иев], 31 марта, 1911

Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич!

Одновременно с настоящим письмом пересылаю Вам свою первую книгу стихов<sup>2</sup>. Выпустил я ее исключительно с целью узнать мнение о моих стихах поэтов и лиц, интересующихся поэзией. Увы! — этому желанию не суждено сбыться, по крайней мере, в ближайшее время: книга моя конфискована\* за богохульство<sup>3</sup>, и я лишен возможности рассылать ее по журналам для отзыва\*\*.

В частности, Ваше мнение, с которым я мог бы ознакомиться по рецензии «Русской мысли» и к которому хотел бы сугубо внимательно прислушаться, — мне неизвестно<sup>4</sup>.

Поэтому, прошу Вас — если не найдете для себя затруднительным — сообщить его мне в письме, соблагволив направить последнее по адресу: Киев, Тарасовская, 14, кв. 21.

Глубоко Вас уважающий

Бенедикт Лившиц

P.S. Позволяю себе присоединить к книге два стихотворения, еще не появившиеся в печати<sup>5</sup>. Б.Л.

\* Мне удалось сохранить только 10 экземпляров.

\*\* Единственное исключение — «Аполлон»<sup>6</sup>, т.к. невероятно, чтобы он мог попасть в руки прокурора. [Прим. Б. Лившица].

<sup>1</sup> ГБЛ, ф.386, карт.92, ед.хр.21.

<sup>2</sup> Речь идет о кн. *ФЛЕЙТА МАРСИЯ*, вышедшей в свет в конце февраля 1911 тиражом 150 экз. («Книжная летопись», 1911, №8, 26 февраля, с.13); в библиотеке В.Я. Брюсова (ГБЛ) не сохранилась.

<sup>3</sup> Точных сведений об аресте этой книги обнаружить не удалось. В «Алфавитном указателе книгам и брошюрам, арест на которые утверждён судебным установлением за 1911 г.» (СПб, 1911) книга Б.Лившица не значится.

<sup>4</sup> Брюсов заведовал в «Русской мысли» литературно-критическим отделом и печатал в журнале статьи и рецензии. В обзоре «Новые сборники стихов» Брюсов дал краткий отзыв о *ФЛЕЙТЕ МАРСИЯ*, в котором, отмечая ряд недостатков (устаревшие темы, приемы), писал, что стихи Лившица «сделаны искусно, можно сказать, что мастерством стихосложения он владеет вполне, а для начинающего это уже не мало. Появись она лет десять назад, она заслуживала бы большего внимания» («Русская мысль», 1911, №7, июль, с.12). Об этом отзыве Брюсова Лившиц вспоминал в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ* (с.14). Затем в ст. «Новые течения в русской поэзии. Футуристы» («Русская мысль», 1913, №3) Брюсов критически отозвался о футуристических стихотворениях Лившица и утверждал, что футуристы на самом деле являются эпигонами символистов. С этими утверждениями Брюсова Лившиц полемизирует в своем манифесте «Освобождение слова», напечатанном в футуристическом сб. *ДОХЛАЯ ЛУНА* (М.[Херсон], 1913), а затем перепечатанном во 2-м изд. сборника (1914); в самом радикальном манифесте «Идите к черту», подписанном, кроме Лившица, Д.Бурлюком, А.Крученых, В.Маяковским, И.Северяниным, В.Хлебниковым и напечатанном в *РЫКАЮЩЕМ ПАРНАСЕ* (СПб, 1914), есть резкий выпад против Брюсова: «Василий [sic!] Брюсов привычно жевал страницами "Русской мысли" поэзию Маяковского и Лившица». Статью Лившица «Освобождение слова» Брюсов в своем обзоре «Год русской поэзии» назвал «вполне рассудительной» («Русская мысль», 1914, №5, с.28). Сохранились два письма Лившица к критику А.А. Шемшурину от 16 и 20 декабря 1913 г. (с просьбой прислать его книги *СТИХИ В.БРЮСОВА И РУССКИЙ ЯЗЫК*, М., 1908; *ФУТУРИЗМ В СТИХАХ В.БРЮСОВА*, М., 1913), подтверждающие, что и в футуристический период он продолжал интересоваться литературой о Брюсове.

<sup>5</sup> О каких стихотворениях Лившица идет речь — неясно, так как автографы этих текстов не сохранились.

<sup>6</sup> В «Аполлоне» (1911, №4, с.3) появилась рецензия Н.С. Гумилева на *ФЛЕЙТУ МАРСИЯ*: «/.../ Гибкий, сухой, уверенный стих, глубокие и меткие метафоры, умение дать почувствовать в каждом стихотворении действительное переживание, — все это ставит книгу в разряд истинно ценных и делает не только обещанием, но и достижением».

Медведь, 21 апреля [19]13

Многоуважаемый Левкий Иванович.

Недели две назад я выслал Вам для №4 «Союза молодежи»<sup>2</sup> статью и стихи. В виду того, что я хотел бы поместить эти стихи в другом издании, очень прошу Вас, если еще не поздно, не сдавать их в набор, а переслать мне по нижеуказанному адресу. *Статью же, конечно, печатайте.* Во всяком случае, о положении дела не откажитесь уведомить меня.

Примите уверение в моем совершенном уважении.

Бенедикт Лившиц.

P.S. Адрес: село Медведь, Новгородской губ[ернии],  
Бенедикту Константиновичу Лившицу, дом Ковровой<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Рукописный отдел, ф. Л.И. Жевержеева, №56. К письму приложена записка Б.Лившица на склад изданий «Союза молодежи» с просьбой прислать причитающееся ему количество 3-го номера этого сборника.

Л.И. Жевержеев (1881-1942) — меценат, коллекционер, председатель общества художников «Союз молодежи», искусствовед. В своих «Воспоминаниях» (см. сб. *МАЯКОВСКОМУ*, Л., 1940, с.133) рассказал об издании трех выпусков сб. «Союз молодежи» (1912-1913). В марте 1913 в общество «Союз молодежи» на правах автономной литературной секции вошла группа поэтов-футуристов «Гилея», был издан совместный номер «Союза молодежи» (№3). В этом номере Б.Лившиц напечатал три стихотворения: «Гибрида», «Обетование», «Полдень».

<sup>2</sup> Анонсированный №4 «Союза молодежи» издан не был. Б.Лившиц послал Л.И. Жевержееву свою декларацию «Освобождение слова» и три стихотворения: «Логово», «Тепло» и «Вокзал». На письме помета неизвестной рукой: «Статья и стихи (3) отправлены 22 апреля [1]913 г.». Эти тексты Лившиц напечатал в августе 1913 г. в сб. *ДОХЛАЯ ЛУНА*, затем они были перепечатаны (кроме первого стихотворения) во 2-м изд. сборника. См. о декларации «Освобождение слова» в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ* (с.201-202).

<sup>3</sup> В 1913 г. в селе Медведь Новгородской губ. Лившиц проходил военную службу.

К[иев], 22 апреля [1915]

Милостивый Государь,  
Александр Иванович

возвращаю Вам заполненным опросный листок и одновременно с этим письмом отправляю обе мои книги<sup>2</sup>.

Поскольку Вы согласились бы признать за поэтом право на оценку его собственных вещей, я бы:

1) выразил сожаление по поводу того, что Вы намерены составить антологию только из вещей, уже появившихся в печати (я считаю своими лучшими стихами — третью книгу, еще не изданную)<sup>3</sup>;

2) указал бы на то, что считаю наиболее удачными в своих первых двух книгах, а именно: во «Флейте» — «Лунатическое рондо», «Первое закатное рондо» и, пожалуй, третье «Пан и Эрос»; во второй книге: «Пьянителю Рая» и циклы: «Серебряный мед» и «Цветonoсец в опале». Мне было бы приятно, если бы Ваш выбор не вышел за пределы указанного.

В заключение прошу Вас не отказать прислать мне Ваши книги и — вечное отстаивание фонетического абсурда! — обращаю Ваше внимание, что моя фамилия пишется не через «ф», а через «в».

Бенедикт Лившиц

К[иев], Львовская, №14, кв.57.

### [ОПРОСНЫЙ ЛИСТОК]

<i>Имя, отчество и фамилия</i>	Бенедикт Константинович Лившиц
<i>Год, месяц и число рождения</i>	1886 г., декабря 25-го
<i>Место рождения</i>	Одесса
<i>Звание и образовательный ценз</i>	Окончил Университет св.Владимира по юридическому факультету
<i>Время и место напечатания первого произведения и его заглавие</i>	1909 г. «Антология современной поэзии», цикл стихов «Morituri» <sup>4</sup>
<i>1-ая книга (назв., год и место изд., изд-тво, число стр. и экз., цена).</i>	«Флейта Марсия», 1911, г.Киев, автор, 80 стр., 150 экз. — 1 р. 25 к.
<i>Перечень изданных книг</i>	«Флейта Марсия» (см. выше); «Волчье солнце», Москва, 1914, Изд-во I-го журн[ала] русск[их] ф[утурист]ов; «Болотная медуза», готова к печати.
<i>Сотрудничество в журналах, газетах, альманахах</i>	«Аполлон», «Остров», «Пощечина обшество[енному] вкусу», «Союз Моло-



дежи», «Садок судей», «Рыкающий Парнас», «Антол[огия] совр[еменной] поэзии», «Дохлая луна», «Молоко кобылиц», 1-ый журн[ал] Русск[их] футуристов», «Стрелец» и др. изд. «Освобождение слова» («Дохлая луна»), «Мой ответ Маринетти», «Копролитический монумент» (ж.р.ф-ов)<sup>6</sup>.

*Критика (наиболее значительные статьи и рецензии)*

*Какие писатели оказали наибольшее влияние?*

*Credo или девиз.*

*Подпись*

*Дата*

Гораций, Пушкин и Рембо.

Слово в движении и движение в слове.

Бенедикт Лившиц

1915, апреля 22 дня.

<sup>1</sup> ГПБ, ф.774, оп.1, ед.хр.26. («Опросный листок» откололся от письма Лившица и находится в архиве писателя П.Я. Заволокина — ЦГАЛИ, ф.1068, оп.1, ед.хр.91, см. далее).

А.И. Тиняков (1886-1934?) — поэт, критик, журналист, автор книг стихотворений: *NAVIS NIGRA* (М., 1912), *ТРЕУГОЛЬНИК* (Пг., 1922), *EGO SUM QUI SUM (АЗ, ЕСМЬ СУЩИЙ)* (Л., 1925). Сотрудничал в правой печати, публиковался под псевдонимами «Одинокий», «Герасим Чудаков». Примечательна характеристика Тинякова, данная В.Ф. Ходасевичем в письме к Б.А. Садовскому от 22 апреля 1916: «Кто же он? Да никто. Он нуль. Он принимает окраску окружающей среды. Это способность (или порок) физиологическая. Она ни хороша, ни плоха, как цвет волос или глаз. В момент переходов он, вероятно, немного подличал, но я думаю, что они ему самому обходились душевно недешево. Он все-таки типичный русский интеллигент из пропойц (или пропойца из интеллигентов). В нем много хорошего и довольно плохого. Грешит и кается, кается и грешит» (ЦГАЛИ, ф.464, оп.2, ед.хр.226, л.50). В начале 1915 г. Тиняков обратился ко многим поэтам с просьбой прислать стихи и биографические сведения для составляемой им антологии (издана не была). Впоследствии Тиняков передал (или продал) «опросный листок» Лившица писателю и библиографу П.Я. Заволокину (1878-1942?), собиравшему материалы для «Словаря русских поэтов и поэтесс». Словарь издан не был, в 1925 Заволокин издал сб. *СОВРЕМЕННЫЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ*.

<sup>2</sup> Лившиц послал Тинякову книги *ФЛЕЙТА МАРСИЯ* и *ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ*, которые не сохранились.

<sup>3</sup> Речь идет о кн. *БОЛОТНАЯ МЕДУЗА*, которая отдельно издана не была, а вошла в итоговый сб. *КРОТОНСКИЙ ПОЛДЕНЬ* (Л., 1928).

<sup>4</sup> Название цикла «Morituri» восходит к латинскому «Morituri te salutant», в цикл вошли стихотворения «Отверженный», «Беглецы», «Semper idem», «Утешение», перепечатанные затем в первой кн. *ФЛЕЙТА МАРСИЯ*.

<sup>5</sup> Лившиц имеет в виду свой доклад «Итальянский и русский футуризм в их взаимоотношении», с которым он выступил 11 февраля 1914 на вечере «Наш ответ Маринетти» (см. подробнее в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ*, с.245-256). Сохранился текст доклада (частное собр.). Полное название второй ст. — «Копролитический монумент. Дубина на голове русской критики (Разоблачение клеветы)», — напечатана в «Первом журнале русских футуристов», М., 1914, №1-2, с.102-103, при участии Д.Бурлюка.

Б.К. ЛИВШИЦ — М.А. КУЗМИНУ<sup>1</sup>

[Ленинград], 28 декабря 1924

Дорогой Михаил Алексеевич!

Наша новогодняя компания распалась: сегодня Мандельштамы (в чьей квартире предполагалось встретить Новый год)<sup>2</sup> неожиданно заявили, что они заняты у Семеновых<sup>3</sup>.

Лично у нас нет никаких планов «встречи», но мы искренне были бы рады всякой комбинации, при которой могли бы встретить Новый год в Вашем обществе.

Во всяком случае завтра, в понедельник, ждем Вас к себе, если можно, с Львом Львовичем<sup>4</sup>.

Дружески Вас обнимаю.

Ваш Бенедикт Лившиц.

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф.232, оп.1, ед.хр.267.

М.А. Кузмин (1872-1936) — поэт, прозаик, драматург, композитор. Кроме этого письма, сохранились еще две записки Лившица к Кузмину, где в основном оговариваются место и время встреч (там же, л.2,4). Сохранились две книги Лившица с дарственными надписями: 1) на *ПАТМОСЕ* (экземпляр со значительными авторскими поправками) — «Дорогому Михаилу Алексеевичу Кузмину, чудесному поэту, чье прекрасное творчество — подлинная моя отрада, — с нежной и неизменной дружбой. Бенедикт Лившиц. 3.V.1926. Петербург» (собрание В.А. Успенского); 2) на *КРОТОНСКОМ ПОЛДНЕ* — «Дорогому Михаилу Алексеевичу Кузмину в знак прочной дружбы и большой любви. Бен. Лившиц. 24.XI. 1928. Ленинград» (ЦГАЛИ, ф.232, оп.1, ед.хр.484). О дружеских отношениях с Кузминым Лившиц пишет и в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ* (с.259-260).

<sup>2</sup> Встреча Нового года у Мандельштамов все же состоялась. Н.Я. Мандельштам вспоминает: «Так начиналась петербургская идиллия с хождением к Горлину, изредка в гости к Бенедикту Лившицу. где процветал Кузмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождал Юркун и по-старомодному жеманная, но миленькая Арбенина /.../ Приближался Новый год. К нам пришли встречать

Лившицы и друзья Мандельштама еще по дому Синани, случайно приехавшие из Москвы» (Н.Я. Мандельштам. *ВТОРАЯ КНИГА*. Париж, 1983, с.234-235). По свидетельству Е.К. Лившиц, Мандельштамы в конце 1924 г. снимали две комнаты у актрисы Марадудиной. За несколько дней до Нового года, в ночь на 25 декабря 1924, Мандельштам и Лившиц вместе сочиняли шуточную «Балладу о горlinkках» (см. ее текст, записанный рукой Лившица, в *ЧУКОККАЛЕ*, М., 1979, с.236-238): «Было это уже поздно ночью. Мы, жены, болтали в спальне, дверь была открыта и было видно и слышно, как веселились наши мужья. Они ходили по комнате и сочиняли эту балладу, смеясь, перебивая друг друга, ища слова, меняя строки, рифмы, варианты, отмечая "сор"; все это наплывало одно на другое и рождающаяся баллада словно качалась на этих ритмических волнах» (из письма Е.К. Лившиц к П.М. Нерлеру от 27 сентября 1982 г.).

<sup>3</sup> С.А. Семенов (1893-1942) — прозаик, автор нашумевшего в 1920-х годах романа *НАТАЛЬЯ ТАРПОВА*, был редактором альманаха «Ковш», где печатался Мандельштам. Н.Г. Семенова (сцен. псевд. Волотова, 1896-1982) — актриса БДТ.

<sup>4</sup> Л.Л. Раков (1904-1972) — научный сотрудник Эрмитажа, автор работ по русской военной истории, а также ряда пьес, близкий друг М.А. Кузмина.

Б.К.ЛИВШИЦ — К.И. ЧУКОВСКОМУ<sup>1</sup>

1

К[иев], 17 октября 1922

Дорогой Корней Чуковский!

Уже более 5 недель, как я отправил Вам письмо (заказное)\*, на которое, по-моему, Вы должны были ответить тотчас по получении его. Между тем, до сих пор от Вас ни строки. Предполагая, что письмо до Вас не дошло<sup>2</sup> (хотя, повторяю, оно было отправлено заказным), изложу вкратце содержание пропавшей грамоты — в части, касающейся Вас.

Лекции можно было бы устроить двойко: на Ваш риск, или с гарантией антрепренера. В первом случае Вам необходимо истратить не менее 1 миллиарда на расходы, связанные с устройством двух лекций (афиши, расклейка на столбах и по городу, билеты, зал театра, публикация в газете и вознаграждение администратору), — с тем, чтобы при среднем сборе Вы получили 500 миллионов чистых с обеих лекций. Во втором случае администратор, с которым я вел предварительные переговоры, гарантировал Вам 300 миллионов за две лекции. Полагаю, что, ввиду изменения курса рубля за истекший месяц, приведенные мною цифры должны

быть соответственно увеличены. В Киеве могли бы пройти с успехом: лекции о Блоке, о поэтах наших дней; быть может, о Тарасе Шевченко, если связаться с украинцами. Некрасов же и Достоевский<sup>3</sup>, по-моему, аудитории не соберут, равно как и детское утро.

Если решитесь приехать в Киев, буду рад видеть Вас своим гостем. Очень прошу Вас прислать мне все написанное Вами о Достоевском и Некрасове — в Киеве этого достать нельзя.

Дружески жму Вашу руку

Ваш Б.Лившиц

P.S. Что мои стихи: передали ли Вы их куда-нибудь и куда именно? Если не поздно, прошу заменить рифму «немоты» рифмой «дремоты»<sup>4</sup>.

Б.Лившиц

---

\* По адресу «Всемирная Литература», Мохов[ая], 36. [Прим. Б.Лившица].

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 620, карт. 67, ед. хр. 27. К письмам Лившица приложен черновик его стихотворения для детей «Вдруг идет навстречу поп...». О личных взаимоотношениях Лившица и Чуковского см. в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ* и в альманахе *ЧУКОККАЛА*. По свидетельству Е.К. Лившиц, Чуковский был инициатором и организатором переезда Лившица из Киева в Петроград в декабре 1922 г. в связи с задуманной им переводческой работой в издательстве «Всемирная литература».

<sup>2</sup> Это письмо Лившица не сохранилось.

<sup>3</sup> Темы предполагавшихся лекций Чуковского связаны с темами его работ: ст. «Шевченко» (1909 — кн. *ЛИЦА И МАСКИ*, СПб, 1914); «Литературный дебют Достоевского» («Нива», 1917, №34-35); Н.А. Некрасов. *ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ* (редакция, вступ. статья и примечания К.И. Чуковского. — Б.-Пг., 1921); К.И. Чуковский. *НЕИЗДАННАЯ ПОВЕСТЬ НЕКРАСОВА О ДОСТОЕВСКОМ* (Пг., 1922); *НЕКРАСОВСКИЙ СБОРНИК* (под ред. К.И. Чуковского и В.Е. Евгеньева-Максимова. — Пг., 1922); *КНИГА ОБ АЛЕКСАНДРЕ БЛОКЕ* (Пг., 1922). Эта поездка Чуковского в Киев не состоялась (первый раз он побывал в Киеве с лекциями в марте 1912 г.).

<sup>4</sup> Имеется в виду строка из стихотворения Лившица «Когда на мураве, с собою рядом...» (1919): «Не прерывай божественной дремоты». Впоследствии включено в кн. *ПАТМОС* (М., 1926, с.6). Где пытался опубликовать К.И. Чуковский подборку стихотворений Лившица — неизвестно.

10.VII.1929. Кисловодск.

Дорогой друг,  
 тронут Вашим сочувствием. Разделяю Вашу печаль<sup>1</sup>. С Эльбрусом мы не сошлись и я еду 15-го с[его] м[есяца] по Грузинской дороге в Тифлис; м[ожет] б[ыть], с Казбеком у нас установятся лучшие отношения. Хочу проехать на лошадях, а не на авто, которое мчится бешеным темпом<sup>2</sup>. Дружески обнимаю Вас. Привет М.Б.<sup>3</sup>

Сердечно Ваш Б.Л.

Здесь нашествие формалистов!<sup>4</sup>

<sup>1</sup> В это время обострилась болезнь (костный туберкулез) младшей дочери Чуковского Муры (Мария, 1920-1931).

<sup>2</sup> Летом 1929 г. состоялась первая поездка Лившица в Грузию, первые свои стихотворения о Грузии он датирует 1930 г. — см. П.Нерлер. *CON AMORE! ПАМЯТИ БЕНЕДИКТА ЛИВШИЦА* («Литературная Грузия», 1985, №11, с.149-168).

<sup>3</sup> Мария Борисовна Чуковская (1880-1955) — жена К.И. Чуковского.

<sup>4</sup> В июле 1929 г. в Кисловодске отдыхали Б.М. Эйхенбаум, Ю.Н. Тынянов.

Москва. 24.I.30.

Дорогой Корней Иванович,  
 вчера, наконец, увиделся с Тих[оновым]<sup>1</sup> в желательной для разговора обстановке: все обстоит как нельзя лучше. Никаких добавлений и т.п. не нужно, никаких оснований тревожиться нет. Вышлите только скорее корректуры — они уже хотели Вам об этом написать.

С Полонским тоже говорил вчера. К сожалению, по его словам, ему не удалось добиться единогласия в редакции, необходимого для напечатания статьи<sup>2</sup>. Он сам напишет Вам об этом, рукопись же вернет мне только 1.II, так как она у кого-то из членов редакции. Если хотите, чтобы я передал ее Раскольникову<sup>3</sup>, черкните мне пару слов — я с готовностью сделаю это.

Крепко жму руку.

Дружески Вам преданный  
 Б.Л.

<sup>1</sup> А.И. Тихонов (Серебров, 1880-1956) — литератор, издательский работник. Вместе с К.И. Чуковским работал во «Всемирной литературе», «Русском современнике». В 1930 г. возглавлял издательства «Academia» (до 29 августа 1930) и «Федерация». Здесь речь идет о кн.: К.И. Чуковский. *РАССКАЗЫ О НЕКРАСОВЕ*. М., «Федерация», 1930 (кн. вышла в апреле 1930 г. — см. «Книжная летопись», 1930, №23).

<sup>2</sup> В.П. Полонский (Гусин, 1886-1932) — критик, журналист, в 1930 г. главный редактор журн. «Новый мир». Очевидно, имеется в виду ст. Чуковского «Николай Успенский. Его жизнь и творчество» («Новый мир», 1930, №3, с.170-185).

<sup>3</sup> Ф.Ф. Раскольников (Ильин, 1882-1939) — государственный и партийный деятель, писатель, журналист, в 1930 — член редакции «Красной нови», впоследствии находился на дипломатической работе (см. «Огонек», 1987, №26: с.4-7; «Минувшее», вып.7, 1989, с.58-111). В его письме к К.И. Чуковскому от 21 сентября 1929 г. читаем: «"Красная новь" готова взять на себя почин в деле привлечения общественного внимания к его [Н.Успенского] жизни и творчеству. Но по тактическим соображениям нецелесообразно начинать с разоблачения его мошеннических проделок по отношению к Некрасову. /.../ В конце Вашей статьи я нашел указание на то, что Вы подготавливаете статью, дающую оценку творчества Ник. Успенского и его биографию. Вот эта статья могла бы подойти для "Красной нови". Я очень прошу Вас прислать ее нам...» (ГБЛ, ф.620, карт. 70, ед.хр.17, л.2-3).

Б.Л. ЛИВШИЦ — Д.Д. БУРЛЮКУ

Ленинград, 26 января 1925 г.

Дорогой Доля.

Из книжки твоей<sup>1</sup>, которую я, к сожалению, только мельком неделю назад видел у Евреинова<sup>2</sup>, узнал в самых общих чертах, что произошло с тобою за 10 лет нашего обоюдного молчания<sup>3</sup>. Меня тогда же охватило острое желание братски обнять тебя и обменяться с тобою крепким дружеским рукопожатием. Это я и делаю сейчас. Ни в какой мере не будет преувеличением, если я скажу тебе, что за все эти 10 лет я, несмотря на расстояние и время нас разделявшие, не переставал считать тебя своим другом и себя — твоим. Я поднесь бережно и любовно храню все твои картины, рисунки, офорты, письма, черновики твоих стихов<sup>4</sup>, — всё, в чем так или иначе проявилась твоя многосторонняя, твоя неотразимо-убедительная творческая стихия. Сколько раз мысленно сопоставляя мое нынешнее литературное окружение с боевою обстановкой, в которой мы с тобою три года<sup>5</sup> работали бок о бок, я испытывал чувство неподдельной горечи, вызывавшееся

твоим отсутствием и нашей разобщенностью. Преждевременная смерть Хлебникова, безнадежное падение Маяковского<sup>6</sup>, спорное размножение имажинистской сволочи, моя полная изолированность, порождающая у меня состояние, близкое к закупорке лирических сосудов, — всего этого, вероятно, не произошло бы, будь ты здесь — ты подлинный «отец русского футуризма», на моих глазах из ничего создавший мощное направление в русском искусстве, а теперь силою обстоятельств вынужденный напоминать о своих исторических заслугах наивным подзаголовком манганганской брошюры<sup>7</sup>.

Навсегда ли ты засел в Нью-Йорке? Хочу знать *всё* о тебе.

1. Что ты там делаешь (твой основной «жизненный нерв»: живопись? стихи? газетное дело?)

2. Как ты теперь работаешь (пришли фото твоих вещей, стихи, написанные за годы 1916-24, №№ твоей газеты<sup>8</sup> и также *непрерывно* брошюру («Давид Бурлюк жмет руку и т.д.»).

3. Что — Коля, Володя, мама, Надя, Антоша<sup>9</sup>: где они и что с ними?

Сообщаю мои даты:

1915 — брак с В.А. Вертер.

1916 — рождение сына Александра.

1921 — развод с первой женой и женитьба на Екатер[ине] Конст[антиновне] Скачковой<sup>10</sup>.

1922 — великое переселение в Петербург.

*Даты литературные:*

1914-1918 — III книга стихов «Болотная Медуза» (все вещи — типа тех, что ты печатал в «Московских Мастерах»).

1919-1923 — IV книга стихов «Елифанга» (эзотерический уклон: четвертая степень пифагорейского посвящения). Обе книги давно готовы к печати, но ввиду их идеологической неприемлемости для Госиздата и неохоты, с которой частные издатели идут на печатание стихов, и та и другая лежат у меня в рукописи<sup>11</sup>.

Пишу очень мало, целиком поглощен работой в Госиздате, где (в форме редактуры переводных романов) через мои руки проходит едва ли не вся современная французская литература<sup>12</sup>. Это в смысле материальном меня более или менее устраивает, но не дает никакого внутреннего удовольствия. Мой адрес:

Бенедикту Константиновичу Лившицу  
Моховая 9, кв.1. Ленинград, СССР.

Братски тебя обнимаю и жду ответа.

Твой Бен.

Письмо опубликовано в журнале Д.Бурлюка «Color and Rhyme», 1965-1966, N.Y., 1966, №60, с.94-95.

<sup>1</sup> Д.Д. Бурлюк (1882-1967) — художник, поэт, издатель, один из организаторов футуризма в России. Здесь речь идет о кн. *БУРЛЮК ПОЖИМАЕТ РУКУ ВУЛЬВОРТУ БИЛДИНГУ. К 25-летию художественно-литературной деятельности. (Стихи 1898-1924)*. Нью-Йорк, 1924.

<sup>2</sup> Н.Н. Евреинов (1879-1953) — режиссер, теоретик и историк театра, драматург, композитор. О своем знакомстве и взаимоотношениях с футуристами писал в кн.: Н.Н. Евреинов. *ОРИГИНАЛ О ПОРТРЕТИСТАХ*. М., 1922. Б.Лившиц упоминает о первых встречах с ним в Куоккале в 1914 г. в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ* (с.286).

<sup>3</sup> О последней встрече с Лившицем, вероятно, весной 1914 г., Д.Бурлюк вспоминал в письме от 18 апреля 1965 г. к брату поэта М.Н. Лившицу: «Я о нем знал все вплоть до 1915 г., когда с ним и Верой Вэртер провел последний вечер в "Бродячей собаке" — Петрограде. Бену обязан — он был первый, обравивший мою Историческую значимость, сейчас особенно ярко выявленную итальянскими литературоведами» (письмо представлено нам Е.К. Лившиц).

<sup>4</sup> Лившиц собрал ценнейшую коллекцию по истории футуризма, состоящую из разного рода материалов, документов, книг, картин и рисунков художников начала XX века, эта коллекция погибла после незаконного ареста поэта в 1937 году. Сохранились три книги Д.Бурлюка с дарственными надписями: 1) на кн. *ВОСХОЖДЕНИЕ НА ФУДЗИ-САН* (Н.-Й., 1926): «Дорогому Бенедикту Константиновичу с супругой и со чадо Лившицу на добрую память от автора и издателя. 1926. Апрель 26. Америка. Давид Бурлюк» (ГПБ, шифр 34-13/244а); 2) на кн. *МОРСКАЯ ПОВЕСТЬ* (Н.-Й., 1927): «Милому дорогому Бену Констан. Лившицу в знак вечной любви и преклонения перед чистотой его стиля. Автор Давид Бурлюк» (ГПБ, шифр 34-13/98в); 3) на кн. *ПО ТИХОМУ ОКЕАНУ* (Н.-Й., 1927): «Дорогой друг Бенедикт! Прими на память этот скромный знак моего восхищения всегдашнего твоим высоким мастерством в области стиха. Ранее от тебя приходили книги, но теперь ты замолк — почему?? Давид и Мария Бурлюк. 1927. Арг. NYC» (РО ГПБ, ф.552, ед.кр.4).

<sup>5</sup> Лившиц считал, что русский футуризм «закончился» в 1914 г., об этом он писал в *ПОЛУТОРАГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ*. В конце декабря 1911 Лившиц познакомился в Киеве с Д.Бурлюком и вскоре после поездки с ним на Рождество в Чернянку Таврической губ. (братья Бурлюки называли эту местность древнегреческим именем «Гилея»), вошел в созданную ими группу кубофутуристов «Гилея». Лившиц участвовал во многих изданиях и публичных выступлениях футуристов. В 1914 г. Д.Бурлюк издал в Херсоне вторую кн. Лившица *ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ*, а в 1931 в Нью-Йорке в издательстве М.Н. Бурлюк вышла отдельным изданием первая глава воспоминаний Лившица, под названием *ГИЛЕЯ*, посвященная в основном Д.Бурлюку.



<sup>6</sup> Лившиц не принимал Маяковского «лефовского» периода. После 1914 г. поэты, насколько нам известно, не встречались, в *ПОЛУТОРА-ГЛАЗОМ СТРЕЛЬЦЕ* Лившиц вспоминал о встречах с молодым Маяковским, в 1935 г. он побывал на родине Маяковского в Багдади и посвятил ему стихотворение «Варцихе» (Б.Лившиц. *КАРТВЕЛЬСКИЕ ОДЫ*. Тбилиси, 1964, с.36-37).

<sup>7</sup> Кн. *БУРЛЮК ПОЖИМАЕТ РУКУ ВУЛЬВОРТУ БИЛДИНГУ*, а также ряд других его американских изданий вышли с шапкой: «Д.Бурлюк. Поэт, художник, лектор. Отец российского футуризма».

<sup>8</sup> В 1920-х гг. Д.Бурлюк сотрудничал в нью-йоркской газете «Русский голос».

<sup>9</sup> *Коля* — Н.Д. Бурлюк (1890-1920), поэт, член «Гилеи». *Володя* — В.Д. Бурлюк (1886-1917) — живописец, график, участник многих левых выставок и футуристических сборников. *Мама* — Л.И. Бурлюк (1860-1923) — пробовала свои силы в живописи, Д.Бурлюк выставлял ее работы на первых новаторских выставках («Звено», «Салон II»). *Антоша* — А.А. Безваль (1891 - после 1939), инженер, одно время был секретарем «Гилеи».

<sup>10</sup> *Вера Вертер* — псевдоним актрисы и поэтессы-переводчицы В.А. Арнгольд-Жуковой (1881-1963), ей посвящена кн. Лившица *ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ*. *Александр* — сын поэта от первого брака, умер от скарлатины в 1927 г. Е.К. Скачкова (Лившиц, 1902-1987) выступала как начинающая танцовщица в спектаклях Киева и Петрограда, ей посвящен ряд стихотворений из кн. *БОЛОТНАЯ МЕДУЗА* и *ПАТМОС*.

<sup>11</sup> В сб. *МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА* (М., 1916) были напечатаны три стихотворения Лившица: «Петроград», «Фонтанка» и «Дворцовая площадь» с пометой «Из цикла “Болотная Медуза”». Четвертая книга стихов вышла впоследствии под заглавием *ПАТМОС*. По-видимому, Лившиц допустил в предполагаемом названии книги ошибку, и, вероятно, в связи с этим изменил его — в элевсинских мистериях было три ступени посвящения, третья и высшая ступень называлась «эпоптея», а не «эпифарей» (сообщено М.Л. Гаспаровым). Первоначальное заглавие этой книги было *ЗОЛОТОЕ СРЕДОТОЧИЕ*. Книги *БОЛОТНАЯ МЕДУЗА* и *ПАТМОС* впоследствии вошли в итоговый сб. *КРОТОНСКИЙ ПОЛДЕНЬ* (М., 1928). Ряд стихотворений в силу тогдашних условий напечатан с измененной датировкой и в подцензурной редакции.

<sup>12</sup> В 1920-30 гг. Б.Лившиц работал главным образом в области перевода и как редактор иностранной литературы. Им переведены такие произведения, как трагедия Ж.Расина *ЭСФИРЬ*, А.Жида *САУЛ* и *ЦАРЬ КОНДАВЛ*, а также романы, повести и рассказы: *ЗЛЫЕ ГОДЫ* (1914-1917) Р.Аркуса, *ИСКАТЕЛИ ЗОЛОТА*, *РЕЛЬСЫ* и *ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ* П.Ампа, *БАНКИРСКИЙ ДОМ НЮСИНГЕН* и *ВОТРЕН* О.де Бальзака, *ОГОНЬ* и рассказы А.Барбюса, *ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ*, *ТРУЖЕНИКИ МОРЯ* и *ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ОСУЖДЕННОГО* В.Гюго, *ПАРАД* Ж.Давида, *ОТРЕШЕННЫЕ* и *У ИСТОКОВ ЖИЗНИ* Ж.Дю-

амеля, ЭЛПЕНОР и СЮЗАННА-ОСТРОВИТЯНКА Ж. Жироду, ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАНА-АРТУРА РЕМБО Ж. М. Карре, КВАРТЕРОНКА, ЯМАЙСКИЕ МАРОНЫ, ТРОПА ВОЙНЫ, ОХОТНИЧЬИ ДОСУГИ, ВОЖДЬ ГВЕРИЛЬЯСОВ и рассказы Майн-Рида (первые три — совместно с О. Э. Мандельштамом), СПАРТАК М. Оливье, МАРСО ЛАРОЗ Э. Ришара, ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ и 14 ИЮЛЯ Р. Роллана, ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИГЕЛЯ, АЙВЕНГО, ЛАМЕРМУРСКАЯ НЕВЕСТА, ТОРИ И ВИГИ, АНТИКВАРИЙ и АСТРОЛОГ В. Скотта (все, кроме первого — совместно с О. Э. Мандельштамом), ЛЮСЬЕН ЛЕВЕН Стендаля, МОЙ ДЯДЯ БЕНЖАМЕН К. Тилье, БОГИ ЖАЖДУТ А. Франса и др.

Б. К. ЛИВШИЦ — А. И. РОММУ<sup>1</sup>

Детское село, 15 августа 1927

Дорогой Александр Ильич!

Не сразу ответил Вам на письмо, т. к. на протяжении этих шести недель несколько раз собирался в Москву и, естественно, полагал, что при личной встрече мне удастся полнее высказать свое мнение о «Ночном смотре». Т. к. моя поездка опять затягивается (в Москве я буду, вероятно, лишь через месяц), мне хочется, пускай и немного поздно, поблагодарить Вас за присылку Вашей книги, которая, несмотря на все ее недочеты, — прежде всего книга поэта, т. е. попытка утвердить в слове свое видение мира. На мой взгляд, это самое существенное, и потому я не совсем понимаю, что в ней могло подействовать на Вас столь удручающим образом<sup>2</sup>. Правда, есть в «Ночном смотре» стихи, которых я на Вашем месте не включил бы в сборник, и в первую очередь, «Ни силы, ни красы в скрипучем этом беге» (снижение духовного тона и отсюда — снижение стиля, опасно соседящее с дурным вкусом) или «На окраинах луна бывает резче» (поверхностный импрессионизм, простое констатирование факта — отсутствие воли к преобразению действительности), но ведь не эти вещи определяют характер книги и как-то сами выпадают из нее. Больше других мне нравятся «Элегия» и «Первый снег». Вообще, мне кажется, Ваш лирический путь — по крайней мере, в настоящее время — лежит несколько в стороне от мажорных тем типа «Слова» или «Из пинских зарослей»<sup>3</sup>, заставляющих Вас перенапрягать свой голос.

Стоит ли останавливаться на некоторых частностях, представляющихся мне делом скорее личного вкуса, чем отступлениями от общеобязательных норм? Даже преследуя интимно-разговорные интонации, я бы не вводил в стих ничего (или почти ничего) не означающих речений:

Что *вовсе* нечего тебе сказать,  
Что наконец ты *просто* очень занят<sup>4</sup>,

ни уменьшительных суффиксов, ни энклитических междометий, разжижающих плотность словесной массы. Но это, повторяю, мелочь и, пожалуй, только правило моего личного поведения. Об остальном, надеюсь, мы поговорим с Вами в Москве.

Дружески жму руку и еще раз благодарю за книгу.

Ваш Бенедикт Лившиц.

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф.1495, оп.1, ед.хр.22.

А.И. Ромм (1898-1943) — поэт, переводчик, переводил немецких, венгерских, чешских и китайских поэтов. В 1927 в издательстве «Узел» выпустил книгу стихотворений *НОЧНОЙ СМОТР*, тиражом 700 экз. (в этом же издательстве Лившиц выпустил *ПАТМОС* и *КРОТОНСКИЙ ПОЛДЕНЬ*). За несколько дней до этого письма Лившиц послал Ромму книгу *ПАТМОС* с дарственной надписью: «Александр Ильичу Ромму — в память наших московских встреч — с дружеским чувством Бенедикт Лившиц. 28. VI. 1927» (собрание И. Жванецкого — экземпляр с авторской правкой). По свидетельству М.Л. Гаспарова, в семье А.И. Ромма хранился также сб. Лившица *КРОТОНСКИЙ ПОЛДЕНЬ* со значительными авторскими поправками и вклейками других редакций стихотворений.

<sup>2</sup> Поэтесса С.Я. Парнок (см. о ней далее) сообщала в письме к С.З. Федорченко от 12 июля 1927 г.: «Ромм, который до того опечалился и разочаровался первым своим сборником, что с горя скупил весь тираж у "Узла"» (см.: Т.Никольская. Творчество С.Я. Парнок. — «Neue Russische Literatur», Salzburg, 1980, №2-3, S.212). Впоследствии Ромм выпустил двумя изданиями еще одну книгу своих стихотворений *ДОРОГА НА БИКЗЯН* (Уфа, 1939; 1941).

<sup>3</sup> Эти два стихотворения стилизованы автором под эпический слог древнерусских летописей (напр., из стих. «Слово»: «Там я лежу на тисове постели, / И под густыми небесами дрогну, / И не хватает мне резного кнеса, / И синим ядом негуют меня»).

<sup>4</sup> Из стихотворения «Я нужную работу отложил...», открывающего кн. *НОЧНОЙ СМОТР* (с.5).

Б.К. ЛИВШИЦ — А.К. ВИНОГРАДОВУ<sup>1</sup>

Ленинград, 15 октября 1929.

Многоуважаемый Анатолий Корнильевич!

Помните ли Вы о своем обещании прислать мне «Крестьянские рассказы» Эркмана-Шатриана?<sup>2</sup> Все мои поиски книжки пока не увенчались успехом. Если Вы не изменили своего намерения,

не откажите в любезности выслать мне эту книгу и сообщить, к какому сроку Вам нужно представить проредактированный текст.

Как обстоит дело с моими стихотворными переводами?<sup>3</sup> Быть может, Вы черкнете мне два слова и по этому, живо меня интересующему вопросу?

Жму руку

Вас уважающий Бенедикт Лившиц

Басков пер., 19, кв.6

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф.1303, оп.1, ед.хр.977.

А.К. Виноградов (1888-1946) — писатель и редактор, специалист по французской литературе. В 1929 г. работал в Госиздате.

<sup>2</sup> В 1929-37 изданий книг Э.Эркмана и А.Шатриана в СССР не было (в 1925 г. в издательстве «ЗИФ» в переработке Л.Огнева вышел их роман *ИСТОРИЯ ОДНОГО КРЕСТЬЯНИНА*).

<sup>3</sup> Сохранилось письмо Б.К. Лившица в Госиздат от 21.01.1930 с просьбой оплатить сделанные им переводы 13 стихотворений В.Гюго. На письме надписи: 1. «А.В. Луначарскому. Эти переводы сделаны Б.К. Лившицем для изд-ва "Всемирная литература". Сборник франц. поэтов *не был* напечатан в связи с ликвидацией изд-ва. Полагаю необходимым использовать эти 826 строк полностью. Перевод прекрасный. А.Виноградов». 2. «Случай хороший. Переводы надо взять и нормально оплатить. А.Луначарский. 25/1».

Б.К. ЛИВШИЦ — Л.П. ГРОССМАНУ<sup>1</sup>

Ленинград, 4 декабря 1929

Многоуважаемый Леонид Петрович!

Мне сообщили, что вопрос об издании Бальзака продвинулся вперед и что он пойдет под общей редакцией Луначарского и Нусинова. В связи с этим я позволяю себе обратиться к Вам с просьбой: не забыть меня при распределении работы. Если Вы помните, я изъявил готовность взять на свою долю за 100 печ[атных] листов перевода, редактуру же — в неограниченном количестве, исходя из расчета 1 печ[атный] л[ист] в день.

Если для заключения договора\* уже настало время, не откажите в любезности черкнуть мне пару строк, и я немедленно выеду в Москву, так как, повторяю, с величайшей охотой готов взяться за Бальзака, как говорил Вам об этом при личном свидании.

Дружески жму Вашу руку и очень прошу Вас ответить на это письмо.

Искренне Вас уважающий  
Бенедикт Лившиц.

---

\* или для прелиминарных переговоров по вопросу о заключ[е-нии] договора. [Прим. Б.Лившица].

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф.1386, оп.2, №315.

Л.П. Гроссман (1888-1965) — советский писатель и литературовед, автор работ о Достоевском и др. В указанное время работал в аппарате ГИХЛа, выпускавшего 20-томное собрание сочинений О. де Бальзака (под общей редакцией А.В. Луначарского, Е.Ф. Корша и др.). В т. VII (вышел в 1933 г.) напечатаны романы *ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЦЕЗАРЯ БИРОТО* и *БАНКИРСКИЙ ДОМ НЮСЕНЖЕНА* в переводе Б.Лившица. И.М. Нушинов (1889-1950), литературовед, критик и издательский работник, в редактировании этого собрания сочинений участия не принимал.

Б.К. ЛИВШИЦ — Н.И. ЗАМОШКИНУ

Ленинград, 12 октября 1931

Уважаемый тов. Замошкин!

Ввиду того, что до сих пор я не имею официальных сведений о судьбе моей рукописи, переданной Вам месяц назад В.О. Стеничем, прошу Вас не отказать в любезности уведомить меня возможно скорее об окончательном результате чтения ее редколлегией.

В случае если вещь моя принята, прошу Вас также сообщить:

1) в каком № журнала предполагается напечатать ее;

2) не согласилась бы редакция присоединить к уже представленному материалу небольшой отрывок (<sup>1</sup>/<sub>4</sub> печ[атного] листа), непосредственно примыкающий к тому же периоду воспоминаний (о постановке в театре Комиссаржевской Маяковским его трагедии «Владимир Маяковский»)?

Вас уважающий Бенедикт Лившиц.

Басков пер.19, кв.6

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф.2569, оп.1, ед.хр.234, л.1-1 об.

Н.И. Замошкин (1896-1960) — литературовед, критик, с 1926 г. работал секретарем в «Новом мире». Лившиц послал в редакцию «Нового мира», вероятно, одну из глав о Маяковском из *ПОЛУТОРАГЛАЗОГО СТРЕЛЬЦА*, которого он тогда готовил к печати.

<sup>2</sup> В.О. Стенич (Сметанич, 1898-1939) — переводчик, критик, оппонент Блока в его известной статье «Русский дэнди» (1918).

<sup>3</sup> Фрагменты из *ПОЛУТОРАГЛАЗОГО СТРЕЛЬЦА* в «Новом мире» напечатаны не были. Главки «Маяковский в 1913 году» и «Грезер и горлан» появились в журн. «Стройка» (1932, №23-24, сентябрь и №36, декабрь).

Б.К. ЛИВШИЦ — М.А. ЗЕНКЕВИЧУ<sup>1</sup>

1

Ленинград, 8.IX.33.

Дорогой Михаил Александрович, рад был узнать, что «Пол[утораглазый] стр[елец]» до Вас дошел: он ведь был задержан главлитом и только на днях запрещение снято<sup>2</sup>. Конфискация, впрочем, носила чисто комнатный характер, т.к. весь тираж разошелся в два дня. Сейчас передо мной стоит вопрос о переиздании. Боюсь только, как бы мне не испортила каши «критика»: в Ленинграде меня уже начали прорабатывать и за «формализм» (а что это такое и с чем его едят, ей богу не знаю!) и за «лукавство» и за «греческий язык». Разумеется, это только робкое начало — дальше пойдет лай вовсю<sup>3</sup>.

В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой, которую Вам, надеюсь, будет нетрудно исполнить: если в Московской прессе Вы встретите какой-нибудь отзыв о книге — *выслать мне два №№ газеты*, а о толстом журнале — сообщить, где помещено. Сейчас ведь нет бюро газетных вырезок и следить за московской печатью я не имею возможности.

С удовольствием поработал последние месяцы над Расиновой «Эсфирью»<sup>4</sup>: сейчас заканчиваю ее и к 1 октября, соблюдая в точности договорный срок, сдал перевод издательству. Могу сказать по совести: сделано *lege artis*<sup>5</sup> — из всех видов суррогатного писательского хлеба стихотворный перевод мне более всего по душе. Очень хотел бы взять еще одну трагедию Расина или уже приступить к Корнелию<sup>6</sup>. Не могли бы Вы переговорить об этом с Эфросом<sup>7</sup>: я согласился бы и на более короткий срок, т.к. уже два месяца, как бросил службу и вполне свободен. Вы крайне обязали бы меня, дорогой Михаил Александрович, если бы посодествовали мне в этом вопросе.

Здоровьем похвастаться не могу — дело ведь идет не к молодости. К сожалению, в этом году не поеду даже на курорт: слишком дорогое удовольствие.

Смерть Софьи Яковлевны<sup>8</sup> произвела на меня большое впечатление — уходят последние, нас остается жалкая горсточка, по пальцам перечесть...

Крепко жму Вашу руку. Приветы Вашей матушке и жене. Сын у Вас, вероятно, уже огромный — не правда ли?

Всего хорошего.

Дружески Ваш Бенедикт Лившиц.

Как только выйдут Ваши стихи, прошу выслать мне: жду<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> Государственный литературный музей (далее — ГЛМ), ф.247, оп. 6144/1-4.

М.А. Зенкевич (1891-1969) — поэт, переводчик, член первого «Цеха поэтов». Лившиц был с ним знаком по Петербургу с 1912-13 гг. (см. *ПОЛУТОРАГЛАЗЫЙ СТРЕЛЕЦ*, с.263).

<sup>2</sup> Эта книга была сдана в набор 1 ноября 1932 г., подписана к печати 20 мая 1933 г. и вышла в свет в конце августа 1933 г. («Книжная летопись», 1933, №41, с.65). Подчиняясь господствовавшим в то время вульгарно-социологическим установкам, Лившиц был вынужден написать покаянное (или «полемическое», по его определению) предисловие к *ПОЛУТОРАГЛАЗОМУ СТРЕЛЬЦУ*. Кроме того, книга открывалась статьей Ц.Вольпе, который заявлял, что «автором не вскрыта социальная природа больших противоречий внутри футуризма». Но этого оказалось недостаточно, и последовала «уничтожающая» рецензия А.Селивановского (см. Предисловие).

<sup>3</sup> Лившиц имеет в виду статью критика З.Штеймана «Лукавая самокритика» («Литературный Ленинград», 1933, №7). Впоследствии появилась «нейтральная» рецензия Н.Л. Степанова, отклик В.Ф. Ходасевича и Н.Н. Берберовой в «Возрождении» (Париж, 1 декабря 1932). Сохранился экз. *ПОЛУТОРАГЛАЗОГО СТРЕЛЬЦА*, принадлежавший М.Горькому с его многочисленными пометами. По свидетельству Е.К. Лившиц, М.Горький одобрительно отозвался об этой книге: «Не знаю, что такое формализм, но книга замечательная».

<sup>4</sup> О возникшем еще в юности интересе Лившица к творчеству Расина см. в «Автобиографии». В 1933 г. Лившиц заключил с изд. «Academia» договоры на переводы трагедий Расина *ФЕДРА* и *ЭСФИРЬ* (договоры №№119 и 125 от 28 мая и 5 июня 1933 г. — ЦГАЛИ, ф.629, оп.1, ед.хр.135). См. также примечание №1 к письму от 2 октября. Перевод *ЭСФИРИ* был напечатан (анонимно) в кн.: Ж.Расин. Сочинения. В 2-х томах. «Academia», М.-Л., 1937, т.2, с.175-244. О судьбе перевода *ФЕДРЫ* — сведений обнаружить не удалось.

<sup>5</sup> «По закону искусства» (лат.).

<sup>6</sup> Впоследствии Лившиц вел переговоры с издательством «Academia» о переводе трагедий Корнеля *ЦИННА* и *ПОЛИЕВКТ* (без договоров) —

см. ниже; первую трагедию он обещал представить к 15 января 1935 г. (ЦГАЛИ, ф.629, оп.1, ед.хр.185, лл.20-21). По свидетельству Е.К. Лившиц, обе трагедии были переведены, однако изданы не были, и судьба рукописей неизвестна.

<sup>7</sup> А.М. Эфрос (1888-1954) — поэт, искусствовед, переводчик. Возглавлял правление издательства «Узел», в котором Лившиц напечатал *ПАТМОС* и *КРОТОНСКИЙ ПОЛДЕНЬ*. В изд. «Academia» руководил отделом западноевропейской литературы и активно привлекал Лившица в качестве переводчика. Сохранился экз. *ПОЛУТОРАГЛАЗОГО СТРЕЛЬЦА*, с надписью: «Дорогому Абраму Марковичу Эфросу — памятник наших (и ему не чуждых) боев — с дружеским чувством. Бенедикт Лившиц. 24. IX.33» (собрание А.И. Шахова).

<sup>8</sup> С.Я. Парнок (1885 - 26 августа 1933) — поэтесса, переводчица, критик. Лившиц тесно общался с ней в период сотрудничества в изд. «Узел», где она выпустила две книги — *МУЗЫКА* (1926) и *ВПОЛГОЛОСА* (1928). См. о ней в письме Лившица к С.З. Федорченко от 26 апреля 1926 г. (ЦГАЛИ, ф.1611, оп.1, ед.хр.88). Сохранились три книги Б.Лившица, подаренные им С.Парнок. Надпись на *ИЗ ТОПИ БЛАТ*: «Дорогой Софии Яковлевне с настоящей и прочной любовью к ее стихам. Бенедикт Лившиц. 25.X.1927»; на *ПАТМОСЕ*: «Рад, что наши поэтические судьбы пересеклись хотя бы в "Узле", так как Ваши стихи, Софья Яковлевна, я давно люблю! Бенедикт Лившиц. 8.V.1927. Москва»; на *КРОТОНСКОМ ПОЛДНЕ*: «Дорогой Софии Яковлевне Парнок с искренней любовью к ней и уважением к ее творчеству. Бенедикт Лившиц. 24.XI.1928. Ленинград» (ЦГАЛИ, библиотека). О Софье Парнок см.: Софья Парнок. *СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ*. Составление, вступительная статья и примечания С.В. Поляковой. Ann Arbor, 1979; С.В. Полякова. *ЗАКАТНЫЕ ОНЫ ДНИ: ЦВЕТАЕВА И ПАРНОК*. Ann Arbor, 1983.

<sup>9</sup> Имеется в виду книга *ИЗБРАННЫЕ СТИХИ* М.Зенкевича (М., «Советская литература», 1933; сдана в производство 2 сентября 1933, подписана к печати 7 декабря 1933).

2

Ленинград, 2.X.33.

Дорогой Михаил Александрович!

29-го сентября выслал через здешнее отделение «Academia» перепечатанный в 3-х экземплярах перевод «Эсфири». Надеюсь, он уже у Антокольской<sup>1</sup>. В связи с этим, очень прошу Вас сделать все зависящее от Вас к скорейшему наложению визы на оплату причитающегося мне по договору 35% гонорара: мне крайне нужны деньги и всякая задержка в выплате гонорара повлечет для меня ряд неприятнейших последствий.



В предыдущем письме я просил Вас выяснить у Эфроса, как обстоит дело с заключением нового договора: на Корнеля или, если Корнель еще не «созрел» — на любой другой перевод, стихотворный или прозаический. Вторично прошу Вас ускорить разрешение этого вопроса, в благоприятном исходе которого я крайне заинтересован. Если для форсирования этого дела необходимо мое личное присутствие в Москве — напишите и я выеду, хотя, разумеется, я предпочел бы не затевать сейчас дорого стоящего путешествия в Москву.

Прочли ли Вы уже «Стрельца»? Я бы хотел знать Ваше откровенное мнение — тем более, что Вы сыграли такую роль в написании этой книги<sup>2</sup>.

Дружески жму Вашу руку и жду от Вас ответа — на сей раз без отлагательства.

Ваш Бенедикт Лившиц.

<sup>1</sup> Н.Г. Антокольская — секретарь редакционного сектора изд. «Academia». Лившиц писал ей в тот же день: «Уважаемая Надежда Григорьевна! 29 сентября отправил через Ваше ленинградское отделение законченный мною перевод "Эсфири" Расина». Перевод был принят А.М. Эфросом 15 октября 1933 г. (ЦГАЛИ, ф.629, оп.1, ед.хр.185, л.18,19).

<sup>2</sup> М.А. Зенкевич был одним из доброхотов, помогавших Б.Лившицу различными сведениями в работе над книгой воспоминаний. Сохранился экз. *ПАТМОСА* с дарственной надписью: «Дорогому старинному соратнику, а также возможному другу М.Зенкевичу с искренней симпатией. Бен. Лившиц. 13 мая 1927 г.» (ГЛМ).

Ленинград, 2.I.1934.

Дорогой Михаил Александрович,  
Пишу Вам в надежде, что на это письмо Вы ответите скорее, чем на мое предыдущее.

Как всегда — просьба.

Дело в том, что я до сих пор остаюсь в полном неведении насчет Корнеля: в какой квартал он включен, когда можно будет подписать договор, что именно мне собираются поручить?

По поводу моего перевода «Эсфири», Эфрос прислал мне крайне лестное, полное всяческих комплиментов, письмо, заканчивающееся шутливой угрозой, что «от Корнеля мне теперь не отделаться».

Я и не собираюсь отделяться, напротив, очень хотел бы вплотную приступить к работе и дважды запрашивал Эфроса о том, что же мне предполагают поручить — тем не менее вот уже два месяца, как он хранит гробовое молчание, никак не вяжущееся со всем тоном его последнего письма и ничем для меня необъяснимое.

Очень прошу Вас, дорогой Михаил Александрович, т.к. в «Академии» Вы все-таки человек не чужой, выяснить, в чем тут дело, могу ли я и *когда* рассчитывать на заключение договора: я сейчас ничем не занят и мне, помимо всего прочего, просто жалко упускать драгоценное время...

Надеюсь, вы не задержитесь надолго с ответом и порадуете меня Вашей информацией.

Крепко жму Вашу руку.

Приветы Вашей семье.

Дружески Бенедикт Лившиц.

Ленинград «14», Басков пер., 19, кв.6.

4

Ленинград, 14.I.1934.

Дорогой Михаил Александрович, пишу Вам под еще неизжитым впечатлением от смерти Белого<sup>1</sup>. Весть об этом как-то не сразу проникла до глубины моего сознания и лишь теперь, пытаюсь отдать себе отчет в том, что сильнее всего в эти дни угнетает, я наталкиваюсь на это событие, заслывшее для меня все остальное. Я никогда не любил его особенно — ни как поэта, ни как прозаика. Я не был с ним лично знаком, хотя находился с ним в близком свойстве: он был двоюродным братом моей первой жены, Веры Александровны Вертер<sup>2</sup>, в семье которой «Боренька Бугаев» был одним из самых близких людей.

Мне и сейчас трудно заставить себя читать его гексаметрическую прозу, приходящуюся как-то сродни пятистопному ямбу Васисуалия Лоханкина<sup>3</sup>.

И тем не менее — ни одна из смертей последнего времени не впечатляла меня так сильно, как эта смерть. Оборвалась эпоха, с которой мы были — хотим ли мы это признать или нет, безразлично — тесно связаны. Обнажилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед. Пробовали Вы подсчитать, сколько людей из нашего с вами литературного и близкого к литературе окружения умерло за последнее десятилетие? Я произвел впервые этот подсчет. 20 человек, из них 9 — старшего поколения, 1 (Есенин)

моложе нас, остальные — наши сверстники. Удручающая арифметика! Никчемная цифирь, скажете вы? Дело не в возрасте, а в гормонах, в воле к жизни, в физиологическом отборе? Быть может, быть может, а все-таки пропасть обнажена и огромный кусок, целый пласт нашего прошлого рухнул в эту бездну.

Дело не в самом факте смерти (если бы вы знали меня ближе, мне не пришлось бы оговариваться, как сейчас, и объяснять вам, что отнюдь не самая смерть навела меня на эти réflexions funèbres)<sup>4</sup>, а в чудовищном одиночестве поколения, к которому мы с вами принадлежим и которое гораздо крепче связано с предшествующим поколением, нежели со своей сменой...

Зачем я пишу вам об этом? Право, не знаю: быть может, потому, что и вы, мне кажется, не лишены того довольно мучительного чувства «историзма», которое не позволяет мне отрывать мою личную биографию от биографии моего поколения. Как жаль, что здесь нет Осипа: я почти не сомневаюсь, что и на него эта смерть произвела не меньшее впечатление!<sup>5</sup>

Кстати, об Осипе. До меня дошли слухи, внушающие мне опасения за его душевное состояние<sup>6</sup>. Верны ли эти слухи? Ахматова обещала позвонить мне по возвращении из Москвы, но пока я не на шутку встревожен. Видаете ли вы его? В каких вы с ним отношениях? Не напишете ли вы мне — что знаете — о нем?

Дружески жму Вашу руку и жду ответа на мое предыдущее письмо: надеюсь, вы уже оправились и выходите из дому?

Ваш Бенедикт Лившиц.

Сердечные приветы вашей семье.

<sup>1</sup> Андрей Белый умер 8 января 1934 г.

<sup>2</sup> В.А. Вертер (см. прим.10 к письму Д.Бурлюку). Приезжая в Киев, А.Белый всегда останавливался у Жуковых.

<sup>3</sup> Ср. также отрицательный отзыв О.Мандельштама о прозе А.Белого (о *ЗАПИСКАХ ЧУДАКА*) — впервые в «Красной нови», 1923, №5.

<sup>4</sup> Траурные размышления (фр.).

<sup>5</sup> См. цикл стихотворений О.Мандельштама, написанный на смерть А.Белого (О.Мандельштам. *СТИХОТВОРЕНИЯ*. Л., 1974, с.173-175, 297-299), а также публикацию С.В. Василенко, Ю.Л. Фрейдина «О.Мандельштам. 1891-1938. Поэт о поэте». — «День поэзии, 1986», с.106-108.

<sup>6</sup> В этот период Лившиц и Мандельштам не встречались из-за происшедшего конфликта (см. об этом: Н.Чуковский. *ПОЭЗИЯ И ПРАВДА*. М., 1987, библиотека «Огонька», №12, с.55-56). Вероятно, Лившицу стало известно о написанном Мандельштамом в ноябре 1933 г. роковом стихотворении о Сталине («Мы живем, под собою не чуя страны...»).

Ленинград, 21 мая 1936

Уважаемый тов. Тарасенков!

Посылаю Вам два стихотворения из подготавливаемой мною к печати книги стихов о Грузии.

Первая вещь, триптих, посвящена теме национальной вражды на Кавказе. Алазанская долина, как известно, отличающаяся своим плодородием, центр виноградарства и скотоводства, искони была предметом вождельней соседних воинственных племен, а также форпостом Восточной Грузии в ее многовековой борьбе с персами, сельджуками и т.д. Первая часть триптиха — «голос» лезгин, вторая — «голос» кизикийца; третья — судьба упомянутой выше национальной проблемы в наши дни.

Второе стихотворение — попытка расшифровать (в лирическом плане, конечно) загадочные для многих строки Маяковского.

Буду рад, если Вы найдете возможным поместить эти стихи в журнале «Знамя».

О Вашем согласии или несогласии напечатать эти вещи прошу сообщить по следующему адресу.

*Ленинград 14*

*ул. Некрасова, 26, кв.6*

*Бенедикту Конст. Лившицу*

Вас уважающий

Бенедикт Лившиц.

ЦГАЛИ, ф.618, оп.2, №1089, л.269.

А.К. Тарасенков (1909-1956) — русский советский литератор, библиограф и библиофил (собрал уникальную библиотеку поэзии первой половины XX в.); в 1932-1941 работал отв. секретарем и заведующим отделом критики журнала «Знамя». Сохранился его ответ Б.Лившицу от 29.05.36:

Уважаемый тов. Лившиц! К сожалению, мы не сможем напечатать предлагаемые Вами стихи. Во-первых, они мало подходят нам по тематике («Знамя» ведь журнал оборонный). Правда, иногда мы делаем в этом плане некоторые исключения для стихов, поднимающих особо важные общие проблемы (например, стихи Пастернака в №4 за 1936 г.), — однако Ваши вещи, на наш взгляд, такими, пожалуй, не являются. Во-вторых, в ряде мест стихи ваши, на мой взгляд, формально переусложнены и некоторые ваши метафорические ходы, должен признаться, оставили меня в недоумении. Возвращаем Вам рукопись. Уважающий Вас А.Тарасенков. (ЦГАЛИ, ф.618, оп.2, №1089, л.268). В письме Б.Лившица говорится о его стихотворениях «Алазанская долина» и «Варцихе» (см. в *КАРТВЕЛЬСКИХ ОДАХ*).

Ленинград, 27 декабря 1936

Дорогие Маро и Сандро! Сердечно приветствую Вас с Новым годом и от души желаю в нем еще больших успехов, как в истекшем. Я был несказанно рад твоей высокой и столь заслуженной награде, мой родной Сандро, не поздравил тебя вовремя только потому, что не знал, где ты — в Москве или в Тбилиси. С нежностью вспоминаю Ваш милый дом у подножья Мтацминды, Ваш гостеприимный очаг и то неподдельное тепло, которое так согрело меня в моем любимом городе. Страшно хотелось бы поскорее вновь попасть в Ваши края. В ноябре я прожил месяц в Кисловодске, но перевалить через Пасанаури было уже поздно, да и дела звали меня в Ленинград. А как Вы, ты и Маро, неужели Вы никак не соберетесь на берега Невы? Может быть, все-таки, приедете на пушкинские торжества? Для меня это было бы большой радостью.

Братски обнимаю тебя, мой Сандро, целую ручки Маро и щечки твоих прелестных девочек.  
Всей душою твой Бено.

Архив Музея Дружбы Народов Гр.ССР, ед.хр. №8515.

С.И. Шаншиашвили (1888-1975) — грузинский писатель. Маро — его жена.

Письмо начинается надписью по-грузински: «Поздравляю с Новым годом», — сделанной рукой Б.Лившица.

Ленинград, 22. III. 1937

Мой дорогой и горячо любимый Сандро!

Твою посылку я получил своевременно, но не сразу ответил, т.к. думал переслать ответ с Тицианом, который собирался уехать отсюда раньше. Большое тебе спасибо за выполнение моей просьбы. Я знаю, что большего сделать нельзя. Но больше самого присыла меня порадовала та душевная теплота, которую я почувствовал в твоём письме и в каждой надписи на книгах. Тебе хорошо известно, как я люблю твою страну, сколько она мне дала и сколько я ей обязан... Но и на фоне этой любви с особой остротой и

с особой нежностью я ощущаю свою связь с сердцем твоей чудесной Родины — с Карталинией и Кахетией. Все лучшие черты грузинского национального характера, так полно воплощенные в тебе и в твоей очаровательной подруге, конечно, идут, главным образом, отсюда... Часы, пережитые в твоём доме, у подножья Мтацминды, без преувеличения счастливейшие в моей жизни. Поверь, брат<sup>1</sup>, это не застольный тост, а подлинный голос души.

Крепко обнимаю тебя, родной, целую руки Маро и щеки твоих обеих красавиц.

Всего самого лучшего!

Сердечно всех Вас любящий и крепко-крепко помнящий  
Бено<sup>2</sup>.

P.S. Тициан привез тебе несколько рисунков — прими их, как память обо мне.

Еще раз целую тебя  
Твой Б.

<sup>1</sup> Слово вписано по-грузински.

<sup>2</sup> Слово вписано по-грузински.

Б.К. ЛИВШИЦ — Н.И. МИЦИШВИЛИ

Ленинград, 1 июня 1937

Дорогой Николо!

Чем объяснить Ваше молчание? Правда, Вы действуете (джентльменски-аккуратно уплатили деньги Митрохину), и это стоит слов, но мне, все же, хотелось бы знать, в каком положении моя книга. Отпечатана ли она? Есть ли уже сигнальный экземпляр? Когда она выйдет?

/.../ Меня чрезвычайно интересует и другой вопрос: как обстоит дело с моей *книгой переводов из грузинских поэтов* (договор от 26.10.35 г.). У меня готово свыше 1500 строк и осенью я мог бы сдать изд-ву всю книгу (2000 строк). Поскольку я не получал до сих пор никаких указаний на то, что изд-во отказалось от мысли выпустить эту книгу, я считаю договор остающимся в силе и намерен сдать рукопись в сентябре с.г.

Наконец, я хотел бы урегулировать свои денежные расчеты с изд-вом по моим «Карт[вельским] одам», т.к. нахожу, что уже настала *пора и мне получить причитающийся по договору гонорар*.

Очень прошу Вас, не откладывая в долгий ящик, ответить мне на все эти вопросы прямо в Кисловодск, куда я уезжаю завтра и где буду уже 5-го июня. Мой адрес: *Кисловодск, санаторий №7 «Красные камни»*, мне.

Дружески жму Вашу руку.

Ваш Б.Лившиц.

Автограф — в семейном архиве Мицишвили.

Н.И. Мицишвили (Сирбиладзе, 1896-1938) — грузинский поэт (член группы «Голубые роги») и издательский работник (в 1930-е гг. возглавлял издательство «Заря Востока»).

<sup>2</sup> Д.И. Митрохин (1883-1973) — художник и книжный график. На выполненной им обложке *КАРТВЕЛЬСКИХ ОД* (книга не вышла) был изображен опирающийся на посох чабан в бурке, позади стада овец на фоне невысоких гор (сообщено Е.К. Лившиц).

## ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К Р.Н. ЛОМОНОСОВОЙ (1928-1931 гг.)

Публикация Ричарда Дэвиса.  
Подготовка текста Лидии Шоррокс

Неизвестная до недавнего времени корреспондентка Марины Цветаевой Раиса Николаевна Ломоносова (1888-1973) была женой одного из самых крупных русских инженеров-железнодорожников начала XX века, профессора Юрия Владимировича Ломоносова (1876-1952), уже с 1910-х годов занимавшего высокие посты в Министерстве путей сообщения. Это положение Ломоносов сохранил и после прихода большевиков к власти.

Вместе с мужем Раиса Николаевна ездила в командировки в США и в Западную Европу и, благодаря предельно привилегированному положению Ю.В. Ломоносова и его широким международным связям, она имела возможность заниматься некоторого рода литературным меценатством. В центре ее интересов стоял вопрос о переводе современной западной литературы, преимущественно «передового» толка, на русский язык. Она также всячески старалась способствовать ознакомлению западного читателя с молодой советской литературой, опять-таки путем переводов.

За советами по выбору книг для перевода Раиса Николаевна обращалась к Корнею Ивановичу Чуковскому. В письме Чуковского к ней от 7 июля 1925 г. читаем: «Есть в Москве поэт Пастернак. По-моему — лучший из современных поэтов. К нашему общему стыду — он нуждается. Все мы обязаны помочь Пастернаку, ибо русская литература держится и всегда держалась только Пастернаками. Он пишет мне горькие письма. Ему нужна работа. Он отличный переводчик. Не пришлете ли Вы ему какую-ниб[удь] книгу для перевода — стихи или прозу, он зн[ает] немецкий и англ[ийский]».

О последствиях благородного поступка Корнея Ивановича сам Пастернак писал кн. Д.П. Святополку-Мирскому в 1930 г.: «Пять лет назад ей [т.е. Р.Н. Ломоносовой. — Публ.] обо мне написал К.И. Чуковский, речь шла о переводе Уайльдовских *Epistola in carcere et vinculis*, с авторизацией,

---

Публикатор и Русский архив в Лидсе выражают благодарность Leverhulme Trust за финансовую поддержку, оказанную при подготовке материалов к печати.



которую ей легко было достать для меня. Все делалось без моего ведома, К[орней] И[ванович] знал, что я бедствую и т[аким] обр[азом] устраивал мой заработок. Но фр[анцузский] и англ[ийский] яз[ыки] я знаю неполно и нетвердо /.../. Сюрпризом, к[отор]ый мне готовил К[орней] И[ванович], я не мог воспользоваться. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р[аиса] Н[иколаевна] человек не "от литературы" /.../. (Цитата из письма Цветаевой к Р.Н. Ломоносовой от 1 февраля 1930, см. ниже, №5).

Между Пастернаком и Раисой Николаевной завязалась довольно оживленная переписка, которая продолжалась и после того, как Ломоносовы стали невозвращенцами в 1927 г., и которая приобрела особую теплоту после встречи Раисы Николаевны с первой женой Пастернака, Евгенией Владимировной, в Германии в 1926 г. Интересно отметить, что после «не-встречи» Пастернака с Цветаевой в Париже в 1935 г. Пастернак оставался в Лондоне по пути в Ленинград как раз у Ломоносовых.

В 1928 г. Пастернак в свою очередь заступился за нуждающегося собрата и написал Раисе Николаевне в письме от 5 апреля: «Все искал способов не затруднять Вас моей просьбой, с которой сейчас и начну, т[ак] к[ак] других путей не нашел. Ради Бога исполните ее, если это вообще возможно, во всей *точности*. Сообщите мне, пожалуйста, кому бы из Ваших здешних родных или друзей я мог передать сто рублей, и только в таком случае переведите такую же сумму Марине Ивановне Цветаевой по адр[есу]: М. Tsvétaïeva-Efron, 2 Avenue Jeanne d'Arc, Meudon (S.-et-O.) France. /.../ Она самый большой и передовой из живых наших поэтов, состоянье ее в эмиграции — фатальная и пока непоправимая случайность, она очень нуждается и из гордости это скрывает, и я ничего не писал еще ей о Вас, как и Вам пишу о ней впервые».

Раиса Николаевна, очевидно, сразу откликнулась на просьбу Пастернака, ибо уже 20 апреля Цветаева пишет ей первое письмо, чтобы поблагодарить ее за присланные деньги. Таким образом состоялось заочное знакомство Цветаевой с Раисой Николаевной. Оно длилось в общей сложности свыше трех с половиной лет и отразилось в двадцати двух сохранившихся в архиве Р.Н. Ломоносовой письмах от Цветаевой.

\*\*

Письма Цветаевой публикуются по оригиналам, находящимся в Собрании Р.Н. Ломоносовой (Русский Архив в Лидсе, MS717.2.309)\*. Зачеркнутые Цветаевой буквы и слова восстановлены в косых скобках: /.../.

\* Поскольку основная работа над настоящей публикацией была завершена в 1982 г., в ней не отражаются появившиеся за последние годы материалы, относящиеся, в частности, к переписке Цветаевой с Пастернаком и Рильке (см. прим.3 к №2 и прим.2 к №6). Зато текст публикации был учтен авторами новейших исследований о Цветаевой: С.Карлинским — *MARINA TSVETAËVA: THE WOMAN, HER WORLD AND HER POETRY* (Cambridge, Cambridge University Press, 1985) и В.Швейцер — *БИТ И БЫТИЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ* (Fontenay-aux-Roses, «Синтаксис», 1988).

Неразборчивые зачеркнутые слова указаны так: /?/. Старая орфография заменена новой. Раскрытие сокращенных слов и прочая редакторская правка — в квадратных скобках.

Письма К.И. Чуковского и Б.Л. и Е.В. Пастернаков, которые цитируются или упоминаются в публикации, также хранятся в Собрании Р.Н. Ломоносовой (MS717.2.65, MS717.2.232, MS717.2.233). Авторы выражают признательность семье Пастернака за любезное разрешение пользоваться хранящимися в семейном архиве письмами Р.Н. Ломоносовой.

За оказанную при подготовке публикации помощь приносим благодарность следующим коллегам: Н.Аplin, С.Вarnes, Е.Вlanc, F.Вridgham, D.Сollins, Р.Davidson, Т.Гладковой, D. Gillespie, M. Gollop, J. Graffy, S. Hutchings, С. Johnson, S. Karlinsky, R. Keys, К. Хенкину, Т. Логиновой-Муравевой, V. Lossky, M. Makin, P. Miles, J. Morison, G. Nivat, В. Перелешину, М. Razumovsky, Н. Резниковой, П. Рубинину, D. Shoenberg, G. Smith, J. Storck, Н. Струве, В. Швейцер, М.-L. Thyss, G. Vanecková, G. Wytzens. Выражаем признательность University of Leeds за финансовую поддержку нашей работы над архивом Ломоносовых.

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- АЦ** Анастасия Цветаева. *ВОСПОМИНАНИЯ*. М., «Советский писатель», 1971
- АЭ** Ариадна Эфрон. *СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ*. Париж, 1979.
- В2** М. Цветаева. *ВЕРСТЫ: СТИХИ*. М., «Костры», 1921.
- Вестник** «Вестник Русского Христианского Движения». Париж-Нью-Йорк-Москва
- ВР** «Воля России». Прага.
- ИП1, ИП2** М. Цветаева. *ИЗБРАННАЯ ПРОЗА* в двух томах. Нью-Йорк, «Руссика», 1979.
- НЖ** «Новый Журнал». Нью-Йорк
- НП** М. Цветаева. *НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА*. Париж, YMCA-Press, 1972.
- п.** Письмо/письма
- П** М. Цветаева. *ПСИХЕЯ*. Берлин, З.И. Гржебин, 1923
- ПАГ** *ИЗ ПИСЕМ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К САЛОМЕЕ АНДРОНИКОВОЙ-ГАЛЬПЕРН*. Публикация Г.П. Струве. — «Вестник Русского Христианского Движения», №138, 1983, с.164-189.
- ПН** «Последние новости». Париж.
- ПР** М. Цветаева. *ПОСЛЕ РОССИИ, 1922-1925*. Париж, 1928.
- ПТ** М. Цветаева. *ПИСЬМА К А. ТЕСКОВОЙ*. Прага, Academia, 1969.
- РЛА** «Русский Литературный Архив». Нью-Йорк, 1956.
- СЗ** «Современные Записки». Париж.
- Соч.1,** М. Цветаева. *СОЧИНЕНИЯ* в двух томах. М., «Художественная литература», 1980.
- Соч.2**
- Т.1, Т.2** М. Цветаева. *СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ* в пяти тт., т.1, 2, 3.
- Т.3** Нью-Йорк, «Руссика», 1980 и 1982.
- Bibliographie** *BIBLIOGRAPHIE DES OEUVRES DE MARINA TSVETAEVA*, établie par Tatiana Gladkova et Lev Mnukhin, Paris, Institut d'Etudes Slaves, 1982.
- Karlinsky** Simon Karlinsky. *MARINA CVETAEVA: HER LIFE AND ART*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1966.

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
20-го апреля 1928 г.

Милая Раиса Николаевна,

Экспресс пришел без меня, я на три дня уезжала за-город, за чужой за-город, потому что Мёдон, в котором я живу, тоже за-город<sup>1</sup>. Только потому не отозвалась тотчас же.

Сердечное спасибо за Бориса Леонидовича и за себя.

Способ пересылки, как видите, очень хорош, но мне очень со-вестно утруждать Вас.

Два года назад, даже меньше, я была в Лондоне, у меня там был вечер стихов, могли бы встретиться. Но может быть — Вас там не было?<sup>2</sup> (Стихи с предварительным докладом Кн. Свято-полка-Мирского, из которого я поняла только собственное имя, да и то в английской звуковой транскрипции!)<sup>3</sup>

Еще раз сердечное спасибо.

Марина Цветаева

— Да, Пастернак мой большой друг и в жизни и в работе. И— что самое лучшее — никогда не знаешь, кто в нем больше: поэт или человек? *Оба больше!*

Редчайший случай с людьми творчества, хотя, по-моему, — *законный*. Таков был и Гёте — и Пушкин — и, из наших дней, Блок<sup>4</sup>. А Ломоносова забываю, Вашего однофамильца, а может быть — предка?<sup>5</sup>

Отправлено экспрессом 21 апреля 1928 г. из Meudon в Cambridge.

<sup>1</sup> Ср. *ПТ*, с.63-64, п. от 10 апреля 1928 г.: «У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома — порядок, для меня — досуг, — первый за 10 лет. Первое чувство не: "могу писать!", а: "могу ходить!" Во второй же день ее водворения — пешком в Версаль, 15 километров, блаженство».

<sup>2</sup> Во время поездки Цветаевой в Лондон (10-25 марта 1926 г.) Р.Н. Ломоносова находилась в Берлине.

<sup>3</sup> Цветаева ездила в Лондон по приглашению кн. Дмитрия Петровича Святополка-Мирского (1890-1939), ее поклонника и большого ценителя ее поэзии, с 1922 по 1932 г. преподававшего русскую литературу в Лондонском университете. Незадолго перед приездом Цветаевой в Англию Свя-

тополк-Мирский опубликовал в лондонском журн. «The New Statesman» (27 February 1926, pp.611-613) короткую статью о ее поэзии, которая, возможно, легла в основу его «предварительного доклада» на вечере. Доклад Dr. G.Smith «М.И. Цветаева и Дм.П. Святотополк-Мирский», прочитанный на симпозиуме «Марина Цветаева» (Лозанна, 30 июня — 3 июля 1982 г.), печатается среди материалов симпозиума. См. также: Л.Н. Чертков. *МИРСКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ*. «Краткая литературная энциклопедия», т.4 (М., «Советская энциклопедия», 1967), ст.861; N.Lavroukhine, L.Tchertkov. *D.S. MIRSKY: PROFIL CRITIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE*. (Paris, Institut d'Etudes Slaves, 1980).

<sup>4</sup> Об особом отношении Цветаевой к творчеству Блока см. АЭ, с.63-65.

<sup>5</sup> Старинный дворянский род, к которому принадлежал муж Р.Н. Ломоносовой, не имел родственных связей с М.В. Ломоносовым (1711-1765).

## 2

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
29-го мая 1928 г.

Дорогая Раиса Владимировна<sup>1</sup>,

Простите великодушно: заматалась с вечером, имеющим быть 17го июня. Нужно ловить людей, устраивать и развозить билеты, всего этого я не умею, а без вечера мне не уехать<sup>2</sup>.

Париж раскаленный, 49° на солнце, 34° в тени. Люблю жару, но речную и морскую. Сущность камня — холод, в пышущем камне нарушена его природа.

Непосредственно после Вашего письма написала Борису<sup>3</sup> — все письмо было о Вас, как жалко, что получил его он, а не Вы!

А перед Вами я осталась невежей. Знаю. Пишу между двумя поездами, т.е. билетными поездками. Моя сущность — /одиночество/ сам по себе. Во мне, предлагающей билеты, нарушена моя природа.

Простите за несвязность речи и безобразный почерк. Всё хотелось написать Вам по-настоящему — хотя бы про поэтов и соловьев. Не вышло. Вышло — невежа.

Не сердитесь! Сама сержусь.

Сердечный привет и благодарность

М.Цветаева

Р.С. Мой поезд конечно ушел.

Марка с почтовым штемпелем вырезана. Послано в Cambridge.

<sup>1</sup> О путанице с отчеством Р.Н. Ломоносовой см. начало №3 и первую приписку к нему.

<sup>2</sup> О приготовлениях к вечеру 17 июня 1928 г. см. *НП*, с.398-399, 403-404, п. к В.Н. Буниной от 4 и 23 мая 1928 г. См. также *ПТ*, с.64, п. от 1 августа 1928 г. из Pontaillac (Charente Inférieure.: «Уехали мы на деньги с моего вечера — был в июне и скорее неудачный /.../. Но все-таки уехали».

<sup>3</sup> Пока последовательно опубликованы письма Цветаевой к Пастернаку лишь за 1922-1927 гг. (*НП*, с.263-327). См. также «Вопросы литературы» №4 (М., 1978), с.233-281) и *Вестник* №128 (1979), с.169-191. В «Новом мире» №4 (М., 1969), с.194-198 были опубликованы 3 письма от 1923, 1927 и 1935 гг.

3

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
12-го сентября 1929 г.

Дорогая Г-жа Ломоносова (а отчество Ваше позорно забыла, — в говоре оно слито, а так, в отвлечении, отпадает — по крайней мере у меня. *Имя* — помню.) Как жаль, что Вы не попали в Париж и какой стыд, что только сейчас, полгода по несвершении, от меня это слышите<sup>1</sup>.

Дело не в «собираании» написать, а в *лютости* жизни. Встаю в 7 ч., ложусь в 2 ч., а то и в 3 ч. — что в промежутке? — быт: стирка, готовка, прогулка с мальчиком (обожаю мальчика, обожаю гулять, но писать гуляя не могу), посуда, посуда, посуда, штопка, штопка, штопка, — а еще кройка нового, а я так бездарна! Часто за весь день — ни *получасу* на себя (писанье), ибо не забудьте людей: гостей — или в тебе нуждающихся.

Нас четверо в семье: муж, за которого я вышла замуж, когда ему было 18 лет, а мне не было 17ти<sup>2</sup>, — Сергей Яковлевич Эфрон, бывший доброволец (с Октябрьской Москвы до Галлиполи — *все*, сплошь в строю, /не считая/ кроме лазаретов (три раненья) — потом пражский студент, ученик Кондакова (о котором Вы наверное слышали — иконопись, археология, архаика, — 80-летнее *светило*)<sup>3</sup> — ныне один из самых деятельных — не хочу сказать вождей, не потому что не вождь, а потому что вождь — не то, просто — отбросив «один из» — *сердце* Евразийства<sup>4</sup>. Газета «Евразия», единственная в эмиграции (да и в России) — его замысел, его детище, его г/е/орб, его радость<sup>5</sup>. Чем-то, многим чем, а главное: со-

вестью, ответственностью, глубокой серьезностью сущности, похож на Бориса, но — мужественнее. Борис, как бы сказать, женское явление той же сути. Это о муже. Затем дочь — Аля (Ариадна), дитя моего детства, скоро 16 лет<sup>6</sup>, чудная *девочка*, не Wunder-Kind, а wunderbares Kind, проделавшая со мной всю Советскую (1917 г. — 1922 г.) эпопею. У меня есть ее 5 летние (собственноручные) записи, рисунки и стихи того времени. (6-летние стихи в моей книжке «Психея», — «Стихи дочери», которые многие считают за мои, хотя совсем не похожи)<sup>7</sup>. /Теперь/ Сейчас выше меня, красивая, тип скорее германский — из Kinder-Walhalla. — Два дара: слово и карандаш (пока не кисть), училась этой зимой (в первый раз в жизни) у Натальи Гончаровой<sup>8</sup>, т.е. та ей давала *быть*<sup>9</sup>. — И похожа на меня и не-похожа. Похожа страстью к слову, *жизнью* в нем (о, не влияние! *рождение*), непохожа — гармоничностью, даже идиллическостью всего существа (о не от возраста! помню *свои* шестнадцать). Наконец — Мур (Георгий) — «маленький великан», «Муссолини», «философ», «Зигфрид», «le petit phénomène», «Napoléon à Ste Hélène», «mon doux Jésus de petit Roi de Rome»<sup>10</sup> — всё это отзвуки встречных и поперечных — русских и французов — а по мне просто *Мур*, которому таким и быть должно. 4 1/2 года, рост 8 летнего, вес 33 кило (я — 52), вещи покупаю на 12 летнего (NB! француз) — серьезность в беседе, необычайная живость в движениях, любовь 1) к зверям (*все* добрые, если /их/ накормить) 2) к машинам (увы, увy! *ненавижу*)<sup>11</sup> 3) к домашним. Родился 1го февраля 1925 г., в полдень, в воскресенье. Sonntagkind<sup>12</sup>. Я еще в Москве, в 1920 г. о нем писала:

Все женщины тебе целуют руки  
И забывают сыновей.  
Весь — как струна! Славянской скуки  
Ни тени — в красоте твоей!<sup>13</sup>

Буйно и крупно-кудряв, белокур, синеглаз. Этого-то Мура я и прогуливаю — с февраля 1925 г. по нынешний день. Он не должен страдать от того, что я пишу стихи, — пусть лучше стихи страдают! (как оно и есть).

О себе не успела. Вкратце. Написала большую поэму Перекоп, которую никто не хочет по тем же причинам, по которым Вас красные считают белой, а белые — красной. Так и лежит<sup>14</sup>. А я пишу другую, имя которой пока не сообщаю<sup>15</sup>. Эпиграф к Перекопу: Dunkle Zypressen! — Die Welt ist gar zu lustig. — Es wird doch alles vergessen<sup>16</sup>.

[Приписка 1]: Сообщите отчество, которое я раз 10 сряду протвержу вместе с именем, тогда сольется.

[Приписка 2:] Как Ваш сын?<sup>17</sup> О Борисе ничего не знаю давно. Читала его «ПОВЕСТЬ» в Совр[еменном] Мире. — Чудно<sup>18</sup>. —

[Приписка 3:] Написала зимой большую работу о Н.Гончаровой (живописание). Идет в «Воле России»<sup>19</sup>.

[Приписка 4:] У меня есть большой друг в Нью-Йорке: Людмила Евгеньевна Чирикова, дочь писателя — не в этом дело — и художница — не в этом дело, — только как приметы<sup>20</sup>. Красивая, умная, обаятельная, добрая, мужественная и — по-моему — зря замужем. Начало девическое и мужественное. Узнайте у кого-нибудь ее адрес и при случае познакомьтесь. Вы ее полюбите. Ей тоже очень трудно жить, хотя внешне хорошо устроена. Любовь к ребенку и к ремеслу: двойное *благословение* Адама и Евы. — Целую Вас. Не сёрдитесь? Не сердитесь. Вы меня *тоже* любили. МЦ.<sup>21</sup>

Марка с большей частью почтового штемпеля вырезана. Послано в Нью-Йорк.

<sup>1</sup> Часть зимы 1929 г. Р.Н. Ломоносова провела в Италии, и по пути в США она собиралась остановиться в Париже.

<sup>2</sup> Когда Цветаева вышла замуж за С.Я. Эфрона (27 января 1912 г.), ей шел двадцатый год, а ему девятнадцатый.

<sup>3</sup> В честь Никодима Павловича Кондакова (1844-1925), знаменитого историка-византиниста, с 1922 г. профессора Карлова университета в Праге, был назван институт, который просуществовал с 1925 по 1945 г. Об отношении Цветаевой и С.Я. Эфрона к Кондакову см. также *НП*, с.137-138, 146, п. к О.Е. Черновой от 19 и 24 февраля 1925 г.

<sup>4</sup> Ср. *ПТ*, с.71, п. от 22 января 1929 г.: «Он, не считая еще двух-трёх, единственная *моральная сила Евразийства*. /.../ Его так и зовут "Евразийская совесть" /.../».

<sup>5</sup> «Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики», №1-35 (Clamart, 1928-1929). Среди редакторов были кн. Д.П. Святополк-Мирский и С.Я. Эфрон. О начале выпуска газеты см. *ПТ*, с.69, п. от 30 ноября 1928 г. В *ПТ*, с.80, п. от 30 сентября 1929 г. Цветаева сообщает, что газета «приостановилась». См. также *ПТ*, с.81, п. от 26 октября 1929 г. о «перерыве Евразии». В *ПТ*, с.81, п. от ноября-декабря 1929 г.[?] Цветаева пишет: «Евразия кончилась». См. также *ПТ*, с.85, п. от 17 октября 1930 г.

<sup>6</sup> 5/18 сентября 1929 г. А.С. Эфрон исполнилось 17 лет.

<sup>7</sup> Последняя часть книги Цветаевой *ПСИХЕЯ: РОМАНТИКА* (Берлин, 1923), «Психея: Стихи моей дочери» — состоит из 20 стихотворений, помеченных «Москва, Весна 1920 г., 7 лет». Цветаева собиралась опубликовать детские записи дочери в предполагаемом втором томе *ЗЕМНЫХ*

**ПРИМЕТ** (см. п. к Р.Гулко от 27 мая 1923 г. — *НЖ*, №58, 1959, с.181). Некоторые записи за 1918-1920 гг. использованы А.С. Эфрон в *АЭ*, с.36-67.

<sup>8</sup> Об отношениях Цветаевой с Натальей Сергеевной Гончаровой (1881-1962) см. М.Слоним. *О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ*. — *НЖ*, №104, 1971, с.156-157; Марина Цветаева. *МОЙ ПУШКИН*, изд.3-е, дополненное. М., «Советский писатель», 1981, с.213-215.

<sup>9</sup> Ср. начало очерка *О ГЕРМАНИИ: ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДНЕВНИКА 1919 ГОДА*, где Цветаева пишет, что в семье пастора под Дрезденом летом 1910 г. ей «давали быть» (*ИП1*, с.123).

<sup>10</sup> Помимо юношеского культа самого Наполеона, у Цветаевой было также увлечение его рано умершим сыном (1811-1832), королем Римским (1811), потом принцем Пармским (1814) и герцогом Рейхштадтским (1818), которому она посвятила несколько стихотворений, а также перевела пьесу о нем (E.Rostand. *L'AIGLON*). В *ПТ*, с.111, п. от 2 февраля 1934 г. Цветаева пишет, что ее сын «более похож на Наполеоновского сына, чем сам Наполеоновский сын». Ю.П. Иваску она сообщила, что «Пастернак зовет его "твой Наполеонид"» (*T2*, с.396). См. также *ПАГ*, с.188, п. от 6 апреля 1934 г.

<sup>11</sup> Ср. «Машина — порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. Человек поработил природу, но, поработив природу, сам поработен оружием порабощения — машиной /.../». (Гл. «Гончарова и машина». — *НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА*, *ИП1*, с.335).

<sup>12</sup> Ср: *ПТ*, с.28, п. от 2 февраля 1925 г.: «Мой сын родился в воскресенье, в полдень. По-германски это — Sonntagskind, понимает язык зверей и птиц, открывает клады».

<sup>13</sup> Третья строфа стихотворения *СЫН* («Так, левою рукой упершись в талью...») (Пасха, 1920 г.), впервые опубликованного в «Новостях литературы» (М., 1920), с.3, и перепечатанного в «Последних Новостях» (Париж, №2654, 28 июня 1928 г.) и в «Рассвете» (Чикаго, №165, 12 июля 1928 г.). См. также *T2*, с.396.

<sup>14</sup> Ср. *ПТ*, с.81, п. от ноября-декабря 1929 г.[?]: «Вот я полгода писала Перекоп (поэму гражданской войны) — никто не берет, правым — лева по форме, левым — права по содержанию». Поэма, которую Цветаева писала «с большой любовью и охотой» (*ПТ*, с.68, п. от 18 ноября 1928 г.) с лета 1928 г. и которую она читала на своем вечере 25 мая 1929 г., так и осталась неопубликованной до сравнительно недавнего времени («Воздушные пути» (Нью-Йорк), №5, 1967, с.9-56; Марина Цветаева. *ЛЕБЕДИНЫЙ СТАН. ПЕРЕКОП*. Париж, YMCA-Press, 1971). Дальше о *ПЕРЕКОПЕ* см. №№6, 14-17.

<sup>15</sup> Ср. *ПТ*, с.82, п. от 25 декабря 1929 г.: «Ныне — но не называю, чтобы не сглазить». В *ПТ* Цветаева не сообщала названия этой поэмы (см. с.85, 86, 92, п. от 17 октября 1930 г., 21 января и 3 июня 1931 г.), но речь идет о поэме о конце Царской Семьи (см. прим.9 к №5).



<sup>16</sup> Цветаева часто цитирует это трехстишие из стихотворения Theodor Storm *FRAUEN-RITORNELLE* в письмах 1920-х годов (см. *ПТ*, с.55, 65, п. от 28 ноября 1927 г. и 1 августа 1928 г.; *НП*, с.253, 281, п. к Л.О. Пастернаку от 21 декабря 1927 г. и к Б.Л. Пастернаку от 14 февраля 1923 г.). Цитата ассоциируется у Цветаевой то с Rilke, то с Lenau.

<sup>17</sup> Юрий Юрьевич Ломоносов (1908-1954) увлекался мотоциклами и довольно часто попадал в аварии.

<sup>18</sup> *ПОВЕСТЬ* Пастернака опубликована не в петербургском «Современном Мире» (1906-1918), а в «Новом мире» (Москва), №7, 1929, с.5-43.

<sup>19</sup> *НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО*. — *ВР*, 5-6, 7, 8-9 (1929).

<sup>20</sup> Людмила Евгеньевна Чирикова (род. 1896; в замужестве Шнитникова), дочь писателя Евгения Николаевича Чирикова (1864-1932), с семьей которого Цветаева дружила в Праге. Поэма-сказка Цветаевой *ЦАРЬ-ДЕВИЦА* (Петербург-Берлин, «Эпоха», 1922) вышла с обложкой и графическим оформлением Л.Е. Чириковой. В *НЖ*, №124, 1976, с.140-151, опубликованы краткие воспоминания Л.Е. Чириковой и ее сестры о Цветаевой и 6 п. от Цветаевой (1922-1926); см. также *НП*, с.88 и след.

<sup>21</sup> К письму приложены две фотографии Г.С. Эфрона: «До летней стрижки, Мёдон, апрель 1929 г.» и «Преемник Эдиссона Мур, 4 г. 7 мес., 1-го сент[ября] 1929 г. — Мёдон». См. приписку 1 к №5.

4

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
27-го сентября 1929 г.

Дорогая Г-жа Ломоносова! Это письмо Вы получите раньше первого, отправленного недели две назад<sup>1</sup>.

Направляю к Вам Елизавету Алексеевну Хенкину, моего большого друга, которая ныне покидает Мёдон на Нью-Йорк. Она Вам обо мне расскажет, — знает моего мужа, детей, жизнь, меня. — Живая связь. Уверена, что эта встреча к общей радости<sup>2</sup>.

Обнимаю Вас

Марина Цветаева

Послано с оказией в Нью-Йорк.

<sup>1</sup> №3.

<sup>2</sup> Елизавета Алексеевна Хенкина (урожд. Нелидова; 1881-1963), актриса, играла в частности в театре «Летучая мышь» Н.Балиева, теософка,

вышла замуж вторым браком за Виктора Яковлевича Хенкина (1881-1944), актера и певца того же театра «Летучая мышь», а потом, на Западе, театра «Синяя птица» Я.Южного. В дальнейшем В.Я. Хенкин разъезжал с концертами. Зимой 1929-30 гг. В.Я. Хенкин гастролеровал в США, и его семья переселилась на несколько месяцев из Парижа в Нью-Йорк. К №4 приложена следующая записка от Е.А. Хенкиной:

8.XII.29.

Mrs Lomonossoff.  
27 Borrow [т.е. Barrow]-Street  
New York City

Посылаю Вам письмо Марины Ивановны Цветаевой и очень хотела бы познакомиться с Вами. Очень задержала письмо, — было столько всяких тревожений и суэты [sic]. Позвоните мне Academy 3041; удобно звонить около 10, 2-х и 7-ми.

Пока желаю Вам всего лучшего и жду встречи.

Ваша Е.Хенкина.

Мой адрес. Mrs Henkin  
381 Central Park West  
New York City

Неизвестно, состоялась ли встреча.

5

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
1-го февраля 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Вы живете в стране, которой я всегда боялась: два страха: по горизонтали — отстояния от всех других, водной горизонтали, и по вертикали — ее этажей. Письмо будет идти вечно через океан и — вторая вечность — на сто-сороковой — или сороковой — этаж. Письмо *не* дойдет, или — дойдет уже состарившимся. Не моим.

Отсюда — всё, то есть: мое безобразное молчание на Ваше чудное, громкое как голос, письмо, и подарок. Есть у меня друг в Харбине<sup>1</sup>. Думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, верней на такой дали всё само-собой слышно, видно, ведомо — как на том свете — что писать потому невозможно, что — ненужно. На такие дали — только стихи. Или сны.

Вы не так видите, ибо там живете и *там* для Вас «здесь», но если бы Вы хоть *час* провели со мной, на воле, наедине, то Вы бы меня сразу поняли, ибо из таких чувствований, страхов, поступков — вся я. К тому же — я в Америке никогда не буду, знаю это, — не говоря уж о визах («визы» — вздор!) — чем устойчивее, благо-

устроеннее, благонадежнее пароходы — тем они мне страшней. Моя уверенность, т.е. уверенность моего страха (ВОДЫ), вызвала бы крушение — или как это на море называется. Из-за одного неверующего (обратно Содому!) весь корабль погибнет<sup>2</sup>.

Континентальнее человека не знаю. Реку люблю: тот же континент. На море — самом простом, почти семейном («*plage de famille*», как в путеводителях) — томлюсь, не знаю, что делать. Уже два раза во Франции ездила по летам на море<sup>3</sup>, и каждый раз, к вечеру первого же дня: не то! нет — то, то самое, т.е. первое детское море Генуи после: «Прощай, свободная стихия!» Пушкина: *разочарованье*<sup>4</sup>. После первого раза — привычное. Сколько раз пыталась полюбить! Как любовь.

Все мои обожают: Мур за песок, Аля за свободу (от хозяйства и, может быть, — немножко от меня), Сережа (муж, так же странно звучит как звучало бы о Борисе, чужое слово, но называю, чтобы не вышло путаницы) за всю свою раннюю юность: Крым, Кавказ и — другой Крым, 1919 г. — 20 г. Я одна, как белый волк, — хотя бурый от загара — не знаю что делать на этом, с этим, в этом (песке, песком, песке). Лежать *не* могу, купаться — замерзаю. Люблю плоскую воду и гористую землю, *не* обратно.

На ездящих в Америку — на столько-то, т.е. определенный, или назначенный срок — и из нее *возвращающихся* смотрю как на чудесные чудовища, существа с Марса или далее.

---

Недавно (для Америки недавно — с полгода назад) туда уехала моя большая приятельница, Елизавета Алексеевна Хенкина, жена певца, — м.б. слышали? С хорошим большим мальчиком. (Приснилось или нет, что Вы мне о ней писали? Будто она писала — Вам?)<sup>5</sup> Есть у меня в Америке еще одна приятельница, дочка писателя Чирикова, Людмила (в замужестве Шнитникова), художница, красивая, даровитая, очаровательная<sup>6</sup>. В Нью-Йорке. (Для меня, как для всех необразованных людей, Америка — если не ковбой — так Нью-Йорк).

---

Как грустно Вы пишете о сыне: «Совсем большой. Скоро женится — уйдет». Моему нынче — как раз 5 лет. Думаю об этом с его, а м.б. с *до* — его рожденья. Его жену *конечно* буду ненавидеть. Потому что *она не я*. (*Не* обратно.)

Мне уже сейчас грустно, что ему пять лет, а не четыре. Мур, удивленно: «Мама! Да ведь я такой же! Я же не изменился!» —

«В том-то и... *Всё* будешь такой же, и вдруг — 20 лет. Прощай Мур!» — «Мама! Я никогда не женюсь, потому что жена — глупость. Вы же знаете, что я женюсь на тракторе». (NB! Утешил!)

На Ваш подарок он получил — на Рождество: башмаки, штаны, бархатную куртку, Ноев ковчег (на колесах, со зверями), всё постельное белье, и — ныне — чудный «дом на колесах» — «goutte», где живут — раньше — цыгане, теперь — семьи рабочих. Приставная лесенка, ставни с сердцами, кухня с плитой, — все по образцу настоящего. Мур напихал туда пока своих зверей.

Аля на Рождество (тот же источник) получила шубу, башмаки и запись на Cours du Louvre: Histoire de l'Art и Histoire de la Peinture. Учится она у Гончаровой, — ее в Америке хорошо знают, много заказов<sup>7</sup>. Москвичка как я. Я о ней в прошлом году написала целую книгу, много месяцев шедшую в эсеровском журнале «Воля России». Хотела статью, получилась книга: Наталья Гончарова — жизнь и творчество<sup>8</sup>. — М.б. будет переведена на англ[ийский] яз[ык]<sup>9</sup>. (Оцените идиотизм, мне кажется — потому что Вы в Америке — что по-русски не дойдет. Мое отличие от остальных идиотов, что я свой — сознаю.)

Сейчас пишу большую поэму о Царской Семье (конец). Написаны: Последнее Царское — Речная дорога до Тобольска — Тобольск воевод (Ермака, татар, Тобольск до Тобольска, когда еще звался Искер или: Сибирь, отсюда — страна Сибирь). Предстоит: Семья в Тобольске, дорога в Екатеринбург, Екатеринбург — дорога на Рудник Четырех братьев (там жгли)<sup>10</sup>. Громадная работа: гора. Радуюсь.

Не нужна никому. Здесь не дойдет из-за «левизны» («формы»<sup>11</sup>, — кавычки из-за гнусности слов), там — туда просто не дойдет, физически, как все, и больше — меньше — чем все мои книги. «Для потомства?» Нет. Для очистки совести. И еще от сознания силы: любви и, если хотите, — дара. Из любящих только я смогу. Потому и должна.

---

Муж болен: туберкулёз легких, когда-то в ранней юности болел и вылечился. Сейчас в Савойе. Друзья сложились и устроили на два месяца в санаторию<sup>12</sup>. Дальше — не знаю. Начал прибавлять. (1 м. 87 сант. росту и 65 кило весу: вес костей!<sup>13</sup> И тяжелая болезнь печени, тоже с юности, мешающая питанию т.е. восстановлению легких. Заколдованный круг.)

Я уже месяц одна с детьми. Уборка, готовка, стирка, штопка, прогулка с Муром, и — «как? уже два часа?» (ночи). Как и сейчас.

Пишу по утрам, пока кипят супы и картошки. А по ночам — письма. Но я все-таки *очень* виновата перед Вами. Борис пишет часто, рвется на Запад (по мне — на волю!)<sup>14</sup>. А у нас украли Кутепова. По мне — убили<sup>15</sup>.

Сейчас лягу и буду читать Ludwig'a «Wilhelm der Zweite»<sup>16</sup>.

Дорогая! А вот вещь, похожая на чудо — и на головолмку: любовь к тебе второго, сообщенная третьему, третьим — четвертому и четвертым тебе (Вам).

Учтите, что четвертый первого (и обратно), третий первого (и обратно), второй первого (и обратно) — но это еще не всё! третий второго (и обратн[о]) *никогда не видел*.

Теперь представлю имена: первый — Вы, второй — Борис, третий — Кн. Святополк-Мирский, четвертый — я.

Слушайте:

...«А вот случай. У нас приятельница, Р.Н. Ломоносова, живущая когда в Англии, когда в Америке. В 26-том году в Германию ездила моя жена, и для нее эта дружба, завязавшаяся раньше путем переписки, нашла воплощение в живой и все оправдавшей встрече. Я же ее никогда, как и Вас, в глаза не видал. Пять лет тому назад ей обо мне написал К.И. Чуковский, речь шла о переводе Уайльдовских *Epistola in carcere et vinculis*, с авторизацией, которую ей легко было достать для меня. Все делалось без моего ведома, К.И. знал, что я бедствую и т[аким] обр[азом] устраивал мой заработок. Но фр[анцузский] и англ[ийский] яз[ыки] я знаю неполно и нетвердо, до войны говорил на первом и понимал второй, и все это забылось. Сюрпризом, к[отор]ый мне готовил К.И., я не мог воспользоваться<sup>17</sup>. Но вряд ли он знает, какой бесценный, какой неоценимый подарок он мне сделал. Я приобрел друга тем более чудесного, то есть невероятного, что Р.Н. человек не "от литературы", и только в самое последнее время я мог убедиться, что мои поделки что-то говорят ей (она мне писала про "Повесть")<sup>18</sup>. По всему я бы должен был быть далек ей. Она живет миром недоступным мне (я бы должен был родиться вновь, и совсем совсем другим, чтобы в нем только найтись, если не очутиться); она иначе представляет себе мой обиход и мою обстановку. Ее занимает движение европ[ейских] вещей, т.е. по ее счастливой непосредственности прямо говорит ей о движущихся под этим глубинах. Я не менее ее люблю Запад, но мне надо было бы уйти от явности, от злобы дня в историю, от заведомости в неизвестность, чтобы свидеться с глубиной, с которой она (т.е. Вы, М.Ц.) сталкивается походя, уже на поверхности. Она — жена большого инженера и профессора, Ю.В. Ломоносова<sup>19</sup>. Они никогда подолгу не заживаются на одном месте — журналы, пу-

тешества, переезды, общественность — все это она видно осиливает, смеясь. — И вот, меня волнует один ее почерк, и это можно сказать Вам, а не ей, потому что это совсем не то, что может получиться в прямом к ней отнесении.

Иногда сюда приезжают просто путешествующие англичане и американцы, ездят, как съездили бы в Индию, или Грецию, или в Тунис. Было два случая, когда это были знакомые Р.Н., с рекомендацией от нее. Так, осенью, мы были в гостинице у некой Ms. M.Kelsey (? М.Ц.), седой, порывистой, горячо во всё вникающей, — милой — дамы<sup>20</sup>. В исходе долгой беседы она спросила, не имеется ли чего в переводе из того, что она записала под мою диктовку (я назвал ей с десяток имен прозаических и трех или четырех поэтов) и нет ли статей по-англ[ийски] или по-фр[анцузски]. И тут жена назвала Вашу статью в Mercury». (NB! Тут следует чисто-пастернаковское, в самом прямом смысле *отступление*, как перед врагом — перед хвалой ему Мирского<sup>21</sup>. Так же, впрочем Борис отступает перед всяким (завершенным) делом своих рук). «Оно (т.е. отступление. М.Ц.) послужило поводом к рассказу о Ломоносовой, а не может быть той дряни, которая этим обстоятельством не была бы обелена. Я уже познакомил М.И. с нею. Теперь знакомы и Вы».

Это отрывок из письма Бориса Святополку-Мирскому (проф[ессору] русской лит[ературы] в Лондоне, *единственному* в эмигр[ации] критику, *ненавидимому* эмиграцией, англичане любят и чтят), переславшему письмо на прочтение мне. Источник этого письма, *заряд* его — Вы, нужно, чтобы творение вернулось к творцу, или еще лучше — река вспять, как Темза в часы отлива<sup>22</sup>. У меня здесь явно сознание завершенного круга, всё сошло — как в песне, как в сказке.

Увидят ли когда-нибудь иначе как синим или лиловым или черным чернилом на бумаге — четвертый первого, второй третьего, третий первого, первый второго?<sup>23</sup>

МЦ.

Об *этом* дохождении письма Борис не должен знать. Это его смутило бы. Не я переслала, само *вернулось*.

[Приписка 1:] Спасибо за карточку свою и сына. Какой большой сын! Какая большая даль! Какая маленькая Вы! Как девочка в стране гигантов.

Придет весна — солнце — опять буду снимать, тогда пришло всех нас. А тот затылок (кудрявый) — моего сына, а не до чери, она совсем гладкая, как мы все, — и Мур вьется за всех<sup>24</sup>.

- «Мама, как по-франц[узски] генерал?» — «Général».  
— «Потому что у него — жена?»

[Приписка 2:] Обнимаю и бесконечно — благодарю, и тронута, и смущена.

МЦ.

Отправлено заказным 3 февраля 1930 г. из Meudon в Pasadena (California).

<sup>1</sup> Речь, возможно, идет о харбинском писателе Арсении Несмелове (1892-1945).

<sup>2</sup> Ср. «Страх воды. Страсть к морю. Но в Америку не через море, а через океан, всю воду, всю бездну, все *понятие воды*. И, мнится мне, не только воды, а символа Америки — парохода боится, Титаника /.../». (Гл. «Защита твари». — **НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА**, *ИП1*, с.319).

<sup>3</sup> В 1926 г. Цветаева отдыхала в St. Gilles-sur-Vie (Vendée), в 1928 г. — в Pontailiac (Charente Maritime).

<sup>4</sup> Ср. *ПТ*, с.39, п. от 9 мая 1926 г.: «Океан. Сознаю величие, но не люблю (никогда не любила моря, только раз, в первый раз — в детстве, под знаком пушкинского: "Прощай, свободная стихия!"). Она свободная, а я на ней — связанная. /.../ Что мне с морем делать?» (см. также с.42-43, п. от лета 1926 г.?). Те же самые мотивы встречаются и в п. к Пастернаку от 29 мая 1926 г. (*НП*, с.301-303), чтобы потом развернуться в подробный анализ влияния пушкинского стихотворения *К МОРЮ* (1824) на Цветаеву-девочку в гл. «Первая Гончарова». — **НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА** (*ИП1*, с.311-312) и особенно в последней части очерка *МОЙ ПУШКИН* (*ИП2*, с.272-279). Там речь идет о поездке в Нерви под Генуей осенью 1902 г. См. также *ПАГ*, с.174, п. от 20 августа 1929 г.

<sup>5</sup> См. прим.2 к №4. Сын Е.А. Хенкиной, Кирилл Викторович Хенкин (род. 1916) — автор книги *ОХОТНИК ВВЕРХ НОГАМИ* (Frankfurt/Main, Possev, 1980).

<sup>6</sup> См. прим.20 к №3.

<sup>7</sup> См. гл. «Защита твари». — **НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА** (*ИП1*, с.319-320).

<sup>8</sup> См. прим.19 к №3. Субсидированный чехословацким правительством орган эсеров «Воля России» выходил в Праге сначала как ежедневная газета (сентябрь 1920 — октябрь 1921 гг.), затем как еженедельник (январь-август 1922 г.), пока не утвердился как не совсем регулярно выходящий «журнал политики и культуры» (сентябрь 1922 — 1932 гг.). О сотрудничестве Цветаевой в *ВР* см.: Марк Слоним. *О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ: ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*. — *НЖ*, №100, 1970. Список произведений Цветаевой, напечатанных в *ВР*, приведен в *Bibliographie*, с.215-216.

<sup>9</sup> На английский язык очерк *НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА* до сих пор не переведен.

<sup>10</sup> Из всей *ПОЭМЫ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ* Цветаева опубликовала лишь часть о Тобольске воевод: *СИБИРЬ*. — *ВР*, №3-4, 1931, с.241-246. Перед отъездом в СССР в 1939 г. Цветаева оставила рукопись поэмы у друзей в Париже. Достоверных сведений о дальнейшей судьбе рукописи нет. См. воспоминания Марка Слонима в *НЖ*, №104, 1971, с.167-168, и комментарий А.А. Саакянц к советскому переизданию *СИБИРИ* в *Соч.1*, с.539-540. О поэме см. также: Н.Городецкая. *В ГОСТЯХ У М.И. ЦВЕТАЕВОЙ*. — «Возрождение». Париж, 7 марта 1931 г.; Е.Извольская. *ТЕНЬ НА СТЕНАХ*. — «Опыты», Нью-Йорк, №3, 1954, с.157; п. к Ю.П. Иваску от 11 октября 1935 г. — *РЛА*, с.226; *ПТ*, с.136-137, п. от 19 марта 1936 г. по поводу докладов А.Ф. Керенского о гибели Царской Семьи. См. прим.15 к №3 и прим.7 к №6; см. также *ПАГ*, с.173, п. от 20 августа 1929 г.

<sup>11</sup> См. прим.14 к №3.

<sup>12</sup> О новом ухудшении здоровья С.Я. Эфрона см. также *ПТ*, с.81-82, п. от осени 1929 г. и от 25 декабря 1929 г. С.Я. Эфрон уехал из Медона 23 декабря 1929 г. и лечился два месяца в русском пансионе-санатории *Château d'Arcine, St. Pierre de Rumilly (Haute Savoie)*, который держала семья Штранге, после войны вернувшаяся в СССР.

<sup>13</sup> См. *ПТ*, с.31, п. от 12 августа 1925 г.

<sup>14</sup> В московском архиве ЦГАЛИ хранится 84 письма Пастернака к Цветаевой за 1922-1935 гг. (см.: *ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ*, 4, М., «Советская Россия», 1982, с.429). Тексты неоднократно упоминаемых Цветаевой писем от Пастернака остались нам недоступны.

<sup>15</sup> «26 января 1930 г. случилось событие, вызвавшее огромное негодование не только русской эмиграции, но и всего цивилизованного мира: председатель Русского Обще-Воинского Союза генерал Александр Павлович Кутепов [1882-1930] был похищен большевистскими агентами среди бела дня в центре Парижа. /.../ Утром 28 января эмиграция узнала об исчезновении ген. Кутепова из парижских газет *Возрождение* и *Последние Новости*». (*ПОХИЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА А.П. КУТЕПОВА БОЛЬШЕВИКАМИ. Следственные и политические материалы в двух выпусках*, под ред. Б.Бажанова и Н.Алексева. Вып.1, Париж, 1930, с.3, 18).

<sup>16</sup> Emil Ludwig (1881-1948), *WILHELM DER ZWEITE* (Berlin, E.Ro-wohlt, 1926). Помимо книги о немецком императоре Вильгельме II (1859-1941), написанной этим плодовитым биографом великих людей (книги о Бисмарке, Боливаре, Бетховене, Вагнере, Клеопатре, Муссолини и др.), Цветаева также читала его книгу о Наполеоне и назвала ее «гениальной» (*ПТ*, с.111, п. от 2 февраля 1934 г.).

<sup>17</sup> Ср. п. Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) к Р.Н. Ломоносовой от 7 и 22 июля и 29 августа 1925 г.: «Есть в Москве поэт Пастернак. По-моему — лучший из современных поэтов. К нашему общему стыду



— он нуждается. Все мы обязаны помочь Пастернаку, ибо русская литература держится и всегда держалась только Пастернаками. Он пишет мне горькие письма. Ему нужна работа. Он отличный переводчик. Не пришлете ли Вы ему какую-ниб[удь] книгу для перевода — стихи или прозу, он зн[ает] немецкий и англ[ийский]». «Кстати, я хотел познакомиться с Вами поэта Пастернака и дал ему Ваш адрес. Он очень живописно изобразил мне те московские дебри, в которых находится Ваше жильё. Но Вас он не нашел. Это жаль. Я считаю его одним из самых выдающихся русских поэтов, и мне больно, что он так бесприсветно нуждается. Не могли бы Вы ему помочь? Он хороший переводчик (с немецкого, английского, французского). Пошлите ему какую-нибудь *стихотворную* революционную пьесу или вообще сборник револ[юционных] стихов. Вы спасете большого поэта от голода». «Присланные Вами книги все лежат у меня. /.../ *Epistola* я послал Пастернаку».

Под названием *EPISTOLA: IN CARCERE ET VINCULIS* вышли в немецком переводе Max Meyerfeld (Berlin, S.Fischer, 1925) посмертно опубликованные произведения Оскара Уайльда (1854-1900) *DE PROFUNDIS* (1905) и *THE SUPPRESSED PORTION OF «DE PROFUNDIS»* (1913). Уже существовал перевод *DE PROFUNDIS* Ек. Андреевой в издании «Сочинения Оскара Уайльда». М., «Гриф», 1905.

<sup>18</sup> См. прим.18 к №3. Отзыв Р.Н. Ломоносовой о *ПОВЕСТИ* не сохранился. Несколько писем от нее за период с марта 1928 г. по декабрь 1929 г., кажется, пропало из архива Пастернака.

<sup>19</sup> Юрий Владимирович Ломоносов (1876-1952), профессор Киевского политехнического института (1905-1907), занимал крупные посты в технической администрации Екатеринбургской, Ташкентской, Николаевской железных дорог, служил в Министерстве путей сообщения (1915-1917) и в Наркомате путей сообщения (1918-1921), ездил в командировки в США и Канаду, Швецию, Германию, с 1927 невозвращенец. Автор капитальных трудов по развитию дизельных локомотивов и другим вопросам железнодорожной техники. О нем см. статью Brian Reed. *LOMONOSSOFF: A DIESEL TRACTION PIONEER. — RAILROAD HISTORY*. Boston, Mass, 128 (Spring 1973), pp.35-49.

<sup>20</sup> Mary Kelsey (1877-1948) была видной американской квакершей, активно участвовала в работе Friends Emergency War Victims Relief Committee во Франции после Первой мировой войны и, в частности, организовала в 1920-х гг. в своем французском имении ряд конференций (Conférence de Nonfleur), посвященных поискам мира в международных отношениях. О ней читаем в дневниковой записи от 24 апреля 1929 г. находившегося тогда в Филадельфии Ю.В. Ломоносова: «Третьего познакомился с очень милой квакершей Miss Kelsey: она состоит здесь председательницей общ[ества] культурного сближения с Сов[етской] Россией; в 1925 была в России /.../. В октябре 1929 г. Mary Kelsey еще раз ездила в СССР, она упоминается в п. Р.Н. Ломоносовой к Б.Л. и Е.В. Пастернакам от 18 марта 1930 г., Б.Л. Пастернака к Р.Н. Ломоносовой от 23 марта 1931 г. и Б.Л.

Пастернака к О.М. Фрейденберг от 11 июня 1930 г. (см. Борис Пастернак. *ПЕРЕПИСКА С ОЛЬГОЙ ФРЕЙДЕНБЕРГ*, под ред. и с комм. Эллиота Моссмана. New York & London, Harcourt Brace Jovanovich, 1981, p.132). См. также некролог (с фотографией) Mary Kelsey в «The New York Times», 24 March 1948, p.25.

<sup>21</sup> В статье *THE PRESENT STATE OF RUSSIAN LETTERS*. — «The London Mercury», XVI, 93 (1927), pp.275-286, Д.П. Святополк-Мирский дал очень высокую оценку творчеству Пастернака и Цветаевой. О скромности Пастернака ср. п. к О.М. Фрейденберг от 3 января 1928 г. (*ПЕРЕПИСКА С ОЛЬГОЙ ФРЕЙДЕНБЕРГ*, с.105). См. там же, с.359-360 об отношениях между Пастернаком, Святополком-Мирским и Цветаевой.

<sup>22</sup> См. прим.19 к №13.

<sup>23</sup> Цветаева так и не встретила с Р.Н. Ломоносовой. В п. к Пастернаку от 18 марта 1930 г. Р.Н. Ломоносова пишет: «Недавно получила длинное письмо от М.И.Ц[ветаевой] [№5. — Публ.]. Какой она интересный и хороший человек. А встречи боюсь /.../. Вдруг окажутся две М.И. /.../ И за себя боюсь наиболее, скучная, некрасивая». Пастернак и Святополк-Мирский встречались после возвращения последнего в СССР в 1932 г. Они оба принимали участие, например, в съезде писателей в Минске весной 1936 г., во время которого, как и раньше, Мирский защищал Пастернака от нападений со стороны А.И. Безыменского и др. С Р.Н. Ломоносовой Святополк-Мирский лично не познакомился. О нем читаем не совсем справедливый отзыв ее в п. к Пастернаку от 20 ноября 1933 г.: «Святополк-Мирский написал книгу *Pushkin* на английском языке. Нечто вроде литературного пособия. Свысока и снисходительно. А главное (не сердитесь если С[вятополк]-М[ирский] Ваш друг) скучно. Разделал бы его Александр Сергеевич двумя строчками». Пастернак остановился у Р.Н. и Ю.В. Ломоносовых в Лондоне в 1935 г. по пути из Парижа в Ленинград после международного конгресса писателей в защиту культуры, во время которого он встречался и с Цветаевой.

<sup>24</sup> См. прим.21 к №3.

6

Meudon (S. et O.) France  
2, Av. Jeanne d'Arc  
3-го апреля 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Как благодарить??

Поставьте себя на мое место и оцените его — или мою — без/в/ыходность. Всю безыходность моей благодарности. Мне часто говорят, еще чаще — говорили, что у меня вместо сердца — ещё раз ум, — что отнюдь не мешало — критикам например — обвинять мои стихи в бессмысленности<sup>1</sup>. Ответ мой был один:

когда у меня болит, и я знаю что болит и отчего болит — болит не меньше, м.б. больше, потому что нет надежды, потому что болезнь, при всей видимости случайности, хроническая. Так с чувствами. Хотите слово самого большого поэта — не хочется сказать современности, не мое мерило — просто самого большого поэта который когда-либо был и будет — Рильке (Rainer Maria Rilke)<sup>2</sup>

— Er war Dichter und hasste das Ungefährliche/e — (можно еще и Ungefährliche: от Gefahr, т.е. безответственное)<sup>3</sup> — так и я в своих лабиринтах.

Простите за такое долгое лирическое отступление, но иначе Вам меня не понять.

Мне бесконечно-жалко, что у меня нет на руках своих вещей — иных уже не достанешь — насколько легче было бы беседовать через океан. Ведь всякое письмо — черновик, не доведенный до беловика, отсылая — страдаю. А времени проработать письмо — нет. Всякое письмо сопровождается угрызением моей словесной совести (совести пишущего, а м.б. и самого слова во мне)<sup>4</sup>. Эта своеобразная и трагическая этика была дана мне — /?/ если не взамен, то в ущерб другой. Трагическая потому что ей ни в сем мире ни в том — что награды! *ответа* — нет. Так например я могла бы быть первым поэтом своего времени, знаю это, ибо у меня есть *всё*, все данные, но — *своего* времени я не люблю, не признаю его своим,

...Ибо *мимо* родилась  
Времени. Вотще и всуе  
Ратуешь! Калиф на час:  
Время! Я тебя миную<sup>5</sup>.

Еще — меньше, но метче: могла бы просто быть богатым и признанным поэтом — либо там, либо здесь, даже не кривя душой, просто зарядившись другим: чужим. Попутным, не-насуущим своим. (Чужого нет!) И — настолько не могу, настолько отродясь *ne daigne*<sup>6</sup>, что никогда, ни одной минуты серьезно не задумалась: а что если бы?, — так заведомо решен во мне этот вопрос, так никогда не был, не мог быть — вопросом.

И вот — пишу Перекоп (к[оторо]го никто не берет и не возьмет п[отому] ч[то] для монархистов непонятен словесно, а для эсеров неприемлем внутренно) — и Конец Семьи (Семи — т.е. Царской Семьи, /сем/ семеро было)<sup>7</sup>, а завтра еще подыму на себя какую-нибудь гору.

Но одно: если существует Страшный Суд Слова — я на нем буду оправдана<sup>8</sup>.

«Богатым и признанным» — нет, лучше бедным и призванным. Достойнее. Спокойнее. Вещи за себя мстят: я никогда не любила внешнего, это у меня от матери и от отца. Презрение к вещам. — Странная игра случая. Мать умирала в 1905 г., мы с сестрой были маленькие дети, но из молодых да ранних, особенно я, старшая, — и вот страх: а вдруг, когда вырастут, «пойдут в партию» и всё отдадут на разрушение страны. Деньги кладутся с условием: неприкосновенны до 40-летия наследниц. Начинается другая революция (*наша!*) мне 22 года<sup>9</sup>, — порядочно до сорока? Коммунисты (знакомые) мне предлагали: дайте расписки, мы вам деньги доставим, и «до сорока лет». Особые условия. Невозможно. Так пропали у меня 100 тысяч, к[отор]ых я никогда не только в глаза не видала, но и не ощутила своими (сорок лет!)<sup>10</sup>, не считая еще 100 тысяч или больше — наследство бабушки, к[отор]ая умерла в революцию<sup>11</sup>, не считая двух домов — одного в Москве<sup>12</sup>, другого бабушкиного, в хлыстовском гнезде Тарусе<sup>13</sup> Калужской губ[ернии] — не имение, старый дом в екатерининском саду<sup>14</sup>: *читая* лирика, не считая потом всего золота, всех камней, всех драгоценностей и мехов, к[отор]ые я сдавала для продажи на руки знакомым — казалось, друзьям — и которые — и те и другие — пропадали безвозвратно. *Le hasard c'est moi*<sup>15</sup>.

И кормила меня, выручала меня, в конце концов, только моя работа, единственное что я в жизни, кроме детей и нескольких человеческих душ — любила.

Так было, так будет.

---

От Бориса давно ничего. Он пишет припадками. Как бы я его хотела за границу! Продышаться. Тоже «игра судьбы» *ему* расплачиваться за Россию, когда он весь *под знаком готической стрелы*. Тоже неравный брак. *Ему* /рас/платить по счетам современности, когда:

Какое, милые, у нас  
Тысячелетье на дворе?<sup>16</sup>

Если у меня совесть слова, то у него совесть — сроков.

---

А чек поехал обратно на три недели. Так мне сказали, п[ото]му ч[то] нет *compte courant* (*courant* — куда? Как реки в море?) Была в страшном банке на страшном ездовом узле *Concorde*. (Хорошо «Согласие», — всё врозь!)

Англичанин, прямо глядя в глаза: — «Qui êtes-Vous, Madame». Я, *подумав*: «Une réfugiée russe, Monsieur». Вот и поехал чек, опять через море<sup>17</sup>.

Скоро Пасха, приедет на три дня муж из санатории, скоро мой вечер<sup>18</sup>, м.б. потом удастся уехать в горы. Рядом с *château*, где санатория, крохотный домик, к[отор]ый С.Я. облюбовывает для нас. С двумя козами<sup>19</sup>.

Целую Вас. Простите за бессловесность моей благодарности  
МЦ.

[Приписка:] Недавно видела Вашу Пасадену в кинематографе. — Красавица. — Пишите про природу и про погоду.

Отправлено 3 апреля 1930 г. с Place de Vaugirard (ныне Place Adolphe-Chéroux, Paris XV<sup>e</sup>) в Pasadena (California) и потом в Baltimore (Maryland).

<sup>1</sup> Особенно на стихотворения Цветаевой нападал влиятельный критик Г.В. Адамович (1894-1972), но, пожалуй, самый характерный пример «неприятия» ее творчества принадлежит П.Б. Струве (1870-1944): «Ни к чему. Безнужно, ибо беспредметно. Безнужно, ибо невнятно /.../ бессодержательно, нет "сути" /.../» (*ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ*. «Возрождение», Париж, 6 мая 1926 г.).

<sup>2</sup> Ср. *ПТ*, с.56, п. от 28 апреля 1927 г.: «Р[ильке] — великий поэт всей современности». См. также *ИЗ ПЕРЕПИСКИ РИЛЬКЕ, ЦВЕТАЕВОЙ И ПАСТЕРНАКА В 1926 ГОДУ*, публикация и комментарии К.М. Азадовского, Е.В. и Е.Б. Пастернаков. — «Вопросы литературы», М., №4, 1978, с.233-281.

<sup>3</sup> В романе Рильке *DIE AUFZEICHNUNGEN DES MALTE LAURIDS BRIGGE* (1910) пишется о смерти Felix Arvers: «Er war ein Dichter und hatte das Ungefähre; oder vielleicht war es ihm nur um die Wahrheit zu tun; oder es störte ihn, als letzten Eindruck mitzunehmen, dass die Welt so nachlässig weiterginge» (Wiesbaden, Insel-Verlag, 1952, S.199-200). Только слово «nachlässig» дает повод для перевода Цветаевой «безответственное», ибо «ungefähr» значит «приблизительный, «случайный», тогда как «ungefährlich» значит «безопасный».

<sup>4</sup> Ср. *АЭ*, с.17: «К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям».

<sup>5</sup> Последняя строфа *ХВАЛЫ ВРЕМЕНИ* из *ПР*. Ср. п. к Л.И. Шестову от 6 июня 1927 г. (*Вестник*, №129, 1975, с.127); *ПТ*, с.97, п. от 1 января 1932 г.: «Словом, точное чувство: мне в современности места нет»; и в статье того же периода *ПОЭТ И ВРЕМЯ*: «Даже мой собственный вызов времени:

Ибо мимо родилась /.../

— крик моего времени — моими устами, контр-крик ему самому себе. Живи я сто лет назад, когда реки тихо текли... Современность поэта есть его обреченность на время. Обреченность на водительство им». (ИП1, с.370).

<sup>6</sup> Ср. «/.../ мой жизненный девиз и могильная надпись:  
Ne daigne!

— чего? Всего: ничего не daigne /.../». («Самый конец чорта, то есть самый хвост чорта отсеченный Рудневым», «Русский Альманах», Париж, 1981, с.27; относится к опубликованному в СЗ, №59, 1935, с.205-226, рассказу *ЧОРТ*; текст рассказа восстановлен в Соч.2, с.127-156). Ср. девиз герцогов Rohan:

Roi ne puis  
duc ne daigne  
Rohan suis.

(Hervé du Halgouet, *LA VICOMTE DE ROHAN ET SES SEIGNEURS*, Saint Brieuс, 1926, p.vi).

<sup>7</sup> Вместе с императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной были убиты царевич Алексей и четыре Великих Княжны.

<sup>8</sup> Ср. заключительное предложение очерка *ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ* (1932): «Но если есть Страшный суд слова — на нем я чиста». (ИП1, с.406).

<sup>9</sup> Ко времени Февральской революции 1917 г. Цветаевой шел 25-й год.

<sup>10</sup> Ср. *ПТ*, с.43, 58, п. от 24 сентября 1926 г. и 12 декабря 1927 г.: «Потеряв 100 царск[их] тысяч рублей в Госуд[арственном] Банке (революция), я не горевала ни минуты, ибо, не будучи с ними связана, не считала их своими /.../». «Недавно мне кто-то сказал, что мои прежние русских сто тысяч равнялись бы миллиону франков. — Звук. —».

<sup>11</sup> Цветаева имеет в виду Сусанну Давыдовну (Тетю, Тью), вторую жену деда, Александра Даниловича Мейна (1836-1899), на которой он женился лишь после замужества матери Цветаевой в 1891 г. О ней см. *АЦ*, с.32: «Ввиду близившейся смерти, дедушка купил Тете в Тарусе дом с фруктовым и липовым садом и разделил между ней и мамой собранный им за жизнь экономией и трудом капитал».

<sup>12</sup> Многократно воспетый Цветаевой дом в Трехпрудном переулке принадлежал детям ее отца от первого брака, Валерии Ивановне (1883-1966) и Андрею Ивановичу (1890-1933). См. *АЦ*, с.46.

<sup>13</sup> Ср. *ХЛЫСТОВКИ* (1934): «Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу» (*ИП2*, с.145).

<sup>14</sup> См. прим.11. Дача «Песочная», на которой семья Цветаевых обычно проводила летние каникулы, принадлежала городу Тарусе.

<sup>15</sup> В *LE JARDIN D'EPICURE* Анатоля Франса (1844-1924) встречается фраза «Le hasard, en définitive, c'est Dieu», но Цветаева, вероятно,

ради шутки переиначивает ее, контаминируя с известным изречением Людовика XIV: «L'Etat, c'est moi».

<sup>16</sup> Заключительные строки пятой строфы стихотворения *ПРО ЭТИ СТИХИ* из книги Пастернака *СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ. Лето 1917 г. Стихи*. Берлин-Петербург-Москва, З.И. Гржебин, 1922. Ср.: *СВЕТОВОЙ ЛИВЕНЬ: ПОЭЗИЯ ВЕЧНОЙ МУЖЕСТВЕННОСТИ* (1922) (ИП, с.137).

<sup>17</sup> Подобные случаи бывали у Цветаевой нередко. Ср. *ПТ*, с.89, п. от 27 февраля 1931 г.: «Я получила по чеку деньги, и они *ошибкой* вместо 6 фунт[ов] выдали мне 10 ф[унтов], т.е. вместо 750 фр[анков] — 1250, т.е. я им *должна 500 фр[анков]*. /.../ А теперь надо отдавать».

<sup>18</sup> 26 апреля 1930 г. состоялся Вечер Романтики в зале Географического общества на Blvd. St.Germain. Кроме Цветаевой, в нем участвовали Н.А. Тэффи, Г.В. Адамович, В.Л. Андреев, кн. С.М. Волконский, Г.В. Иванов, Н.А. Оцуп и Б.Ю. Поплавский.

<sup>19</sup> См. №7.

7

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
12-го октября 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна,

Счастлива была получить от Вас словечко, но какой ужас с мотоциклом, *самым ненавистным мне из современных способов передвижения*. Каждый раз когда вижу и слышу содрогаюсь от омерзения, *личная ненависть* — точно по мне едет.

Но, подумав о том что могло бы случиться, приходится говорить: — счастливо, что только нога!<sup>1</sup>

Страшная вещь — взрослый сын, нужно что-то заранее в себе осилить, замкнуть, в какой-то час — ставку на другое. Иначе жизни нет.

Только что все вернулись из Савойи, где жили — С.Я. в санатории, мы остальные в деревне, над деревней, в избе — целое лето, хотя дождливое, но чудное, без людей, с ручьем<sup>2</sup>.

Стипендия мужа кончилась<sup>3</sup>, вернулись<sup>4</sup>. Д[окто]р сказал: «Pour le moment je le trouve mieux, mais l'avenir c'est toujours l'Inconnu!» — Знаю<sup>5</sup>. —

Тяжелый год. Газета Евразия, к[отор]ую он редактировал, кончилась<sup>6</sup>, на завод он, по болезни, не может, да и не взяли бы, по образованию — филолог. Вся надежда на устройство моего М[о]лодца<sup>7</sup>, к[отор]ый переведен — неким поэтом Броуном

(Аlec Brown, из молодых, у него есть книги) на английский яз[ык]<sup>8</sup> и мною на французский. Работала полгода, *новая* вещь, изнутри франц[узского] языка<sup>9</sup>.

Оба перевода должны пойти с иллюстрациями Натальи Гончаровой, о которой Вы наверно слышали. Иллюстраций много, — и отдельные, и заставки. Большая книга большого формата<sup>10</sup>.

Но кто за это дело возьмется — неизвестно. Гончарова умеет только рисовать, как я — только писать.

Перевод стихами, изнутри французского народного и старинного яз[ыка], каким нынче никто не пишет, — да и тогда не писали, ибо многое — чисто-мое. Если встретимся — прочитаю отрывочки. Как жаль, что всего на один день! (да еще неизвестно)<sup>11</sup> — а то вместе пошли бы к Гончаровой, в ее чудесную мастерскую, посмотрели бы ее работы<sup>12</sup>. Она замечательный человек и художник. Я в прошлом году живописала ее жизнь, целая книга получилась, — шло в Воле России, в бти нумерах. Истоки и итоги творчества<sup>13</sup>.

О Борисе. Жив и здоров, летом получил отказ за границу — писал мне прямо из секретариата, на бланке. Сильный удар: страстно хотел. Восемь безвыездных лет.

Не отпускать *Пастернака* — идиотизм и неблагодарность. Без объяснений. Просто: отказано<sup>14</sup>.

С лета писем не было — месяца три. Недавно писала ему.

Да! написала этим летом ряд стихов к Маяковскому (смерть) которые прочту Вам при встрече, а если минуете Париж (чего *очень* не хочу) — пришлю. Там есть встреча (тамошняя) с Есениным. Разговор<sup>15</sup>.

Спешу. Плохо пишу, простите, в доме приездный развал — только что ввалились, день ушел на поиски ключей, у меня дар — замыкать безвозвратно, как символисты некогда писали: *la clef dans un puits!*

Мур (сын) совсем великан, тесно ему в Мёдоне, на все натывается и от неизрасходованной силы — как я — свирепеет. В Савойе блаженствовал. Про Мон-Блан сказал: — «Хорошая гора. Только — маленькая».

А в С.Маргерите я была девочкой, один из самых счастливых дней моей жизни<sup>16</sup>, при встрече расскажу. Пусть она будет! Обнимаю Вас

М.Цветаева.

P.S. Имейте в виду — к нам в Мёдон рпсн (городск[ая] воздушн[ая] почта) не ходят, — мы уже banlieue. Лучше всего известите телеграммой.



Почтовый штемпель неразборчив. Послано в Santa Margherita (Liguria, Италия).

<sup>1</sup> См. прим.17 к №3.

<sup>2</sup> Подробнее о лете в St.Pierre de Rumilly см. *ПТ*, с.83-84.

<sup>3</sup> Ср. *НП*, с.406, п. к В.Н. Буниной от 10 апреля 1930 г.: «Кр[асный] Крест второй месяц дает по 30 фр[анков] в день, а санатория стоит 50 фр[анков], мне нужно 600 фр[анков] в месяц доплачивать, кроме того стипендия со дня на день может кончиться /.../».

<sup>4</sup> Вернулись в Мёдон 9 октября 1930 г.

<sup>5</sup> Ср. *ПАГ*, с.176, п. от 20 сентября 1930 г.

<sup>6</sup> См. прим.5 к №3.

<sup>7</sup> Марина Цветаева. *МОЛОДЕЦ: СКАЗКА*. Прага, «Пламя», 1924, 105 стр.

<sup>8</sup> Ср. *ПТ*, с.83, п. от 21 апреля 1930 г.: «/.../ мой Мёлодец сейчас переводится на английский язык, уже кончен». Alec Brown (1900-1962) — автор нескольких поэтических книг, романов и многочисленных переводов с русского языка (Пильняк, Ремизов, Тынянов, Ник. Островский, Леонов, Василий Аксенов и др.). Человек яркой индивидуальности и необыкновенной судьбы, Alec Brown был некоторое время коммунистом и дружил с кн. Д.П. Святополком-Мирским, обличительную книгу которого *ИНТЕЛЛИДЖЕНТСИА* (М., 1934) перевел на английский язык (Dmitri Mirsky. *THE INTELLIGENTSIA OF GREAT BRITAIN*, London, Victor Gollancz, 1935). Alec Brown стал крупным специалистом по Сербии. Часть его архива хранится в библиотеке University of Birmingham (Англия). Перевод *МОЛОДЦА* не был издан. См. также №№8, 10-13.

<sup>9</sup> Ср. *ПТ*, с.83, п. от 21 апреля 1930 г.: «Сама перевожу его на франц[узский] — стихами — сделана половина, авось летом кончу, нужно кончить». О дальнейшей судьбе французского *МОЛОДЦА* см. №№8, 11, 12, 14, 15, 21, а также «Встречи с прошлым», 4, М., «Советская Россия», 1982, с.423: «В последнее лето с ней [А.С. Эфрон. — Публ.] в Тарусе была тетрадь Цветаевой с французским "Мёлодцем" /.../. О других произведениях Цветаевой на французском языке см.: Efim Etkind. *MARINA CVETAEVA: FRANZÖSISCHE TEXTE*. — «Wiener Slawistischer Almanach», Sonderband 3 (Wien, 1981), S.195-205. В Т.3, с.504 по поводу обсуждаемого Эткингом стихотворения *LA NEIGE* отмечается сходство стихотворения с отрывком «Херувимская» из *МОЛОДЦА*. Предположение, что *LA NEIGE*, по всей вероятности, часть авторского перевода *МОЛОДЦА* на французский язык, подтверждается, очевидно, высказыванием Цветаевой в интервью, взятом у нее Н.Городецкой: «Я попробовала перевести, а потом решила — зачем же мне самой себе мешать, — кроме того, многого французы не поймут, что нам ясно. Вышло, что вокруг того же стержня заново написала. У них, например, нет слова "вьюга" —

пришлось говорить о снеге, чтобы подготовиться, — а когда я, наконец, произношу "rafale" — ясно, что это не ветер, а метель...» (*В ГОСТЯХ У М.И. ЦВЕТАЕВОЙ*. — «Возрождение», Париж, 7 марта 1931 г. См. прим. 13 к №15). См. также *ПАГ*, с.189, 174, 175, п. от 3 и 19 марта, 20 сентября 1930 г.

<sup>10</sup> Книга в печати не появилась, и судьба иллюстраций Н.С. Гончаровой неизвестна.

<sup>11</sup> Р.Н. Ломоносова возвращалась из Италии в Англию и очевидно думала съездить в Париж на встречу с Цветаевой. Неясно, почему этот план не осуществился, но см. п. к Пастернаку от 18 марта 1930 г., приведенное в прим.23 к №5.

<sup>12</sup> См. «Мастерская». — *НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА (ИП)*, с.286-289).

<sup>13</sup> См. прим.19 к №3. *НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА* шла в трех номерах *ВР* (из них два — двойных).

<sup>14</sup> О попытках Пастернака добиться разрешения на выезд за границу повествуется во многих его письмах к Р.Н. Ломоносовой. Поездка к родителям и сестрам в Берлин в 1922 г. оказалась последней до его командировки в Париж в 1935 г.

<sup>15</sup> Цикл стихотворений *МАЯКОВСКОМУ*, вызванный самоубийством поэта в апреле 1930 г. и скандалом вокруг некролога А.Левинсона в «Les Nouvelles Littéraires» (см. Karlinsky, pp.80-81), был написан в St. Pierre de Rumilly в августе 1930 г. и опубликован в *ВР*, №11-12 (1930), с.964-971. Потусторонний разговор Маяковского с Есениным изображен в шестом стихотворении цикла. См. также №№10, 12 и *ПАГ*, с.175, п. от 20 сентября 1930 г.

<sup>16</sup> Об экскурсии в Santa Margherita во время пребывания в Nervi см. *АЦ*, с.132-133.

## 8

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
15-го ноября 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Ваша помощь — чудо: мы совсем погибали. Налоги: остroi<sup>1</sup> и квартирный, газ, электричество, долг в лавку, плата за Сережино (школа кинематографич[еской] техники)<sup>2</sup> и Алино (Arts et Publicité)<sup>3</sup> учение, — все это выросло в гору и под этой горой была — я.

Теперь — свобода, ощущение небывалой легкости, все как по взмаху дирижерской палочки — или моцартовской (Zauberflöte). Самые вопиющие долговые глотки — заткнуты.

Чем — когда — Вам воздам??

— Так странно все сошлось: перед письмом Г-жи Крыловой<sup>4</sup>, просившей захватить — письмо от Бориса, первое после нескольких месяцев молчания. О моем французском Мòлодце (Gars), выписки из к[оторо]го я в конце лета посылала ему в письме. Вещью восхищен и — Боже, какая тоска по отъезду в каждой строке, из каждой строки.

...«Как еще сказать тебе о действии твоих столбцов и всей этой новости? Прими во внимание, что тут у нас свирепейшая проза, и я стараюсь, и мне не до преувеличений. Так вот, утрачивая чувство концов и начал в этом бесплотно-капканном времени...» и дальше: «Пишу и чувствую, что издалека ты, в особен-ности же мужчины (инициалы мужа и Св[ятополка]-Мирск[ого]) должны меня за этот замогильный тон презирать. Что же делать? Сейчас из-под Москвы от Б.Н.Б. (Андр[ея] Белого) получено письмо как из Сахары в Сахару»<sup>5</sup>.

и еще:

— О себе не пишу не случайно. (NB! все письмо, кроме приведенных строк, о моем Мòлодце). Это — не тема, пока лучше не надо.

---

Борис, Борис. За что ему, западнику всем строем (— лиры!) так расплачиваться за Россию: *приемную* страну.

---

Моя сестра из Москвы пишет: «П[астернак]ов видаю редко. Женя грустная и трудная»<sup>6</sup>.

---

О себе. Летом к нам в Савойю приезжала переводчица Извольская, чудный человек, редкостный. Я ее мало знала. Близко сошлись.

Это первый, нет — единственный человек, который помог мне в осуществлении, верней — в *овеществлении* Мòлодца: подарила мне православную службу на франц[узском] яз[ыке], — *ОТЫСКАЛА!*<sup>7</sup> — и, теперь, переписывает на машинке всю вещь — длинную — 105 страниц. Если что выйдет — только благодаря ей. Забыла я Вам сказать, что она работает — без преувеличения — 16 часов в сутки, иногда и 18. И вот, отрывая от сна — помогает мне двигать мою вещь<sup>8</sup>.

---

С моим английским «Молодцем» произошла странная вещь, а именно: вещь переведена, а переводчик (Алек Броун, живет в Сербии) — скрылся, просто — канул — кстати с четырьмя иллюстрациями Н.Гончаровой, которые, в бытность свою в Париже, месяцев восемь /, а то и девять ?/ назад, захватил с собой на показ лондонским издателям. С тех пор — ничего ни Гончаровой ни мне. (Брал *на неделю*, хотел взять все, слава Богу Гончарова в последнюю минуту дала только четыре).

Недавно писала Мирскому с просьбой воздействовать на странного переводчика. Писала и непосредственно последнему. Пока ответа нет. Мирский, присутствовавший при встрече, говорил, что перевод — чудесный.

Огромное спасибо за адрес издателя, как только Броун ответит — сообщу ему.

— Посылаю Вам первую главу своего франц[узского] Молодца, чтобы Вы приблизительно могли судить об общем тоне вещи. Кстати, журнал до-сих-пор — т.е. уже почти год прошел — не заплатил мне за нее ни копейки. А всего-то — 200 фр[анков]!<sup>9</sup>

---

Дорогая Раиса Николаевна, один вопрос, может быть нескромный: не по поручению ли Б[ориса] Л[eonидовича] то, что Вы мне послали с Г-жей Крыловой? Мне это необходимо знать, чтобы каким-нибудь образом выяснить одно темное место в его письме — и как-то отозваться<sup>10</sup>. Кстати, жалуется, бедный, что за последнее время, с тоски, все пишет за границу, отлично сознавая подозрительность такого поведения. — Чем не времена Николая I, когда не иначе выпускали за-границу за 500 р[ублей] серебром (паспорт) — чтобы меньше ездили, и все письма читали? Читали ли Вы, кстати, очень любопытную книгу — Мемуары Панаевой (гражданской жены Некрасова) в советском издании Academia. Там о цензуре — как будто вырезка из нас<sup>11</sup>.

---

С большим горем слушала от Г-жи Крыловой подробности о несчастном случае с Вашим сыном. Но, не скрою, в связи с предстоящей (не дай Бог!) войной, о которой говорят все<sup>12</sup>, шевельнулась мысль: «а ведь, в случае чего — *не возьмут!*» Изнутри собственной материнской сущности.

Г-жа Крылова говорила мне о трудности Вашего выбора: либо с мужем в Америку, либо с сыном в Лондоне. Как это ужасно. В таких случаях помогает только одно: СЛУХ. (Wer ist dein näch-

ster? — Der Dich am nothwendigsten braucht — толкование ближнего на протестантском уроке Закона Божьего в моем детстве. Видите — не забыла, хотя с этого уже больше двадцати лет прошло.) Я в жизни всегда выбирала *так*<sup>13</sup>.

Еще раз спасибо за всё. Напишите как понравились «Fincailles». Я тогда совсем еще не знала франц[узского] стихосложения, выяснилось в порядке работы, со второй главки уже правильные стихи. А это — как хотите — ритмическая проза или неправильные стихи.

Обнимаю Вас и жду весточки о всем.

МЦ.

Г-жа Крылова показывала мне чудные виды Кэмбриджа. Пошлите такую стопочку Б[орису] Л[еоновичу] — он будет счастлив: Англия его детская любовь.

Отправлено 18 ноября 1930 г. с Place de Vaugirard в Cambridge.

<sup>1</sup> Городские налоги.

<sup>2</sup> См. №№14, 15 — об учебе С.Я. Эфрона в школе Pathé.

<sup>3</sup> См. №№14, 17 — об успехах А.С. Эфрон.

<sup>4</sup> Елизавета Дмитриевна Крылова (урожд. Драницына; 1865-1945), первая жена академика Алексея Николаевича Крылова (1863-1945), коллеги Ю.В. Ломоносова по Российской Железнодорожной Миссии за границей. Ломоносовы были знакомы с проживающей в Кембридже дочерью Крыловых, Анной Алексеевной, женой будущего академика Петра Леонидовича Капицы (1894-1984).

<sup>5</sup> См. Л.Флейшман. *Б. ПАСТЕРНАК И А. БЕЛЫЙ*. — «Russian Literature Triquarterly» (Ann Arbor, Michigan, USA), 13 (Fall 1975), p.545-551. В п. от 12 [октября] 1930 г. Пастернак благодарит Белого за письмо, о котором здесь идет речь. Белый снимал дачу в Кучине по Нижегородской железной дороге.

<sup>6</sup> О все ухудшавшихся отношениях Пастернака с первой женой, Евгенией Владимировной Лурье, см.: Борис Пастернак. *ПЕРЕПИСКА С ОЛЬГОЙ ФРЕЙДЕНБЕРГ*, с.134.

<sup>7</sup> По всей вероятности, имеется в виду *LA DIVINE LITURGIE DE NOTRE PERE SAINT JEAN CHRYSOSTOME*, texte et traduction avec introduction et notes par Dom Placide de Meester, moine de Maredsous (Paris, Rome, Gabalda, 1925).

<sup>8</sup> Цветаева считала Елену Александровну Извольскую (Hélène Iswolsky; 1897-1974), автора многочисленных работ на религиозные темы и активнейшую переводчицу, «единственным человеком, которого я здесь по-настоящему полюбила, который меня во Франции по-настоящему полюбил». (ИТ, с.96, п. от 1 января 1932 г.). Дальше о ней см. №№17, 18, 20. Воспоминания Е.А. Извольской о Цветаевой опубликованы в «Опытах» (Нью-Йорк, №3, 1954, с.152-159) и в «Воздушных Путиях» (Нью-Йорк, №3, 1963, с.150-160). См. также: Л.Флейшман. *ИЗ ПАСТЕРНАКОВСКОЙ ПЕРЕПИСКИ*. — «Slavica Hierosolymitana», Иерусалим, V-VI, 1981, с.540-541.

<sup>9</sup> Речь идет о «Fiançailles» (см. конец п.). См. также п. А.С. Эфрон к П.Г. Антокольскому от 13 марта 1963 г.: «1 и 2 главы были опубликованы] в Бельгии, в 30-х годах» («Литературное обозрение», М., №12, 1981, с.97). Обнаружить упоминаемую публикацию не удалось.

<sup>10</sup> См. п. Р.Н. Ломоносовой к Пастернаку от 18 ноября 1930 г.: «/.../ то, что Вы просите, сделала десять дней тому назад от нас. Через недели три опять смогу послать пятьдесят-сто долларов».

<sup>11</sup> Авдотья Панаева (Е.Я. Головачева). *ВОСПОМИНАНИЯ, 1824-1870*. Исправленное изд. под ред. и с прим. Корнея Чуковского. 2-е изд. Л., Academia 1928. См. с.158 о «плате на заграничный паспорт в 500 руб., с целью ограничить число уезжающих русских, стремившихся пожить в Европе»; с.242, 244, 347-349 — о цензуре. Экземпляр данного издания имеется в собрании Р.Н. Ломоносовой.

<sup>12</sup> Международное положение к осени 1930 г. настолько обострилось (разногласия Франции с Германией и Италией, победа национал-социалистов на выборах в Рейхстаг в сентябре 1930 г. и т.д.), что ходили слухи о возможности новой общеевропейской войны. Это вынудило представителей 27 стран, собравшихся в Женеве в январе 1931 г. для обсуждения плана Бриана, обнародовать формальное опровержение подобных слухов.

<sup>13</sup> Ср. статью *ТВОЯ СМЕРТЬ* (1927) (ИП1, с.266): «"Wer ist dein Nächster? Der dich am nothwendigsten braucht" — толкование ближнего на протестантском уроке Закона Божьего, пребывшее для меня предельным». Воспоминания Цветаевой, может быть, относятся к пребыванию в пансионе Бринк во Фрейбурге в 1904-1905 гг. (см. АЦ, с.180-199) или же к лету, проведенному в семье пастора под Дрезденом в 1910 г. (см. *О ГЕРМАНИИ. Выдержки из дневника 1919 года*. ИП1, с.123, 125; АЦ, с.369-381), хотя «Пастор Бахман не проповедовал ничего /.../ и делал только одно: играл на рояле. Он был композитор, писал симфонию». (АЦ, с.373).

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
29-го ноября 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Пишу Вам в 6 ч. утра, в темноте, то есть при свете, — сейчас везу Мура в город, в детскую клинику, на показ врачу — жесточайший бронхит, который у него, по примеру прошлых лет, затягивается обычно до весны. Коварный неопределенный здешний климат.

Вернувшись напишу Вам по-настоящему. Пока же: самое горячее — и смущенное — спасибо за присланное<sup>1</sup>. Это меня *расстраивает*, именно от Вас я бы не хотела ничего, именно потому, что Вы *так* относитесь.

Сейчас иду будить — и одевать — и кормить — и увозить Мура. Для него поездка на метро — счастье. Нынче же постараюсь найти какую-нибудь его похожую карточку из Савойи. Обнимаю Вас. До письма!

МЦ.

[Приписка:] Как страшно по утрам воеют фабричные трубы!

Отправлено 29 ноября 1930 г. с Bld. St.-Germain в Cambridge.

<sup>1</sup> См. прим.10 к №8.

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
4-го дек[абря] 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна!

У нас первые морозные дни, совпавшие с первыми рождественскими витринами. Нынче я целый день провела в Париже, в погоне — угадайте за чем? — частью центрального отопления, а именно ручки для протрясения пепла, без которой надо ежечасно печь выгребать руками, что я уже и делаю целый месяц. Ручка эта, оказывается, называется *ключем* (хотя ничего не открывает), а ключа этого нигде нету. Вот я и пропутешествовала из одного «Grand magasin» в другой, с тем же припевом.

Но дело не в этом — походя увидела предрождественский Париж, а главное, в перерыве между 12 ч. и 2 ч., когда все завтракают, побродила по знаменитым «quais» с их книжными ларями. Продавцы обдували и обметали особенно ценные книги, или просто дули себе на руки от мороза. Чего только в этих ларях нет: и какая-то ржавчина, бывшая оружием, и сомнительные миниатюры, и несомненно-поддельные подписи великих людей, и несомненно-достоверный хлам, которому имени (и применения) нету! За 2 ч., которые я там прогуляла, дожидаясь открытия печных лавок, никто ничего не купил. Эти продавцы, неизбежно — философы.

Были чудные гравюры: какие-то девушки с овечками, и Дианы с ланями, и старый Париж — и старый Лондон. Унесла их всех мысленно с собой, даже не их, а их время — когда они были последним словом новизны и даже моды. (Тогда они были хуже).

А последнее слово парижской моды: гвозди, по которым надо переходить перекрестки. С 1-го января — за неповиновение — штраф. Шоферы ругаются, пешеходы ругаются, полицейские ругаются. Вспоминаю спокойные лондонские обычаи, — в Лондоне я совсем не боялась машин. Память у меня о Лондоне — была раз в жизни, 5 лет назад — самая волшебная: король, туман, студенты с факелами, река идущая вспять, мохнатые собаки в Hyde Park'e...<sup>1</sup>

---

Жизнь идет. Мои учатся, только Мур дома, в обычной простуде. Сдала стихи к Маяковскому, когда выйдут (в декабрьском № Воли России) вышлю<sup>2</sup>. О Числах помню. Они у меня даром выпросили 5 автографов для вклейки в 1 тысячефр[анковые] (!!!) нумера, посмотрим, дадут ли даром две книги<sup>3</sup>. Пошла на хитрость, играя на их славолюбии: дескать для отправки, с оказией, в Сов[етскую] Россию. А пойдут в Оксфорд!<sup>4</sup>

Сейчас надо бежать в аптеку за лекарством Муру, через четверть часа закрывается.

Пойдите, если не были, на *потрясающий* фильм по роману Ремарка: «На Западном фронте без перемен». Американский. Генеральный<sup>5</sup>. Знаю, что в Лондоне уже давно идет.

Обнимаю Вас, спасибо за все, скоро вышлю русского Молодца<sup>6</sup>. Пишите о себе и здоровье Чуба<sup>7</sup>.

МЦ.

P.S. Забыла добавить, что ключ от печки все-таки нашла. Теперь буду беречь «пуше ока».

Мой Броун молчит упорно: думаю, что потерял иллюстрации Гончаровой.



Почтовый штемпель неразборчив. Послано в Cambridge.

<sup>1</sup> См. №№1, 13. Ср. п. к В.Ф. Ходасевичу от 15 апреля 1934 г.: «Когда я, несколько лет тому назад, впервые подъезжала к Лондону, он был весь во мне — полный и цельный: сразу утренний, ночной, дождевой, с факелами, с Темзой, одновременно втекающей в море и вытекающей из него, весь Лондон с Темзой *aller et retour*, с лордом Байроном, Диккенсом и Оскар Уайльдом — сосуществующими, Лондон всех Карлов и Ричардов, от А до Z, весь Лондон, втиснутый в мое *представление* о нем, вневременное и всевременное.

Когда же я приехала в Лондон, я его не узнала. /.../» («Новый мир», №4, 1969: с.205-206).

<sup>2</sup> См. прим.15 к №7 и прим.5 к №12.

<sup>3</sup> Подробнее об этом эпизоде см. *ПАГ*, с.175-176, п. от 20 сентября 1930 г.

<sup>4</sup> Как многие *не-питомцы* этих университетов (вызывая тем самым не всегда шуточное раздражение питомцев), Цветаева беспечно путает Оксфорд с Кембриджем.

<sup>5</sup> Фильм по знаменитому роману Erich Maria Remarque (1898-1970) *IM WESTEN NICHTS NEUES* был выпущен американской студией Universal в 1930 г. Режиссер — Lewis Milestone (род. в 1895, выходец из русских евреев), в главных ролях играли Lew Ayres и George «Slim» Summerville. Об отношении Цветаевой к самому роману см. *ПАГ*, с.173, п. от 20 августа 1929 г.

<sup>6</sup> См. прим.26 к №13.

<sup>7</sup> Семейное прозвище сына Р.Н. Ломоносовой — Юрия Юрьевича.

11

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
8-го декабря 1930 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Представьте себе: мой Броун — нашелся! И, представьте себе: один его издатель прогорел, а другой обокраден своим компаньоном, после чего уединился в деревню — со всеми рукописями и иллюстрациями. Там его навестил Броун — который сейчас в Норфольке — и, посочувствовав, извлек у него свой перевод и гончаровские картинки. Броун утешает, что через годик-другой...

И — мысль: нет ли у Юрия Владимировича знакомого издательства в Америке? Американцы, когда платят, чудесно платят (NB! не всегда платят, особенно если это русские американцы).

Не может быть, чтобы *все* американские из[дательст]ва прогорели?!

В книге сто с чем-то страниц текста (стихотворного) и 16 отдельных иллюстраций, не считая заставок и концовок. Мирский (ЗНАТОК) броуновским переводом *очень* доволен, говорит: замечательно.

Нынче *своего* Млодца (французского) несу к пастернаковскому другу, писателю Шарлю Вильдраку, пьеса которого на-днях пойдет в Comédie Française<sup>1</sup>.

Как будто — все козыри: Гончарова сейчас (декорации к «Petite Catherine»)² ГРЕМИТ, Вильдрак (предстоящая постановка в Comédie) ГРЕМИТ, — на таких двух выездных конях — ужели мне не выехать?? Меня французы не знают, но это ничего.

У нас опять дивная погода: весна. Солнце, сквозь окна, жжет. Как иногда хочется, бросив всё (рукопись Млодца, штопку чулок, варку бараньей головы (сегодня, например!) — СТРАШНОЙ — С ЗУБА-АМИ! — С ГЛАЗА-АМИ!!!) бросив всё с утра поехать в Версаль, который от нас — рядом<sup>3</sup>.

Жизнь, это то место, где ничего нельзя<sup>4</sup>.

Читаю сейчас жизнь Кромвеля. Человека этого ненавижу<sup>5</sup>.

Просыпается Мур от дневного сна. Бегу будить.

Целую

МЦ

Пишите про сына. Как, должно быть, нестерпимо ему так долго лежать!<sup>6</sup>

— Что Вы думаете про *американского* Млодца?

Отправлено 8 декабря 1930 г. с Blvd. St.-Germain в Cambridge.

<sup>1</sup> Charles Vildrac (настоящая фам. Messenger; 1882-1971), поэт и драматург, посетил Москву осенью 1929 г., приехав на празднование 30-летия Московского Художественного Театра, и там познакомился с Пастернаком. См. п. Пастернака к Белому от 5 или 6 ноября 1929 г. (см. прим.5 к №8): «В воскресенье у меня был и долго просидел Шарль Вильдрак, вероятно его направил ко мне кто-ниб[удь] из друзей, Пильняк или еще кто-ниб[удь]» (с.547). Ту же самую встречу описывает Vildrac в дневнике: «Dimanche, à six heures, visite au poète Pasternak, le plus hautement estimé ici. Trente-sept ans [на самом деле, 39. — Публ.], modeste... Avons parlé trois heures et plus. Collation, caviar, vin, saumon. Un petit garçon, son fils, m'imitait en parlant un charabia incompréhensible et s'étonnait, puis qu'il faisait comme moi, que je ne le comprenne pas. La femme de Pasternak est peintre. Gentille. Elle parle bien le français, et son mari moins bien» (PAGES DE JOURNAL, 1922-1966. Paris, Gallimard, 1968, p.51. См. также p.49 и его

же *RUSSIE NEUVE*. Paris, 1937, pp.58-59). Премьера комедии Вильдрака *LA BROUILLE* состоялась в театре Comédie Française 1 декабря 1930 г. В «Новом мире», №4, 1969, с.203-205, опубликовано одно из писем Цветаевой к Вильдраку по поводу французского *МОЛОДЦА*. См. также №13.

<sup>2</sup> Alfred Savoir (1883-1934). *LA PETITE CATHERINE: Pièce en trois actes et sept tableaux* (Paris, 1931). Декорации для постановки в театре Antoine были созданы М.Ф. Ларионовым (1881-1964), костюмы — Н.С. Гончаровой (см. *GONTCHAROV ET LARIONOV: Cinquante ans à Saint-Germain-des-Prés, témoignages et documents recueillis et présentés par Tatiana Loguine*. Paris, Klincksieck, 1971, p.60).

<sup>3</sup> У Цветаевой была особенная любовь к Версалью, куда она часто ездила или ходила на длинные прогулки. См., например, *ПТ*, с.37, 64, п. от 19 декабря 1925 г. и 10 апреля 1928 г.

<sup>4</sup> Ср. «Жизнь, это место, где жить нельзя» из 7-й строфы 12-й главы *ПОЭМЫ КОНЦА*.

<sup>5</sup> Не удалось установить, какая биография Кромвеля имеется в виду. Не исключено, что Цветаева заинтересовалась ролью Кромвеля в английской революции XVII века и в казни короля Карла I в связи с работой над *ПОЭМОЙ О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ*.

<sup>6</sup> В общей сложности, Ю.Ю.Ломоносов пролежал в частной кембриджской клинике 14 месяцев. После лечения одна нога осталась у него короче другой, что не помешало ему дослужиться до чина подполковника в годы II мировой войны — вопреки «предсказанию» Цветаевой (см. №8).

12

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
10-го февраля 1931 г., /пон/ вторник

Дорогая Раиса Николаевна! Большая прореха — пробел — пробоина моей жизни — отсутствие женской дружбы: женского друга. И если бы мне сейчас дали на выбор мужскую или женскую, я бы в первом (крепчайшем) сне ответила бы: женскую. [Вычеркнуто несколько слов.]

Вот какой-то мой первый ответ на Ваши подснежники (точно Вы мне их подарили, да и подарили: я тот кто за тысячи верст (и *только* на таком отстоянии) и за сотни лет души — присваиваю). Но на этот раз, после по крайней мере — десятилетней — засухи, я бы хотела дружить воочию, заживо, проще: чтобы Вы вдруг в комнату — вошли, или, что еще лучше, чтобы я из комнаты — вдруг — навстречу к Вам — вышла. Могу сказать, что жизнь свою я прожила как в Царствии Небесном<sup>1</sup> — или по памяти — без вся-

ких доказательств, что это — на земле, что земным теплом, живым теплом — таким коротким! — не воспользовалась.

Меня мало любили, ко мне шли с иным — за иным — с детства и по сей день. Мать мною восхищалась, *любила* она мою младшую сестру<sup>2</sup>. (Людям *в голову* не приходило, что можно (нужно) меня любить!) Очевидно всё это законно, во всяком случае это — мое, я, моя судьба. Это — о всей жизни. О данном же случае, т.е. последнем пятилетии в Париже: не по мне город и не по мне среда. Город — смены и мены: всего на всё, среда — остатки и останки — хотя бы Российской Державы!

Еще точнее: женщины: либо убитые (жены убитых, матери убитых) или просто убитые *бытом*, либо перекраивающиеся на французский — парижский лад. «Домашние» и «светские», я ни то ни другое. Нет КРУГА для ДРУГА — да еще при моей замкнутой жизни.

...Вот почему меня как-то в сердце ударили Ваши подснежники<sup>3</sup>.

---

С французским Молодцем пока ничего не вышло. Читают, восхищаются, — издать? невозможно: крах<sup>4</sup>. Не умею я устраивать своих дел: крах — верю на слово и сраженная выразительностью звука (*крах!* точно шкаф треснул) — умолкаю. Рукопись с удовольствием пришлю: отпечатана на машинке, чистая, — но м[ожет] б[ыть] Вы не о моем (французском) переводе говорите, а о броуновском (англ[ийском])? От Броуна вчера письмо, он сейчас в Англии — и *своего* (английского) Молодца не устроил. Св[ятополк-]Мирский по-моему ничего не хочет предпринять, когда-то он безумно любил мои стихи, теперь остыл совершенно — как и к самой мне: не ссорились, просто — прошло.

Итак, дорогая Раиса Николаевна, буду ждать Вашего ответа: о каком — французск[ом] или англ[ийском] — моем или броуновском Молодце — речь? Если об английском напишу Броуну с просьбой прислать Вам. (Иллюстрации — *одни*).

Радуюсь за Вас, что Ю[рий] В[ладимирович] не уехал, что вы все вместе, что сыну лучше. У моего мужа тоже болезнь печени — с 18 лет: пол-жизни — изводящая вещь.

В другом письме расскажу Вам о детях и о всех своих делах. Нежно целую Вас, будьте все здоровы

МЦ.

Посылаю стихи к Маяковскому из последнего № «Воли России»<sup>5</sup>.

[Приписка:] Завтра должна познакомиться с Пильняком<sup>6</sup>, я его писания средне люблю, — а Вы?

Отправлено 10 февраля 1931 г. с Place de Vaugirard в Cambridge.

<sup>1</sup> Ср. *ПТ*, с.51, п. от 3-го дня Пасхи 1927 г. по поводу готовящейся книги *ПР*: «.../ следующая ступень после России — куда? — да почти что в Царство Небесное!»; и статью *ПОЭТ И ВРЕМЯ* (1932): «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. Эмигрант Царства Небесного и земного рая природы» (*ИПП*, с.372); см. также *ПАГ*, с.167, п. от 15 июля 1926 г.; а также №13.

<sup>2</sup> Ср. п. к неуказанному адресату от зимы 1939-1940 гг.: «Я у моей матери старшая дочь, но любимая — не я. Мною она гордится, вторую любит». (*Соч.2*, с.496).

<sup>3</sup> Ср. *ПТ*, с.87, п. от 25 февраля 1931 г.: «Так одинока как это пятилетие я никогда не была. /.../ У меня нет человека, к которому бы я могла придти вечером, *сбыв* с плеч день, который раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы, ни одного человека, которого не надо бы предвительно запрашивать: можно ли? *Я здесь никому не нужна*».

<sup>4</sup> Ср. *ПТ*, с.86, п. от 22 января 1931 г.: «С французским Молодцем пока ничего не вышло. Издательский кризис».

<sup>5</sup> В собрании Р.Н. Ломоносовой хранится оттиск из *ВР* с циклом *МАЯКОВСКОМУ* (см. прим.15 к №7).

<sup>6</sup> См. №13.

13

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
13-го февр[аля] 1931 г.

Дорогая Раиса Николаевна! События бросают тень вперед — не знаю кем, может быть уже Гомером — сказано<sup>1</sup>.

Итак: вечер у борисиногу друга, франц[узского] поэта Вильд-рака. Пригласил «на Пильняка», который только что из Москвы<sup>2</sup>. Знакомимся, подсаживается.

Я: — А Борис? Здоровье?

П. — Совершенно здоров.

Я: — Ну, слава Богу!

П. — Он сейчас у меня живет, на Ямской.

Я: — С квартиры выселили?

П. — Нет, с женой разошелся, с Женей.

Я: — А мальчик?

П. — Мальчик с ней.

Я: — А где это — Ямская? Тверскую-Ямскую я знаю<sup>3</sup>.

(Пять минут топографии, речь переходит на границу.)

Я: — Почему Борису отказали?

П. — П[отому] ч[то] он обращается именно туда, где *только* отказывают. Последние месяцы он очень хлопотал о выезде за границу Евгении (отчество забыла)<sup>4</sup> и Женечки<sup>5</sup>, но тут началась Зинаида Николаевна<sup>6</sup>, и Женя наотрез отказалась ехать<sup>7</sup>.

— С Борисом у нас вот уже (1923 г. — 1931 г.) — восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга. Но КАТАСТРОФА встречи всё оттягивалась, как гроза, которая где-то за горами. Изредка — перекаты грома, и опять ничего — живешь.

Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла — то только к нему. Вот *мое* отношение. Наша реальная встреча была бы прежде всего большим горем (я, моя семья — он, его семья, моя *жалость*, его *совесть*). Теперь ее вовсе не будет. Борис не с Женей, которую он встретил до меня, Борис без Жени и не со мной, с *другой, которая не я* — не *мой* Борис, просто — лучший русский поэт. Сразу отвожу руки<sup>8</sup>.

Знаю, что будь я в Москве — или будь он за границей — что встретиться он хоть раз — никакой З[инаиды] Н[иколаевны] бы не было и быть не могло бы, по громадному закону *родства по всему фронту: СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ*. Но — я здесь, а он там, и всё письма, и вместо рук — рукописи. Вот оно, то «Царствие Небесное» в котором я прожила жизнь. (То письмо Вам, как я это сейчас вижу, всё о Борисе: события которого я тогда не знала, но которое *было*.)<sup>9</sup>

Потерять — не имел.

О Жене будете думать Вы, которая ее знали. Знаю только, что они были очень несчастны друг с другом. «Женя печальная и трудная», так мне писала о ней сестра, с которой у нас одни глаза<sup>10</sup>. Просто — не вынесла. «Разошлись». Может быть ушла — она. В данную минуту она на все той же Волхонке<sup>11</sup>, с сыном. Борис на пустой квартире у Пильняка. («Ямская»). Кончил Спекторского (поэма) и ОХРАННУЮ ГРАМОТУ (проза)<sup>12</sup>. — Дай ему Бог. — Главное, чтобы жил. /?/

Живу. Последняя ставка на человека. Но остается работа и дети и пушкинское: «На свете счастья нет, но есть покой и *воля*»<sup>13</sup>, которую Пушкин употребил как: «свобода», я же: воля к чему-нибудь: к той же работе. Словом, советское «Герой ТРУДА»<sup>14</sup>. У меня это в крови: и отец и мать были такими же. Долг — труд — ответственность — ничего для себя — и всё это *врожденное*, за тридевять земель от всяких революционных догматов, ибо — монархисты оба (отец был вхож к Царю)<sup>15</sup>.

Не знаю, напишу ли я Борису. Слишком велика над ним власть моего слова: /моего/ голоса. «ТОЛЬКО ЖИВИТЕ!» — как мне когда-то сказал один еврей<sup>16</sup>.

Еще пять лет назад у меня бы душа разорвалась, но пять лет — это столько дней, и каждый из них учил — все тому же, доказывал — все то же. Так и получилось Царствие Небесное — между сковородкой и тетрадкой.

---

О Д.П.С.М.<sup>17</sup> (правда, похоже на учреждение?) — «Дружить со мной нельзя, любить меня невозможно»<sup>18</sup> — вот и окончилось намеренным равнодушием и насильственным забвением. Он меня в себе запер на семь замков — в свои наезды в Париж видит всех кроме меня, меня — случайно и всегда на людях. Когда-то любил (хочется взять в кавычки).

Я ему первая показала, т.е. довела до его сознания, что Темза в часы (отлива или прилива?) течет вспять, что это /не/ у меня не поэтический оборот:

РОКОТ ЦЫГАНСКИХ ТЕЛЕГ,  
ВСПЯТЬ УБЕГАЮЩИХ РЕК —  
РОКОТ...<sup>19</sup>

(Кстати с этих стихов Борис меня и полюбил. Стихи еще 16 года, но прочел он их уже после моего, боюсь навечного, отъезда за границу, в 1922 г. Помню первое письмо — и свое первое —)<sup>20</sup>

Три недели бродили с ним по Лондону, он всё хотел в музей, а я — на рынок, на мост, под мост<sup>21</sup>. Выходило — учила его жизни. И заставила его разориться [sic] на три чудных голубых (одна бэжевая)<sup>22</sup> рубашки, которые он мне, по дикой скарденности *на себя*, до сих пор не простил — но и не износил<sup>23</sup>. Бориса он тогда так же испуленно любил, как меня, но Борис — мужчина, и за тридевять земель — и это не прошло<sup>24</sup>.

А разошлись мы с ним из-за обожаемой им и ненавидимой мной мертворожденной прозы Мандельштама — «ШУМ ВРЕМЕНИ», где живы только предметы, где что ни живой — то вещь<sup>25</sup>.

Так и кончилось.

---

Нынче же пишу Алеку Броуну. Вот его адрес:

Fressingfield  
nr Diss  
Norfolk  
Alec Brown<sup>26</sup>

Если — потом когда-нибудь — нужны будут иллюстрации Гончаровой вышлем их *Вам*. А есть ли у Вас мой Молодец? Посы-

лаю на авось, м[ожет] б[ыть] еще что-нибудь найдется, у меня почти нет своих книг<sup>27</sup>.

Пишу под огромный снег, недолетающий и тающий.  
СИЛА ЖИЗНИ. Будем учиться у подснежников.  
Обнимаю Вас

МЦ.

Перешлите пожалуйста, милая Раиса Николаевна, прилагаемую записку Броуну — в своем письме<sup>28</sup>.

Отправлено 13 февраля 1931 г. с Place de Vaugirard в Cambridge.

<sup>1</sup> См. балладу *LOCHIEL'S WARNING* английского поэта Thomas Campbell (1777-1844):

«'Tis the sunset of life gives me mystical lore,  
And coming events cast their shadows before».

Цветаева, возможно, знала балладу в переводе на французский Каролины Павловой (урожд. Яниш; 1807-1893) — *LES PRELUDES* (Paris, 1839, пр.35-39).

<sup>2</sup> Борис Андреевич Пильняк (Ворга; 1894-1937) ехал в США по приглашению «Hearst's International Cosmopolitan» и остановился по пути в Берлине, где получил визу в США, и в Париже. См. также №14.

<sup>3</sup> Пастернак и Пильняк дружили в 1920-е годы, втроем с Андреем Белым (Борисом Бугаевым) собирались одно время издавать журнал «Три Бориса» (см. об этом: Л.Флейшман. *Б. ПАСТЕРНАК И А. БЕЛЫЙ*, с.545-546). После «дела» Пильняка и Замятина Пастернак посвятил Пильняку стихотворение *ДРУГУ* (1931). В стихотворении «Мертвецкая мгла...» (1931) Пастернак упоминает улицу Ямское поле. На квартире Пильняка написано первое из писем Пастернака к З.Н. Еремеевой (см. прим.6), опубликованных в *Вестнике*, №106, 1972, с.201-228.

<sup>4</sup> См. прим.6 к №8.

<sup>5</sup> Евгений Борисович Пастернак (род. 1923).

<sup>6</sup> Зинаида Николаевна Еремеева (1897-1966), жена пианиста и профессора Московской консерватории, Генриха Густавовича Нейгауза (1888-1964), стала второй женой Пастернака в 1934 г.

<sup>7</sup> В конце концов обострение болезни (туберкулез легких) заставило Е.В. Пастернака ехать лечиться в Германию. В ее отсутствие роман Пастернака с З.Н. Еремеевой разрастался (поездка в Грузию и т.д.). См.: Борис Пастернак. *ПЕРЕПИСКА С ОЛЬГОЙ ФРЕЙДЕНБЕРГ*, с.362.

<sup>8</sup> Ср. *ПТ*, с.90-91, п. от 20 марта 1931 г.

<sup>9</sup> См. первую часть №12.



<sup>10</sup> См. №8.

<sup>11</sup> Ср. *НП*, с.320, приписку Цветаевой от 12 января 1927 г. на конверте п. Д.П. Святополка-Мирского к Пастернаку: «Он твоего адреса (личного) домогается с такой страстью, что *дать нельзя никак*. Кроме того Волхонка, д[ом] №14, кв[артира] 9 — моя, *не делюсь /.../*».

<sup>12</sup> Первые 4 главы поэмы *СПЕКТОРСКИЙ* печатались в альманахе «Ковш» (Ленинград), №2 (1925) и 4 (1926); остальные — в «Красной нови» (Москва), №1 и 7 (1928), 12 (1929); отдельным изданием поэма вышла в 1931 г. (М., ГИХЛ). *ОХРАННАЯ ГРАМОТА* появилась сначала в журналах «Звезда» (Ленинград), №8 (1929) и «Красная новь», №4 (1931), потом отдельным изданием (Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1931).

<sup>13</sup> Ср. *ПАГ*, с.182, п.от 16 сентября 1931 г.

<sup>14</sup> Ср. название очерка Цветаевой о Брюсове (1925).

<sup>15</sup> Нет свидетельств, подтверждающих эти слова Цветаевой.

<sup>16</sup> Ср. стихотворение «Только живите! — Я уронила руки...» (1917) (*B2*); см. также запись *О ЛЮБВИ* (1925), где эти слова не относятся к самой Цветаевой (*ИПП*, с.92-93).

<sup>17</sup> Кн. Д.П. Святополк-Мирский.

<sup>18</sup> Ср. «Дружить со мной нельзя, любить меня — не можно!..» — 3-е стихотворение написанного в 1918-1919 гг. (опубликован лишь в 1924 г. — *СЗ*, 19) цикла *КОМЕДЬЯНТ*, обращенного к Ю.А. Завадскому. О характере отношений Цветаевой с Завадским см. *T.2*, с.389-390.

<sup>19</sup> Вторая строфа стихотворения «Милые спутники, делившие с нами ночлег!..» (1917) (*B2*).

<sup>20</sup> В своем первом письме к Цветаевой Пастернак упомянул строку «Версты, и версты, и версты, и черствый хлеб» из стихотворения «Милые спутники, делившие с нами ночлег!..» (*АЭ*, с.107). Ответ Цветаевой опубликован в *НП*, с.266-270.

<sup>21</sup> Пребывание Цветаевой в Лондоне длилось 2 недели (см. прим.1 к №1). Ср. *ПАГ*, с.168, п. от 15 июля 1926 г.

<sup>22</sup> См. *НП*, с.376: «Она любила ставить ”э“ там, где этого требовало иностранное произношение слова».

<sup>23</sup> Другая любопытная подробность об отношениях Цветаевой с Д.П. Святополком-Мирским приводится в письме к Ю.П. Иваску от 4 июня 1934 г. в ответ на вопрос о любимой еде: «/.../ ем все, и даже мало отмечаю, чем во времена нашей дружбы сердечно огорчала Мирского (страстного едока и ценителя, как, часто, очень одинокие люди), водившего меня по лучшим — тайно, знаящически — лучшим ресторанам Парижа и Лондона» (*РЛА*, с.219).

<sup>24</sup> С января 1929 г., когда появились две его статьи в «Евразии» (№7) и «Slavische Rundschau» (№1), Святополк-Мирский перестал печатать отзывы о творчестве Цветаевой, однако продолжал писать о Пастернаке и до и особенно после своего отъезда в СССР в 1932 г. См. прим.3 к №1, прим.23 к №5.

<sup>25</sup> Ср. *НП*, с.361, п. от 18 марта 1926 г. к кн. Д.А. Шаховскому из Лондона: «Сижу и рву в клоки подлую книгу М[андельштама] *Шум Времени*». Восторг Святополка-Мирского по поводу *ШУМА ВРЕМЕНИ* выразился, главным образом, в его статьях в *СЗ*, №25 (1925), с.542-543, и «Благонамеренном» (Брюссель), №1 (1926), с.168-169. Незадолго до написания п. №13 появился французский перевод *ЕГИПЕТСКОЙ МАРКИ* Мандельштама, сделанный Святополком-Мирским и G.Limbourg (*LE TIMBRE EGYP TIEN*, «Commerce». Paris, 24, 1930, pp.119-168), который, может быть, напомнил Цветаевой о ссоре. Любопытно отметить также, что Святополк-Мирский не любил прозы самой Цветаевой (см. ее п. к Л.И. Шестову от 28 июня и 31 июля 1927 г. — *Вестник*, №129, 1975, с.128, 130; см. также: Karlinsky, p.272).

<sup>25</sup> Вклеена вырезка из письма Броуна с его адресом. Имя вписано рукой Цветаевой.

<sup>27</sup> В собрании Р.Н. Ломоносовой хранится экземпляр *МОЛОДЦА* с дарственной надписью:

Дорогой Раисе Николаевне Ломоносовой  
на долгую дружбу — и скорую встречу

МЦ

Мёдон, 17-го февраля 1931 г.

P.S. А слова посвящения — слова прощания морского царя с Садком (*былина*) — единственные, которые из всей вещи привел (д[олжно] б[ыть] дальше не пошел!) и на которые обрушился местный критик Адамович, как на образец дешевой и слащавой лже-народности. (*БЫЛИНА!*)

---

Эта книжка одна из моих любимых — моих.

<sup>28</sup> В собрании Р.Н. Ломоносовой хранится два письма к ней от Alec Brown. В первом, от 22 февраля 1931 г., он без особой надежды на будущий успех сообщает ей о своих попытках найти издателя для английского *МОЛОДЦА* с иллюстрациями Н.С. Гончаровой. Ко второму, от 8 марта 1931 г., он приложил не сохранившийся в собрании Р.Н. Ломоносовой черновик своего перевода.

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
6-го марта 1931 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Столько Вам нужно рассказать и сказать, но начну с самого тяжелого: мы совершенно погибаем.

Люди, которые нам помогали пять лет подряд, неожиданно перестали: м.б. — устали, м.б. действительно не могут<sup>1</sup>. С чешской стипендией (350 фр. в месяц) то же: с января (нынче март) ничего<sup>2</sup>. Мы должны кругом: и в лавку, и угольщику, и всем знакомым, живем в грозе газа и электричества и, *главное*, терма<sup>3</sup>. Отпавшие деньги шли на квартиру. Они — отпали, их *нет*, платить нечем. Срок 1-го апреля, потом еще пять дней отсрочки. Денег нет ни на что, едим то что отпускают в долг в лавке, в город ездить нё на что, ед/у/ет либо С[ергей] Я[ковлевич] либо Аля, завтра не поедет никто, эти деньги на марку — последние.

Пыталась с Перекопом. Три попытки — три отказа. («Числа», «Воля России», «Современные Записки»). Последние, устами редактора Руднева — последнего городского головы Москвы: «У нас поэзия, так сказать, на задворках. Вы нам что-н[и]б[удь] лирическое дайте, коротенькое, строк на 16». (т.е. франков на 16<sup>4</sup>). С франц[узским] Мдлодцем — ничего. Читала — порознь — четырем поэтам. Восхищение — поздравления — и никто пальцем не двинул<sup>5</sup>. Свели меня (на блинах) с одним из редакторов Nouvelle Revue Française, к[отор]ый женат на моей школьной товарке Чалпановой. Тип французского коммуниста, советофил. Слушал — слушал — и: «В стихах я ничего не смыслю, я заведую отделом статей по такому-то вопросу. Но — при случае скажу. — Принесите, только будьте готовы к отказу. Кроме того, денег у нас всё равно нет»<sup>6</sup>.

Весь последний месяц билась с этими двумя вещами. Безнадежно. То — «издательский кризис», то — «вещь нова» (это — о франц[узском] Мдлодце). Перекоп же просто никому не нужен. И не скрывают.

Дальше. Начинается у нас Новая литер[атурная] газета. Приглашают. Что угодно — только непременно в 1 №<sup>7</sup>. Пишу статью о новой русской детской литер[атуре]. Сравниваю с дошкольными книжками *моего* детства — и с местным производством. Всё на цитатах. О реализме и фантастике. О фантастике почвенной (народной) и фантастике-ахинее: *тамбовских* эльфах. 200 строк — 100 фр[анков]. Радуюсь. И — отказ. И в России-де есть плохие детские книжки (агитка). Кроме того он, редактор, очень любил *фей*.

Провалились и эти сто<sup>8</sup>.

Словом — *БЬЮСЬ*. Бьется и С[ергей] Я[ковлевич] со своей кинемат[ографической] школой, бьется и Аля со своим рисованьем (на конкурсе иллюстраций — вторая, — «поздравляли») и вязаньем — 50 фр[анков] ручной дамский свэтер<sup>9</sup> с рисунком. Весь дом работает — и ничего. Писала ли я Вам, что у меня от общего истощения (была в клинике у хорошего проф[ессора]) вылезло полброви, прописал мышьяк и массаж, — вот уже месяц как была: не растет, так и хожу с полутора<sup>10</sup>.

Ждать неоткуда. Через три недели терм. Удушены долгами, утром в лавку — мўка. Курю, как в Сов. России, в до-пайковые годы (паёк мне дали одной из первых, потому что у меня от голоду умер ребенок)<sup>11</sup> курю окурковый табак — полная коробка окурков, хранила про черный день и дождалась<sup>12</sup>. С.Я. *безумно* кашляет, сил нет слушать, иду в аптеку. — Есть ли у вас какой-н[и]-б[удь] недорогой сироп? Франков за пять? — Нет, таких вообще нет, — самый дешевый 8 фр[анков] 50 с[антимов], вернете бутылку — 50 с[антимов] обратно. — Тогда дайте мне на 1 фр[анк] горчичной муки.

Иду, плачу — не от унижения, а от кашля, который буду слышать всю ночь. И от сознания *неправедности* жизни.

---

Так живу. Ныне на последние деньги марку и хлеб. Фунт. Уже съели. (Я и в России не умела беречь — когда фунт).

---

И вот просьба. Ведь через 6-8 мес[яцев] С.Я. *наверное* будет зарабатывать (кино-оператор). Но — чтобы как-нибудь дотянуть — м[ожет] б[ыть] Вы бы рассказали о моем положении нескольким человекам, чтобы каждый что-нибудь ежемесячно давал (так мне помогали те, которые отпали). Именно ежемесячно, чтобы знать. Вроде стипендии. Нам четверым на жизнь нужно тысячу франков, — если бы четыре человека по 250 фр[анков]!

Просила еще в одном месте — тоже женщину — большого друга поэта Рильке, о котором я столько писала, но не знаю, пока молчит<sup>13</sup>. Чувство, что все места (в сердцах и в жизни) — уже заняты. На столбцах — *наверное*.

---

Встретилась еще раз с Пильняком. Был очень добр ко мне: попросила 10 фр[анков] — дал сто. Уплатила за прежний уголь

(48 фр[анков]) и этим получила возможность очередного кредита. На оставшиеся 50 фр[анков] жили и ездили 4 дня.

А не ездить — С[ергей] Я[ковлевич] и Аля учатся — нельзя, а каждая поездка (поезд и метро) около 5 фр[анков].

/Кстати/

Б.Пильняк рассказывал о Борисе: счастлив один, пишет, живет в его, Пильняка, квартире — особнячок на окраине Москвы — про ту женщину знает мало (NB! я не спрашивала), видел ее раз с Борисом, Борис отвел его, Пильняка, в сторону и сказал: «Обещай, что не будешь подымать на нее глаз». — «Я-то не буду, да она сама подымает!» (Это Пильняк — мне). Бедный Борис, боюсь — очередная Елена (Сестра моя Жизнь)<sup>14</sup>.

Читала чудные стихи Бориса «СМЕРТЬ ПОЭТА»<sup>15</sup> — о Маяковском, совсем простые, в гостях, не успела переписать, если достану перепишу и пришлю Вам.

В другом письме напишу Вам о замечательном вечере Игоря Северянина, который (т.е. билет на который) мне подарили.

Впервые за 9 лет эмиграции видела — поэта<sup>16</sup>.

Обнимаю Вас

МЦ.

Дошел ли русский Модолец?<sup>17</sup>

[Приписка Р.Н. Ломоносовой:] Это письмо верните мне пожалуйста. Р.Л.<sup>18</sup>

Часть почтового штемпеля неразборчива. Послано из Meudon в Cambridge и оттуда переадресовано в London.

<sup>1</sup> См. №21.

<sup>2</sup> См. ПТ, с.59, 90, 93, 94, 98, п. от 9 января 1928 г., 12 марта, 31 августа, 14 сентября, 8 октября 1931 г. и 1 января 1932 г.

<sup>3</sup> Плата за квартиру вносилась каждые три месяца, и приближение этого срока (term), равно как и угроза отключения газа и электричества, — вызывали ужас у многих русских эмигрантов, бедствовавших в те годы в Париже. Ср., например, письма В.Ф. Ходасевича к Н.Н. Берберовой («Минувшее», т.5, 1987, с.228-328).

<sup>4</sup> В СЗ Цветаева печаталась в течение 1930-х годов довольно часто, но каждое выступление на страницах журнала стоило ей огромных усилий (см. Karlinsky, p.83). Данной стычке с Вадимом Васильевичем Рудневым (1879-1940) предшествовали и другие (ср. ПТ, с.45, п. от 24 сентября 1926 г.), но эта, очевидно, особенно задела Цветаеву, ибо через год в письме к Ю.П. Иваску от 4 апреля 1933 г. она все еще повторяет: «/.../ дело обстоит так: — "У нас стихи, вообще, на задворках. Мы хотим, чтобы

на 6 стр[аницах] — 12 поэтов“ (слова литературного редактора Руднева — мне, *при свидетелях*). /.../ Ничего не посылаю, ибо за 16 строк — 16 франков, а больше не берут и не дают» (*РЛА*, с.212). Ср. *ПАГ*, с.177, п. от 3 марта 1931 г.

<sup>5</sup> Ср. *ПТ*, с.88, п. от 25 февраля 1931 г.: «/.../ слушало несколько поэтов, хвалили все, никто пальцем не двинул».

<sup>6</sup> Ср. *ПТ*, с.88, п. от 25 февраля 1931 г.: «"Отнесите туда-то, но будьте готовы к отказу“ (на днях, один из редакторов "Nouvelle Revue Française")». Имеется в виду, очевидно, Brice Parain (1897-1971), писатель, философ, переводчик, секретарь изд-ва Gallimard и член редколлекции крупнейшего французского литературного журнала «La Nouvelle Revue Française» (Paris, 1908-1914, 1919-), посвятившего ему целый выпуск (223, июль 1971). В 1925-1926 гг. Parain работал во французском посольстве в Москве. Там он женился на художнице-иллюстраторе Наталье Георгиевне Челпановой (у Цветаевой — описка), дочери Георгия Ивановича Челпанова (1862-1936), психолога и философа, профессора Киевского и Московского университетов, основателя Московского психологического института. См. автобиографию Parain: *DE FIL EN AIGUILLE*, Paris, Gallimard, 1960, pp.186-228. О данном эпизоде см. также: Марк Слоним. *О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ*. — *НЖ*, №104, 1971, с.170. Ср. *ПАГ*, с.177-178, п. от 3 марта 1931 г.

<sup>7</sup> «Новая Газета: Двухнедельник литературы и культуры». Париж, 1 марта — 1 мая 1931 г., №№1-5. Редактор Марк Львович Слоним (1894-1976) был одним из самых преданных и деятельных поклонников творчества Цветаевой и неизменно помещал ее произведения в литературном отделе *ВР*, который он редактировал (см. прим.8 к №5).

<sup>8</sup> Ср. *ПТ*, с.88-89, п. от 25 февраля 1931 г.: «Написала о новой детской книге — там, в России, о ее богатстве, сказочном реализме (если хотите — почвенной фантастике), о ее несравненных преимуществах над дошкольной литературой моего детства и — эмиграции. (Всё на цитатах.) /.../ Нынче письмо: статьи взять не могут, п[отому] ч[то] де и в России есть плохие детские книжки. Писала даром». Статья *О НОВОЙ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ* была опубликована в *ВР*, №5-6 (1931). См. также *ПАГ*, с.176-177, п. от 3 марта 1931 г.

<sup>9</sup> См. прим.22 к №13.

<sup>10</sup> Ср. *ПТ*, с.89, п. от 25 февраля 1931 г.: «К довершению всего у меня на почве общего истощения (ходила в клинику, смотрел при 20-ти студентах профессор) вылезла половина брови, — прописал массаж и мышьяк: ничего не растет, так и кожу с полутора бровями. Но к этому отношусь созерцательно, ничего кроме иронии не чувствую. Точно не моя». Ср. *ПАГ*, с.178, п. от 3 марта 1931 г.

<sup>11</sup> Ирина (1917-1920) умерла в детском приюте, куда Цветаева была вынуждена ее отдать во время голода 1919 г. Паек ей устроил видный марк-

систский критик Петр Семенович Коган (1872-1952), с женой которого Надеждой Александровной Нолле Цветаева дружила.

<sup>12</sup> Цветаева курила с 17-ти лет (см. *АЦ*, с.344) «в России — папиросы, которые сама набивала, за границей — крепкие, мужские сигареты, по полсигарете в простом вишневом мундштуке». (*АЭ*, с.13).

<sup>13</sup> Ср. *ПТ*, с.85-86, п. от 17 октября 1930 г.: «/.../ подружилась — издалека — со старой (годами, а не сердцем) приятельницей Рильке, живет в Швейцарии, на чудном Bodensee, там у нее старый дом в старом саду. Шлет мне все его книги». Имеется в виду, вероятно, Nanny Wunderly-Volkart (1878-1962), проживавшая, однако, не на Bodensee, а на Züricher See в имении Die Untere Mühle в городке Meilen. Выдержка из п. к ней от 2 апреля 1930 г. была опубликована Joachim W. Storck в каталоге *RAINER MARIA RILKE, 1875-1975: Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum, Marbach a.N.* München, In Kommission Kösel Verlag, 1975, S.323.

<sup>14</sup> Многие из стихотворений в книге Пастернака *СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ* (см. прим.16 к №6) навеяны его любовью к Елене Виноград, двоюродной сестре его гимназического товарища Александра Штиха. Пастернак познакомился с Еленой Виноград в 1908 или 1909 г., в 1917 г. — влюбился, роман был недолгим: в 1918 г. Елена вышла замуж за богача Дороднова. Переживания поэта отразились в книге *ТЕМЫ И ВАРЬЯЦИИ* (1923) (цикл *РАЗРЫВ*).

<sup>15</sup> «Новый мир», №1, 1931, с.117.

<sup>16</sup> «Вечер стихов Игоря Северянина в 3-х отделениях. 1. Стихи о России. 2. Лирические. 3. Сатира» — состоялся 12 февраля 1931 г. в зале Debussy (Salle Pleyel). См. *ПН*, 6 февраля 1931г., №3607. Цветаева писала о вечере в статье *ПОЭТ И ВРЕМЯ* (1932) (*ИП*, с.373). В молодости отношение Цветаевой к Северянину (Игорь Васильевич Лотарев, 1887-1942) было скорее отрицательным (см. *АЦ*, с.424 и след.), но она высоко ценила его позднее творчество (см. Karlinsky, p.115). Ср. *ПАГ*, с.178, п. от 3 марта 1931 г.

<sup>17</sup> См. прим.27 к №13.

<sup>18</sup> Р.Н. Ломоносова, очевидно, показывала письмо знакомым, уговаривая их помочь Цветаевой материально. О результатах см. №№17, 19.

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
11-го марта 1931 г.

Дорогая Раиса Николаевна, вчера вечером одно письмо, нынче утром другое. *Всё* получила, спасибо от всего сердца за себя и

за своих. Вчера — двойная радость: Ваше письмо и поздно вечером возвращение С[ергея] Я[ковлевича] с кинематогр[афического] экзамена — выдержал. Готовился он испуганно, а оказалось — легче легкого. По окончании этой школы (Pathé) ему открыты все пути, ибо к счастью связи — есть. Кроме того, он сейчас за рубежом лучший знаток советского кинематографа, у нас вся литература, — присылают друзья из России. А /?/ журнальный — статейный — навык у него есть: в Праге он затеял журнал «Своими путями» (который, кстати, *первый* в эмиграции стал перепечатывать советскую литературу, после него — *все*. А сначала — как ругали! «Куплен большевиками» и т.д.)<sup>1</sup>, в Париже редактировал «ВЕРСТЫ»<sup>2</sup> и затем газету Евразию, в которой постоянно писал<sup>3</sup>. Пришлю Вам № «Новой Газеты» с его статьей, выйдет 15-го<sup>4</sup>, — увидите и, если понравится, м[ожет] б[ыть], дорогая Раиса Николаевна, поможете ему как-нибудь проникнуть в английскую прессу. Тема (Сов[етский] Кинемат[ограф]) *нова*: из русских никто не решается, а иностранцы не могут быть так полно осведомлены из-за незнания языка и малочисленности переводов. Повторяю, у С.Я. на руках *весь* материал, он месяцами ничего другого не читает. Другая статья его принята в сербский журнал<sup>5</sup> (но увы вознаграждение нищенское). Может писать: о теории кинематографии вообще, о теории монтажа, различных течениях в Сов[етской] Кинематографии, — о ВСЕМ ЧТО КАСАЕТСЯ СОВЕТСКОГО и, вообще, кинематографа.

Но связей в иностранной прессе (кроме Сербии) у нас пока нет.

В эту его деятельность (писательскую) я тверже верю, чем в кино-операторство: он отродясь больной человек, сын немолодых и безумно-измученных родителей (когда-нибудь расскажу трагедию их семьи)<sup>6</sup>, в 16 лет был туберкулез, (в 17 л[ет] встреча со мной, могу сказать — его *спасшая*), — болезнь печени — война — добровольчество — второй взрыв туберкулеза (Галлиполи) — Чехия, нищета, студенчество, наконец Париж и испуганная (он *исступленный* работник!) работа по Евразийству и редакторству — в прошлом году новый взрыв туберкулеза. В постоянную непрерывную его работу в к[инематограф]е верить трудно — работа трудная, в физически-трудных условиях. Подрабатывать ею — *может*. Главное же русло, по которому я его направляю — конечно писательское. Он может стать одним из лучших теоретиков. И идеи, и интерес, и навык. В Чехии он много писал чистолитер[атурных] вещей, некоторые были напечатаны. Хорошие вещи<sup>7</sup>. Будь он в России — непременно был бы писателем. Прозаику (и человеку *его* склада, сильно общественного и идейного) нужен *круг и почва*: то, чего здесь нет и не может быть.



Я — другое, меня всю жизнь укоряют в *безыдейности*, а советская критика даже в беспочвенности<sup>8</sup>. Первый укор принимаю: ибо у меня взамен МИРОВОЗЗРЕНИЯ — МИРООЩУЩЕНИЕ (NB! очень твердое). Беспочвенность? Если иметь в виду *землю*, почву, родину — на это отвечают мои книги. Если же *класс*, и, если хотите, даже пол — *да*, не принадлежу ни к какому классу, ни к какой партии, ни к какой литер[атурной] группе НИКОГДА. Помню даже афишу такую на заборах Москвы 1920 г. ВЕЧЕР ВСЕХ ПОЭТОВ. АКМЕИСТЫ — ТАКИЕ-ТО, НЕО-АКМЕИСТЫ — ТАКИЕ-ТО, ИМАЖИНИСТЫ — ТАКИЕ-ТО, ИСТЫ-ИСТЫ-ИСТЫ — и, в самом конце, *под пустотой*:

— и —

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

(вроде как — голая!)<sup>9</sup>

Так было, так будет. Что я люблю? Жизнь. Всё. Всё — везде, м[ожет] б[ыть] всё то же одно — везде.

Из-за приветствия Маяковского на страницах Евразии (два года назад) меня прогоняют из Последн[их] Новостей (Милоуков: «Она приветствовала представителя власти»<sup>10</sup>, NB! М[аяков]ский даже не был коммунист, его *не пускали* в пролетарские поэты!)<sup>11</sup>, из-за поэмы Перекоп (добровольчество), к[отор]ую, продержав 2 года в ящике и — вынужденная необходимостью — я может быть, если примут, помещу в правом (где *ничего* в стихах не смыслят) еженедельнике «Россия и Славянство»<sup>12</sup>, за поэму Перекоп меня может быть прогонят из единств[енного] журнала, где сотрудничаю вот уже 9 лет, с России, — из «Воли России» (левые эсеры). Но Перекоп-то они *не* взяли! (*Vête poire* — Добровольчество!) и Совр[еменные] Записки, и Числа не взяли, — куда же мне с ним деваться?! Работала 7 месяцев, держала в столе 2 года, жить не на что, *вещь люблю* и хочу, чтобы она появилась.

Из-за *моего* интервью (т.е. приехала сотрудница и расспрашивала, я — отвечала, пошлю) в Возрождении (правые)<sup>13</sup>, С[ергею] Я[ковлевичу] отказали в сотрудничестве в одном более или менее *левом* издании. Это было третьего дня. Раз я его жена — и т.д. Словом, дела семейные!

Простите за такую подробную отпись, если скучно читать — представьте себе, что это — через 100 лет — мемуары. (Я и на собственные беды так смотрю!)

---

О Мѳлодце. Простая русская сказка: как девушка полюбила мѳлодца, а мѳлодец оказался упырем — и загубил всю семью — и ее самоѳ. А потом — едет барин, видит цветок — и т.д.

Остов сказки — народный, я очень мало что изменила.

А гости (м[ожет] б[ыть] они вам показались большевиками?) простые бесы, которые приехали, чтобы нагадить. Пользуясь слабостью барина вынуждают его везти ее («барыню» — Марусю!) в церковь, а в церкви — он, Молодец! который до последней секунды остерегает ее: Не гляди! *НЕ ХОЧЕТ ГУБИТЬ*.

Короче: РОК, где нет виновных.

Если увидимся, покажу Вам эту сказку в подлиннике, она у меня со мной<sup>14</sup>.

---

О Борисе. Борис — влюбляется. (Всю жизнь!) И влюбляется — по-мужски. По-пушкински. В Женю он никогда влюблен не был. Был влюблен — в Елену (катастрофа)<sup>15</sup> — и в многих других (только — полегче!) нынче — в ту, *эту*. Катастрофа неминуема, ибо девушка *глазастая*. И Борис *уже* боится: *уже* проиграл.

(Знаете ли Вы *мою* «Попытку Ревности»? И есть ли у Вас моя книга «После России»? Если нет — пришлю.)<sup>16</sup>

Пора кормить своих, обрываю. Благодарю бесконечно, страшно смущена, тронута, растравлена. Ради Бога — не шлите больше ничего, а то я буду окончательно уничтожена.

Обнимаю

МЦ

Отправлено 11 марта 1931 г. с Place de Vaugirard в Cambridge.

<sup>1</sup> «Своими путями» (Прага, 1924-1926), журнал, издаваемый Русским демократическим студенческим союзом под редакцией Н.А. Антипова, А.А. Воеводина и С.Я. Эфрона. О журнале см. *НП*, с.370. В нем С.Я. Эфрон напечатал: *ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ И СОВРЕМЕННОСТЬ*, №3-4 (январь-февр. 1925), с.19-22; *О ПУТЯХ К РОССИИ*, №6-7 (май-июнь 1925), с.32-33; *ЭМИГРАЦИЯ*, №8-9 (август-октябрь 1925), с.27-30; *ВИДОВАЯ*, №12-13 (июнь 1926), с.24-26; рецензию на книгу Ф.Степуна *ИЗ ПИСЕМ ПРАПОРЩИКА-АРТИЛЛЕРИСТА*, №10-11 (ноябрь 1925 — январь 1926), с.47-48 (под инициалами «С.Э-н»).

<sup>2</sup> Три сборника «Верст» (Париж, 1926-1928) редактировались кн. Д.П. Святополком-Мирским, П.П. Сувчинским и С.Я. Эфроном. См. *Karlinsky*, pp.68-69. В «Верстах» С.Я. Эфрон опубликовал статью *СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*, №3, 1928, с.135-139.

<sup>3</sup> См. прим.5 к №3. Под своим полным именем С.Я. Эфрон напечатал в «Евразии»: *ОЧЕРКИ РУССКОГО ПОДПОЛЬЯ*, №6, 29 декабря 1928 г., с.6; №8, 12 января 1929 г., с.6-7; *ОТ КОМИТЕТА ПАРИЖСКОЙ ГРУППЫ ЕВРАЗИЙЦЕВ*, №10, 26 января 1929 г., с.8; *КАДЕТЫ И РЕ-*

**ВОЛЮЦИЯ**, №16, 9 марта 1929 г., с.6-7. Кроме того, под инициалами (С., С.Э., С.Я., С.Я.Э-н, Я.С.) — отзывы об очередных выпусках московского журнала «Новый мир» (№13, 16 февраля 1929 г., с.8; №19, 30 марта 1929 г., с.7-8; №27, 25 мая 1929 г., с.8), о других советских журналах и о советском кино (№15, 2 марта 1929 г., с.7 и 8), а также о книге В.Каверина **СКАНДАЛИСТ ИЛИ ВЕЧЕРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ** (№26, 18 мая 1929 г., с.8). Не исключено, что часть многочисленных неподписанных передовиц также принадлежала его перу.

<sup>4</sup> См. прим.7 к №14. Автор кратких обзоров советского кино в первых выпусках «Новой Газеты» не указан. В №№4-5 от 15 апреля и 1 мая 1931 г. помещены статьи С.Я. Эфрона **ДОЛОЙ ВЫМЫСЕЛ: О ВЫМЫСЛЕ И МОНТАЖЕ** и **ЗАМЕТКИ О КИНО**. Большая его статья **СОВЕТСКАЯ КИНОПРОМЫШЛЕННОСТЬ**, которая, как и статья самой Цветаевой **О НОВОЙ РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ**, предназначалась, по всей вероятности, для «Новой Газеты», увидела свет на страницах *ВР* (№3-4, 1931, с.279-290).

<sup>5</sup> В журнале «Руски Архив» (Белград, 1928-1937), напечатавшем сербские переводы очерков Цветаевой **НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА, ПОЭТ И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО ПРИ СВЕТЕ СОВЕСТИ, ПОЭТЫ С ИСТОРИЕЙ...**, **МОЙ ПУШКИН** и др. (см. *Bibliographie*, с.231-232), появилась также статья: С.Я. Эфрон. **РУСКА КИНЕМАТОГРАФСКА ИНДУСТРИЈА**, прево Т.Ј. (13, 1931, с.99-108).

<sup>6</sup> Ср. *АЦ*, с.433-434; *АЭ*, с.22-26.

<sup>7</sup> Кроме перечисленных выше работ С.Я. Эфрона в печати появились также: **О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ**. — *СЗ*, №21, 1924, с.376-380 (под инициалами «С.Э.»); **ОКТАБРЬ 1917 ГОДА**. — «На чужой стороне» (Берлин-Прага, №11, 1925, с.137-172); **ТИФ**. — «Ковчег» (Прага, №1, 1926, с.71-101); **ТЫЛ**. — «Благонамеренный» (Брюссель, №2, 1926, с.35-46). В ответ на анкету газеты «Возрождение» о выдающихся произведениях русской зарубежной беллетристики Цветаева написала: «Вся творческая работа Ремизова. Из молодых — рассказ "Тиф" Сергея Эфрона и, его же, "Октябрь" (глава из "Записок добровольца" в III книге "Архива русской революции")». («Возрождение», №275, 4 марта 1926 г., с.4). (Выходные данные **ОКТАБРЯ** указаны неточно.)

<sup>8</sup> См. в статье Д.А. Горбова **10 ЛЕТ ЛИТЕРАТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ**. — «Печать и революция», №8, 1927, с.9-35, суждения типа «она без корней» (с.11) и «оторванность художника от своей страны» (с.25). Об отношении Цветаевой к этой статье см. *ПАГ*, с.171, п. от 25 февраля 1928 г.

<sup>9</sup> Ср.: В.Швейцер, *Т.1*, с.20-21: «.../ в поисках .../ слушателей много выступала — и на открытых вечерах в Большом Зале Консерватории, в Политехническом, и в более узком кругу Дворца Искусств. .../ Замечательно, что в коллективных сборниках 20-х годов при перечислении многочисленных тогда поэтических группировок значилось: "Цветаева — вне групп"».

<sup>10</sup> Нашумевшее обращение Цветаевой к Маяковскому в №1 газеты «Евразия» за 24 ноября 1928 г. воспроизведено в книге *MARINA TSVE-TAEVA. THE DEMESNE OF THE SWANS*, edited /.../ by Robin Kemball. Ann Arbor, Michigan, Ardis, 1980, p.155, с примечанием Цветаевой: «За это меня мгновенно выгнали из Последних Новостей». Павел Николаевич Милоков (1859-1943), историк, лидер партии кадетов и министр Временного правительства. В эмиграции редактировал *ПН*. В *ПТ*, с.47, п. от 18 декабря 1926 г. Цветаева писала о нем: «он *бездушен*, только голова».

<sup>11</sup> Ср. выступление Маяковского 25 марта 1930 г. в Доме Космомольца Красной Пресни: «"Товарищ Маяковский, за что вы сидели в тюрьме?" — За принадлежность к партии, но это было давно. "Партийный ли вы сейчас?" — Нет, я беспартийный. /.../ Я от партии не отделяю себя, считаю обязанным выполнять все постановления этой партии, хотя не ношу партийного билета» (Полное собрание сочинений в 13-ти томах, т.12, М., ГИХЛ, 1959, с.431-432).

<sup>12</sup> «Россия и Славянство». Орган национально-освободительной борьбы и славянской взаимности. (Париж, 1928-1934). Издавался при ближайшем участии П.Б. Струве. См. *ПТ*, с.90, п. от 12 марта 1931 г.: «/.../ не прекратят ли чехи иждивение из-за моего сотрудничества — т.е. напечатания вещи — в правом органе?» *ПЕРЕКОП* в журнале не был напечатан.

<sup>13</sup> В газете «Возрождение». Орган русской национальной мысли (Париж, 1925-1940) — появилась статья Н.Городецкой *В ГОСТЯХ У М.И. ЦВЕТАЕВОЙ*. (№ от 7 марта 1931 г.)

<sup>14</sup> *МОЛОДЕЦ* основан на сказке *УПЫРЬ* из свода А.Н. Афанасьева *НАРОДНЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ*. О подарке от редакторов «Северных Записок» в 1915-1916 гг. «трех томов Афанасьевских сказок» см.: *НЕЗДЕШНИЙ ВЕЧЕР*. (1936) (*ИП2*, с.137).

<sup>15</sup> См. прим.14 к №14.

<sup>16</sup> *ПОПЫТКА РЕВНОСТИ* (1924) была сначала опубликована в *ПН* (№ от 17 декабря 1925 г.), потом вошла в *ПР*. В собрании Р.Н. Ломоносовой нет экземпляра *ПР*.

Дорогая Раиса Николаевна!

Простите, что не поблагодарила сразу — все дни уходили на спешную правку и переписку поэмы Перекоп<sup>1</sup>, о которой и будет всё следующее письмо — на днях<sup>2</sup>. (То есть: печатать или нет?)

Большое письмо от Бориса, — и о нем напишу. В общих чертах — всё верно. Радоваться за него — рано. Я написала ему большое письмо, которое так и не отослала.

Еще раз — от души спасибо. Живу в смуте — из-за дилеммы (поэмы) Перекоп.

До скорого большого письма. Обнимаю Вас

МЦ

Meudon (S. et O.) 2, Av. Jeanne d'Arc, 22-го м[арта 1931 г.]

Отправлено 23 марта 1931 г. с Avenue d'Orléans (ныне Avenue Général-Leclerc, Paris XIV<sup>e</sup>) в London.

<sup>1</sup> Ср. ПТ, с.88, п. от 25 февраля 1931 г.: «"Перекоп" мне один знакомый перепечатывает на машинке».

<sup>2</sup> №17. О ПЕРЕКОПЕ Цветаева, однако, так и не писала (см. конец №17).

17

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
31-го марта 1931 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Попытка настоящего письма, хотя с головой, разбитой суетою бытового дня. Не взыщите, у меня как у немцев — лучшая голова — утренняя.

Во-первых — Ваша болезнь. Сердце — лютая вещь и — надежная вещь. Лютая — при малейшем перебое — земля из-под ног: состояние землетрясения, с той разницей, что оно — внутри. Надежная ибо держит больше чем обещает и может больше чем может. Я сердце (орган) люблю как можно любить человека: с восхищением и с благодарностью. Сердце — герой.

А Сиротинин врал, т.е. не учел чудесности органа. Здесь врач знает меньше чем поэт<sup>1</sup>.

У меня, например, сердце — шалое. Могу — галопом — полверсты в гору и *не могу* — полное обмирание, до дурноты — при первом повороте /на/ автомобил/е/я. На местной, очень веселой карусели, с отделяющимся постепенно сидением, чуть не умерла<sup>2</sup>. *Не могу* лифта (*всегда* пешком)<sup>3</sup>. Воображение? Нет. Не воображают же другие! И не воображаю же в поезде. *Не могу* — дурнота — когда *другой* с высоты, о себе уже не говорю: через ж[елезно-]д[орожный] мост, где в прогалы видны рельсы, прохожу сжав зубы. Могу всё, что пешком, и на земле, нога на земле. И не я могу или не могу, а — сердце.

От мысли о Вашей автомобильной поездке через всю Европу — физически — обмираю.

Нет, лучше где-нибудь на море или в горах, в тишине. Со своими, без чужих. С какой-нибудь одной книгой на все лето. Такая у меня была прошлым летом — знаете ли? — Sigrid Undset — три части: Der Kranz — Die Frau — Das Kreuz\*. Всего около 2000 стр. и — ни одной лишней строки. Норвежский эпос — и женский эпос. Вся страна и вся судьба. Кажется за нее именно получила нобелевскую премию. Наверное переведена на английский, я читала по-немецки, так всё лето и прожила — в Норвегии<sup>4</sup>.

— Кто с Вами целые дни — раз ложите? Чуб работает, Ю[рий] В[ладимирович] наверное тоже занят. Есть ли у Вас в Лондоне близкие друзья? Тоскливо — когда сердце!

А вот вещь которая Вас обрадует и с которой может быть и следовало начать: вчера чек на 25 долл[аров] от Вашего Тихвинского. Правда — удивительно? Факт отдачи удивителен, независимо от человека. Просит прислать две расписки, одну Вам, одну ему. Вашу — прилагаю<sup>5</sup>. С несказанной благодарностью. Теперь сразу смогу внести за Алину школу, и еще останется. Терм, благодаря Вам, будет завтра выплачен целиком. А теперь и с Алиной школой устроено! Не примите за сухость, но просто: *слов нет*.

Аля получила первый приз на конкурсе иллюстрации. Теперь сама гравюрует свою вещь (в первый раз). Если удастся пришлю Вам оттиск. Результат конкурса — бесплатное обучение гравюре (в этой школе за каждый курс отдельно).

Написала нынче Борису. Вспоминала как и я хотела уйти (6 лет назад). Выбор был между *язвой* (если уйду от С[ергея]) и раной (если уйду от другого)<sup>6</sup>. Выбрала чистое: рану. Я своим счастьем жить не могу, никогда с ним не считалась, просто на него глубоко, отродясь *неспособна*. Прошу Б[ориса] только об одном — жить.

А Вас, дорогая и милая и близкая и далекая, незнакомо-родная Раиса Николаевна — выздоравливать, то есть: *верить в сердце*.

О своем злосчастном Перекопе в другой раз. И об очередном *большом* огорчении — одном отъезде<sup>7</sup>.

Обнимаю и бесконечно благодарю. Всё получила. М.

[Приписка 1:] У нас после жаркой весны — ледяные ветра, но с дивной синевой, точно на океане.

[Приписка 2:] Скоро пришлю Вам карточку Мура, нынче снимали. И напишу Вам о нем.

\* Вся вещь, по-немецки: Kristin, Laurinstochter. Прим. М.Цветаевой.

Отправлено 1 апреля 1931 г. с Place de Vaugirard в London и оттуда — в Cambridge.

<sup>1</sup> В воспоминаниях Ю.В. Ломоносова за май 1915 г. читаем следующее: «Под видом врачебного освидетельствования, нужного для получения отпуска, [врач] Михайловский уговорил Рису [Р.Н. Ломоносову] показаться профессору Сиротинину, который тогда в Петрограде считался первым специалистом по внутренним болезням. /.../ По словам же и самой Рисы и Михайловского, он подтвердил, что у нее органический порок сердца, но высказался за то, чтобы оставить ее жить в привычных условиях, тем более, что *жить ей осталось максимум пять лет.* /.../ Сиротинин /.../ высказался против сердечных лекарств и курортов, а также против полной праздности. "Пусть немного работает, но не переутомляется, а главное, не раздражается". В соответствии с этим и я получил инструкцию не возражать Рисе сразу, сколь бы нелепые требования она ни предъявляла. А затем вызывать к ее рассудку. Но я до этого уже давно дошел своим умом». Имеется в виду, по всей вероятности, профессор Военно-Медицинской академии Василий Николаевич Сиротинин, который впоследствии эмигрировал во Францию (см. *ПЕРЕПИСКА И.П. ПАВЛОВА*. Л., «Наука», 1970, с.402, 404).

<sup>2</sup> Ср. о каруселях в *ОТРЫВКАХ ИЗ КНИГИ «ЗЕМНЫЕ ПРИМЕТЫ»*. (1924) (ИП1, с.119).

<sup>3</sup> Ср. *АЦ*, с.22-23.

<sup>4</sup> Sigrid Undset (1882-1949) получила Нобелевскую премию в 1928 г. за трилогию *KRISTIN LAVRANDATTER* (1920-1922). По-немецки трилогия называлась *KRISTIN LAVRANSTOCHTER* (пер. Julius Sandmeier и Sophie Angermann. Frankfurt-am-Main, Rütten und Loening, 1926-1927; 2-е изд. 1928. 3 тт.). Цветаева очень часто упоминает эту книгу в своих письмах. В *ПТ*, с.114, п. от 24 августа 1934 г. она отмечает: «/.../ перечитываю каждое лето, — вот уже пятый раз».

<sup>5</sup> К письму приложена расписка:

25 долларов от Г-на Тихвинского получила  
Марина Цветаева  
Meudon (S. et O.)  
2, Av. Jeanne d'Arc  
31-го марта 1931 г.

Леонид Михайлович Тихвинский был сыном расстрелянного в 1921 г. за участие в «Таганцевском заговоре» Михаила Михайловича Тихвинского, профессора химии, коллеги Ю.В. Ломоносова по Киевскому Политехническому институту и его же начальника в киевской ячейке военно-технической организации при ЦК РСДРП(б) в революцию 1905 г. В архиве Р.Н. Ломоносовой сохранилось одно письмо к ней от Л.Тихвинского («Лоло»), написанное 3 июня 1935 г. в Питтсбурге (США) (MS 717.2.246.1). Л.М. Тихвинский был должен деньги Ломоносовым, и, надо полагать, что, отправляя перевод Цветаевой, он гасил часть своего долга.

<sup>6</sup> Цветаева, возможно, имеет в виду свой роман (1923-1924 гг.) с Константином Болеславовичем Родзевичем (1895-1988), героем ее *ПОЭМЫ ГОРЫ* и *ПОЭМЫ КОНЦА* (1924). О нем см.: *Соч.1*, с.533-534; *НП*, с.214-215.

<sup>7</sup> См. прим.3 к №18.

18

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
12-го апреля, первый день Пасхи

Христос Воскресе, дорогая Раиса Николаевна!

Какой ужас с сыном!<sup>1</sup> Если я до сих пор не могу опомниться — каково Вам? Слава Богу, что не дали беде ходу, вмешались и пресекали сразу. В таких случаях обыкновенно ждут утра, а когда утро приходит оказывается, что именно утра не нужно было ждать. (Почему беда так любит ночь?)

Дай Вам Бог — нынче Пасха, лучший день в году и *все* добрые пожелания должны сбыться! — Дай Вам Бог скорее и вернее успокоиться, для Вас дело не в Вас, мать лично неуязвима, — только через сына — дай Бог Вашему скорой и верной поправки. М[ожет] б[ыть] лучше, что так разом прорвало, а то бы, с медленным процессом внутри, тянулось бы и тянулось, теперь чувство, что внутри — чисто.

(Винovat ли в происшедшем врач, оперировавший в первый раз? Его ли недосмотр, или развилось самостоятельно?)

Часто-часто среди дня укол в сердце — мысль о Вас и Вашем сыне.

Напишите скорей, хотя бы два слова, о дальнейшем ходе болезни — если найдете минутку.

Вчера Мур впервые был с нами у заутрени — 6 лет, пора — впервые видел такую позднюю ночь, стояли на воле, церковка была переполнена, не было ветра, свечи горели ровно, — в руках и в траве, — прихожане устроили иллюминацию в стаканах из-под горчицы, очень красиво — сияющие узоры в траве.

Нынче блаженный день, весь его провели в лесу, уйдя от могущих быть визитёров.

Жду весточки, обнимаю, люблю, болею. Дай Бог!

МЦ.



Письмо залежалось, были проводы двух друзей, — Кн. С.Волконского<sup>2</sup> на Ривьеру (болен, в Париже жить запрещено) и Е.Извольской — в Японию<sup>3</sup>.

Но все-таки посылаю, чтобы не думали, что о Вас не думала.

Отправлено 16 апреля 1931 г. с Place de Vaugirard в London и оттуда в Cambridge.

<sup>1</sup> См. прим.6 к №11. Когда обнаружались серьезные осложнения, Ю.Ю. Ломоносову пришлось вторично оперировать ногу, причем некоторое время существовала даже угроза ампутации.

<sup>2</sup> Кн. Сергей Михайлович Волконский (1860-1937), с которым Цветаева была особенно тесно связана в 1921, посвятил ей кн. *БЫТ И БЫТИЕ* (Берлин, 1924). Цветаева писала о нем в ст. *КЕДР: АПОЛОГИЯ* (1924) (*ИПИ*, с.430-433, 149-170). См. также: Karlinsky, pp.49, 89; *НП*, с.209.

<sup>3</sup> О сборах Е.А. Извольской (см. прим.8 к №8) в Японию, где она пробыла недолго и, выйдя замуж, вскоре вернулась во Францию, Цветаева писала в первой части *ИСТОРИИ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ* (1931) (*ИПИ*, с.341-348). См. также: Елена Извольская. *ПОЭТ ОБРЕЧЕННОСТИ...* — «Воздушные пути», Нью-Йорк, №3, 1963, с.160.

## 19

Дорогая Раиса Николаевна,

Не пишу потому что боюсь тревожить, а вместе с тем так хочется знать о Вас и о сыне.

Нынче очередной взнос от Тихвинского, просит выслать Вам расписку, прилагаю<sup>1</sup>.

Напишите хоть словечко!

Обнимаю Вас

МЦ

Много есть о чем рассказать, но не решаюсь занимать собой. Вот когда Чуб поправится!

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
10-го мая 1931 г.

Отправлено 11 мая 1931 г. с Place de Vaugirard в London и оттуда в Cambridge.

<sup>1</sup> 25 долларов от Г-на Тихвинского получила  
М.Цветаева  
Мёдон, 10-го мая 1931 г.

Meudon (S. et O.)  
2, Av. Jeanne d'Arc  
17-го июня 1931 г.

Дорогая Раиса Николаевна! Давно не писала Вам, и Вы давно не писали. Будем надеяться: *pas de nouvelles — bonnes nouvelles*.

Причина моего неписания: мой ежегодный вечер<sup>1</sup> со всем предшествующим и последующим: сначала просьбами о размещении билетов, [потом?] благодарностями за размещенные. Вечер — душевно — был необычайно-удачным: решила провести его одна, без других участников, так сказать — в сухую, и вышло лучше чем когда-либо. (Раньше у меня играли, пели, даже танцевали, и публика, которую я же хотела развлечь, всегда укоряла)<sup>2</sup>.

Читала прозу — История одного посвящения, которая пойдет в Воле России<sup>3</sup> и которую пришлось Вам — второе отделение стихи<sup>4</sup>. Была в первый раз за все свои вечера (пять или шесть) не в черном, так как моя приятельница Извольская уезжая подарила мне распоротое девическое платье своей матери (— жены посла, рожденной баронессы Толль, — для современников «Nini» — «le sougire de l'ambassade»<sup>5</sup> —) платье 50 лет (если не 55) пролежавшее в сундуке — чудного шелка и цвета: *чисто*-красного. Так как цвет сам по себе был восхитителен, я решила не /красить/ портить ради одного вечера, отдав в краску, и шить как есть. Оказалось, что я в нем «красавица», что цвет выбран (!) необычайно удачно и т.д. — Это мое первое собственное (т.е. шитое на меня) платье за шесть лет.

Вечер дал мало, хотя народу было полный зал, но всё дешевые билеты, ибо любящие — не имеют, имеющие — не любят<sup>6</sup>. Кроме того многие разорились. Так что уехать на лето не придется. Но обеспечена уплата квартирного налога. Кроме того, лето пока не жаркое, и мы все-таки за-городом. Worse с квартирой. Полоумная хозяйка затеяла переделку: вроде *Метаморфоз Овидия*<sup>7</sup>: из кухни — ванную, из ванной — кухню, и повышает за это годовую плату на 1200 фр[анков]. Мы даем 500, если не согласится придется съезжать, т.е. все лето (съезжать надо 1го октября) искать.

Ненавижу квартирные переезды, выбивающие из рабочей колеи на недели по крайней мере.

Была два раза на Колониальной выставке, лучшее — негры, из стран — Конго, т.е. их жилища и искусство. Портит выставку множество ресторанов и граммофонов с отнюдь не колониальной музыкой, а самыми обыкновенными тенорами и баритонами.

Но, если в синий день, в полдень (когда все завтракают, т.е. отсутствуют) да еще среди чудных гигантских благожелательных негров — можно почувствовать себя действительно за тридцать земель и морей<sup>8</sup>.

---

Пишите, дорогая Раиса Николаевна, о сыне; — надеюсь выздоровлении — о лете, планах и достоверностях.

От Бориса давно ничего, да и я не пишу. Может быть что-нибудь знаете от Жени?<sup>9</sup>

---

Дорогая Раиса Николаевна, большая просьба: выходит отдельным изданием моя поэма «Крысолов», по подписке. Не найдется ли среди Ваших знакомых несколько подписчиков? Подписные бланки посылаю отдельно, а вот, пока, один на показ<sup>10</sup>.

Обнимаю Вас и жду весточки

МЦ.

Отправлено 17 июня 1931 г. из Meudon в Cambridge.

<sup>1</sup> Вечер состоялся 30 мая 1931 г. в зале Eurythmie (6 bis, rue Campagne Première, Paris XIV<sup>e</sup>). О нем см. также *ПАГ*, с.179-180, п. от 31 мая 1931 г.

<sup>2</sup> На вечере в 1926 г., например, выступали сопрано Cunelli и скрипач Могилевский (см. *Karlinsky*, pp.61-62).

<sup>3</sup> См. прим.8 к №21.

<sup>4</sup> *МАЯКОВСКОМУ* (см. *Karlinsky*, p.81).

<sup>5</sup> Мать Е.А. Извольской, Маргарита Карловна, скончалась в Америке в 1942 г. Ее отец, Александр Петрович (1856-1919), был послом в Париже в 1906-1910 гг.

<sup>6</sup> Цветаева рассчитывала получить, по крайней мере, 1500 франков за вечер, «какой ни есть» (см. *ПТ*, с.89, п. от 27 февраля 1931 г.).

<sup>7</sup> О более серьезном интересе Цветаевой к *МЕТАМОРФОЗАМ* Овидия свидетельствуют некоторые стихотворения из книги *РЕМЕСЛО* и поэмы *ПЕРЕУЛОЧКИ* и *КРЫСОЛОВ*.

<sup>8</sup> L'Exposition Coloniale Internationale de Paris проходила в мае-октябре 1931 г. на большой, тогда еще не застроенной, территории около Porte Dorée (недалеко от Венсенского леса). В книге *ЦВЕТАЕВА: ФОТОБЮОГРАФИЯ*, под ред. Эллендеи Проффер (Ann Arbor, Michigan, Ardis, 1980), с.34 и 93, воспроизведены две фотографии, снятые на выставке.

<sup>9</sup> В сохранившихся письмах Е.В. Пастернак к Р.Н. Ломоносовой, относящихся к 1931 г., когда первая лечилась в Германии, — нет сведений о Б.Л. Пастернаке.

<sup>10</sup> Поэма *КРЫСОЛОВ* вышла в *ВР*, №4, 5, 6, 7-8, 12 (1925) и в №1 (1926). Отдельное издание не осуществилось. К письму приложен подписной бланк:

## Открыта подписка

на первое отдельное (авторское) издание поэмы

МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

# КРЫСОЛОВ

Издание (8 печ. листов) выйдет в количестве  
50 именных экземпляров на бумаге голланд де ривъ  
Цена 2 доллара [50 франков]

200 нумерованных экземпляров на бумаге альфа  
Цена 1 доллар 20 центов [30 франков]

Подписка принимается в Société Nouvelle d'Éditions  
Franco-Slaves, 32, rue de Ménilmontant, Paris (XX<sup>e</sup>)

---

Société Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves  
32, rue de Ménilmontant, Paris (XX<sup>e</sup>)

Прилагая при сем..... прошу выслать мне  
по адресу .....

1 <sup>нумерованный</sup><sub>именной</sub> экземпляр поэмы Цветаевой «Крысолов»

Имя ..... Отчество .....

Фамилия .....

Дата .....

Подпись .....

Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
29-го авг[уста] 1931 г.

Дорогая Раиса Николаевна,

Давно-давно Вам не писала — и Вы мне. Всё мое лето прошло в отъездах и сборах: С[ергея] Я[ковлевича] в Савойю и Али в Бретань. Оба по приглашению и — казалось бы — просто, но нужно было доставать удешевленные проезды — и деньги на эти проезды, проезды не приходили и деньги проедались. Наконец уехал (и уже вернулся, — приглашали на две недели) С.Я. и теперь уехала Аля<sup>1</sup>.

Кроме сборов и проводов — ремонт квартиры, т.е. насильственная переделка ванной в кухню и кухни в ванную (плод лихорадочной фантазии хозяйки), от которой мы ничего не выиграли, кроме 1) месяца безванния (старую унесли, а новую не поставили) 2) недельной уборки после ремонта (по всей квартире известка толщиной в три пальца) 3) надбавки 100 фр[анков] в месяц, т.е. 300 фр[анков] в терм, т.е. 1200 фр[анков] в год. — А переехать в другую квартиру не смогли, ибо нужно было бы сразу /внести/ выложить эту тысячу, даже больше: сам переезд и залог значат около полутора. Пришлось согласиться на ремонт<sup>2</sup>.

Третье занятие этого лета: собственноручное шитье Муру штанов, — не смеюсь, честное слово, что три пары отняли у меня около месяца, причем шила каждую свободную минуту, и в лесу и дома, и ни одной строки не написала.

Ему шесть лет, на вид и вес — десять русских и 14 французских, готового ничего найти нельзя, ибо всё на один очень узкий манекен. Портнихи отказываются, наконец нашла одну, заплатила за 2 пары 30 фр[анков] и всё пришлось распороть, ибо с первого разу треснули по шву, хотя мерили (и для этого ездили в Париж и теряли по полдня, не говоря уже о франках) четыре раза. Эти-то штаны и перекраивала и перешивала целый месяц. Мое главное горе: полнейшее отсутствие КОНСТРУКТИВИЗМА, из-за /эт/ него-то (т.е. отсутствия его) и крою («конструирую») собственноручно Муру штаны. Причем Мур вовсе не какой-нибудь феномен — просто большой и толстый мальчик, вполне пропорциональный и даже хорошо-сложенный. Портних пугает непривычность размеров<sup>3</sup>.

Так прошло лето, ибо — прошло. С мая по нынешнее 29-ое августа 2 недели хорошей погоды, остальное — ливни, грозы, холода, туманы, вторая парижская зима. Летних платьев совсем не носили. Но лес — всё лес, люблю его всяким, и зелень — всё зелень, хотя и под дождем. Теперь начались грибы, это большое подспорье, помимо той несравненной радости: найти белый гриб! Берем (NB! так мужики говорят: брать — грибы, ягоды) берем и ежевику. Насколько лес *добрее* моря, в котором только жесткие и колючие крабы!

Была минута когда я чуть-чуть не уехала к морю: да к какому: Средиземному! (не была с детства) да куда: в Монте-Карло! Уезжала одна знакомая дама, приехала с нами проститься в Мёдон, сидим с ней на пне, Мур роет песок. — «Подумайте, М.И., до чего я одинока! Вот сейчас — еду в Монте-Карло совершенно одна. Две комнаты с тремя кроватями, кухня, — зачем мне всё это? Так и будет стоять пустым. Ведь *двоих* могла бы пригласить, — ни одного не нашлось! Ведь *даром*, — только проезд! Приглашаю Г-жу такую-то — не может, Г-жу еще такую-то — с радостью бы, да уже приглашена в другое место, — так и еду одна, на шесть недель».

Молчу с сжатым горлом, на губах *почти* срывающееся: — «А мы? Я и Мур, Мур и я, которые *никуда* не едем и *всюду* бы поехали — и тотчас! Я бы на всех готовила и Вам было бы дешевле чем в ресторане. Мур бы с утра до ночи был бы в саду или у моря, в природе он *идеален*, Вы бы его не слышали» — и т.д.

Но она *не* предлагает, и я молчу. Так и уехала. Провожала ее на Лионский — морской — вожделенный! вокзал и теперь получаю письма: «Одна — не с кем слова молвить — и красота не радуется» и т.д.

Странные — люди?

...Так я всю жизнь пропускала «свое счастье». Мне еще цыганка в Москве, в грозу, помню ее руку в серебре, вцепившуюся в мою — тогда восемнадцатилетнюю — говорила:

— Линий мало: мало *талану* —

(Талан, по-народному, везение, удача, «счастье»).

Я потом ее эти слова взяла в стихи: вот мой единственный ТАЛАН!<sup>4</sup>

Наши дела чернее черного. 600 фр[анков] неуплаченных налогов и через месяц терм: 1300 фр[анков] из которых у нас нет ни одного.

Д.П. С[вятополк-]Мирский (критик и большой друг) все эти годы помогавший на квартиру (2/3 терма) — сразу перестал. Одна любительница моих стихов, грузинская княжна, ныне жена бога-

того коммерсанта, собиравшая для меня ежемесячно около 600 фр[анков] — тоже больше не может, т.е. и этого не может, ибо дающие отказались, дает теперь триста<sup>1</sup>. И вот все что у нас есть. Продала — еще российские — два кольца, оба с бирюзой, старинные, одно за сто, другое за полтора, на них жили около двух недель (на еду 15 фр[анков], но кроме еды нужно ездить в город!)

С[ергей] Я[ковлевич] тщетно обивает пороги всех кинематографических предприятий — КРИЗИС — и французы-профессионалы сидят без дела. А на завод он не может, да и не возьмут, ибо только-только хватает сил на «нормальный день», устает от всего. Сейчас он совсем извелся от неизвестности, не спит ночей и т.д.

Была надежда на устройство франц[узского] «Молодца» в Commerce, самый богатый и снобистический (NB! ненавижу) парижский журнал<sup>6</sup>, ведают им меценаты Бассиано (он итальянский князь, она американка)<sup>7</sup> — и вот, письмо: «Целиком напечатать не можем из-за объема (100 страниц), а дробить — жалко». (Может б[ыть] — им, мне — нет, но не могу же я их уговаривать!)

Так и лежит мой франц[узский] Молодец.

Русская большая рукопись «История одного посвящения», должествовавшая мне принести 750 фр[анков] (2/3 термина) тоже лежит, ибо № (Воли России) не выходит и неизвестно выйдет ли<sup>8</sup>.

---

Но стихи все-таки писала и пишу. Ряд стихов к Пушкину<sup>9</sup> и, теперь: Оду пешему ходу<sup>10</sup>.

---

Очень жду письма, хотя бы короткого, про Вас, здоровье сына, лето, самочувствие, планы на зиму, — так давно не видела Вашего почерка!

Обнимаю Вас сердечно

МЦ

Отправлено 29 августа 1931 г. с Place de Vaugirard в Cambridge.

<sup>1</sup> А.С. Эфрон гостила у друзей Цветаевой (с пражских еще времен) Владимира Ивановича (1884-1956) и Маргариты Николаевны (1881-1958) Лебедевых. (См. ПТ, с.93, п. от 31 августа 1931 г.). См. о них также ПТ, с.192-193.

<sup>2</sup> Ср. *ПТ*, с.100, п. от 8 апреля 1932 г.: «Выехали и въехали 31-го марта /.../. Причина переезда — невозможность платить прежнюю цену /.../» — речь идет о переезде в Clamart.

<sup>3</sup> Ср. *ПТ*, с.73, п. от 17 марта 1929 г.: «Его здесь зовут "маленький великан", а франц[узская] портниха: "le petit phénomène"».

<sup>4</sup> Строки «Линии — мало, / Мало — талану» — из предпоследней строфы стихотворения «В очи заглянула / Тускло и грозно...», вошедшего и в *B2* и в *П*.

<sup>5</sup> См. также *ПТ*, с.93, п. от 31 августа 1931 г. Имеется в виду Саломея Николаевна Гальперн (урожд. Андроникова; 1888-1982). Часть писем Цветаевой к ней опубликована в *ПАГ*.

<sup>6</sup> Журнал «Commerce: Cahiers trimestriels» (Paris, 1924-1932) редактировал поэт Paul Valéry. О более ранней попытке поместить в «Commerce» свои произведения в переводах на французский язык Д.П. Святополка-Мирского Цветаева сообщает в письмах к Л.И. Шестову от 28 июня, 9 и 31 июля 1927 г. (*Вестник*, №129, 1975, с.127-130). Отрицательное отношение Цветаевой к «Commerce» вызвано, по всей вероятности, тем, что «отбор "русского" материала в этом парижском журнале "регулировался" Святополком-Мирским» (Л.Флейшман. *ИЗ ПАСТЕРНАКОВСКОЙ ПЕРЕПИСКИ*. — «Slavica Hierosolymitana», Иерусалим, V-VI, 1981, с.542), и ее характеристика переключается полемически с отзывом самого Святополка-Мирского в «Верстах» (№3, 1928, с.160): «Это как бы цитадель французской литературной культуры, не старой, академической, а живой, современной». О значительной роли «Commerce» см. с.539-540 вышеуказанной статьи Л.Флейшмана. См. также *ПАГ*, с.180, 182, п. от 7 и 16 сентября 1931 г.

<sup>7</sup> О Margaret de Bassiano (урожд. Chaplin) и ее «воскресеньях», устраиваемых для сотрудников журнала на версальской вилле, см.: Helen Iswolsky. *LIGHT BEFORE DUSK: A RUSSIAN CATHOLIC IN FRANCE, 1923-1941*. New York, Toronto, Longmans, Green and Co., 1942, pp.43-45.

<sup>8</sup> *ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОСВЯЩЕНИЯ* так и не увидела света до публикации М.Л. Слонима в «Oxford Slavonic Papers», 11 (1964), pp.112-136. См. также *ПАГ*, с.180, 182, п. от 7 и 16 сентября 1931 г.

<sup>9</sup> Шесть *СТИХОВ К ПУШКИНУ*, написанные летом 1931 г., были опубликованы в *СЗ*, №63, 1937, с.172-176; №64, 1937, с.173-174. О них см.: *МОЙ ПУШКИН*, изд. 3-е, дополн. М., «Советский писатель», 1981, с.202-203.

<sup>10</sup> *ОДА ПЕШЕМУ ХОДУ* писалась летом 1931 г. и зимой 1933 г. В п. к Ю.П. Иваску от 12 мая 1934 г. Цветаева негодовала: «/.../ мне недавно вернули из Совр[еменных] Записок мою "Оду пешему ходу", уже набранную, — в последнюю секунду усумнились в понятности "среднему читателю"» (*РЛА*, с.217). Ода впервые напечатана в кн.: М.Цветаева. *ИЗБРАННОЕ*. М., 1961, с.187-191.



Meudon (S. et O.)  
2, Avenue Jeanne d'Arc  
29-го декабря 1931 г.

С Новым Годом, дорогая Раиса Николаевна!

Как давно от Вас нет вестей! Как здоровье сына, справился ли он наконец с своей упорной болезнью? Это ведь — главное в Вашей жизни, об остальном даже не хочется спрашивать.

Если откликнетесь (я даже не знаю в точности где Вы, пишу по инерции в Кэмбридж) — охотно расскажу Вам о себе, пока же сердечно желаю Вам и Вашим всего, всего лучшего в наступающем 1932 году<sup>1</sup>.

Целую Вас

МЦ

Прилагаемая иконка — от Али<sup>2</sup>.

Отправлено 30 декабря 1931 г. из Meudon в Cambridge и оттуда в London.

<sup>1</sup> В п. от 20 ноября 1933 г. к Б.Л. Пастернаку Р.Н. Ломоносова не совсем справедливо комментирует прекращение переписки с Цветаевой: «/.../ приходили отчаянные письма от М.И. Ц[ветаевой] с просьбами о денежной помощи, а мы сами были в долгу у всех друзей. Каждая Чубина операция, больничные счета увеличивали долги... и наша переписка с М.И. прервалась. Она приняла невозможность за нежелание».

<sup>2</sup> К письму приложена открытка с Рождественской картинкой работы А.С. Эфрон:

Meudon 29 дек[абря] 1931 г.

Милая Раиса Николаевна,  
поздравляю Вас и Ваших с Рождеством и Новым Годом,  
желаю всего, всего лучшего, а главное — здоровья сына!  
Очень хотим все с вами всеми увидеться — увидеть воочию!

Целую Вас

Ариадна Эфрон.

## ИЗ АРХИВА В.В. НАБОКОВА

Публикация В.Аллоя

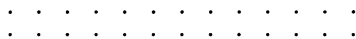
Предлагаемые письма Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) можно отнести к жанру, который принято называть «хроникой литературных нравов». Они касаются публикации его романа «Дар» в «Современных записках», наиболее солидном периодическом издании эмиграции 1920-30-х годов, и проливают дополнительный свет на редакционный быт и журнальную политику того времени.

В «Современных записках» Набоков начал сотрудничать с 1921 г., выступив в VII номере с поэтической публикацией. Там же появилось и большинство его крупных вещей, написанных до войны: «Защита Лужина» (1929-30), «Соглядатай» (1930), «Отчаяние» (1930-31), «Подвиг» (1931-32), «Самега obscura» (1932-33), «Приглашение на казнь» (1935-36) и, наконец, «Дар» (1937-38).

Публикация «Дара» завершилась скандалом: редакция из цензурных соображений отказалась печатать четвертую главу романа — жизнеописание Чернышевского. В.Ф. Ходасевич, внимательно следивший за творчеством Сирина и рецензировавший в «Возрождении» каждый номер «Современных записок», уже после выхода трех первых глав романа предрекал автору неприятности из-за Чернышевского: «/.../ не могу отказать себе в удовольствии обратить внимание читателей на очередной отрывок, в котором рассказывается о том, как герой работал над биографией Чернышевского. Эта глава, где под видом озорной шутки сказаны очень важные и печальные вещи, несомненно причинит автору много хлопот. Все выученики и почитатели прогрессивной полиции умов, надзирающей за русской литературой с сороковых годов прошлого века, должны взбеситься. Их засилье не совсем еще миновало, и над автором "Дара" они взовьются теперь классическим "журнальным роем" слепней и комаров»<sup>1</sup>.

Оказалось, однако, что «мрачный» Ходасевич смотрел на вещи слишком оптимистично. Новая порция романа появилась в LXVII книжке журнала в следующем виде:

<sup>1</sup> «Возрождение», №4137 от 24 июня 1938 г.



Спустя недели две после выхода «Жизни Чернышевского» /.../

Публикации сопутствовало редакционное примечание, составленное В.В. Рудневым: «См. "Современные записки" №№ 63, 64, 65, 66. — Глава 4-ая, целиком состоящая из "Жизни Чернышевского", написанной героем романа, пропущена с согласия автора. — Ред.»

Потребовалось 14 лет, чтобы «Дар», наконец, увидел свет в полном виде<sup>2</sup>, но и тогда, в пятидесятые годы, засилье «прогрессивной полиции умов» все еще не миновало: Г.В. Адамович назвал отношение автора к Чернышевскому «легкомысленным», а М.Л. Слоним и вовсе отозвался о «Даре» как о «злобно-полюемическом романе»<sup>3</sup>. Сам Набоков вспоминал о довоенной эмигрантской критике: «Точно так же как марксистские публицисты 80-х годов старой России обвинили бы его [Сирина. — Публ.] в невнимании к экономическим законам общества, так и оракулы эмигрантской критики упрекали его в отсутствии религиозного проникновения и нравственного пафоса. Все в нем должно было оскорблять русские привычки и особенно русские представления о приличиях»<sup>4</sup>.

Справедливости ради следует отметить, что Набоков был отнюдь не самым цензурируемым автором. М. Цветаевой, Л. Шестову или Г.П. Федотову приходилось куда хуже. Один из редакторов «Современных записок» М.В. Вишняк (1883-1977) приводит в своих мемуарах письмо В.В. Руднева (1879-1940) по поводу федотовской «Правды побежденных»: «В ужасе и негодовании от одной главы в статье Федотова /.../. Он добросовестно защищает Советы, как поучительный для мировой демократии "опыт" — и после свержения большевиков рекомендует оставить привилегии для рабочего класса за счет малосознательного государственного крестьянства... Я было думал, что можно ограничиться энергичной сноской специально к этой главе. Но теперь вношу предложение — опустить вовсе эту главу, как мы опустили его главу о большевистской революции»<sup>5</sup>. Да и сам Вишняк, слышавший редакционным либералом, не упускает заметить: «Едва ли не в каждой статье Федотова имелись мысли скользкие, соблазнительные, сбивавшие простодушных читателей»<sup>6</sup>.

Забота о простодушном читателе почиталась священным долгом, от которого редакцию не освобождали никакие декларации о беспартийности, объективности и широте взглядов. Недаром в литературном Париже 1920-30-х гг. ходила шутка: «А судьи кто? — Да пять эсеров» (Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, И.И. Фондаминский, В.В. Руднев, М.В. Вишняк).

<sup>2</sup> Изд. Чехова, Нью-Йорк, 1952.

<sup>3</sup> «Новое русское слово» от 3 июня 1955 г.

<sup>4</sup> SPEAK, MEMORY. A Memoir by Vladimir Nabokov. London, 1951, p.215.

<sup>5</sup> М.В. Вишняк. «СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ». ВОСПОМИНАНИЯ РЕДАКТОРА. Indiana University Press. Slavic & East European Series, vol.7, 1957, с.253.

<sup>6</sup> Там же, с.254.

О том, как конкретно проявлялась эта «забота», рассказывает тот же М. Вишняк: «"Современные записки" были беспартийным журналом. Но редакторы его оставались членами партии с.р. и ни в какой мере не отказывались от идейной и организационной связанности с ней. /.../ сюда входило не только руководство или редактирование "Современных записок", а и возможность проводить в общем виде свое — то, что мы сами считали правильным и нужным. /.../ Он [В.В. Руднев. — Публ.] считал не только своим правом, но и моральным *долгом* следить за тем, *что и в какой форме* появляется в редактируемом им журнале, считал себя ответственным "общественно-политически" и "литературно", как значилось на обложке "Современных записок". /.../ редакция считала себя в праве *редактировать* поступающий к ней материал и часто предпочитала опускать неподходящее, по ее мнению, без предварительного испрошения согласия автора»<sup>7</sup>.

«Современные записки» отнюдь не являлись исключением, такая или сходная установка была характерна для большинства повременных изданий, особенно если они претендовали на «руководство общественным мнением». Мемуары и переписка эмигрантских литераторов переполнены жалобами на редакторскую цензуру и произвол. «Современные записки» просто занимали центральное положение в журнальной периодике, продолжая традиции «Русского богатства», и потому еще более старательно избегали всего, что могло эпатировать читающую публику. Интересно в этом смысле обещание И.И. Фондаминского (1879-1942) напечатать четвертую главу «Дара» в «Русских записках» — журнале, возникшем к лету 1937 с новым издателем (М.Н. Павловским), но в том же редакционном составе (см. письмо Фондаминскому). Вероятно, Фондаминский считал допустимой для нового органа публикацию, неприемлемую для «Современных записок» с их устоявшейся репутацией и определенным кругом читателей. Тем не менее, глава о Чернышевском не появилась ни во второй, ни в третьей книге «Русских записок». С четвертого номера редакторство в журнале перешло к П.Н. Милюкову (1859-1943), а из старого состава в нем остался лишь М.В. Вишняк — на месте редакционного секретаря. В передовице к четвертой книжке журнала Милюков заявлял, что «Русские записки» остаются «органом русского демократического мнения, не представляя однако же какой-либо отдельной политической партии и не делая своей задачей проповеди какой-либо политической или "мировоззренческой" программы...»<sup>8</sup>. Но и при новом редакторе для «Жизни Чернышевского» места на страницах журнала не нашлось, хотя Набоков активно сотрудничал в «Русских записках».

Письма печатаются по новой орфографии. Копии оригинальных текстов представлены нам вдовой писателя — Верой Евсеевной Набоковой, и его сыном — Дмитрием Владимировичем, которым мы выражаем искреннюю признательность.

<sup>7</sup> М.В. Вишняк, ук. соч., с.258, 273, 255.

<sup>8</sup> «Русские записки», №4, апрель 1938, с.3.

27.12.34.

Дорогой Вадим Викторович,

На днях получите наконец манускрипт: только теперь кончаю исправления и проверку<sup>1</sup>. Анна Лазаревна<sup>2</sup> Вам говорила о моем материальном положении. Благодарю Вас за предложение аванса, он мне был бы очень кстати. А.Л. мне сказала, что в ближайшем номере С[овременных] З[аписок] мог[ло] бы появиться что-нибудь маленькое из моих вещей, она в разговоре с Вами упомянула об отрывке из Чернышевского. Я и сам думал что-либо оттуда урвать, но рассмотрев написанное, пришел к заключению, что ни из Чернышевского, ни из того романа, которого он будет одним из элементов, извлечь пока ничего нельзя, не повредив целого. На днях пишу небольшой рассказ. Боюсь, что в ближайший номер он опоздает, но на всякий случай сообщите предельный срок сдачи.

Спасибо Вам большое за сведения о Амалии Осиповне<sup>3</sup>, буду Вам всегда благодарен за таковые и впредь.

Желаю Вам приятных праздников и жму Вашу руку.

<sup>1</sup> Речь идет о рукописи *ПРИГЛАШЕНИЯ НА КАЗНЬ*, которая печаталась последовательно в №№ 58, 59 (1935) и 60 (1936).

<sup>2</sup> Анна Лазаревна Фейгин, двоюродная сестра Веры Евсеевны Набоковой.

<sup>3</sup> Амалия Осиповна Фондаминская (ур. Гавронская), жена Ильи Исидоровича Фондаминского (Бунакова), одного из редакторов «Современных записок», — болела туберкулезом, от которого и умерла в 1935 г.

11.2.35

Дорогой Вадим Викторович,

Мне было очень тяжело прочитать то, что Вы пишете о состоянии здоровья А[малии] О[сиповны]. Кто ее теперь лечит? Что говорит новый врач, неужели положение действительно настолько серьезно?

Относительно «Приглашения на Казнь» принимаю все Ваши соображения. Ни на какие сокращения конечно согласиться не мо-

гу. Над романом «о Чернышевском» работаю уже два года, но он совершенно не готов для печати, не говоря уже о том, что круг читателей, которым он будет доступен, будет пожалуй еще ограниченнее.

Жму вашу руку.

3

6.8.37

Дорогой Вадим Викторович,

Я так и предполагал, что в первую минуту Вас испугает замена одной главы другою. Не сомневаюсь однако, что теперь, когда первый испуг прошел, и Вы главу прочитали, мнение Ваше изменилось: ведь это не есть случайная глава из середины с развитием действия, еще неизвестного читателю, а совершенно *отдельное* произведение, представляющее самостоятельный интерес. (Мы с моим героем работали над ним четыре года). Вот это-то я и имел в виду, когда писал, что считаю помещение «Жизнеописания Чернышевского» для журнала и ценным и выигрышным. Зато могу понять, что Вам не хочется печатать главы в порядке 14235. Посему предлагаю Вам: 1) либо не выставлять никакой цифры главы и не упоминать «Дара», а озаглавить вещь попросту «Жизнеописание Чернышевского»; 2) либо напечатать под заголовком «Дар», но выставить «Глава 2» (вместо «4»).

Что касается второй главы, то усиленно здесь над ней работаю, я пришел к выводу, что все ее начало требует коренной перделки, что от меня потребует еще многих недель усидчивого сочинительства.

Мне жаль, что нечаянно для себя причинил Вам огорчение, но мне кажется, что предлагаемое мною является вполне благополучным разрешением.

С искренним приветом.

4

10.8.37

Дорогой Вадим Викторович,

Я внимательно прочел Ваше письмо, и — простите за дружескую откровенность — оно произвело на меня тяжелое впечатление. Вашим отказом — из цензурных соображений — печатать

четвертую главу «Дара» Вы отнимаете у меня возможность вообще печатать у Вас этот роман: не сердитесь на меня, а посудите сами — как могу я Вам дать главу вторую и третью (в которой уже намечаются отвергаемые Вами образы и суждения, развитые в четвертой), а затем главу заключительную (в которой между прочим приводятся целиком четыре рецензии на «Жизнеописание Чернышевского», по-разному бранящие автора за оскорбление памяти «великого шестидесятника» и объясняющие, чем эта память свята), когда я заранее знаю, что в «Даре» будет дыра: отсутствие четвертой главы (не говоря о связанных с этим пропусках в остальных), ибо, скажу без обиняков, никакого компромисса и совместных усилий я принять не могу и ни одной строки ни вымарать, ни изменить в ней не намерен. Меня тем более огорчает Ваш отказ от романа, что у меня было всегда особенное чувство по отношению к «Современным Запискам». То, что в них подчас помещались и художественные произведения и статьи, развивавшие взгляды, с которыми редакция явно не могла быть согласна, было явлением необыкновенным в истории наших журналов и представляло собой такое признание свободы мысли (если только эта мысль высказана талантливо и честно — что, впрочем, едва ли не тавтология), которое было убедительнейшим приговором над положением печати в современной России. Почему же теперь Вы говорите мне об «общественном отношении» к моей вещи? Разрешите мне Вам сказать, дорогой Вадим Викторович, что общественное отношение к литературному произведению есть лишь следствие художественного его действия, а ни в коем случае не априорное суждение о нем. Я не собираюсь защищать моего «Чернышевского», — вещь эта по крайнему моему разумению находится в таком плане, в котором ей защита не нужна. Отмечу только для сведения Ваших соредакторов, что как борец за свободу Чернышевский у меня не умален, — и не потому что я это так сделал сознательно (мне, как Вы знаете, совершенно безразличны все партии мира), а потому вероятно, что больше правды было в одном лагере и больше зла в другом, — а если Вишняк и Авксентьев чтили бы в Чернышевском не только революционера, а мыслителя и критика (что является главной темой вещи), то мои изыскания не могли бы их не переубедить. В заключение позвольте обратиться Ваше внимание на курьезное положение, в которое я попадаю: ни в советских изданиях, ни в каких-нибудь «правых» органах, ни в «Последних Новостях» (Милюков, которому я предложил отрывок, обиделся, говорят, за пренебрежительный отзыв о лондонской выставке 1859-го года), ни у Вас, наконец, — я печатать «Чернышевского» не могу. Вы мне предлагаете Вам помочь

найти для «Современных Записок» выход; смею Вас уверить, что мое положение гораздо безвыходнее.

Пожалуйста не примите этого письма за вспышку писательского гонора. Свои романы я пишу для себя, а печатаю ради денег — все остальное баловство случайной судьбы, лакомства, молодой горошек к моим курам. Мне только грустно, что для меня Вы закрываете единственный мне подходящий и очень мною любимый журнал.

С сердечным приветом.

## И.И. ФОНДАМИНСКОМУ

1

16.8.37.

Дорогой Илья Исидорович.

Вам вероятно известна моя переписка с Рудневым относительно Чернышевского. Сегодня получил от него письмо, на которое для меня был возможен только один ответ: посылаю Вам копию с него. Не могу выразить, как огорчает меня решение «Современных Записок» цензурировать мое искусство с точки зрения старых партийных предрассудков.

Пожалуйста, сообщите мне, если можно обратной почтой, остается ли в силе Ваше обещание напечатать, в случае нужды, «Чернышевского» в «Русских Записках». Если да, то возможно ли напечатать его в ближайшей книжке (вместо рассказа)?<sup>1</sup> Вещь, конечно, может быть напечатана только целиком.

Пользуюсь случаем поблагодарить Вас за присылку журнала, в котором мне особенно понравилась статья Осоргина, с положениями и пафосом которой я всецело согласен<sup>2</sup>. Отличная статья Давыдова<sup>3</sup>, к сожалению, разбавлена ненужной «популярной» болтовней. «Освобождение Толстого», кажется, освобождает Бунина от необходимости собственного творчества. Очень интересная статья Владимира Михайловича<sup>4</sup>, но я сказал не «примитив», а «лубок», — дьявольская разница.

Меня еще очень волнует вопрос «Приглашения на казнь».

Обнимаю вас и Владимира Михайловича.

<sup>1</sup> Имеется в виду рассказ *ОЗЕРО, ОБЛАКО, БАШНЯ*, напечатанный в №2 «Русских записок» за 1937 г.



<sup>2</sup> Речь идет о первом выпуске «Русских записок» (1937), где был помещен очерк М.Осоргина (М.А. Ильин, 1878-1943) *УБИЙСТВО ПО СУДУ* (с.192-204), направленный против смертной казни, названной автором «узаконенным зверством, которого нельзя ни прощать, ни объяснять».

<sup>3</sup> К.Н. Давыдов, ученый-зоолог, член Французской академии, автор полусотни научных работ, поместил в этом номере журнала очерк *ПЕРЕЛЕТЫ ПТИЦ* (с.144-179).

<sup>4</sup> Статья В.М. Зензинова (1880-1953) *МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В АРКТИКУ* начиналась с рассказа о просмотре в парижском кинотеатре советского фильма «Семеро смелых». После сеанса «русский писатель, убежденный противник большевиков» (Набоков) восклицает: «Какой-то примитив всех человеческих добродетелей». Статья по существу является опровержением этой фразы: автор начинает с размышлений о фильме: «Уходишь из кинематографа с какой-то зарядкой бодрости и с мыслью: если бы побольше было такой молодежи сейчас в России!» — и далее на 25 страницах следует почти восторженное описание советских свершений в Игарке, Магадане, Ногаево, на золотых приисках Колымы, рассуждения о строительстве заводов и шахт, больниц и школ, о культурном расцвете народов Севера и т.д. Там «создается, в самом деле, какое-то новое племя — людей с неукротимой энергией, бесстрашных, с железной преданностью делу, которое они превратили в дело их жизни». Все это писалось о Колыме летом 1937 года.

## НОВОЕ О БУНИНЫХ

Публикация Н.Винокур

Летом 1987 года рукописный архив Иллинойского университета в Champaign-Urbana (США) пополнился собранием писем и документов, связанных с литературной и издательской деятельностью первой волны русской эмиграции. Собрание, полученное в дар от Юлии Гаухман, принадлежало семье Прегель. Александра Николаевна Прегель (урожд. Авксентьева, 1907-1984) — талантливая художница, ученица Натальи Гончаровой, многократно выставлялась в художественных салонах Франции и Америки. Видную роль в культурной жизни Парижа начала 1920-х годов играла и Софья Юльевна Прегель (1894-1972)<sup>1</sup> — одаренный поэт (автор шести стихотворных сборников), прозаик, переводчик. С начала 1940-х годов С.Ю. Прегель выступала также и как издатель: с 1942 г. она начала издавать литературный журнал «Новоселье», выходящий сначала в Нью-Йорке, а затем — в 1948-50 гг. — в Париже. Собрание Прегель, представляющее собой частную и деловую переписку, связано и еще с одним именем — Вадима Викторовича Руднева (1879-1940), видного деятеля партии социалистов-революционеров, издателя и редактора крупнейшего журнала времен первой эмиграции — «Современные Записки».

Разбирая и систематизируя бумаги архива, я обнаружила среди документов отдельную, довольно объемистую папку: письма Веры Николаевны Буниной, адресованные М.С. Цетлиной.

Среди многочисленных друзей и знакомых Буниных в период жизни в эмиграции супруги Михаил Осипович и Мария Самойловна Цетлины играли особую роль. М.О. Цетлин (1882-1945), писатель, журналист и критик, в молодости принадлежал к эсеровским кругам. Мария Самойловна, урожденная Тумаркина (1882-1976), познакомилась с Цетлиным и его революционным кружком в 1906 в Швейцарии, где получала диплом доктора философии. Отчасти под влиянием нового окружения, отчасти из-за соб-

---

<sup>1</sup> В разных источниках называются различные даты рождения С.Ю. Прегель: 1894, 1897 и даже 1904. Судя по семейным документам, правильный год ее рождения — 1894.

ственного энергичного характера и общественного темперамента, Мария Самойловна настолько активно включилась в революционную работу своих друзей, что по возвращении в Россию была арестована и заключена в Петропавловскую крепость. Первым мужем Марии Самойловны стал Н.Д. Авксентьев (1878-1943), один из лидеров партии с.-р., позднее министр внутренних дел в правительстве А.Ф. Керенского, а тогда — тоже заключенный Петропавловской крепости. Там и состоялось бракосочетание. По законам Российской империи браки между евреями и православными были запрещены. Мария Самойловна не захотела менять вероисповедание в память о своей матери, бывшей очень религиозной. Поэтому Авксентьеву пришлось принять лютеранство. Очевидно брак этот был совершен не столько по любви, сколько по общности интересов и влечений. Просуществовал он недолго. После побега Авксентьева из тюрьмы молодая пара уехала за границу, где у них родилась дочь Александра (в письмах фигурирующая как Шурочка), а в 1909 г. супруги расстались, сохранив дружеские отношения. Годом позже Мария Самойловна вышла замуж за М.О. Цетлина.

После смерти М.С. Цетлиной все ее бумаги и переписка перешли к дочери — А.Н. Прегель<sup>2</sup>. Оказалось, что в архиве, помимо писем В.Н. Буниной, находилось более двадцати писем самого Бунина к Цетлиным. Все эти документы и оставшиеся после смерти С.Ю. Прегель материалы из ее литературного наследия А.Н. Прегель, в свою очередь, завещала своей племяннице Ю.Гаухман, которая подарила большую часть их Иллинойскому университету, оставив в своем личном собрании письма И.А. Бунина. Ю.Гаухман принадлежит идея объединить бунинские письма и сделать их предметом данной публикации.

\*\*

История знакомства Буниных с семьей Цетлиных восходит к 1917-18 годам — последнему периоду жизни Буниных в Москве. Цетлины покинули Россию в 1910 г., уехав во Францию, и возвратились в Москву с пятилетним сыном Валентином после Февральской революции. Они поселились между Арбатом и Поварской, и в доме у них постоянно собирались друзья и знакомые, устраивались читки стихов и литературные вечера, затягивавшиеся до зари. Этим литературным бдениям не мешало присутствие грудного ребенка — в 1917 г. у Цетлиных родилась дочь Ангелина. Постоянными участниками собраний были Цветаева, Ходасевич, совсем еще юный Есенин, Софья Парнок, Алексей Толстой, Эренбург.

Первые фамилия Цетлиных появилась на страницах дневников Буниных, написанных в Одессе, куда обе семьи попали осенью 1918 года. В начале ноября В.Н. Бунина записывает: «Вчера были у Цетлиных...»<sup>3</sup>, и далее это имя начинает встречаться постоянно. Одесса той поры жила

<sup>2</sup> А.Н. Авксентьева (Шурочка) в 1937 г. вышла замуж за ученого-физика и общественного деятеля Бориса Юльевича Прегеля (1893-1976), брата С.Ю. Прегель.

<sup>3</sup> *УСТАМИ БУНИНЫХ*. Дневники И.А. и В.Н. Буниных и другие архивные материалы. Под ред. Милицы Грин. Том 1-3. Frankfurt/Main, Possev, 1977-1982. Запись от 1 ноября 1918 г. (т.1, с.193). Далее цитируется по этому изданию.

лихорадочной и тревожной жизнью: бесконечная смена властей — немцы, французы, большевики, попеременно занимавшие город, грабежи, бандитизм, убийства, частые перестрелки на улицах — все это было обычным явлением. В.Н. Бунина записывает в дневнике: «Вчера весь день шел бой. Наша улица попала в зону сражения. До 6 часов пулеметы, ружья, иногда орудийные выстрелы. /.../ Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздают. Кажется, вводится осадное положение /.../»<sup>4</sup>. Так жили все, кто находился в то время в городе. В окружении Буниных, кроме семейства Цетлиных, оказываются М.А. Алданов, Н.А. Тэффи, А.П. Шполянский (Дон Аминадо), А.Н. Толстой, А.Ф. Керенский, В.В. Руднев, И.И. Бунаков-Фондаминский и др.

Если судить по дневниковым записям Буниных этого периода, общение с Цетлиными было очень тесным и почти ежедневным. Первоначально возникшая взаимная симпатия («Вчера вечером был у нас Цетлин. Многое мне в нем нравится, он хорошо разбирается в людях», — пишет В.Н. Бунина 9 декабря 1918 г.<sup>5</sup>) вскоре переходит в более тесную дружескую связь. К весне 1919 г. Цетлины решаются уехать. Просясь, уговаривают Буниных последовать их примеру, обещают помочь деньгами и похлопотать о заграничном паспорте. Однако в тот момент Бунин еще не готов к отъезду, и друзья расстаются, чтобы вновь встретиться через год, уже в Париже. Бунины покинули Россию в начале февраля 1920 г., на пароходе «Спарта», отплывавшем в Константинополь. Цетлины оказались верны слову: в Белграде Бунина ждали деньги и въездные визы во Францию, а по приезде в Париж Бунины сразу поселились в огромной цетлинской квартире на rue de la Faisanderie, где прожили два месяца, пока не подыскали собственной. В это время Михаил Осипович уже активно участвовал в общественно-политической жизни эмиграции, выступал как поэт и литературный критик (публиковался под псевдонимом Амари), редактировал отдел поэзии «Современных Записок»; дом Цетлиных, как и в Москве, снова превратился в литературно-политический салон, о котором Б.К. Зайцев вспоминал: «Тут можно было встретить Милюкова и Керенского, Бунина, Алданова, Авксентьева, Бунакова, Руднева... позже и Сирина. Тут устраивались наши литературные чтения. Встречались мы теперь часто, и чем дальше шло время, тем прочнее, спокойнее, благожелательнее становились отношения наши. Нельзя было не ценить тонкого ума, несколько грустного, Михаила Осиповича, его вкуса художественного, преданности литературе, всегдашней его скромности, какой-то нервной застенчивости»<sup>6</sup>.

Семья Цетлиных славилась своим гостеприимством, здесь находили пристанище, тепло и радушный прием все те, кому негде было жить и не на что есть. Редкий вечер обходился без встреч и литературных чтений, один за другим устраивались в салоне Цетлиных вечера Бунина, Бальмонта, Тэффи (со сбором средств в пользу писателей), чествование балерины Карсавиной. Эта пора — начало 20 годов — была и временем наи-

<sup>4</sup> Запись от 30 ноября 1918 г. — *УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.1, с.198.

<sup>5</sup> Там же, т.1, с.197.

<sup>6</sup> Б.К. Зайцев. *М.О. ЦЕТЛИН*. — «Новый журнал», №14, 1946, с.199-203.

большой близости между Буниными и Цетлиными. 4 июля 1922 г. М.С. Цетлина присутствует в мэрии на бракосочетании И.А. и В.Н. Буниных<sup>7</sup>.

Пройдет еще 20 лет, будут меняться адреса, дома, обстоятельства, но дружеское и деловое общение обеих семей сохранится. Приближаются 40-е годы, бесконечные разговоры и толки о войне. По мере того как опасность ее близится, для многих эмигрантов вновь встает проблема отъезда. 9 августа 1940 г. Бунин записывает в дневник: «Цетлины тоже собираются...»<sup>8</sup> («тоже» — потому что первым поднялся ближайший друг Бунина Марк Алданов). И снова, как когда-то в Одессе, Цетлины зовут Буниных с собой — в Америку. Но страх неизвестности не позволяет Бунину тронуться с места. Через несколько лет у него вырвется горькое признание: «Тем, что я не уехал с Цетлиным и Алдановым в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!»<sup>9</sup>

В Соединенных Штатах филантропическая деятельность Цетлиных развернулась крайне широко. Особым событием стало издание «Нового журнала», основанного Цетлиным и Алдановым. Сравнительно небольшая нью-йоркская квартира Цетлиных днем превращалась в подобие редакционной конторы и книжного склада, где Мария Самойловна собственноручно паковала и рассылала свежие номера журналов, отсюда же отправлялись многочисленные продуктовые посылки, лекарства, деньги нуждающимся европейским литераторам, в том числе и Бунину. Вечерами дом Цетлиных вновь становился литературным салоном, где по-прежнему устраивались чтения в пользу писателей, находившихся в стесненных материальных обстоятельствах. И после смерти мужа (в 1945 году) М.О. Цетлина продолжала помогать нуждающимся литераторам. Из публикуемых писем видно, насколько действенной была ее поддержка Буниных. В самые трудные и голодные годы в Грасс, где жили Бунины, систематически шли посылки с провизией, одеждой, лекарствами, витаминами. «Я бы совершенно пропал, если бы не помощь ваша», — признается И.А. Бунин в одном из писем<sup>10</sup>.

Однако осенью 1947 г. в отношениях друзей наступает охлаждение. Причиной ссоры послужила известная встреча группы эмигрантов с советским послом Александром Богомоловым (Бунин был в числе посетивших тогда посольство) и выход Бунина из парижского Союза писателей — поступок, которому сам он не придавал особого значения. М.С. Цетлина отреагировала на это крайне бурно, послав Бунину, а заодно и общим друзьям разгневанное и возбужденное письмо («бессмысленное и несуразное», по определению В.Н. Буниной<sup>11</sup>), в котором обвиняла писа-

<sup>7</sup> Познакомившись в 1906 г. и начав совместную жизнь в 1907, Иван Алексеевич и Вера Николаевна не могли тогда узаконить свои отношения, так как не был расторгнут брак Бунина с его первой женой А.Н. Цакни. Официально они поженились лишь в 1922: 4 июля совершен гражданский брак, 11 ноября — церковное венчание.

<sup>8</sup> УСТАМИ БУНИНЫХ, т.3, с.57.

<sup>9</sup> Там же, т.3, с.145. Запись от 27.12.1942.

<sup>10</sup> См. письмо от 8 апреля 1947 г. настоящей публикации.

<sup>11</sup> УСТАМИ БУНИНЫХ, т.3, с.186.

теля в забвении прежних идеалов, отступничестве, солидарности с теми, кто брал советские паспорта и собирался возвращаться в Советский Союз. Возмущенный Бунин ответил ей взволнованно и резко, Вера Николаевна сделала это более сдержанно: «...очень трудно передать Вам то впечатление, какое произвело на нас ваше письмо, и чувство оскорбления, что оно было послано через Зайцевых, а копия его разослана Вами циркулярно в Америке... Какой поступок после тридцатилетних дружеских отношений! Мне кажется, настоящие друзья так не должны делать... Я на Вашем месте сначала запросила бы нас о причинах ухода, а потом уже вынесла бы свой приговор, если таковой уж так необходим. Если бы еще так недавно не видела от Вас такой заботы и доброты к себе, то я просто не стала бы отвечать Вам...»<sup>12</sup> Через месяц от Марии Самойловны пришло новое письмо с извинением за «способ посылки» предыдущего. Однако после этого инцидента отношения прервались окончательно.

\*\*

Письма, входящие в нашу публикацию, охватывают период 1940–47 годов с небольшими перерывами. Первое из них датировано 5 сентября 1940 г. В это время семья Буниных живет в Грассе на юге Франции, где она поселилась с 1923 г. Вилла «Жаннет», которую Бунин снял в сентябре 1939 («...чудесная английская вилла на такой высокой горе, что вид кругом необозримый...»<sup>13</sup>), была последним местом в его грасский период. Здесь он прожил до мая 1945 г., после чего возвратился в Париж.

Примерно с середины 20-х годов Бунины никогда не жили вдвоем. В их дом приходили и оставались там, многие надолго, — Галина Кузнецова, Леонид Зуров, певица Марга Степун, Е.Н. Жирова с маленькой дочкой Олей, любимицей Бунина. Несколько лет прожил с ними А.В. Бахрах. Разные люди, разные характеры, разные судьбы, сложные и запутанные внутрисемейные отношения. При трудном, вспльчивом характере Бунина обстановка в доме бывала взрывчатой. «Настроение Князя [семейное прозвище И.А. Бунина. — Публ.] было барометром дома», — замечала художница Т.Д. Муравьева-Логина, часто навещавшая Буниных<sup>14</sup>. Вся жизнь виллы «Жаннет» держалась на Вере Николаевне, — неизменно остававшейся ровной, спокойной, словно внутренний стержень, скреплявшей этот странный коллектив. Она гасит неизбежное взаимное раздражение, мирит и успокаивает, помогает обойти острые углы, наконец, тянет на себе все хозяйство, оберегая не только мужа, но и остальных обитателей виллы от домашних тягот.

Материальное положение семьи к началу 40-х годов — самое плачевное. Давно розданы и потрачены последние деньги, оставшиеся от Нобелевской премии — их не стало уже в 1935 г. Гонорары за редкие издания

<sup>12</sup> См. письмо В.Н. Буниной к М.С. Цетлиной от 1 января 1948 г. — *И.А. БУНИН. «Литературное наследство»*, т.84. М., «Наука», 1973, кн.2, с.404.

<sup>13</sup> Письмо Бунина М.В. Карамзиной. — *«Литературное наследство»*, т.84, кн.1, с.685.

<sup>14</sup> Там же, кн.2, с.312.

бунинских книг нерегулярны и малы. Война приносит дополнительные лишения — скудное и плохое питание, нехватку топлива и самых необходимых вещей. В письмах этого времени постоянно говорится о еде. Мало что изменил и переезд в Париж в 1945, затеянный именно с тем, чтобы поправить финансовую ситуацию семьи. Оставалась надежда на дружескую помощь, которая постоянно шла из Америки, больше всего от Цетлиных, посылавших кофе и постельное белье, консервированное молоко и обувь, лекарства и деньги, которые позволяли Вере Николаевне покупать на рынке продукты для постоянно хворавшего мужа. С годами положение лишь усугублялось. А. Седых вспоминает: «Болезни не оставляли Бунина, и вместе с болезнями и полной невозможностью работать, материальные его дела пришли в окончательный упадок. Началась большая нужда»<sup>15</sup>. Эта безысходность отчетливо проступает в бунинских письмах, в сетованиях и жалобах писателя по поводу бедности и убогости существования. Так жили почти все, с кем водили тогда знакомство Бунины (см., например, подробное письмо Веры Николаевны от 15 декабря 1940 г.). У Бунина же, нетерпеливого и неуравновешенного, жизненные невзгоды вызывали не только горечь, но и крайнее раздражение, страх перед ответственностью за домочадцев и близких, постоянный разлад с самим собой, усиливая состояние общей депрессии, от которой он начал страдать много лет назад. Еще в 1931 году Бунин говорил Вере Николаевне о своей душевной болезни и постоянных думах о смерти. В сороковые годы мысли о несостоявшейся жизни и скором конце прочно поселились в его душе. Его мучит одиночество, страх перед будущим, каждый прожитый день кажется ему последним. 7 сентября 1940 г. он записывает в дневнике: «За мной 70 лет. Нет, за мной ничего нет»<sup>16</sup>.

\*\*

В записке «К моему литературному завещанию» (1951, Париж) Бунин писал: «После меня явится, может быть, у кого-нибудь мысль печатать мои письма, дневники, записные книжки. О письмах я уже написал в другом месте [«К моему завещанию», 1942. — Публ.]: я чрезвычайно прошу *не* печатать их, — я писал их всегда как попало, слишком небрежно и *по-рою* не совсем кое-где искренно (в силу тех или иных обстоятельств), да и просто неинтересно; из них можно взять только кое-какие отрывки, выдержки — чаще всего как *биографический материал*. Дневники мои тоже, по-моему, мало интересны (в общем). Их я тоже писал как попало и с большими промежутками. Да и уничтожил я очень большое количество этих записей. Против печатания их, впрочем, не имею такой решительности, как против писем. Записные книжки *можно* печатать»<sup>17</sup>.

Вопреки воле Бунина, дневники его были опубликованы в 1977-82 гг. Письма начали появляться в периодической печати сразу после его смерти. Иногда публикации эти были отрывочными и фрагментарными, иногда, как в «Новом журнале», — появлялись целые подборки бунинских

<sup>15</sup> А. Седых. *ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ*. New York, изд. автора, 1962, с.220.

<sup>16</sup> *УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.3, с.68.

<sup>17</sup> И.А. Бунин. *Собрание Сочинений* в 9 тт. М., 1967, т.9, с.364.

писем. Данная публикация продолжает ту же традицию. Помещаемые ниже письма И.А. и В.Н. Буниных касаются не столько литературной, сколько бытовой, повседневной жизни писателя, проливая дополнительный свет на положение Бунина в последние годы его жизни. Мы надеемся, что эти свидетельства будут интересны современному читателю.

Письма печатаются в соответствии с правилами современной орфографии. Подчеркнутые в оригинале слова выделены курсивом.

1

5 сент[ября] 1940.

Дорогая Мария Самойловна,

Спасибо за весточку. В отеле, где Вы живете, мы не раз останавливались<sup>1</sup>. Неужели Вы не вернетесь? Это будет очень грустно. Бабье лето очень свежее. Бывают и очень пасмурные дни. Но сегодня солнце, и немного веселее на душе.

Вчера пришло письмо от Даманской<sup>2</sup> — денег она не получила до сих пор. А ведь следовало бы и вторую часть послать хоть тем, кому можно, то есть ей и Лоло<sup>3</sup>. Я думаю написать Нат[алии] Игн[атьевне]<sup>4</sup>, пусть она или Феничка<sup>5</sup> узнают на месте, в чем дело. Да, Даманская, которая тоже хочет ехать к Шуручке<sup>6</sup>, спрашивает адрес Софьи Юльевны<sup>7</sup>.

Получила письмо от Лёни<sup>8</sup>. Он решил при наступлении первых холодов приехать к нам «на два месяца». Я, конечно, очень обрадовалась, а в то же время стало и жутко<sup>9</sup>. Как тяжелы всякие даже самые дозволенные незаконные привязанности. Как Вы счастливы, что у Вас свои дети, свой внук! А ведь и к чужому можно быть привязанной. И как нужно всегда себя сдерживать в проявлении не только чувств, но и дел. Помню, когда в 1932 году у него впервые оказалась задета верхушка легких, я, когда мы вернулись все из Парижа, стала ему по утрам готовить кофе и квакер<sup>10</sup>. Боже, что поднялось и у нас и у Фондаминских<sup>11</sup>. Как все начали возмущаться! Дошло это и до Лёни, и пришлось прекратить, так как мораль в этой болезни самое главное. А если бы он был моим сыном или даже племянником, то на это никто не обратил бы внимания. И неизвестно, зачем люди огорчили меня и расстроили больного, в болезнь которого тоже никто не хотел верить. Спасла его тогда Нат[алия] Ив[ановна] Кульман<sup>12</sup>, она собрала ему 800 франков на лекарства и на усиленное питание, а затем профессор Лапинский<sup>13</sup>. Он меня вызвал после осмотра Лёни и сказал, что дело может быть серьезным, и дал хорошие советы. Но это прошлое. Вспомнила потому, что вот-вот наступит будущее. Дай Бог,



делать так, чтобы никто не огорчился. Я после Вашего отъезда ни разу не была в Каннах, только в среду 28. Вера Рафаиловна<sup>14</sup> не приехала.

Получила сумасшедше-радостное письмо от Бахраха<sup>15</sup>. Надеется скоро повидаться.

Если Ваша виза не готова еще, зачем же Вам сидеть в Марселе? Неужели Вы будете ждать в этом шумном городе!

Я следую Вашему совету и держу диету, припадков давно не было<sup>16</sup>.

Читаю Герцена по-английски, Паскаля по-французски, Бунина по-немецки, а по-русски «Северный Вестник» 1897 года — много интересных статей. Написала свои воспоминания о Ходасевиче<sup>17</sup>.

Целуем Вас и милого Михаила Осиповича мы с Ив[аном] Ал[ексеевичем]. А Г[алина] Н[иколаевна] и М[аргарита] Ав[густовна]<sup>18</sup> в Каннах со вчерашнего дня.

Ваша В.Бунина

Ждем вестей.

<sup>1</sup> В ожидании визы в Америку Цетлины жили в Марселе, где находилось американское консульство. В дневниках встречается четыре упоминания о пребывании Буниных в Марселе: в двадцатых числах марта 1910 г.; 4 мая 1923 г.; 31 января 1929 г. и 16 мая 1930 г. Марселя Бунин не любил: «...подъезжаю к Марселю. Горы голые, лилового цвета, ужасные предместья. Мост, под ним улица, трамвай... Рабочие улицы, ужас существования в них... Всякие депо, шлак...» (*УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.2, с.286).

<sup>2</sup> Августа Филипповна Даманская (1885-1959), писательница и переводчица, сотрудничала в журнале «Современные записки».

<sup>3</sup> Псевдоним Леонида Григорьевича Мунштейна (1867-1947), поэта-сатирика и журналиста.

<sup>4</sup> Наталья Игнатьевна Михельсон, приятельница В.Н. Буниной, помогавшая ей в организации благотворительных вечеров и сборе средств для нуждающихся писателей.

<sup>5</sup> Феничка, приятельница В.Н. Буниной, жившая в семье Михельсонов.

<sup>6</sup> Александра Николаевна Прегель — жила в то время в Нью-Йорке. См. о ней в предисловии.

<sup>7</sup> О Софье Юльевне Прегель см. в предисловии.

<sup>8</sup> Леонид Федорович Зуров (1902-1971), писатель-реалист, ученик Бунина. Наиболее известны его романы *ДРЕВНИЙ ПУТЬ* (1934) и *ПОЛЕ* (1938). Жил в доме Буниных с ноября 1929 с небольшими перерывами до смерти Веры Николаевны (1961). После ее кончины все бумаги и дневники

Буниных попали к Зурову. Он унаследовал также часть парижской квартиры. Впоследствии он продал дневники проф. Эдинбургского ун-та Милице Грин, опубликовавшей на их основе книгу *УСТАМИ БУНИНЫХ*. В сентябре 1940 г. Зуров лечился от туберкулеза в санатории в Оверни.

<sup>9</sup> Л.Ф. Зуров пользовался особым расположением В.Н. Буниной, очень к нему привязавшейся. Отношения с Буниным были сложными, неровными, временами открыто недоброжелательными, доходило до громких ссор. «Терплю ради Веры...» — писал Бунин (см. об этом статью В.Лаврова *КЛИЧУТ И МЕНЯ МОИ ВОСПОМИНАНЬЯ*. — «Прометей», №14, М., «Молодая гвардия», 1987, с.185).

<sup>10</sup> Овсяная каша.

<sup>11</sup> Илья Исидорович (1880-1942) и Амалия Осиповна (урожд. Гавронская, ум. в 1935) Фондаминские-Бунаковы. Бунаков до революции был видным с.-р'ом, в 1890-х гг. входил вместе с женой в кружок Цетлина. В эмиграции редактировал «Современные записки». С Буниным познакомился в Одессе в 1918. Погиб в немецком концлагере.

<sup>12</sup> Наталья Ивановна Кульман, жена профессора-слависта Софийского ун-та и критика Николая Карловича Кульмана (1871-1940). Познакомились с Буниными в 1919 г., часто гостили у них в Грассе, на вилле Бельведер. По отзыву В.Н. Буниной, «очень милые и хорошие люди с большими знаниями, духовностью и высокой моралью» (*УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.2, с.151).

<sup>13</sup> Профессор Лапинский — парижский врач, бывавший в доме Буниных. Г.Кузнецова в кн. *ГРАССКИЙ ДНЕВНИК* описывает обед у Буниных в Грассе 25 августа 1932 г., на котором присутствовал Лапинский.

<sup>14</sup> Вера Рафаиловна, общая приятельница Буниных и Н.А. Тэффи. Жила в Каннах.

<sup>15</sup> Александр Васильевич Бахрах (1902-1985), литературовед, критик, журналист. Познакомился с Буниным в Париже в 1923 г, на балу, устроенном Союзом писателей и журналистов. Их познакомил Б.К. Зайцев. Бунин относился к Бахраху тепло, в шутку называя его Захаром, а себя Обломовым. Воспоминания Бахраха об их отношениях собраны в книге *БУНИН В ХАЛАТЕ* (США, Т-во зарубежных писателей, 1979).

<sup>16</sup> В.Н. Бунина страдала опущением и язвой желудка.

<sup>17</sup> Не изданы. Вероятно, должны были войти в книгу *БЕСЕДЫ С ПАМЯТЬЮ*.

<sup>18</sup> Галина Николаевна Кузнецова (1900-1976), писательница, поэтесса, ученица Бунина. В эмиграции с 1920 г. В семье Буниных жила с 1927 по 1942 гг. с перерывами. В 1949 переехала в США. Автор книги *ГРАССКИЙ ДНЕВНИК* (Вашингтон, В.Камкин, 1967), где описывается жизнь Буниных на вилле «Бельведер» в 1927-34 годах.

Маргарита Августовна Степун — сестра философа и писателя Федора Августовича Степуна (1884-1965), певица. Приятельница Г.Н. Кузнецовой. Жила у Буниных на вилле «Бельведер» с июня 1934 по 1942 год с перерывами.

Г.Н. Кузнецову и М.А. Степун называли «барышнями», а после переезда на виллу «Жаннет» — «горцами» (в их комнату приходилось подниматься по крутой лестнице). В июне 1942, когда они переехали в Канны, В.Н. Бунина писала «"горцы" нас покинули, живут в Каннах... выдаемся с ними очень редко» (*ПИСЬМА БУНИНЫХ К Т.ЛОГИНОВОЙ-МУРАВЬЕВОЙ. (1936-1961)*. Paris, YMCA-Press, 1982, с.50).

2

9.IX.40

Милые друзья, если не вернетесь в наши края<sup>1</sup>, нам будет, конечно, это грустно, но что же делать? Храни Вас Бог.

М[арк] А[лександрович]<sup>2</sup> мне пишет, что он подает просьбу о пропуске в Марсель. Может быть, я его еще увижу — собираюсь завтра в Ниццу.

Я получил письмо от писателя Гребенщикова<sup>3</sup> (он уже чуть не 20 лет живет в Америке). Пишет, что американцы народ грубый, материальный до крайности, что даже большому писателю там легко умереть с голоду. Как-то (насколько понимаю, совсем недавно) русское общество помощи писателям в Нью-Йорке устроило вечер в пользу Тэффи<sup>4</sup>: собрано было 60 центов! После этого что же я должен думать?

Горячо Вас прошу — попомните обо мне, приехав к Шуручке<sup>5</sup>. Найдите добрых и богатых людей, которые могли бы прислать мне что-нибудь: месяца через 2, через три средства мои совершенно иссякнут — и что тогда? Ужели нобелевскому лауреату погибать?

Обнимаю Вас с неизменной любовью, передаю привет Вам всего моего дома (самого удивительного на свете, кажется).

Ваш Ив. Бунин

В.Н. хочет Вам написать отдельно.

<sup>1</sup> Письмо отправлено Цетлиным в Марсель, где они находились в ожидании американской визы.

<sup>2</sup> Марк Алданов (Марк Александрович Ландау, 1886-1957) — известный критик и писатель, автор исторических романов. Эмигрировал в 1919 г., сотрудничал в газете «Дни» (Берлин) и «Последние новости» (Па-

риж), в журнале «Современные записки». В 1924 г. жил у Буниных в Грасе. Затем проживал в Париже и Ницце. В декабре 1940 эмигрировал в США, где вместе с М.О. Цетлиным основал «Новый журнал». В течение 1945-48 гг. несколько раз приезжал во Францию, с 1950 окончательно поселился в США. М.Алданов был одним из старейших и преданнейших друзей Бунина. «Этому человеку я верю больше всех на земле», — говорил Бунин (см.: А.В. Бахрах. *БУНИН В ХАЛАТЕ*, с.108). По подсчету самого Алданова, за три десятилетия отношений он написал Бунину около тысячи писем.

<sup>3</sup> Георгий Дмитриевич Гребенщиков (Сибиряк, 1883-1964), писатель, автор 12-томного романа-эпопеи *ЧУРАЕВЫ*. Эмигрировал в Америку в начале 1920-х годов, основал там издательство «Алатас». В январе 1940 г. приезжал в Париж, познакомился с Буниным. 1 марта 1940 г. Бунин послал Гребенщикову открытку с просьбой написать «в американских газетах о писательской нужде в эмиграции» (см.: *УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.3, с.38). 4 сентября 1940 г. Бунин получил от него упоминаемое письмо (см.: *УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.3, с.66).

<sup>4</sup> Надежда Александровна Тэффи (Бучинская, ур. Лохвицкая, 1872-1952), писательница, близкий друг семьи Буниных.

<sup>5</sup> А.Н. Прегель.

### 3

25 сент[ября] 1940 г.

Милая Марья Самойловна, получила сегодня Вашу открытку. Спасибо за нее и за обещание в случае возможности пойти навстречу моей «комбинации»<sup>1</sup>.

У нас гостит Бахрах. Очень приятно. Он изменился к лучшему и внешне, и внутренне. Загорелый, подтянутый. Много и интересно рассказывает, кратко, ясно и с юмором. Он вносит в нашу атмосферу спокойствие и душевный уют. Сейчас они с Яном пошли в город что-то покупать по карточкам.

Леня решил ехать к нам<sup>2</sup>. Обещает быть здесь между 16-19 окт[ября]. Задерживает его лечение зубов. Для этого приходится ему ходить туда и обратно десять километров. Значит, поправился.

Что же ничего не напишет нам милый Михаил Осипович, очень нам недостает вас обоих. Мы и в Канны почти перестали ездить, которые очень опустели. Я только в церковь, но нечасто.

Ян, слава Богу, пишет, иногда по целым дням. В ровном и приятном настроении. Мы теперь можем в 9 ч. 30 м. вечера слушать Москву и бой на Спасских часах. Устроили антенну, которой

целый год не было. Леня пишет, что возвращающихся в Париж из санатории кормят бесплатно: обед из четырех блюд и ужин из трех. Дали вагоны первого и второго класса. Он еще пишет, что Аверня народ дикий, но древний. Похоже на избарских мужиков (это в Псковской губернии). Отсюда (т.е. из Аверни) начались крестовые походы. Она первая и пошла. Парижане их презируют за скупость и дикость. Народ, он пишет, правда, дикий, но крепкий.

Все шлют Вам и Мих[аилу] Ос[иповичу] свои дружеские и сердечные приветы. Я целую вас обоих.

Ваша В.Булнина.

Я послушалась Вас — разрешила Вашу простыню на две, и теперь в них спит Бахрах.

<sup>1</sup> В предыдущем письме Вера Николаевна просила свою корреспондентку поговорить с С.В. Рахманиновым о денежной помощи Л.Ф. Зурову.

<sup>2</sup> Зуров находился в санатории в Auvergne (в центральной Франции).

4

15 декабря 1940.

Милая, дорогая Марья Самойловна, сегодня день рождения Шурочки, и я мысленно Вас поздравляю и всей душой с Вами. Я нахожу, что день рождения человека для матери еще более значителен, чем даже для него самого. Думаю, что и Шурочка грустит, что Вы сегодня врозь. От души желаю Вам скорее свидеться с ней.

Писать письма для меня — большая роскошь. Увеличились хлопоты по хозяйству, прибавилась работа и участились походы за провизией в город, что при моих малых силах отражается и на «переписке с друзьями». Много лежу, а лежа писать мне трудно — быстро устает рука. И очень подробное письмо написать до сих пор не удосужилась.

Совершенно верно: из «*raus поn occupés*» можно посылать в «*raus occupés*»<sup>1</sup> почтовые переводы до 2.000 франков.

Помощь Тэффи необходима, но включать ее в [неразб.], который уже собственно не существует, едва ли следует. Чек, посланный др. Долгополовым<sup>2</sup>, видимо, не попал в руки Файны Осиповны<sup>3</sup> — месяц тому назад она просила меня выслать ей эти деньги...

Александра Львовна<sup>4</sup> известила, что посылка денег запрещена. Мережковские получают из мэрии по 8 франков в день на человека. Лоло гонят с квартиры.

Даманская в полном отчаянии — так и не дошли до нее 300 франков из По<sup>5</sup>.

Зайцевы известили «besoin de provisions et d'argent»<sup>6</sup>. Наташа<sup>7</sup> два раза в неделю работает в ресторане.

Ремизовы и Шмелев тоже без всяких средств.

От Алексея Петровича Струве<sup>8</sup> знаю, что Рошин<sup>9</sup>, Михаил Струве<sup>10</sup> и Лоллий Иванович Львов<sup>11</sup> без работы.

Относительно писателей из «Объединения»<sup>12</sup> у нас имеется мало сведений: Ладинский<sup>13</sup> уехал из нашей зоны, адреса не оставил.

Адамович<sup>14</sup> в Ницце, слышала, что он нуждается. Червинская<sup>15</sup> в La Favière. Яновский<sup>16</sup> в Тулузе. Кнут<sup>17</sup> в Тулузе. Варшавский<sup>18</sup> в плену.

Об остальных ничего не знаем, никто почти не пишет. Очень тяжела была весть о смерти М.Ив. Ростовцева<sup>19</sup>. Подробностей о ней мы не знаем. За один месяц три смерти!<sup>20</sup> Очень жалею о Вадиме Викторовиче<sup>21</sup>. Сокрушаемся о бедной Вере Ивановне<sup>22</sup>. Мы ей писали.

Зуров, конечно, питается не так, как следовало бы ему. Деньги все же тают. Жизнь он ведет почти санаторную. В город спускается раз в неделю, но работает все свободное время от лежания, спанья, еды и небольших прогулок. Погода, слава Богу, ясная и холодная. Воздух à volonté!<sup>23</sup>

Бахрах опять у нас, тоже что-то пишет — по целым дням стучит на машинке.

Ив[ан] Ал[ексеевич], слава Богу, здоров. Страдает от холода. Много написал рассказов. Надеюсь, что будет продолжать.

Марг[арита] Ав[густовна] стала получать молоко<sup>24</sup>. Она с Галей сегодня в Каннах. Получила письмо от Ляли<sup>25</sup> — уже голодают и холодают. Одно время она с мужем питались только каштанами. Олечку все же кормят. Я сегодня плакала над ее письмами.

Обнимаю, целую Вас и Мих[аила] Ос[иповича]. Дружеский привет чете Ландау<sup>26</sup> от всех нас.

Сообщаю Вам на всякий случай адрес профессора Базельского университета Эльзы Эдуардовны Малер. Она работала в экспедиции с Л.Ф. Зуровым<sup>27</sup>, она ученица Ростовцева, за свои ученые работы получила два раза премию от нашего общества университетских женщин. Леонид Федорович с ней в дружеских отношениях. Мы с ней тоже знакомы. Она может, если Вам что-нибудь понадобится, исполнить поручение.

Адрес ее: Prof. E.Maler, Tullinger St., Basel, Suisse.

Раз видела Ангелиночку<sup>28</sup>. Она передала от Вас книгу. Я про-  
чла ее. Жил в одно время с Горьким и ни слова о нем! Люди знаме-  
ниты большею частью в своем кругу. Книга во многом интересна,  
но многое и от лукавого! Ангелиночка энергична, бодра, в ней чув-  
ствуется сила. Ванечка<sup>29</sup> мил и ручной, сразу пошел ко мне на руки.  
В четверг буду в Каннах, постараюсь заглянуть к ним.

Дни стоят ясные, но холодные, а угля почти нет. Получили по  
карточкам 100 кило.

Стали часто питаться рыбой. Едим угрей, но это уже надоеда-  
ет — слишком жирны.

Припадков давно не было. Я стараюсь выдерживать диету, в  
награду похудела еще — линия налицо — что, впрочем, вызывает  
не восхищение у моих мужчин, а страх, и меня стараются пичкать.

У нас месяца за два были гости раза два — мало кто решает-  
ся взять нашу гору, а я за это время была всего раз на именинах.  
Но скуки не испытываю и духом бодра. Если все здоровы, то жить  
еще можно.

Если есть деньги, то питаться еще можно хорошо, несмотря  
на то, что на рынке нет яиц, почти никогда масла, рису, многое  
дается по карточкам и в небольшом количестве, но все же еще  
можно есть вкусно. Появилось новое блюдо — кус-кус — африкан-  
ская каша, среднее нечто между манной и пшенной крупками.

Встаю я с солнцем, слава Богу, оно теперь встает не рано, и  
часто на рассвете ухожу на базар, и как этот час бывает несказанно  
прекрасен. Во всем есть и хорошая сторона, умей только отыс-  
кать ее.

Еще раз шлю Вам поцелуи, приветы, поклоны, всем на выбор.  
Да хранит Вас Бог.

В.Б.

*Далее следует приписка рукой Бунина:*

Дорогие мои, обнимаю Вас от всей души. Передайте мои по-  
целуи Алдановым. Храни Вас Бог.

<sup>1</sup> Неокупированные страны, оккупированные страны (фр.). До но-  
ября 1942 Грасс входил в свободную зону.

<sup>2</sup> Николай Саввич Долгополов, один из создателей и руководителей  
Земско-Городского Союза, крупной общественной организации, занимав-  
шейся благотворительной помощью русским культурным ассоциациям и  
нуждающимся деятелям культуры. Генеральным секретарем ее и членом  
комитета был В.В. Руднев.

<sup>3</sup> Фаина Осиповна Ельяшевич (ум. в 1942), жена юриста В.Б. Ельяшевича (1875-195?), преподававшего гражданское право в Парижском ун-те. Близкие друзья Буниных.

<sup>4</sup> Александра Львовна Толстая (1884-1979), дочь Л.Н. Толстого, основательница Толстовского фонда, осуществлявшего помощь русским эмигрантам.

<sup>5</sup> В По находилось отделение Парижского Земско-Городского к-та.

<sup>6</sup> Нужда в провизии и деньгах (фр.).

<sup>7</sup> Наталья Борисовна Зайцева-Сологуб, дочь Бориса Константиновича (1881-1972) и Веры Александровны (1878-1965) Зайцевых.

<sup>8</sup> Алексей Петрович Струве (1899-1976), библиограф и антиквар, сын П.Б. Струве (1870-1944).

<sup>9</sup> Николай Рощин (псевд. Н.Я. Федорова, 1896-1956), писатель, постоянный сотрудник газ. «Возрождение» с конца 1920-х гг. Был близок с Буниным, подолгу жил у него в доме. Участник французского Сопротивления. В 1946 вернулся в СССР.

<sup>10</sup> Михаил Александрович Струве (1890-1948), поэт, литературный критик.

<sup>11</sup> Л.И. Львов (1888-196?), поэт.

<sup>12</sup> Имеется в виду парижский «Союз молодых писателей и поэтов», образованный в 1925 г.

<sup>13</sup> Антонин Петрович Ладинский (1896-1961), поэт, член «Союза молодых писателей и поэтов», сотрудник «Последних новостей», а позднее — газ. «Русский патриот» (впоследствии «Русские новости»). После войны репатрировался в СССР.

<sup>14</sup> Георгий Викторович Адамович (1894-1972), поэт, литературный критик, в эмиграции с 1923.

<sup>15</sup> Лидия Давыдовна Червинская (р.1907), поэтесса. La Faviere — русский пансион на Лазурном берегу.

<sup>16</sup> Василий Семенович Яновский (1906-1985), писатель, постоянный сотрудник «Нового журнала».

<sup>17</sup> Довид Кнут (псевдоним Давида Мироновича Фиксмана, 1900-1965), поэт, участник «Союза молодых поэтов», организатор общества «Chamber of Poets» в Париже. Участник французского Сопротивления. После войны жил в Израиле.

<sup>18</sup> Владимир Сергеевич Варшавский (1906-1977), прозаик, публицист. Друг Л.Ф. Зурова.

<sup>19</sup> Михаил Иванович Ростовцев (1870-1952), известный историк и филолог. Его жена Софья Михайловна (ур. Кульчицкая) была подругой В.Н. Буниной и В.А. Зайцевой. Известие о смерти Ростовцева было ложным.



<sup>20</sup> В 1940 г. умерли: В.В. Руднев, Н.К. Кульман и, как считала Вера Николаевна, М.И. Ростовцев.

<sup>21</sup> В.В. Руднев.

<sup>22</sup> Жена В.В. Руднева.

<sup>23</sup> Вволю (фр.).

<sup>24</sup> Врачи подозревали у М.А. Степун заболевание щитовидной железы. В это время городское управление Грасса выдавало молоко детям, беременным женщинам и больным.

<sup>25</sup> Елена Николаевна Жирова (ум. в 1960), знакомая Буниных, долго жившая в их доме в Грассе и в Париже. В 1948 г. вышла замуж за поэта А.Е. Величковского. Письмо, о котором упоминает Вера Николаевна, было написано из Монтобана, где у Жировых имелась ферма.

<sup>26</sup> Марк Александрович и Татьяна Марковна Алдановы.

<sup>27</sup> Л.Ф. Зуров участвовал в этнографическо-археологических экспедициях в Прибалтике в 1935, 1937-38 гг., по поручению французского министерства просвещения и Музея Человека.

<sup>28</sup> Ангелина Михайловна Цетлина (р. 1917), дочь М.О. и М.С. Цетлиных.

<sup>29</sup> Сын А.М. Цетлиной.

5

24.1.41

Дорогие Марья Самойловна и Михаил Осипович, надеюсь, что вы уже у Александры Николаевны<sup>1</sup>. Спешу сообщить Вам, что до сих пор я из Америки не получил еще ничего и что мы находимся в положении совершенно катастрофическом — доживаем последние гроши, в полном голоде и адском холоде. Помогите через кого-нибудь ради Бога. Целуем Вас и кланяюсь А.Н. и ее мужу<sup>2</sup>.

Ваш Ив. Бунин.

У В[еры] Н[иколаевны] все припадки и слабость от пищи св. Антония крайняя. Едим один голый кус-кус.

<sup>1</sup> Т.е. уже в Нью-Йорке у дочери.

<sup>2</sup> А.Н. и Б.Ю. Прегель.

29.1.41.

Дорогая Марья Самойловна, матер[иальное] положение наше с тех пор, как мы расстались, ухудшилось до крайности — я никогда в жизни не был в таком отчаянии, как теперь. И ниоткуда помощи! Расходы, при всем нашем страшном холоде и голоде, страшные (не говоря уже о налогах по Парижу и по Грассу, по *taxe de séjour*<sup>1</sup>, по электрич[еству] и т.д.) и при том нас 6 человек — ибо *куда, куда* я дену М.<sup>2</sup>, Г.<sup>3</sup>, Зурова, Бахраха!! Они все без гроша и все больны! Не могу писать — руки трескаются от холода! От Я.Б. Полонского<sup>4</sup> узнал, что деньги для меня от А.Л. Толстой *давно* пришли в По, но я их не получил и не получу, верно. Почему послали через По, а не прямо?<sup>5</sup> Гроши, но вот я и их теряю. Целую Вас и М[ихаила] О[сиповича], поклон А[лександре] Н[иколаевне].

Ваш Ив. Бунин.

<sup>1</sup> Налог на проживание (фр.).

<sup>2</sup> М.А. Степун.

<sup>3</sup> Г.Н. Кузнецова.

<sup>4</sup> Яков Борисович Полонский (1892-1951). Литератор, известный библиофил и коллекционер. Был женат на сестре Марка Алданова, Любови Александровне. В 1940-е гг. жил в Ницце.

<sup>5</sup> Деньги были посланы в По, так как пришли сведения, что Бунины в июне 1940 г., после вступления Италии в войну, бежали из Грасса в местечко Ляфрансез (неподалеку от По).

19 апр[еля] 41.

Дорогой друг, нынче В[ера] Н[иколаевна] получила Ваш *avion*<sup>1</sup> от 19 марта. Вы пишете, что В.Н. будет получать продовольств[енные] посылки или, если пожелает, сумму их стоимости через Долгополова. Я не понимаю, о каких 25 долларах Вы говорите. Толстовский ком[итет], вследствие моих писем к Александре Львовне, начал присылать мне зимой и обещал продолжать посылать ежемесячно 25 дол. Теперь Вы сообщаете Вере Ник., что Толст. Ком. предоставил Вам 25 дол. в месяц на продовол. посылки для Веры Ник., но что В.Н. может, если пожелает, получать не посылки, а деньги, через Долгополова. И вот я не пони-

маю: эти 25 дол. ассигнованы Вере Ник. *в добавление* к тем 25, кои ассигнованы Толст. Комитетом мне, или нет? Если нет, т.е. если В.Н. будет получать помощь *вместо меня* (продовольств. посылками или, буде того пожелает, деньгами), то что же *я-то* буду делать? Тогда выходит, что помощь идет не лично мне, а В.Н., что эта помощь отнята у меня и дана Вере Ник., т.е. верите этому наглomu хаму Зурову, который опять влез в мой дом и, живя за 10 франков в сутки совершенно на всем готовом, распоряжается *полностью* не только Верой Ник., но всем моим домом и орет на меня. *Если так*, то почему это так сделано? И чем и как буду я оплачивать уголь для кухни, электричество, хлеб, овощи, стирку белья, taxes de sejour (за 6 человек), налоги (их с меня потребовали около 6 тысяч — тысячи 2 лично с меня за житье в «Jannette» и около 4 с хозяйки виллы «Jannette», говоря: «раз она за границей, извольте платить *Вы!*») и прочее и прочее. Требуют, кроме того, с меня еще 3 тысячи хозяева моей парижской квартирки<sup>2</sup> — если не заплачу, продадут с торгов мое добришко там!

Целую Вас и М[ихаила] О[сиповича] сердечно.

Ваш И.Б.

<sup>1</sup> Аэрограмма (фр.).

<sup>2</sup> Весной 1920 г. Бунины сняли квартиру в Париже на улице Жака Оффенбаха. Она оставалась за ними в продолжение всего их пребывания в Грассе.

27 апреля 1941

Дорогая моя, милая Марья Самойловна, не знаю, как Вас благодарить за Ваше дружеское и заботливое ко мне отношение. За последнее время я стала из Лиссабона<sup>1</sup> получать разные съедобные вещи и сразу почувствовала прилив сил! А то даже письмо написать мне было трудно. Мы питались почти исключительно овощами, но без картофеля, почти стали травоядными животными. Мясо имеем два раза, а иной раз и один в неделю, а иногда раз в две недели выдается что-нибудь из колбасной, в последний раз по 50 г. на лицо. Но мы были и этому довольны: на Пасху была ветчина! правда, по лепестку, но и это было приятно. Было и несколько крашеных яиц. Вот и все из пасхального стола! Вспоминала, как из другой жизни, пасхальный стол у Александра Федоровича<sup>2</sup> в прошлом году. Привет ему и Терезе<sup>3</sup>. Украсило какао, сваренное

на подсахаренном молоке, полученное как раз к празднику из милого Лиссабона. До 1 апреля Марга и Леня получали молоко, а теперь их лишили его, выдают только детям и беременным женщинам и кормящим грудью.

Леня тоже стал худеть, что ему не полагается. По мере сил он старается вести предписанный санаторский образ жизни, то есть лежит положенное время, не утомляется, редко выезжает. Но питание его тоже далеко не то, что нужно. Он работает над своим романом<sup>4</sup> и, кажется, доволен с этой стороны своей жизнью.

Марга продолжает ездить к маркизе<sup>5</sup>, которая недавно давала концерт, нужно сознаться, что Марга, действительно, хороший профессор пения. Она сделала из маркизы то, что едва ли многие могли бы сделать, ибо голос у нее «никакой», как говорит Зинаида Николаевна<sup>6</sup>. Кстати, о них ничего нам неизвестно. Здоровье Марги не очень хорошее. Конечно, очень похудела и порой вид отвратительный.

Галя много работает по дому. Стоит в очередях, иной раз имеет очень хороший вид, что меня пугает. Ведь у нее тоже не все благополучно с легкими. Очереди и меня очень утомляют. В прошлую субботу я неожиданно отстояла три [часа] и пришлось зайти в аптеку, так как голова закружилась. Мне что-то дали, и я ожила.

Иван Алексеевич, конечно, освобожден от очередей, но и ему приходится иной раз спускаться в город и ходить по лавкам. Бахрах тоже ежедневно ходит и то то, то другое, чаще овощи притаскивает. Происходит это оттого, что то одного, то другого продукта нет. Вообще установился быт, в который мы уже вжились. И если бы у меня было больше сил, то я с большим удовольствием проводила бы иногда время в очередях. Много новых черт узнала я во французском народе, больше почувствовала страну. Надо вообще сказать, что я очень бодра духом, и даже нахожу, что в такой трудной жизни есть и своя хорошая сторона. Все стало менее требовательны. Капризам уже места нет, но это, конечно, хорошо с духовной стороны, а с физической — трудноато.

Нас в первый раз за 17 лет обложили налогом. Потребовали, чтобы мы платили такс де сежур. Хорошее время препровождения на курорте — очереди, беготня по базарам и в результате полуголодный пашек. И за это плати еще такс де сежур в размере 50 фр. с лица. А на автобусах ездить стало еще труднее, чем при Вас. Также очереди и у нас, и в Каннах. И бывает, что до кассы дойдешь, а билетов уже нет, и жди еще еще час-полтора следующего. Поэтому я почти не езжу в Канны. Даже на Страстной была только раз в Великую Пятницу. В день Вашего рождения я причащалась и зашла к Ангелиночке, чтобы ее поздравить, к сожалел-

нию, она была в отъезде. Но внука Вашего видела. Это настоящий «Иванушка-Царевич» из русской сказки. В золотых завиточках, голубоглазый, с румяными щечками, с немного вздернутым носиком и такой ласковый, ручной, так прямо ко мне и пошел на руки. Через три недели ему год! Поеду поздравлять и его, и мать, если конечно у меня не будет припадка. Последнее время они у меня участились. Вероятно, от волнений всяких.

Очень волнуюсь за Петра Бернгардовича<sup>7</sup>. После 22 марта от них не было известий. У жены его что-то плохо с ногами. Средств у них никаких. Может быть, можно было узнать о них.

На праздниках все, кроме меня, побывали в гостях и кто-то покушал курочки, кто уточки. А у меня на первый день был длительный припадок, и я не поехала, куда была приглашена. Но курицу тоже попробовала, мне прислал хозяин<sup>8</sup> с И[ваном] А[лексеевичем]. И, нужно сознаться, вкусной она мне показалась такой, что и сейчас вспоминаю с волнением. Это новый наш знакомый, живет по дороге в Канн (2 кил[ометра] в сторону). Уже девять лет, как осел на землю. Очень приятный человек. Жена и дочь его у Шурочки. Он знал отца Александра Федоровича.

Ваше письмо по авиону от 19 марта я получила перед праздником.

Шью себе платье, портниха в восторге — такая стала фигура. Только смотреть некому. Но ходить очень легко. Слава Богу, сердце мое поправилось. Конечно, от лежанья — я ведь все досуги провожу в горизонтальном положении. И для сердца это оказалось спасительным. Меня наконец осмотрел доктор, русский, приятель Лени. Он его ко мне притащил. Он тоже хочет погостить у Шурочки. Он предписал мне леченье. Обнимаю Вас, моя милая, со всей нежностью, целую Михаила Осиповича.

Ваша В.Б.

*Приписка:*

С первого мая все материи по карточкам. Но когда получим, неизвестно. Мне удалось купить еще зимой материю из старого запаса по 20 фр., а то бы я была в трудном положении — у меня все платья порвались. Я четыре года ничего для лета не шила, — осталось от прежних запасов только белье, но мыла нет, вообще с мылом драма. Нас шестеро! Всегда благодарю Вас за простыни. Без... [страница оборвана].

<sup>1</sup> Американские посылки шли часто через Испанию и Португалию.

<sup>2</sup> Александр Федорович Керенский (1881-1970) был близок с Буни-

ными, особенно в последний парижский период их жизни, и постоянно посещал их «четверги».

<sup>3</sup> Подруга Керенского.

<sup>4</sup> Роман-эпопея *ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ*. Остался незаконченным, отрывки из него печатались в журн. «Новоселье».

<sup>5</sup> Ученица М.А. Степун, часто упоминаемая в письмах и дневниках Буниных.

<sup>6</sup> З.Н. Гиппиус.

<sup>7</sup> Петр Бернгардович Струве в 1941 был арестован немцами в Белграде. В 1942 освобожден и переехал во Францию.

<sup>8</sup> Тюков (?) — сосед Буниных, приятель Л.Ф. Зурова, владелец птицефермы.

9

25 июля 1945

Милая и дорогая Марья Самойловна,

Бесконечно благодарна Вам за Вашу память и подарок. Очень тронули меня Вы кофтой. У меня как раз старая пришла в большую ветхость. Но только, знаете, Вы и представления не имеете, как я похудела. Но, вероятно, к зиме пополюю, что мне не очень нравится. Легче и приятнее быть худой. Но ничего не поделаешь: нужно питаться, так как кроме приятной худобы, я получила еще неприятность с зубами — за зиму, так как осенью грасский дантист ничего не нашел чтобы пломбировать, а у меня пришлось запломбировать в этом месяце одиннадцать зубов! И весь мой заработок за июль<sup>1</sup> ушел на временные пломбы — 1100 франков. Было и жаль, но было и приятно, что я не должна была обращаться к И[вану] А[лексеевичу]. Тата Каминская уезжает на отдых, а вернувшись, будет продолжать возиться с моими зубами. Надеюсь, что мой ученик не откажется от моих уроков, и я опять справлюсь своими средствами.

Время тяжелое. Душа с трудом принимает все, что приходится слышать и о прошлом, и о настоящем. Порадовались только вчера: Наташа<sup>2</sup> родила сына. Пока было решено, что его назовут Михаилом. Подробностей никаких не знаем. Сообщено было по телефону к Нилус<sup>3</sup> — у нас телефона нет — что родился мальчик. Завтра Зайцевы и отец Киприан<sup>4</sup> у нас завтракают, тогда узнаем все подробности. Надеюсь, что все обходится благополучно.

Очень нас огорчает нездоровье Михаила Осиповича. Передайте ему, что его «Кучка»<sup>5</sup> мне очень нравится, но я читала только

отрывки. Очень мы соскучились и по Вас, и по нем. Как-то странно в Париже без Вас... Ангелину не видала. Впрочем, мы мало с кем общаемся. Уж очень трудна жизнь.

Живем без всякой фам де менаж, приходится даже стирать, иной раз и простыни, так как можно отдавать только те прачке, которые крепкие, а их у нас мало. С помощью Ляли я справляюсь, но, конечно, мало остается времени для «личной жизни».

Сейчас приходил Михайлов<sup>6</sup> за Яном. Поехали завтракать к какому-то американцу, не то англичанину, у которого повар русский — будут блины и жареный кролик. Немного глупо блины летом, но охота пуще неволи.

Третьего дня были у Бененсон<sup>7</sup>. Они очень много перенесли. Он был в лагере. Затем они скрывались. Одно время жили у какой-то портнихи, и только в 6 часов утра можно было ходить в ватер клозет, который был на лестнице. Затем в их дом пришла полиция, которая жила в нем 19 дней, но к ним наверх не поднялась. Но все же Бененсоны говорят, что они жаловаться не могут. Такие ужасы стекаются со всех сторон. Кажется, все стерилизованы, кто даже вернулся обратно [из концлагерей. — Публ.]. У женщин вырывали без всякого наркоза матки и яичники... Времена ужасные. Как будто Христос и не приходил в Мир! Но до утонченных, садистических пыток еще нигде никогда не доходили в таких размерах.

Я не политик, а потому мало что понимаю. Чувствую одно, что без Добра и Веры мир не спасется. Страшно очень за детей, молодежь. Вы знаете, что самыми жестокими немцами были подростки!

Всего не напишешь. Мы с Вами в разлуке почти пять лет. За эти годы я узнала французский народ так, как я не узнала его за двадцать лет. И многое поняла до конца. Трудно обо всем писать — нужно время. А мне всегда надо куда-то спешить. И всегда много неперделанных дел. Вот и сейчас нужно бежать что-нибудь купить на завтра. А я уже сегодня раз выходила и принесла молоко, мясо для Л[ео니다] Ф[едоровича] — ему, как больному, выдается больше, чем нам, и он четыре раза в неделю ест по 90 гр., а мы только раз. Здесь его здоровье стало лучше. Он много работает. Пишет доклад о своих открытиях и реставрации в Эстонии. Один уже отослан в Москву. Милюков «приказал» ему в своем последнем письме тотчас же оповестить советское правительство о том, что он сделал — это очень важно для России.

31 июля. Только сегодня могу закончить письмо. Получила Вашу открытку. Спасибо за сообщение адреса Валечки<sup>8</sup>. Радостно, что он здоров и работает. Пока я достаю здесь те лекарства,

что мне нужны. *Больше всего нужны чулки*, летом мы ходим на босу ногу. Цены здесь на них очень высокие, и достать их трудно. Трудно и *с мылом*, особенно для стирки.

*На что живет Тэффи* — не знаю. Большой посылке и башмакам она чрезвычайно обрадовалась. Вид у нее «молодой». Но, кажется, аорта в дурном состоянии.

У Наташи Зайцевой, т.е. Сологуб, все идет хорошо, ребенок здоровый. В пятницу она надеется переехать домой. Из нашего дома у нее была лишь Ляля. Я избегаю метро.

Обнимаем Вас, моя дорогая, и Михаила Осиповича. Еще раз спасибо за подарки. Чаем дорогая, и Михаила Осиповича. Еще раз спасибо за подарки. Чаем я подкупаю [неразб.]. Кофе сами пьем. Здешний очень паршивый.

Кланяйтесь Зензинову. Целуйте Веру Ивановну и Шурочку. Приветы всем вам от всех.

<sup>1</sup> Вера Николаевна подрабатывала перепечаткой на машинке и частными уроками русского языка.

<sup>2</sup> Н.Б. Зайцева-Сологуб.

<sup>3</sup> Берта Соломоновна Нилус, жена художника и писателя Петра Александровича Нилуса (1869-1943). Нилусы были близкими друзьями Буниных: П.А. познакомился с Буниным еще в 1898 в Одессе. В Париже они жили в одном доме на ул. Жака Оффенбаха. Б.С. участвовала вместе с Верой Николаевной в «быстрой помощи» — организации, обеспечивавшей распродажу билетов на литературные вечера в пользу писателей.

<sup>4</sup> Архимандрит Киприан (Керн), профессор Парижского богословского института.

<sup>5</sup> Книга М.О. Цетлина *ПЯТЕРО И ДРУГИЕ* о композиторах «Могучей кучки» (Нью-Йорк, 1944). Была посвящена А.Н. Прегель и ею иллюстрирована.

<sup>6</sup> Павел Александрович Михайлов, профессор-юрист, близкий знакомый Бунина, часто упоминаемый в дневниках.

<sup>7</sup> Абрам Самойлович Бененсон.

<sup>8</sup> Валентин Михайлович Цетлин (р. 1912), сын Цетлиных, врач. Годы войны провел в Лондоне.

Милые, дорогие друзья, по-прежнему сердечно люблю вас, с грустью вспоминаю наше первое время в Париже — уже такое далекое и такое счастливое... Как Ваше здоровье, дорогой Михаил



Осипович? Храни Вас Бог! Напишите, дорогая Марья Самойловна, когда-нибудь поподробнее, как Вы живете, что делаете? Пришлите мне, пожалуйста, книгу о «Могучей кучке».

Целую Вас обоих от всей души.

Ваш всегда Ив. Бунин.

11

13 октября — 1 ноября 1945

Милая и дорогая Марья Самойловна,

Больше месяца тому назад начала Вам письмо, написала три больших страницы и... не кончила. Написать мне письмо теперь самое трудное дело. Очень много всяких забот, работ. Кроме дома, хвостов, у меня есть занятие для души. С моей кузиной, Наташей Барановой, мы разбираем письма Шестова, ее отца. Очень много интересных и значительных мест находим в них. Готовим материалы для его биографии. А для денег стучу на машинке — раз в одну неделю заработала больше тысячи франков, иногда приносят материал и оставляют, иногда диктуют. Эти дни приходит ко мне один автор, и я стучу статью о славянофилах, третьем Риме... Иногда приходится писать и по новой орфографии так, как теперь даже сама Екатерина Дмитриевна Кускова написала Яну письмо без ять, твердого знака и с другими новшествами. Теперь меня мало что удивляет. Все немножко сошли с ума.

Очень Вы нас тронули Вашей телеграммой, она пришла накануне, но я ее передала в день рождения, которое, впрочем, мы не праздновали, так как новорожденный хотел забыть о нем и даже, как ни в чем не бывало, пошел обедать к Полонским. Уверяет, что они об этом не знали, как почти все наши друзья и знакомые, исключение Н.И. Кульман и Зайцевы. Но они ограничились открытками, зная отношение Яна к этому дню. Правда, через два дня были его именины, и Ляля спекла три пирога: два с вареньем из слив и один с говяжьей начинкой. Они были вкусные, и мы ими угощали гостей: В.А. Зайцеву, Феничку, которая пришла случайно, и Наташу Баранову. А вечером отправились все на Монпарнас, где «оставшиеся после кораблекрушения» сидят в кафе «Дом»<sup>1</sup> и мирно беседуют над бочками пива. Все стало милее, приятнее, обдерганнее, измученнее. Многим пришлось перенести немало.

Зуров живет в пыли, среди чужих вещей, пишет на машинке, скрючившись на постели, и платит за это 600 франков в месяц! Из окна несет. Тут же стирает свое белье. И при всей своей энергии ничего не мог до сих пор найти, соглашался платить до тыся-

чи франков в месяц за более или менее сносную комнату. Его материалы по его экспедиционным исследованиям отсылаются в Русскую Академию Наук. Павел Николаевич Милюков в последнем письме к нему ему советовал сразу же ознакомить русское правительство с тем, что он сделал. Он теперь зарабатывает себе на жизнь.

Феничка рассказывала мне, что была у Ангелины, которая на ее взгляд очень возмужала. Ваш внучек очарователен — самый занятный возраст.

Слышали, что Валя отправился к вам, как Вы его нашли? Изменился ли он?

А вчера был «вечер Адамовича», он читал о четырех поэтах: Маяковском, Есенине, Ахматовой и Ос.Мандельштаме. К сожалению, о последнем он сказал мало: в одиннадцать часов раскрылась за ним дверь, и рослый дядя заявил, что пора кончать. Адамович выскочил за ним и выпросил еще льготную четверть часа, но нужно было по крайней мере полчаса... Это первый вечер как бы из прошлой забытой жизни. Публика прежняя, наша, только два-три лица из нового мира, но как все изменились! Постарели, посерели, настоящих молодых лиц не было. Один, приехавший из России, спрашивал: «А где же ваша молодежь? Так она интересуется литературой?!» Но мы, вернее, многие те, что провели лихие годы на юге, испытали новые чувства: трудно передаваемую радость свидания: спаслись! Уцелели! И грусть непередаваемую, что многих из тех, кто всегда бывал на подобных встречах, уже нет с нами...

Зал был полон, но сбор небольшой, в несколько тысяч (4.500 фр.) всего франков — билеты стоили сто и пятьдесят франков. Но большинство было истинно приглашенными...

Теперь на очереди у меня вечер Зайцева, вернее «матинэ»<sup>2</sup> — 25 ноября он будет читать о Лескове и прочтет что-то из этого писателя. На Адамовича я тоже немного продала. На Зайцева нужно больше: во-первых, времени много, а во-вторых, он только что поправился после неприятной болезни фурункулеза — гнойная сыпь на лице. Теперь он поправился, вчера тоже был на этом вечере, но вид не радует — еще больше обтянулось его иконописное лицо. Б.С. Нилус уже вчера продала четыре билета по сту франков на него, кажется, у своих родственников. Ее брат только что вернулся из Ваших мест. Я пока продала три на 200 франков.

Очень благодарю Вас за обещанную посылку. Цены здесь на теплые вещи такие астрономические, что я отношусь к витринам теперь не как раньше к магазинам, где что-то можно купить, а как к выставкам, музеям и подобным местам, где вещей не покупают.

Теперь главная забота о том, чем и как топить. Мы получили с юга две печки, пока в подвале лежат палки на «растопку», по карточкам выдадут несколько сот [кг] угля и на Яна 400 кило дров! А затем разные обещания, мечты, покупка решо<sup>3</sup>, которое при первом же разе испортилось. Парижане рассказывают ужасы о прошлом годе, у Нилус топилось только 17 дней. Я как-то ни о чем не беспокоюсь, хотя в моей комнате нет никакой печки и даже нет настоящего одеяла, свое я отдала Яну, надеюсь на свою меховую шубу, буду, как медведь, лежать и сосать лапу. Но Ян очень волнуется и что-то предпринимает.

Октябрь же в этом году удивительно хороший: много солнечных, с синим небом дней. Сегодня, пожалуй, в первый раз в комнатах холодно, но у нас теплее, чем у других, так как мало наружных стен, но, конечно, зимой будем жить не очень приятно. Ваша кофта пока очень меня согревает, и хорошо, что она широкая, могу напяливать на теплый костюм, хотя я и стала полнеть — нужно перешивать пояса у юбок...

Любовь Германовна<sup>4</sup> все еще на юге. Жизнь и там не очень легкая. Трудно им с прислугой. А мы и не пытаемся искать даже фам де менаж, даже и за 20 франков в час. Все равно не найдешь!

Целуем и обнимаем Вас и дорогого Михаила Осиповича. Привет друзьям и знакомым.

Храни Вас Бог.

И еще продержала это письмо на столе. За эти дни был обед у Ельяшевича. Было вкусно и весело. Ян смешил всех до слез в буквальном смысле этого слова. Вспоминали и Вас, и Алдановых. За широким просторным столом просидели 5 часов! Передайте Мих. Ос. наши поцелуи.

Обнимаем и целуем Вас. Приветы друзьям и знакомым.

Ваша В.Бунина

<sup>1</sup> Ср. описание у Ладинского, часто встречавшегося здесь с Буниным: «Это было угловое кафе "Дом", где не в пример другим монпарнасским кафе с их модернизированными залами, огромными зеркальными окнами и обилием электрического света, сохранилась в те годы старая парижская обстановка: молескиновые диванчики вдоль стен, не очень опрятные передники гарсонов, старомодные мраморные столики, цинковая стойка... Как обычно по вечерам, в кафе уже стояли облака табачного дыма. За столиками сидели завсегдатаи: художники в клетчатых куртках, незадачливые литераторы с косматыми прическами, непризнанные гении...» («Литературное наследство», т.84, кн.1, с.689).

<sup>2</sup> Утренник (фр.).

<sup>3</sup> Нагреватель (фр.).

<sup>4</sup> Любовь Германовна Добрая — дама-благотворительница, помогавшая нуждающимся эмигрантским литераторам. Приятельница В.Н. Буниной.

12

6 дек[абря] 1945 г.

Милая и дорогая Марья Самойловна!

С самого вечера, когда звонок по телефону сообщил мне о кончине дорогого Михаила Осиповича, я ни о чем другом не могу думать, как о нем и о Вас. Конечно, когда есть время на думанье. Вы знаете, что я очень люблю его и очень ценила его беседы со мной, и я очень горюю, что еще одна мечта о встрече здесь рухнула. Знаю Ваш сильный Дух, а потому уверена, что Вы стойко переносите свое горе. Очень утешает, что Валя с Вами. Понимаю, как тяжело всем Вам было, что Ангелиночки не было с Вами. Вероятно, и ей не легче.

Пережила за эти недели наши встречи и в Москве, и в Одессе, и нашу дружбу в Париже. Много хорошего и приятного было за эти годы в наших отношениях.

Всегда с благодарностью вспоминаю и Вас обоих. Передайте Вале и Шурочке наше сочувствие. И[ван] А[лексеевич] болен, сильнейший кашель и сердце, и очень занят. Продал «Темные аллеи» Зелюку<sup>1</sup>. Он Вас обнимает, как поправится, так напишет. Целую Вас со всей нежностью.

Ваша В.Б.

Посылку с туфлями и чулками (2 пары) получила. Очень благодарю. Скоро напишу еще.

<sup>1</sup> Г.О. Зелюк — парижский издатель. *ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ* вышли в 1946 (Paris, La Presse Française et Etrangère).

13

8 февраля 1946 года.

Милая и дорогая Марья Самойловна,

Не знаю, которое по счету я начинаю Вам письмо. Надеюсь, что это докончу и пошлю по воздушной почте. Спешу Вас известить, что от воспаления в легком Ян поправился и уже расплатился с доктором. Кроме гонораара подарил ему пару ботинок, чер-

ную, которую Вы прислали. Она подошла ему как нельзя лучше, а Яну велика. Так что и в этом Вы приняли участие.

Не знаю вообще, как Вас, дорогая, благодарить за все, что Вы делаете. Я лично без Вас бы пропала. Все теплое белье от Вас. Ведь у меня никогда не было ничего теплого из нижнего белья. Теперь хожу во всем мужском, кроме чулок. И если бы не это, то, вероятно, ишиас, который все мне угрожает, разыгрался бы. У нас ведь топится только комната, где живет Ян, то есть столовая. А в остальных бывало очень прохладно, хотя я к холоду отношусь очень стойко, да и зима была «сиротская». В Грассе я больше мерзла, чем здесь...

Болезнь была серьезная и тяжелая. Я больше двадцати дней не раздевалась, спала около Яна, на той же постели. Приходилось иногда раз пять в ночь подыматься. Теперь уже сплю у себя, и ночью меня он не тревожит. Но полного выздоровления еще нет. Он все время чувствует «какое-то подташнивание». Я уговариваю пригласить специалиста. Но он упорствует. Это «подташнивание» было еще в Грассе. Была еще беда с зубами, пришлось на дом пригласить дантиста. Сильными мерами воспаление ликвидировали. Казас нашел, что это от расстройства всего организма. Ян очень исхудал, ноги — палочки. Стараюсь доставать все, что можно. Но что это стоит! Не успеваю менять «пятитысячники». Помогают очень посылки из Ваших мест. Спасибо всем за них сердечное. Хорошо бы, если бы присылали сладкого молока. Он пьет его с удовольствием. Вообще же аппетит у него очень средний. Любит апельсиновое варенье.

Если бы из его денег Вы купили мне две пары шерстяных чулок, а ему две сетки, размер большой, — он не любит, чтобы его что-либо стесняло. Это ему больше, чем необходимо. Его совершенно разорвались, а шерстяное белье на голое тело он надевать не может. Здесь же сеток найти нельзя.

Ваши посылки получаем. Иногда Вы прямо спасали. Например, когда пришли простыни, я увидела «небо в алмазах». Положительно не знала, что делать. Прачка держит белье две недели, а во время болезни простыни очень пачкаются и за неделю. И вдруг Ваш подарок! Можно сказать, выручили. Он и сейчас спит в них. Теперь он уже встает, надевает теплую пижаму. Но из комнаты его мы еще не выпускаем, — разная температура. Серов<sup>1</sup> говорит, что в солнечный день он уже может выйти на десять минут на воздух, но, к сожалению, хотя и тепло, но сумрачно — Париж последнее время в серых тонах.

Вчера у нас были Зайцевы. Они, слава Богу, здоровы. А то ведь и у них была тревога. Настроение у них легкое. В понедель-

ник надеюсь выбраться к ним — Борису стукнет шестьдесят пять лет!

Вообще же Ян очень не хочет кого бы то ни было видеть. Настроение у него чаще всего тяжелое и мрачное. Но иногда бывает и оживлен и даже смешит. Легко допускает к себе тех, кто жили у нас в Грассе: Зурова, Бахраха, Любченко, моя приятельница, которая часто у нас гостила на вилле Жаннет. Она очень мне помогла во время болезни. Ведь одно время была больна и Олечка, и Ляле приходилось ухаживать за ней в пансионе, где она заболела. Фамы<sup>2</sup> у нас никакой нет. Представляете, как весело! Вот почему я никак и не могла собраться написать Вам и другим. Меня очень тронула Злата Давыдовна<sup>3</sup>. На-днях напишу ей. Дело в том, что мне теперь всегда хочется спать. Иной раз в день прикорну раза четыре.

Вчера узнала о смерти Веры Николаевны Ильнарской, жены Лоло. Кончилась ее страдальческая жизнь<sup>4</sup>. Из-за болезни Яна я ничего не написала ей к Новому году.

Работаю я и в «Быстрой помощи», которая очень много помогает. Несмотря на полную невозможность отдаться этому делу, я все же как-то умудрилась собрать им в два месяца три с половиной тысячи франков и продать уже несколько билетов в синема в пользу этого общества. Нищета здесь ужасная. Я стараюсь как можно больше завербовать членов.

Жизнь наша здесь совершенно иная, чем была при Вас. Никаких почти сборищ. Даже у соседей не бываем. С Феничкой почти не видимся, а живем друг от друга в двух шагах. Видаешься лишь с теми, кто заходит.

Нужно признаться, что на гостей собственно сил нет. Очень уж все измотаны.

Только на-днях повидалась с Т.С. Конюс<sup>5</sup>. Она много рассказывала мне об Америке. Общее впечатление у нее, что тамошние не представляют ни нашей жизни, ни того, что мы все пережили за это лихолетие. Восхищает ее удобство американской жизни, квартиры. Удивляет количество визоновых шуб.

Вчера ночью докончила XI книжку журнала. Очень она хорошая. Интересна статья Николаевская<sup>6</sup>, — я собственно ничего об Японии не знала. Еще раз пережила смерть Михаила Осиповича. Увидела его больного за работой. Марк Алек[сандрович] очень талантливо о нем сказал и очень правильно. Вижу его чаще каким он был в Грассе: худым, красивым, в белом берете. Звонок. Пришла посылка от М[арка] Ал[ександровича]. Ян еще спит. Будет радость, когда проснется. Обнимаю и целую. Ваша В.Б. Когда же увидимся!!

18/II. Десять дней не могла закончить и отослать Вам мое послание. Была работа по переписке. Зарабатываю на femme de ménage. Удалось найти одну приходиться раза два или три в неделю вечером — от 10 ч. до полуночи. Плата 30 фр[анков] в час. Это меня освобождает от постирушки, мытья пола в кухне и подметания полов. Последнее чаще приходится на долю Ляли. Пришлось уделять время и на «Быструю помощь». Кой-кого навестить, кой у кого позавтракать. Раз ела утку и продала тринадцать билетов по сто франков. Фильму дали старую «24 часа на русском фронте». Было 2 сеанса в 5 ч. и 9 вечера. Надемся на 15.000 фр.

За эти 10 дней Ян окреп немного, но все еще не выходит, даже из своей комнаты. Стараемся его кормить, что не так легко.

Мне кажется, что одна из Ваших посылок пропала. Вы написали, что посылаете мне 3 пары шелковых чулок — я не получила. Три пары — шерстяных дошли, и я Вас ежедневно благословляю. Привет всем друзьям. Поцелуйте Веру Ивановну и Шурочку.

<sup>1</sup> С.М. Серов — парижский врач, лечивший Буниных и Зайцевых.

<sup>2</sup> Прислуга (фр. femme de ménage).

<sup>3</sup> З.Д. Браславская — приятельница В.Н. Буниной.

<sup>4</sup> В.Н. Ильнарская болела водянкой, мучительность болезни усугублялась полной беспомощностью ее мужа, Л.Г. Мунштейна (Лоло), почти целиком потерявшего зрение.

<sup>5</sup> Дочь С.В. Рахманинова — Татьяна Сергеевна Конюс.

<sup>6</sup> В.Н. имеет в виду статью Бориса Ивановича Николаевского (1887-1966) *КАК ЯПОНИЯ ПРИШЛА К ВОЙНЕ*.

[Февраль 1946]

Дорогая, милая Марья Самойловна, Вы даже и представить себе не можете, до чего нам больно, просто страшно и думать и чувствовать эту все-таки неожиданную, ужасную потерю! Мы даже как-то не могли сразу написать Вам! Обнимаем Вас с самой горячей любовью и просим Бога дать Вам сил вынести Ваше тяжелое горе.

Ваши Бунины.

Будем счастливы, когда сможете написать нам. Я едва поправляюсь после долгого и тяжелого гриппа.

9 января 1947

Дорогой, милый друг, пишу только два слова — ибо пишу в постели, опять лежу в гриппе, погибаю от кашля, одышки и слабости<sup>1</sup>. Все, о чем Вы писали, на днях получено — очень благодарю! Надеюсь уехать на юг в конце января<sup>2</sup>. Тэффи тоже больна, ей тоже необходимо ехать, — горячо прошу о скорейшей помощи ей, она в большой нужде. Горячо целуем Вас.

Ваш Ив. Бунин

<sup>1</sup> 30 декабря 1946 г., после завтрака в честь выхода *ТЕМНЫХ АЛЛЕЙ* в Париже, Бунин сильно простудился и проболел полтора месяца.

<sup>2</sup> Речь идет о поездке в Русский дом отдыха в Juan les Pins, находившийся на Лазурном берегу, так и не осуществившейся в ту зиму.

10.2.1947

Милый, дорогой друг, я только начал добредать до письменного стола — без конца лежал в постели и все еще кашляю, задыхаюсь, все еще у меня увеличена и болезненна печень, чего прежде никогда не было. И обнищал я ужасно от болезней. А тут еще ужасная зима — морозы и порой снег не только в Париже, но и на Ривьере. Надеюсь выехать туда (вместе с Надеждой Александровной) числа 20-го, т.е. дней через десять. Но адрес мой пока — Париж: ведь еще даст ли Бог выехать? Часто охватывает страх — как я буду там один, без Веры, по ночам, когда больше всего кашляю и задыхаюсь? А ехать вдвоем не по средствам.

Сердечно целую Вас и прошу — пришлите, пожалуйста, (опять-таки сюда, в Париж, на имя Веры) большой и *очень хороший* термос: мне бывает *экстренно* нужно по ночам горячее для облегчения кашля и одышки.

Ваш Ив. Бунин.

19 февраля 1947 г.

Милая и дорогая Марья Самойловна,

Приходится Вас огорчить: у Яна оказалось после анализа крови всего 3000000 красных шариков, а нужно их у мужчин четыре с половиной миллиона или даже пять! Вы представляете, в каком



мы волнении. Дело в том, что у него больше чем два месяца назад было кровотечение<sup>1</sup>, и он обескровил, как это было 26 лет тому назад. Теперь у нас у всех одна задача — уговорить его сделать укол. Врачи уверяют, что они безболезненны и безопасны. И все склоняются к тому, что его довольно тяжелое состояние (сердца, общей слабости) зависит именно от очень сильного малокровия, с которым придется бороться очень энергично, чтобы не случилось непоправимого. Он до сих пор в постели и так слаб, что пройти по комнате — целое дело. Большое упущение было сделано, что анализ произведен был так поздно. Всех врачей и нас пугал его кашель, который и до сих пор продолжается и имеет характер коклюшечного, есть мнение, что и кашель отчасти зависит от ослабления всего организма. Одно время думали, что дело в сердце, так как пульс порой бывает очень слабый и частый, после анализа врачи говорят, что это тоже от сильнейшей анемии. А сердце, к счастью (это единственное утешение), в хорошем состоянии. И если он согласится на уколы, то силы будут восстановлены довольно быстро. Но необходимо усиленное питание. И раньше во время его болезни его питание стоило дорого — Вы, вероятно, от Ангелиночки знаете, какие теперь цены, а последнюю неделю (анализ был получен в прошлую пятницу) его питание и отопление мне иной раз в день обходится 2000 франков, а самое малое 500 франков. Его необходимо кормить, например, телячьей печенкой, кило которой стоит 600 фр. Ему всегда холодно, порой он дрожит и приходится топить, и на одну лишь растопку идут бешеные деньги. Словом, то, что я получила от Шуры<sup>2</sup>, уменьшилось вдвое. Чтобы его не расстраивать, я скрываю от него наше финансовое положение. Конечно, в вышеупомянутые суммы входят и лекарства и оплаты врачей. Ко всему аппетита у него никакого, приходится умолять его, чтобы он что-нибудь съел. Впрочем, Вы, вероятно, знаете, что это такое.

Роговский<sup>3</sup> все еще здесь. Он ждал выздоровления И[вана] А[лексеевича], чтобы его сопровождать. Врачи думают, что после уколов ему будет можно скоро ехать в Жуан ле Пэн, где, конечно, Беляев<sup>4</sup> его поставит на ноги. Конечно, уколы тоже влетят в копеечку. Но ничего не поделаешь. Пришел черный день — нужно все сделать, чтобы предотвратить непоправимое.

О себе могу сказать, что я устала очень! Ведь с 1 января этого года я проводила до последних дней ночи с ним. Он кашлял так, что приходилось раза по три в ночь вставать и давать ему что-нибудь теплое. Последние три ночи я сплю в своей ледяной комнате, не раздеваясь, так как если позовет, то нужно как можно скорее к нему добежать и дать пить или посмотреть, не погасла ли печка.

Последнее время нездорова Ляля, у нее что-то в почках и все время повышенная температура. Наша фама перестала ходить, что очень трудно, приходится самой стирать, так как наша милая старенькая мадемуазель Имбер<sup>5</sup> уже на тяжелую работу не годна, но все же она помогает и приходит почти ежедневно. Помогает и мать Ляли, и Любченко, и Феничка. Сегодня я с двумя последними перетащила все оставшиеся дрова и весь уголь в нашу квартиру.

Тэффи тоже заболела, у нее что-то с сердцем, какие-то шумы. Ее уложили на три дня в постель, запретили двигаться, и она, бедная, лежит одна в холоде.

Трудно достать билеты на юг. Ведь нужны спальные места. Иначе ни она, ни И.А. не доедут. Больше месяца уже хлопочут и все никак не получают. Теперь надеются на середину марта.

Получила на-днях два пакета книги 12-й. Почему послали именно этот номер, не совсем понимаю.

Сегодня пришла посылка от милой Татьяны Сергеевны Колюс, и как она кстати. Кое-что отдала И.А. как мед, чернослив, изюм. Жаль, не было кофе, здесь выдали только за декабрь...

Леня благодарит очень за перчатки. Почему ему не прислал Литературный фонд никаких денег, тогда как другим писателям прислали? Я думаю, что ему придется бросать службу<sup>6</sup>. Вид у него хороший, но он почти перестал спать. Очень нервен, и писать невозможно.

Ян целует Вас и благодарит очень.

Ваша В.Б.

Приветы всем.

Сегодня 20.II, получила Ваше длинное письмо, дорогая моя, спасибо за все. Отвечу на него при первой возможности. А пока целую крепко.

Ваша Вера.

<sup>1</sup> Бунин в продолжение многих лет страдал геморроем.

<sup>2</sup> Вероятно, брат М.С. Цетлиной — А.С. Тумаркин.

<sup>3</sup> Евгений Францевич Роговский, адвокат, директор Русского Дома отдыха в Juan les Pins.

<sup>4</sup> Борис Никандрович Беляев, врач в Русском Доме отдыха.

<sup>5</sup> Француженка, жившая в одном доме с Буниными.

<sup>6</sup> Зуров нанялся сторожем в американский гараж, где служил также В.Варшавский.

9 марта 1947

Милая, дорогая моя, только что пережили ужасные моменты: Яну было дурно. Я вошла в его комнату, когда он сел обедать, и увидела, что он, опустив левую руку, сидит в наклонном положении. Я спросила, что с ним, он ответил: «Ничего». Но позы не переменил, тогда я поняла, что ему плохо, позвала Лялю, а затем ее мужа, который был, к счастью, у нее. Ляля стала приводить Яна в чувство, а я бросилась к Нилус, чтобы позвонить Аитову<sup>1</sup>, который, к счастью, оказался дома. Это был обеденный час. И попросила Берту Соломоновну пойти и посмотреть, так как у нее большой медицинский опыт. Ей показалось, что дело совсем плохо, и она еще раз позвонила Владимиру Давыдовичу, напугав его так, что когда он приехал к нам, у него тряслись руки. Жиров помог Яну перейти на постель, и когда доктор явился, то он уже был в полном сознании. Аитов думает, что это желудочное: его мучило. Он впрыснул камфору и дал на ночь принять морфию. Сегодня у нас были гости: Тэффи, Пантелеймонов<sup>2</sup>, Струве<sup>3</sup> и Наталья Ивановна<sup>4</sup>, и все, конечно, его утомили, а он еще очень слаб. Теперь никому не позволю больше четверти часа быть около него. Может быть, и съел что-нибудь, что не переварилось.

Неделю тому назад был сделан первый укол, на который его возил Владимир Давыдович. Кроме его обычной болезни, у него еще кое-что есть, что будут удалять прижиганием завтра<sup>5</sup>, когда он придет опять с Аитовым на укол. Уколов надо сделать три. Последний назначен на 17 марта.

От Шуры получили 50 книг. Очень целую Вас за Ваши хлопоты. А вчера был доставлен термос, который Яна очень обрадовал. Он был в дурном настроении, и это дало ему радость, главным образом потому, что он непохож на здешние по форме, вернее, виду, в нем чувствуется мощь.

10 марта. Вчера не удалось докончить письма. Сегодня милый Владимир Давыдович возил Яна на прижигание и укол. Хотя очень много за то, что опухоль доброкачественная, но все же ее взяли на исследование. Через неделю будет ответ. Аитов не вполне уверен, что нужно сделать только три укола. Может быть, и четыре или пять. После третьего укола нужно, по его мнению, неделю ждать, и если за последнюю неделю кровь ни разу не покажется, то после 24 марта можно ехать в Жуан ле Пэн.

Очень жаль, что вместо 14-й книжки мне прислали 12-ю. Их у меня теперь 23, а четырнадцатых только четыре. Нужно по-

следних дослать. Сейчас ими занимается моя приятельница Наталья Федоровна Любченко, очень живой и деятельный человек. У Ляли все повышенная температура, и врачи до сих пор не доискались причины, а потому ей трудно быть энергичной, и я предложила Наталье Федоровне заняться Вашим делом. Сегодня она пристроила в одном месте весь комплект. Мы послезавтра отправляемся на рю Николо<sup>6</sup>, чтобы взять недостающие книги, а часть двенадцатых отнести туда, чтобы было равновесие. В настоящее время у нас 24 человека, из которых, наверное, 16 захотят пятнадцатой книжки. Некоторые недовольны разностью формата. Думаю, что следует Вам прислать, если нет на рю Николо, еще мне несколько экземпляров четырнадцатой книжки. Вчера Наталья Ивановна Кульман купила три книжки для кого-то.

Вы спрашиваете, что нам самое нужное. Из съедобного: кофе, кофе, и кофе, а также мыло. Сегодня получили посылку, хоть плачь. Все, что не употребляем, какое-то кокомальт, масло из орехов, от запаха тошнит, уатс<sup>7</sup>, что можно и здесь получить, это какая-то Диана, которую мы не знаем. Очень тронуты, но и досадно. И[вану] А[лексеевичу] нужно в настоящее время есть вкуснее — у него никакого аппетита нет, поэтому уговорить его есть очень трудно, а доктора говорят, что ему нужно есть как можно больше. Я стараюсь из всех сил добывать ему вкусное. Покупаю дорогие груши, когда возможно, апельсины, лимоны, сухие фрукты для компотов, конечно, телячью печенку, а она стоит очень дорого, ветчину, сыр.

11 марта. Опять прервала письмо. Бог даст, докончу сегодня и pošлю его Вам. Сегодня Маковский звонил, что достал билет на 22 марта. Но есть место на верхней полке в спальном двухместном купе. Он уверяет, что кто-нибудь из более молодых людей, едущих в этом вагоне или другом (их три вагона спальных) уступит Яну свое место, а сам полезет наверх.

Сегодня Ян, слава Богу, спал. Ел вовремя, теперь три часа, и он опять спит. Я думаю, что за две недели он окрепнет. Буду стараться его кормить только легкой, но очень питательной пищей, чтобы не повторилось то, что было в воскресенье. Сегодня купила превосходной ветчины и жамбоно<sup>8</sup>, ему очень хотелось, это дня на два, когда не будет мяса. Печенку тоже удалось сегодня достать, а то он два дня был без печенки. Мы с Лялей питаемся не очень хорошо. Она спасается яйцами, которые теперь дешевы, а мне яйца не очень полезны. Кроме того, у нас обедает ежедневно наша милая старушка мадемуазель Имбер, которая немного мне помогает и приводит в порядок белье Яна для отъезда. Иногда

удаётся достать дешёвую рыбу, благо теперь пост. Но вообще все очень дорого. А грозят забастовкой мясников! Леня получает посылки, и этим спасается. Вид у него хороший, но нервы никуда не годятся — бессонница сказывается.

Вы спрашиваете, что нам нужнее всего из вещей. Я как-то так далеко сейчас от этого, что затрудняюсь сказать. Конечно, всегда нужны чулки. Хорошо было бы, если бы Вы могли достать у кого-нибудь летнее пальто для меня — у меня нет никакого, а что-либо себе покупать я считаю невозможно. И так деньги у нас теперь «с крылышками».

Читаю сейчас книгу о Чехове трагически погибшей Немировской<sup>9</sup>, хорошо написана, и не понимает она в Чехове сравнительно мало.

Попросите и милую Софью Юльевну послать Гале<sup>10</sup> «Новоселье». Галя пишет, что прямо рвут книги. На-днях ей кто-то прислал пять экземпляров пантелеймоновского сборника<sup>11</sup>, мгновенно их расхватали. Я хотела сама написать Софье Юльевне, но боюсь, что времени не будет, да и очень я утомлена. Не судите строго мой стиль. Когда хожу по улицам, то мне кажется, что я вот-вот засну.

Поздравьте и от меня Софью Юльевну за ее энергичную деятельность. Надеюсь, что тоже в этом году прилетит в Париж. Я не совсем понимаю, в чем будет состоять юбилей, это юбилей только «Новоселья» или ее? Если ее, я приветствую ее тоже как поэтессу, а не только как редактора журнала.

Вы спрашиваете, кто мне помогает? Конечно, Ляля, мадемуазель Имбер, очень Наташа Любченко, Феничка, Тамара Бродская<sup>12</sup>. Б.С. Нилус присылает иногда котлетку, которую Ян ест с большим удовольствием. Она ведь повариха. Леня часто приносит провизию: рыбу и другое. Бахрах иногда ходит со мной за растопками, так что все-таки есть добрые люди.

Очки для занятий мне все же пришлось заказать, так как для продолжительных занятий те, что я заказала при Вас, не годятся, глаза в них сильно утомляются, но для дали и для быстрого чтения на улице они идеальны.

Да, вспомнила, что необходимо для Яна, — гречневая крупа, мы Вашу всю уже давно съели, а здесь можно достать ее только по 400 кило. На это и я никак не могу решиться. Уж очень обидно.

Ляля шлет Вам привет. Олечке 14 марта будет 14 лет. Она решила дома не праздновать своего дня рождения, а вместо этого взяли билеты в Оперу на «Риголетто».

Целую Вас.

Ваша В.Б.

<sup>1</sup> Владимир Давыдович Аитов, врач, член «Объединения русских врачей за границей», один из организаторов «Русского госпиталя», где работали крупные русские медики во главе с проф. В.Н. Сиротининым.

<sup>2</sup> Борис Григорьевич Пантелеймонов (1888-1950), химик и писатель. В литературу пришел в зрелые годы, пользовался покровительством Бунина, был постоянным гостем бунинских «четвергов».

<sup>3</sup> Михаил Александрович Струве.

<sup>4</sup> Наталья Ивановна Кульман.

<sup>5</sup> Помимо геморроя, вызывавшего сильные кровотечения, у Бунина обнаружили полипы, которые нужно было лечить прижиганиями.

<sup>6</sup> На рю Николо находилась старая парижская квартира Цетлиных, которая после их отъезда превратилась в склад — туда М.С. Цетлина отправляла экземпляры «Нового журнала». В.Н. Бунина и ее знакомые распространяли «Новый журнал» и книгу М.О. Цетлина *ПЯТЕРО И ДРУГИЕ* в парижской колонии.

<sup>7</sup> Овсяные хлопья (oats).

<sup>8</sup> Jambonneau (фр.) — свиной окорок.

<sup>9</sup> Ирина Немировская (1903-1942?), писательница. Родилась в Киеве. Эмигрировала в начале 1920-х гг. В июле 1942 была арестована немцами, отправлена в концентрационный лагерь, где, по-видимому, и погибла. Упомянутая книга — *LA VIE DE ТШЕКОВ*, Paris, Albin Michel, 1946.

<sup>10</sup> Г.Н. Кузнецова с 1942 г. жила в Германии, в Геттингене, в семье Ф.А. Степуна.

<sup>11</sup> Речь идет о сб. Б.Г. Пантелеймонова *ЗОЛОТОЕ ЧИСЛО*.

<sup>12</sup> Тамара Антоновна Бродская (урожд. Миллер), поэтесса, жена А.Е. Величковского.

29 марта 1947

Милая и дорогая Марья Самойловна, неделю тому назад мы проводили Яна на юг в «Дом отдыха». Поехал он один, так как удалось достать только один билет в спальном вагоне, и то через Клягина<sup>1</sup>. Тэффи с Роговским уехали раньше с другим поездом, взявши места с кушетками. У Тэффи перед отъездом был сильнейший припадок, но потом все обошлось, и она хорошо доехала. Довольна и пока, слава Богу, плохих вестей о ней нет.

Яну был добыт билет на верхней полке, и мы все очень волновались, ибо понимали, что при его слабости ему лезть наверх нельзя. Решили просить кого-нибудь, кто помоложе, переменить-

ся с ним местом, в поезде было 40 спальных мест. Но все же волновались, особенно он. По платформе ему было уже трудно идти — он был так слаб, что когда пришлось идти к зубному врачу, который принимает в бывшем вокзале, знаете, около нас, на рю Буланвилье, то мы брали складной стульчик — у Берты Соломоновны нашелся — и он сел на раз 5. И пока мы шли по платформе — вагон был первый, дальний — он все прибавлял, сколько дать проводнику, если он найдет «милого господина». Провожали: вся семья Жировых, Михайлов, Любченко, Бахрах, Адамович, — Леня был на службе. И вот вся наша орава вошла в вагон, а потом ввалилась в купе, где уже сидел пожилой человек, с которым Ян весело поздоровался, и они оба стали шутить. И вдруг я слышу: Абрам Осипович! Да это Гукасов<sup>2</sup>, как же я его не узнала! Правда, я была так взволнована, что почти ничего не видела. Измучена последнюю неделю я была очень. И много грехов Бог простит Гукасову за ту доброту, какую он проявил в тот вечер к Яну. Потом на платформе я подошла к нему еще раз, поблагодарила, сказала, что это чудо, что Бог помог, рассказала вкратце о болезни Яна и просила, чтобы он с ним не очень разговаривал. Когда поезд трогался, Ян стоял у открытого окна и был очень возбужден и в то же время спокоен. Конечно, ему было приятно, что едет он со знакомым человеком. И знаете, он спал до самого Марселя так, как давно не спал. Ведь последнюю неделю он лишился сна, и даже снотворное не действовало. Дело в том, что от него не скрыли, что, может быть, у него рак, что послано на исследование, и двенадцать дней он мучился, хотя только раз ночью мне сказал: «В понедельник меня может ожидать еще удар...» Я не поняла: «Какой?» «А, может быть, окажется рак...» Слава Богу, этого не оказалось. Но не понимаю, зачем нужно было раньше времени ему об этом говорить?..

Беляев, как и Аитов, нашли его сердце и легкие в порядке. Кашель скорее носоглоточного происхождения, может быть, астматического. Но каждую ночь, проснувшись, он мучительно кашляет довольно долго, потом засыпает.

В Антибах его встретили на такси Беляев и Ставров<sup>3</sup>. Дом ему понравился. Кухня тоже. Ему за особую плату готовят отдельно. Я написала Беляеву, чтобы он тратил на него все, что нужно, — ведь сейчас самый критический момент, нужно, чтобы шарики увеличивались в числе. Ян пишет, что плохо одно, нет фруктов, я послала ему кило апельсинов, заплатив за них 235 фр.

Не знаю, как все же он там себя чувствует. Тэффи обещала подымать его дух. Ставрова, которая с мужем уже живет там второй месяц, надеюсь, исполняет для него маленькие поручения,

они дружат. Беляев ежедневно его осматривает, а его подруга жизни<sup>4</sup>, по слухам замечательная женщина, очень хорошая хозяйка; заведующий хозяйством и всеми этикетами, бывший моряк Протасьев<sup>5</sup>, по матери Бунин, очень нравится Яну, так что окружение приятное. Был один недостаток — твердые постели, но ему кровать переменили, и он не жалуется.

Но, конечно, я живу в тревоге. Успокоюсь, когда узнаю, что шарики прибавляются. Врачи уверяют, что у него очень хороший организм, но все же очень страшно. Это, конечно, мешает и мне отдыхать. Да и дел еще много. Нужно чистить квартиру. Ведь за болезнь она очень запустилась. Наша ночная фам де менаж перестала ходить к нам уже несколько месяцев, и нам с Лялей было очень нелегко. А у ней ко всему все повышенная температура, и врачи не могут понять ее причины, и страшная усталость, ненормальная. Теперь она ищет энергично себе занятий, так как у меня стало гораздо меньше возможностей с отъездом Яна. Да и я могу быть в скором времени туда вызвана.

Хотелось бы здесь провести Страстную неделю, встретить в церкви Пасху. Сегодня была на рю Дарю панихида по Павлу Николаевичу. Устраивал ее Коновалов<sup>6</sup>. Я видела там много знакомых, и как все осели! Завтра будет другая панихида у Серафима. Сегодняшнюю служил Владыка Владимир.

Третьего дня получила от Зеелера<sup>7</sup> две простыни и два полотенца, что очень кстати. Нужно их отослать Яну, так как там белья нет. И как раз есть оказия.

Леня все служит. Вы правы: он перестал днем спать, так что его сон ограничивается иногда тремя, четырьмя часами. Его друзья во главе с Тамарой Бродской решили устроить вечер<sup>8</sup>, чтобы дать ему возможность на лето уехать, отоспаться и продолжать писать — нужно дать последний удар кисти «Зимнему дворцу». Боюсь, что не очень много, то есть недостаточно для нужного отдыха ему соберут, жаль, что литературный фонд ему ничего не уделил. Живет он очень экономно, даже кое-что старается отложить, чтобы быть в состоянии писать. Вообще у него есть подвиженские черты в характере. Последнее время он стал напряженно нервен, видимо, от недосыпания нервы его очень натянулись<sup>9</sup>.

Бахрах в нежной дружбе со Ступницким<sup>10</sup>. Бывает на его обедах с Богомоловым<sup>11</sup> вместе с Каллаш<sup>12</sup>, Адамовичем и другими участниками Новостей<sup>13</sup>. Сшил себе канадьянку и шеголяет в ней. Излагает в газете недурно содержание книг.

До сих пор не поблагодарила Вашу подругу за посылку. Скажите ей, в каком я состоянии. На каком языке я должна ее поблагодарить?



Была у Зайцевых. Они все такие же. Живут по средствам, не жалуются. Пока здоровы.

Ляля шлет Вам сердечный привет. Я Вас целую. Храни Вас Бог.

Ваша В.Б.

<sup>1</sup> Александр Клягин — инженер, промышленник. В эмиграции занимался литературной деятельностью. Автор книги *СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕОБЫЧАЙНЫХ* (Париж, 1947), к которой Бунин написал предисловие. Познакомился с Буниными в Грассе (жил по соседству), часто навещал их и помогал.

<sup>2</sup> Абрам Осипович Гукасов (1872-1969) познакомился с Буниным в декабре 1925, когда Бунин сотрудничал в газ. «Возрождение», субсидируемой Гукасовым.

<sup>3</sup> Перикл Ставрович Ставров (1895-1955) — поэт, участник литературного кружка в Одессе, где в 1918 познакомился с Буниным.

<sup>4</sup> Софья Никитична Шиловская.

<sup>5</sup> Видимо, описка, имеется в виду Николай Иванович Протасов.

<sup>6</sup> Речь идет о панихиде по Павлу Николаевичу Милюкову, отслуженной в кафедральном парижском соборе. Александр Иванович Коновалов (1875-1948) был председателем правления газ. «Последние новости», которую Милюков бессменно редактировал.

<sup>7</sup> Владимир Феофилович Зеелер (1874-1954), журналист.

<sup>8</sup> Вечер Зурова состоялся 26 апреля 1947 г.

<sup>9</sup> Симптомы психического расстройства, которым страдал Зуров и которое позднее (в июле 1953) привело его в клинику для душевнобольных.

<sup>10</sup> Арсений Федорович Ступницкий (1893-1951), юрист, журналист, редактор и издатель газ. «Русские новости».

<sup>11</sup> А.Е. Богомолов — посол СССР во Франции в 1945-47 гг.

<sup>12</sup> Мария Александровна Каллаш (псевд. М.Курдюмов, 1869-?), писательница, автор книги о Чехове *СЕРДЦЕ СМЯТЕННОЕ* (Париж, 1934).

<sup>13</sup> Газета «Русские новости».

8 апреля 1947

Villa Le Fournel, Chemin de Fournel,  
Juan-les-Pins, a.m.

Милый друг, дорогая Мария Самойловна, не сообщал Вам ничего о себе потому, что знаю, что все обо мне писала Вам Вера, и еще по той простой причине, что написать даже несколько строк

для меня еще очень трудно — нет не только воли, но и сил. Я здесь уже две недели. И все говорят, что вид у меня лучше, но так ли это? Одно, дай Бог не взглянуть, лучше — меньше и реже мучит кашель по ночам. А насчет малокровия думаю, что оно еще велико. Плачу я здесь за комнату с маленькой другой, туалетной, прилегающей к ней, и за пропитание 8000 в месяц, но пропитание это столь бедно, что приходится многое и очень дорого прикупать: масло коровье, масло оливковое, яйца, апельсины, лимоны, квакеры, сгущенное молоко, сахар, кофе — на все это уходит каждый день порядочная сумма... Я бы совершенно пропал, если бы не *помощь* Ваша! Болезни нынешней зимы сразили меня смертельно, умирать же вообще не легко, а что мне было бы, если бы к этому прибавился голод, отсутствие врачей, лекарств, топки! А тут еще Вера, едва живая от бессонных ночей со мной, которые она проводила в Париже, замученная горем за меня и даже недоеданием — ведь она так лишала себя всего, лишь бы мне купить какую-нибудь печенку, которая стоила нам в Париже 600 франков кило! На днях Марк Алекс[андрович]<sup>1</sup>, который у меня был уже несколько раз, сказал мне, что будет еще некоторая сумма помощи — горячо благодарю вас всех! Это меня очень успокоило!

Целую Вас, дорогая моя, от всей души.

Ваш Ив. Бунин

<sup>1</sup> Марк Алданов сыграл в судьбе Бунина не менее благотворную роль, чем Цетлины. Начиная с 1922 г. он состоял в переписке с Р.Ролланом, а позднее и с Т.Манном — по поводу представления Бунина на Нобелевскую премию, что и увенчалось успехом в 1933 г. Живя в Америке и будучи сам почти без средств, Алданов постоянно отправлял Буниным денежные переводы и продуктовые посылки, способствовал выходу бунинских книг в издательстве им. Чехова. А с 1948 г., благодаря хлопотам его и Андрея Седых (Я.М. Цвибак), Бунин стал получать ежемесячное пособие в 10000 франков от чулочного фабриканта С.С. Атрана. Помощь эта прекратилась со смертью последнего в 1951 г.

21

18 июня 1947

Дорогая, милая Мария Самойловна, я возвратился уже 2 недели тому назад в Париж, немного поправился на юге, но тут из-за холодной и дождливой погоды мне опять стало немного хуже. Плох Париж для меня, для моего кашля и дыхания.

На-днях вышлю Вам «Темные аллеи».

Целую Вас от всей души!

Ваш Ив.Бунин

4.8.47

Дорогая, милая Марья Самойловна, давно нет от Вас ни словечка! Напишите, пожалуйста, что и как Вы. А как мы — Вы увидите из письма моего к Александре Львовне Толстой, которое я очень прошу Вас переслать ей — затерял ее адрес.

Жрау у нас действительно адская — можете себе представить, какво Н[адежде] А[лександровне Тэффи] и мне с моим расширением старых легких и моим старым сердцем!

Целую Вас оба от всей души.

Ваш Ив. Бунин

18.8.47

Милый, дорогой друг, получил Ваше письмо от 8 августа. Спасибо и Вам, и тем, кто пошлет посылки — и от меня, и от Н[адежды] А[лександровны]. У нас опять началась жара после передышки в несколько дней, но мы с Верой, которая Вас целует, сидим, конечно, в Париже — в надежде уехать осенью в Русский Дом в Juan les Pins — надолго. Это будет стоить нам дорого — и переезд, и житье там, — тем более дорого, что ведь надо оставить за собой парижскую квартиру. Жизнь в Париже все дорожает, а как у Вас? Прочел в «Le Monde», будто тут у вас настойчивые слухи о девальвации доллара — неужели это правда? Париж сейчас особенно пуст, все знакомые разъехались, но, вероятно, в начале сентября начнут возвращаться. Не знаю, где сейчас Шура, но думаю, что и он вернется. А Вы — не имеете вестей о нем?

Теперь — о поддержании моих сил. Что Вы думаете о посылке мне витаминов? Вам это виднее. Подождать посылать или уже следует? И в каком количестве? 100, 200 штук или благоразумнее даже более? Решите сами — повторяю: Вам виднее. Во всяком случае некоторое количество мне уже и теперь нужно. А в остальном полагаюсь на Вас.

Крепко, крепко целую Вас.

Ваш Ив. Бунин

9 октября 1947.

Милая и дорогая Марья Самойловна!

Очень перед Вами виновата, что сразу не известила Вас о получении посылки с гречневой крупой, рисом и банкой сухого моло-

ка. Пришла она 1 октября, и я каждый день с утра хотела засесть за письмо, но все не удавалось: то усталость после именин мешала, то всякие хозяйственные дела, то хлопоты по устройству вечера И[вана] А[лексеевича]<sup>1</sup>.

Шесть книг 15 номера журнала тоже получила. Немного разочаровалась, думала, что это шестнадцатая книжка, которую ждут. Как всегда, новая книжка хоть немного тащит прежние. Надеюсь, что скоро получу новоиспеченные.

Теперь просьба о витаминах. Нельзя останавливаться на полпути. Хорошо было бы мне еще принять штук двадцать пять. Родители Шуры ничего не имеют против помочь мне при пересылке.

30 сентября, как это уже завелось, у нас было много гостей. Недоставало Вас, но все же Софья Юльевна была представлена от Америки. Народу было немного меньше: 27 человек, а в прошлом году 39. Угощение тоже слабее: во-первых, цены стали совершенно сумасшедшие, а во-вторых, Ляля начала служить в ресторане и была лишена возможности блеснуть своими кулебяками и пирогами, пекла ее мать, но одна она могла спечь 60 пирожков, пирог с капустой, пирог с мясом и пирог с грибами и рисом. Сделали мы с одной приятельницей два больших рулета из мяса и еще к ним несколько салатников с винегретом. Сладкие торты и пироги приносились, как и виноград. Сидели все в комнате Яна. Мы раздвинули стол на три доски и приставили еще два стола, а один маленький поставили к стене, так что все уместились, правда, один край стола вышел в коридор, а чайники стояли на наших чемоданах. Мне пришлось в этот день четыре раза выйти из дому и возвращаться сильно нагруженной. Днем пили чай в моей комнате. Было человек восемь, а потому могла быть общая беседа и спокойное наслаждение от вкусных тортов и пирогов. Я такая была уставшая, что мало что понимала, накануне возилась в кухне до 4 ч. ночи.

Олечки не было, она с отцом после океана уехала на ферму, а затем в шато к знакомым. Ждем их со дня на день.

Теперь все заботы о вечере. Нужно сознаться, что мне помогают все близкие друзья по продаже билетов, а цены высокие. Первые два ряда считаются «почетными», и решено их было продавать от тысячи франков. И представьте, дорогие билеты идут пропорционально лучше дешевых. Если вечер пройдет удачно во всех отношениях, то мы будем в состоянии уехать на юг. Пока относительно дома вопрос остается открытым. Оттуда уходит Беляев, а без Беляева мне страшно везти туда Яна. Присутствие врача вообще на него хорошо всегда действует, а такого, как Бо-

рис Никандрович, особенно. Он переезжает в Ментону. Это нас очень огорчает, и мы еще не знаем, на чем остановимся.

Ян здоров, но после летних жаров у него ослабело сердце, стали лечить его всякими лекарствами, которые опять вызвали кровь. Уже раза два опять он с Аитовым ездили на уколы, а это 1500 франков за раз! Не всякий день, но часто по вечерам он начинает задыхаться. Против этого есть средство, какой-то пульверизатор в рот — и становится легче. Вид же не плохой, но больше раза в день никогда не выходит. По-прежнему бывает блестящ и остроумен, но иногда впадает и в пессимизм.

Мой костюм вышел очень хорошо. И погода как раз для него, так что шеголяю. О шляпе не беспокойтесь. Мне дал свою Ян, синюю, бархатную, и она подошла, а из двух старых черных я себе делаю для зимы. Мне Татьяна Сергеевна<sup>2</sup> подарила свое совсем новое пальто, и к нему необходима новая шляпа, вот я и изворачиваюсь. Теперь на очереди теплый халат, материя уже куплена. Вообще я теперь одета более или менее. Нужен еще только теплый свитер, если будут деньги, то куплю.

Не очень хорошо у меня с глазами. Но об этом в следующий раз.

Сейчас у меня гости — Вера Рафаиловна, все такая же милая, и Наташа Любченко. Пьют чай, а я спешу закончить письмо.

Очень Вас за все благодарю и очень скучаю, что Вы не приехали в этом году<sup>3</sup>.

Ваша Вера Бунина

<sup>1</sup> Вечер Бунина состоялся 26 октября 1947 г. Подробнее о нем см. в прим.3 к следующему письму.

<sup>2</sup> Т.С. Конюс.

<sup>3</sup> В конце 1946 М.С. Цетлина приезжала в Париж и виделась с Буниными. «...она часто бывала у нас, много подарила мне платьев и других вещей. Беспокоилась о Яне, хотела собрать ему на поездку на юг...» (*УС-ТАМИ БУНИНЫХ*, т.3, с.184).

Дорогая моя, милая, получил XVI кн. «Нов[ого] Ж[урнала]» и совершенно потрясен рассказом художника М.Шаблэ<sup>1</sup>. Неужели этот страшный документ не будет переведен и издан отдельной брошюрой? Если нет, это будет преступлением перед человечеством.

Прочел и «Костел Панны Марии»<sup>2</sup>. Очень, очень прошу передать автору мое неизменное восхищение при чтении его всех писаний — и мое большое огорчение, что при свиданиях с ним я держался так сдержанно, сухо, подозревая в нем, невзирая на всю мою симпатию к нему, «осведомителя». Выпишите вот эти мои строки и пошлите ему.

Здоровье мое все плохо, а завтра мой вечер, налагающий на меня особенно обязанность «не ударить лицом в грязь» ввиду заметки Адамовича, которую я при сем прилагаю<sup>3</sup>.

Начал у Вас писать Глеб Струве<sup>4</sup> — не только дурак и графоман, но и негодяй. Вот посмотрите, какую подлую, хитрую, двусмысленную роль сыграл он, якобы «защищая» меня от какого-то мерзавца (или кретина) Окулича. Еще летом я получил следующую вырезку из русской американской газеты «Русская жизнь»:

Письмо в редакцию

М.Г. Редактор!

В № Вашей газеты от 19 с.м. июля напечатана статья уважаемого И.К. Окулича, в которой он, как о факте, говорит о поездке И.А. Бунина, после войны, в СССР и возвращении его оттуда, сопоставляя почему-то при этом этот факт с судьбой выданного Москве американцами и расстрелянного большевиками ген. П.Н. Краснова.

*Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления, я считаю своим долгом внести поправку в статью И.К. Окулича. И.А. Бунин в Сов. Россию не ездил и, насколько мне известно, ездить не собирается, хотя попытки «соблазнить» его поехать туда делались.*

Можно так или иначе оценивать морально-политические некоторые действия И.А. Бунина после освобождения Франции, но нельзя взваливать на человека обвинение в поступке, которого он не совершал.

Глеб Струве.

Дорогая моя, как видите, «уважаемый» Окулич приписал мне «поступок», связанный с расстрелом Краснова! Каково! И как уклончиво, двусмысленно «защищает» меня этот рыжий сукин сын Струве! «Не вдаваясь в оценку по существу этого сопоставления...», «Некоторые морально-политические действия И.А. Бунина...» Я написал Струве открытку по адресу, данному мне его братом, что он, Глеб Струве, «низкий клеветник», и сказал: «Почему Вы не сказали прямо, какие именно совершил я "морально-политические действия", позорящие меня? Что я сделал, кроме напечатания нескольких рассказов в "Русских новостях" и поезд-

ки в посольство Богомолова, по его, Богомолова, приглашению — в связи с предполагаемым изданием моих сочинений в Москве?<sup>6</sup> *Ровно ничего больше!*» А в Москву я не поехал, несмотря на то, что мне предлагали там буквально золотые горы<sup>7</sup>, — обрек свою старость на нищету, истинно ужасную в мои годы! Ведь скорее всего Вере Николаевне придется собирать по грошам на мои похороны!<sup>8</sup> И неужели всего этого не понимает Глебка Струве, бездарность, помешанная на Блоке?

От всей души обнимаю Вас.

Ваш Ив.Бунин

<sup>1</sup> Морис Шаблэ. *В ДОМЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НКВД.*

<sup>2</sup> Имеется в виду глава из неизданной книги Михаила Михайловича Корякова *ПОЧЕМУ Я НЕ ВОЗВРАЩАЮСЬ В СССР.* Автор воевал в Красной армии с 1941 по 1945 г. После войны работал в Советском посольстве в Париже (видимо, с этим связана репутация «осведомителя»). В 1946 стал невозвращенцем, с этого же времени — постоянный автор «Нового журнала».

<sup>3</sup> Вечер Бунина состоялся 26.10.1947. В газете «Русские новости» от 23.10.1947 была напечатана заметка Адамовича *К ВЕЧЕРУ И.А. БУНИНА.* Вечер прошел успешно. Вера Николаевна писала: «На вечере Ян был в форме: помолодел, похорошел и читал превосходно, читал и стихи. Сбор был хороший» (из письма к М.С. Цетлиной от 3 ноября 1947 г. — Архив семьи Прегель).

<sup>4</sup> Глеб Петрович Струве (1898-1985) — литературовед, поэт, переводчик.

<sup>5</sup> Газета «Русские новости» (прежнее название «Русский патриот») имела прочную репутацию просоветского органа. К работе в ней усиленно приглашал Бунина А.Ладинский, однако Бунин в 1945 г. отказался от постоянного сотрудничества там, мотивируя отказ тем, что газета «ярко политическая», «а я уже давно потерял всякую охоту к какой бы то ни было политике» (письмо к А.Ладинскому от 8 февраля 1945 г. — «Литературное наследство», т.84, кн.1, с.688).

<sup>6</sup> Речь идет об участии Бунина в завтраке у советского посла осенью 1945 г., о котором Бунин сообщал Андрею Седых: «Пробыл 20 минут в "светской" (а не советской) беседе» (А.Седых. *ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ.* New York, издание автора, 1962, с.218). Значительная часть русского Парижа и литературной эмиграции Америки были, по словам Алданова, чрезмерно возмущены этим визитом, несправедливо истолковав его как свидетельство «просоветских» настроений Бунина и его планов возвратиться в Советский Союз. В.Н. Бунина писала в дневнике: «о возвращении нашем в Россию не могло быть никаких переговоров, так как мы ни в коем

случае туда и не думали ехать. Были предложения, уговоры, на которые даже серьезно не отвечали. Так они были нелепы при отношении к большевикам, какое было и есть у Яна» (*УСТАМИ БУНИНЫХ*, т.3, с.202).

<sup>7</sup> Официальных переговоров о возвращении с Буниным не велось, однако тема эта присутствовала в его переписке с Н.Д. Телешовым. О том же говорил с Буниным и К.М. Симонов, побывавший в Париже летом 1946 г. Телешов писал Бунину, что он мог быть «и сыт, и богат, и в большом почете», приводя в пример А.Толстого, Куприна и Скитальца (см. «Литературное наследство», т.84, кн.1, с.636).

<sup>8</sup> Ср. письмо В.Н. Буниной к А.Седых от 13 ноября 1953 г.: «Когда скончался И[ван] А[лексеевич], у нас осталось всего восемь тысяч франков. Приходили друзья, все приносили деньги, конечно, у кого они имелись, и к вечеру у меня было пятьдесят тысяч» (см.: А.К. Бабореко. *И.А. БУНИН*. М., «Художественная литература», 1967, с.248).

## 26

8.XII.1947

Милая, дорогая Мария Самойловна, Вы, конечно, знаете, что у нас происходит<sup>1</sup>, — и один Бог знает, что еще будет. Все же мы с В[ерой] Н[иколаевной] должны ехать на юг, в Juan les Pins, потому что я в Париже уже опять не сплю от кашля по ночам, опять задыхаюсь от бронхита, — взяли билеты на 25 декабря. На юге надеюсь работать, и мне опять нужны Ваши материалы для этого, так что будьте добры поскорее выслать их мне через Глашу<sup>2</sup> или Шуру страниц 200.

Вера Вас целует и спрашивает, получили ли Вы ее письмо. Я тоже крепко, крепко Вас целую — и жду известий от Вас.

Ваш Ив.Бунин

P.S. С большим, большим удовольствием перечитываю «Пятеро и другие» нашего незабвенного покойного. И так больно, что мы потеряли его!

<sup>1</sup> Подразумевается история с расколом в «Союзе русских писателей и журналистов» и выход из него Бунина (см. вступительную статью).

<sup>2</sup> Глафира Исаковна Добрая, парижская знакомая Буниных.



***ЛИТЕРАТУРА  
И ВЛАСТЬ***



**Н.Н. Пунин**  
**РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ**

Публикуемая ниже статья Николая Николаевича Пунина (1888-1953) является ответом на работу Л.Троцкого «Внеоктябрьская литература». Рукопись не датирована, но время ее создания восстанавливается из текста. Пунин упоминает о двух номерах «Правды». Между тем, цикл литературных статей Троцкого печатался в пяти номерах газеты — двумя порциями с десятидневным перерывом: 17 и 19 сентября 1922 г. (№ 209, 210) и 1, 3, 5 октября (№ 221, 222 и 224). Ко второй серии редакция присоветовала уведомление о том, что очерки Троцкого являются главами из его новой книги, готовящейся к печати (*ЛИТЕРАТУРА И РЕВОЛЮЦИЯ*. Изд. «Красная Новь», Главполитпросвет, М., 1923). Эта серия была значительно больше по объему: в каждом номере газеты под нее отводился подвал на развороте второй и третьей полос. Автор разбирал творчество А.Белого и А.Блока, «литературных попутчиков» (Б.Пильняка и Вс.Иванова), крестьянских поэтов (Н.Клюева и С.Есенина) и т.д. Что же касается первых двух статей, то они шли без всякого редакционного примечания и могли восприниматься, как самостоятельная работа, чрезвычайно резкая по тону и посвященная творчеству «внешних и внутренних эмигрантов». Хотя статья, по-видимому, не носила директивного характера, публикация ее всего лишь через две недели после Указа о высылке из страны «наиболее активных контр-революционных элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов» — вряд ли была случайностью, и интеллигенция восприняла ее, как дополнительное предупреждение. Именно на него и отвечал Н.Н. Пунин в последних числах сентября 1922 г.

Поскольку автор постоянно ссылается на текст Троцкого, мы также приводим его (по книжной публикации). Он представляет и самостоятельный интерес, особенно в свете последующего опыта русской культуры и современных попыток его переосмысления.

В.А.

\*\*

В двух номерах «Правды» напечатан фельетон Л.Троцкого «Внеоктябрьская литература». Известно, что фельетон внес некоторое оживление в наши литературные и нелитературные круги. По своему характеру оживление это, однако, преимущественно бытового характера, отчасти злободневное и меньше всего оно «литературное». Самое поражающее в событии было то, что фельетон о литературе написан Л.Троцким. Но именно потому, что Л.Троцкий, а не кто-либо другой, вложил в него известную долю своего темперамента, удар, который Троцкий хотел и должен был нанести русской литературе, будет особенно бесплоден. Не оттого, разумеется, что Троцкий профессиональный политический деятель, а не профессиональный литературный критик, не потому также, что Троцкий, имея достаточные основания считаться победоносным вождем Красной армии, не имеет никаких оснований претендовать на руководство художественной культурой, а только оттого, что удар, который Троцкий хотел нанести, был намечен таким негодным, можно сказать «доисторическим» орудием, каких уже почти не осталось ни в одном литературном арсенале, так что даже лучший литературный темперамент оказался бы с ним бессильным, как бессилена ушат воды в городе, где пожар.

---

Л.Троцкий

#### ВНЕ-ОКТЯБРЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Отгородившиеся. — Неистовствующие. — «Островитяне». — Пенкосниматели.  
— «Присоединившиеся». — Мистицизм и канонизация Розанова.

Октябрьская революция опрокинула не правительство Керенского, а целый общественный режим, основанный на буржуазной собственности. Этот режим имел свою культуру и свою официальную литературу. Крушение режима не могло не стать — и стало — крушением до-октябрьской литературы.

Певчая птица поэзии, как и сова, птица мудрости, дает о себе знать только по закате солнца. Днем творятся дела, а в сумерки чувство и разум начинают отдавать себе отчет в совершенном. Идеалисты, и в том числе глуховатые и слеповатые последыши их, русские субъективисты, думали, что мир движется сознанием, критической мыслью, иначе сказать: что прогрессом заведует интеллигенция. На самом же деле во всей прошлой истории сознание только ковыляло за фактом, а ретроградное тупоумие профессиональной интеллигенции после опыта русской революции не нуждается в доказательствах. С полной ясностью этот закон наблюдается, как сказано, и в области искусства. Традиционное приравнение поэтов к пророкам может быть принято в том разе смысле, что поэты отражают эпоху с таким же примерно запозданием, как и пророки. Если бывает, что иные пророки и поэты «опережают свое время», то это значит лишь, что они дали выражение известным потребностям общественного развития не с таким запозданием, как прочие их коллеги.

То именно обстоятельство, что фельетон не вызвал никаких литературных волнений, а дал только материал для бесконечных и беспечных острот, тем более отвратительных, чем глубже кризис нашего творческого художественного сознания, — достаточно реальное доказательство того, что удар был сделан мимо. Троцкий со всей несомненностью своей «социальной правды», во всеоружии своего боевого сарказма легким и стремительным «аллюром» проскакал где-то очень далеко от места боя, где вот уже не первый год идет борьба не только за новую литературу, но и за новую культуру, новую «с ног до головы». Странно при этом то, что у Троцкого (после пятилетнего опыта Наркомпроса) нет никакого, ну хоть не знания, — чувства, из каких элементов складывается эта культура и в каком плане она может развиваться и стать тем, чем она должна стать (после Октября) — чего так нетерпеливо хочется Троцкому, хотя он и не знает того, чего хочет.

---

Для того, чтобы по русской литературе конца прошлого — начала нынешнего столетия прошла предрассветная дрожь революционного «предчувствия», нужно было, чтобы история произвела в течение предшествовавших десятилетий глубочайшие изменения в хозяйственном фундаменте страны, в социальных группировках и в чувствах широких народных масс. Чтобы литературную авансцену заняли индивидуалисты, мистики и эпилептики — нужно было, чтобы революция 1905 года разбилась о свои внутренние противоречия, Дурново разгромил рабочих в декабре, Столыпин разогнал две Думы и создал третью. Райская птица Сирий поет после солнечного заката, тогда же, когда вылетает вещая сова. Целое поколение русской интеллигенции сложилось (или развратилось) на заполняющей межреволюционный промежуток (1907-1917) социальной попытке примирения между монархией, дворянством и буржуазией. Социальная обусловленность не значит непременно сознательная заинтересованность. Но интеллигенция и содержащий ее господствующий класс — сообщающиеся сосуды: закон равенства уровней применим и здесь. Старое интеллигентское радикальство и отщепенство, находившие в период русско-японской войны свое выражение в сплошь пораженческих настроениях интеллигенции, быстро исчезали под звездой 3-го июня. Пользуясь метафизическими и поэтическими притираниями чуть не всех веков и народов и прибегнув к помощи отцов церкви, интеллигенция все откровеннее «самоопределялась», возвещая свою самоценность безотносительно к «народу». Крикливость этого естественного процесса обуржуазиванья являлась своего рода мезью за огорчения, которые доставил ей народ в 1905 г. своим упорством и непочтительностью. Тот, например, факт, что Леонид Андреев — наиболее громкая, если не наиболее глубокая художественная фигура межреволюционной эпохи — закончил орбиту свою в органе Протопопова-Амфитеатрова, является символическим в своем роде указанием на социальные источники андреевского символизма. Тут уже социальная обусловленность переходила в откровенную заинтересованность. Под эпидермой изысканнейшего индивидуализма, неспешных мистических поисков, учтивой вселенской тоски отлагался жирок буржуазного примирения, и это сразу сказалось пошлейшими патристическими виршами, когда «органическое» развитие третьейиюньского режима сотряслось катастрофой мировой свалки.

Испытание войны оказалось, однако, непосильным не только для третьейиюньской поэзии, но и для ее социальной основы: военное крушение режима надломил

Легко, конечно, повторить и повторять за многими теоретиками марксизма, что искусства и культура «складываются на некотором социальном базисе», «факте», как говорит Троцкий, но ведь это еще ничего не говорит о самой культуре, о ее строении, о, опять-таки, элементах, из которых она складывается. Какой-нибудь Руанский собор, конечно, памятник клерикального зодчества; но не разрушила же, однако, советская власть ни Зимнего дворца, ни Святой Софии Новгородской, ни даже Успенского собора, и я думаю, Троцкий не особенно против этого протестует, а скорей наоборот, может быть, где-нибудь, когда-нибудь даже возмущался «на футуристов», предлагавших такое разрушение, последовательное, если поверхностно применить формулу марксизма. Значит, в памятниках этих есть что-то и сверхклерикальное, нужное и Октябрьской революции и даже пролетариату, согласно многочисленным заявлениям Наркомпроса. Что же это та-

---

позвоночник междуреволюционному поколению интеллигенции. Леонид Андреев, чувствуя, как из-под ног исчезает казавшаяся столь устойчивой кочка, на которую опирался куполок его славы, с визгом, хрипом и пеной размахивал руками, пытаясь что-то спасти, что-то отстоять...

Несмотря на урок 1905 г., интеллигенция все еще таила в душе надежду восстановить свою духовную и политическую гегемонию над массами. Война укрепила ее в этих иллюзиях. Патриотическая идеология была тем психологическим цементом, которого, конечно, не могло дать «новое религиозное сознание», золотушное со дня рождения, и которого даже не стремился дать туманный символизм. Выросшая из войны и ее непосредственно замкнувшая демократическая революция дала сильнейший толчок — но уже на самый короткий срок — возрождению интеллигентского мессианизма. Март — последняя историческая вспышка. Догоравший фитиль зачалдил керенщиной...

Затем Октябрь, вежа, далеко выходящая из истории интеллигенции, но в то же время попутно отмечающая ее невозвратный провал. Но как раз в провале, придавленная к земле всеми грехами прошлого, она буйно забредила его величием. Мир опрокинулся в ее сознании окончательно: она — прирожденный представитель народа; у нее в руках рецептурная книга истории. Большевики орудут китайским опшумом и латышским сапогом; держаться долго против народа нельзя... Новогодние тосты на тему: «через год в Москве». Злое поглупение, маразм! Но не замедлило обнаружиться: против народа править действительно нельзя, а вот против эмигрантской интеллигенции можно, и даже с успехом, и при том совершенно независимо от того, о какой эмиграции идет речь — о внешней или внутренней.

Предреволюционная зыбь начала столетия, первая революция, не давшая победы, напряженное, но неустойчивое равновесие контр-революции, извержение войны, мартовский пролог, октябрьская драма — все это тяжело и часто, как таран, било по интеллигентскому сознанию. Где тут было ассимилировать факты, превращать их в образы и находить для образов выражение в слове? Мы получили, правда, «Двенадцать» Блока и несколько произведений Маяковского. Это кое-что, намек, скромный задаток, но не уплата по счетам истории, даже не начало уплаты. Искусство обнаружило — как всегда в начале большой эпохи — ужасающую беспомощность. Невостребованные к священной жертве поэты оказались, как и полагается, ничтожней всех детей ничтожных мира. Символисты, парнасцы, акмеисты,

кое? Обаяние давних традиций? Бессознательное «пенкоснима-тельство» с мировой уже культуры? Или с мировой можно, а вот с культуры конца XIX в. нельзя? Может быть, и пролетариат тоже в роли «присоединившихся»: принимать не принимаю, но и разрушать не хочу. Или, как и Розанов, на всякий случай, перед смертью — в Успенский собор к православно-протестантскому патриарху? И откуда вообще такая забота о Боге и такая ревность к «хлопотливым поручениям» Ахматовой и Цветаевой? Ведь идея Бога есть сознание, а сознанию предшествует «факт», и без «факта» оно «немыслимо»; «факт» исчез, уничтожен; так стоит ли еще тратить энергию на борьбу с обреченным на смерть сознанием? Или, может быть, вдруг против всех теорий и формул «сознание» родит «факт»? Этого боится Троцкий?

Думаю, не только думаю, хочу и требую, чтобы не этого. И полагаю, что для т.Троцкого ясно, почему я этого хочу и поче-

---

которые проносились над социальными интересами и страстями не иначе, как бы на облаке, отыскились в екатеринодарском Осваге или в штате дефензивы маршала Пилсудского. В стихах и прозе высокого врагелевского напряжения они предавали нас анафеме.

Более чуткие, а отчасти и более осторожные — замолкли. Мариетта Шагиния интересно рассказывает, как она в первые месяцы революции подвизалась на Дону в качестве инструктора по ткацкому делу. Понадобилось не только отойти от письменного стола к ткацкому станку, но и от себя отойти, чтобы не потерять себя окончательно. Другие нырнули в пролеткульты, политпросветы, музеи, и молчком отсиживались от самых трагических и грозных событий, какие когда-либо переживала земля. Годы революции стали годами почти полного поэтического безмолвия. И виноват в этом вовсе не Главбум. Ибо что не было напечатано тогда, могло бы быть напечатано теперь. И не непременно за революцию, но хотя бы и против нее. Заграничную литературу мы знаем: круглый нуль. Но и наша не дала еще ничего, что было бы адекватно эпохе.

••

Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще ее не касается. Но как-то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе, сортировать и тасовать ее, — и вовсе не только в административном, а еще в каком-то более глубоком смысле. Значительная часть старой литературы оказалась, и не случайно, за рубежом, — и вот случилось так, что именно в литературном-то отношении эта часть и вышла в тираж. Существует ли Бунин? О Мережковском нельзя сказать, что его не стало, потому что его по существу никогда и не было. Или Куприн? Или Бальмонт? Или сам Чириков? Или может быть «Жар Птица», «Сполохи» и прочие издания, наиболее примечательной литературной чертой коих является сохранение твердого знака и буквы ять? Все это сплошь упражнения в книге жалоб на берлинской станции: очень долго не подают лошадей на Москву, и пассажиры выражаются. В провинциальнейших «Сполохах» художественное творчество представлено Немировичем-Данченко, Амфитеатровым, Чириковым, Первухиным и другими штатными покойниками, впрочем едва ли когда серьезно рождавшимися. Некоторые, довольно впрочем невинные признаки жизни обнаруживает Алексей Толстой. Но

му имею право этого требовать. Так что же все это значит, почему, в самом деле, одни памятники искусства, явно внеоктябрьские, приемлются, другие нет. Пушкин, несмотря на всю очевидность в его творчестве дворянско-помещичьих традиций, распространяется через Госиздат, а Ахматова, при достаточном, и по мнению Троицкого, даровании, вне Октября?..

Какая разница и в чем? На этот вопрос Троицкий не дает общего и исчерпывающего ответа, но, касаясь характеристики отдельных литературных группировок, пытается в каждом отдельном случае обосновать «внеоктябрьское состояние» либо целых литературных течений, либо наиболее, по мнению Троицкого, видных представителей нашей литературы.

Я не могу разбирать весь фельетон Троицкого, положение за положением. Мне только, — и лишь постольку, поскольку это в интересах русской революции, — важно показать, почему именно

---

за это-то он и отлучен от круговой поруки хранителей твердого знака и прочих отставной, с позволения сказать, козы барабанщиков.

Маленький практический урок социологии на тему о том, что нельзя обмануть историю! Ну, хорошо, насилие: земли отняли, фабрики отняли, банковские вклады отобрали, сейфы вскрыли, — а таланты, а идеи? Ведь эти-то невесомые ценности были вывезены за границу в угрожающем для русской «культуры» и особенно ее достоянейшего псаломщика, М.Горького, размере. Почему же из всего этого ничего не произошло? Почему это эмиграция не может назвать ни одного имени, ни одной книги, на которых стоило бы остановиться? Потому что нельзя обмануть историю и подлинную (не псаломщицкую) культуру. Октябрь вошел в судьбы русского народа, как решающее событие, и всему придал свой смысл и свою оценку. Прошлое сразу отошло, поблекло и обвисло, и художественно оживить его можно только ретроспекцией от того же Октября. Кто вне октябрьских перспектив, тот опустошен, насквозь и безнадежно. Оттого-то такими свистами ходят мудрецы и поэты, которые с этим «не согласны» или которых это «не касается». Им просто-напросто нечего сказать. По этой, а не по иной причине эмигрантской литературы не существует. А на нет и суда нет.

В трупном разложении эмиграции довершился некий полированный тип повзвистывающего циника. Все течения и направления вошли к нему в кровь, как дурная болезнь, которая иммунизировала его от всякой дальнейшей идейной заразы. Совсем законченно представлен этот тип не стесняющимся г.Ветлугиным. Может быть кто-нибудь и знает, с чего он начал. Но это не существенно. Его книжки («Третья Россия», «Герои») свидетельствуют о том, что автор читал, видел и слышал разное и всякое и умеет водить по бумаге пером (*manier la plume*). Он начинает свою книжку почти что с элегии по погибшим тончайшим интеллигентским душам, а кончает одой вороватому мешочнику, какой явится, видите ли, хозяином будущей «Третьей России». И это уже будет настоящая Россия, на страже частной собственности, без поз, но зато богатеющая, беспощадная в жадности. Ветлугин, который был с белыми и отверг их, когда они провалились, предусмотрительно выдвигал свою кандидатуру в идеологи мешочнической России. В смысле определения собственного призвания это было метко. Только вот насчет третьей России... Так или иначе, но в четком стиле безошибочно слышится — увы — червонный валет. Первая книжка писалась приблизительно в эпоху кронштадтских событий (1921 г.),



удар Троцкого вовсе не удар; для этого же достаточно двух-трех примеров из произведенного им анализа современных литературных течений.

Оценивая значение «Цеха поэтов» и относя их к «внеоктябрьской литературе», Троцкий мотивирует это так: «Оттого, что они не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужою кровью созданных культур». Это значит, что «Цех поэтов» не имел ни в настоящем, ни в прошлом своей социальной базы, или, по терминологии Троцкого, «факта». Верно: «Цех поэтов» действительно его не имеет, но беда-то в том, что «Цех поэтов» вообще ничего не имеет; что он вообще никакое литературное течение; что и культуры в нем никакой нет и что стихосложение-то у них до крайности слабое и неуверенное; был Гумилев — был еще «Цех», а теперь только при самых ложных, чтобы не сказать резче, перспективах

---

и Ветлугин считал, что с Советской Россией покончено. Прошло небольшое число месяцев, расчеты не оправдались, и Ветлугин, если не ошибаемся, обретается ныне в сменовеховцах. Но это все равно; он радикально защищен цинизмом от идейных шатаний, даже от ренегатства. Прибавим еще, что попутно Ветлугин пишет маргариновый роман с наводящим на размышления заглавием: «Записки мерзавца»... И таких не мало. Ветлугин лишь поярче. Они лгут даже бескорыстно, просто оттого, что утратили интерес различать правду от лжи. Может быть они-то и являются подлинным отстоем второй России, которая дожидается третьей.

Полочкой повыше, но и побледнее будет г.Алданов. Он кадетистее и, стало быть, фарисеистее. Алданов принадлежит к тем будто бы умудренным, которые усвоили себе тон высшего скептицизма (не цинизма, о нет!). Отвергая прогресс, эти люди готовы принять ребяческую теорию Вико о повторении исторического круговорота. Нет вообще более суеверных людей, чем скептики. Алдановы не мистики в полном смысле слова, т.е. не имеют своей позитивной мифологии, но политический скептицизм создает для них повод рассматривать все политические явления под углом зрения вечности; это способствует особому стилю, с благороднейшей картавостью. Алдановы почти что всерьез принимают свое величайшее превосходство над революционерами вообще, коммунистами в особенности. Им кажется, что мы не понимаем того, что они понимают; революция представляется им результатом того, что не вся интеллигенция прошла ту школу политического скептицизма и литературного стиля, которые составляют духовный капитал Алдановых.

На эмигрантском досуге они пересчитали формальные и фактические противоречия в заявлениях советских деятелей (а мыслимо ли без противоречий?), неправильно построенные фразы в передовицах «Правды» (а таких фраз, надо признаться, не мало), — и в результате слово глупость (наша) в противопоставлении уму (ихнему) так и пестрит на написанных ими страницах. Правда, историю они проморгали, ничего не предвидели, власть утеряли, с нею и капиталы, но это объясняется уже разными причинами и главным образом — *entre nous* — хамским характером русского народа. Но превыше всего Алдановы считают себя стилистами — уже по тому одному, что превозмогли рыхлую фразу Миллюкова и нагло-адвокатскую — Гессена. Стиль их, кокетливо-простой, без ударений и характера, как нельзя лучше приспособлен для литературного обихода людей, которым нечего сказать. Самодовлеющая манера разговора, независимо от материи его, эта с в е т с -

может показаться, что в «Цехе» есть дисциплина, или школа, или таланты; ни того, ни другого, ни третьего. Принимать «Цех» всерьез и строить на анализе его боевую статью по русской литературе значит, выражаясь столь близким теперь Троцкому военным языком, принимать демонстрацию за наступление, для Троцкого же, как автора, вероятно, первой статьи по литературе, это означает и гораздо более худшее: плохую осведомленность его о русской литературе. Так решительно я говорю из дружелюбного отношения к тов. Троцкому; если Чуковский или Иванов-Разумник не ориентируются в современном положении русской литературы — не беда, но недопустимо, чтобы в таком положении оказался человек, являющийся центральной фигурой мировых катаклизмов. Ведь каждое слово Троцкого — это удар колокола над половиной земного шара; а что, если, действительно, с легкой руки Троцкого бельгийский или американский пролетариат бу-

---

кость ума и стиля, какой недоставало нашей старой интеллигенции, вырабатывалась уже в межреволюционный период (1907-1914 гг.). А теперь дополнительно кое-что подсмотрели в Европе и пишут книжки: иронизируют, вспоминают, притворяются чуть-чуть зевашими, но из вежливости подавляющими звонок, цитируют на разных языках, делают скептические предсказания и тут же опровергают. Сперва это кажется занятым, потом скучным, под конец омерзительным. Шарлатанство бессильной фразы, книжное фланерство, духовное лакейство!

А лучше всего общие настроения Ветлугиных, Алдановых и прочих в любезной стихотворной форме выразил некий пребывающий в Париже дон-Аминадо:

И кто порукою, что верен идеал?

Что станет человечеству привольно?!

Где мера сущего?! Грядите, генерал!..

На десять лет! И мне, и вам — довольно!

Как видим, испанец не горд. «Грядите, генерал!»

Генералы-то (и даже адмирал) грянули. Вот только разве что не дошли...

♦♦

И по сю сторону границ осталось немалое количество до-октябрьских писателей родственных потусторонним, внутренним эмигрантов революции. До-октябрьский — это у будущего историка культуры будет звучать так же тяжело, как у нас «средневековый» в противовес новой истории. Октябрь совершенно всерьез показался большинству принципиальных сторонников до-октябрьской культуры нашествием гуннов, от которых нужно уходить в катакомбы с так называемыми «светильниками знания и веры». Однако, эти укрывшиеся и отгородившиеся нового слова не сказали. Правда, «до-октябрьская» или «вне-октябрьская» литература в России значительнее эмигрантской. Но и она сплошь эпигонственна, поражена бледной немощью.

Сколько вышло за этот год стихотворных сборников, — на многих из них звучные имена, на мелких страничках короткие строки, и каждая из них не плоха, и они связаны в стихотворение, где немало искусства и есть даже отголосок когда-тошнего чувства, — а все вместе сегодняшнему, по-октябрьскому человеку совершенно и целиком не нужно, как стеклярус — солдату на походе. Как бы увенчанием этой отрешенной литературы, этого тупика вышедших в тираж мыслей и чувств

дет судить о русской литературе по «Цеху поэтов»? Неужели Троцкий не знает силы ответственности, которая ложится на него? Или он думает, что для того, чтобы побеждать армии, — знать нужно, а чтобы овладеть искусством, — можно ограничиться легкой разведкой по случайным сборникам безответственных издателей? Ведь это не случайно, что он обмолвился так о «Цехе» — достаточно просто выписать имена тех, кого он называет, чтобы понять, что в литературном сознании Троцкого — хаос, что в его вкусах и его сентенциях архибуржуазный субъективизм, что здесь нет не только художественного мировоззрения, нет просто даже продуманной системы. Повторяю, это можно простить многим, даже людям с литературным стажем, но этого нельзя простить тому, кого мы привыкли считать «большим человеком», ну, просто ответственным человеком...

Я не хотел бы впрочем быть ложно понятым. Обвиняя Троц-

---

является плотный, прекрасно изданный сборник «Стрелец», где стихи, статьи и письма Сологуба, Розанова, Беленсона, Кузмина, Голлербаха и других напечатаны в количестве трехсот нумерованных экземпляров. Роман из римской жизни, письма об эротическом культе быка Аписа, статья о Софии земной и горней — триста нумерованных книг, — какая безнадежность, какое умирание! Лучше бы проклинали и неистовали: все-таки похоже на жизнь.

«И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святых». (З. Гиппиус, «Последние стихи. 1914-18 г.»). Это, конечно, не поэзия, но зато какая натуральная публицистика! Стремление декадентски-мистической поэтессы овладеть палкой (в ямбах-с!) — какой неподражаемый кусочек жизни. Когда Гиппиус грозит «народу» своими хлыстами «на века», то тут, конечно, преувеличение, если понимать в том смысле, что проклятия Гиппиус будут в течение столетий потрясать сердца, — но сквозь это вполне извинительное по обстоятельствам преувеличение вы ясно видите натуру: столь томную вчера еще питерскую барыню, столь украшенную талантами, столь либеральную, столь современную, — и вот, и вдруг эта преисполненная собственными утонченностями барыня увидала черную, вопиющую неблагодарность со стороны черни «в гвоздевых сапогах» и оскорбленная в самом своем святом в неистовый бабий визг (хотя и в ямбах) превращает свое бессильное остервенение. И впрямь: если не потрясать, то заинтересовать будет этот визг, и, пожалуй, через сотню лет историк русской революции укажет пальцем, как гвоздевый сапог наступил на лирический мизинчик питерской барыни, которая немедленно же показала, какая под декадентски-мистически-эротически-христианнейшей оболочкой скрывается натуральная собственническая ведьма. И вот этой натуральной ведьмистостью стихи Зинаиды Гиппиус возвышаются над другими, более совершенными, но «нейтральными», то есть мертвыми.

Когда среди таких столь ныне многочисленных «нейтральных» книжечек и книжонок падает «Двор чудес» Ирины Одоевцевой, то вы уже почти готовы примириться с неправдой этой модернизированной романтики саламандр, рыцарей, летучих мышей и умершей луны во имя двух-трех пьес, отражающих жестокий советский быт. Тут баллада об извозчике, которого насмерть загнал вместе с его лошастью комиссар Зон, рассказ о солдате, который продавал соль с толченым стеклом, и наконец баллада о том, почему испортился в Петрограде водопровод. Узор комнатный, такой, который должен очень нравиться кузену Жоржу и тете Ане. Но

кого в субъективном подходе к русской литературе, или, как я уже сказал, в плохой осведомленности его о русской литературе, я не кладу всей вины за это на него, Троицкого. Здесь есть причина более общая, более глубокая, подводящая нас к ответу на все те недоуменные вопросы, которые связаны, с одной стороны, с утверждением каких-то памятников искусства, по существу своему внеоктябрьских (Пушкин), с другой — с отрицанием качественно им подобных (Ахматова). В самом деле, ведь Ахматова, и по Троицкому, как будто не эпигон, да и нам она представляется наиболее оригинальным поэтом одного из предшествующих нам поколений. Так в чем же дело?

А вот в чем. Троицкий пишет: «Лирический круг Ахматовой, Цветаевой, Радловой и иных действительных и приблизительных поэтесс, очень мал. Он охватывает самое поэтессу, неизвестного

---

все же есть хоть махонькое отражение жизни, а не просто запоздалый отголосок давно пропетых перепевов, занесенных во все энциклопедические словари. И мы готовы на минуту присоединиться к кузену Жоржу: Очень, очень милые стихи. Продолжайте, mademoiselle!

Речь идет не только о переживших Октябрь «стариках». Есть группа внеоктябрьских молодых беллетристов и поэтов. Не уверен в точности, насколько эти молодые молодцы, но в предреволюционную и предвоенную эпоху они во всяком случае либо были начинающими, либо вовсе еще не начинали. Пишут они рассказы, повести, стихи, в которых с известным не очень индивидуальным мастерством изображают то, что полагалось не так давно, чтобы получить признание в тех пределах, в каких полагалось. Революция растоптала их надежды («гвоздевый сапог!»). По мере сил они притворяются, что ничего такого в сущности не было, и выражают это свое подлибленное высокомерие в не очень индивидуальных стихах и в прозе. Только время от времени они отводят душу показыванием небольшого и нетемперamentного кукиша в кармане.

Для всей этой группы мэтром является Замятин, художник-«Островитянин». Дело у него идет собственно об англичанах. Замятин знает их и изображает в ряде очерков, неплохо, но в конце концов довольно внешне, как наблюдательный, даровитый и не очень к себе требовательный иностранец. Но под той же обложкой у него очерки о русских островитянах, об интеллигентах, которые живут на острове в чуждом и враждебном им океане советской действительности. В этих своих очерках Замятин потоньше, но не глубже. В конце концов автор сам островной человек и притом с маленького островка, куда он эмигрировал из нынешней России. И пишет ли Замятин о русских в Лондоне, или об англичанах в Петрограде, сам он остается несомненным внутренним эмигрантом. По своему подтянутому стилю, в котором выражается особое писательское джентльменство (на границе снобизма), Замятин как бы создан для учительствования в кружках молодых, просвещенных и бесплодных островитян.

Несомненнейшими островитянами является группа Художественного Театра. Они не знают, куда девать свою высокую технику и себя самих. То, что совершается вокруг, им враждебно и уж во всяком случае чуждо. Подумать только: люди до сих пор живут в настроениях чеховского театра. «Три сестры» и «Дядя Ваня» в 1922 г.! Чтоб переждать ненастье — не может ненастье длиться долго, — они ставили «Дочь мадам Анго», которая помимо прочего давала возможность чуть-чуть

в котелке или со шпорами и непременно бога — без особых примет». В сущности этим аргументом и исчерпываются доказательства Троицкого в отношении «внеоктябрьского состояния» поэзии Ахматовой (говорю об Ахматовой, полагая, что из названных ей одной принадлежит эпитет «действительных»). Ну, а что если бы лирический круг Ахматовой охватывал самую поэтессу, неизвестного в кожаной куртке или с красноармейской звездой и какого-нибудь бога — с приметам, например, религиозного сознания Луначарского, была бы тогда Ахматова в «октябрьском состоянии» или не была?

Боюсь, что была бы.

И это страшно; не смешно и не глупо, как, вероятно, думают многие, а страшно. Значит, вся суть столь всеми нами ожидаемого «октябрьского» переворота в искусстве будет заключаться

---

пофрондировать против революционных властей... Теперь они показывают близи- рованным европейцам и все оплачивающим американцам, какой прекрасной был у старой помещицы России вишневый сад, и какие были тонкие и томные театры. Благородная, вымирающая каста ювелирного театра... Не сюда ли относится и даровитейшая Ахматова?

В «Цехе поэтов» собрались отменно просвещенные слагатели стихов, которые знают географию, отличают рококо от готики, объясняются на французском языке и в высшей степени привержены к культуре. Они считают — и вполне основательно, — что «наша культура есть еще младенческий, слабый лепет» (Георгий Адамович). Внешней полировкой их не подкупишь: «лоск не может заменить настоящей культуры» (Георгий Иванов). Вкус их достаточно точен, чтобы почувствовать, что Оскар Уайльд все-таки сноб, а не поэт, в чем нельзя с ними не согласиться. Они презирают тех, кто не ценит «школы, т.е. дисциплины, знания, стремления вперед», — а такой грех нам не чужд. Они прорабатывают свои стихи очень тщательно. Некоторым из них, например, Оцупу, даже дан талант. Оцуп — поэт воспоминаний, сновидений и страхов. Он на каждом шагу проваливается в прошлое. «Счастье жизни» отворяет ему только память. «Я даже место нахожу свое — поэта-зрителя и мешаннина, спасающего свой живот от смерти», — говорит он с ласковой иронией над собою. Но и страх его никак не истерический, а почти что уравновешенный, страх владеющего собой европейца, и, что прямо-таки утешительно — без мистических подергиваний, вполне культурный страх. Но отчего же пустоцветом прорастает их поэзия? Оттого, что они не творцы жизни, не участники в создании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужою кровью созданных культур. Они — образованные и даже изысканные имитаторы, начитанные, даже одаренные звукоподражатели — и не более того.

В свое время дворянин Версилов, под маской гражданина цивилизованного мира, был просвещеннейшим бюлдолизом чужой культуры. У него был взращенный в нескольких дворянских поколениях вкус. В Европе он чувствовал себя почти как дома. Со снисходительным или злым презрением глядел он на радикального семинариста, который «категорал» по Писареву, французские слова произносил с акцентом проsvирни, а насчет манер... но о манерах уж лучше и не говорить. И тем не менее, этот семинарист шестидесятых годов и его продолжатель-семидесятник были строителями русской культуры, — к тому времени, когда Версилов уже окончательно определился как бесплоднейший пенкосниматель.

в том, что кто-то другой войдет в лирический круг. Значит, достаточно перевести стрелку своего «творчества» на «какие-нибудь советские объекты» и вот — новая литература?.. Поскольку я могу говорить о пролетариате, такой дешевой и жалкой победы он, вероятно, не хочет и никогда не захочет. Не хочет ее, видимо, и Троцкий. Он не сделал последнего вывода, ведь его сделал я, как бы в инерции мысли Троцкого, он только близко подошел к этому; скорее бы мимо и чтобы никогда больше не возвращаться к этому роковому месту русской культуры... Сам же Троцкий пишет, что зарисовывать портреты членов Коминтерна еще мало, что это еще не Октябрьская революция в искусстве, и портреты эти, нарисованные «буржуазным» художником, все равно непохожи. Только Троцкий думает, что непохожи они от малого

---

Русское кадетство, запоздалый буржуазный либерализм начала XX века, наконец проникнуто уважением и даже «благоговением» к культуре, к ее устойчивым основам, к ее стилю, к ее «аромату», — а в балансе — круглый нуль. Смерть ретроспективно то искреннейшее презрение, с каким кадеты со своих профессорско-адвокатско-писательско-культурных высот относились к большевизму, и сравните с тем презрением, какое история обнаружила к кадетству. В чем же дело? Да в том, что, как и у Версилова, только в переводе на буржуазно-профессорский язык, кадетская культурность оказалась всего-навсего запоздалым отражением чужих культур в поверхностной пленке русской общественности. Либерализм означал в истории Запада могущественное движение против небесных и земных авторитетов и в неистовствах революционной борьбы повышал материальную культуру и культуру духа. Франция, какую мы ее знаем со стороны ее бытовой культурности, законченных форм обходительности, этой в кровь народных масс всосавшейся вежливости, вышла такою из жаровни нескольких революций. Вот этот же «варварский» процесс сдвигов, потрясений, катастроф отложился и в нынешнем французском языке, с его сильными сторонами и слабостями, точностью и негибкостью, — и в стилях французского искусства. Чтобы снова сообщить гибкость и ковкость французскому языку, нужна — скажем мимоходом — новая большая революция (не в языке, а в обществе), и то же самое нужно, чтобы поднять французское искусство, столь консервативное при всех своих новшествах, на иную, высшую ступень.

Кадетство же наше, запоздалая имитация либерализма, пыталось снять с истории задаром пенку парламентаризма, культурной обходительности, уравновешенного искусства (на твердой базе прибыли и ренты). Подсмотреть европейские стили, индивидуально или в кружковом порядке, продумать их и даже в себя вобрать, чтобы затем в любом из этих стилей обнаружить, что сказать-то собственно и нечего, на такое хватает и Адамовича, и Ирещкого, и многих иных. Но ведь это не творчество культуры, а только пенкоснимательство.

Когда некий кадетский эстет, совершив большое путешествие в теплушке, потом об этом сквозь зубы рассказывал: как он, образованнейший европеец, с самыми лучшими вставными зубами и дотошным знанием балетной техники у египтян, был доведен хамской революцией до необходимости путешествовать со швыряемыми мешочниками, — то у вас к горлу подвинчивало чувство физического отвращения к вставным зубам, балетной эстетике, вообще ко всей этой накраденной по европейским прилавкам культурности, и возникало твердое убеждение, что самая послед-

проникновения художника в натуру, от неспособности его понять этих новых людей. Т.е. он видит причину несходства в количестве; но, смею утешить Троцкого, дело здесь не в количестве, а в качестве; художник, которого имеет в виду Троцкий, так же плохо пишет своих буржуазных собратьев, как и вождей пролетариата; и делает это по совершенно очевидной и простой причине, — потому что он вообще плохой художник... К сожалению, есть и такая категория людей! А что его все-таки пригласили писать, так этому т. Троцкий не должен удивляться, ибо те, которые его приглашали, склонны к той же ошибке, что и сам Троцкий: у них не было и нет чутя к качеству, и поэтому они склонны объяснять то, что им непонятно, «количеством»; в нашей профессиональной терминологии ошибка эта определяется, как стремле-

---

няя по счету вошь самого оголтелого мешочника в механике истории значительно и, так сказать, необходимее этого насквозь прокультуренного и по всем радиусам бесплодного себялюбца.

В довоенную эпоху, т.е. прежде, чем культурные пенкосниматели встали на четвереньки и патристически завалили, у нас стал вырабатываться газетный стиль. Правда, Милоков все еще пространно мямлил и вавилонил профессорско-думские передовицы, а его соредaktor Гессен сервировал самые лучшие образцы бракоразводного процесса. Но, в общем, отучались все-таки от традиционной отечественной разяпанности на почтенном постном масле «Русских Ведомостей». Этот маленький газетно-стилистический прогресс под Европу (оплаченный, к слову сказать, кровью 1905 г., от коей пошли партии и Дума), как бы бесследно утонул в волнах революции 1917 г. Зарубежные ныне кадеты, бракоразводные и иные, с величайшим злорадством указывают на литературную слабость советской печати. И действительно, пишем мы, в общем, плоховато, бесстыльно, подражательно, даже под «Русские Ведомости». Стало быть, регресс? Нет, только переход от пенкоснимательской подделки прогресса, от наемно-адвокатской дешевки, к величайшей культурной продвигке вперед целого народа, который — дайте чуть-чуть сродку! — создаст себе свой стиль и для газет и для всего другого...

И еще об одной категории: *ralliés*. Это термин из французской политики и означает *p r i с о е д и н и в ш и х с я*. Так называли бывших роялистов, примирившихся с республикой. Они отказались от борьбы за короля, даже от надежд на него и лойально перевели свой роялизм на республиканский язык. Вряд ли кто-нибудь из них написал бы Марсельезу, даже если б она не была написана раньше. Сомнительно также, чтоб они с энтузиазмом пели ее строфы против тиранов. Но присоединившиеся живут и даюТ жить другим. Таких *ralliés* немало среди нынешних поэтов, художников, актеров... Они не клеветают, не проклинают, наоборот, приемлют, но так сказать в общих чертах и «не беря на себя ответственности», — где следует, дипломатично молчат или лойально обходят, а в общем претерпевают и принимают, что называется, посильное участие. Это не сменовеховцы собственно — там все же своя идеология, — а просто замиренные обыватели от искусства, зауряд-службисты, иногда не бездарные. Таких *ralliés* мы находим всюду, даже в портретной живописи: пишут «советские» портреты, и пишут иногда большие художники. Опыт, техника, все налицо, только вот портреры непохожи. Почему бы? Потому, что у художника нет внутреннего интереса к тому, кого он пишет, нет духовного сродства, и «изображает» он русского или немецкого большевика, как

ние предпочитать содержание форме, и объясняется недостаточной художественной культурой страны. Мы различаем разные степени склонности к этой ошибке и тем самым — разные степени художественной культуры. Наивысшая отрицательная степень характеризуется тем, что форме предпочитается такое содержание, которое не подымается выше злободневной публицистики. Примером может хорошо служить Михайловский, а также Писарев и многие другие, с нашей точки зрения, типичные «интеллигенты». У Писарева это предпочтение публицистики художественной форме доходило до отрицания Пушкина; в наше время, кажется, это уже невозможно. Госиздат, издавая Пушкина для народа, думается, отчасти и имел в виду сделать писарев-

---

писал в академии графин или брюкву, а пожалуй и того нейтральнее. Имен называть не к чему, ибо это целый слой. Присоединившиеся ни полярной звезды с неба не снимут, ни беззвучного пороха не выдумают. Но они полезны, необходимы, — пойдут навозом под новую культуру. А это вовсе не так мало.



Выхолощенность нынешнего вне-октябрьского искусства очень видна на судьбе интеллигентских религиозных исканий и находок, которые «оплодотворяли» господствовавшее течение дореволюционной литературы, символизм. Несколько слов об этом здесь сказать необходимо.

От материализма и «позитивизма», отчасти даже от марксизма, — через критическую философию (кантианство) — интеллигенция с начала столетия передвигалась к мистицизму. В межреволюционные годы «новое религиозное сознание» мигало и чадило многими подслеповатыми огнями. Между тем сейчас, когда сдвинулась серьезно с места глыба официального православия, комнатные мистики, чудившие каждый на свой лад, поджали хвосты: эти масштабы не по ним. Без содействия салонных пророков и журнальных святош из бывших марксистов, наоборот, при сильном их противодействии, волны революционного прибой докатились до стен русской церкви, которая не знала реформации. Она оборонялась от истории жесткой неподвижностью форм, автоматической обрядностью и государственной силой. Сама она пред царским государством склонялась ниже — и почти неизменно продержалась на несколько лет дольше своего самодержавного союзника и покровителя. Но очередь дошла и до нее. Обновленческое, сменовеховское направление в церкви есть запоздалая попытка бюрократизированной заранее буржуазной реформации под покровом приспособления к советскому государству. Политическая революция наша совершилась — да и то против воли буржуазии — всего за несколько месяцев до революции рабочего класса. Реформация церкви открылась лишь через четыре года после пролетарского переворота. Если «живая церковь» освящает социальную революцию, то это только в поисках покровительственной окраски.

Пролетарской церкви не может быть. Церковная реформация преследует по существу буржуазные цели: освобождение церкви от средневековой сословной громоздкости, замену мимического ритуала и шаманства более индивидуализированным отношением к небесным чинам, словом, придание религии и церкви большей гибкости и приспособляемости. В первые четыре года церковь ограждала себя от пролетарской революции угрюмым оборонительным консерватизмом. Теперь она переходит на НЭП. Если советский НЭП есть сочетание социалистического хо-



щину действительно невозможной во веки веков. Ту же, по-видимому, цель преследует и Наркомпрос в целом своей не всегда успешной работой. Во всяком случае, тот факт, о котором мы упоминали выше: сохранение вопреки теориям и «футуристам» старых церквей и вообще памятников былого, хотя и внеоктябрьского искусства, говорит о том, что в недрах Наркомпроса есть чутье к «качеству» и стремление предпочесть форму содержанию. Правда, оно почему-то распространяется на неживое искусство, но это уже особенность, ну, скажем, человечества. Т.Троцкий тоже обладает этой «общечеловеческой» особенностью. Нигде никогда не отвергая старой русской литературы только за то, что она не изображает пролетариата и революцию,

---

зйства с капиталистическим, то НЭП церковный есть буржуазная прививка к феодальному стволу. Признание диктатуры трудящихся диктуется, как сказано, законом мимичности.

Но раскачка векового здания церкви началась. Слева — у «живой церкви» есть свое левое крыло — поднимаются более радикальные голоса. Еще левее — радикальные секты. Наивный, только пробуждающийся рационализм взрывает почву для атеистических и материалистических семян. Настала эпоха больших потрясений и обвалов в этом царстве, которое объявляло себя не от мира сего. Где же «новое религиозное сознание»? Где пророки и реформаторы из питерских и московских литературных салонов и кружков? Где антропософия? Ни слуху, ни духу... Бедные мистические гомеопаты чувствуют себя, как выкинутые на льдину комнатные коты в половодье. Похмелье первой революции породило их «новое религиозное сознание», вторая революция растоптала его.

Г.Бердяев, например, все еще обвиняет тех, кто не верит в бога и не заботится о загробной жизни, в буржуазности. Разве не потеха? Недолгое социал-демократическое прошлое оставило в распоряжении этого писателя слово «буржуазность», которым он ныне и отбивается от советского антихриста. Беда-то, однако, в том, что русские рабочие не верят ни в чох, ни в сон, а буржуазия стала сплошь верующей — после того, как лишилась достояния. В том-то и состоит одно из многих неудобств революции, что она до последней степени обнажает социальные корни идеологии. Так «новое религиозное сознание» и сошло на нет, весьма наследив, однако, в литературе. Целое поколение поэтов, принявших революцию 1905 года за ночь Ивана Купалы и ожестжих деликатные крылья на ее костре, ввело небесную иерархию в свои ритмы. К ним примыкала межреволюционная молодежь. Но так как поэты, в силу дурной традиции, и раньше обращались в затруднительных обстоятельствах к нимфам, Пану, Марсу и Венере, то под углом поэтической формы тут совершалась только национализация Олимпа. В конце концов, Марс или святой Егорий — это смотря по тому: хорей или ямб. Но несомненно, что у многих, — крайней мере у некоторых, под этим скрывались свои переживания, — какие? — главным образом испуга. Потом пришла война, которая испуг интеллигенции растворила в общей горячечной тревоге. Затем явилась революция, которая испуг сгустила до паники. Чего ждать? К кому обратиться? К чему притулиться? Кроме святцев, ничего не оставалось. Разбалтывать новорелигиозную жидкость, дистиллированную до войны в бердяевских и иных аптечках, сейчас охотников не много: у кого мистические позывы, тот просто осеняет себя праотческим крестом. Революция стерла и смысла индивидуальную татуировку, вскрыв традиционное, родовое, воспринятое с молоком кормилицы и не разложенное критической мыслью

он опротестовывает кусочки современной, точнее говоря живой литературы по признаку содержания ее «лирического круга». Ему кажется, что этот круг беден и мал, но где мера, которой он его мерил? Разве «дворянское» или «клерикальное» сознание в начале XIX или XVIII в., поскольку дело идет об искусстве, по своему объему больше такого же сознания в наши дни? Почему славить Бога ораторией Баха или миниатюрой Фуке более художественное занятие, чем делать то же самое стихами Ахматовой? Или только потому стал скучен хорей, что Бог, которого он воспевает, умер? Ну, что, если хорей или ямба окажется вообще без Бога и без пролетариата и вообще без всего, что тогда делать с таким искусством? А ведь такое искусство есть, и недаром его не увидел

---

по причине ее слабости и малодушия. В стихах почти безотлучно водворяется Христос. Самой ходкой тканью поэзии — в век машинизированной текстильной индустрии — становится богородицын плат.

С недоумением читаешь большинство наших стихотворных сборников, особенно женских, — вот уж поистине где без бога ни до порога. Лирический круг Ахматовой, Цветаевой, Радловой и иных действительных и приблизительных поэтесс, очень мал. Он охватывает самое поэтессу, неизвестного, в котелке или со шпорами, и непременно бога — без особых примет. Это очень удобное и портативное третье лицо, вполне комнатного воспитания, друг дома, выполняющий время от времени обязанности врача по женским недомоганиям. Как этот не молодой уже персонаж, обремененный личными, нередко весьма хлопотливыми поручениями Ахматовой, Цветаевой и других, умудряется еще в свободные часы заведовать судьбами вселенной — это просто-таки уму непостижимо. Для Шкапской, такой органической, биологической, такой гинекологической (Шкапская — талант неподдельный!), бог — нечто вроде свахи и повитухи, т.е. с атрибутами всемогущей сальпинксы. И если позволена будет нота субъективизма, мы охотно признаем, что этот широкозадый бабий бог, хоть и не очень импозантен, но куда симпатичнее надзвездного парового цыпленка мистической философии.

Как не придти в конце концов к выводу, что нормальная голова образованного филистира есть сорный ящик, куда история попутно сбрасывает шелуху и скорлупу своих одновременных достижений: тут и апокалипсис, и Вольтер, и Дарвин, и псалтырь, и сравнительная филология, и дважды два, и стеариновая свечка. Поглыбшая окрошка, более унизительная, чем пещерное невежество. «Царь природы», который непременно хочет «служить», виляя хвостом, и видит в этом голос «бессмертной души»! А на поверку так называемая душа представляет собою «орган» куда менее совершенный и гармоничный, чем желудок или печень, ибо у «бессмертной» много рудиментарных отростков и слепых мешков, куда набивается походя всякая застарелая дрянь, вызывающая то и дело зуд и духовные нарывы. Иногда они прорываются рифмованными строками; тогда это выдается за индивидуалистическую и мистическую поэзию и печатается аккуратенькими книжками.

Но ни в чем, может быть, не обнаружилось с такой интимной убедительностью опустошение и гниение интеллигентского индивидуализма, как в повальной нынешней канонизации Розанова: «гениальный» философ, и провидец, и поэт, и мимоходом рыцарь духа. А между тем Розанов был заведомой дрянью, трусом, приживальщиком, подлипалой. И это составляло суть его. Даровитость его была в пределах выражения этой сути.

Троцкий; что бы он стал с ним делать, с живым и современным, да только никак не измеряемым ни аршином содержания, ни костылем публицистики. Положение безвыходное, и здесь уже ни темперамент, ни аллюр не помогут. Об этом стоит подумать, об этом должно подумать, и не только одному Троцкому, но всем, кто искренне ищет и хочет послеоктябрьского искусства. Пора, наконец, понять, что одного постулата, беспредельного, как океан, о социальном базисе и «факте» недостаточно для фактической работы по созданию пролетарской художественной культуры; что надо еще *знать* (а не только быть осведомленным) то, как и из каких элементов складывается художественная культура, чтобы по крайней мере иметь критерий, не сбивающий понятия

---

Когда говорят о «гениальности» Розанова, выдвигают главным образом его откровения в области пола. Но попробовал бы кто-нибудь из почитателей свести воедино и систематизировать то, что сказано Розановым на его приспособленном для недомолвок и двусмысленностей языке о влиянии пола на поэзию, религию, государственность, — получилось бы нечто весьма скучное и нимало не новое. Австрийская психо-аналитическая школа (Фрейд, Юнг, Альберт Адлер и др.) внесла неизмеримо больший вклад в вопрос о роли полового момента в формировании личного характера и общественного сознания. Тут по существу дела и сравнивать нельзя. Даже и парадоксальнейшие преувеличения Фрейда куда более значительны и плодотворны, чем размашистые догадки Розанова, который сплошь сбивается на умышленное юродство и прямоту болтовню, твердит зады и врет за двух.

И тем не менее должно признать, что не стыдящиеся славословить Розанова и склоняться перед ним внешние и внутренние эмигранты попадают в точку: в своем духовном приживальстве, в пресмыкательстве своем, в трусости своей Розанов только доводил до крайнего выражения их основные духовные черты, — трусость перед жизнью и трусость перед смертью.

Некий Виктор Ховин — теоретик футуризма, что ли? — удостоверяет, что подлая переметчивость Розанова происходила из сложнейших и тончайших причин: если Розанов, забежав было в революцию (1905), не покидая, впрочем, «Нового Времени», повернул затем вправо, то единственно потому, что испугался обнаруженной им сверхличной банальности; и если добежал до выполнения щеголовитских поручений по ритуалу, и если писал одновременно в «Новом Времени» в правом направлении, а в «Русском Слове», за псевдонимом, — в левом, и если, в качестве сводни, сманивал к Суворину молодых писателей, то единственно опять-таки от сложности и глубины душевной своей организации. Эта глуповатая и слонявая апологетика была бы хоть чуть-чуть убедительнее, если бы Розанов приблизился к революции во время гоений на нее, чтобы затем отшатнуться от нее во время победы. Но вот чего уж с Розановым не бывало и быть не могло. Ходынский катастрофу, как очистительную жертву, он воспевал в эпоху торжествующей победоносщины. Учредительное Собрание и террор, все самое что ни на есть революционное, он принял в октябрьский период 1905 г., когда молодая революция, казалось, уложила правящих на обе лопатки. После 3-го июня (1907) он пел третьи-июньцев. В эпоху бейлисиады доказывал употребление евреями христианской крови. Незадолго до смерти писал со свойственным ему юродским кривлянием о евреях, как о «первой нации в мире», что, конечно, немногим лучше бейлисиады, хоть и с другой стороны. Самое доподлинное в Розанове: перед силой всю жизнь червем вился. Червеобразный человек и писатель: извивающийся, скользкий, лип-

и согласующий работу правой руки с левой. Нельзя также начинать фактическую работу, если не имеется хотя бы доли чувства культуры и чувства ответственности за нее; можно научиться писать стихи и можно узнать, как они делаются, но чувству «качества» ни научиться, ни узнать его нельзя.

Я не знаю, что сложнее, управлять армиями, вести дипломатическую борьбу, восстанавливать промышленность или строить художественную жизнь, но только хорошо знаю, что последнее трудно, очень трудно; и что для такой работы, кроме воли, таланта и смелости, нужно еще глубокое и тяжелое внимание, гораздо более полное напряжения, чем то, какое необходимо было для ориентации в Брестские дни. Обладает ли всем этим т.Троцкий,

---

кий, укорачивается и растягивается по мере нужды — и как червь, противен. Православную церковь Розанов бесцеремонно — разумеется, в своем кругу, — называл навозной кучей. Но обрядности держался (из трусости и на всякий случай), а помирать пришлось, пять раз причащался тоже... на всякий случай. Он и с небом своим двурушничал, как с издателем и читателем.

Розанов продавал себя публично, за монету. И философия его таковская, к этому приспособленная. Точно так же и стиль его: был он поэтом интерьерчика, квартиры со всеми удобствами. Глумясь над учителями и пророками, сам он неизменно учительствовал: главное в жизни — мягонькое, тепленькое, жирненькое, сладенькое. Интеллигенция в последние десятилетия быстро обуржуазивалась и очень тяготела к мягонькому и сладенькому, но в то же время стеснялась Розанова, как подрастающий буржуазный отпрыск стесняется разнузданной кокотки, которая свою науку преподает публично. Но по существу-то Розанов всегда был ихним. А теперь, когда старые перегородки внутри «образованного» общества потеряли всякое значение, равно как и стыдливость, фигура Розанова принимает в их глазах титанические размеры. И они объединяются ныне в культе Розанова: тут и теоретики футуризма (Шкловский, Ховин), и Ремизов, и мечтатели-антропософы, и немечтательный Иосиф Гессен, и бывшие правые, и бывшие левые! «Осанна приживальщику! Он учил нас любить сладкое, а мы бредили буревестником и все потеряли. И вот мы оставлены историей — без сладкого...»

••

Катастрофа, личная, как и общественная, всегда большая проверка, ибо неманно обнаруживает подлинные, а не показные связи, личные и общественные. Именно через Октябрь до-октябрьское искусство, которое стало почти сплошь противо-октябрьским, обнаружило свою неразрывную связь с господствующими классами старой России. Это теперь так наглядно, что даже нет надобности прощупывать руками. В эмиграцию ушел помещик, капиталист, военный и штатский генерал, их адвокат и их поэт. И все они решили, что погибла культура. Конечно, поэт считал себя независимым от буржуа и даже вступал с ним в пререкание. Но когда вопрос оказался поставлен с революционной серьезностью, то поэт сразу обнаружил себя приживальщиком до мозга костей. Этот исторический урок по части «свободного» искусства развернулся параллельно с уроком по части всех других «свобод» демократии, — той самой, которая подметала и подтирала за Юденичем... Искусство новой истории, индивидуальное и профессиональное, — в противоположность старому, народному, коллективному — выросла на избытке и досуге господствующих классов и остается на содержании у них. Элемент содер-

я не знаю: может быть, обладает, тогда и сам он, вероятно, почувствует, как недостаточно обнаружены эти его качества в первом из-под его пера вышедшем литературном фельетоне, почувствует и поймет, что много надо еще работы и на самых верхах, чтобы наша революция, которая до сих пор остается без литературы, нашла бы ее наконец.

---

жанства, почти неощутимый при непотревоженности общественных отношений, грубо выпер наружу, когда топор революции подрубил старые свай.

Психология приживальства и содержанства вовсе не равнозначна покорности, учтивости и почтительности. Наоборот, она предполагает весьма резкие сцены, взрывы, расхождения, угрозы полным разрывом — но только угрозы. Фома Фомич Опискин, классический тип старого дворянского приживальщика «с психологией», почти всегда находился в состоянии домашнего восстания. Но дальше гупна, помнится, не уходил. Это очень грубо, конечно, во всяком случае неучтиво сопоставлять Опискина с академиками и почти классиками: Бунинным, Мережковским, Зинаидой Гиппиус, Н.Котляревским, Зайцевым, Замятинным и пр. Но из исторической песни слова не выкинешь. Обнаружились приживальщиками и содержанцами. И если у одних эта черта получила более буйное проявление, то у большинства внутренних эмигрантов, отчасти по независящим условиям, а главным образом, надо думать, по группировке темпераментов, подрубленное под корень содержанство приняло уныло-тоскующий характер и сходит на нет в воспоминаниях и повторных переживаниях.

Павел Нерлер  
«С ГУРЬБОЙ И ГУРТОМ...»

ХРОНИКА ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ЖИЗНИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОГО

Вернувшись из воронежской ссылки в мае 1937 г. в Москву — город, где им даже ночевать уже не полагалось, — Мандельштамы поселились в Савелове. Лето, проведенное там, — с частыми наездами в Москву, с приездами друзей (например, Наташи Штемпель) — было сравнительно благополучным. Но осенью вопрос о месте жительства стал заново. Аркадий Штейнберг, в то время уже сидевший в лагере, рассказывал, что Мандельштамы заходили к нему домой и расспрашивали его мать о Тарусе. Ездили они и в Малый Ярославец к Надежде Бруни — жене Николая Александровича Бруни, «отца Бруни» из «Египетской марки», тоже арестованного. Они приехали в этот неосвещенный, глинистый город поздно вечером — ни фонарей, ни прохожих, на стук в окна — искаженные страхом лица: оказалось, что в последние недели город накрыла волна арестов, — и наутро Мандельштамы в ужасе бежали в Москву.

В конце концов они поселились в Калинин — с легкой руки Бабеля, сказавшего: «Поезжайте в Калинин, там Эрдман, — его любят старушки...» И Мандельштамы поехали в Калинин.

Николай Эрдман, как вспоминает Надежда Яковлевна, «жил в маленькой узкой комнатке, где помещались койка и столик. Когда мы пришли, он лежал — там можно было только лежать или сидеть на единственном стуле. Он немедленно отряхнулся и повел

нас на окраину, где иногда в деревянных собственных домах сдавались комнаты. Навещал он нас довольно часто...»<sup>1</sup>.

В тот раз Мандельштамам повезло. Узнав их голоса, из одного дома вышел жилец, ленинградец, бывший секретарь П.Е. Щеголева<sup>2</sup>, и его хозяйка, поняв, что это не проходимцы, сразу же сдала им комнату в своей пятистенке. Посвятив хозяйке и ее семье отдельную главку («Последняя идиллия»), Надежда Яковлевна называет лишь имя-отчество хозяйки — Татьяна Васильевна, и профессию хозяина — рабочий-металлург<sup>3</sup>.

Мужчины вскоре подружились, сойдясь на любви к музыке. У хозяина был патефон, а Мандельштам раздобыл пластинки (Баха, Дворжака, Мусоргского, итальянцев). По вечерам устраивались концерты, а Татьяна Васильевна ставила самовар и угощала всех чаем с вареньем — за чаем (он все норовил заварить его сам, по-своему), Осип Эмильевич просматривал «Правду», на которую был подписан хозяин.

Кроме Эрдмана и секретаря Щеголева, в Калининне была еще одна знакомая душа — Елена Михайловна Аренс, знавшая их еще с 1923 года. Выйдя замуж за дипломата, она жила и в Америке, и в Италии, и вот пришел черед отправиться в Калинин на правах ссыльной. Рассказывая нам в апреле 1983 г. о калининском житье-бытье, Елена Михайловна вспоминала необычайно живые, умные и веселые глаза Осипа Эмильевича. Свою жену он ласково называл: «Моя нищенка». Елена Михайловна редко навещала Мандельштамов, чаще они заходили к ней, и это к лучшему, поскольку в ее доме почти всегда было чем угостить поэта и его жену.

Несколько раз к Мандельштамам приезжали близкие люди — Евгений Яковлевич, брат Надежды Яковлевны, и, конечно же, «ясная Наташа» — Наталья Евгеньевна Штемпель, гостившая у них несколько дней на зимних каникулах: «Вспоминаю занесенные снегом улицы, большие сугробы, опять почти пустую холодноватую комнату без намека на уют. У обитателей этой комнаты, очевидно, не было ощущения оседлости. Жилье и местожительство воспринимались как временные, случайные. Не было и денег — ни на что, кроме еды»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Н.Я. Мандельштам. *ВОСПОМИНАНИЯ*. Нью-Йорк, 1970, с.346.

<sup>2</sup> Личность до сих пор не установленная. Е.М. Аренс вспоминала в 1983 г., что это был неофициальный секретарь Щеголева по лермонтовским делам.

<sup>3</sup> Из новонайденного «дела» Мандельштама мы узнаем их фамилию — Травниковы — и даже приблизительный адрес: 3-ья Никитинская улица. Дополнительным ориентиром может служить и маршрут, которым Мандельштамы добирались до дома с вокзала — по мостам через Волгу и Тьмаку.

<sup>4</sup> Н.Е. Штемпель. *МАНДЕЛЬШТАМ В ВОРОНЕЖЕ*. — «Новый мир», 1987, №10, с.209.

Не раз и не два, вспоминает Надежда Яковлевна, прочтя в газете что-нибудь новое, шельмующее или угрожающее, Мандельштам чувствовал: «Мы погибли!» А хозяева махали на него руками, сердились: «Еще накликаете!.. Никуда не лезьте — и живы будете!»<sup>1</sup>

## НАЧАЛО ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОГО

...Новый, 1938 год начинался трудно, скверно, грозно. В самом его начале — разгром Государственного театра им. В.Э. Мейерхольда: 8 января в «Правде» появился приказ Комитета по делам искусств при Совнаркомом СССР о его ликвидации. Все уже понимали, чем это пахнет<sup>2</sup>.

С приходом весны атмосфера не только не очистилась, а стала еще тревожней и наэлектризованней. Гроза же грянула 2 марта, с началом процесса над группой Бухарина-Рыкова (закончился 13 марта), давшим толчок новой волне репрессий. Одновременно грозовая туча нависла и на внешнеполитическом фронте: 11 марта Гитлер вошел в Австрию, преподав Европе короткий и ясный урок кройки и шитья ее географической карты.

С началом бухаринского процесса, связь которого со всеми последующими нижеописываемыми событиями не просто отрицать, совпал последний «нелегальный» приезд Мандельштамов в Ленинград. Именно тогда Ахматова и Мандельштам увиделись в последний раз. Надежда Яковлевна вспоминает: «Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла О.М. обращенные к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу... Больше они не виделись: мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу же от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону»<sup>3</sup>.

У этой поездки была самая что ни на есть прозаическая цель — собрать по знакомым хоть сколько-нибудь денег на дальнейшее житье-бытье.хлопоты на сей раз оказались пустыми — никто ничего не сумел или не захотел дать.

<sup>1</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.359

<sup>2</sup> Отметим свидетельство Мирели Яковлевны Шагинян — дочери М.С. Шагинян. Зимой 1937-38 гг. в московской квартире Мейерхольдов она застала Мандельштама, видимо, ночевавшего здесь и передавшего матери привет. Более точной даты она не помнит, но помнит, что Мейерхольд уже был в опале (записано 16 мая 1987 г.).

<sup>3</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.337.



21 января 1938 г. Надежда Яковлевна писала Б.С. Кузину: «Я все жду, чтобы Ося написал вам, но он как-то так съезжился, что даже письма написать не может»<sup>1</sup>.

Действительно, эпистолярная за этот год крайне скудна. Два письма Б.С. Кузину, лагерное письмо брату и самая последняя находка — письмо В.Ставскому.

Первое из сохранившихся писем Кузину датировано 26 февраля:

«Дорогой Борис Сергеевич!

Хочу написать вам настоящее письмо — и не могу. Все на ходу. Устал. Все жду чего-то. Не гневайтесь. Пишите сами и простите мою немому. Очень устал. Это пройдет. Скучаю по вас. О.М.»<sup>2</sup>

Второе письмо — куда бодрее, знакомая прозаическая отточенность и цепкость фразы говорят о бодром и чуть ли не о рабочем настроении. Оно написано 10 марта 1938 г., на третий день после приезда в профсоюзную здравницу «Саматиха» треста по управлению курортами и санаториями Мособлздравотдела при Мособлисполкоме<sup>3</sup>, в 25 верстах от железнодорожной станции Черусти, что за Шатурой, — в самом настоящем медвежьем углу.

Когда-то здесь был лесозавод и усадьба Дашковых. Вековые корабельные ссны и сейчас поскрипывают над десятком бревенчатых зданий, пощаженных войной и пожаром. Зимой в доме отдыха находилось человек 50, летом же — до 300. В войну здесь был детский госпиталь, а с 1942 г. и по сей день — Шатурская психиатрическая больница №11. Добавился один рубленый корпус, кое-что перестроено — а так все осталось по-старому, как при Дашкове или при Мандельштаме. Нет, правда, танцевальной веранды в «господском» доме, столовая с небольшой сценой перестроена под палаты, там, где была баня и прачечная, теперь клуб, и никто не помнит, где была курья избушка-читальня, липовые аллеи сильно заросли, и не звучит уже в них хмельной аккордеон затейника Леонида, пересох один из прудов и нет уже и в помине на другом лодочной станции, — но все как-то по-прежнему патриархально и зловеще, разве что сегодняшний профиль лечебницы обнажает что-то сокровенное, растворенное в таежном воздухе этой окраины Мещеры. Не удивился бы, если б узнал, что судьба занесла сюда на излечение бывших оперативников, бывших отдыхающих, бывших главврачей!..

<sup>1</sup> «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, №3, с.132.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Сообщено А.А. Морозовым. Административно эта местность входила в ныне упраздненный Коробовский район Московской области.

Как бы то ни было, но ранней весной 1938 года, встав на лыжи и надышавшись сосновым воздухом Саматихи, Осип Эмильевич вновь почувствовал себя молодым и даже предчувствовал «превращение энергии в другое качество». Вот что он писал отсюда Кузину уже 10 марта:

«Дорогой Борис Сергеевич!

Вчера я схватил бубен из реквизита Дома отдыха и, потрясая им и бия в него, плясал у себя в комнате: так на меня повлияла новая обстановка. "Имею право бить в бубен с бубенцами". В старой русской бане сосновая ванна.

Глушь такая, что хочется определить широту и долготу.

Сборы были огромные. Очень трогательное расставание с калининскими хозяевами.

С собой груда книг. Между прочим, весь Хлебников. Еще не знаю, что с собой делать. Как будто еще очень молод. Здесь должно произойти превращение энергии в другое качество. "Общественный ремонт здоровья" — значит от меня чего-то доброго ждут, верят в меня. Этим я смущен и обрадован. Ставскому я говорил, что буду бороться в поэзии за *музыку зяждущую*. Во мне небывалое доверие ко всем *подлинным* участникам нашей жизни и волна встречного доверия идет ко мне. Впереди еще очень много корявости и нелепости, — но ничего, ничего, не страшно! Чуть-чуть не сделался переводчиком. Давали дневник Гонкуров. Потом раздумали. Ничего пока не дали.

Любопытно: как только вы написали о Дворжаке, купил в Калининне пласт[инку]. Слав[янские] танцы №1 и №8 действительно прелесть. Бетховен[ская] обработка народных тем, богатство ключей, умное веселье и щедрость.

Шостакович — Леонид Андреев. Здесь гремит его 5-я симфония. Нудное запугивание. Полька Жизни Челов[ека]. Не приемлю.

Не мысль. Не математика. Не добро. Пусть искусство: не приемлю! Здравствуйте же и до свидания.

Еще поговорим

О.М.»<sup>1</sup>

В письме упоминаются Владимир Петрович Ставский (1900-1943) — в то время генеральный секретарь Союза писателей СССР и главный редактор «Нового мира» — и намеренье поручить Мандельштаму перевод «Дневника» Эдмона и Жюля Гонкуров. Между прочим, в конце биографической справки, составленной Н.Я. Мандельштам, перед отправкой в Саматиху стоит многозначи-

<sup>1</sup> «Вопросы истории естествознания и техники», 1987, №3, с.132-133.

тельная запись: «Разговор со Ставским о казни» (сообщено А.А. Морозовым). Связать это воедино помогает новонайденное письмо Мандельштама Ставскому — его можно датировать концом февраля или самым началом марта 1938 г.<sup>1</sup>

«Уважаемый тов. Ставский!

Сейчас т. ЛУППОЛ<sup>2</sup> объявил мне, что никакой работы в Гослитиздате для меня в течение года нет и не предвидится.

Предложение, сделанное мне редактором, т[аким] о[бразом] снято, хотя Луппол подтвердил: "мы давно хотим издать эту книгу"<sup>3</sup>.

Провал работы для меня очень тяжелый удар, т.к. снимает всякий смысл лечения. Впереди опять разруха. Жду Вашего содействия — ответа.

О.Мандельштам.»

Машинописная копия этого письма сохранилась в переписке Правления ССП СССР за 1938 г., причем в левом верхнем углу начертана резолюция: «Т.Каш. Сохраните Мандельштама»<sup>4</sup>. (Фамилия Мандельштама подчеркнута двумя чертами, подпись начертанного неразборчива, но вряд ли это сам Ставский, к которому, очевидно, поступил оригинал письма).

«Сохраните Мандельштама». Мандельштам не подозревал об этой крокодильской резолюции, но все, казалось бы, шло именно в соответствии с ее прямым смыслом.

Союз писателей не только оплатил обе путевки в Саматиху, но и всячески озаботился тем, чтобы Мандельштаму были «созданы условия» для отдыха (кто-то из Союза несколько раз звонил главврачу, справлялся, как и что). Все там, как пишет Надежда Яковлевна, шло как по маслу, без неувязок: розвальни с овчинами на станции, отдельная палата в общем доме, а затем, в апреле, и вовсе изолированная изба-читальня, лыжные прогулки, предупредительный главврач<sup>5</sup>. Правда, в город съездить почему-то все не удавалось, и Мандельштам даже как-то спросил: «А мы часом не попались в ловушку?», но тут же об этом забыл, благо с собой был не только Данте, но и Хлебников, Пушкин (однотомник под редакцией Томашевского), подаренный Б.Лапиным Шевченко.

<sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф.631, оп.15, ед. хр. 294(2), л.113.

<sup>2</sup> И.К. Луппол (1896-1943) — литературовед и философ, во второй половине 1930-х возглавлял Институт мировой литературы и ГИХЛ.

<sup>3</sup> ДНЕВНИК братьев Гонкуров был издан только в 1964 г.

<sup>4</sup> «Т.Каш.» — не Иван ли Александрович Кашкин, вскоре возглавивший редакцию зарубежной литературы в Гослитиздате?

<sup>5</sup> Удалось установить его имя: Самуил Васильевич Фомичев (сообщено А.Н. Бобель и М.Д. Юровой, бывшими работницами дома отдыха).

Поговорить, правда, было почти не с кем — отдыхающие были поглощены флиртом, один затейник поначалу приставал к Мандельштаму с идеями насчет вечера его стихов, — поэтому молодая барышня с «пятилетней судимостью», да еще «знакомая Каверина и Тынянова», легко втерлась к нему в доверие. Со временем стало ясно, что барышня, неожиданно уехавшая накануне Первомай, была сексотом и находилась тут в служебной командировке, как, впрочем, и то, что главврачу было велено Мандельштама не выпускать: западня!

Мандельштам же не унывал: «Не все ли равно? Ведь я им теперь не нужен. Это уже все прошлое...»

Увы, поэт ошибался.

Прибытию опергруппы предшествовал приезд 30 апреля районного начальства на двух легковых машинах. Первого мая, когда весь дом отдыха буйно гулял, гуляли, по-видимому, и чекисты<sup>1</sup>. Их скромный стук в дверь избушки-читальни раздался под утро второго мая: двое военных в сопровождении главврача. Ордер на арест был выписан чуть ли не неделю назад. Обыска не было, но в заранее приготовленный мешок вытряхнули содержимое чемодана. Вся операция заняла около 20 минут, проводить Осипа Эмильевича до Черусти его жене позволено не было.

...И блаженных жен родные руки  
Легкий пепел соберут...

Больше она его уже никогда не видела. Канули в Лету и стихи, возможно, написанные здесь: запомнить их Надежда Яковлевна еще не успела.

В ночь перед арестом ей снились иконы: сон не к добру.

### НА ЛУБЯНКЕ И В БУТЫРКАХ...

Итак, 2 мая 1938 г. Осипа Эмильевича Мандельштама вырвали из жизни и сбросили в колодец ежовского НКВД. В «деле», впрочем, указана дата 3 мая, но это, надо полагать, дата поступления арестованного в приемник внутренней (Лубянской — а, может быть, и Таганской) тюрьмы. Тюремная фотография — профиль и фас, — сделанная в тот же день, потрясает. Мандельштам

---

<sup>1</sup> Первомайские газеты захлебывались жизнерадостностью и энтузиазмом. Сообщалось, например, что накануне Первомай открылось движение по новому Крымскому мосту в Москве, что в праздничный вечер в Большом давали «Поднятую целину» (закрытый просмотр, был там, вероятно, и Сталин), во МХАТе — «Любовь Яровую», в Вахтанговском — «Человека с ружьем», в оперетте — «Свадьбу в Малиновке» и т.д.

— в кожаном не по размеру большом пальто (подарок Эренбурга — это пальто упомянут потом почти все видевшие его в лагере), в пиджаке, свитере и летней белой рубашке. Небритое, одутловатое, отечное лицо сердечника, всклокоченные седины. Как выдержать этот обреченно-спокойный и вместе с тем гордый взгляд усталого, испуганного человека, у которого уже отобрали все — книги, стихи, жену, весну, свободу, у которого скоро отнимут и последнее — жизнь!

Фотография, как это ни странно, «датирована» 30 апреля (запись на талоне ордера №2817). От того же числа отсчитывается и 5-летний срок за контрреволюционную деятельность в приговоре Особого совещания. Что означает этот анахронизм? По-видимому, лишь то, что именно этим числом и был датирован ордер на арест Мандельштама.

Дата 9 мая, по-видимому, достовернее. В этот день, согласно служебной записке №16023, было отдано распоряжение доставить Мандельштама из внутренней тюрьмы в Бутырскую и поместить в общую камеру.

Следующее задокументированное событие произошло 14 мая (кстати сказать, ровно через 4 года после первого ареста поэта). Дактилоскопистом (подпись неразборчива) Внутренней тюрьмы ГУГБ НКВД г.Москвы сняты отпечатки пальцев Мандельштама: правая рука, левая рука, контрольный оттиск.

Тюремное дело и следственное дело — совершенно разные вещи. Пока мы можем только лишь гадать о том, велось ли на этот раз следствие или нет, если велось, то кто был его следователь и какими методами он вел допросы. В условиях заведенной машины ОСО, где даже подпись секретаря была заменена казенным штампом, большой необходимости в протоколах и допросах не было. Может быть, весь следовательский труд свелся к двукратному заполнению анкеты, точнее, учетно-статистической карточки на арестованного? А может быть, все было совсем не так, и Осипа Эмильевича били, мучили, требовали назвать сообщников — ведь появилась же откуда-то в обвинении запись «эсер», не говоря уже о боязни быть отравленным и других признаках явного обострения психического расстройства на этапе и в лагере? И что означают сведения Домбровского о роли бухаринских записочек в судьбе Мандельштама — в свете мартовского процесса над Бухариным в этом, кажется, есть даже своя «логика»?

Но до тех пор, пока следственные дела нам все еще недоступны, можно только строить догадки.

Впрочем, еще одним свидетельством мы все же располагаем — В.Л. Меркулов рассказывал М.С. Лесману в сентябре 1971 г.

со слов Мандельштама, что тот на Лубянке сидел в камере с князем Мещерским. Через несколько недель Мандельштама вызвали на допрос, били; поняв, что ему не устоять, Мандельштам подписал все, после чего был перевезен в Таганскую тюрьму. (Тут, заметим, много неясного или путаного — что признал Мандельштам? почему вдруг Таганская тюрьма? и т.д. Поэтому найти этому свидетельству свое место в нашем повествовании непросто).

2 августа клешня Особого совещания дотянулась до мандельштамовского дела. Круглая печать и штампель-подпись ответственного секретаря Особого совещания тов. И.Шапиро на типовом бланке «Выписки из протокола ОСО при НКВД СССР» (бланк, кстати сказать, был отпечатан в хорошо известной писателям типографии им.Воровского) удостоверяют, что в этот день члены ОСО слушали дело №19390/ц о Мандельштаме Осипе Эмильевиче, 1891 года рождения, сыне купца, эсере. Постановили: «Мандельштама Осипа Эмильевича за к.-р. деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на пять лет, считая с 30 апреля 1938 г. Дело сдать в архив».

На обороте — помета: «Объявлено 8/8-38 г.» — и далее, рукой поэта: «Постановление ОСО читал. О.Э. Мандельштам».

4 августа на него было заведено новое, тюремно-лагерное «дело». После вынесения приговора Мандельштам около месяца провел в Бутырской тюрьме. Здесь он получил последнюю в своей жизни весточку из дома — денежную передачу от жены (сохранилась квитанция на 48 рублей, датированная 23 августа).

Переоборудованные в свое время под тюремный замок бывшие казармы Бутырского гусарского полка были рассчитаны приблизительно на 20 тыс. арестантов<sup>1</sup>. Но, по свидетельствам узников, перенаселенность в камерах Бутырок была пяти- или шестикратной, причем самое жестокое время наступило именно в середине 1938 г. В апреле — шапки долу перед «царицей доказательств»! — были сняты последние ограничения на физические методы воздействия на арестованных при допросах (впрочем, их начали применять еще после февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) — это как правило, а в отдельных случаях пытки были в ходу еще с конца 20-х годов). Соответственно перестраивался и прокурорско-судейский корпус: в конце мая в Москве прошло всесоюзное совещание прокуроров, на котором с докладом «О перестройке работы органов прокуратуры» выступил академик Вы-

---

<sup>1</sup> Об истории этой тюрьмы см.: В.Шварц. *ХРАНИТ ПУГАЧЕВСКАЯ БАШНЯ...* — «Советская культура», 1989, 25 апреля, с.8.

шинский (26 мая «Правда» напечатала его статью «Задачи советской прокуратуры»).

7 сентября столыпинский вагон увез Мандельштама, можно сказать, в последний путь — в далекое нелазоревое Приморье, навстречу гибели.

## ЭТАП И ТРАНЗИТКА

Обычно эшелон с 2-3 тысячами арестантов шел до места назначения от одного до полутора месяцев. Датой отправки этапа физик Л., ехавший тем же транспортом и попавший на него из Таганской тюрьмы, считает 7 сентября, сам Мандельштам пишет в письме брату о 9 сентября.

О том, что он едет в одном транспорте с Мандельштамом, физик Л. узнал еще в дороге от одного из своих спутников, заболевшего в пути и помещенного в вагон-изолятор. Там он встретился с Мандельштамом. Тот, по его словам, все время лежал, укрывшись с головой одеялом, казенной пищи не ел. «У него сохранились какие-то гроши (совершенно очевидно, что это остатки 48-рублевого перевода от жены. — П.Н.), и конвойные покупают ему иногда на станциях булку. О.М. разламывает ее пополам и делится с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивается, пока в шелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы — в этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды»<sup>1</sup>.

Итак, психическое расстройство охватило Мандельштама уже в дороге, если не раньше.

Почему Мандельштам оказался в изоляторе? Не потому ли, что, как рассказывал И.С. Поступальский, в вагоне его избил журналист Кривицкий (кстати сказать, персонаж одного из шаламовских рассказов)?

Станцией назначения этого живого груза был разъезд «Вторая речка», немного не доезжая до Владивостока. Эшелон, с которым ехал Мандельштам, прибыл на место 12 октября (по физику Л. — в середине октября). Очень «красочно» описывает картину прибытия сюда мужского этапа Е.Гинзбург в своем «Крутом маршруте»:

Нас не гонят от проволоки, отделяющей нашу зону от мужской. И мы смотрим, смотрим, не отрывая глаз, на плывущий перед нами мужской политический этап. Они идут молча, опу-

<sup>1</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.410.

тив головы, тяжело переставляя ноги в таких же бахилах, как наши /.../ На них те же ежовские формочки, только штаны с коричневой полосой выглядят еще более каторжными, чем наши юбки. И хотя мужчины, казалось бы, сильнее нас, но мы все жалеем их материнской жалостью. Они кажутся нам еще более беззащитными, чем мы сами. Ведь они так плохо переносят боль (это было наше общее мнение!), ведь ни один из них не умудрится так незаметно выстирать бельишко, как это умеем мы, или починить что-нибудь... Это были наши мужья и братья, лишенные в этой страшной обстановке наших забот.

— Бедный, и пуговку некому пришить... — вспомнил кто-то эту формулу женской любви из раннего эренбургского романа.

Каждое лицо кажется мне похожим на лицо моего мужа. У меня уже ломит виски от напряжения. Кругом меня все тоже вглядываются. И вдруг... Вдруг кто-то из мужчин наконец заметил нас:

— Женщины! НАШИ женщины!

Я не умею описать того, что произошло потом. Не нахожу слов. Это было подобно мощному электротoku, который разом одновременно пронизал всех нас, по обе стороны колючей проволоки. Как ясно было в этот момент, что в самом сокровенном мы все похожи друг на друга! Все подавляемое в течение двух долгих лет тюрьмы, все, что каждый поодиночке носил в себе, вырвалось наружу и бушевало теперь вокруг нас, в нас самих, казалось, даже в самом воздухе. Теперь и мы и они кричали и протягивали друг другу руки. Почти все плакали вслух.

— Милые, родные, дорогие, бедные!

— Держитесь! Крепитесь! Мужайтесь!

Кажется, такие или приблизительно такие слова кричали с обеих сторон<sup>1</sup>.

Что же представляло собой место назначения — пересыльный лагерь 3/10 УСВИТЛ'а — Управления Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей? Эта организация была административной структурой Дальстроя. Дальстрой же был самым что ни на есть государством в государстве, независимой от местных властей «Ост-Индской компанией» ОГПУ-НКВД, основанной в 1932-1933 гг. для освоения и эксплуатации природных ресурсов северо-востока Сибири, главным образом, колымского золота. В течение почти 20 лет (в 1953 г. имущество Дальстроя было передано Министерству горнорудной промышленности) Дальстрой ежегодно получал до полумиллиона «зека», но из-за высокой смертности общая их численность не превышала 2-3 млн. чел.<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Цит. по журн. «Даугава», 1988, №11, с.11-16.

<sup>2</sup> Первым начальником Дальстроя был Р.И. Берзин (расстрелян в 1937 г.), а его заместителем и начальником УСВИТЛ'а — Гаранин (расстрелян в 1939 г.). Начальниками Дальстроя были также Павлов, Вишневецкий и Никишов.



Пересыльный лагерь был своеобразным ситом, сортировочным пунктом. Физически более крепких и пока еще сравнительно здоровых — отправляли морем на Колыму, остальных — «в отсев» (часть зимовала на пересылке, часть — в основном, инвалиды — направлялась в Мариинские лагеря недалеко от Кемерово)<sup>1</sup>.

Сами сроки пребывания в транзитном лагере были непредсказуемы. «Для некоторых это был только перевалочный пункт, с которым расставались через несколько дней. Другие находились здесь целыми месяцами. А отдельные придурки, сумевшие приспособиться к требованиям здешнего начальства, жили здесь годами»<sup>2</sup>.

Пересыльный порт назывался Чуркин причал — от лагеря до него было 6-7 км под конвоем<sup>3</sup>. (Позднее, во второй половине 40-х годов, пересылку перенесли в порт Находку, а еще позднее — в Ванино). На каждый морской этап отбиралось от 6 до 9 тысяч человек, грузившихся в трюмы специальных дальстроевских барж-пароходов, совершавших за навигацию 12-15 рейсов<sup>4</sup>.

Пересылка 3/10 считалась сравнительно благополучным лагерьем: хорошие бараки, баня, начальство особо не зверствовало. И.С. Поступальский о кормежке вспоминает так: баланда (суп из крупы или чечевицы), перловая каша, иногда — кусок селедки, летом — даже зеленые помидоры. По Е.М. Крепсу (одно время он был на раздаче), рацион такой: утром — хлеб и кипяток, на обед и ужин — баланда, разваренное мясо или рыба, каша. Всех заставляли пить заменитель витаминов — хвойную настойку: считалось, что она помогает от цинги.

Д.М. Маторин рассказывает, что пересылка «Вторая речка» состояла из двух частей: в первой находились уголовники, или «урки» (около 2 тыс. человек), во второй — политические, или «контрики», причем во второй части было три различные «зоны»: мужская (5-7 тыс. чел.)<sup>5</sup>, женская (2 тыс. чел.)<sup>6</sup> и «китайская»

<sup>1</sup> А.М. Ларина. *НЕЗАБЫВАЕМОЕ*. — «Знамя», 1988, №11, с.139-140.

<sup>2</sup> Е.Гинзбург, ук. соч., с.14-15.

<sup>3</sup> Ныне месторасположение и лагеря, и причала вошли в состав городской черты гор. Владивостока.

<sup>4</sup> О последнем из них, под названием «Ялта», см. письмо А.Плаксия в «Огоньке» (1989, №10, с.3).

<sup>5</sup> Е.М. Крепс давал более низкую цифру — 2 тыс. чел. — из расчета 100 человек на барак, но, вероятно, он имел в виду лишь одну из зон. В мужской «зоне» было 2 ряда по 10 бараков, нары в бараках двухэтажные (физик Л. говорил о трехэтажных нарах). В.М. Меркулов говорил о 40 тыс. з/к в пиковые периоды.

<sup>6</sup> См.: Е.Гинзбург, ук. соч., с.3-16. Женская зона (Гинзбург прибыла туда в июле 1939 г.) представляла собой огромный, огороженный колючей проволокой, загаженный двор, пропитанный запахом аммиака и хлорной извести. Колоссальный барак с тремя ярусами нар был царством клопов и вшей.

(3 тыс. работников КВЖД из Харбина). Итого в лагере было 12-14 тыс. «зека». Между зонами были 10-метровые полосы: женская зона была огорожена двумя рядами колючей проволоки, китайская — забором, по которому ползали черные клопы. Двух- или трехэтажная больница была в «урочье» зоне, в зоне «контриков» стоял комендантский барак и больничка на 12 коек (изолятор).

По В.Л. Меркулову, лагерь делился на три зоны: две контрреволюционные и одна «китайская» (китайцы Приамурья). Та часть лагеря, где содержались «контрики», называлась «Гнилой угол», или «Тигровая балка». Эти зоны были окружены колючей проволокой, и на ночь выпускали собак. К первой зоне относились бараки 1-6, ко второй — 7-14, «китайская» зона включала еще 6 бараков. К первой зоне примыкали 2 женских барака. В центре была больница для бытовиков и душ с холодной водой.

Фамилия начальника отдельного лагпункта была Смык, а коменданта — Вайсбург (его заместителя — Крюков)<sup>1</sup>.

Владивостокский краевед Валерий Михайлович Марков — историограф этого пересыльного лагеря — установил приблизительное местонахождение 11-го барака. «В октябре 1938 года бараки располагались по северному склону сопки в четыре ряда, от них сейчас сохранились лишь ровные площадки, застроенные в более позднее время. Барак, в котором находился Мандельштам, занимал вторую (от вершины сопки) площадку в самом последнем ряду»<sup>2</sup>. До сих пор сохранилось здание больницы (кажется, незначительно перестроенное). Удалось установить и три места захоронения умерших узников «Второй речки», но на каком из них покоятся кости Мандельштама — уже никто никогда не узнает.

## ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НА «ВТОРОЙ РЕЧКЕ»

Итак, 12 октября 1938 г. Мандельштам прибыл на «Вторую речку». Через неделю или полторы он отправил домой свое первое и последнее письмо. Не зная, арестована Надежда Яковлевна или нет, а если на свободе — то где именно, он адресовал письмо брату:

<sup>1</sup> Абрам Ионович Вайсбург, из ссыльных, оставил по себе добрую память, в 70-е годы он жил в Ташкенте, где в 1971 г. во время Всесоюзного Физиологического съезда, его разыскал академик Крепс.

<sup>2</sup> См. серию его очерков *ТРАНЗИТ* в воскресных номерах владивостокской газеты «Красное знамя». Очерк 5-й посвящен О.Мандельштаму (опубликован 2 апреля 1989 г.).

«Дорогой Шура!

Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ, 11-й барак.

Получил 5 лет за к.р.д. по решению ОСО. Из Москвы из Бутырок этап выехал 9 сентября, приехал 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.

Родные мои. Целую вас. Ося.

Шурочка, пишу еще. Последние дни ходили на работу, и это подняло настроение. Из лагеря нашего, как транзитного, отправляют в постоянные. Я, очевидно, попал в "отсев", и надо готовиться к зимовке. И я прошу, пошлите мне радиограмму и деньги телеграфом»<sup>1</sup>.

Это письмо — твердая фактическая опора и точка отсчета лагерного существования з/к Мандельштама. С уверенностью можно теперь сказать и о дате смерти поэта (благодаря документам из его «Дела» — см. ниже).

Относительно же того, как и чем были заполнены эти два с небольшим последних месяца его жизни, сказать что-либо с уверенностью нелегко. Вместе с тем причины для неуверенности тут совсем иные, чем, скажем, в случае тюремных месяцев. Сохранилось не так уж мало прямых или косвенных свидетельств о лагерных днях Мандельштама.

Велика заслуга в этом двух людей — Ильи Григорьевича Эренбурга и Надежды Яковлевны Мандельштам. Эренбург в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь» писал:

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В.Меркулов, рассказал о том, как в 1940 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города, больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество, прошло через всю его жизнь — до сонетов у костра...<sup>2</sup>

Это было первое упоминание о последних днях Мандельштама в советской прессе. Книга Эренбурга разбудила заснувшее поколение, многие встряхнулись и благодаря ей начали думать и по-

<sup>1</sup> Оригинал — в архиве Е.Э. Мандельштама.

<sup>2</sup> «Новый мир», 1961, №1, с.144.

нимать многое самостоятельно. Некоторые лагерники (Хазин, И.Д. Злотинский) написали Эренбургу письма. С Хазиным и с «агрономом М.» Надежду Яковлевну, терпеливо собиравшую все крупницы сведений о последних злосчастиях своего мужа, свел Эренбург. Она опросила десятки свидетелей и лжесвидетелей — прежде чем поделилась с читателем тем, что она за долгие годы узнала. В ее первой книге «Воспоминания» этому посвящены две последние главы — «Дата смерти» и «Еще один рассказ».

Итак, какими материалами о конце жизни Мандельштама мы сегодня располагаем?

Прежде всего — это упомянутые главы первой книги Н.Я. Мандельштам. Главные ее «информаторы» — Юрий Казарновский, биолог Меркулов (он же «агроном М.»), оставшийся инкогнито физик Л., а также некий Хазин. Очень важный источник — письмо И.Д. Злотинского к И.Г. Эренбургу, пересланное последним Н.Я. Мандельштам, но неучтенное ею в книге<sup>1</sup>. Кроме того, в нашем распоряжении рассказы солагерников Мандельштама В.Л. Меркулова, Е.М. Крепса и В.А. Баталина, собранные известным коллекционером Моисеем Семеновичем Лесманом (1902-1985), а также наши собственные записи аналогичных рассказов Д.Н. Маторина, Е.М. Крепса, И.С. Поступальского, некоторые примыкающие или косвенные материалы и документы.

Наконец, многие точки над «i» расставило само лагерное дело Мандельштама, обнаруженное в магаданском архиве МВД при активном содействии сотрудников Центрального архива Министерства внутренних дел.

Материалы эти всплывали на поверхность не сразу и в разное время, с чем и связана их распыленность по нескольким публикациям — в «Литературной газете», «Нашем наследии», «Смене», мандельштамовском сборнике в Воронеже<sup>2</sup>.

Здесь же хотелось бы не только, наконец, свести воедино все, что известно, что засвидетельствовано столь разными людьми о последних месяцах и днях жизни Мандельштама, но и оценить эти рассказы в свете фактов, которые можно признать непреложными.

Первым «вестником с того света», как назвала Надежда Яковлевна, был Ю.А. Казарновский — поэт, автор книги «Стихи» (М., 1936) и лагерник с большим стажем<sup>3</sup>. В 1944 г. он появился в Таш-

<sup>1</sup> Нам сообщено А.А. Морозовым.

<sup>2</sup> *ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА*. Воспоминания. Исследования. Материалы. Комментарии. Воронеж. (В печати).

<sup>3</sup> Его стихи есть в сб. *МОРЕ СОЕДИНИМ! Стихи и песни на Беломорстрое*. (Изд. культурно-воспитательного отдела Беломорско-Балтийского см. след. стр.

кенте и охотно и путанно рассказывал Надежде Яковлевне о Мандельштаме. На пересылке они жили в одном бараке, нары почти рядом. Барак был весь заселен «пятьдесят восьмой», в основном, ленинградцами и москвичами, что хоть как-то облегчало жизнь. Нервический, моторный, привыкший бегать из угла в угол Мандельштам, часто подбегал к запрещенным зонам, чем вечно сердил стражу и начальство. Он почти ничего не ел, вообще боялся казенной еды, путал котелки, терял свою хлебную пайку. Был он в кожаном, успевшем превратиться в лохмотья, пальто, но до самых страшных морозов он не дожил... Мандельштам все надеялся на помощь Романа Роллана, который напишет о нем Сталину, и его отпустят.

Казарновский рассказывал, что «...иногда в светлые минуты, О.М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто их записывал.

На работы — даже внутрилагерные, вроде приборки — его не посылали. Даже в этой истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсев он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном.

Однажды О.М. услышал, что в пересыльном лагере находится человек по фамилии Хазин, и попросил Казарновского пойти с ним отыскать его, чтобы узнать, не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами. Этот Хазин, прочтя мемуары Эренбурга, написал ему, и мне удалось с ним встретиться. /.../ Сам Хазин О.М. видел два раза: когда О.М. пришел к нему с Казарновским, и вторично, когда он свел его к лагернику, который его разыскивал. Хазин говорит, что встреча О.М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт, и что он был латыш, инженер по профессии. Хинта пересылали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву, на пересмотр. Кто был Хинт, я не знаю. Хазину показалось, будто он школьный товарищ О.М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О.М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища.

По сведениям Хазина, Мандельштам умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал, между тем, она была, и я о ней слышала от ряда лиц. /.../ Однажды, несмотря

---

лагеря ОГПУ. Медвежья Гора, 1932). См. о нем письма Д.С. Лихачева («Огонек», 1988, №9, с.10) и Н.Богословского («Литературная Россия», 1989, №9, с.10).

на крики и понукания, О.М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал — это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О.М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О.М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму... Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по нескольку человек на одну яму — покойников всегда хватало — и каждому к ноге привязывали бирку с номером.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности»<sup>1</sup>.

Вторым после Казарновского свидетелем Н.Я. Мандельштам называет биолога М., выполнившего просьбу Мандельштама и после своего освобождения и возвращения обратившегося к Эренбургу.

Биолог М., он же «брянский агроном», — это Василий Лаврентьевич Меркулов (1908-1980). Доктор биологических наук, физиолог, ученик А.А. Ухтомского, до ареста работал в Институте экспериментальной медицины. В день сообщения о расстреле Каменева директор этого института профессор Никитин выбросился из окна, после чего всего его сотрудники, в том числе и Меркулов, были арестованы. На пересылку попал 3 февраля 1938 г., там устроился раздатчиком талонов на хлеб. Там же попал в отсев из-за травмы ноги (у него были раздроблены пальцы) и свой срок отбывал в Мариинске, где плел корзины и вязал варежки для фронта (количество петель для варежек запомнилось ему на всю жизнь). Из заключения освобожден только в сентябре 1946 г. (сразу же по прибытии в Ленинград был помещен в больницу, где пролежал больше года, позднее ему ампутировали ногу). Вернувшись в Ленинград окончательно лишь в 1956 г., одно время работал вместе с Е.М. Крепсом, был его заместителем в Комиссии по творческому наследию И.П. Павлова.

9 сентября 1971 г. «свидетельские показания» В.Л. Меркулова снял М.С. Лесман. Меркулов утверждал, очевидно, ошибочно, что «Мандельштам прибыл в лагерь между 15 и 25 июня 1938 г. Он был помещен в 11-й барак, где старостой был артист Одесской эстрады, чемпион-четечочник Левка Гарбуз<sup>2</sup>. Староста вско-

<sup>1</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.400-401.

<sup>2</sup> К этому М.С. Лесман сделал следующее примечание: «Среди многих опрошенных мною артистов и административных работников Одесской эстрады, деятельность которых на протяжении десятков лет была связана с Одессой, никто не может вспомнить этой фамилии». Вместе с тем после смерти М.С. Лесмана в его архиве обнаружилась запись: «Томчинский Лева (он же Гарбуз)».

ре возненавидел Мандельштама, преследовал его чем и как только мог; переводил на верхние нары, потом снова вниз и т.д. На мои попытки смягчить Гарбуза, он отвечал: "Ну что ты за этого дурака заступаешься!"

С Мандельштамом я познакомился довольно печальным образом. Распределяя хлеб по баракам, я заметил, что бьют какого-то шуплого маленького человека в коричневом кожаном пальто. Спрашиваю: "За что бьют?" В ответ — "Он тяпнул пайку". Я спросил, зачем он украл хлеб. Он ответил, что точно знает, что его хотят отравить, и потому схватил первую попавшуюся пайку в надежде, что в ней нет яду. Кто-то сказал: "Да это сумасшедший Мандельштам!" (В пересказе А.В. Яицких, жены Меркулова, тот возразил Мандельштаму, что, если хлеб отравлен, то погибнет кто-то другой, на что Мандельштам ничего не ответил. — П.Н.).

В этот печальный период пребывания Мандельштама на Второй Речке его физическое и душевное состояние было относительно благополучным. Периоды возбуждения сменялись периодами спокойствия. На работу его не посылали. Когда Мандельштам бывал в хорошем настроении, он читал нам сонеты Петрарки, сначала по-итальянски, потом — переводы, читал стихи Державина, Бальмонта, Брюсова и свои. Он не переводил "любовных" сонетов Петрарки. Его интересовали философские. Иногда он читал Бодлера, Верлена по-французски. Среди нас был еще один человек, превосходно знавший французскую литературу — журналист Борис Николаевич Перелешин, который читал нам Ронсара и других (он умер от кровавого поноса, попав на Колыму).

Читал Мандельштам также свой "Реквием на смерть А. Белого", который он, видимо, написал в ссылке. Он вообще часто возвращался в разговорах к А. Белому, которого считал гениальным. Блока не очень любил, в Брюсове ценил только переводчика. О Пастернаке сказал, что он интересный поэт, но "недоразвит". Эренбурга считал талантливым очеркистом и журналистом, но слабым поэтом.

Иногда Мандельштам приходил к нам в барак и кланчил еду у Крепса. "Вы чемпион каши, — говорил он, — дайте мне немного каши!"

С Мандельштама сыпались вши. Пальто он выменял на несколько горстей сахара. Мы собрали для Мандельштама кто что мог: резиновые тапочки, еще что-то. Он тут же продал все это и купил сахар<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Мандельштам был убежден, что в обмене веществ главную роль играет сахар.

Период относительного спокойствия сменился у него депрессией. Он прибегал ко мне и умолял, чтобы я помог ему перебраться в другой барак, так как его, якобы, хотят уничтожить, сделав ему ночью укол с ядом. В сентябре-октябре эта уверенность еще усилилась. Он быстро съедал все, был страшно худ, возбужден, много ходил по зоне, постоянно был голоден и быстро таял.

В начале октября Мандельштам очень страдал от холода: на нам были только парусиновые тапочки, брюки, майка, какая-то шапчонка. В обмен на полпайки предлагал прочесть оба варианта своего стихотворения о Сталине (хотя до сих пор отрицал свое авторство и уверял, что все это "выдумки врагов"). Но никто не соглашался. Состояние Мандельштама все ухудшалось. Он начал распадаться психически, потерял всякую надежду на возможность продолжения жизни. При этом высокое мнение о себе сочеталось в нем с полным безразличием к своей судьбе.

Однажды Мандельштам пришел ко мне в барак и сказал: "Вы должны мне помочь!" — "Чем?" — "Пойдемте!"

Мы подошли к "китайской" зоне (китайцев к этому времени уже вывели — хасанские события увеличили этап). Мандельштам снял с себя все, остался голым и сказал: "Выколотите мое белье от вшей!" Я выколотил. Он сказал: "Когда-нибудь напишут: 'Кандидат биологических наук выколачивал вшей у второго после А.Белого поэта'." Я ответил ему: "У вас просто паранойя".

Однажды ночью Мандельштам прибежал ко мне в барак и разбудил криком: "Мне сейчас сделали укол, отравили!" Он бился в истерике, плакал. Вокруг начали просыпаться, кричать. Мы вышли на улицу. Мандельштам успокоился и пошел в свой барак. Я обратился к врачу. К этому времени было сооружено из брезента еще два барака, куда отправляли "поносников" умирать. Командовал бараками земский врач Кузнецов (он работал когда-то в Курской губернии). Я обратился к нему. Он осмотрел Мандельштама и сказал мне: "Жить вашему приятелю недолго. Он истощен, нервен, сердце изношено и вообще он не жилец". Я попросил Кузнецова положить Мандельштама в один из его барачков. В этих бараках был уход, там лучше кормили, топили в бочках из-под мазута. Он ответил, что у него и так полно, и что люди мрут, как мухи.

В конце 1938 г. Кузнецов взял Мандельштама в брезентовый барак. Когда мы прощались, он взял с меня слово, что я напишу И.Эренбургу. "Вы человек сильный. Вы выживете. Разыщите Илюшу Эренбурга! Я умираю с мыслью об Илюше. У него золотое сердце. Думаю, что он будет и вашим другом". О жене и брате Мандельштам не говорил. Я вернулся в барак. Перед праздни-



ком (4-5 ноября) Кузнецов разыскал меня и сказал, что мой приятель умер. Он съедал за всеми остатки пищи, облизывая миски, и у него начался понос, который оказался для него роковым.

Никаких справок родственникам умерших администрация не посылала. Вещи умерших распродавались на аукционе. У Мандельштама ничего не было.

“Черная ночь, душный барак, жирные вши” — вот все, что он мог сочинить в лагере».

В конце 1963 г. Эренбург получил письмо от И.Д. Злотинского — еще одного свидетеля мандельштамовских последних дней:

«23/II-63

Уважаемый Илья Григорьевич!

Давно уже — почти два года — собираюсь вам написать по поводу одного места в I-ом томе ваших воспоминаний “Люди, годы, события”. Речь идет о судьбе О.Мандельштама. Вы пишете (со слов брянского агронома В.Меркулова, посетившего вас в 1952 году) о том, что О.Мандельштам в конце 1938 года погиб на Колыме. Уже находясь в заключении, в тяжелейших условиях беринговской Колымы, О.Мандельштам — по словам В.Меркулова — сохранил бодрость духа и преданность музе поэзии: у костра он читал своим товарищам по заключению сонеты Петрарки<sup>1</sup>.

/.../ Боюсь, что конец Мандельштама был менее романтичен и более ужасен.

О.Мандельштама я встретил в конце лета или в начале осени (то ли конец августа, то ли середина сентября) 1938 года, не на Колыме, а на Владивостокской “пересылке” Дальстроя, т.е. управления Колымских лагерей.

На этой пересылке оседали только отсеянные медицинской комиссией (вроде меня). Остальные, пробыв некоторое время на пересылке, — погружались в пароходы и отправлялись в Колыму. На наших глазах проходили десятки тысяч людей.

Я и мои друзья, любящие литературу, искали в потоке новых и новых порций прибывающих с запада зеков — писателей, поэтов, и, вообще, пишущих людей. Мы видели Переверзева, Буданцева, беседовали с ними. В сыпно-тифозном больничном бараке, куда я попал в декабре 1938 года, мне говорили, что в одном из отделений барака умер от сыпняка Бруно Ясенский [17 сентября. — П.Н.].

А О.Мандельштама я нашел, как я уже писал, задолго до этого — в конце лета или начале осени. Клобы выжили нас из бара-

<sup>1</sup> В действительности у Эренбурга Колыма не упоминается.

ков, и мы проводили дни и ночи в зоне в канавах (водосточных). Пробираясь вдоль одной канавы, я увидел человека в кожаном пальто с "хохолком" на лбу. Произошел обычный "допрос":

— Откуда?

— Из Москвы...

— Как ваша фамилия?

— Мандельштам...

— Простите, тот самый Мандельштам? Поэт?

Мандельштам улыбнулся:

— Тот самый...

Я потащил его к своим друзьям... И он — в водосточной канаве — читал нам (по памяти, конечно) свои стихи, написанные в последние годы и, видимо, никогда не издававшиеся. Помню — об одном из стихотворений, особенно понравившемся нам, он сказал:

— Стихи — периода воронежской ссылки. Это — прорыв...

Куда-то прорыв...

Он приходил к нам каждый день и читал, читал. А мы его просили: еще, еще.

И этот шупленький, слабый, голодный, как и все мы, человек преображался: он мог читать стихи часами. (Конечно, ничего записывать я не мог — не было бумаги, да и сохранить от обысков невозможно было бы).

А дальше идет вторая часть — очень тягостная и горькая. Мы стали (очень быстро) замечать странности за ним: он доверительно говорил нам, что опасается смерти — администрация лагеря его хочет отравить. Тщетно мы его разубеждали — на наших глазах он сходил с ума. Он уже перестал читать стихи и шептал нам "на ухо" под большим секретом — о все новых и новых кознях лагерной администрации. Все шло к печальной развязке... Куда-то исчезло кожаное пальто... Мандельштам очутился в рубищах... Быстро завшивел... Он уже не мог спокойно сидеть — все время чесался.

Однажды утром я пошел искать его по зоне — мы решили повести его (хотя бы силой) в медпункт — туда он боялся идти, т.к. и там ему — по его словам — угрожала смерть от яда. Обошел всю зону и не мог его найти. В результате расспросов удалось установить, что человека, похожего на него, находящегося в бреду, подобрали в канаве санитары и увезли в другую зону в больницу.

Больше о нем мы ничего не слышали и решили, что он погиб.

Вся эта история тянулась несколько дней.

Может быть, он окреп, выздоровел и его отправили на Колыму? Маловероятно. Во-первых, он был в очень тяжелом состоя-

нии; во-вторых, навигация закончилась в 1938 году очень рано — кажется, в конце сентября или в начале октября из-за неожиданно вспыхнувшей эпидемии сыпного тифа.

С искренним уважением —  
И.З.»

Еще один опрошенный Н.Я. Мандельштам свидетель, причем такой, что внушает максимум доверия, — физик Л. (имя до сих пор не раскрыто).

Транспорт пришел во Владивосток в середине октября (а он был в том же эшелоне, что и Мандельштам): в перенаселенном лагере размещаться было негде. Благо, стояла сухая погода и можно было размещаться под открытым небом<sup>1</sup>, между бараками. Тифа в лагере не было. Но вскоре пошли дожди, и Л., к тому времени ставший уже старостой бригады человек в 60, во время одной из стычек за место под крышей познакомился с одним из вожаков уголовников — Архангельским. Однажды Архангельский пригласил его на «свой» чердак — послушать стихи. Вот описание этой и последующих сцен в воспоминаниях Н.Я. Мандельштам:

На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней — открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением — люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи...

Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи — то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел — видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.

После этого вечера Л., встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Л. заметил, что О.М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, из-за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок... Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутри», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания... Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь ос-

---

<sup>1</sup> 14 октября 1938 г. температура воздуха резко поднялась с 4° до 12-15°, что значительно выше средней. Такая погода, в сочетании с кратковременными падениями температуры, держалась до конца месяца. Последний скачок температуры был 6 ноября, после чего она резко и прочно упала, уже 8 ноября опустившись ниже нуля: вторую половину ноября держались морозы до 5-7°. (Сведениями из архива Пулковской обсерватории я обязан Э.Г. Богдановой).

нования, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально-опасный» — и вот в больном мозгу это все смешалось — и О.М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться. Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок»...

В психиатрии Л. не понимал, но ему очень хотелось помочь О.М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О.М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть для того, чтобы его сторонились... «Но меня же вы не хотите отпугивать», — сказал Л. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников, по правилам, пятьдесят восьмую статью, как особо вредную, должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось, — шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пяточке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И, наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка»<sup>1</sup>.

Среди добровольцев оказался и Л., взявший себе в напарники Мандельштама. Норм выработки на пересылке не было, и, погрузив на носилки один или два камня, физик и поэт несли их за полкилометра, после чего отдыхали и разговаривали. Л. запомнил, что однажды, сидя на куче камней, Мандельштам сказал: «Первая моя книга называлась "Камень", а последняя тоже будет камнем...» (Видимо, тогда-то Мандельштам и написал свое единственное пришедшее из лагеря письмо.)

В начале декабря, вспоминает Л., в лагере началась эпидемия сыпного тифа. Всех «зека» загнали в бараки, где освободилось сразу много мест. Заболевших переводили в изоляторы, откуда, считалось, живым уже не выйти. Заболел и Л., и в изоляторе узнал, что до него там побывал и Мандельштам. Тифа у него не оказалось, но врачи дали ему отлежаться, более того, раздобыли ему зимнюю одежду — полушубок (свое желтое кожаное пальто

<sup>1</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.412-413.

Мандельштам уже обменял на полтора кило сахара, которые у него тут же украли). Что было с ним дальше, никто не знал, и лишь выйдя из больницы, где Л. все-таки одолел болезнь, он узнал о том, что Мандельштам — умер. В апреле 1939 г. Л. был уже в стационарном лагере, так что и по его данным смерть Мандельштама случилась между декабрем 1938 и апрелем 1939 года.

Среди солагерников Осипа Мандельштама был и академик Евгений Михайлович Крепс (1899-1985), крупнейший советский физиолог, Герой Социалистического труда, руководитель академического Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова и Отделения физиологии Академии наук СССР. Он и в старости, в согбенном состоянии производил впечатление человека могучего, дюжего, крепкого духом. Его арестовали несколькими днями раньше Мандельштама — накануне Первой 1938 г., затем полтора месяца в московских тюрьмах, еще столько же — этап, и к августу он был уже во Владивостоке. Его соседями по нарам были художник Василий Шухаев<sup>1</sup> и пушкинист Юлий Оксман. «Если освободитесь и вернетесь в Ленинград, — просил его Оксман, — то передайте Тынянову, что я тот, кого он знает». Освобожденный в 1939 г. уже на Колыме, Е.М. Крепс заходил к Тынянову и передал ему слова друга. Вот что Е.М. Крепс рассказал нам о своей лагерной встрече с Мандельштамом<sup>1</sup>.

Кто-то сообщил Крепсу, что в лагере Мандельштам. Крепс, учившийся в Тенишевском училище в одном классе в В.В. Набоковым и Евгением Мандельштамом, младшим братом поэта, подошел к нему и обратился по имени-отчеству: «Здравствуйте, Осип Эмильевич!» Мандельштам сидел на земле и, глядя в пространство, никак не отреагировал на приветствие. Тогда Евгений Михайлович обратился к нему несколько иначе: «Осип Эмильевич, я тоже тенишевец — брат Термена Крепса...» Мандельштам тут же вскочил, обрадованно заулыбался и возбужденно начал вспоминать общих тенишевских знакомых.

С момента их встречи в лагере — было уже холодно (на Мандельштаме *был ватник*) — до того момента, когда Мандельшта-

---

<sup>1</sup> Несловохотливый Шухаев рассказывал К.А. Вольфензон-Цыбулевской, как однажды его угостили самокруткой, свернутой из мандельштамовского автографа.

<sup>2</sup> Записано 30 марта 1984 г. Существует еще одна запись рассказа Е.М. Крепса об этом, сделанная 31 августа 1971 г. М.С. Лесманом (по Лесману хронология лагерной жизни Крепса иная: арест — 2 мая 1937 г., август-сентябрь 1937 — этап из Нижегородской тюрьмы на «Вторую речку», где он пробыл до декабря 1939 г., работая раздатчиком питания, после чего был отправлен на Колыму, освобожден — в марте 1940 г.). Кроме того, рассказ Е.М. Крепса вошел и в воспоминания младшего брата поэта — Евгения Эмильевича.

ма забрали в лазарет (за зону) прошел приблизительно месяц и еще около месяца прошло после этого момента до слуха о смерти Мандельштама.

Запись М.С. Лесмана в деталях расходится с нашей. Так, по Лесману, встреча произошла в теплый период, поскольку поэт был не в бушлате. Крепс обратил внимание на седого, невысокого человека: большие глаза, интересное лицо. В первую же встречу Крепс допустил бестактность, спросив Мандельштама о том, что ему инкриминируется: поэт сразу замкнулся. Мандельштам произвел на Крепса впечатление психически больного человека. К еде он был безразличен. От встречи к встрече — а их было не так много — физическое состояние Мандельштама ухудшалось. Не встречая его несколько дней, Крепс спросил, а где же Мандельштам. «Умер», — ответили ему.

Главный очевидец, по словам Крепса, — это Дмитрий Михайлович Маторин, с которым они были знакомы еще до ареста — вместе ездили в Колтуши к И.П. Павлову играть в городки. Он и поныне живет в Ленинграде. В 1989 г. ему исполнилось 78 лет, но он продолжает работать... массажистом в Институте физкультуры им.Лесгафта! В прошлом борец, чемпион Ленинграда и Сибири, Д.М. Маторин был человеком поразительной физической силы. И сегодня — могучая шея, спина, руки — каким хлюпиком рядом с ним выглядел, вероятно, Осип Эмильевич!

Он сел «из-за» своего брата Н.М. Маторина, члена-корреспондента АН СССР, директора этнографического музея, арестованного и расстрелянного в 1935 г. На «Вторую речку» он попал в июне 1938 г. Из-за своей силы он пользовался уважением не только хлипких «контриков», но и лагерного начальства, которому не раз помогал управляться с урками. Его девиз в лагере: быть человеком, не притворяться. Сила, разум и чистоплотность — на этом он строил все свое поведение. Благодаря «знакомству» с Крепсом, он был сначала возчиком при кухне, а потом попал в инженерную бригаду — что-то вроде лагерной «шарашки»: бригада (12 человек) имела свой домик в китайской зоне. Возглавлял бригаду архитектор из Краснодара Алексей Муравьев. Были в ней Н.Н. Амаатов — крупнейший инженер, специалист по самолетным приборам, скульптор Блюм, художник Киселев (портретировавший всех вождей), театральный художник Шуко (сын архитектора), учившийся в Англии инженер Фрате, инженер-сантехник Сно-

---

<sup>1</sup> Была у него еще и страсть к художественной самодеятельности. Всюду, где его носило по лагерю, он организовывал культбригады.

видов, двое инженеров-однофамильцев Михайловых. Сам Маторин числился в бригаде чертежником-светокопировальщиком, но фактически был дневальным.

По Д.М. Маторину, Мандельштам прибыл в лагерь позже него, но тоже летом — скорее всего, в августе. Вот что он вспоминает, непосредственно о Мандельштаме<sup>1</sup>:

Он был худой, среднего роста, в зеленом френче, с узким симпатичным лицом, в полуботинках, какой-то необозленный. Быстрый, прыгающий человек... Петушок такой.

Интеллигенты, видимо, понимали, кто он, а я, грешным делом, не понимал, урки считали его ненормальным. Меня он не боялся, ел со мной, называл Митей. Его должны были отправить в Россию, в Мариинские лагеря для инвалидов. При мне его не били. Был случай, когда Мандельштам бросился к ведру с питьевой водой и стал жадно пить. Был другой случай, когда он схватил пайку "до раздела". Что это значит — до раздела? Когда привозили хлеб (в тюрьме пайка — 350 граммов, здесь 400 с довеском, который прилеплялся к "основе" деревянным штырьком), его раздавали так: один из зеков отворачивался, другой брал в руки пайку и говорил: "Кому?" Тот: "Иван Ивановичу!" и т.д. Так вот Мандельштам схватил пайку, не дождавись раздела. Его хотели за это бить, но я не дал, сказав, что, хотя и не по правилам, но Мандельштам взял не чужую, а свою пайку. /.../ Надо сказать, Крепс часто зазывал его в рабочий барак, где его подкармливали. Хотя ел он мало, все больше сочинял. Стихи он не записывал, они у него в голове оседали. Возле него собиралась группа интеллигентных москвичей и ленинградцев. Он по всей транзитке бегал, от одной группы к другой, всем стихи свои хотел почитать. Речь его перемежалась иностранными словами. Меня же он при встречах хватал за руку и целовал ее, когда я ему кусочек хлебца давал или еще что-нибудь. Вообще он благодарил всех за любое одолжение. Стихи свои он и мне читал, мне всегда хотелось его слушать, я, к сожалению, запомнил только строчки: "Река Яузная, берега клязновые..."

Все звал меня в Москву, когда нас выпустят, обещал книжку свою подарить. И поэму мы, говорил, с тобой, Митька, про транзитку напишем.

Многие его считали ненормальным. Отгоняли, когда он настырно со стихами приставал. Нет, не били, но грозили побить. Грозили потому, что было не до него. Все заняты были тем, что-

---

<sup>1</sup> Помимо собственных наших записей, использованы записи, сделанные в мае и ноябре 1988 г. С.С. Неретиной.

бы выжить, это была главная забота. Тем более, сам он слушать не мог — только рассказывать. Говорить с ним мог лишь человек, который его понимал.

— Куда меня отправят, Митя, куда меня отправят? На Колыму? Не хочу.

— Никуда вас не отправят, — говорил я, — у вас здоровье не то.

Я это знал наверняка. Я был любимцем у начальника лагеря Смыка, потому что помогал ему справляться с урками. И он поручил мне направо-налево раскладывать зековские формуляры. Направо — здоровых, на Колыму, налево — больных и стариков, в Мариинские сибирские лагеря. И потому я знал, что Мандельштама никто никуда не отсылал и вообще не трогал.

Никаких особых работ на пересылке не было. Так, убрать что-нибудь, подмести, поднести — это было. Мог и Мандельштам что-нибудь этакое делать. В основном же ничего не делали. Книг не было. Играли в самодельные, из хлеба, шахматы. Поэтому в лагере, если хотите, надо было следовать неким гигиеническим правилам. Я говорил Мандельштаму: "Ося, делай зарядку — раз; дели пайку на три части — два". А он пищу не по-человечески ел, глотал все сразу, а это, хоть и мало, все же 400 граммов! Я ему: "Ося, сохрани". Он мне: "Митя, украдут". Да и у самого были замашки съесть чужое. Он и чечевичку — черпачок — залпом выпивал. Расстройство его в том и проявлялось, что он был очень небрежен. Я иногда заставлял его мыться. К тому же, эпидемия была: сыпной тиф и лихорадка какая-то — ее называли восточной. Я думаю, что он — при всех своих качествах — заболел сразу и тем, и другим. Было и еще одно: он пал духом, а значит — все потерял. Правда, надеялся, что Сталин его скоро отпустит. Ут-верждал, что написал ему письмо.

Крепса к тому времени в лагере уже не было, а время, повторяю, осень, может, даже октябрь, хотя я был в телогреечке... Но морозов не было. Не дожил он до них.

— Как вы полагаете — он долго болел?

— Вряд ли. Мне сообщили бы.

— При каких обстоятельствах вы его видели в последний раз?

— Подходит однажды ко мне начальник лагеря и говорит: "Жив, Дмитрий?" — "Жив", — говорю. — "Отнеси-ка жмурика". Кто жмурик, я не знал. На носилках под простыней уже лежал человек с биркой на большом пальце правой ноги. Этого человека мы из нашей маленькой, в рабочем бараке, больницы должны были отнести в первую зону, в больничку. Но прежде я ему руки поправил. Они были вдоль тела вытянуты, а я хотел их сложить



по-христиански. И они легко сложились. Мягкие были. И теплые. Знаете, ведь покойник окостеневаает, руки, ноги не гнутся, а здесь... Я напарнику говорю: "Живой будто". Я, конечно, понимаю, какую ответственность сейчас на себя беру, произнося эти слова. Прошу их за догму не принимать. Мало ли что, могло и показаться. Но факт был: руки сложились легко. Я и бирку поправил с семизначным, кажется, номером. О том, что это Мандельштам, узнал по бирке.

А дальше за дело принялись урки с клешами, меня они быстро выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы. Снимали с помощью мыла кольцо, если кольцо не поддавалось, отрубали палец. У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки... И только потом хоронили: в нательной рубашке, кальсонах, оборачивали простыней и отвозили на кладбище без гроба. На Второй речке за первой зоной рыли траншеи на штык — глубиной 50-70 сантиметров — и рядами укладывали...»

Е.М. Крепс упомянул и Ю.Г. Оксмана. В воспоминаниях о Мандельштаме Елены Михайловны Тагер это имя появляется вновь. Оба товарищи еще с юношеских лет и оба пушкинисты, они встретились в 1943 году в Магадане. Между ними завязалась своеобразная «переписка из двух углов» и в первом же письме Оксман сообщил о смерти Мандельштама. Е.М. Тагер приводит выдержку из его письма: «К несчастью, это верно. Я говорил с товарищами, бывшими при нем до конца, говорил с врачами, закрывшими ему глаза. Он умер от нервного истощения, на транзитном лагпункте под Владивостоком. Рассудок его был помрачен. Ему казалось, что его отравляют, и он боялся брать пайку казенного хлеба. Случалось, что он съедал чужую пайку (чужой хлеб — не отравлен), и Вы сами понимаете, как на это реагировали блатари. До последней минуты он слагал стихи; и в бараке, и в поле, и у костра он повторял свои гневные ямбы. Они остались незаписанными, — он умер. Он умер —

За музыку сосен Савойских,  
За масло парижских картин.»<sup>1</sup>

Еще одно письменное свидетельство о последних днях О.Э. Мандельштама находим в письме 1971 года бывшего зека Матвея Андреевича Буралева сестре его покойного друга и тоже бывшего

---

<sup>1</sup> По слова В.Каверина, Оксман рассказывал ему, что Мандельштам умер от голода, копаясь в куче отбросов («Литературная газета», 1988, №24, 15 июля, с.5).

зека Дмитрия Федоровича Тетюхина: «С ним [Тетюхиным.- П.Н.] у нас в жизни были интересные встречи, кому теперь о них рассказать? Например, летом 1938 года во Владивостоке мы с ним лежали на нижних нарах трехъярусного барака, голодные, курить нечего, и вдруг к нам подходит человек лет 40 и предлагает пачку махорки в обмен на сахар. Утром мы с Дмитрием получили арстантский паек на неделю и потому [он] предложил за махорку сахар. Сахар был кусковой, человек взял сахар, с недоверием его осмотрел, полизал и вернул обратно, заявив, что сахар несладкий и он менять не будет.

Мы были возмущены, но махорки не получили.

Каково же наше было удивление, когда узнали, что этим человеком оказался поэт Мандельштам О. Потом он нам прочитал свои шедевры: усищи, сапожищи... и такое: Там за решеткой небо голубое, голубое как твои глаза, здесь сумрак и гнетущая тяжесть...

Все это было и теперь рассказать некому»<sup>1</sup>.

Короткий рассказ Владимира Алексеевича Баталина (1903-1978), он же отец Всеволод, в прошлом врач и филолог, был записан М.С. Лесманом 14 сентября 1969 г.: «Осенью 1938 года я прибыл этапом на пересылку "Вторая речка" в г. Владивостоке. Пересылка кишма кишела всяческим лагерным народом, ждавшим переправы пароходом на Колыму.

Там я познакомился с врачом-ленинградцем по фамилии Миллер (имени, к сожалению, не вспомню, кажется, немец). Доктор Миллер, предлагая мне идти помогать им в амбулаторном обслуживании многочисленных пересыльных больных, сказал (конфиденциально), что в больницах пересылки свирепствует тиф (не помню, какой) и что текущим летом среди его — Миллера — больных умерли в пересыльной больнице: поэт Осип Мандельштам, писатель Бруно Ясенский и художник Лансере. О Мандельштаме Миллер сказал, что он был пеллагрозник, крайне истощенный, с нарушенной психикой. Умирая, в бреду читал обрывки своих стихов».

Впоследствии доктор Иоганн Миллер работал на прииске Юзгела на Колыме, где его видела врач Н.В. Савоева, которой мы обязаны спасенной на этот раз жизнью Варлама Шаламова. В 1940 г., по дороге к месту работы на Колыме, Нина Владими-

---

<sup>1</sup> Это письмо было передано нам племянником Д.Ф. Тетюхина Валентином Михайловичем Горловым — журналистом и писателем из пос. Грибановского Владимирской обл.

ровна провела несколько дней в лагерном общежитии, и одна мойщица посуды водила ее в барак и даже показывала койку, на которой умер Мандельштам. Кстати сказать, этот рассказ лег в основу шаламовского «Шерри-бренди»<sup>1</sup> — «дани пострадавшего художника собрату по искусству и судьбе» (Н.Я. Мандельштам).

Еще одно свидетельство — поэта и критика Игоря Стефановича Поступальского, арестованного по наветам Тарсиса и Турганова в ночь с 26 на 27 октября 1936 г. одновременно с В.И. Нарбутом, Б.А. Навроцким и П.В. Зенкевичем. (Его допрашивал Николай Христофорович Шиваров — тот самый «Христофорович», который допрашивал Мандельштама в 1934 г.<sup>2</sup>) На «Вторую речку» он попал осенью 1937 г. (вместе с В.Шаламовым). Позднее, в 1941 г. уже на Колыме (поселок Ягодный), от нескольких очевидцев он слышал и запомнил кое-что о Мандельштаме.

В лагере тот был почти невменяем, слыл за сумасшедшего. На ногах носил меховые штаны с вырванными клоками ваты сзади. Выкрикивал что-то насчет римского папы, иногда за курево читал стихи, его не понимали, но курево все равно давали. Не раз был жестоко избит. Кто действительно помогал Мандельштаму — так это врачи (см. выше). Память И.С. Поступальского сохранила три имени: Иван Васильевич Чистяков, заведующий 4-ой палатой, где Мандельштам пролежал два месяца. Другой врач — Вазген Атанасян. Третий — Евгений Иннокентьевич Цебрибов, инженер, староста 4-ой палаты. Врачи устроили поэта «на работу» — «сторожить» одежду покойников: за это он получил тулуп и добавочное питание. Но к весне 1939 г. он ослабел настолько, что его сняли с этой работы. Его положили в больницу, и в марте от порока сердца, цынки и авитаминоза он умер.

И, наконец, еще одно зафиксированное Н.Я. Мандельштам свидетельство — писателя Д. (очевидно, Юрия Осиповича Домбровского). Через третьи руки он в лагере слышал о том, что судьбу Мандельштама решило какое-то письмо Бухарина — других сведений о «следствии» по второму делу до Н.Я. Мандельштам не дошло. Сам он утверждал, вопреки сведениям Казарновского и Хазина, что видел человека — старика лет семидесяти — по фами-

---

<sup>1</sup> Опубликован в «Москве», 1988, №9. Этот рассказ был прочитан автором на первом в СССР вечере памяти О.Э. Мандельштама, состоявшемся 13 мая 1965 г. на мехмате МГУ.

<sup>2</sup> В 1938 или 1939 г. следователь повторил путь своих жертв: вскоре он покончил жизнь самоубийством, отравившись снотворным (сообщено В.В.Катаняном).

лии Мандельштам и которого все называли «поэт» — зимой 1939-1940 гг., в период финской войны<sup>1</sup>.

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д., — пишет Н.Я. Мандельштам, — а его рассказ смутил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни?.. /.../ Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. В страшном месиве и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями — а Д. один из них — не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные за и против.

Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах и вокруг него копошились другие смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили, или она не успела прийти... Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О.М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то произвольную фамилию, перечеркнул адрес, написал на сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову — «за смертью адресата» — и отправил ящик обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.

А после его смерти — или до нее? — он жил в лагерных легендах, как семидесятилетний безумный старик с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «поэтом». И какой-то другой старик — или это был О.М. — жил в лагере на «Второй речке» и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он.

Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> На пересылке «Вторая речка» он был осенью 1940 г. вместе с режиссером Леонидом Варпаховским и некими поэтом Башмачниковым и Жоржем Моргуновым. В письме Л.В. Варпаховскому от 24 марта 1957 г. он перечисляет темы их разговоров на пересылке: среди них — разговор о судьбе помешавшегося Осипа Мандельштама (семейный архив Л.В. Варпаховского).

<sup>2</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.408-409.

И все-таки, благодаря «Делу...» з/к Мандельштама (так в деле), мы знаем о дате смерти Мандельштама достаточно, чтобы сомнения отпали: 27 декабря 1938 г. — не предположительная, а точная дата его смерти. Она удостоверена актом №1911, составленным врачом Кресановым и дежурным медфельдшером (фамилия неразборчива)<sup>1</sup>. Мандельштам был положен в стационар (больницу, отдельный лагпункт СВИТЛ НКВД) 26 декабря 1938 г. и уже 27 декабря умер. Причина смерти — паралич сердца и артериосклероз. В тот же день труп был дактилоскопирован. Ввиду ясности смерти, как написано в этом акте, труп вскрытию не подвергался.

Имеющаяся в деле дополнительная справка уточняет время наступления смерти: 12 часов 30 минут. Составляющий ее счел нужным отметить, что при осмотре трупа на левой руке в нижней трети плеча видна родинка.

31 декабря старший дактилоскопист ОУР РО (отделения Угрозыска Райотдела) УГБ НКВ по «Дальстрою» тов. Повереннов произвел «сличение и отождествление пальце-отпечатков, снятых на дактокарте з/к, умершего 27 декабря 1938 г. и числящегося в санчасти ОЛП согласно ротной карточке под фамилией Мандельштам [так в документе. — *П.Н.*], с пальце-отпечатками на дактокарте, зарегистрированными на его имя в личном деле. Оказалось, что строение папиллярных линий [характерных рельефных линий на ладонных и подошвенных поверхностях. — *П.Н.*], узоров и характерных особенностей пальце-отпечатков по обоим сличаемым дактокартам между собой обозначаются как совершенно тождественные и принадлежат одному и тому же лицу» (и первая, и вторая дактограммы имеются в деле).

В свидетельстве о смерти как-то настораживает то, что труп не вскрывали. Что это значит? Обычная ли это практика или исключительный случай? И разве можно установить причину смерти без паталогоанатома? А если да, то входят ли в число таких безусловных причин паралич сердца и артериосклероз? И не является ли вдруг эта запись указанием на насильственный характер смерти?

Нина Владимировна Савоева, одна из врачей-колымчан, рассказывала, что, как бы трудно ни было, но в больничках колымских зон вскрывался каждый труп, но на пересылке все могло быть совсем иначе, к тому же в декабре 1938 г. налево и направо косил сыпняк — не справляясь с «потокком» мертвецов, врачи вполне могли оставить одного, или нескольких, или многих — без вскрытия.

---

<sup>1</sup> По некоторым сведениям, человек этот до сих пор жив.

## ПОСТСКРИПТУМ

В «Листках из дневника» Анны Ахматовой есть такое место: «В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы: "У подружки Лены родилась девочка, а подружка Надя овдовела", — писала она»<sup>1</sup>.

Московская приятельница — это Эмма Григорьевна Герштейн, подружка Лена — Елена Константиновна Гальперина-Осмеркина, девочка — дочь Осмеркиных Лиля, родившаяся 30 января 1939 г. Подружка Надя — Надежда Яковлевна Мандельштам<sup>2</sup>.

Вестницей смерти была повестка в почтовое отделение у Никитских ворот. Почтовая барышня вернула Надежде Яковлевне посланную во Владивосток посылку (точнее, перевод), пояснив: «За смертью адресата». Это произошло в тот самый день, когда газеты опубликовали огромный список писателей, награжденных орденами<sup>3</sup>. Надежда Яковлевна поехала к Харджиеву в Марьину Рошу и вызвала туда Эмму Герштейн, а Евгений Яковлевич поехал в тот праздничный день в Лаврушинский переулок, чтобы сообщить Шкловскому. Тот был внизу, кажется, у Катаева, где писатели отмечали награды. «Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденосцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок»<sup>4</sup>.

Весть о смерти Мандельштама разлетелась довольно быстро и широко. Надежда Яковлевна написала в Воронеж Наташе Штемпель, Эмма Герштейн в Ленинград — Рудакову и Ахматовой. Ахматова, встретив в скверике у Казанского собора Тынянова, поделилась новостью с ним<sup>5</sup>. «Слыхали ли Вы, что умер О.Мандельштам?» — спрашивал 9 марта 1939 г. литературовед А.Б. Дерман Аркадия Георгиевича Горнфельда. 27 марта об этом же А.В. Звенигородскому писал Е.А. Архипов<sup>6</sup>.

В июне 1940 г. А.Э. Мандельштама вызвали в ЗАГС Бауманского района и вручили ему для вдовы свидетельство о смерти

<sup>1</sup> «Вопросы литературы», 1989, №2, с.215.

<sup>2</sup> Подробнее см.: Э.Г. Герштейн. *НОВОЕ О МАНДЕЛЬШТАМЕ*. Париж, Atheneum, 1986, с.84-85, 110-111.

<sup>3</sup> Указ за подписью М.Калинина и А.Горкина от 31 января 1939 г. Орденом Ленина был награжден 21 писатель, в т.ч. Катаев, Фадеев и Павленко, орденом Трудового Красного Знамени — 48 (в т.ч. Шкловский), а орденом «Знак Почета» — 97 писателей (опубликовано в «Литературной газете» за 5 февраля 1939 г.).

<sup>4</sup> Н.Я. Мандельштам, ук. соч., с.395.

<sup>5</sup> В.Каверин. *УЖЕ НАПИСАНА ПЕРВАЯ ФРАЗА...* — «Литературная газета» 1988, №24, 15 июля, с.5.

<sup>6</sup> Сообщено М.А. Торбин.

старшего брата. Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года, причина смерти — паралич сердца и артериосклероз. В своих мемуарах Надежда Яковлевна недоумевала, почему ей вдруг оказали такую милость и выдали свидетельство о смерти.

Бесспорной причиной получения этого документа явился ее запрос, посланный 7 февраля 1939 г. в Главное управление лагерей:

Мне известно, что мой муж заключенный Мандельштам Осип Эмильевич умер во Владивостоке (С.В.И.Т.Л. 11 барак 5 лет КРД), т.к. мне был возвращен денежный перевод «за смертью адресата». Дата смерти определяется между 15/II-38 г. и 10/I-1939 г.

Прошу управление лагерей проверить мои сведения и выдать мне официальную справку о смерти О.Э. Мандельштама.

Надежда Мандельштам.

Ответ прошу сообщить по адресу:

Москва Старосадский №10 кв.3

Александру Эмильевичу Мандельштаму.

У меня в данное время адреса нет, т.к. временная моя прописка в Москве кончилась и я ищу помещение под Москвой.

По запросу Надежды Яковлевны из Москвы был, видимо, сделан соответствующий запрос, ответом на который явилось следующее письмо от 10 июля 1939 г. на бланке Севвостлага НКВД, бухта Нагаево:

Начальнику Отдела актов гражданского состояния по Дальстрою г. Магадана

При этом направляется переписка родных с извещением о смерти з/к Мандельштама О.Э. л/д № 3/2844 для непосредственного ответа заявителю. Начальник УРД СВИТЛ НКВД Лейтенант Бондаренко. Начальник УСО УРО Барабатин.

Основанием для этого письма, по-видимому, послужила справка о смерти О.Э. Мандельштама, подписанная 25 июня 1939 г. руководителем группы (вероятно, розыска документов) тов. Жилачевой. Причины почти годичной задержки с ответом нам неизвестны.

## ПОСТПОСТСКРИПТУМ

Реабилитация Мандельштама растянулась на полвека. Сначала с него сняли «пятно» второго дела — определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 31 июля 1956 г. оно было «прекращено производством за отсутствием состава преступления» (текст соответствующей справки №02/ДСП-4974-56 от 29 августа 1956 г., подписанный зам. председателя

указанной коллегии И.Аксеновым впервые был опубликован в многотиражной газете МАЛИ «За автомобильно-дорожные кадры», 1988, №2, 7 января, с.3). Э.Г. Герштейн, сопровождавшая Н.Я. Мандельштам в прокуратуру, вспоминала с ее слов, что это «дело» умещалось в тоненькую папку: поэту якобы вменялось в вину, что в 1937-1938 г., незаконно ночуя у друзей в Москве и Ленинграде, он грубо нарушал предписанный ему паспортный режим; кроме того — он ходил по редакциям и забрасывал их своими стихами (Э.Г. Герштейн. «Мемуары и факты». — «Russian Literature Triquarterly», Ann Arbor, 1975, p.657).

Полная реабилитация О.Э. Мандельштама состоялась спустя еще 21 год: в письме старшего помощника Генерального прокурора СССР В.И. Андреева на имя председателя Комиссии по литературному наследию О.Э. Мандельштама Р.И. Рождественского от 9 ноября 1987 г. сообщалось, что «в процессе дополнительной проверки, проведенной по делу в отношении О.Э. Мандельштама за 1934 год, установлено, что он также был осужден необоснованно, поэтому по протесту заместителя Генерального прокурора СССР Верховный Суд СССР 28 октября 1987 г. дело прекратил». В этом же письме Комиссии сообщалось: «К сожалению, принятыми мерами розыска установить место нахождения и содержание текста рукописей О.Э. Мандельштама, изъятых при обыске в 1934 году, не представляется возможным».

Последнее утверждение, однако, не вызывало к себе большого доверия — уже потому, что из воспоминаний вдовы поэта было твердо известно, что Мандельштам в кабинете следователя записал текст своей эпиграммы на Сталина и этот «автограф» был приобщен к делу. То же самое в беседе с нами 25 октября 1988 г. подтвердил председатель Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР Р.Г. Тихомиров, занимавшийся реабилитацией по делу 1934 г. Он сообщил, что в системе Прокуратуры и Верховного Суда СССР хранятся лишь только представления о реабилитации и соответствующие решения. Эти документы формируются на основании следственных дел, запрашиваемых и возвращаемых в КГБ, где они и хранятся. В следственном деле, с которым Р.Г. Тихомирову пришлось ознакомиться, по его словам, имеются тюремная анкета Мандельштама с фотографией, протоколы допросов, а также несколько (!) экземпляров стихотворения о Сталине. Кроме того, в соответствии с ритуальной практикой 30-х годов по отделу литературы и искусства, в следственном деле О.Э. Мандельштама непременно должен быть и донос. Подтверждение этого «правила» мы нашли в отзыве В.Каверина, написанном 19 сентября 1987 г. по просьбе Следственного отдела



КГБ СССР в связи с «проверкой материалов дела О.Э. Мандельштама» накануне его реабилитации. Со слов занимавшегося этим следователя, Вениамин Александрович сообщает, что в деле Мандельштама имеется совпадающее по датам с высылкой поэта письмо Павленко, беспощадно громящее творчество Мандельштама. «Из этого следует, — пишет Каверин, — что именно это письмо [а если без обиняков, то донос! — *П.Н.*], доложенное Сталину или посланное Павленко в НКВД, погубило Мандельштама».

Но в особенно вопиющем противоречии с концовкой письма В.И. Андреева Р.И. Рождественскому находится факт получения последним... автографа стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны...»! Он был вручен председателю мандельштамовской комиссии заместителем председателя КГБ СССР Ф.Т. Бобковым в начале февраля 1989 г. и уже 9 апреля факсимильно воспроизведен в газете «Московские новости» (1989, №15, с.16). Этот сенсационный документ буквально потрясает: недаром десятки людей плакали перед стендами «Московских новостей» на Пушкинской площади! Дело не только в беспрецедентности факта обнаружения этого документа — первой ласточки, пусть и не делающей весны, но все-таки вселяющей надежду. Этот вырванный из школьной тетрадки в клеточку листок, с шестнадцатью строчками стихотворного текста и подписью поэта — страшный человеческий документ, главный обвинительный материал, основание для приговора. Вглядываясь в черночернильные оцепеневшие строчки, видишь, что происходило с Мандельштамом, когда он решился это записать, как дрожала его рука, как не слушалось перо. По четыре-пять раз окунал он ручку в чернильницу, чтобы записать одну строчку!

То же щемящее чувство, те же ужас и оцепенение я испытал месяцем раньше, в конце января 1989 г., когда передо мной на стол в кабинете начальника архива МВД СССР легла бежевая казенная папка с надписью: «Личное дело № 662 заключенного О.Э. Мандельштама. Прибыл [очевидно, в Бутырскую тюрьму, ставшую в 30-е годы всесоюзной пересылкой. — *П.Н.*] — 4 августа 1938 г. Арестован — 3 мая 1938 г. Срок хранения — постоянно».

Неизвестна твоя могила.  
Может быть, это целый свет.  
В первом «Камне» такая сила,  
Что последнего камня нет!..<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Из стихотворения Инны Лиснянской.

В ограде могилы Надежды Яковлевны Мандельштам на Старокунецском кладбище г. Москвы, как бы в сени ее дубового креста с вырезанной на нем молитвой, стоит небольшой серый камень — своеобразный эллиптический кенотаф. На нем высечено:

*Светлой памяти  
Осипа Эмильевича Мандельштама.*

И это действительно — навечно!

## ВОКРУГ МЕМУАРОВ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА

Публикация Е.Берар

Помещаемые ниже документы (за исключением последнего) относятся к истории публикации мемуаров И.Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Писатель начал работу над ними в конце 1950-х годов. Шесть частей воспоминаний, а также повесть «Оттепель» увидели свет на страницах «Нового мира» Твардовского между 1960 и 1965 гг. Появление их сделалось событием в культурной и политической жизни не только Советского Союза, но и других восточноевропейских стран, где вскоре вышли переводы мемуаров. Широкую известность обеспечило им прежде всего обилие портретов писателей и художников 1920-30-х годов, чьи имена были запрещены или неизвестны в СССР. Апология искусства авангарда сочеталась в книге с необычными, далекими от казенного оптимизма размышлениями автора об истории XX столетия. Эренбург вспоминал о чистках 30-х годов, о союзе с гитлеровской Германией, о разгроме первых месяцев Великой Отечественной войны, о «борьбе с космополитами» в последние годы сталинского правления... И хотя упоминания об этом уже встречались в советской литературе, — публикация мемуаров выдвинула Эренбурга в первые ряды разоблачителей сталинизма.

Эта антисталинская направленность книги воспринималась по-разному: если Надежда Мандельштам полагала, что «Люди, годы, жизнь» формировали «будущих читателей самиздата», то для Александра Солженицына книга явно не использовала всех возможностей, открывшихся после XX съезда партии, и ничего существенного к официальной советской историографии не добавила (как, впрочем, и воспоминания К.Паустовского, появившиеся в те же годы).

Четверть века спустя литературные баталии хрущевских времен потеряли свою остроту, и тексты Эренбурга, вызывавшие столь бурные страсти при своем появлении, — сегодня выглядят вполне невинными.

Тем не менее, документы, связанные с публикацией мемуаров, представляют несомненный интерес. Они оживляют наэлектризованную атмосферу тех лет, отражают страх, догматизм, раболепие, отягощавшие общественное сознание хрущевской оттепели.

1

Москва, 8 мая 1960

Дорогой Никита Сергеевич!

Мне совестно отнимать у Вас несколько минут, да еще в такое напряженное время, но я не вижу другой возможности.

В журнале «Новый мир» начинают печатать мои воспоминания. В начале я рассказываю о моем скромном участии в революционном движении в 1906-1908 годах. Там я говорю о Бухарине и Сокольникове того времени — о гимназистах и зеленых юношах. Я решаюсь послать Вам эту главу и отчеркнуть те две страницы, которые без Вашего слова не смогут быть напечатанными. Особенно мне хотелось бы упомянуть о Бухарине, который был моим школьным товарищем. Но конечно, если это сейчас политически неудобно, я опущу эти две страницы.

Простите за покушение на Ваше время.

С глубоким уважением  
И.Эренбург

В рукописи это была двадцать девятая глава, где рассказывалось о дружбе Эренбурга с Бухариным в 1905 г., но главное — упоминался бухаринский процесс 1938 г., на котором Эренбург присутствовал в качестве корреспондента «Известий», но писать о котором тогда отказался. Хрущев не ответил на просьбу, однако имя Бухарина упоминается в первой части мемуаров (И.Эренбург. Собрание сочинений. М., 1967, т.8, с.37,44). Стоит отметить, что в 1962 Хрущев принял вдову Бухарина и снял обвинения, выдвинутые на процессе против ее мужа. В этом свете, колебания Дементьева при публикации шестой части мемуаров, где упоминается «Николай Иванович», — особенно примечательны (см. док.3).

2

Барвиха, 5.IV.62 г.

Дорогой Илья Григорьевич!

Я виноват перед Вами: до сей поры, за множеством дел и случаев, не собрался написать Вам по поводу «пятой части»<sup>1</sup> и оста-

вил на рукописи по прочтении лишь немые, может быть, не всегда понятные пометки. Вероятно поэтому, Вы и не приняли некоторые из них во внимание. А между тем я считаю их весьма существенными и серьезными. Речь ведь идет не о той или иной оценке Вами того или иного явления искусства, как, скажем, было в отношении Пастернака и др., а о целом периоде исторической и политической жизни страны во всей его сложности. Здесь уж «каждое лыко в строку». Повторяю мое давнее обещание не «редактировать» Вас, не учить Вас уму-разуму, — я этого и теперь не собираюсь делать. Я лишь указываю на те точки зрения, которые не только не совпадают с взглядами и пониманием вещей редакцией «Нового мира», но с которыми мы решительно не можем обратиться к читателям.

Перехожу к этим «точкам» не по степени их важности, а в порядке следования страниц.

*Стр.2.* Фраза об «игроке и карте». Сентенция не бог весь какой новизны и глубины, но обращенная к советской печати в такой категорической форме, не может быть принята. Редакция здесь не может, как в иных случаях, отстаивать Ваши права на своеобразную форму выражения.

*Стр.8.* Концовка главы. Смысл: война непосредственное следствие пакта СССР с Германией. Мы не можем встать на такую точку зрения. Пакт был заключен в целях предотвращения войны. «Хоть с чертом», как говорил Ленин, только бы в интересах мира.

*Стр.32.* «Дача кому-то приглянулась». Фраза как будто невинная, но мелочность этой мотивации так несовместима с серьезностью и трагичностью обстоятельств, что она выступает здесь к Вашей крайней невыгоде. И потом, есть вещи, о которых читателю должны сообщать другие, а не сам «пострадавший». От этой фразы несет урон дальнейшее изложение в своей существенности, значительности. И далее (33): «Есть вещи, о которых приходится повторять для того, чтобы они никогда больше не повторились». Дело опять же в несоизмеримости исторических обстоятельств с конкретным поводом, по которому высказывается это заключение. Да и так ли важно, Илья Григорьевич, Вам доказывать сейчас, что Вы не были «невозвращенцем» — поднимать эту старую сплетню, одну из многих забытых сплетен?

*Стр.39-40.* Сотрудники советского посольства, приветствующие гитлеровцев в Париже, «Львов», посылающий икру Абетцу<sup>2</sup>. Мне неприятно, Илья Григорьевич, доказывать очевиднейшую бестактность и недопустимость этой «исторической детали».

*Стр.43.* «Немцам нужны были советская нефть и многое другое»... Это излишнее натяжение в объяснение того частного факта, который и без того объяснен Вами: Вашей фамилии в документах не было.

*Стр.45.* Весь первый абзац. «Свадебное настроение» в Москве в 40 г.? Это, простите, неправда. Это было уже после маленькой, но кровавой войны в Финляндии, в пору всенародного тревожного предчувствия. Нельзя же тогдашний тон газет и радиопередач принимать за «свадебное настроение» общества.

*Стр.46.* Услышанные где-то от кого-то слова насчет «людей некоторой национальности» представляются для той поры явным анахронизмом.

*Стр.47.* Опять о «причислении» Вас к невозвращенцам. Можно подумать, что Вам нравится повторять эту сплетню.

*Стр.50.* «Мартынов шевелил губами» и т.п. Это, конечно, Ваше дело, но я не могу не заметить, что это место делает Вас вместе с Мартыновым смешными. Претензий никаких.

*Стр.52.* То, что Вы говорите о Фадееве здесь, как и в другом случае — ниже, для меня настолько несовместимо с моим представлением о Фадееве, что я попросту не могу этого допустить на страницах нашего журнала. Повод, конечно, чисто личный, но редактор — тоже человек.

*Стр.54.* Фраза насчет собак в момент телефонного звонка от Сталина, согласитесь, весьма нехороша. Заодно замечу, что для огромного количества читателей Ваши собаки, возникающие там-сям, в изложении, мешают его серьезности. Собаки (комнатные) в представлении народном — признак барства и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его «эпатировать».

*Стр.57.* «Рыбе разрешили на минуту нырнуть в воду». Не нужно так, Илья Григорьевич, слишком это форсисто.

*Стр.58.* Слова Ахматовой: «Ничему не нужно удивляться». Вы уверены, что она не против опубликования их?

«Вот пели "если завтра война"...» — непонятно — что про что, кто говорит (*тогда* еще не критиковали этих строк песни).

*Стр.59.* «Понятно, когда наивная девушка жалуется, что ее обманул любовник...» Здесь Вы предлагаете читателю поставить вместо слов «наивная девушка» слово противоположного смысла. Это — ни в какие ворота.

Может быть, я не все перечислил, что-нибудь осталось вне перечня. И среди перечисленных есть вещи большей и меньшей важности. Но в целом — это пожелания, в обязательности которых мы убеждены, исходя не из нашего редакторского произвола или каприза, а из соображений прямой необходимости.

Будьте великодушны, Илья Григорьевич, просмотрите еще раз эту часть рукописи.

Желаю Вам, как всегда, всего доброго.

Ваш А. Твардовский

«Новый мир» напечатал в 1962 г., среди прочего, *ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА* В. Некрасова, *ТИШИНУ* Ю. Бондарева, *ВОЛОГОДСКУЮ СВАДЬБУ* А. Яшина, *СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ* В. Каверина и, наконец, в ноябре, *ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА* А. Солженицына. Возражения, высказанные Твардовским в адрес четвертой части мемуаров *ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*, показывают, что стремление «Нового мира» сохранять положение ведущего либерального журнала эпохи «десталинизации» не исключало ни стилистической, ни политической цензуры со стороны редакции.

<sup>1</sup> Речь идет о четвертой части («Новый мир», 1962, №4, 5, 6).

<sup>2</sup> Otto Abetz — немецкий политический и общественный деятель, член национал-социалистической партии, посланный во Францию с пропагандистскими целями и завязавший тесные связи в кругах французских интеллектуалов. Выслан из Франции в начале войны, в июне 1940 вернулся в Париж в качестве немецкого посланника.

### 3

Москва, 10 апреля 1962

Дорогой Александр Трифонович, я получил Ваше письмо. Некоторые из Ваших замечаний меня удивили. Я знаю Ваше доброе отношение ко мне, и очень ценю, что Вы печатаете мою книгу, хотя со многим из того, что есть в ее тексте, Вы не согласны. Знаю я и о Ваших трудностях. Поэтому, несмотря на то, что Вы пишете, что изложенные Вами «пожелания, в обязательности которых мы убеждены», я все же рассматриваю эти пожелания не как ультимативные и поэтому стараюсь найти выход, приемлемый как для Вас, так и для меня.

1 — стр.2. Фразу об игроке и карте я снимаю.

2 — стр.8. Конец главы будет такой: «1 сентября Молотов заявил, что этот договор служит интересам всеобщего мира. Однако два дня спустя Гитлер начал вторую мировую войну»<sup>1</sup>.

3 — стр.32. В измененном виде будет так: «Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — ”невозвращенец“, — кому-то это понадобилось. Ирине пришлось пережить много тяжелого; Париж был отрезан и повсюду ее спрашивали: ”Правда ли, что Ваш отец — невозвращенец?“

9 июля на многих магазинах...»<sup>2</sup>

4/5 — стр.39-40. Я выпускаю «Львов делал свое дело, но...» Идя навстречу Вашей просьбе, с горечью снимаю все о «Львове» и о сотрудниках посольства.

6 — стр.43. Никак не могу согласиться с Вашим замечанием<sup>3</sup>.

7 — стр.45. Выпускаю: «На свадьбе полагается не плакать, а плясать». Далее пишу: «А в Москве настроение было скорее спокойное»<sup>4</sup>.

8 — стр.46. Перед перечнем имен пишу: «Перелистывая записную книжку, я вижу, кто приходил к нам». По поводу замечания об анахронизме, обращаю Ваше внимание на то, что сам пишу «(в то время диковинные)» и таким образом я сам подчеркиваю то, о чем Вы пишете<sup>5</sup>.

9 — стр.47. Я никак не могу скрыть, что мне было трудно работать, т.е. что меня не печатали<sup>6</sup>.

10 — стр.50. Мне придется вместе с Мартыновым быть смешным, потому что и у него и у меня привычка, когда мы про себя читаем стихи, шевелить губами<sup>7</sup>.

11 — стр.52 и 56. Идя Вам навстречу, я вношу следующие изменения: первая строчка — «Я встретился с Фадеевым» и как было до конца абзаца. В следующем абзаце, вместо «Председательствовал Фадеев» — «Председатель, увидев меня, сказал: ...» Далее, начиная со слов «Я не хочу, чтобы меня дурно поняли...» до конца абзаца снимаю<sup>8</sup>.

12 — стр.54. Я не считаю, что собаки оскорбительно вмешиваются в рассказ о телефонном звонке. Что касается Вашего общего замечания, то позвольте мне сказать, что среди моих читателей имеются люди, которые любят и не любят собак, как есть люди, которые любят и не любят Пикассо. Поскольку Вы великодушно разрешили мне излагать мои эстетические суждения, которые Вам были не по душе, разрешите мне выходить на прогулку с моими собаками<sup>9</sup>.

13 — стр.57. В измененном виде звучит так: «Для меня это было короткой вылазкой: рыба на минуту нырнула в воду»<sup>10</sup>.

14 — стр.58. Я совершенно с Вами согласен, что нужно было спросить мнение Анны Андреевны — не возражает ли она против опубликования ее слов, что я и сделаю. Что касается слов: «Вот пели...», то таково было содержание записки, поданной мне на



вечере и переписанной в мою записную книжку. Если Вас эта фраза смущает, я могу ее опустить<sup>11</sup>.

15 — стр.59. Ваше противопоставление наивной девушке видимо испытанной женщины дурного поведения — чрезвычайно личное. Я считаю, что опытного дипломата тоже можно противопоставить наивной девушке. Но чтобы лишить возможности некоторых людей прийти к такому игривому сопоставлению, я вношу изменение: «Понятно, когда наивная девушка жалуется, что ее обманули»<sup>12</sup>.

Вот и весь список. Поверьте, что я с моей стороны с болью пошел на те купюры и изменения, которые сделал. Я могу в свою очередь сказать, что в «обязательности» оставшегося я убежден. Ведь если редакция отвечает за автора, то и автор отвечает за свой текст. Я верю, что Вы по-старому дружески отнесетесь и к этому письму и к проделанной мною работе.

Я говорил Борису Германовичу<sup>13</sup>, что весь май месяц я буду за границей и поэтому просил утрясти с Главлитом текст, который пойдет в майском и июньском номерах до моего отъезда, т.е. до 1 мая.

От всей души желаю Вам счастья.

Ваш И.Эренбург.

Все поправки Эренбурга, кроме одной, были учтены и в новомировской публикации, и в Собрании сочинений (т.9, М., 1967 — все библиографические сноски сделаны по этому изданию).

<sup>1</sup> с.233.

<sup>2</sup> с.250.

<sup>3</sup> с.257.

<sup>4</sup> с.258.

<sup>5</sup> с.259.

<sup>6</sup> с.259-260.

<sup>7</sup> с.262.

<sup>8</sup> с.266.

<sup>9</sup> с.265. В шестой части (с.461) Эренбург вновь возвращается к этой теме: «Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках — "барские причуды" /.../ Еще раз повторяю: моя книга сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества».

<sup>10</sup> с.266.

<sup>11</sup> с.267. Говоря об июне 1941, Эренбург упоминает свое выступление «у пропагандщиков»: «Вот пели "Если завтра война", а что делали?.. Грохоту слишком много...»

<sup>12</sup> с.268. Предложенная фраза в тексте отсутствует.

<sup>13</sup> Б.Г. Закс был в то время одним из заместителей Твардовского по редакции «Нового мира».

#### 4

### О ШЕСТОЙ КНИГЕ МЕМУАРОВ И.Г. ЭРЕНБУРГА

По сравнению с предшествующими книгами в этой книге меньше желчи, крайностей и преувеличений. Она более объективна и глубока, хоть, может быть, и не столь интересна. Большая часть книги не вызывает у меня ничего кроме сочувствия.

Вместе с тем нельзя обойтись и без некоторых пожеланий.

1. Прежде всего невозможно не отметить, что книга появится в свет полтора года спустя после прошлогодних встреч руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией, на которых мемуары Эренбурга были подвергнуты серьезной критике со стороны Н.С. Хрущева и Л.Ф. Ильичева<sup>1</sup>. Читатели, естественно, будут интересоваться: а как И.Г. Эренбург относится к этой критике? Соглашается? Оспаривает? Прямого ответа на эти вопросы писатель не дает, хотя, конечно, мог бы дать. Что же означает это молчание? Знак согласия или протеста? Значит станут искать ответа в самом содержании книги и автору нужно быть к этому готовым. Очевидно, он не пожелает быть понятым ложно, не захочет давать повода для тех или иных криво толков.

2. Нуждается в некоторых дополнительных пояснениях глава о Назыме Хикмете. В ней энергично показаны сомнения и недоумения Хикмета (появились «начальники», «хозяева» и «черноты», вместо «ни царь ни бог и ни герой» поют «нас вырастил Сталин», погиб Мейерхольд, забыты традиции Маяковского, Мейерхольда, появилось много лжи и т.д.). Создается впечатление какого-то вырождения или перерождения революции. Правда, дальше говорится, что Хикмет «учится пониманию» и убеждается «в правоте того, во что раньше верил». Но эти слова явно нуждаются в конкретизации и разъяснении. Без этого они «повисают в воздухе»<sup>2</sup>. И наверное, герои «Дня второго» и «Бури» знали не только «зиму», «душевную скованность, страх и казуистику», «бур-

ные аплодисменты, переходящие в овацию» и ночи, когда «прислушивался к шуму на лестнице», но и многое другое, чем по праву могли жить и даже гордиться (стр. 443)<sup>3</sup>.

Хотелось бы, чтобы более убедительным и объективным был разговор о положении литературы и искусства в Советском Союзе. Не слишком ли много и желчно говорится о чиновниках, представленных к литературе (24)<sup>4</sup>, об ответственных товарищах, требовавших написать некролог о живом Иве Фарже (412)<sup>5</sup>, об одном товарище из ЦК, заявившем, что с Хикмета взятки гладки<sup>6</sup>, о требованиях переменить фамилии героев в «Дне втором» и «Не переводя дыхания»<sup>7</sup>, о том, что «типичность будет устанавливаться статистикой или шагистикой» (386)<sup>8</sup> и т.д. и т.п.? Но как бы тяжело ни сказывался культ личности на положении художественной интеллигенции, неужели только факты подобного рода может вспомнить И.Г. Эренбург? Неужели история советской живописи сводится к мытарствам Лентулова, Фалька, Татлина, Удальцовой и присуждению Сталинских премий разным [неразб.] баталистам? Как же тогда развивались советская литература и искусство?<sup>9</sup> Или их существование принадлежит к числу мифов XX столетия? Неужели сам Илья Григорьевич Эренбург испытал только гнет и преследования? Те, кто вел списки не только преступлений, но и благодеяний, были, пожалуй, более справедливы. Я убежден, что картина положения литературы и искусства в Советском Союзе, нарисованная И.Г. Эренбургом, страдает по меньшей мере односторонностью.

Спорна даже глава, посвященная постановлениям ЦК о литературе и искусстве 1946-1948 гг. и докладу А.Жданова. В ней тоже есть явные преувеличения. Исходные общие идеи постановлений вовсе не были дурными. Другое дело их вульгаризация и применение. Жданова лучше бы критиковать не за невежество (это неубедительная критика), а за проработку, за характеристики «Серрапионов», Зошенко и Ахматовой (47). Неверно, что годы 1946-1954 в литературе это — «годы запечатанных уст» (52 стр.)<sup>10</sup>

3. Есть известная недоговоренность в отношении И.Г. Эренбурга к «левому искусству». Думается мне, например, что он, будучи поклонником Пикассо, Матисса, Кончаловского, Фалька и др., вовсе не является сторонником формализма и модернизма декадентского толка. Так почему же не разъяснить этого обстоятельства, чтобы не вносить путаницы в сознание читателей и не давать повода для обвинений в пропаганде сосуществования реализма и формализма? Уверен, что и отношение И.Г. Эренбурга к Сурикову, Серову, Коровину тоже вовсе не таково, чтобы заявлять об их устарелости и утверждать, что метод Кончалов-

ского совсем другой. Наверное можно сказать об этом более точно<sup>11</sup>.

В связи с этим не следовало ли бы несколько расширить главу о П.П. Кончаловском? И, конечно, хотелось бы, чтоб в книге было ясно определено отношение автора к теориям мирного сосуществования идеологий. Тем более, что в ней часто говорится о единстве и преемственности культур, о культурном обмене и т.д. Надо решительнее защищать верное и отвергнуть несправедливое.

4. Пожалуй нужна несколько большая осторожность и сдержанность в характеристике некоторых современников. Так М.М. Литвинов иногда начинает выглядеть любителем сладко поест, Галактионов (56-57, 107) трусом<sup>12</sup>, Симонов — самовлюбленным сибаритом, Шостакович — индифферентным к делу мира, настолько, что выключает наушники во время конгресса. Кстати сказать, откуда известно, что говорил Литвинову Жданов?

5. Остается некоторая сбивчивость в освещении известного вопроса о «молчании». «Молчание было для меня не культом, а проклятием», — пишет И.Г. Эренбург на стр.406. Но если *проклятием*, то значит ему еще во времена культа личности было все ясно и понятно. И на странице 395-ой И.Г. трактует слова при вручении Ленинской премии, в январе 1953, о сторонниках мира, которых преследуют, мучают, травят, о тюрьмах, допросах и судах, как слова, относящиеся к жертвам Берии. Опять выходит, что И.Г. еще при жизни Сталина не только видел последствия культа личности, но и выступал против них. Но это противоречит многим другим заявлениям автора книги. Например на стр. 398-ой он рассказывает о том, как выступал на траурном митинге по случаю смерти Сталина и говорил «то, что и другие». Хорошо бы дать более четкое решение этого вопроса<sup>13</sup>.

6. «Не получилась» глава о Фадееве. Создается впечатление, что И.Г. Эренбург не любил Фадеева и не захотел скрыть это от читателей. Поэтому «портрет» получился однобоким, искаженным. Что сообщается о Фадееве? Что он пил, написал мало, что он скорее политик, а не писатель, что его метод натуралистический, что он проводил линию Сталина и Жданова вопреки своим художественным вкусам, что он автор «Столбовой дороги» и тезиса, что «надо изображать не то, что есть, а то, что должно быть», что он трусил и боялся (история с Гроссманом), навязывался с излияниями и т.д. И в сущности ничего больше. Очень неприятны и отдельные замечания о Фадееве, разбросанные по разным страницам книги. То Фадеев (вместе с Сурковым) рекомендуют «Правде» выступить против рецидивов антипатриотизма (317), то Хикмет «жалует» Фадеева за то, что, живя «в раю»,

ему приходилось смотреть, как «ангелы жарят на сковородке то-варишей» (как будто не приходилось смотреть другим писателям и самому И.Г.) (358), то ссорится с Фаржем, грубо проводя грубые указания Сталина, и т.д. (418). Думается, что надо просить И.Г. снять главу и многие из его отдельных замечаний о Фадееве. На страницах «Нового мира» они были бы неуместны<sup>14</sup>.

#### 7. Разные замечания:

а) Едва ли следует сообщать, что Федин, Щипачев, Катаев, Вишневский женаты на еврейках<sup>15</sup>;

б) не нужно ли более энергично осудить сионизм? Можно ли ограничиться замечаниями типа: «я не увлекался сионизмом». Еврейский национализм был свойственен даже социал-демократии («Бунд»)??<sup>16</sup>

в) правильно ли называть «Грязные руки» Сартра талантливым произведением?<sup>17</sup>

г) «ваша дача сгорела». Почему? Иначе можно подумать, что антисемиты подожгли<sup>18</sup>;

д) невозможно «вуалировать» «Николая Ивановича»<sup>19</sup>;

е) хорошо ли, говоря о Солженицыне, промолчать об «Иване Денисовиче»?<sup>20</sup>

ж) говоря об «Оттепели», надо, наверное, более определенно соотнести свою трактовку повести с той трактовкой, которую дал ей Н.С. Хрущев<sup>21</sup>;

з) на стр.440-441 И.Г. пишет о том, что существовали два Эренбурга, не ладящих между собою: один занимался политикой, другой был фанатично увлечен искусством<sup>22</sup>. Но разве в этом заключались противоречия молодого Эренбурга? Разве политика обязательно низводит искусство до подсобного назначения и разве искусство обязательно противостоит политике? Вероятно, дело было в противоречиях самой «политики» и самого искусства молодого Эренбурга.

А.Дементьев

А.Г. Дементьев был первым заместителем Твардовского, «комиссар самого либерального журнала», по определению Солженицына (*БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ*, Париж, УМСА-Press, 1975, с.44). Внутренняя рецензия не датирована, но по-видимому, она была написана между мартом 1963 (вторая встреча Хрущева с творческой интеллигенцией) и октябрём 1964 (снятием Хрущева). Шестая часть мемуаров Эренбурга явно вызвала замешательство у властей. Если верить Солженицыну, Д.Поликарпов и В.Лебедев просили Твардовского летом 1964 лично отвергнуть рукопись, сняв таким образом ответственность с партийно-политических инстанций. По словам Солженицына: «А[лександр] Т[рифонович] ответил

им с достоинством: "не я его сделал лауреатом и депутатом, и борцом за мир. Я вообще не его поклонник. Но раз уж он и лауреат, и депутат, и всемирно известен, и за семьдесят лет — значит, надо его печатать, что б он не написал» (ук. соч., с.99). Большинство из замечаний Дементьева не было учтено.

Внутренняя рецензия Дементьева и письмо Эренбурга Н.С. Хрущеву от 28 апреля 1963 (см. следующий документ) становятся более понятными в контексте событий этого времени: встреч Хрущева с творческой интеллигенцией. Мемуары Эренбурга оказались на пересечении двух направлений в советской культурной жизни. После XXII съезда интеллигенция, ободренная антисталинской политикой властей, пыталась открыть новые перспективы, создать современное искусство, свободное от идеологических схем. С другой стороны, традиционная литература начала работу по восстановлению прошлого, по осмыслению феномена «сталлиныщины». Пытаясь заручиться поддержкой интеллигенции, Хрущев не препятствовал этим поискам, часто уходящим от официальной доктрины социалистического реализма. Особой благосклонностью пользовались у него писатели. Осенью 1962 г. Хрущев публично поддержал мемуары Эренбурга, допустил публикацию *НАСЛЕДНИКОВ СТАЛИНА* Е.Евтушенко и *ОДНОГО ДНЯ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА* А.Солженицына. Положение изменилось лишь после знаменитого визита Хрущева на выставку в Манеже, где среди сотен традиционных полотен советских художников были представлены и несколько абстрактных картин. Визит был спланирован так, чтобы обратить внимание генсека именно на эти работы. В.А. Серов, тогдашний президент Союза художников, достиг желаемого эффекта: Хрущев был вне себя и признал, что политика в области искусства была слишком «либеральной» и пришло время защитить основы социалистической культуры.

После скандала в Манеже 17 писателей и художников ( в числе которых был и Эренбург) обратились к Хрущеву с письмом, заклиная его не менять направления советской культурной политики. Через несколько дней ему было направлено новое письмо, защищающее «мирное сосуществование» идей и направлений в литературной и художественной жизни. 17 декабря состоялась встреча Хрущева и партийных руководителей с «деятелями искусства и литературы». Секретарь ЦК по идеологии Л.Ф. Ильичев обрушился на философию «идеологического сосуществования», которую «пытаются проташить» в советское искусство некоторые художники, скульпторы, музыканты. Литераторов Ильичев пока не трогал. И все же скандал разразился: Галина Серебрякова неожиданно выступила против Эренбурга. Приведа свидетельство бывшего личного секретаря Сталина А.Н. Поскребышева, она обвинила Эренбурга в том, что он был сообщником Сталина в разгроме еврейского антифашистского комитета и аресте его членов в 1948-1952 гг. Провокация была очевидна, и все же результаты этого скандала не заставили себя ждать. Литераторы, до того избавленные от идеологической травли, с 1963 оказываются в центре кампании, направленной против «тлетворного западного влияния». Наиболее резкой критике подвергаются В.Некрасов, Е.Евтушенко, А.Возне-

сенский, А. Солженицын. Эренбурга же и вовсе делают козлом отпущения этой идеологической чистки. Хотя обвинения его в прямом участии в сталинских преступлениях пришлось снять (за их очевидной нелепостью), мысль о косвенной причастности к творившемуся в те годы развивается постоянно и варьируется на все лады. Надо отметить, что писатель сам дал в руки своих критиков этот аргумент: в шестой части своих мемуаров он упомянул, что никогда не верил в виновность своих арестованных друзей, превратившихся во «врагов народа», но что протестовать было невозможно ни в Советском Союзе, где это очевидно стоило бы жизни протестующему, ни за границей, где такой протест сыграл бы на руку противникам СССР. Эренбург признавался, что он жил «молча, стиснув зубы» (т.9, с.737).

30 января 1963 г. в отсутствие Хрущева и Аджубея, главного редактора «Известий», — газета опубликовала статью В.В. Ермилова, опровергавшего версию, данную в мемуарах Эренбурга: если писатель знал о ложности обвинений и арестах невинных людей, то лишь в силу своего привилегированного положения при Сталине, и если при этом он предпочитал молчать, если никогда не протестовал, — то значит сам был соучастником этих преступлений. Таким образом, попытка открыть дискуссию о поведении интеллигенции в эпоху сталинизма, о трудности нравственного выбора в те годы, была обращена против сторонников десталинизации. Эренбург обратился в газету с возмущенным письмом («Известия» от 6 февраля), защищая свои высказывания. Однако Ермилов в своем ответе обвинил автора мемуаров в «оскорблении целого поколения советских людей». Редакционный комментарий явно поддерживал точку зрения Ермилова, при этом острое нападок перемещалось с этических аспектов размышлений о сталинских чистках на симпатии Эренбурга к формализму и авангардному искусству.

Последним актом этой грандиозной провокации стала вторая встреча руководителей партии с творческой интеллигенцией 7 и 8 марта 1963 г. По словам А.Солженицына: «Была в короткое время несколькими часами (о, как же это легко!) воссоздана атмосфера нетерпимости 30-х годов, тех "единодушных" собраний...» (ук. соч., с.72).

<sup>1</sup> На встрече 8 марта 1963 г. Ильичев набросился на «теорию молчания» Эренбурга, добавив, что если писатель «не верил», никто не заставлял его писать в 1951 году панегирики Сталину. Что же касается Хрущева, то он обвинил Эренбурга в защите авангарда 1920-х гг., пропаганде «существования социалистического реализма и формализма», искажении взглядов Ленина и Луначарского на искусство и идеологию, а также в том, что свои мемуары Эренбург писал «с позиции постороннего наблюдателя» («Новый мир», 1963, №3, с.19-25).

<sup>2</sup> Назым Хикмет (1902-1963), турецкий поэт, друг Эренбурга (с.701-707, здесь и далее сноски даются по т.9 Собрания сочинений).

<sup>3</sup> с.760

<sup>4</sup> с.476

<sup>5</sup> с.741. Yves Farges, активный деятель Сопrotивления, Комиссар Республики в Лионе, в 1948 вместе с Emmanuel d'Astier, аббатом Jean Boulier и Charles Tillon основал движение «Combattants de la paix et de la liberté». Играл важную роль в движении за мир. Погиб в результате несчастного случая. В Советском Союзе долгое время обстоятельства его смерти считались загадочными и распространялись слухи о «преднамеренной аварии», без каких-либо доказательств этой версии.

<sup>6</sup> с.702. В предыдущей фразе Эренбург замечает, что Хикмет «часто говорил то, что думал; некоторых это злило». Слова «из ЦК» были сняты в окончательном тексте.

<sup>7</sup> с.671. См. также мою статью *IL YA EHRENBURG IN STALINIST'S POST-WAR RUSSIA*. — «Soviet Jewish Affairs», №17, 1987.

<sup>8</sup> с.724. Фраза в окончательном тексте слегка изменена: «Интересно, каким путем будем устанавливать "типичность" — может быть, статистикой?»

<sup>9</sup> с.669

<sup>10</sup> с.488-495. Эренбург не упоминает критику «Серапионовых братьев». Определение эпохи 1946-1948 как «годы запечатанных уст» также отсутствует. См. также документ 5.

<sup>11</sup> с.664-670

<sup>12</sup> с.535. Эренбург никогда не называл Галактионова «трусом». Он говорит лишь о мании преследования, развившейся у того в тридцатые годы.

<sup>13</sup> Соответственно с.737, 729 и 731.

<sup>14</sup> Эта глава была опущена при публикации в «Новом мире». В т.9 она соответствует с.596-606. См. также с.675 (смысл фразы искажен Дементьевым в его замечаниях) и с.744. Фраза о Назыме Хикмете снята.

<sup>15</sup> Замечание Дементьева было учтено.

<sup>16</sup> с.571. Фраза о национализме Бунда опущена в окончательном тексте.

<sup>17</sup> с.654. Фраза Эренбурга читается: «Талантливый памфлет, который показался мне направленным против коммунистов. Потом я на него напал».

<sup>18</sup> с.672. Фраза Эренбурга не дает повода заподозрить, что речь идет об антисемитах.

<sup>19</sup> с.767

<sup>20</sup> с.767. Эренбург говорит, не называя его, о *МАТРЕНИНОМ ДВОРЕ* («Новый мир», 1963, №1). Имя Солженицына присутствует в книжном издании, но имя Хрущева снято.



<sup>21</sup> На встрече 8 марта 1963 г. Хрущев нападал на *ОТТЕПЕЛЬ*, поместив ее среди книг, дающих «неправильное, одностороннее освещение явлений и событий, связанных с культом личности»; он принял на свой счет интерпретацию, данную названию книги: «с понятием оттепели связано представление о времени неустойчивости, непостоянства, незавершенности, температурных колебаний в природе, когда трудно предвидеть, как и в каком направлении будет складываться погода» («Новый мир», 1963, №3, с.29).

<sup>22</sup> с.758

4

27.IV.1963

Дорогой Никита Сергеевич,

Товарищ Лебедев<sup>1</sup> передал мне, что Вы согласны меня принять, но сейчас у Вас много срочной работы. Я это хорошо понимаю и решаюсь просить Вас уделить несколько минут моему письму, в котором попытаюсь изложить самое существенное.

Вот уже два месяца, как я нахожусь в очень трудном положении. Я обращаюсь к Вам как к руководителю партии, как к главе правительства, как к человеку с просьбой определить, на какую работу я могу впредь рассчитывать. В областных газетах меня называют «внутренним эмигрантом». Зарубежная печать пользуется моим именем, ведя очередную кампанию против наших идей, нашей Родины. Так жить я не могу. Вот уже 30-ть с лишним лет, как вся моя работа связана с советским народом, с идеями коммунизма. Я никогда не изменил им и в самых тяжких условиях — среди наших врагов.

Хотя мне 72 года, я не хочу перейти на положение пенсионера, хочу и могу еще работать. А на меня смотрят с опаской.

Приведу несколько примеров, относящихся к общественной деятельности. В Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Обществом дружбы «Франция - СССР», с одной стороны, и Советом обществ дружбы, а также Обществом «СССР - Франция», президентом которого я являюсь, с другой. Один из президентов французского общества, приехавший в Москву, спрашивал меня, почему под документом не будет моей подписи. Я выворачивался, как мог, но видел, что мои объяснения не кажутся ему убедительными. Из Стокгольма мне звонил Брантинг<sup>2</sup>, спрашивал о намеченном заседании «круглого стола». Мне кажется, что поддержка такими далекими от нас людьми, как Ноэль-Бекер или Жюль Мок, наших предложений о запрете испытаний может быть полезной. Но мне пришлось ответить Брантингу, что я бо-

лен, и опять-таки я понял, что мой ответ его не удовлетворил. Профессор Бернал был у меня и ставил вопросы в связи с предстоящей сессией Всемирного совета. Меня связывало отсутствие уверенности, что меня оставят в Движении сторонников мира. Общество «Франция - СССР» хочет вместе с мэром Ниццы поставить памятную доску на доме, где жил Чехов. Они обратились ко мне с просьбой прочитать доклад о Чехове. Я не решаюсь поставить этот вопрос перед ЦК, пока не прояснится отношение ко мне руководящих товарищей.

Одно недоразумение я должен выяснить — вопрос о письме, в котором были слова «мирное сосуществование»<sup>3</sup>. Идея этого письма родилась на сессии Верховного Совета в разговоре с Сурковым и Тихоновым. Сурков сказал мне, что письмо подпишут также Соболев и Рыльский<sup>4</sup>, с которыми он разговаривал, и попросил меня составить черновик, так как он занят. Говоря о «мирном сосуществовании», мы думали о товарищеских отношениях между советскими писателями, о ликвидации «групповщины», подписи показывали, что на этом пожелании сошлись очень разные люди. Жалею, что мы составили это письмо.

Мне трудно по возрасту изменить мои художественные вкусы, но я человек дисциплинированный и не буду ни говорить, ни писать ни у нас ни за границей того, что может противоречить решениям партии.

Должен прямо сказать — я никогда не придерживался идеи мирного сосуществования идеологий и не раз писал, что всеобщее разоружение не будет ни в коем случае означать идеологического разоружения, напротив, конец «холодной войны» поможет нам доказать превосходство нашей системы, наших идей над капиталистическим Западом. Да если бы я стоял за отказ от борьбы против идеологии капитализма, я был бы попросту изменником. Таким я себя не считаю. Я верю, что и Вы, Никита Сергеевич, отнесите ко мне, как к товарищу, и поможете мне выйти из создавшегося положения.

Что касается моей литературной работы, то и здесь положение неопределенное. Гослитиздат, выпустив первый том собрания сочинений по подписке, не знает, как быть дальше; редактор говорит, что руководство «ждет указаний». В «Советском писателе» с декабря лежит сверстанная книга — 3 и 4 части воспоминаний, печать Главлита есть, но тоже ждут указаний.

Если бы в нашей газете появилась бы статья на международную тему, о борьбе за мир, с моей подписью, это помогло бы различным организациям определить свое отношение к моей дальнейшей работе. Мне кажется, что такое выступление или упоминание

где-либо о моей общественной работе подрежут крылья у антисоветской кампании, связанной с моим именем.

Прошу Вас, Никита Сергеевич, решить, как со мною быть. Все мои беседы с Вами позволяют мне надеяться, что Вы отнесетесь к моему письму с добрым чувством.

Простите, что письмо получилось длинное. Знаю, сколько у Вас дел поважнее. Хочу поздравить с Первым мая.

С глубоким уважением

И.Эренбург

Эренбург воспринимал свое положение крайне болезненно, не понимал, по свидетельству очевидцев, как Хрущев мог поддаться влиянию своего окружения до такой степени, что отказался от главного своего детища — десталинизации и отверг своих недавних союзников. Страдало и его самолюбие: Эренбург считался одним из старейшин либеральной литературы. Уже во время второй встречи руководителей партии с творческой интеллигенцией он не выдержал и покинул зал: «На нем уже верхом проскакали и столько его поминали, что старик не выдержал и ушел... кажется, именно в тот момент, когда рев шел и Вознесенского долбали» (см. воспоминания Михаила Ромма в «Огоньке», №28, июль 1988). Эренбург не впервые обращался к главе партии и государства с жалобами на свое положение. Он делал это в 1938, когда ожидал паспорта, чтобы возвратиться в Испанию («Сталину на Сталина жалуешься?» — иронизировала его дочь), и в 1949, когда его имя появилось среди разоблаченных «космополитов». Не впервые ссылался он и на мнение западной прогрессивной общественности, используя этот аргумент в своих жалобах.

<sup>1</sup> В.С. Лебедев — журналист, сотрудник личного секретариата Хрущева.

<sup>2</sup> В 1959 г. Брантинг, шведский активист Движения за мир, создал «Круглый стол Восток-Запад» — новую формулу для встреч советской интеллигенции и западных некоммунистических деятелей, не обязательно входящих в Движение за мир. В 1962 участники круглого стола создали комиссию, которая должна была подготовить воззвание о необходимости разоружения. В комиссию входили, среди прочих, Jules Moch — в 1950-е годы был представителем Франции в комиссии ООН по разоружению; Philippe Noel-Busker (Bicker) — депутат лейбористской партии, лауреат Нобелевской премии мира. J.Bernal — британский ученый, активист Движения за мир с 1949 и его президент в конце 1950-х (после смерти Frédéric Joliot-Curie в 1958 г.).

<sup>3</sup> На встрече 18 декабря 1962 г. Ильичев рассказал о существовании двух писем в ЦК от «творческой интеллигенции»: письма художников, направленного Хрущеву после визита в Манеж, и письма в защиту «мирного сосуществования» направленного в литературе и искусстве. От последнего его авторы отказались, и Ильичев выразил удовлетворение по этому

поводу, заявив, что оно «защищало сосуществование в области идеологии, т.е. измену марксизму-ленинизму и социализму». Эренбург сказал на встрече, что «идея сосуществования выражена в письме в виде шутки», на что Хрушев 8 марта 1963 г. ответил: «это злая шутка. В области идеологии так шутить нельзя».

<sup>4</sup> А.А. Сурков в 1953-1959 был первым секретарем Союза Советских писателей, Н.С. Тихонов — членом президиума Союза Советских писателей и членом президиума Движения за мир; Л.С. Соболев — председателем крайне консервативного Союза писателей РСФСР. М.Ф. Рыльский — украинский поэт, действительный член АН СССР.

6

И.Г. ЭРЕНБУРГ — Д.Д. ШОСТАКОВИЧУ

Москва, 18 марта 1965

Дорогой Дмитрий Дмитриевич,  
только что вернулся из заграничной поездки и спешу ответить Вам.

Мне кажется, что о встрече с Ждановым мне рассказал С.С. Прокофьев. Помню в его рассказе, как он задремал во время доклада, не знал, что говорит Жданов, спросил кто выступает. Но я не очень доверяю своей памяти, и возможно, что об рояле я слышал не от него. Я охотно сниму эту фразу о рояле, поскольку Вы говорите, что она не соответствует действительности. Я в ней вижу не легенду подхалимов, а смешной рассказ о мало сведущем человеке, вздумавшем поучать больших художников, но повторяю — после Вашего письма — я сниму фразу о рояле, заменив ее Вашей: Жданов «об..... композиторов методами своего красноречия».

Желаю Вам всего доброго.

Сцена эта рассказывается в четвертой главе шестой части мемуаров, посвященной ждановским резолюциям 1948 г. Журнальный вариант: «В начале 1948 С.С. Прокофьев и Д.Д. Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и, желая показать, что такое "мелодичная музыка", не похожая на ошибочные произведения, что-то наиграл на рояле» («Новый мир», 1965, №1) — отличается от книжного издания (т.9, с.492): «...Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное — это мелодия, которую можно напеть». Добавим, что Шостакович, после выступления Серебряковой на встрече, публично выразил свою солидарность с Эренбургом.

8 декабря 1955

Уважаемый Михаил Андреевич<sup>1</sup>,

мне стало известно, что в ЦК КПСС поступили сообщения о встрече венгерских писателей с Н.С. Тихоновым и мною, на мой взгляд, неправильно интерпретирующие мои слова. Как мне передавали, я будто бы призывал взять в пример мою последнюю повесть<sup>2</sup> и протестовал против «красного карандаша редактора».

Прежде всего следует указать, что т.Тихонов и я, направляясь в Вену на заседания Бюро ВСМ<sup>3</sup>, из-за нелетной погоды должны были переночевать в Будапеште. Нас попросили встретиться с писателями, сказав, что в писательской среде создалась нездоровая атмосфера<sup>4</sup>.

Никто меня однако не предупредил, что перевод моей повести был размножен в Венгрии «только для служебного пользования» и что таким образом мое произведение рассматривается как полузапретное. На встрече мне был поставлен ряд вопросов, главным образом связанных с критическими статьями об «Оттепели», на которые я отвечал так же, как на Съезде писателей и в «Литературной газете». О том, в каком виде дана была «Оттепель» в Венгрии, я узнал только на встрече. Ясно, что некоторые вопросы могли носить провокационный характер, для меня непонятный, поскольку я не знал ни положения, ни лиц, задававших мне вопросы. Говоря о работе писателя и о роли редактора, я сказал, как я это и писал, что не люблю слишком легкого движения синего или красного карандаша редактора, который вычеркивает свежий образ или оборот. Разумеется, я не придавал слову «красный» применительно к карандашу того значения, которое по-моему могли ему придать разве что американские журналисты.

Мне думается, что если то или иное мое выражение показало дающим повод для кривотолков, то товарищи-коммунисты, присутствовавшие на встрече, могли бы мне задавать вопросы и помочь рассеять недоразумение вместо того, чтобы впоследствии выдвигать обвинения, на мой взгляд глубоко несправедливые. Что касается меня, то помня о «нездоровой обстановке», я счел необходимым в заключении беседы призвать всех писателей к борьбе за наше общее дело и т.Бела Илеш<sup>5</sup>, который вел со мной пе-

реговоры до встречи, сказал потом, что это мое обращение поможет писателям-коммунистам.

Обо всем этом я счел необходимым довести до Вашего сведения.

С уважением

И.Эренбург

В 1986 г. «Огонек» опубликовал отрывки из седьмой части мемуаров *ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*, написанные Эренбургом в последние годы жизни и оставшиеся неизданными. Там находится и коротенькая главка о неожиданном визите в Будапешт в октябре 1955 г. Приглашенный выступить перед венгерскими писателями Эренбург выразил удивление по поводу глухого недовольства, которое ощущалось в зале, и необъяснимого беспокойства организаторов встречи. Причины этого он понял через несколько месяцев, когда началась венгерская революция.

<sup>1</sup> М.А. Сулов был в то время секретарем ЦК по вопросам идеологии и культуры.

<sup>2</sup> Имеется в виду *ОТТЕПЕЛЬ*.

<sup>3</sup> Всемирный Совет мира, — членами которого являлись Эренбург, Тихонов и Сурков.

<sup>4</sup> В главе, опубликованной в «Огоньке», Эренбург рассказывает, что их встретил в аэропорту первый секретарь венгерской социалистической рабочей партии М.Ракоши, попросивший их «провести вечер с венгерскими писателями». Именно в октябре 1955 венгерские литераторы, группировавшиеся около Кружка Петефи, направили в ЦК меморандум с требованием десталинизации культурной политики в стране.

<sup>5</sup> Бела Илеш — венгерский писатель, коммунист, с 1925 по 1945 провёл в СССР, с 1925 по 1933 был секретарем МОПР, в дальнейшем один из влиятельнейших деятелей режима Я.Кадара.

***ИЗ ИСТОРИИ  
ДУХОВНЫХ  
ТЕЧЕНИЙ  
В РОССИИ***





## АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ\*

Публикация Дж. Мальмстада

1914 год

*Сентябрь.*

Продолжается та же странная жизнь. Мы начинаем привыкать к быту военного времени; я с Асей работаю на внешних стенах (около входа в правый портал); но в общем я мало бываю в «Ваи»; более сижу дома; концентрируются мои странные отношения с Наташей; я часто бываю у нее; и между нами крепнет дружба; стоят теплые золотые дни; д-р уезжает в Германию; Мария Яковлевна по субботам читает нам курс: «Миссия отдельных народов». По-прежнему хожу на вахты; очень много занимаюсь схемами и раскраскою их; ко мне часто приходит Максимилиан Волошин, знакомится с моими схемами и учит растирать краски; появляется в Дорнахе фрау Поольман-Мой, бывает у нас; обнаруживается наше несогласие во взгляде на д-ра Штейнера; оказывается, что она с Эллисом поселилась где-то под Базелем; оба они уехали из Германии; к концу месяца мне особенно тягостно, неуютно; я начинаю писать дневник, из которого впоследствии вышел материал моих кризисов.

Начинает выясняться мое положение материальное: «Сирин» находит возможность несмотря на войну посылать мне деньги за предположенное издание моих сочинений.

---

\* Продолжение рукописи А.Белого *МАТЕРИАЛ К БИОГРАФИИ (ИНТИМНЫЙ)*. Начало публикации см. в: *МИНУВШЕЕ*, т.6, с.337-448.

Погода портится; наступает туманная и дождливая осень; на сердце грустно; страсть к Наташе усиливается: я проклинаю свое чувство к Наташе, мучаюсь угрызением совести; со мною происходит страшный сердечный припадок; я думаю, что это — ангина; меня начинает лечить Фридкина; выясняется, что это сердечный невроз.

### *Октябрь.*

Первая половина октября проходит под знаком все повторяющихся сердечно-нервных припадков, мучительных переживаний, связанных с Наташей, разговоров о войне и впечатления от лекций вернувшегося из Германии д-ра Штейнера, который прочитывает нам о культурах Франции, Италии, Англии, Германии, России\*; он старается говорить положительно о каждой из культур; и эти лекции вносят значительное умиротворение в настроение различно национальных групп, соединенных вокруг «*Vai*». Шовинистическая лихорадка в нашей среде начинает ослабевать; я снова выползаю на «*Vai*»; Ася усиленно начинает работу на стеклах в рихтеровском домике, продолжая свою работу на дереве; она покидает меня на целые дни; целыми днями я работаю у себя: пишу схемы, готовлю отчеты д-ру и разрабатываю тему «*Кризиса жизни*» вчера. По вечерам очень часто у нас бывает Седлецкие (муж и жена); они сильно настроены против немцев; особенно он; у нас бывают: Сизов, Петровский, Волошин, Поццо, Фридкина, О.Н. Анненкова и другие; вечерами в кухне нашей собираются все обитатели нашей квартиры (я, Ася, Е.А. Ильина, Н.А. Маликов, К.А. Лигский) и происходят длиннейшие разговоры о войне, России и Германии, об антропософии, о докторе; к нам в кухню очень часто заходят: К.А. Дубах, Н.Н. Богоявленская, Фридкина, бар. Фитингоф, Петровский, Костычева, присоединяясь к разговору; образуется своего рода клуб; Асю утомляют эти «клубные» разговоры; она удаляется к себе; между нею и Е.А. Ильиной намечается некоторое охлаждение.

После напряженнейшей летней и осенней работы при «*Vai*» наступает некоторое затишье в работе (у работающих оказывается переутомление); внутри отстраиваемого зала воздвигают леса; перед этим леса были сняты; и мы увидели архитравы, над которыми мы работали летом — под куполом; д-р нас, резчиков, со-

---

\* 3-6 октября (н.ст.) в Дорнахе Штейнер читал лекции из курса «*Okkultes Lesen und Okkultes Hören*». 7 октября он читал там же на тему «*Unsere Toten*». 7, 10, 12, 18, 19, 24, 25 октября он читал лекции «*Der Dornacher Bau als Wahrzeichen geschichtlichen Werdens und Künstlerischer Umwandlungs-impulse*». 10 и 20 сентября (н.ст.) в Дорнахе он читал лекции «*Über Volksseelen und die Nationalitätsidee*».

брал и дал характеристику каждой архитравной формы, указав на дефекты работы; нами отработанный архитрав (Марса) он хвалил; когда леса были поставлены, мы должны были принятьсь вновь за работу: отделявать *начисто* архитравы под куполом. Эта работа и началась с ноября. В октябре О.Н. Анненкова внезапно уехала в Россию.

В течение октября месяца мы дважды были у доктора, на его Villa «*Hansi*»; он принял меня и Асю, как учеников; я пришел к нему с целой папкою раскрашенных схем, которые готовил ему в течение всей зимы 13-14 года и осени; д-р очень хвалил меня за схемы, вообще был невероятно кроток и добр, подбодрял меня, улыбался и говорил про мое сердце, что оно — совершенно здорово; что мои сердечные припадки есть показатель не органической болезни, а внутреннего развития; другой раз нас с Асей позвали к д-ру и М.Я. пить чай и ужинать; доктор и на этот раз был крайне любезен со мною; мы просидели у него целый вечер; я рассказывал о России, о Мережковских; д-р принес к столу гравюры Кунрата и объяснял некоторые из них\*.

В этот месяц случилось несчастье: воз с кладью, направлявшийся в «*Vau*», опрокинулся, задавив ребенка, сына одной антропософки, в тот самый момент, когда д-р читал нам лекцию.

Между тем: среди нас стали появляться фигуры в черных платьях; это были матери, сестры и жены уже убитых на войне; появилась вся в черном жена огородника (антропософы развели на склоне «*Vau*» свой собственный огород); появилась вся в черном Freulein von Heidebrandt (впоследствии учительница Вальдорфской школы); война бесшумно шныряла среди нас; то и дело мобилизацией вырывались работники при «*Vau*»: тот ехал в Германию, этот — во Францию; уехал Лихтфогель, стал исчезать д-р Унгер, работавший в Штутгарте по мобилизации промышленности; взяли инженера Бразоля (на французский фронт); война напоминала о себе пушечными перекатами, глухо раздававшимися с горизонта. Я с жадностью зачитывался газетами: начавшиеся успехи русских, взятие Львова, меня крайне возбуждали; и я удивлялся равнодушию Аси к войне; вообще: равнодушие, холодность Аси меня угнетали; расхождение наше с ней, столь углубившееся в годах и приведшее к разрыву, сильно подчеркнулось в ту именно осень.

Иногда, совершенно удрученный, я отправлялся в Базель; и начинал там сиротливо бродить по улицам, в холодном осеннем

---

\* Khunrath, Heinrich (ок. 1560-1605) — немецкий алхимик, автор кн. «*Amphitheatrum sapientiae aeternae solius verae, christiano-kabalistium, divino-magicum, nec non physico-chymicum, tertriumum, catholicum*» (1609). Книга переводилась на французский, немецкий и др. языки.

тумане, бесцельно забирался в «*Кино*». И тупо созерцал мелодрамы и фильмы с фронта; какое-то гнетущее чувство преследования охватывало меня; мне казалось: за мною кто-то следит; однажды подойдя к окну у себя дома и рассеянно вглядываясь в заоконный туман, я увидел человека с седой бородой, остановившегося перед нашим окном; он заметил меня за оконным стеклом, ехидно улыбнулся и подмигивая поклонился; потом он, не оборачиваясь, пошел в туман; в его улыбке, в кивке было что-то нехорошее; точно он подмигивал мне на мои душевные сомнения; это появление неизвестного человека воспринял я, как знак какого-то надвигавшегося на меня несчастья.

### *Ноябрь.*

В первых числах ноября Наташа Поццо получила неожиданно письмо от Метнера; он оказался в Цюрихе; война застигла его в Германии; не знаю, каким путем он выкарабкался из Германии; в Россию он не захотел вернуться и выбрал местом жительства нейтральную Швейцарию; с Метнером соединяли нас всех старинные отношения; меня особенно соединяла дружба 1901-1911 годов, совместная работа в «*Musagete*» и — встреча с Минцловой; разъединяла ссора с «*Musagetom*» (по поводу эллисовской брошюры «*Vigilemus*»); лично я разорвал с ним все с осени 1913 года. Наташа, получив письмо Метнера, отозвалась горячо на это письмо; она сказала: «Еду в Цюрих к Эмилию Карловичу». Вернулась она из Цюриха возбужденная и радостная от встречи с Метнером; она стала между мною и ним, как примирительница; скоро Метнер приехал к Поццо (в конце концов — ко всем нам); я, Сизов, Петровский, Ася — встретились дружелюбно с ним; он казался очень милым, хотя и сконфуженным, признаваясь, что им написана книга против доктора, именно: против освещения Штейнером Гетеманства\*. Я заявил, что мы не фанатики и что если понадобится, мы ответим печатно же на его книгу и эта наша идеологическая полемика не помешает нашим личным отношениям. Весь ноябрь и декабрь окрашен частыми появлениями из Цюриха Метнера; мы встречались миролюбиво и весело; много спорили о докторе, вспоминали прошлые годы, общих друзей: Метнер много нам рассказывал об Эллисе и Frau Поольман, живших под Базелем (с Эллисом я не встречался); и мы удивлялись, что волей судьбы в час мировой войны мы, три бывших соредатора «*Musageta*» оказа-

---

\* Метнер Э.К. *РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЕТЕ*. Книга 1. Разбор взглядов Р.Штейнера в связи с вопросами критицизма, символизма и оккультизма. М., «Мусaget», 1914, 525 с.

лись в одном пункте почти (Цюрих от Базеля в расстоянии двух часов езды)\*. Между тем: из Москвы нам прислали книгу Метнера и я принялся старательно ее изучать; меня потряс тон книги: желчный, злой, нападательный; я видел, что первая книга в России о докторе Штейнере рисует доктора в ужасном, искаженном виде; и я понял, что оставлять такую книгу без ответа нельзя; я поставил это на вид Сизову, Петровскому, Волошиной; говорил, что я был бы счастлив не писать ответа Метнеру, если бы кто-нибудь (например — Сизов) взялся за ответ; но никто не взялся; и я понял, что ответ придется писать мне; я посоветовался с Марией Яковлевной (помню, что был на Villa «Hansi» по этому поводу); М. Я. советовала мне взяться за ответ; но взяться за ответ было особенно трудно: я никогда не штудировал естественно-научных сочинений у Гёте; вообще не был гётистом (Метнер же был старинный гётист); кроме того: я не читал книг доктора о Гёте, ни — вводительных статей к Гётеву тексту. С ноября я раздобываю все, написанное доктором о Гёте, раздобываю томы Кюршнеровского издания «Naturwissenschaftliche Schriften» Гёте\*\*; принимаюсь изучать Гётев текст, примечания доктора, вводительные статьи и его книги, посвященные Гёте\*\*\*; между тем, Метнер надо мною посмеивается: «Пишите, пишите: вы можете со мной полемизировать в смысле опровержения моих антропософских экскурсов, но лучше не касайтесь моего понимания Гёте; предупреждаю вас, — вам не справиться». Между тем по мере моего углубления в текст Гёте и все примечания доктора, по мере сличения этого материала с высказыванием Метнера, мне выясняется, что Метнер при критике штейнеровского гётеанства не использовал более  $\frac{3}{4}$  материала, написанного доктором о Гёте; легкомысленность книги Метнера меня начинает просто потрясать. Вместе с тем передо мною развертывается впервые грандиозная картина миром еще не понятого Гётева естествознания; и еще более меня потрясает углуб-

---

\* Ср. в письме матери от 8 декабря / 25 ноября 1914 г.: «Странная судьба: в двухчасовом расстоянии от нас (в Цюрихе) 4 месяца жил и живет Э.К. Метнер, занятый сюда из Германии; и мы этого не знали; и он этого не знал; недели полторы тому назад мы узнали это. Наташа ездила к нему; в это воскресенье он придет к нам в гости; Эллис же живет в Берне. Странно: в это роковое время весь бывший *Musaget* судьбою оказался загнан в одно место: Эллис, Метнер, я, Петровский, Сизов. Только Киселев оказался в России». (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359).

\* *GOETHE'S NATURWISSENSCHAFTLICHE SCHRIFTEN. Von Rudolf Steiner mit Einleitungen, Fussnoten und Erläuterungen im Text herausgegeben*, 4 тома, 1883-1897, изд. Joseph Kürschner.

\*\*\* См., например, его *GRUNDLINIEN EINER ERKENNTNISTHEORIE DER GOETHESCHEN WELTANSCHAUUNG...* (1886) и *GOETHE'S WELTANSCHAUUNG* (1897).

того Гётева естествознания; и еще более меня потрясает углубленное взятие Гёте доктором; я начинаю впервые понимать гетеанские корни антропософии и упираюсь в проблемы «Философии Антропософии». Весь ноябрь и декабрь проходят в глубоком познавательном восторге перед новой, развертывающейся передо мною картиною: гносеологической правоты позиции Штейнера; моя мысль напряженно, усиленно работает: я перечитываю книги доктора: «*Rätsel der Philosophie*», «*Philosophie der Freiheit*», «*Wahrheit und Wissenschaft*», «*Grundlinien der Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung*», и другие\*. Временно книга Метнера отступает на второй план; я усиленно разрабатываю свой собственный подход к философии антропософии, к гетеанству, к гетеанству Штейнера и передо мною начинает вырисовываться связная картина воззрений; но я знаю, что эту картину воззрений я поверну на Метнера, как таран.

При встречах с Метнером я чувствую некоторую неловкость, ибо я знаю, что я оттачиваю сильное оружие против него; о моей будущей книге мы с ним посмеиваемся; он шутит: «Пишите, пишите!» Но в этом тоне взаимной шутливости чувствуется напряжение и отсутствие взаимного доверия; отношения наши остаются лишь внешне дружескими; я ощущаю, что наша дружба с ним подорвана и что не хватает лишь внешнего повода к тому, чтобы она рухнула окончательно. Между тем: Метнер как-то протянул к антропософам в этот период; он удивляется нашему правильному отношению к войне (неприятию ее) и к «*союзникам*»; мы ведем с ним долгие, философские разговоры, водим на «*Bau*», собираемся даже его познакомить с Штейнером.

Я вновь начинаю работать при «*Bau*», под куполом, на архитравах; мы «*начисто*» отработываем формы, отработанные летом (наш «*Марс*»); кажется, в этот месяц заканчиваются вчерне три огромных деревянных формы над тремя порталами; на главном портале работает главным образом группа немцев; на правом портале работает Сизов; на левом группа, состоящая из Петровского, Трапезникова, Гюнтер, Хольцлейтер и Кучеровой. Ася много уделяет времени работе на стеклах; и прилежно занимается эвритмией под руководством Киселевой, ставшей теперь учительницей эвритмии в Дорнахе; в ее группе мне помнятся, кроме Аси: Наташа, Богоявленская, Гроосс, Айзеңтрей, две барышни Лёв и другие. С Асей продолжается мое расхождение. С Наташей у меня стиль влюбленной дружбы.

---

\* *DIE RATSEL DER PHILOSOPHIE*. 2 тт. (1914); *DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT* (1894); *WAHRHEIT UND WISSENSCHAFT* (1894); *GRUNDLINIEN...* — см. выше.

Этот месяц мне гораздо легче: работа на архитраве и серьезные познавательные переживания (изучение Гёте и философии Штейнера) оттягивают мое внимание от много[го] тяжелого, что живет в моей душе.

Мордовин уезжает в Россию; Волошин начинает тяготиться Дорнахом, его тянет в Париж; он разрабатывает проект будущей занавеси, долженствующей отделять стену от зрительного зала при «*Vau*».

### *Декабрь.*

В декабре начинает как будто крепнуть стиль дорнахской жизни военного времени; люди приспособляются к войне; мы уже вполне привыкаем к расквартированным войскам в Дорнахе и Арлесгейме, привыкаем к ежедневной канонаде, слышной с границы; жители Арлесгейма и Дорнаха успокаиваются: нейтралитет Швейцарии не будет нарушен; мобилизованные швейцарцы, наши члены, появляются среди нас опять; антропософки начинают развивать свою деятельность; поднимается интенсивность работ; начинаются репетиции эвритмической группы, собирающейся к Рождеству поставить в одном из лесопильных сараев, освобожденном от машин (столярные работы закончены) и превращенном в постоянную аудиторию, — эвритмические номера; в сарае строится подиум, появляются скамьи для зрителей и занавес; русские в свою очередь готовят д-ру рождественский номер: прославление звезды; хор и эвритмические фигуры, живописующие рождественское: «Христос рождается»; готовится огромная бумажная форма звезды (изнутри зажженная), на большой палке; происходят спевки хора и репетиции эвритмисток; вся группа участников — русские; в хоре приняли участие между прочим Трапезников, Маликов, Лигский, Сизов, Кемпер, Поццо; в эвритмической группе: Ася, Наташа, Богоявленская, Фридкина, Киселева, Волошина; мы с Асей задолго до рождества добываем елочку; я привожу из Базеля разнообразные елочные украшения (шары и серебряную канитель); задолго до рождества наша комната прибрана и украшена елкой.

Я продолжаю упорнейше заниматься Гёте и комментариями к Гёте доктора; и все более удивляюсь тому, что вся книга Метнера построена на разнос книги Штейнера «*Goethes Weltanschauung*», являющейся лишь внешней экспозицией его взгляда, внутренне обоснованного огромным количеством детальнейших комментариев, длиннейшими вводительными статьями (вводительная статья к Гётевой биологии одна — превышает размерами все «*Goethes Weltanschauung*»; я выдвигаю Метнеру вопрос, как он мог не

ознакомиться с таким ценным материалом; Метнер отвечает легкомысленно, что он это сделал сознательно; во мне крепнет решение не пощадить его в своей книге — тем более, что я натываюсь в его книге на ряд грубейших промахов и относительно понимания Гёте; так, он превратно толкует идею у Гёте, грубейше смешивает учение о прототипе с учением о протофеномене; все это я решаю отметить в своей книге, т.е. решаю не только оборонять гётизм Штейнера от его наскоков, но и уничтожить метнерово понимание Гёте; знаю, что этого Метнер мне не простит никогда; тем труднее мне с ним дружески встречаться; точно предчувствуя мои намерения, Метнер мне неоднократно говорит: *«Если вы в книге затронете мое гетеанство, то имейте в виду, что выступит в Москве на мою защиту Иван Александрович Ильин»* (впоследствии профессор); он много мне говорит о своей дружбе с Ильиным; и как будто даже угрожает Ильиным; все это лишь разжигает во мне пафос к атаке основных мировоззрительных твердынь Метнера.

Между тем: мы в Метнере замечаем явное подобрение; и даже ноты досады на себя за то, что он преждевременно выпустил в свет свою книгу; в его тоне мелькают сочувственные ноты по отношению к доктору; мы выхлопываем разрешение ему посетить одну из лекций доктора; после лекции я подвожу его к доктору и знакоблю с ним; доктор, который знает, что Метнер выпустил книгу против него, тем не менее очень любезен с Метнером; помнится, они обмениваются какой-то фразой о Бергсоне; Метнер во время этого краткого разговора мне кажется растерянным и смущенным, как провинившийся школьник.

Метнер чаще всего бывает у Наташи Поццо и М.В. Волошиной (Сабашниковой); с Наташей он явно дружит; и во мне поднимается смутная ревность к Метнеру (много лет спустя, уже в Берлине, в 1923 году, Наташа, отрицая свою вину, т.е. кокетство со мной, мне призналась, что в ту пору она любила Метнера, — стало быть: моя ревность имела почву); ближе вглядываясь в Метнера, я вижу, что он разительно изменился: постарел, стал внутренне угрюм; искристый блеск его речей покрылся каким-то угрюмым налетом; он неоднократно заявлял, что становится завзятым поклонником теорий Фрейда и Юнга, что *«психоанализ»* в него прямо вписан; этот *«фрейдизм»* отталкивает решительно от меня Метнера; я воспринимаю эти увлечения Метнера враждебно. Вместе с тем, я удивляюсь некоторым *«внутренним знаниям»* Метнера, соответствующим моим *«узнаниям»*, полученным из опыта медитаций, который я развил в себе за 1912, 1913 и 1914 годы; Метнер мне намекает, что и у него есть нечто, вполне соответ-



зующее медитации; я полагаю, что это старые медитации Минцловой, данные нам еще в 1909 году. Впоследствии, кто-то мне сказал, что Метнер в то время был близок с представителями какой-то линии персидского оккультизма; члены одного оккультного общества (название забыл), проводящие в жизнь эту линию, были в Цюрихе; наверное, Метнер с ними общался; кроме того: он в то время был близок с Эллисом и с Фрау Поольман-Мой, около которой витала всегда «*оккультная*» атмосфера. Как бы то ни было, Метнер в эту эпоху мне кажется каким-то «*подглядывателем*» быта нашей жизни; и у меня откладывается некоторое опасение, как бы я в «*дружеских*» разговорах с ним не сказал бы чего-нибудь лишнего; это отношение к Метнеру во мне укрепляется, М.В. Волошина, в прежние годы весьма дружившая с Метнером (в ту пору она дружила с Энглертом, фактически строителем «*Vau*», и Т.Г. Трапезников, с которым с конца 1914 года у меня начали складываться очень тесные отношения; одновременно: я стал все более и более заходить к Татьяне Алексеевне Бергенгрюн, переселившейся из Берлина в Дорнах; Т.А. видела мое все растущее одиночество и чуткой душой понимала, как мне тяжело в Дорнахе; она говорила мне, что ценит мою скромность, что видит, как я задыхаюсь среди внешних и внутренних «*немцев*»; она намекала мне, что видит, как Ася отходит от меня, бросая меня в одиночество; говорила, что не сочувствует Асе; мне казалось, — она понимает, что я вступил в полосу тягчайших испытаний души; это же мне говорил и Трапезников. Так в беседах с Трап[езников]ым и с Т.А. Бергенгрюн черпал я некоторую моральную силу; и кроме того: в этих беседах я выходил из той густой атмосферы «*тургеневщины*», в которую погружали меня по-разному сестры «*Тургеневы*», т.е. Наташа и Ася, каждая по-своему; Трапезников как бы мне говорил: «*Будьте свободны и независимы: не висите душевно на Анне Алексеевне: она — человек холодный и сдержанный; вы разобьетесь о ее холод*». А у Т.А. Бергенгрюн прорывались ноты чисто женского раздражения на Наташу и Асю; она как бы говорила мне: «*Безобразие, — вами вертят "девчонки"*, которые умственно и морально стоят гораздо ниже вас: ведь вы — писатель, незаурядная личность; а вас ваша "Ася" хочет держать под башмаком». У нее прорывались ноты явной досады на А.М. Поццо; она говорила: «*Александр Михайлович с своим культом "Наташи"*, — просто смешон; умный, интересный человек, а выглядит какою-то "фитюлькою"; эта "Наташа" им вертит как хочет...

В ту пору беседы с Трапезниковым и с Бергенгрюн давали мне многое; в этих беседах впервые наметилась мне моя будущая эмансипация от «*Наташи*» и «*Аси*», кончившаяся свержением навсегда

«татарского ига» моей души (род Тургеневых — татарского происхождения).

Наряду с этим в это время осуществляется мой отрыв от другого «Ига», от ига М.Я. Сиверс, ставшей «д-р Штейнер»; это «иго» длилось год; вся огромность Марии Яковлевны открылась мне с Бергена, т.е. с октября 1913 года; с этого времени я почувствовал, что между нами возникла особая, непередаваемая связь; М.Я. стала являться в моих снах, в моих медитациях; она всегда стояла в центре моей души; я спрашивал советов у образа ее, возникавшего из моих медитаций; и этот образ показывал мне ослепительные духовные горизонты, тяготенье к которым подстегивало мою духовную работу; она постоянно стояла в центре моей души и как бы указывала мне на возможные достижения; и я бросался на эти твердыни духа; но чувствуя, что мне их не одолеть, я удваивал, учетверял, удесятерял духовные упражнения, чтобы, так сказать, подвинтить свои (астральное, эфирное и физическое) тела до гармонии их с миром духа; период от октября 1913 года до появления в Дорнахе был для меня периодом сплошной медитации; я духовно видел то, что лежало выше меня; я чувствовал себя приподнятым над самим собою; и я знал, что эта приподнятость есть «окультиная» помощь, посылаемая мне Марией Яковлевной, которую я боготворил; она стала для меня одно время всем: сестрой, матерью, другом и символом Софии; ее лейтмотив в душе вызывал во мне звук, оплотняемый словами:


«Сияй же, указывая путь,  
Веди к недоступному счастью  
Того, кто надежды не знал.  
И сердце утонет в восторге  
При виде тебя...»\*

Разумеется в этом мне непонятном обоготворении М.Я. не звучали ноты «влюбленности»; и все же: образ ее был для меня символом Софии; иногда этот образ мне говорил: «Вот теперь я тебя оставляю: опирайся на окультиную помощь, которую я тебе дала и уже без меня держись на духовной высоте...» И образ меня покидал; и я в моих переживаниях духовной высоты чувствовал себя точно выброшенным с аэроплана; я немедленно падал, разбиваясь об условия жизни в чувственном теле; я начинал бичевать это те-

---

\* Белый приводит эти строки в «берлинской редакции» *НАЧАЛА ВЕКА*: «/.../ и — я отдался весне, не как в прошлом году; подымался старинный любимый мотив: [цитата]. Я когда-то просил эту песню петь Анну Васильевну; и вот теперь эту песню пропела д'Альгейм на весеннем концерте...». Белый цитирует последние четыре строки в *НАЧАЛЕ ВЕКА* (с.403) и первые три в *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ* (с.367) — в связи с д'Альгейм, но не называя ни автора слов, ни композитора.

ло, бороться с собой, а тело, как конь без узды, влекло меня туда, где на меня нападали люциферические и ариманические искусства; я — падал; и тогда образ духовный М.Я. глядел на меня с укоризною, а на физическом плане Мария Яковлевна становилась по отношению ко мне неприятной, враждебной; так на физическом плане между нами начинались размолвки и споры без слов; потом — наступало примирение: М.Я., я чувствовал, опять давала мне свою помощь; и на крыльях этой помощи я вновь чувствовал себя вознесенным в *«мир духа»* до ... следующего падения.

В этих *«ссорах»* и *«примирениях»*, *«взлетах»* и *«падениях»* протекла для меня вся зима и весна 1913-1914 годов. Я себя почувствовал к осени 1914 года совершенно физически измученным, хотя и чувствовал, что духовно за этот период я узнал столь много истин, что с этими «истинами» я бы мог прожить не одно, а много воплощений. Каждый взлет после падения был высшим взлетом; но каждое следующее падение было еще более ужасным; прямая линия развития стала зигзагообразной ; в результате роста диапазона падений и взлетов в душе стало оживать все большее раздвоение; с лета 1914 года, когда я влюбился в Наташу, во мне произошел внутренне как бы разрыв «Я» на два «Я»; жизнь высшего «Я» во мне убивала мое физическое здоровье; требования этого здоровья как бы вычеркивали из меня жизнь духа во мне. Наконец, последний конфликт двух борющихся «Я» во мне окончился моим сильнейшим сердечным припадком, во время которого я чувствовал чисто физиологически, что «нечто» вырвалось из моего сердца, физически разбив его; и — унеслось, покинув меня, в духовную высоту; я переживал этот вырыв высшего «Я» из меня, как свою духовную смерть; жизнь медитативная затормозилась во мне: медитация во мне, когда я ее напрягал до прежней силы, вызывала лишь сердечный припадок, во время которого меня охватывал страх смерти; и этот страх диктовал мне замедление всего ритма душевной работы; замедление же ритма взрывало во мне рост чисто физических потребностей; чувственность с непобедимой силой вставала во мне; а кокетство Наташи притягивало эту чувственность к ней. До сердечных припадков я с нею боролся; но мысль, что самая эта борьба вызвала сердечные припадки, выдернула из-под ног самую почву борьбы; и я, упавший в свое тело, внешне брошенный Асей, всю силою душевного эротизма как бы прилепился к Наташе; и самую грешность подобного *«прилепления»* я приподнял, как нечто нормальное; на М.Я. я посматривал с озорством *«бунта»*; *«ссора»* с нею вела меня не к *«примирению»*, как прежде, а к внутреннему наступлению на нее: отношение к ней выразилось во мне своеобразным чувством, которое я

нес в своей душе, как «озорство». Да, я стал по отношению к М.Я. «озорником» и «бунтарем»; она сперва сердилась на меня, потом как бы махнула на меня рукой; я знал, что где-то отношение ее ко мне осталось неизменным, что она верит, что затянувшийся во мне конфликт света с тьмой окончится победой света, но что на время этой перепутанности раздвоенных половинок души моей она внутренне покидает меня; как в верхних сферах сознания моего в предыдущий период жила М.Я., так после октября в низших сферах сознания моего зажил образ «Наташи». Иногда я вспоминал с тоскою о духовных сферах, меня покинувших; и тяжелое недоумение над «крахом» своим жило во мне; я удивлялся, что сердечную болезнь мою (продукт борьбы Софии с Наташей) доктор называл шагом вперед; самый ласковый, сердечный тон доктора по отношению ко мне (а он в этот период сильно ко мне подобрел), вызывал во мне грустное недоумение; я себе говорил: «Или доктор не понимает, что происходит во мне? Почему же он называет "Vorschrift" "ом то, что я в себе несу, как падение?» Словом: чувствовал себя лишенным почвы, физически ослабевшим, духовно угасшим, потерявшим критерии между злом и добром; а условия военной жизни и грохот мировой войны, слышимый с границы Эльзаса, был внешним выражением катастрофы, пережитой мною: катастрофой пути. Словом: если 1913 год в сознании оживает стремительным, изумительным взлетом вверх, несоответствующим моим духовным усилиям и приписанным мною действию Божией благодати и молитвенной помощи доктора и Марии Яковлевны, то линия моей жизни от февраля 1914 года до октября (1914-го же) есть линия стремительного падения; в октябре толчок падения этого выразился сердечной болезнью; в декабре я как бы начинаю свыкаться с своей участью: с безблагодатной, слепой и глухой, погрязшей в соблазны жизнью моей; и даже: по отношению ко всей прежней линии, линии Марии Яковлевны, я ощущал своего рода бунт; и странно: все антропософы, внутренне связанные с М.Я., в моем сознании встают передо мной, как враги; я ощущаю круг людей, которыми дирижирует М.Я.; этот круг людей воспринимаю я, как «двор» М.Я.; в Антр. О-ве впервые меня тяготит мной ощущаемая «придворная атмосфера», которой я объявляю войну; я говорю себе: «Э, да это — Байрейт». Мое положение при этом дворе я ощущаю, как положение Ницше при Вагнере; доктора я не приравниваю к Вагнеру, но М.Я. я приравниваю к «Байрейту»; многие из ее проявлений мне кажутся — фальшиво-приподнятыми; я начинаю ее критиковать, перечитываю сочинение Ницше «Вагнер в Байрейте» и обращаю аргументы Ницше против Вагнера в аргументы против Марии Яковлев-

ны\*; я чувствую, что лица, которыми руководит М.Я. (Рихтер, Валлер, Митчер, Классен и ряд других) поворачиваются ко мне враждебно; я с удивлением вижу, что Наташа и Ася (особенно «Ася») тоже внутренне как бы приняты в этот придворный штат; и в этом смысле находятся в другой линии антропософии, которую я называю «*антропософией догматической*»; во мне происходит крах всей «*антропософской догмы*»; и впервые слагается новый очерк «*антропософии*», как путь свободы и критицизма; мои усиленные занятия Гёте и гётизмом доктора укрепляют во мне эту новую концепцию антропософии; если до сей поры я шел под знаком мироощущения «*окультизма*», то теперь я стою под знаком мироощущения чистого «*логизма*»; я ощущаю в себе новое познавательное восприятие антропософии, как переход из средневековья в эпоху возрождения; мне впервые становится близким «*ренессанс*» и вся эпоха итальянского возрождения; и на этой почве у нас возникают оживленные беседы с Т.Г. Трапезниковым, знатоком эпохи «*ренессанса*»; он укрепляет во мне интерес к «*ренессансу*» и на этой почве крепнет наше общение с ним. Все это в себе я называю «*свержением ига М.Я.*», т.е. свержением средневекового, оккультически-догматического ига антропософии, возглавляемого М.Я., и рождением в душе свободной, гетеански оформленной антропософии; занятия усиленные гетеанством и философией антропософии оплодотворили во мне впервые познавательный подход к антропософской доктрине; я как бы переживаю упадок в себе «*окультичного*» пути, т.е. антропософии, как пути жизни; и одновременно: переживаю ренессанс в себе антропософской философии; и часто спрашиваю: «Если я мировоззрительно окреп, то — какою ценою? Ценою падения своего...» Так на рубеже нового 1915 года я стою в тяжком кризисе.

Приблизительно в это время в жизни доктора произошло событие: он обвенчался гражданским браком с Марией Яковлевой\*\*; еще летом 1914 года М.Я., отведя однажды нас с Асей в сторону, спрашивала, что мы предприняли для гражданского брака (наш гражданский брак произошел в Берне, в марте 1914-го го-

---

\* RICHARD WAGNER IN BAYREUTH появилась 10 июля 1876 г. Вскоре после опубликования провагнеровского эссе Ницше поехал в Байреит на открытие театра, специально построенного для постановки «опер-драм» Вагнера (13 августа н.ст.). Вся атмосфера Байрейта отталкивала философа; разрыв его дружбы с Вагнером и конец поклонения его музыке впервые отразился в в кн. MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES: EIN BUCH FÜR FREIE GEISTER (1878). Самое резкое его нападение на Вагнера — DER FALL WAGNER (1888).

\*\* Штейнер сошелся гражданским браком с М.Я. Сиверс 24 декабря 1914 г. (н.ст.) в Дорнахе.

да); оказывается, ей нужны были эти сведения для брака с доктором; этот брак, конечно, был чисто духовный; М.Я., многолетний секретарь доктора, обитала в квартире доктора; в Берлине это не вызывало нареканий; но совместная жизнь доктора с М.Я. на вилле «*Hansi*» в Дорнахе вызывала нарекания со стороны швейцарских мещан. Чтобы заткнуть глотку этим мещанам, доктор и М.Я. обвенчались; тем не менее, этот «брак», мотивы которого ясны для всех мало-мальски сознательных антропософов, вызвал негодование в целой части Общества, по преимуществу в среде того карикатурного и «quasi»-окультистского элемента, который мы называли «*тетками*»; «*окультные тетки*», не любившие М.Я., зашипели на этот брак; с той поры в Дорнахе стали гнездиться всякие сплетни по адресу М.Я., распространяемые тетками; разумеется к этим «*шипам*» мы относились с негодованием; и «*бунтуя*» внутренне против М.Я., внешне я всегда придерживался «*партии М.Я.*», — против «*теток*», ее ненавидевших за близость ее к доктору; причина ненависти, как обнаружилось это позднее, — нездоровая, «*мистическая влюбленность*» в доктора зного количества «*теток*», устроивших осенью 1915 года настоящий бунт против нее; М.Я. со смехом называла этот бунт «*бунтом ведьм*»; к впоследствии обнаруженным ведьмам, начавшим развивать атмосферу сплетен в Дорнахе уже с конца 1914 года, следует отнести: Madame Райф (из Вены), Штраус (из Мюнхена), Шпренгель, мадам фон Чирскую и ряд других теток; Штраус, фон Чирская со скандалом вылетели из Общества в конце 1915 года во время того периода, который я называю «*великой чисткою авгиевых конюшен*».

Все последнее время перед Рождеством Ася усиленно занималась работой над стеклами под руководством Рихтера; работа эта была очень тяжелой; громадные стекла надо было вырезать особым сверлильным аппаратом, очень тяжелым, и соединенным с бор-машинью; аппарат, под действием электрического тока начинал вертеться; и надо было с силой держать его в руках, чтобы он не вырвался и не разбил стекла, стоявшего баснословных денег; кроме того: стекло, поставленное перпендикулярно, находилось под потоком холодной воды, охлаждавшей накал стекла; вода разбрызгивалась во все стороны; работавшие надевали гуттаперчевую одежду и гуттаперчевые перчатки, чтобы не промокнуть; ледяная вода холодила руки, скрежетание сверлильного аппарата по стеклу раздражало нервы; физически-тяжелая, ответственная, раздражающая нервы работа! Перед самым Рождеством Ася промокла однажды насквозь во время этой работы; и вместо того, чтобы посушиться, она мокрой же отправилась на репетицию зв-

ритмии в холодное каменное помещение «*Bau*»; последние дни перед Рождеством она уже ходила простуженной.

Встреча Рождества произошла в сарае, приспособленном для лекций и эвритмии; съехалось множество народу; все дамы были в белых платьях; приехал и Метнер, которому мы выхлопотали разрешение присутствовать на нашем празднике; сначала состоялась лекция доктора, очень мрачная (он говорил о событиях войны); потом зажгли елку; антропософский хор исполнял рождественские песни; после прошла эвритмия; прославление «звезды» (хор и эвритмия), исполненное русскою группой, имело огромный успех среди немцев и очень понравилось доктору. Ася и Наташа в белых платьях были очень хороши; старые чувствительные намки называли их: «*Zwei Ängelien*». Это прозвище с той поры укоренилось за ними. М.В. Волошина тоже была недурна в эвритмии. Киселева исполнила номер соло — стихотворение доктора: «*Die Sonne schaue Um Mitternächliche Stunde*»\*. Метнер был — мягкий, умиротворенный, даже как бы побежденный доктором.

Но когда мы вернулись домой, обнаружилось, что у Аси жар до 40 градусов; печально зажгли мы рождественскую елку; на следующий день свалился в сильнейшем бронхите и я; беспомощно пролежали мы с Асей в постелях все праздники; через день обнаружилось, что и Наташа, и Поццо — тоже лежат в бронхитах (в Дорнахе открылась сильнейшая эпидемия бронхитов); ряд рождественских собраний и лекций доктора в Дорнахе и в Базеле мы пропустили; Метнер был на некоторых из этих лекций; после он уехал к себе в Цюрих.

Так внутренний разгром, которым отметился этот тяжелый год, окончился и внешним разгромом: мы четверо — я, Ася, Наташа и А.М. Поццо — связанные тяжелейшими личными отношениями весь 1915 год, встретили этот год на одре болезни. Нас лечила Фридкина (доктор медицины), антропософским методом, который она применяла к своим пациентам (она в своей практике постоянно советовалась с доктором); лечение это заключалось в изгнании болезни искусственным вызыванием испарины; нас окутывали мокрыми, горячими простынями, закутывали одеялами; и заставляли лежать так до 1 1/2 часа. Я уже к новому году справился с болезнью; но болезнь Аси затянулась надолго; еще в феврале она едва ходила; а приподнятая температура длилась у нее до самого лета.

---

\* Приводятся первые две строки (слегка Белым искаженные: у него «in» вместо «ist») стихотворения 1906 г. *WINTERSONNENWENDE* из сб. стихов Штейнера *WAHRSPRUCHWORTE*.

## Январь.

Весь январь переживаю я крайне подавленное настроение; затянувшаяся болезнь Аси внушает мне серьезное опасение; у нее — страшная слабость и ежедневно к вечеру — жар; тем не менее: на лекциях доктора она бывает; иногда для этого приходится выписывать из Базеля экипаж (по телефону); Наташа тоже очень ослаблена бронхитом; Наташа и Поццо теперь оказываются в Дорнахе, в неудобном помещении; Фридкина рекомендует Асе усиленное питание; за разнообразными пищевыми продуктами я 2 раза в неделю отправляюсь в Базель; январь стоит холодный и снежный; обнаруживается, что в наших комнатах всюду — холодный сквозняк; сколько не топи комнаты, они — выстуживаются; помещение оказывается в высшей степени неуютным; надо думать о приискании другого обиталища; отношение к нам Е.А. Ильиной портится; она заявляет, что наши комнаты ей нужны; между нею и Асей устанавливаются плохие отношения; мне приходится приискывать другое помещение; в Арлесгейме и в Д[орна]хе обнаруживается мало комнат; наконец мне указывают помещение, которое должно освободиться к первому февралю; это — домик, стоящий на перекрестке дорог, ведущих из Арлесгейма в Обер-Дорнах и из Нижнего Дорнаха к «*Vau*»; прежде, идя к «*Vau*», я не замечал вовсе этого домика; он прятался в яблоневых деревьях; этот домик — изолирован; его окружает зелень; он стоит как раз против Villa «*Hansi*», принадлежащей доктору (окна в окна); второй этаж домика сдается; в нем 3 комнаты, коридор и чистая удобная кухня с террасой, открывающей вид на зелень, домик доктора, холм и «*Vau*»; владелица домика милая старушка, Frau Thomann, отдает его нам за сравнительно дешевую цену; у нее для нас оказывается приходящая прислуга, которая с 9 до 12-ти должна нам убирать комнаты, мыть посуду и заготавливать что-нибудь для ужина; с обедом мы устраиваемся с кантиной; нам берутся доставлять обед из кантины, находящейся в расстоянии 7-минутной ходьбы до домика; «*Vau*» оказывается от нас в расстоянии ходьбы не более 3-4-5 минут, т.е. — рядом; меня смущает лишь то, что домик может оказаться сырым и холодным; но Frau Thomann указывает, что в 3-х комнатах имеются две теплых печки; и что можно всегда иметь запасы брикетов. Все это успокаивает меня. Я снимаю помещение; и с нетерпением ожидаю момент, когда можно покинуть неуютное помещение Ильиной; в это время появляется в Дорнахе семейство Ван-дер-Паальса из Берлина; с Ван-дер-Паальсом мы уже встречались в Берлине; теперь это знакомство возобновляется;



и переходит скоро в дружбу; Ван-дер-Паальс начинает часто бывать у нас; появляется к этому времени в Д[орна]хе и Михаил Бауэр, ближайший ученик доктора, очень замечательный антрополог, один из 3-х глав нашего Общества; он болен туберкулезом; за ним ухаживает Frau Morgenstern, вдова покойного поэта; она поселяется с Бауэром в одной квартире; Бауэр сперва снимает верхний этаж дома, в котором живет Трапезников; с этой поры устанавливается частое посещение Бауэра Трапезниковым; у Трапезникова поселяется А.С. Петровский; он тоже видится с Бауэром; с Бауэром близка и М.В. Сабашникова; так Бауэр в Д[орна]хе очень скоро становится естественным патроном русских; с Бауэром устанавливаются у меня с января месяца очень хорошие отношения; и странно: чем более я внутренне отдаляюсь от М.Я. Штейнер, тем более для меня вырастает значение Бауэра, как своего рода духовного руководителя, естественно вырастающего вслед за доктором\*. Приблизительно в это же время в Дорнах приезжает д-р Гёш, молодой философ и архитектор, мечтающий написать книгу по философии антропософии; это очень культурный человек; он начинает часто заходить ко мне; мы с ним гуляем по окрестностям и рассуждаем о проблемах гетеанства. Я теперь пристально разбираю книгу Метнера и готовлю эскизы для первых глав моей ответной книги. Появлением Ван-дер-Паальса, д-ра Гёша и Бауэра, ростом дружбы с Трапезниковым и Т.А. Бергенрюн отмечено для меня начало 1915 года.

К этому времени в Париж уезжает Максимилиан Волошин; К.А. Лигский знакомится с доктором и готов вступить в А.О. Мои хорошие отношения с последним — укореняются. Метнер исчезает с нашего горизонта; он сидит в Цюрихе; и не показывается в Д[орна]хе.

### *Февраль.*

Первого февраля мы перебираемся с Асей в новое помещение, к Frau Thomann и чувствуем себя здесь внешне недурно; комнаты оказываются уютными и теплыми; на зиму мы сосредоточиваемся в двух комнатах, отделенных коридором от третьей; эту третью сдаем мы американке, мисс Чильс — на время\*\*;

---

\* Позднее, в стих. *МИХАИЛУ БАУЭРУ* (1918?, впервые опубликовано в сб. *КОРОЛЕВНА И РЫЦАРИ*, 1919), Белый писал: «Мейстер Экхарт нашего столетия, — / Помню ты из Арлесгейма в Дорнах / Мимо нас в годину лихолетья / Приходил, склоняясь в цветах и в тернах... / Помню перламутровые травы, / Купол ясноглавый, величавый, / Розовые воздушы Эльзаса, / Пушечные взрывы... из Эльзаса» (строфы II-III).

\*\* 13 февраля (н.ст.) Белый послал свой новый адрес в письме матери: Schweiz, Dornach (bei Basel). Kanton Solothurn. Haus Thomann (Baumalerei). См. след. стр.

двух комнатах, как-то по-новому концентрируется наша жизнь с Асей, которая медленно начинает поправляться; я погружен с утра и до вечера в мою работу: пишу книгу против Метнера, составляю регистр по различным вопросам методологии и теории знания из комментариев к Гётеву тексту доктора и из всех его высказываний о Гёте; у меня уже имеется огромный материал против Метнера; связывая различные высказывания доктора воедино, я вынимаю из этих высказываний оригинальнейшие мысли; такой же регистр я составляю к книге Метнера; вооруженный этими регистрами, я начинаю писать; так пишется вводительная глава; пишется последняя глава, которую я впоследствии назвал «приложение к книге», но которая по первоначальному заданию должна была стать ядром книги; пишется глава, разбирающая методологию и теорию знания у Метнера и Штейнера\*; одновременно: я усиленно работаю над усвоением световой теории Гёте и изучаю ретушь к ней Штейнера; работаю я без усталости — буквально с утра до ночи; работаю до двух часов ночи; и после не могу заснуть; постепенно я заблеваю бессоницей, которая длится весь февраль, март, апрель и которая страшно измучивает мои нервы. Во время этой работы я механически накаливаю печь; температура в наших комнатах взлетает до 20 градусов. Иногда, измученный бессоницей и мозговым переутомлением я уезжаю в Базель; и печально брожу по сырým и печальным улицам Базеля; однажды я был в Базеле с Асей; когда мы с ней возвращались в Дорнах в трамвае, то я заметил, что рядом со мной сидела костлявая, страшно безобразная и кривобокая женщина с фосфориче-

---

Там он, в частности, писал: «Прости меня, что я так долго не писал; не писал я потому, что страшно устал: у меня была инфлуэнца, а у Аси инфлуэнца с бронхитом, переходящим в воспаление; я поправился в неделю, а Ася 11 дней лежала и месяц после того, как встала, была на положении больной; /.../ Кроме того: с февраля нового стиля мы переехали; Асю, больную, надо было перевозить (с вещами и прочим). Только теперь оправляемся оба от усталости этих месяцев. /.../ Переехали мы прекрасно; у нас 2 милых тихих комнаты, коридор, кухня, 3-ья комната, которую мы сдали одной англичанке (антропософке) и терраса с видом на *Vau*. Мы прямо под *Vau* (очень близко); утром к нам на 3 часа приходит прислуга; в 12 1/2 приносят обед из *кантины*. *Vau* под боком. И кроме того: мы соседи с Доктором /.../» (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.359).

\* Книга **РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР И ГЕТЕ В МИРОВОЗЗРЕНИИ СОВРЕМЕННОСТИ**. Ответ Эмилию Метнеру на его первый том «Размышлений о Гёте», с эпиграфом: «Ждем снисходительно-популярного ответа. Эмилий Метнер», вышла в Москве (изд. «Духовное знание») в 1917 г. Ее содержание: гл. первая: Введение; гл. вторая: Рудольф Штейнер в круге наших воззрений; гл. третья: Световая теория Гёте и Рудольф Штейнер; гл. четвертая: Методология Рудольфа Штейнера; гл. пятая: Световая теория Гёте в моно-дуоплюральных эмблемах; гл. шестая: Рудольф Штейнер и — Кант, Гёте, Гегель, Платон, идея, опыт, органика, мир внешний, мир внутренний (Приложение).

ски горящими, безумными глазами и с красным шрамом на шее; она сидела со мной рядом; и мне казалось, что она с особенным вниманием поглядывала на меня; что-то было отчаянно-жуткое в ее черном, тощем, кривобоком силуэте; мне стало не по себе, но я поборол себя, ничего не сказав Асе. Отмечаю этот факт, потому что «*черная женщина*» появилась впоследствии передо мною опять в гораздо более страшной и жуткой атмосфере.

В этот же месяц, во время мучительной бессонницы, вызванной переутомлением, меня стали посещать эротические кошмары: я чувствовал, как невидимо ко мне появляется Наташа и зовет меня за собой на какие-то страшные шабаши; сладострастие во мне разыгрывалось до крайности; совершенно обезумев, я стал серьезно мечтать об обладании Наташей и стремился в моем грешном чувстве признаться Асе; но Фридкина, лечившая Асю, постоянно предупреждала меня: «Не говорите с Анной Алексеевной ни о чем серьезном: это может отразиться на ходе ее болезни». И я молчал о своих переживаниях Наташи, ожидая выздоровления Аси; затянувшаяся болезнь Аси меня крайне удручала; ведь я любил ее всюю глубиною своей души; и признавался себе, что страсть к Наташе, принимающая формы совершенно чудовищного чувственного влечения, есть злая болезнь; и тем не менее: я чувствовал, — болезнь слишком запущена; я не могу уже вырваться; эта болезнь, осложнявшаяся ночными невидимыми появлениями Наташи около меня, приняла столь серьезные формы, что я стал порою воображать, будто Наташа — суккуб, посещающий меня; и тем не менее, — я влекся к Наташе, я все хотел остаться с нею с глазу на глаз; но — Наташа, искавшая со мною общения и tête à tête эту осень, тут нарочно стала ускользать от всякого объяснения; я не мог найти повода остаться с нею с глазу на глаз; мы с нею встречались или в кантине, или на «*Vau*», или при Асе, или при А.М. Поццо; иногда она, как бы за спиною их, кокетничала со мною жестами; и — никогда не кокетничала словами; в словах она стала, наоборот, очень сдержанна со мной; очень часто бывало: она уходила от нас вечером, и тогда ночью она появлялась около моего изголовья, как суккуб; и звала меня на жуткие, страшные шабаши; самый образ Наташи явился для меня олицетворением «*черной, демонической женщины*».

Я жил в странном, тревожном настроении, ежедневно ожидая каких-то несчастий; однажды, забывшись под утро, я проснулся как бы от некоего электрического удара и почувствовал, что сижу на постели и хриплю на всю комнату; это был припадок удушья; но мне казалось, что какая-то «*черная женщина*», невидимо прильнувши ко мне, выпивает, как вампир, мою кровь; я соскочил с

постели и побежал будить Асю; но объяснить ей мои переживания страха не сумел.

В это время к нам стала часто забегать Т.А. Бергенгрюн, вся какая-то встревоженная; в ее словах раздавались невнятные намеки на то, что нам всем угрожают сильнейшие оккультные нападения, что мы здесь, около «*Vau*», как бы в своего рода траншеях, обстреливаемые астральными снарядами, посылаемыми всеми черными оккультистами; лейтмотив ее слов как бы говорил мне и Асе: «Держитесь, сильнейшие темные нападения на вас имеют место». Иногда в ее словах звучали намеки на то, что ее слова о *нападениях* на нас *черных магов* не ее лишь субъективное мнение, но что эти слова исходят из опыта подлинно внутренних антропософфов, обитающих в Дорнахе; и слова эти совпадали со странным, весьма тревожным состоянием моей души.

Однажды Ася видела сон, который ее странно поразил и взволновал: она видела, что она проникла во сне в какое-то запретное место, где гнездятся враги, нападающие на нас и насылающие на нас душевный морок; враги оказались несколькими страшными женщинами, с которыми она вступила в оккультный бой; во время этого боя с ней рядом появился Трапезников; и сражался против темных женщин; сон этот меня поразил; он совпал с моим настроением; ведь Наташа, или оборотень, принявший вид Наташи, напал своей страшной чувственностью на меня по ночам. В этот же день, или на другой день вечером, к нам пришел Трапезников; и рассказал свой сон; и этот сон совпал со сном Аси. Он — тоже во сне боролся с темными женщинами. «Да, — сказал он, отряхивая пепел папиросы, — было уже несколько случаев здесь в Дорнахе, когда в астрале видели этих женщин; по-видимому, где-то они есть; но дело не них: а в каком-то толстом, страшном мужчине, который руководит ими». Не знаю, о каком мужчине говорил Трапезников: видел ли он его во сне, или что-либо о нем слышал от других, производивших духовное исследование; больше мы с Асей ничего от него не могли добиться; но впечатление встало: мы окружены кольцом тайных сил, нападающих в астрале на нас; самое жуткое было то, что на физическом плане нельзя было защититься от этих астральных нападений; так создалось во мне представление о том, что и моя абракадабра с Наташей — результат порчи нас, чуть ли не глаза; этот *черный глаз* объясняли Бергенгрюн и Трапезников наводнением темных оккультистов, работающих над тем, чтобы внутренне деморализировать строителей «*Vau*»; не даром еще прежде, в бытность нашу в Мюнхене, Штинде предупреждала, что в Дорнахе будет очень трудно; теперь эти трудности объяснялись оккультными нападениями;

передавали, что что-то в этом роде говорил недавно и доктор. Мне думалось: «Что же доктор не защищает нас? Что же он молчит?» И доктор Гёш, такой радостный в первые дни своего пребывания в Дорнахе, появлялся в нашем домике хмурый и словно отягченный какою-то думой; иногда и он заводил разговоры с нами о каких-то наводнениях; но говорил он намеками: чувствовалось, — он что-то скрывает от нас. Установился обычай, что доктор читал нам лекции по субботам (вечером) и по воскресеньям (утром от 10 до 12-ти); однажды после лекции доктора, когда я проходил мимо него, он незаметно подошел ко мне, потрепал меня по плечу и сказал с лаской: «Nun, Herr Bugaeff, man muss doch mut haben: es macht nichts...» Я подумал: «О чем говорит доктор? Стало быть, — действительно есть причина для страха...»

Эта странная тревога, внутренне сотрясавшая меня, усиливалась моими упорными многочасовыми умственными занятиями, одолевавшей бессонницей, всей обстановкой затягивающейся войны; по ночам я с тоскою прислушивался к громохавшим орудиям на западном фронте; погода стояла унылая, непереносная; после снега делалась слякоть и сырость; туман нависал беспросветной, свинцовой пеленой; нам становилось душно и тесно в двух комнатах; и мы решили не сдавать на следующий месяц нашу третью комнату мисс Чильс.

Однажды в феврале появился у нас Э.К. Метнер, приехавший из Цюриха; я ему читал отрывки из вводительной главы, написанной против него; он хохотал над моими юмористическими выпадами и сказал: «Да, да, — написано весьма талантливо и хлестко; но — посмотрим, что вы напишете против меня по существу». Я подумал: «Ладно, ладно, — написанное только цветочки; как-то ты будешь смеяться, когда дело дойдет до ягодок». А этих «ягодок» в виде неопровержимых аргументов, свидетельствующих о его легкомыслии, было у меня в рабочем портфеле сколько угодно; они лишь еще не поступили в окончательную обработку.

Ася весь этот месяц вследствие слабости не ходила на работу; я же был погружен в писание моей книги; мы почти не бывали на «*Vau*»; связь с «*Vau*» поддерживалась только на лекциях доктора; нас посещали Трапезников, Рихтер, Седлецкие, Петровский, Сизов. Жили мы этот месяц уединенно и замкнуто; иногда на меня нападала такая тоска по России, что я признавался Асе, что меня сильно тянет уехать. Ася на это отвечала с огромным раздражением: «Ну что ж, уезжай, но я останусь здесь...» Я, конечно, не мог добровольно бросить Асю; и покорялся ей; но я думал с тревогою: «Когда же кончится это наше отсиживание и до чего оно нас доведет?»...

*Март.*

Здесь подхожу к описанию страннейших событий, разрезавших точно молния и без того неприглядную жизнь того времени; впрочем эпитет «*страннейший*», «*страннейшая*», «*страннейшее*» должен собой испестрить все страницы записываемого хода жизни эпохи 1912-1916 годов; все здесь — «*страннейшее*»; самая моя жизнь того времени — удивительный парадокс, богатейшая пища для общества психических исследований; вот ведь теперь не скажу, чтоб моя жизнь доставляла мне материал разных «*странностей*»; с 1917 и до 1924 года так мало мне жизнь доставляет поводов к склонению прилагательного «*странный*» во всех падежах; моя жизнь настоящего времени — трудная, напряженная, полная всевозможных забот, интересов; но события этой жизни несколько не странны; между тем период от 1912 года до 1917-го *очень странны*; стоит предо мною он, как *жизнь в жизни*; и эта *жизнь в жизни* имела свое рождение, рост и смерть; теперь, озираясь, себя я могу вопрошать: принадлежала ли эта жизнь моей жизни? Или кто-то, во мне поселившись, изжил себя и меня безвозвратно покинул? Если бы я проследил рождение этого «*некто*», который просунувшись в мои органы восприятия ими воспользовался, поглядел на действительность, в ней увидел все в «*странном*» свете, оставил в душе свои «*странные*» записи и излетел из меня, — если б я проследил рождение во мне этого «*некто*», то, пожалуй, не мог бы я фиксировать 1912 год, как год начала «*странных*» происшествий в моей жизни; «*странности*» этого года пожалуй лишь разразились в «*престранности*»; «*странности*» начались со мной раньше; пожалуй эпоха их открывается с 1909-го года, а не с 1912-го. И тогда период остраннения длится дольше: он захватывает эпоху с 1909 года до 1917-го; но тогда эпоха эта совпадает с годами встречи с Асей Тургеневой; не в жизни ли с ней «*остраннения*»? Так я одно время и склонен был думать. Действительно: Ася человек «*странный*» во всех отношениях до антропософии подверженный всяким медиумическим влияниям (так, вступление в жизнь с ней для меня ознаменовывалось всевозможными явлениями — вплоть до спиритических стуков); но вглядываясь еще пристальнее, я устанавливаю, что самое появление в моей жизни этой «*странной*» женщины подготовилось «*остраннением*» моей судьбы и моими переживаниями на рубеже меж 1908 и 1909 годами; в ту пору я значительно «*постраннел*»; и результатом «*странностей*» моих уже явление передо мной «*странной*» Аси. Собственно говоря, «*странный*» период открылся сближением с Анной Рудольфовной Минцловой, меня заразившей своими розенкрейцскими мечтаниями; я бы назвал этот период погружением в

«*окультизм*». В самом деле: 1909 год открывается для меня сближением с Минцловой, чтением оккультических книг, занятиями астрологией; и из всего этого, как из тумана заря, проступает Ася; наш путь с Асей начинается исканием «*внутреннего пути*», томлением среди просто «*литературной среды*», углубляется событиями в Брюсселе 1912 года, встречей с Штейнером, поездками вслед за ним; и появлением в Дорнахе; кстати сказать: лекции Штейнера эпохи 1912-1916 годов главным образом лекции на оккультные темы и темы эзотерические. Позднее самое расширение антропософии связано с переменою круга тем лекций Штейнера: выступают темы педагогические, общественные, философские, сама антропософия теряет свой концентрированный, оккультический привкус.

Итак, понятно, что эпитет «*странный*», «*странная*», «*странное*» пестрит эти воспоминания, как значок определенной тональности, открывающий нотную строчку; вся тональность годин была «*странная*» для меня. Последующие революционные годы протекали под знаком другой тональности в этой [слово неразб. — Публ.] тональности воспоминания о предыдущих годинах, о «*странных*» годинах являлись музыкальным фоном революционной действительности; в ней оккультная «*действительность*» растворилась; и звучала, как музыка; в этот последующий период моей душе стал особенно вняттен Шуман; мой вопрос о годах «*странной*» жизни моей, не получая ответа, как бы растворился в глубиннейшем изживании музыки Шумана. Соната, посвященная Кларе Вик, «*Крейслериана*», «*Фантазия*», «*In der Nacht*» и другие произведения Шумана\* стали для меня любимейшими, *моими* в полном смысле слова; от всех «*странных*» лет во мне осталась, доселе живет недоуменная *меланхолия*.

Итак, после этого разъяснения, возвращаюсь к краткому описанию жизни моей того времени: март месяц весь был повит для меня флёром жуткой тоски и недоумения, связанных с переживанием моих отношений к Наташе и к Асе, к доктору Штейнеру, к антропософии даже; мисс Чильс от нас переехала; освободилась третья комната, в которой мы устроили одновременно: и мою приемную, и кабинет; в ту пору я усиленно занимался разработ-

---

\* Ср. *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ*: «Так безумие великого Шумана вызвучилось [вызвучивалось] задолго в прекрасных звуках "Ин Дер Нахт", "Фантазии", сонаты, посвященной Кларе Вик, и в "Дихтер Либе"» (с.225). Клара Вик (Clara Wieck, 1819-1896, жена Шумана с 1840 г.) — ей посвящена соната №1, op.11 (1832-35). «Kreislariana», op.16 (1838); «Phantasie», op.17 (1836-38); «In der Nacht» («Phantasiestücke», op.12, №5, 1832?-37). О значении Шумана для Белого см. примеч. на с.644 *ПЕТЕРБУРГА* (М., 1981).

кою своей книги; писалась глава: «Световая теория Гёте»; она давалась мне особенно трудно; нужно было пропустить через себя оба тома Гёте; том теории и том «*Geschichte der Farbenlehre*»; далее надо было свести к единству сложнейший комментарий доктора; и внятно изложить книгу доктора «*Goethes Weltanschauung*» сквозь призму составшегося представления: «Световая теория в свете антропософии». Помнится, что у меня вставал ряд сомнений по поводу многих вопросов, связанных с гетизмом; сомнения свои я высказывал доктору Гёшу; и он посильно мне отвечал на мои вопросы; но меня далеко не все удовлетворяло; и я стал спрашивать, с кем из гетистов-антропософов мне можно было бы встретиться; мне указали на Шолль, как на хорошую гетистку; она жила в Арлесгейме с двумя подругами американками (Шолль когда-то встретила нас при вступлении нашем в А.О.; она занималась с Наташей и Асей немецким языком); помню, как я отправился к Шолль, приготовив ей ворох вопросов; но после двух-трех вопросов, поставленных ей, я вполне убедился, что она некомпетентна, и на философские проблемы мои она не ответит мне никогда; она только хорошая начетчица по вводительным статьям Штейнера к Гётеву тексту. Она откровенно сказала мне: «Поговорите с д-ром Штейнером». Не помню, как я искал свидания с Штейнером, но вскоре же оно состоялось; и было длительно; д-р весьма внимательно выслушал мою концепцию световой теории, входил в детали, отвечал на мои вопросы, связанные с Декартом и Ньютоном; мы говорили о новой теории строения материи; д-р рекомендовал мне сочинения физика Планка; и совершенно поразил своею осведомленностью в ходе развития естественно-научных вопросов последнего времени; между прочим: он мне сказал, что общая линия моей позиции взята верно: «Я прежде, — заметил он, — хотел дать философское обоснование антропософии, а потом отвлекся в другую сторону; философией антропософии мало кто интересовался; разумеется всем проблемам, затрагиваемым на курсах моих, можно было бы дать философское обоснование...»

Беседа с доктором познавательного удовольствия для меня весьма; обо мне и о странных состояниях сознания моего мы не говорили; а мне было скверно: умственное переутомление сказывалось бессонницей; сердечный невроз сказался удушьем; иногда я почти не мог говорить; боязнь о здоровье Аси обострялась (вечерами продолжалась повышенная температура у ней); отношения к Наташе, принявшие форму болезненного эротизма, меня удручали (примешивались припадки ревности к Метнеру); отношения с Поццо приняли натянутый характер; я старался отвлечься от Наташи, и



тогда страсть моя к ней раздражалась *припадками чувственности* вообще; я стал испытывать чувственность к *женщине* вообще; в это время многие женщины, попадавшие мне, возбуждали во мне чувственность; и я испытывал чувство *стыда*, что я, антропософ, не умею побороть в себе этой чувственности. Эти припадки чувственности сопровождалась ощущением гонения и наводнения; мне начинало казаться, что кто-то образом женщины (то образом Наташи, то первой встречной) преследует меня. Подготовлялось нечто вроде мании преследования. Очень помнятся мне мои путешествия в Базель; и бесцельные, одинокие блуждания по улицам, в сыром тумане; по-прежнему я забирался в кинематограф; и сонно просиживал перед развернутой панорамой картин. Эти поездки в Базель оставляли в душе какой-то мутный след; мне почему-то делалось в Базеле жутко; и все-таки: я стал часто уезжать в Базель, чтобы хотя на день оторваться от сидячей жизни.

Помнится, что символом моей судьбы стал мне образ дюре-ровской гравюры: «*Рыцарь и Смерть*»; эта гравюра висела над моим рабочим креслом; я подолгу вглядывался в гравюру; она казалась мне вещью: я как бы говорил себе: «Это ты мрачный рыцарь, поехавший в смерть». Иногда возникал в сознании моем образ роковой черной женщины; и я порою сближал ее с образом Наташи; чаще же мне казалось, что Наташа лишь проводник этой женщины; что *какая-то черная женщина* есть — это мне чаще и чаще казалось: и она-то губит меня, возбуждая во мне чувственность к женщине вообще.

В это время под холмом, на котором стоял «*Vau*», было отстроено бетонное отопление весьма странной формы; оно напоминало дикое существо с рогатой головою; рога — разветвлялись; это были — трубы; отопление соединялось с «*Vau*» подземным коридором; было жутко на вахтах спускаться в это отопление подземным ходом; отопление бывало заперто; выйти из него — значило: пройти коридором; охватывало чувство: вдруг этим коридором пройдет кто-нибудь.

Уже стояла весна: мы выставили окна; гром орудий слышался сильнее; и как-то особенно мучил меня. Как-то у нас состоялось мое чтение одной из глав книги против Метнера; присутствовали: Наташа, А.М. Поццо, Петровский, Сизов, Трапезников. Сизов был смущен резкостью моего тона; скоро он поехал в Цюрих; и должно быть рассказал Метнеру о моих нападках на него, потому что в Дорнахе появился Метнер, какой-то раздраженный и злой; он пришел ко мне с Сизовым и с первых же слов начал явно придираться ко мне; речь зашла о нашей былой деятельности в «*Musage-*

те». Я сказал, что в инциденте со мной «*Musaget*» был неправ; он — вспылал; тогда Ася спокойно повторила мои слова: «Да, все-таки "Mусагет" был неправ». В ответ на это со стороны Метнера последовал взрыв дикого крика; он выскочил из нашего дома, не простившись; Сизов побежал за ним; впоследствии Метнер сказал Поццо: «Конечно, я погорячился: мне очень грустно, что я не извинился перед Анной Алексеевной». Несколько дней я ждал, что он пришлет извинительное письмо Асе; он его не прислал; тогда я послал ему короткую, спокойную записку, в которой просил его не бывать у нас и не адресоваться ко мне письмами, пока он находится в состоянии, не могущем нас гарантировать от подобных вспышек.

*Так оборвались навсегда мои отношения с Метнером, бывшие некогда столь близкими (с 1902 года до 1911-го).*

В это же время я очень тяжело воспринял одну из лекций д-ра Штейнера, в которой он говорил против «*символизма*», причем под «*символизмом*» д-р разумел «*аллегоризм*»; мне показалось, что выпад этот был выпадом против моей книги «*Символизм*», которую я когда-то поднес Марии Яковлевне; по окончании лекции я вскочил и громко сказал (чуть ли не вскричал): «Мы, символисты, года твердили, что между символом и аллегорией дистанция громадных размеров: под символизмом мы разумеем нечто другое...» И я демонстративно убежал с лекции; мою вспышку заметили Мария Яковлевна и графиня Калькрейт, сидевшая за моей спиной; когда я убежал, она сказала Асе: «Это — ничего: это барометр падает; когда падает барометр, со мной бывают такие же вспышки...» А Мария Яковлевна, встретившись со мной через несколько дней, улыбаясь, сказала: «Я слышала, что вы сердились на доктора за его слова о символизме; так ведь он говорил не о символизме в вашем смысле, а о том символизме, который имел место в Германии».

Вообще я ощущаю себя крайне нервным в этот период; и испытываю огромную тоску по России; однажды Сизов мне говорит (это было на портале): «Знаешь, Боря, Дорнах — не для нас, русских: сюда можно будет впоследствии приехать на курс и провести несколько праздничных дней; но жить всегда — нет и нет!» В это время Сизов и Петровский стали задумываться о том, что пора им двигаться в Россию; Сизов уехал в начале мая, с Форсман (петербуржанкою); Петровского я провожал в июне.

Дорнахская атмосфера становилась мне порой поперечь горла; дух догматизма и глупого педантизма множества «теток», расселившихся в Арлесгейме, меня раздражал; особенно раздражали сплетни, распространяемые «тетками»; я говорил себе, что

вот уже 3 года как я вращаюсь среди антропософов; и в конце концов я «не узнаю»; мои моральные устремления, мои литературные труды абсолютно никого не интересуют, а сложнейшие душевные переживания мои — «нуль»; как был я для всей этой массы «unser lieber naive Herr Bugaëff», так и остался; кроме того: я стал замечать, что некоторые из наших членов точно косятся на меня; между мною и ими будто пробегает «черная кошка»; так, Энглерт, прежде такой внимательный ко мне, стал явно меня сторониться; охладели мои отношения с Рихтером; Седлецкие тоже неприязненно оглядывали меня; Валлер и Митчер выказывали холодность; Классен и Эккартштейн — тоже; холодок в отношении к себе я подмечал и у Шолль. Кто особенно меня не любил, так это — Вольфрам (председательница Лейпцигского отделения, в то время жившая в Дорнахе: ее дочь занималась усердно эвритмией); чаще я виделся с д-ром Гёшем, относившимся к нам с большою симпатией; ближе сходились мы с мужем и женою Полляк (оба занимались живописью); Полляк был интересен между прочим тем, что еще до антропософии годы шел мистическим путем и имел «стигматы». В это время появились в Дорнахе муж и жена Стракош (из Вены); она была художница, а он — инженер, интересовавшийся естествознанием (впоследствии Стракош стал преподавателем Вальдорфской школы)\*. Оба у нас бывали.

Более сближались мы с Ван-дер-Паальсом, который появлялся у нас чаще и чаще. И вычертился русский кружок, с которым встречались мы почти постоянно: Ильина, Дубах, Фридкина, Н.А. Маликов, К.А. Лигский, ставший антропософом и усердно работавший над стеклами в мастерской Рихтера. (Т.А. Бергенгрюн и Т.Г. Трапезников были моими особенными личными друзьями в то время.) Кажется, в то самое время к Трапезникову начал называть Мих. Петр. Кристи из Лозанны, где он жил вместе с Луначарскими; он с интересом расспрашивал о постройке «*Vau*» и брал от Трапезникова книги доктора (которые, кажется, ему переведил Луначарский); к Ильиной стал из Берна приезжать Гавронский (философ-когэнианец и социал-революционер); Ильина познакомил его со мной; он однажды явился ко мне и попросил меня рассказать ему основы теории знания Штейнера; его водили на «*Vau*» и хотели испросить разрешение на лекцию доктора. Но выпуск посторонних был очень строг; Гавронского не пустили; он очень обиделся; и, кажется, перестал появляться в Дорнахе. Наташа в это время усиленно занималась у Рихтера в мастерской на стеклах;

---

\* О Вальдорфской школе см. примечание к воспоминаниям М.Н. Жемчужниковой о Московском Антропософском Обществе (*МИНУВШЕЕ*, т.6, с.46).

ей поручили красное стекло, на котором должна была быть вырезана огромная голова «*посвящаемого*», сделанная с наброска д-ра Эккартштейн (помнится, когда Эккартштейн работала над рисунком своим, она рисовала «*глаза*» с меня); в группе резчиков по стеклу, сгруппированных в домике Рихтера, помню: братьев фон-Май, Седлецких, Лигского, Ледебура (с которым мы мало стали видаться); скоро к этой группе присоединилась молоденькая художница фон-Орт, ставшая в 16-м году невестою Ледебура, а потом вышедшая замуж за Лигского (уже после моего отъезда).

В это время начались интенсивные работы художников по подготовке к раскраске куполов «*Vau*». М.В. Сабашникова работала над картиной «*Египетского Посвящения*»; Перальтэ разрабатывала один из мотивов большого купола; Линде и Полляки (муж и жена) работали над эскизами малого купола; Асе поручил Рихтер разработать один из мотивов для стекла. К тому времени д-р вылепил голову Христа, а англичанка Мэрион с этой модели разрабатывала огромную статую Христа (из пластилина); статуя впоследствии должна была быть вырезана из дерева.

#### *Апрель.*

Приближалась Пасха; начались усиленные репетиции эвритмических номеров, долженствующих фигурировать на пасхальном празднестве: Ася и Наташа принимали деятельное участие в репетициях; страстную неделю я просто задыхался от тоски, от мутности, от какой-то загрязненности атмосферы вокруг; в довершение всего меня волновал и мучил обозначившийся прорыв западного фронта; я, как пасифист, хотел бы, чтобы война вовсе окончилась; и окончилась вничью; я готов был даже на то, чтоб стать на точку зрения пораженчества, при условии, что окружающие нас немцы-антропософы станут на такую же точку зрения; но видеть довольство этих немцев тем, что наши солдаты гибнут, чувствовать самоуверенное потирание рук у тебя за спиной, — нет: на это я был несогласен.

Кроме того: атмосфера, сгустившаяся над нашей колонией, была просто ужасна; впоследствии Энглерт признавался М.В. Сабашниковой, вспоминая об этом времени: «Тогда, действительно, в Дорнахе пахло каким-то козлом». (Разумел он козла шабаша.) Чему приписать эту странную атмосферу, не знаю. Помню лишь, что пасхальная лекция д-ра была печальна; я вернулся с лекции и встретил отчаянием пасхальную ночь\*.

\* На Пасхе, 4 апреля (н.ст.), Штейнер читал лекцию «*Drei Faustgestalten*». В тот же день была первая эвритмическая постановка «пасхальной сцены» из ФАУСТА.

Скоро доктор и Мария Яковлевна уехали в Германию, — недели на две\*; в домике доктора проживала одна Валлер.

Вот тут-то и произошел со мною незабываемый по странности (опять это слово!) случай; я внутренне в последний раз разорвал все с Наташей; и тотчас почувствовал около себя чье-то жуткое присутствие; состоянье сознания моего, истощенного уже двухмесячной с лишним бессонницей, было ужасно: днем я спал наяву (события жизни протекали в каком-то сплошном тумане); а ночью не мог сомкнуть глаз до зари, забываясь слегка на расвете.

И вот (помнится, это было в четверг, на Фоминой неделе) однажды, находясь в таком сонном состоянии, я взял бумагу и пером стал царапать какие-то закорючки; из закорючек сложилось до ужаса жуткое, женское лицо; в лице была печать сатанизма; я показал Асе это лицо; и она отстранила его от себя, сказав: «Фу, какая гадость!» А ночью произошло со мной следующее: я, по обыкновению, не спал; и томился; Ася спала; свет в моей комнате был зажжен; вдруг, плотно притворенная дверь, ведущая в коридорчик, сама собой растворилась; в обычных условиях она не могла раствориться; я вскочил с постели и притворил ее; но едва я лег, как дверь опять растворилась; я чувствовал, что что-то невидимое (верней, кто-то *невидимая*) наполнило комнату; я почувствовал, — кто-то страшный стоит у моего изголовья; верней, — кто-то *страшная*, потому что было явно, что это — *страшная женщина*; я вскочил с постели, разбудил Асю, рассказал ей о явлении с дверью; Ася не обратила на это внимания; и заснула. Я, по обыкновению, провел ночь в бессоннице.

На следующее утро меня охватила тяжелая тоска; и точно невидимая сила вытянула из дому; совершенно безвольно я стал бродить по окрестностям, не помню, как очутился у трамвайной остановки в Нижнем Дорнахе; не знаю почему неожиданно для себя сел в трамвай и увидел, что еду в Базель: «Зачем?» — подумалось мне; в Арлестейме в трамвай села одна из американок; Шолль ее провожала на станции; мне показалось, что Шолль посмотрела на меня особенно значительно. Очутившись в Базеле, я бесцельно забродил по улицам; остановился у домика Эразма, пошел обратно, забрел в какой-то неудобный и мрачный кинематограф; почему-то мне показалось, что ряда за два за мной сидит фрау Поольман-Мой; но я не взгляделся: я даже не знаю, почему мне это показалось: видел ли я ее, или приснилось, что видел, — не знаю; я был точно в трансе; помнится, около меня были сво-

---

\* 15-23 апреля (н.ст.) Штейнер провел в Берлине, где он читал серию лекций.

бодные места; что показывали на экране, не видел; вдруг, во время представления, раздвинулась черная занавеска и женское существо, все в черном, странной, шмыгающей походкою прямо направилось ко мне, село рядом со мной, хотя почти весь ряд был пустой; существо прижалось ко мне; я не знаю, почему я не отодвинулся: руки и ноги мои оцепенели, а черная женщина продолжала ко мне прижиматься, отчего мне делалось жутко; ужас меня охватил, а я не мог двинуться; так сидели мы в пустом почти ряду, странно прижатые друг к другу; в антракте вспыхнул свет; я сделал попытку взглянуть в лицо странной соседки, но она как-то гадко повернулась ко мне спиной; я мельком увидел неприятно-странные черты ее лица и как будто красный шрам на худой тонкой шее; свет погас и черная женщина опять прижалась ко мне; меня охватило отвращение; преодолевая тяжесть, сковавшую руки и ноги, я поднялся с места, взглянув в лицо своей соседки; во тьме неясно я увидел безобразные черты ее; она опять повернула от меня лицо; я бросился прочь из «Кино»; в страхе, наполненный точно туманом, я сел в трамвай, уносясь в Дорнах; как во сне по дороге запомнились лица мне нескольких из наших; помнится, что когда я бежал из Нижнего Дорнаха к нам, на холме, мне казалось, меня кто-то преследует; я чувствовал внутренний запрет говорить с Асей о непонятном для меня происшествии в «кинматографе». Едва я пришел домой (Аси не было дома) — стук в дверь: «Негеіл...» Входит Шолль; я удивился ее появлению; обычно она никогда не бывала у нас; лицо Шолль меня поразило опять, как и на станции в Арлесгейме; она смотрела на меня с напряженным вниманием; и точно взглядом испытывала; она спросила, прищурив глаза, точно она знала об охватившей меня лихорадке, — последствии встречи в кинематографе: «Ну, как вы себя чувствуете?..» Я принужденно ответил: «Да ничего...» Шолль с недоверием на меня посмотрела; и с неопределенным выражением сказала: «Ну, вот и хорошо». Она вернула мне взятый у меня томик Гёте. Мне показалось, что ее появление у нас только предлог — посмотреть на меня; я подумал: «Для чего ей надо знать мое самочувствие?..» Помнится, — с тяжелой грустью, под вечер, я вышел на луг перед нашим домиком; встретил Наташу; у нее были в руках цветы; у меня вырвалось что-то горькое; я сказал: «Ну вот, начинается весна, а я тут, точно скот бессловесный...» Почему я это сказал, не знаю. Помнится, как в тумане: встретил Ильину с приехавшим к ней Гавронским.

На другой день, в субботу, меня охватила тревога, переходящая в страх перед чем-то неумолимым, что должно стрястись со мной; с утра Ася отправилась в домик Рихтера работать на стек-

лах; я остался один в трех пустых комнатах; и меня опять охватил страх; я вышел на балкончик и бросил взгляд на дорогу, проходившую мимо домика доктора; дорога вела в кантину; я увидел баронессу Фитингоф, быстро шедшую к кантине; эту Фитингоф я не любил; она казалась мне странно болезненной, медиумичной, порой даже подозрительной; были моменты, когда мне казалось, что она — «шпионка» из темных оккультических обществ, посланная к нам; однажды эта Фитингоф говорила со мной о каком-то оккультическом обществе «маздаистов», участников которого она знала; эти «маздаисты» действовали внутренним насилием над волей человека; и вот мне показалось, что сама она «маздаистка» и что она мне чем-то угрожает; что она трется среди нас, рассеивая дурную атмосферу вокруг. Итак: я увидел шедшую Фитингоф (ее звали «стрижкой» в русском кружке); с ней рядом хромало отвратительнейшее жуткое существо в черном: это была кривобокая, страшная, худая женщина; я не видел ясно лица этой женщины; но в походке и в жестах ее было что-то угрожающее, сатанинское; и будто ведомое мне из кошмаров; точно существо из мира Гойи и Брейгеля воплотилось в этот солнечный день; одно мгновение мне показалось, что «черная женщина», ковылявшая за Фитингоф и что-то ей отвратительно рассказывавшая, была моя вчерашняя соседка по кинематографу; и тут, неизвестно почему, мой страх превратился в панический ужас; но я сказал себе: «Вздор, надо быть трезвым: это — случайное совпадение...» Тем не менее, — мне стало не по себе; я почувствовал, что не могу спокойно оставаться в комнатах; я взял томик Гёте и отправился гулять; не знаю почему, меня с неудержимой силою потянуло в домик Рихтера; Рихтер встретил меня как-то особенно; он взглянул на меня с какою-то вещью, испытующею улыбкой и очень сердечно потрепал по плечу: «Ничего, не надо бояться: надо быть мужественным!» Я — вздрогнул: мне показалось, что в тоне Рихтера есть что-то приготавливающее меня к потрясению, которое должно вот-вот надо мной разразиться; Рихтер говорил со мной так, как говорит оператор с тем, кого он собирается оперировать; к нам присоединилась Ася; Рихтер сказал нам очень властно: «Ну теперь пойдёмте за мной: я вам — покажу кое-что...» Взял меня за руку и так же властно вывел из домика; с нами шла Ася; я все время соображал, случайна или не случайна странная интонация Рихтера; но я привык по прежним встречам с Рихтером видеть в нем какое-то двойное существо; то это был простой, веселый балагур, то — будто ведающий что-то, посвященный во что-то; так — в дни моей внутренней мистерии на берлинском генеральном собрании 1914 года он точно знал события внутренней жизни мо-

ей; в моих имагинациях он всегда играл очень странную роль: вводящего меня в какие-то внутренние обряды моей души; в его интонации, в жестах его проявлялось тогда нечто ритуальное; и нельзя было решить, сознает ли он то, что его жесты выглядят ритуальными жестами, или это совершенно произвольно в нем. Ту же ноту двойственного отношения к действительности я подметил в нем в моменте, когда он, взяв меня за руку, повел из своего домика к отоплению; помещение отопления, имеющее вид странно-рогатого существа, называли мы, антропософы, условно «*Ариманом*», потому что в общей концепции плана «*Vau*» отопление было именно ариманическим началом в «*Vau*»; Ася шла за нами; Рихтер привел нас во внутреннее помещение отопления; спустился с нами вниз; и сказал тем же странным обрядовым голосом: «Мы теперь — в недрах Аримана: вот как может человек пасть!» Я стал внутренне прислушиваться к словам Рихтера. Он же, снова взяв меня за руку, повел подземным коридором, соединяющим «*Аримана*» с Гетеанумом; это шествие нас троих вверх к Гетеануму по подземному коридору напоминало мне какой-то обряд; попав внутрь Гетеанума, мы стали подниматься по лесам — вверх, к куполу; Рихтер продолжал держать меня за руку; став под куполом, он сказал: «Так после падения может человек вверх подняться...»

Я был охвачен внутренним волнением; мне казалось, что Рихтер говорит о событиях моей внутренней жизни... Мы трое стояли под куполом. Рихтер опять мне сказал: «Не надо бояться...» И повел вниз; я спокойно ждал, что будет дальше; Рихтер вывел нас на веранду, окружавшую Гетеанум; внизу, под верандой, увидел я семидесятилетнюю старушку Киттель, разговаривающую с семидесятилетним старичком Вагнером, нашим членом, приехавшим только что из Германии; я его еще не видел и обрадовался ему; и Киттель, и Вагнера я любил; они стояли у ограды Гетеанума, откуда спускалась дорога в кантину, разговаривали, поглядывали на Гетеанум; и точно поджидали кого-то; Рихтер повел нас к ним; увидев, что мы идем, они пошли вниз, нам предшествуя. Рихтер значительно на меня посмотрел; и мне показалось под действием его взгляда, что меня ведут вниз, точно под конвоем, состоящим из Рихтера и двух самых старых и очень чтимых членов Общества. «Что это значит» — молнией мелькнуло во мне; у конторы, мимо которой мы прошли, стояло несколько членов Общества, относившихся, кажется, ко мне неприязненно; когда мы проходили мимо них, мне показалось, что они крикнули что-то неприязненное по моему адресу; все это прошло, как во сне. В кучке стояла Зонненклар.



Спускаясь к кантине, я видел, что на пустой лавочке сидит Валлер; и точно поджидает нас; увидев нас, она со всех ног бросилась к кантине, точно предупреждая кого-то, находящегося внутри кантины о нашем появлении. «Куда она?» — мелькнуло во мне. Как во сне помню, что мы с Асей заняли место за пустым столиком снаружи (был час кофе); с нами сел, кажется, Кемпер; Ася принесла кофе себе и мне; не помню, куда девался Рихтер; когда я уже кончал кофе, я увидел фрейлейн Митчер, всю в черном; она подходила к нам какими-то торжественными шагами; за ней шла та самая ужасная, кривобокая женщина в черном прихрамывающею походкою; ее лицо было мертвенно бледно, огромные губы расплывались в цинично-мерзкой улыбке в то время как злые, ослепительно фосфорические глаза пронизывали меня, как электричеством; Митчер подвела ко мне *ужасное* существо и, встав между нею и мною в ритуальной (как показалось мне) позе, значительно поглядывала то на меня, то на женщину в черном и спросила: «Не знаете ли вы, где баронесса Фитингоф: вот эта дама ее ищет». И тут мне стало ясно, что *хромая женщина в черном* с ужасным лицом, отвратительно улыбающаяся мне, была тем самым существом, которую я видел час назад, идущей с баронессой Фитингоф к кантине; я привстал и ответил, что не знаю где Фитингоф. Митчер бросила: «Как жалко». И пронзительно посмотрела на меня; а кривобокая *женщина в черном* повернула свое лицо; и тут на тощей шее ее я увидел кровавый шрам, — тот самый кровавый шрам, который я увидел в «*Кино*»; это была ужасная вчерашняя моя соседка по «*Кино*»; тут меня охватила дрожь, страх, недоумение, почти ужас; а Митчер, значительно улыбнувшись мне, отошла; черное «*существо*» село на лавочку, наискось от нас, отвратительно улыбаясь и ослепительно блистая на меня своими зелеными, фосфорическими, не то безумными, не то сатанинскими глазами; я не знаю, что во мне поднялось; тут я увидел бегущую ко мне с холма Наташу; Наташа тоже была вся в черном; мне показалось, что черная женщина могла бы быть противообразом *Наташи*; если бы Наташа была уродлива до последних пределов, если бы она стала ведьмой и участвовала бы в черных шабашах, то лицо ее могло бы приобрести этот отвратительный отпечаток... Я встал и не слыша под собой ног пошел вверх от кантины: Наташа твердо сказала: «Я пойду с тобой». И в словах ее мне почудилось опять что-то ритуальное. Точно она в минуту моей брошенности и смертельного ужаса оказалась рядом со мною; Ася же ничего не видела, ничего не понимала, что происходит. Пока мы поднимались кверху, Наташа мне говорила невнятное о том, что около Гетеанума видели каких-то сомнительных

людей, что готовится оккультное нападение на всех нас, что кто-то у входа в Гетеанум видел змею, что все чем-то встревожены и перепуганы и что к входам, ведущим на стройку, с сегодняшнего дня приставлена стража, что у всех без исключения членов при входе в Гетеанум будут спрашивать членские билеты; я едва слушал Наташу, потрясенный появлением передо мной образа черной женщины; погода хмурилась; поднялся ветер: он свистал и подвывал, крутя пыль; в моем же сознании вертелось: «Где я прежде видел это страшное лицо и красный шрам на шее?..» И вдруг — вспомнилось: в феврале мы с Асей возвращались в трамвае из Базеля в Дорнах; рядом со мною сидела эта костлявая, безобразная, бледная как мертвец, кривобокая женщина с красным шрамом на шее; и сумасшедшими, фосфорическими глазами покашивалась на меня; а когда я пришел домой, то мне бросилось в глаза непроизвольно нарисованное страшное женское лицо, накануне встречи в *кинematографе*; это лицо глядело на меня с клочка бумаги и странно напоминало лицо черной женщины; вспомнил и происшествие с дверью: дверь отворилась сама собой и в комнату мою вошло женское, невидимое существо, наполняя душу страхом. Тут я чуть не вскричал от ужаса. Как? Мой кошмар воплотился? Ужасная Недотыкомка получила плоть и кровь, стала преследующим меня двуногим существом? Сперва я ощутил невидимое присутствие какой-то *черной женщины*, суккуба, в моих переживаниях принимавшего иной раз вид Наташи; потом Ася и Трапезников стали в снах бороться с какими-то черными женщинами; потом заговорили о невидимых оккультных врагах, нападавших на нас; наконец я в некоем трансе воплотил на бумаге сатанинскую женщину; она, невидимая, вошла ко мне ночью, отворив дверь; наконец она, инкогнито, подседа ко мне в кинематографе, ко мне прижималась; и наконец появилась в кантине, как бы представленная мне Митчер.

Когда все это встало предо мной, меня охватил такой ужас, что я, помнится, вскрикнул вслух. Что это значило? Существо астрального мира встало передо мною? Кто оно? Есть ли это мой двойник? Или — Наташин двойник? Или — страж порога? Если последнее, то значит встреча со Стражем Порога происходит на физическом плане? Нет, этого не бывает! Это слишком ужасно! Да, в лице неизвестной *черной женщины* воплотилось все самое гадкое, подлое, низменное, что жило в моем сознании и бессознании, и вот это все как оплеуха мне брошено в лиц; я почувствовал, испытывал леденящий страх, гадливость и одновременно ненависть к *этой женщине*; и как бы желание ее уничтожить; но я чувствовал вместе с тем, что глаза этой женщины грозили

мне стародавнюю яростью и как бы желанием в свою очередь уничтожить меня; стало ясно, что физическое воплощение моих темнот и скверн в виде появившегося среди нашей колонии отвратительного существа будет всюду появляться передо мною, дискредитировать меня, выдумывать на меня небылицы; и в этом смысле мое вчерашнее сидение с ней в «Кино» (где она прижималась ко мне, а я не сопротивился ей в каком-то трансе) она повернет против меня, распространяя про меня гадости; что произошло со мною тут, я отказываюсь передать. Уже вернулась Ася из кантины, а я сидел в ужасе, бормоча что-то невнятное (я чувствовал, что Асю я не могу пока посвятить в мое несчастье).

Предстояло вечером итти на лекцию д-ра Унгера об антропософской морали, а я знал, что опять увижусь с... но с кем? С сумасшедшей, но — как появилась она среди нас? С своим видением?.. И вместе с тем: я знаю, что должен преодолеть свой ужас; и — пойти на лекцию; или — бежать навсегда, куда глаза глядят, из Дорнаха.

И я пошел: что мне стоило это, видит один Бог.

У входа в сарай, где читались лекции, Энглерт весьма сухо мне сообщил, что надо иметь членский билет; кажется, Ася пошла за билетами, а я остался в каком-то глупом положении сидеть около сарая на лавочке; и вот, к ужасу моему, я увидел — то самое, чего боялся: ужасное кривобокое существо вела за руку вверх из кантины нарядно одетая графиня Калькрейт; проходя мимо меня с *черной женщиной*, она значительно поклонилась мне; мне показалось, что ведение *ужасной незнакомки* на лекции обставлено, точно образ *введения* чорта в антропософский храм; *женщина*, проходя мимо меня, блеснула на меня глазами и опять на широких, животных губах этого мертвобелого лица появилась отвратительная улыбка. Случилось так, что мы с Асей прошли в помещение для лекции вслед за нею; проходя, я поклонился знакомой шведке (антропософке); но шведка, обычно любезная со мною вплоть до заискивания, дерзко посмотрела на меня, демонстративно дернув голову в сторону и не ответив на поклон; я увидел, что иные из членов как бы сторонятся меня; а в душе отдалось: «Ага, — вот уже начало действия какой-то неведомой мне клеветы на меня со стороны появившегося отвратительного создания...» В чем заключается эта клевета, я не знаю, но знаю, что она — ужасна для меня (мне представилось, что неведомая *черная женщина* могла рассказать обо мне гадости по поводу непонятого моего поведения в «Кино», когда я, будто в гипнозе застывший, не мог отстать от нее, когда она прижалась ко мне); самым ужасным было то, что *черная женщина*, — физическое воплощение всех скверн моей

души во всех моих воплощениях; и вот теперь эти невыносимые для меня самого скверны все рассматривают.

В помещении для чтения лекций в первом ряду, посередине, перед эстрадою Унгера было поставлено нарочно принесенное, как бы почетное кресло: и туда, в это кресло, усадили *женщину в черном*; я рассматривал это, как поругание себе; и страдал безмерно; Валлер и Митчер сидели сбоку; обе опустили головы в руки; и не глядели на меня; я чувствовал, что обе сопереживают мои страдания; Ася сидела рядом со мной и *ничего не замечала*; я же не мог, разумеется, ни у кого спросить, что это за женщина появилась среди нас; наконец, мне могли ответить: «О ком вы спрашиваете?» Я указал бы на *нее*; и мне ответили бы: «Да там никого и нет». Действительно: несколько дней я думал, что просто сошел с ума и что *«существо»*, повергающее меня в панический ужас, моя галлюцинация.

Доктор Унгер читал в этот вечер о теософской морали; как надо не отделяться от ариманического начала в себе, но его внутренне переплавлять в себе; попутно он коснулся того факта в жизни постройки, что окончено помещение для отопления *«Ваи»*, так называемый *«Ариман»*, что это символ того, что мы включили в себя ариманических существ и должны теперь нести их в себе, перерабатывая; слова его двоились во мне; мне казалось, что его намеки на введение *«ариманических сил»* в наше Общество и *«введение»* торжественное Калькрейт *«черной женщины»* в помещенье для лекций — события одного порядка; и вместе с тем, — какою-то нездешнею логикой я догадывался, что я — виновник введения *«черной женщины»* в нашу среду; после лекции д-р Унгер, который всегда был далек от меня, подошел ко мне и с серьезною грустью, даже с каким-то внутренним вздохом спросил меня, принимаю ли я слова его лекции; я сказал: «Принимаю». Пожал мне руку; и сказал: «Я очень рад». Явную поддержку в этот вечер я испытал со стороны Бауэра и Моргенштерн; и он, и она были со мной очень нежны; эта поддержка со стороны Унгера, Бауэра, Моргенштерн и ощущаемая внутренне поддержка Валлер — были причиной того, что я мог вынести явно враждебные взгляды большинства наших членов; и главное: мог вынести присутствие *«черной женщины»* на лекции, ее наглые улыбки и злые взгляды, бросаемые на меня.

На следующий день, воскресенье, опять вечером была лекция Унгера; опять я с ужасом потащился на встречу с *«черной женщиной»*, не будучи в состоянии понять, что все это значит.

Эти два дня настолько сломили меня, что всю следующую неделю я был явно болен.

Всю последующую неделю я ощущал полную невозможность появиться на стройке; я говорил себе: «Перед полною абракадаброй судьбы, перед ужасом без названия не отступил ты; ты, мужественно преодолевая отвращенье и страх, появился на лекциях, ожидая неведомого позора. Довольно: теперь ты имеешь моральное право засесть у себя на дому». Всю последующую неделю я потрясался *непонятностью* выступления передо мной странной женщины; откуда она появилась на физическом плане и кто она, на это не мог я ответить себе; почему она выступила передо мною так именно, как выступила, почему все ее с точки зрения внешней вполне непонятные жесты (в кино, в кantine, на лекции Унгера) вполне гармонировали со смутнейшими от всех таимыми моими переживаниями, этого не мог я понять; и я стал рассуждать: это явление выступления передо мной моей кармы; теперь выражение «созревание кармы» получило для меня новый смысл: подобно тому как в сознании моем *черная женщина* сложилась внутри моих собственных переживаний (переживаний низшего «Я») и потом как бы выступила из меня самого, так точно, как луна некогда отделилась от организма земли, — так каждое житейское переживание, если бы мы могли проследить зарождение его оком духовной науки, складывается сперва внутри нашего морального мира; теперь, горьким опытом я узнал, что такое *созревание кармы* и что такое выступление ее изнутри во вне; но объяснение странного события общими обсуждениями о карме не удовлетворяло меня; я хотел более его конкретизировать; я понимал, что это явление связано с переживанием порога; вместе с тем, *женщина* стояла передо мной одновременно и как двойник моего низшего «Я»; стало быть: эта женщина ничто иное, как мой «двойник»; тогда — как объяснить ее биографию? Ведь она где-то родилась, имела какую-то свою жизнь прежде чем выступить передо мной в таком ужасном для меня виде; в-третьих: мне представлялась «она» одновременно: то двойником Наташи, то ее противоположностью. Чем же она была в самом деле? Или все, чем она являлась мне, мои субъективные иллюзии; или же, наконец, ее и нет вовсе: она моя галлюцинация (несколько дней после странной встречи я так именно думал); в таком случае я сошел с ума. Но почему же часть членов нашего Общества начала на меня коситься, а Эккартштейн и шведка перестали даже со мной кланяться; стало быть, «она» — есть; и она распространяет обо мне какие-то меня порочащие слухи; тут охватывало меня просто бешенство; за что она порочит меня? Ведь она же сама вела себя странно со мной в «кино»; и как опровергнуть клевету на себя, когда не знаешь, какого она рода; если бы обратились ко мне прямо и спросили: «Правда ли, что вы

то-то и то-то?», то можно было бы опровергнуть; лучше даже признаться в совершенном преступлении, если бы такое было совершено, чем эта двусмысленная неопределенность, эти взгляды, полные укоризны и даже брезгливости; я чувствовал, что меня в Обществе иные из членов считают чуть ли не преступником, хотя я не знал, в чем мое преступление; быть опороченным в ответ на мой глубочайший порыв, заставивший меня бросить Россию, где все меня знали и многие любили, — нет: это слишком ужасно! Но меня не обвиняли ни в чем: *меня только обходили*. Тут поднималась новая догадка для объяснения бывшего: это *какая-то черная магия* злых окултистов, проникших в наше Общество; надо бы поднять тревогу и указать всем на двусмысленное по[ве]дение «*существа*» (так я называл про себя мою страшную незнакомку); с другой стороны: значительные предупреждения Рихтера («*не бойтесь*»), какой-то обряд, через который он меня проводил до встречи с «*существом*», намеки Шолль, намеки лекции Унгера о том, что мы ввели в свою среду ариманические существа, явно доказывали, что есть группа членов, знавших что-то обо мне и о восприятии моем «*черной женщины*»; стало быть, — думал я, — это встреча есть действительно встреча, продиктованная тайнами духовного знания; в таком случае надо вооружиться мужеством и терпением: ждать духовно-научного разрешения этих переживаний; скажу откровенно: переживания этих дней были самыми тяжелыми переживаниями моей жизни; скажу еще: душа моя испытывала все эти дни такой страх, о существовании которого я даже не подозревал; но едва я себя настраивал на необходимости терпеливо все это пережить в себе, как в душе вставала догадка: «А не подстроен ли нарочно весь этот инцидент с *черной женщиной*?» В таком случае — думал я — в нашем Обществе вместо подлинной мистерии фигурирует бутафория застраивания тех, чью самостоятельность надо сломить во что бы то ни стало! Тут я вспоминал все то светлое, что было мной пережито у доктора; и говорил себе: «Нет: это не так: если бы, например, проведение Рихтером меня через "Ариман" к куполу и сведение к кантине, где ждала "она", было подстроено ранее, то за мной бы ранее пришли от Рихтера; ведь сам же я к нему пришел». И — далее: ведь никто не мог знать, что я еду в Базель и зайду в такое-то «*Кино*»... И — далее: «ведь не могли же подстроить, чтобы я накануне встречи нарисовал у себя на листе бумаги *ее* лицо»... Все объяснимые версии, которые я строил в дни следующие за встречей, — разбивались, оставалось одно объяснение: странное событие, переживаемое мною, имеет отношение к духовной действительности; и стало быть: от этой действительности не убежишь; стало быть: надо

оставаться на своем месте и терпеливо превозмогать страх, негодование, тоску, гадливость.

Но одного я не мог: оставаться в закупоренном молчании; ведь каждый следующий миг надо было ожидать самых неожиданных и ужасных для меня продолжений «инцидента»; надо вовремя предупредить кого-либо из близких; кого? Разумеется Асю, самого близкого мне человека. Но как нарочно, Ася была слаба и Фридкина мне запретила чем-либо ее тревожить; я сознавал, что приобщая Асю моему ужасному миру, не обойдешься и без разговора о Наташе; а все это могло больно ушибить Асю и углубить в ней ее болезнь, довести до «чахотки».

Я пошел к Фридкиной и имел с ней длинное объяснение, в котором признался ей, что мне необходимо иметь серьезный разговор с Асей. Фридкина отвечала уклончиво; мне почудилось, что она нечто знает обо мне (ведь она была приятельницей Фитингоф, а Фитингоф водилась с «существом»); попутно я жаловался Фридкиной на бессонницу, на переживания страха, на умственное переутомление и на тоску по России; Фридкина слушала меня внимательно, говорила со мной серьезно; мы пошли от нее по одной дороге (она шла в «Ваи», а я шел домой); невзначай я повернулся и поймал на лице Фридкиной лукаво-хитрую улыбку, брошенную мне в спину: «Опять, — подумал я, — тот же смешок; значит и она что-то знает, что знают все обо мне: только я ничего не знаю...» И я решил — скорее, скорей все рассказать Асе: какую угодно ценою облегчить свою душу. Аси не было дома: она была на «Ваи»; я стал молиться, чтобы разговор этот облегчил меня, чтобы Бог помог нам всем. Я открыл Евангелие, загадавши, сказать или не сказать все: вышло — *сказать*. Я — принял решение: и когда я [принял] решение, я мгновенно почувствовал, что вся атмосфера вокруг меня наполнилась какими-то угрожающими мне змеями; и они все обратили на меня головы и зашипели; и этот шип гласил: «Не смей говорить, — молчи, молчи, молчи...» В это мгновение я услышал отчетливо внешним слухом, как в пространстве комнаты раздалось явственное шипение; но душа ответила на шипение: «Я все равно все-все-все расскажу Асе..» И шипение оборвалось; и — змеи распались. Несомненно, тут я наткнулся на галлюцинацию слуха.

Я стал ждать Асю.

Вот она отворила дверь. Сразу поняла она, что я в страшном волнении; она ласково улыбнулась мне; я усадил ее на диван, стал перед ней на колени и, запрятав голову в ее коленях, несвязными, прерывающимися фразами все рассказал ей; она ровно ничего не понимала: «Ты рассказываешь какой-то сумбур? Какая женщина?

Какое *Кино*? Что за вздор». Вникнув внимательнее, она стала утверждать, что никакого «*существа*» нет в Обществе, а женщина, подсевшая ко мне в «*Кино*», была вероятно проститутка; я ее смешал с кем-нибудь из членов; и этот вздор надо скорей ликвидировать: «Все это твои имажинации» — прибавила она. Впрочем она отнеслась ко мне с кротким участием как к больному; я ей все рассказал о Наташе, прося ее защитить меня от кокетства Наташи, прося ее уехать со мной из Дорнаха и кончить муку нашего пребывания здесь; к моему изумлению она с огромной легкостью отнеслась к моим словам о Наташе: «Просто все о Наташе тебе привиделось: если тебе интересно играть в то, что ты влюблен в Наташу, ну подноси ей цветы, что ли» — ответила она, улыбаясь мне и глядя меня по голове. Она тут же стала упорно защищать Наташу: «Наташа сестра моя и я знаю ее лучше тебя: все, что ты говоришь о кокетстве ее, — выдумка твоего больного воображения...» Эти слова одновременно и успокоили, и огорчили меня; успокоили, — потому что Ася легко выдержала этот тяжелый для меня разговор, как бы отведя его от себя и не впустив его в глубину своего сознания; вместе с тем: легкость, с которой она предложила мне «*увлекаться*» Наташей, не соответствовала ни моему серьезному взгляду на мою жизнь с Асей, ни на глубину моей болезни в отношении к Наташе. Я показал Асе на *гангрену* моей души, предложил ей совместными усилиями оперировать эту гангрену; а вместо этого она кидала меня от себя — опять-таки к Наташе. Впоследствии я рассматривал это легкое отношение Аси к моим словам, как окончательно данную мне ею «*carte blanche*» увлекаться Наташею. «Если б она серьезно любила меня, — говорил я себе, — она поняла бы трагичность нашего положения и согласилась бы на мою просьбу уехать с нею из Дорнаха, чтобы не иметь Наташу вечно перед глазами...»

И все-таки: я облегчил свою душу в разговоре с Асей. Она уговорила меня пойти с ней на лекцию (чья была это лекция, не помню); мне было легко уже с Асей вместе перемотать ужас моего положения; я ей указал на «*существо*», оказавшееся тоже на лекции. «*Неприятное, болезненное существо*» — сказала Ася. Эти слова Аси были подтверждением для меня того факта, что «*черная женщина*» действительно существует, а не есть плод моего воображения. Через два дня, когда у нас была Наташа, Ася сказала мне: «А твое "*существо*" называется *так-то* (она назвала фамилию, которую я плохо помню, — не то "*Knecht*", не то «*Schwarz*», кажется — "*Schwarz*"); она приехала из Цюриха, ведет себя очень странно и по-видимому она — нервно больная; с нею в Цюрихе водилась Фитингоф; ее никто близко не знает; она теперь член



нашего Общества и поселилась в Дорнахе... Боря в самом деле думает, — сказала она с улыбкою Наташе, — что эта "Schwarz" какое-то не материализованное, астральное существо...» — «Брр! — отозвалась Наташа. — Я ее немного видела: она — странная, страшная и злая: говорят, что она очень лжива...» Больше я ничего не расспрашивал: я не верил никогда Фитингоф; между тем: только Фитингоф, сама медиумичная и больная, знает ее; никто другой не знает... И опять, — версия моя о том, что из каких-то темных оккультных обществ в нашу среду вводят шпионов и шпионов — укоренилась во мне.

Доктор все не приезжал: я опять стал изредка просовываться на стройку; часть наших членов продолжала на меня коситься; но наша рабочая молодежь (Гейдебрандт, Кемпер, Бай, Людвиг, Стютен, Кучерова, Хольцлейтер, Гюнтер, Эйзенпрейсы и ряд других) относилась ко мне хорошо; «существо» как-то стушевалось; на лекция я «ее» видел, сидящую где-то в задних рядах.

Я стал оправляться от своего ужаса; в это время я много молился и в душе моей начиналось какое-то очищение; в конце апреля появился доктор и Мария Яковлевна; оба были ко мне ласковы, — расцвели цветы; яблони покрылись цветом; погода стояла чудная.

Раз после лекции доктора, когда я стоял у выхода и ждал Асю, передо мной, в толпе членов вышло мое «существо», такое же мертвенно-бледное и такое же страшное; оно шло под руку со своею подругою, появившейся за нею вслед в нашем Обществе (подруга была тоже в черном); проходя мимо меня, она выразительно толкнула свою подругу локтем и глазами указала на меня. Этот жест мне напомнил, что ничто по существу не разъяснено для меня во всей этой темной истории; но я уже имел мужество терпеливо ждать разрешения всей этой загадки.

В скором времени Ильина принесла нам с Асей тетрадку — конспект одной из интимных лекций доктора; она сказала со значительным видом мне и Асе: «Вам это непременно надо прочесть...» По тону, с которым она передавала тетрадку, я понял, что тетрадка мне послана от Марии Яковлевны. В лекции описывались три встречи со Стражем Порога; первая имеет техническое название: «Встреча со смертью и с ангелическим существом»; вторая — «Встреча со Львом»; и третья: «Встреча с Драконом». Описание второй встречи меня потрясло; здесь Страж является *Львом*: как будто лев проникает в пространство, где ты замкнут; он бросается на тебя, а ты должен безбоязненно его приручить; «лев» — *существо женское*; встреча со львом имеет вид встречи *со страшным женским существом*.

С трепетом схватился я за эту лекцию: она вполне объясняла мне события, мной только что пережитые: «Надо бороться со львом, — говорил я себе, — надо его укротить»; на лекциях доктора я не без озорства старался встречаться с *черной женщиной*; и тут стал замечать, что она как бы ускользает от меня. Я до некоторой степени успокоился: чувствовалось, что успокоение это временное; смутная тревога продолжала жить в моей душе (я знал, — «лев» еще восстанет на меня): будет пережито еще что-то острое, странное и страшное; эти переживания и настигли меня в конце лета.

Пока давалась отсрочка.

В это время я получил письмо от Иванова-Разумника; он кое-что спрашивал меня о моих литературных работах; письмо его было проникнуто теплотою и признанием моих литературных заслуг; оно показалось мне, точно написанным из другого мира, где меня помнят, любят и ценят; здесь, в Дорнахе, никто меня не любил как писателя; многие [на] меня косились, неизвестно за что; я был окружен страшными, мне непонятными знаками судьбы. И мне опять захотелось бежать от всей дорнахской абракадабры, порой столь оскорбительно для меня звучащей.

*Май.*

Май этого года стоит передо мною какой-то цветущий; и в нем звучит нота отдыха; пропадает бессонница, исчезает одышка; я чувствую себя спокойно и легче; мы с Асей, как бы условившись, не говорим о Наташе; Наташа часто появляется у нас: я теперь смотрю гораздо проще на мои отношения к Наташе; мне кажется, что не избегать Наташу я должен, а искать с ней встреч, чтобы в этих встречах изжилась моя мрачная страсть к ней. У нас с Наташей водворяется более друг к другу доверчивый стиль отношений; мы предпринимаем прогулки в окрестности Дорнаха, например, по направлению к Ангенштейну, за Эш; в этих прогулках, устраиваемых обыкновенно по воскресеньям, принимают участие кроме нас четырех то Рихтер, то А.С. Петровский, то Т.Г. Трапезников, с которым мы много говорим на темы итальянского искусства. Мне становится уютно с Поццами; они переселяются в милую виллу, недалеко от трамвайного тракта; вилла называется «*Sans Souci*»; и действительно: что-то в Наташе этой весной подлинно веселое и беззаботное.

В мае доктор прочитывает интереснейшую лекцию о второй части Фауста; на подиуме представляют сцену, открывающую вторую часть и кончающуюся длинным монологом Фауста, которого играет Валлер; по поводу последней фразы «*In farbige Abglanz*

*haben wir das Leben*» доктор говорит очень глубокомысленные слова\*; Ася опять начинает работать на «*Vau*», вечерами же упражняется в эвритмии и продолжает развивать свой эскиз для стеккол; в этом эскизе нарисованы черепа; у нас появляется череп, нужный Асе, как модель.

Наташа, разбив красное стекло в мастерской Рихтера, более не работает у него; Ася же часто бывает в этой мастерской; опять у нас часто появляется Рихтер, который жалуется на Седлецких, мешающих ему развернуть художественную работу; доктор поручил ему стекла; он выписал из Польши Седлецкого, как опытного работника, ввел его в свою мастерскую; а теперь вот Седлецкий ведет всяческие интриги против Рихтера и мешает ему работать; Рихтер высказывает нам опасение, что его скоро призовут отбывать войну; он бросит порученную ему доктором стекольную мастерскую; и всю работу будет заправлять Седлецкий, которому он, Рихтер, не верит; поэтому он просит Асю разрешить ему ходатайствовать перед доктором о том, чтобы она стала заведующей работами по стеклу; Ася отговаривается отсутствием опытности, но Рихтер настаивает, утверждая, что он будет уверен в этом случае за то, что эскизы доктора к стеклам будут разрабатываться в том именно направлении, какого хочет доктор; Седлецкий же, который мнит себя великим художником, не обязанным следовать эскизам доктора, загубит весь стиль стеккол; в опасениях Рихтера было много правды; они подтвердились впоследствии; но Ася все-таки уклонялась от ответственности руководить стеклами; между тем: Седлецкий узнал о переговорах Рихтера с Асей; с той поры он и его жена (руководительница польской фракции А.О.) сильно не влюбились меня и Асю (они оказались натурами мелочными и мстительными); однажды мы с Асей налетели на неприличный скандал, разразившийся у Рихтера в мастерской между Седлецкой и Рихтером; Седлецкая, застав Рихтера у себя на стекле показывающим Асе что-то, повела себя неприлично и грубо: Рихтер вспылил и наговорил ей много дерзостей; формально он был неправ, но *de facto* прав, ибо он восставал против всей линии поведения Седлецкой у него в мастерской; а эта линия заключалась в сети интриг против Рихтера. Этот инцидент в мастерской тяжело разыгрался; Седлецкие обвинили Рихтера в грубости перед Марией Яковлевной; Рихтер нас назвал свидетелями инцидента; Мария

---

\* 22 мая (н.ст.) Штейнер читал в Дорнахе лекцию из цикла «*Faust, der strebende Mensch*». Была также исполнена так называемая «*Ariel-Szene*», открывающая второй акт. Белый слегка искажает последнюю фразу из монолога Фауста: «*Am farbigen Abglanz haben wir das Leben*».

Яковлевна вызвала нас к себе. Мы старались быть объективными; и все-таки: пришлось говорить в защиту бедного Рихтера, которого обвиняли все, начиная с Гросхайнцев; этого Седлецкие нам опять-таки не могли простить.

В это время в Дорнахе появился французский антропософ Леви, друг Шюрэ; он всем интересовался; и многое ему чрезвычайно не нравилось в Дорнахе; однажды, обедая с нами в кантине, он громко с подчеркиванием сказал мне: «Ведь вы известный писатель, которого книги ценятся в России, — сидите здесь в такое ответственное время; для этого нужно большое самопожертвование...» При этом он поглядел на сидящего рядом д-ра Унгера, как бы бросая ему упрек в том, что ко мне недостаточно внимательно здешние антропософы; Унгер, который действительно никогда не удостоивал меня разговора, с каким-то утрированным легкомыслием засвистел; Леви посмотрел на него с явным раздражением и с еще большей подчеркнутой любезностью обратился ко мне. Вскоре Леви появился у нас, просидел вечер и все старался узнать мое мнение о поведении немцев-антропософов по отношению к русским, а также старался узнать наше мнение о войне; увы, в словах Леви было много справедливого: во многом немцы срывались в такте по отношению к нам, русским, ведшим себя безукоризненно в трудных условиях международного положения; на это немцы отвечали далеко не с тем тактом; эта бестактность вызывала во мне взрывы негодования; но я многое прощал иным немцам ввиду действительной сердечности проявляемой по отношению к нам в иное время; а некоторые из наших с особой любовью относились к русским (как-то Штинде, Бауэр, Моргенштерн, Калькрейт, Митчер, Киттель и ряд других лиц); этого всего нельзя было объяснить Леви, видевшему в немцах бросающуюся грубость и не видевшему внутренне хорошего отношения к нам немцев; кроме того: Леви для нас был *чужой*, случайно залетевший из Парижа, а с многими из дорнахцев мы, как говорят, «*съели три пуда соли*»; работали плечо в плечо над нашим любимым «*Vau*», его сторожили, видели много прекрасного и много горького; поэтому я был с Леви особенно осторожен; он ждал, что я буду ругать немцев, а я старался быть умеренным; и отмалчивался от его слов; скоро Леви перестал появляться на «*Vau*»; про него говорили, что он бунтует; скоро он исчез, а потом и ушел из Общества, вместе с Шюрэ обвиняя антропософов в немецком шовинизме, что было глубокой неправдой. Вскоре появились за границей слухи «антантистского» источника о каких-то русских ренегатах, предателях своей страны, сидящих в Дорнахе и позабывших Россию; письма подобного характера присылались из Англии и

Франции дорнахским антропософам, циркулируя через границу, где письма перлюстрировались контрразведкою; во французской Швейцарии эти слухи передавались; росла какая-то темная сплетня (уже вне Общества) о том, что в Дорнахе выращиваются предатели своих стран (между прочим: то же говорилось в Берлине о немцах, оставшихся в Дорнахе); говорилось, что здесь сидит какой-то русский, забывший свое отечество, которого де немцы собираются использовать для немецкой пропаганды в России; боюсь, что этим «*ренегатом*» в подлых сплетнях оказывался я; и боюсь, что Леви, которому я не угодил своей сдержанностью, постарался во Франции меня чернить; мне казалось, что иные из поляков, бывших в Дорнахе, были в контакте с этими «*антантистскими*» сплетнями; не сомневаюсь, что Седлецкие постарались нас с Асей называть ренегатами.

Все эти слухи о Дорнахе и непонятный факт общения во время войны представителей воюющих стран создавали о нас легенды; в Германии косились на немцев-антропософов; во Франции и Англии утверждалось, что Штейнер — немецкий агент, работающий в Швейцарии чуть ли не по поручению немецкого штаба, а его ученики чуть ли не шпионы; верили и иные из швейцарцев этим нелепым басням, распространяемым о нас; на нас, разумеется, обратила внимание контрразведка всех стран; несомненно, что в нашу среду затесывались и сыщики, вплоть до швейцарских сыщиков; именно в мае обнаружили первые признаки того, что за нами следят; в июне же я впервые стал замечать слежку за собой лично.

В мае месяце я с особенным жаром принялся за окончательную обработку и переписку моей книги, которую я озаглавил так: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Работа налаживалась; я отделявал стиль и очень увлекался деталями текста. День обыкновенно проходил так: мы вставали часов в 9; в 10 Ася была уже на «*Bau*», а я садился за письменный стол; и работал до обеда; к обеду возвращалась Ася, иногда с Ван-дер-Паальсом, который стал работать под малым куполом, над архитравом Юпитера, под руководством Аси; мы обедали (обед приносили из кантины) на террасе, которая выходила в яблони, занавешивавшие нас; сквозь зелень виделся против нас домик доктора; и очень часто мы видели доктора, возвращающегося со стройки к себе; мы жили от доктора в таком близком расстоянии, что часто слышали голоса его и М.Я. из открытых окон виллы «*Hansi*»; после обеда Ася шла до вечера в «*Bau*»; я же работал часов до 4 - 4<sup>1/2</sup>; потом я шел либо в кантину, где Ася пила кофе, усаживался за чей-нибудь столик и разговаривал с часок с тем или другим;

или же я шел за покупками в Арлесгейм, возвращался и приготавливал ужин для себя и Аси; я умел готовить жареный картофель с томатами, макароны-спагетти; особенно мне удавался салат. Было весело поджидать Асю и мечтать об ужине; обыкновенно к вечернему чаю кто-нибудь заходил (чаще всего Трапезников); иногда бывал доктор Гёш; вечером мы провожали Трапезникова или Гёша; я очень полюбил эти прогулки перед сном.

К концу мая я стал замечать, что с д-ром Гёшем творится что-то неладное; он стал очень угрюм и хмур; стали поражать меня некоторые из его вопросов; он как бы с осторожностью нащупывал мое святое святых, предлагал мне странные вопросы о моем отношении к доктору, к членам Общества; я стал замечать, что он будто ждет от меня каких-то жалоб на доктора и недоумений, связанных с моим путем; сам он не высказывался; потом, убедившись, что от меня не услышишь жалоб на доктора (а недоумения мои в связи с проблемой «*пути*» все росли, но я их инстинктивно закрывал от Гёша), он стал реже бывать у нас. Скоро я всюду стал его встречать с фрейлейн Шпренгель, которая никогда не была мне симпатична и которая держала себя «*окультурной*» теткой; хотя я знал, что ее считают *далеко ушедшей* в эзотерических слоях нашего Общества, у меня не было доверия к ней: все в ней мне казалось нарочитым и приподнятым; я удивлялся этой растущей на глазах у всех дружбе д-ра Гёша, тонкого философа, с «*окультурной*» и фанатически настроенной теткой; Гёша мы встречали на прогулках с Шпренгель; вместе они сидели в кантине, о чем-то упорно и долго разговаривая; от нас Гёш стал отходить: стал уже кланяться нам.

### *Июнь.*

Если май 1915 года вспоминается мне оазисом покоя среди вереницы мрачных месяцев, в которую вступила моя жизнь, [то в июне] опять вокруг меня начинается невнятица, неразбериха, сумбур; опять в сердце растет тревога; и эта тревога складывается из очень многих обстоятельств; во-первых: начинается ряд поражений на русских фронтах; наша армия отступает; обнаруживается полный крах государственной системы России; и уже ясно мне, что война окончится революцией; все это волнует меня; мне хочется быть в России в эти ответственные моменты; внутренне я начинаю склоняться к точке зрения «*пораженцев*»; но это склонение стоит мне долгой внутренней борьбы; легкость, с которой Наташа и Ася стоят за поражение России, порой меня возмущает; мне это кажется вовсе не выстраданным убеждением в том, что революция необходима России, а влиянием на них немецкой сре-

ды; а в этой среде желание видеть Россию разбитой вытекает из естественных, чисто животных appetitов; я чувствую в вопросе о войне свое расхождение со всеми; и с русскими, и с немцами; во вторых: я чувствую, что в нашем Обществе назревает что-то неладное; опять поднимается рой каких-то странных сплетен; шушукуются, что среди нас есть члены Общества, весьма подозрительно себя ведущие в моральном отношении; они позволяют себе какие-то скверные поступки в Базеле; швейцарцы называют антропософов фарисеями и рассказывают о неприличном поведении антропософов вне Арлесгейма и Дорнаха; некоторые из теток начинают требовать, чтобы за поведением мужчин антропософов следили; начинают что-то шептать про Седлецкого; и мне кажется, что в чем-то подозревают меня. В чем? Я не чувствую за собой никакой вины, а между тем опять многие члены Общества на меня косятся; при встречах с «существом» я вижу, что «существо» опять наглет в отношении ко мне; «оно» появляется теперь в Обществе уже нескольких своих подруг, довольно сомнительного вида; и эти подруги смотрят с насмешкою на меня; во мне складывается убеждение, что смутное обвинение меня (у меня за спиной) в каких-то скверных поступках имеет источником клевету на меня той группы лиц, с которой вступило в общение «существо»; опять выступает со всею силою иррациональность ее появления передо мною; в-третьих: я начинаю явственно замечать, что некоторые из членов нашего Общества начинают за мной следить; признаки этой слежки я подмечаю всюду так: я замечаю, что фон-Мутах, родственник Гросхайнца, постоянно вертится около нашего домика; раз я его застал около нашего домика, спрашивающего о чем-то мою хозяйку, Frau Thomann; увидев меня, он точно сконфузился и быстро отошел; я почему-то был уверен, что он спрашивал хозяйку о моем времяпрепровождении; наконец: всякий раз, когда я отправлялся в Базель, мне попадался (или в траме, или в месте трамвайной остановки, или на улицах Базеля) все тот же блондин в лиловом галстуке; этого блондина я стал встречать и на лекциях доктора (он оказался членом базельской ложи); мне стало непереносно тяжело от этой слежки. «Зачем следят, — думал я, — разве я преступник какой?» И во мне стала складываться догадка, что эта слежка есть результат какой-то клеветы на меня, распространяемой «существом» и группой лиц, весьма сомнительных, с которыми я встречал «существо»; все эти лица были не дорнахцы, а приезжающие из Цюриха.

В это время А.С. Петровский уезжал в Россию; я поехал его проводить в Берн; и опять: на станции встретился с фон-Мутахом; проведив Петровского, я остался на дебаркадере бернского вокза-

ла; и опять-таки: в Берне я встретился с фон-Мутахом; эта вторичная встреча окончательно убедила меня, что в нашем О-ве установлен сыск: за мною следят; я был уверен, что это выслеживание меня не идет от доктора и М.Я., а от какой-то группы наших членов, меня в чем-то подозревающей; это я думал в вагоне, возвращаясь из Берна в Базель; на базельском вокзале мне снова попался на глаза безбородый блондин в лиловом галстуке, которого я всегда видел на лекциях д-ра; и опять встал обиднейший вопрос: «Зачем они за мною следят? Что я сделал такого преступного?» Во всех проявлениях своих я стал вовсе скован.

Мои догадки о том, что за мною следят, подтвердились однажды намеками доктора на лекции; доктор намекал на то, что о некоторых из уважаемых наших членов распространяют Бог весть какие слухи; он называл эти слухи безумием; он просил не сеять сплетен, громил тех, которые от нечего делать занимаются подглядыванием; он говорил об опасности болтовни; ведь мы, антропософы, живем среди мещан по духу, относящихся с недоверием к антропософам; и болтовня с этими мещанами о внутренних делах Общества и об отдельных членах Общества грозит большими неприятностями и этим членам, да и всему Обществу; он предупреждал, что мы живем как бы среди стеклянных стен; и каждый наш шаг обслежен; поэтому всякая болтовня друг о друге обрушивается на Общество; и — все тщетно: точно внутри Общества забил вулкан сплетен; все ходили, подозрительно озираясь и не веря друг другу.

Кроме того: передавали, что несколько раз около «*Vau*» видели прогуливающимся известного базельского сыщика, который появляется только там, где совершается крупное преступление; передавалось, что около «*Vau*» появилось много сыщиков; однажды, выйдя на балкон, я увидел человека, сидящего наискось от нашего дома на лавочке; он следил за нашим домом; я в свою очередь начал за ним следить; и окончательно убедился, что это — сыщик; лавочка, находящаяся наискось нашего дома, была всегда занята теперь; всегда на ней кто-нибудь сидел и смотрел на наш домик; я стал отмечать даже смену очередей. Явное дело: за нами следили; скоро я убедился, что следили лично за мной; всюду мне стал подвергиваться брюнет в котелке с небольшими черными усиками; я его видел в Базеле; он гулял на перекрестке дорог в Дорнахе; он никогда не глядел на меня; когда я проходил мимо, он отворачивался; кроме того: я стал замечать, что в нижний этаж к Frau Thomann стал заходить какой-то простолудин швейцарец; я слышал у себя в комнате под ногами его гортанный, настойчивый, выпрашивающий голос; Frau Thomann в чем-то его



разубеждала всегда (это слышалось в интонации ее голоса), в восклицаниях, долетавших до меня: «Aber nein...» Но гортанный голос на нее прикрикивал, к чему-то ее склонял, чего-то от нее добивался; мне всегда делалось неприятно и жутко от этого голоса; казался неприятен захожий швейцарец; когда я проходил мимо него и Frau Thomann, то эта последняя делалась со мной особенно любезной, точно стыдилась передо мной, а швейцарец с жадным любопытством вглядывался в меня; наконец я стал замечать, что наша прислуга, являвшаяся по утрам, с каким-то особенным любопытством вглядывается в меня и порой предлагает мне странные вопросы, точно ей что-то нарассказали обо мне; и теперь, приняв к сведению чьи-то инструкции, она приглядывается ко всем моим жестам.

Итак: я наблюдал, так сказать, три рода разных ошупываний своей персоны; во-первых, со стороны «*существа*» и группы лиц, с которыми я видел «*существо*»; это ошупыванье меня казалось мне самым неприятным, ибо оно было самое иррациональное; в моем ощущении эта слежка связывалась с выслеживанием меня каких-то темных оккультистов, которые имели шпионов в нашем Обществе; вторую слежку я относил к слежке меня со стороны группы наших членов, в чем-то меня подозревавших (фон-Мутах, блондин в лиловом галстуке, сопровождавший меня в Базеле) и все желавших меня поймать с поличным (в чем должно было заключаться это «*поличное*», я не знал); я убеждался, что у меня в Обществе есть враги, и я не мог понять, что собственно говоря они имеют против меня; выросло ли их предубеждение из неведомой мне клеветы на меня «*существа*»; в таком случае это — провокация темных сил, меня губящих внутри нашего Общества (источник же сил находился — вне Общества); или же — думал я — просто есть группа моих врагов, не понимающих доброго отношения ко мне доктора и завидующих мне: они, вероятно, старались скомпрометировать меня перед доктором; мне казалось, что в центре этой группы стояла Вольфрам; против меня агитировали фон-Чирская и Штраус, как против «*любимца*» Марии Яковлевны, которую они ненавидели; к ним присоединялись Седлецкие; и эта интрига сплеталась с очернением меня из Франции Леви, выставившим меня ренегатом своей страны; третья же слежка, представителем которой был брюнет в котелке, захаживающий к Thomann подозрительный швейцарец и агент его, наша прислуга, — третья слежка не имела источником ни «*оккультистов*», ни членов нашего Общества, а присоединилась извне: я думал, что это была слежка швейцарского уголовного розыска; и я опять не понимал, в чем меня обвиняют; лишь гораздо позднее я убе-

дился, что это была, вероятно, «контрразведка» одной из держав «антанты».

Порой эти три слежки представлялись мне отдельными; порой они для меня сливались в одну; источник же слежки убежал в глубокие и страшные, мне неведомые пласты «темного царства».

Так или иначе: положение мое казалось мне незавидным; пойдешь на «*Vau*» — там, как недотыкомка, мелькает «*черная женщина*», косятся на тебя многие члены; идешь гулять по окрестностям, и тебя встречает то фон-Мутах, то подозрительный швейцарец; поедешь в Базель — натыкаешься то на блондина в лиловом галстуке, то на brunета в котелке; сидишь дома, под ногами твоими гудит подозрительный швейцарец, заглядывает в твою комнату то Frau Thomann, то прислуга.

Так, в июне я себя почувствовал затравленным зверем; я заключился у себя в комнате и даже не любил появляться на балконе: ведь с лавочки наискось на тебя уставлялся любопытный взгляд.

Все это я пытался высказать Асе, но наткнулся на ее непонимание; она — ничего не видела. Лишь позднее она поняла, что слежка — была: и в этом я был прав.

Так в утروмею перемогании сыщиков протек для меня июнь.

За это время я окончил свою книгу; как-то раз мы опять были приглашены к доктору, и я развивал ему свои взгляды, связанные с написанной книгою; доктор был очень мил, сам ходил покупать клубнику, чтобы угостить нас к чаю; он читал нам вслух стихотворение Гёте «*Röslein*»\*, которое в ближайшее воскресенье должна была исполнять Ася (в ту пору каждое воскресенье исполнялась новая эвритмическая программа); кстати: какие-то сплетницы нашли в исполнении Аси и Киселевой что-то эротическое; стали ходить неприятные слова о том, что доктор и М.Я. уделяют слишком большое внимание эвритмии; доктор опять на публичной лекции громил «*сплетников*» и «*сплетниц*».

Вообще в его последних лекциях стали раздаваться какие-то угрозы по адресу невидимой, подпольной оппозиции, — на этот раз уже против доктора и Марии Яковлевны; чувствовалось, что все задыхаются в атмосфере надвигающейся на нашу колонию грозы; эта гроза разразилась скоро потом в том явлении, которое М.Я. охарактеризовала, как «*бунт ведьм*».

С конца месяца я начинаю преодолевать настроение гонения и преследования; по окончанию книги я стал работать каждый

---

\* Белый, вероятно, имеет в виду известное стихотворение 1771 г.: «Heidenröslein» с рефреном: «Röslein, Röslein, Röslein rot / Röslein auf der Heiden».

день под малым куполом над чистовой отделкою нашего архитектора «Юпитера»; и там, под куполом, среди милой, крепкой, здоровой антропософской молодежи я забываю душную интригу внутри Общества и неприятные дозоры шпиков вокруг нашего дома.

### Июль\*.

Июль не вносит каких-нибудь объяснений в ситуацию моей жизни; ремингтонируется текст моей книги; продолжается работа в «Вай»; продолжают двусмысленные отношения с Наташей; я, махнув рукой на необычность их, добиваюсь лишь одного: довести их до конца. Помнится, что к этому времени подчеркиваются мне частые разговоры мои с Т.Г. Трапезниковым, — обо мне, об Обществе, о моих отношениях с Наташей и с Асей; в нем нахожу я если не объяснителя, то хоть успокоителя; о главных путаницах моего сознания мы с ним молчим; к главным путаницам я отношу: необъяснимая мне самому *тайная* близость моя с доктором и Марией Яковлевной, из которой вытекает кармическая роль моя в Обществе (для кармы Общества); и отсюда: особо тяжкие бремена, которые взваливаются на мои плечи: я не то обреченный, не то увенчанный; я одновременно невероятно возвеличен приближением меня к тайнам посвящения; но эта возвеличенность и становится источником совершенно особого рода нападений на меня: 1) темной силы, 2) темных оккультистов, 3) тех из членов нашего Общества, которые, не понимая моей роли при докторе, не понимают меня, извращая все мои поступки; кроме того: во мне самом происходит схватка светлых сил с темными; и все на почве этой моей провиденциальной роли при «деле Доктора»; на этой почве и разворачивается серия странных ситуаций в моей жизни вплоть до... Наташи, вплоть до действительно странных совпадений и сочетания этих совпадений: внутренних событий жизни с их внешними выражениями в виде встреч с людьми и разговоров неспроста, рисующих вокруг меня в мне данном мире второй какой-то мир; отношение между внешним бытом дорнахской жизни того времени со всеми случайностями этого быта и бытом моих имажинаций (а может быть — инспираций) такого же, каково отношение между текстом «*Медного всадника*», прочитанным просто, и тем же текстом, прочитанным по кривой жеста ритма\*\*; внешний текст — внешние знаки быта жизни; кривая — мой

\* Здесь Белый перешел в рукописи на новую орфографию.

\*\* В июне 1917 г. Белый работал над «ритмическим жестом Пушкина» и над «разбором кривой "Медного всадника"» (*РАККУРС ДНЕВНИКА*). 2 июля он читал в Тифлисе лекцию «Ритмический жест "Медного всадника"». (См. след. стр.)

внутренний мир, в котором я запечатан и о котором ничего не могу сказать; а остранные рельефы быта внутренними имагинациями, а может быть, инспирациями — то странное *неспроста, не случайно*, которое я прочитываю из будто бы случайного узора событий, развертывающегося вокруг меня, где и разговоры, и встречи, и явления природы, и переживания других людей — будто ответы мне извне на ритмы моей внутренней жизни; эта жизнь излучает от доктора ко мне и из меня какие-то силы, подобные силам магнита и уже по ритмам этих сил ткется жизнь Дорнаха, где, опять-таки, люди, события подобны железным опилкам, располагаемым в узоры силовых линий моего безобразного внутреннего мира. Странное, измучивающее состояние: чувствовать себя всем и ничем и ходить как бы в насильно надетом венце посвящения, который, не uznанный другими, выглядит просто шутовским колпаком.

В разговорах с Трапезниковым меня волнует вот что: мы с ним точно нарочно избегаем касаться моего опечатанного молчанием *заветного, тайного*; но поскольку оно-то и есть центр сил, излетающих из меня и вокруг меня конфигурирующих мелочи обычного «разговорчика», встречи, романы очередной приязни и неприязни, постольку в разговоре об этом *внешнем быте* он — отражение внутреннего, постольку и касания этого внутреннего сквозь внешнее Трапезниковым меня поражает удивительной ритмичностью; создается впечатление, что Трапезников что-то знает о моих состояниях, знает *то*, о чем нельзя говорить, как и доктор; и говоря о *внешнем*, внешним языком *символизирует* внутреннему. Мы говорим о том, что я страшно пылок, что надо проще относиться к путанице с Наташей; Трапезников советует мне поступить в этом случае — так-то, а в том — так-то. А на самом деле мы говорим *иносказаниями* о моем удивительном, странном, не то священном, не то ужасном положении в судьбах дела Доктора и всего духовного движения. Странные разговоры! Меня тянет к Трапезникову с этого времени особенно: в разговорах с ним издалека, обиняками протягивается от него ко мне *сквозной смысл*; он в них встает мне, как заговорщик какой-то тайной кучки друзей, выдвигающих мою кандидатуру в каком-то великом оккультном деле, к которому я пред-избран и в котором руководим; эта *тайная кучка* — Доктор, Мария Яковлевна, Рихтер, Бауэр, все более протягивающийся ко мне, София Штинде; Трапезников посвящен в какое-то дело, к которому я призван;

---

Эта работа лежит в основе его книги *РИТМ КАК ДИАЛЕКТИКА И «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»* (М., 1929).

я себя ощущаю человеком, из любви к доктору давшим согласие на страшно рискованный и опасный акт, подобный бросанию бомбы во что-то, смысл чего мне не ясен; из свободы и доверия к доктору я обрекаю себя на опыт неясного действия; и вследствие этого я — изолирован, как изолирован *бомбист* от ЦК революционной партии\*; Доктор, Бауэр, Штинде и другие, тайно любя меня, вынуждены из конспирации не протягивать мне ясно руки и делать вид, что они не знают, кто я, собственно потому, что где-то я уже узан: враги за мною следят; и порученный мне акт сорвется с гибельными последствиями для меня, «*Vau*», дела доктора; Трапезников *тайно* послан ко мне от меня любящих людей, как направляющий инструктор. Я ощущаю себя *sui generis* Каляевым; я ощущаю Доктора, Штинде, Бауэра *sui generis* «ЦК»; я ощущаю при себе Трапезникова *sui generis* Савинковым при Каляеве, ставящим его с бомбой туда, где надлежит бомбу бросить\*\*; где это будет, когда, — мне неизвестно; но бомба мне будет дана и я поставлен: ее бросить.

Так серия разговоров с Трапезниковым, серия иносказаний о бомбе; мы точно оба в масках; на нем маска любителя ренессанса; он говорит мне об эпохе Возрождения, о Медичи, о живописи, о Германе Гримме, написавшем книгу на тему «*Микель-Анджело*»\*\*\*; он слишком часто, слишком особенно, с подчерком говорит о «*Микель-Анджело*»; и я вздрагиваю: *это — пароль о бомбе*. Ведь в имагинациях 1914 года (на лекции Доктора в Берлине о Микель-Анджело) мне показалось, что Доктор старается мне дать понять, что я перевоплощение его\*\*\*\*. Я с ужасом этот «бред» отверг, как ложную имагинацию. Теперь, через полтора года, в странном обострении судьбы, в странном ощущении, что мне нечто поручено, опять появляется тема «*Микель-Анджело*»: с подчерком; что-то подчеркивает мне обо мне же, на этот раз — Тра-

---

\* Ср. положение террориста Дудкина в ПЕТЕРБУРГЕ; или: «Творчество мое — бомба, которую я бросаю; жизнь, вне меня лежащая, — бомба, брошенная в меня» (ИСКУССТВО, 1908. — АРАБЕСКИ. М., 1911, с.216), или «Величайший художник Европы, Ницше, бросает в нас свою бомбу — "Заратустру"» (ТРАГЕДИЯ ТВОРЧЕСТВА. ДОСТОЕВСКИЙ И ТОЛСТОЙ., М., 1911, с.13).

\*\* Каляев, Иван Платонович (1877-1905), с.-р., член БО ПСР. 4.02.1905 убил московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Повешен.

Савинков, Борис Викторович (1879-1925), один из руководителей Боевой Организации ПСР.

\*\*\* Grimm, Hermann (1828-1901) — *LEBEN MICHELANGELO'S* (1860; много переизданий, юбилейное изд. 1899-1900).

\*\*\*\* 8 января (н.ст.) 1914 г. в Берлине Штейнер читал лекцию «*Michelangelo und seine Zeit vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft*» (из курса «*Geisteswissenschaft als Lebensgut*», 1913-1914).

пезников, не подозревающий, что он задевает во мне; так — во всем: в разговоре о мелочах быта им задеваются не мелочи этого быта, а *тайны моей души*; и нас влечет друг ко другу, как заговорщиков; но это влечение и шифр иносказаний меж нами, происходит под формою просто заходов Трапезникова к нам на чашку чаю; и под формою наших с ним прогулок вечером, после работы, по дорнахским окрестностям.

Безукоризненно одетый, в серой паре, в английской мягкой шляпе, в лиловом галстуке, помахивая своей палкой, Трапезников водит меня по полям и развивает мне мысли о ренессансе или урезонивает: «Потише, голубчик: не обращайтесь внимания ни на что... Держитесь мужественно... Смотрите на вещи проще... Если Наташа так уж необходима вам, опять говорю: смотрите проще...» Иногда же он говорит: «Вы бы уехали на время отсюда: поезжайте в горы или в Цюрих... Развлекитесь... И потом, скинув с себя эту нервность, возвращайтесь сюда.»

А мне это его *«держитесь мужественно»* отдается, как: «Да, да, да: бомба будет дана; вы свершите это: наши судьбы здесь — сама *Невероятность*; и вы, и я — мы издалека пришли, далеко уйдем: все стало сквозным. Читайте шифры небесной судьбы, вас обставшей маленькими будто бы дрызгами жизни». Так наш разговор с Трапезниковым для меня разговор сквозь слова в *туда*, где «символы не говорят, но кивают без слов»\*. А педаль с *«Микель-Анджело»* лишь намек на то, что ему ведомо: под маской личности *«Бориса Николаевича»* до времени притаилось *нечто совсем иное*.

Я не во всем понимаю Трапезникова, но мне ясно, что он вкладывает в ясные с виду слова темный бездонный смысл, — и что послан стоять при мне в эти страшные роковые для меня месяцы. Все чаще ко мне, как бы из-за плеча Трапезникова, просовывается лик Михаила Бауэра, который где-то меня ждет к себе и издала *тайно помогает*.

Дружественный оттенок некоторого старшинства в Трапезникове мне понятен и его внешним положением; он — *гарант* русской группы в Дорнахе и выбран в совет *старших*, собирающийся в Дорнахе при Докторе. Когда шла речь об избрании среди русских

---

\* Ср. *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ...* 1928 г.: «Символы не говорят, а кивают» (Апп Арбог, 1982, с.35). Здесь Белый, по всей вероятности, перефразирует *О ПРИРОДЕ СЛОВА* Мандельштама (впервые опубли. в 1922 г., перепечатано в сб. *О ПОЭЗИИ*, 1928): «Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс "соответствий", кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. /.../ Никто не хочет быть самим собой» (*СЛОВО И КУЛЬТУРА*. М., 1987, с.65).

гаранта, то София Штинде предложила Асе, чтобы русские избрали меня, но Ася, не поговорив со мной, отказала; конечно, — и я отказался бы (не мне в том душевном смятенье, в каком я находился, гарантствовать), но все же симптоматично, как обращались со мной близкие: не только не считались, не только не советовались, но игнорировали и в эмпирических случаях жизни обращались, как с неодушевленным предметом; у Поццо водворилось такое отношение ко мне: «*Боря*» — это то, что не смеет иметь своего мнения; он — «*наш*»: что хотим, то и сделаем с ним. А у Аси это доходило уже до отношения ко мне как... к *туфле*, которой то швыряются, которую [то] носят; Ася меня во внешнем быте носила, как туфлю. Я это видел и мне это было глубоко безразлично, потому что в «*Я*» я был свободен и такие пустяки, как внешнее ношение меня на Асиной «*ноге*», не занимали.

Но Трапезников, частью и Бергенгрюн постоянно намекали мне на беспардонное со мной обхождение со стороны сестер Тургеневых и отчасти Поццо, развивавшем чрезмерную развязность на почве родственности.

Так в Трапезникове намечалась партия друзей лично меня, но не Аси, Наташи, Поццо (Бауэр, мадам Моргенштерн, Бергенгрюн); и была партия Тургеневых «*par excellence*»; я чувствовал в ней Марию Яковлевну, которая точно в ответ на мое некоторое разочарование в ней, ответила подчеркнутым покровительством (покровительством «*в пику мне*»), которая она оказывала Асе: последнюю все более и более обласкивала; Ася попала в группу эвритмисток, постоянно репетировавших при докторе; быт ее жизни все более сливался с бытом *студии*; а это был быт Марии Яковлевны, рядом с которой постоянно появлялся доктор; я, отрезанный от этого быта, все более отрезывался и от Марии Яковлевны и через Трапезникова все более прорезывался к атмосфере Бауэра, которая веяла мне в лицо и, так сказать, охраняла меня от страшных *мистических* гонений со стороны.

Эти последние не прекращались вовсе, то ослабевая, то — вспыхивая: отсюда и оттуда под разными формами; следы разных форм слежек открывал вокруг себя; самое тягостное было то, что источник слежек мне был неясен; если бы меня окружали просто шпики русской, антантистской и швейцарской контрразведок, я был бы спокоен так же, как в конечном, спокоен человек, отмахивающийся от мух; но я подозревал преследования от *врагов*; я видел нить этого преследования, тянувшуюся в недра нашего Общества и уже из него меня допекавшего; это было страшнее всего: думать, что замкнутость Общества пробита тайными входами

и выходами в него и из него врагов дела доктора: самый «Ваи» виделся мне уже минированным *Черною Силою*.

Иногда ощущение реального преследования лично меня достигало такой интенсивности, что я катастрофически пугался: я ощущал *сатанинскую злобу*, откуда-то направленную прямо на меня (уже даже не на доктора); и эта сила, режущая, как нож, вонзалась в меня, как нож, иногда неожиданно без того, что я думал о ней. Не забуду двух эпизодов, бывших со мной, кажется, в июле.

Один эпизод: однажды, жаркою ночью, часов в 11, я пошел погулять; никого не было; я стал кружить по пустым и безлюдным дорожкам, обсаженным деревьями, того квадрата, который образовался между Арлесгеймом, Верхним Дорнахом, Нижним Дорнахом и трамвайным трактом; квадрат был на склоне холма. Как сейчас помню: тихая, лунная ночь — ни души; проходя мимо домика, смежного с виллой доктора (наискось от нас), — домика, в котором обитал *кто-то*, кто участвовал в слежке, на меня пахнул знакомый, злой ветерок, который мне был хорошо известен: ветерок ненависти; но я, привыкший к ненависти, излучаемой на меня 1) весьма многочисленной, антропософской партией (с Вольфрам, Чирской, Штраус, шведкой, Эккартштейн, рядом «*французских*» швейцарцев, Фитингоф, «*существом*» Зауэрвейн и т.д.), 2) какими-то неведомыми мне черными оккультистами, проживавшими в Дорнахе, 3) просто обывателями Арлесгейма и Дорнаха, кем-то науськанными против моей для них безразличной фигуры, 4) агентами «*антанты*» и т.д. — привыкший к *ненависти*, я не обратил внимания на это переживание и шел от дома среди кустов; помнится, — тень моя перерезала ослепительную дорожку. Вдруг, как нож, всадился в душу страх; и сердце — подпрыгнуло:

— «Они *так тебя* ненавидят, что способны убить: они — убьют; фортель с *существом* — отражена доктором: не выгорело! Пуще за это они тебя ненавидят».

И тут же мелькнуло:

— «Ты — один: в одну из таких минут, когда ты затеряешься в лесу или среди кустов, рука предателя тебя прикончит *ножом в спину*».

И тотчас отозвалось:

— «В сущности, если бы тебя убили здесь нападением из-за кустов, — никто не смог бы притти на помощь; твой крик раздался бы среди мертвого сна. Пока прибегут, убийцы скроются».

Ощущение, что *убийца уж здесь*, что, может быть, он высматривает, было до такой степени отчетливо, что я быстро пошел домой, и все время сопровождало ощущение: ненавидящая



тебя сила крадется рядом, вооруженная физическим или оккультным ножом.

Стыдно сознаться, что я едва дошел до дому: ощущение *страха* было реально; и шло не из меня, а на меня: точно *меня одели в страх*.

— «Что с тобой» — спросила меня Ася.

— «Ничего».

Переживания этой ночной прогулки я скрыл от нее: она — слепа, она — не верит, что за мною следят: я никому не могу передать это совершенно реальное восприятие себя *нарочно одетого в ужас*; меня им покрывали извне, как Геракла одеждой им убитого Несса; одежда пристала и проедалась сквозь кожу в сердце: и сердце ёкало страхом; я пугался, так сказать, механически.

*Меня пугали, заставляя заранее отступить от того, к чему меня предназначили* (эта мысль уже разыгрывалась во мне имминативно, как попытка понять причину столь ощутимой ненависти).

Другой случай.

Та же тихая, июльская, лунная ночь (вероятно, и второй случай *случился* в те же дни); жара; окна и дверь на террасу открыты; мы одни с Асей; Ася рисует модель для стекол: мелом на черной бумаге. Я вышел на террасу; сел под луну; в домике доктора темнота. Скоро в мое сознание ворвался шум и гвалт какой-то подозрительной кучки дорнахских «*мужиков*» от *злого* домика, торчавшего наискось: там по вечерам собиралась кучка; оттуда — галдели; некоторое время я не обращал никакого внимания на гвалт, пока громкие вскрики не стали биться о барабанную перепонку:

— «Мы *ему* покажем... Он думает, что...» и дальше неясно.

Я — нуль внимания.

— «Завел себе череп и смотрит на него: хаха — Гамлет!» — совершенно отчетливо гаркал злой гортанный голос; и — угрожающий взрыв по адресу кого-то.

Я — соображаю: *череп*-то у нас; Ася давно принесла *череп* для модели своей (на рисунке доктора — ряд черепов); *череп* стоял в моем кабинете у стопочки циклов доктора, рядом с цветами. Несомненно: все детали нашей жизни передавались *кому следует* подозрительною прислугою, приходившей убирать наши комнаты, дорнахской крестьянкой. Мне стало ясно, о каком *черепе* говорят; говорящие не знают, что *череп* не мой, а Асин; он стоит в моей комнате: «*он*», «*Гамлет*» — я. Я, внутренне вздрогнув, стал внятно втягивать в себя угрожающие выкрики: грозили *кому-то*, за *что-то*; за что, — я не понимал, но понял, что «*он*» — я;

и — понял, что меня прекрасно видят сидящим на террасе, ибо я освещен луной; и нарочно по моему адресу бросают угрозы.

Одна фраза особенно громко разрезала тишину ночи:

— «Если так, то — его можно и застрелить».

И — злой, гортанный взрыв голосов.

Что это такое «если так, то», — разумеется, я не понимал; но я понял, что «его» — относится ко мне: очевидно эта злая, тупая кучка натравлена кем-то против меня; и стало быть: у меня за спиной кто-то распространяет обо мне такие вещи, за которые швейцарские мужики убивают. Я одновременно и испугался, и несколько успокоился. Успокоился: кто грозит вслух угрозой застрелит, никогда не застрелит; стало быть: меня опять одевают в страх. Но я испугался: падала успокаивающая меня версия о том, что преследования — плод моей фантазии; я безобидное, немое существо, «статист» в Обществе, до крайности вежливый со всеми швейцарцами, — ни в ком не мог возбудить ненависти, заставляющей мне кричать, что меня застрелят; стало быть: меня подозревали в чем-то ужасном; не в том ли, что я шпион? Но — позвольте: я мог в их представлении быть шпионом немцев против антанты, шпионом антанты против немцев, — Швейцария при чем же? Будь я даже шпионом, эти мешчане, с их «хата с краю» — не могли бы кричать такие вещи обо мне. Стало быть: меня обвиняют — в чем же? В убийстве, — что ли? В изнасиловании, — что ли? Но жизнь моя на виду: кроме «Вау» я нигде не бываю, все прочее время сижу дома, каждый мой час в ряде месяцев протекал на виду ряда людей и хозяйки Thomapp: поездки в Базель (раз в месяц) за необходимыми покупками ограничивались моим блужданием по магазинам двух людных улиц и продолжались не более двух-трех часов; а все прочее время протекало перед глазами хозяйки, Аси, антропософов; вот уж, можно сказать, во внешнем быту я жил на глазах у всех.

Стало быть: пугают.

Все это вихрем пронеслось, когда я прислушивался к поганым голосам кучки. Я — не встал: продолжал сидеть в той же позе... Гамлета. Но хотелось плакать: «За что?»

Встал и вошел в дом:

— «Что с тобой» — спросила Ася.

— «Ничего».

— «Ты что-то скрываешь».

— «Нет: скажи, — почему в наших окнах сняты занавески сегодня?»

— «Фрау Томан для чего-то их стащила: сказала, что вычистить надо, а ведь только что чистили».

— «Так!»

— «У нее был виноватый вид, когда она говорила о том, что занавески сегодня надо снять: не смотрела в глаза».

— «Так!»

Я — подошел к окну, чтобы осмотреть дерево под окном (мы жили во втором этаже); как раз на уровне моей спальни удобнейший сук, на котором можно провести ночь: мне уже было ясно, что этой ночью я буду спать под оком любопытного наблюдателя, с удобством примостившегося на суку; *им* для чего-то нужно увидеть *interier* нашей жизни с Асей: Томан *приказано* снять занавески; ее смущение в том, что она — должна; и без того «старухе», видящей нашу овечью безбидность, надоели приставанья *шпиков*, расспрашивавших о нас.

Ну, — что ж: буду объектом разгляда.

— «Ты бы, Ася, занавесила свои окна на ночь».

— «Зачем?»

— «Так лучше».

— «А ты?»

— «Ну, — я нет».

И — подумалось: милости просим, разглядывайте! В этом вызове и презрении к *наблюдателю* из окна сказала злость; а в душе кричало:

— «За что меня унижают!»

Взрыв гортанных голосов раздался в открытое окно: там, наискось, продолжала горланить поганая кучка.

Асе я, разумеется, ничего не сказал: я лишь настоял, чтобы она занавесила окна в своей комнате; сам же со *спокойствием из гордости* подставил себя под *злой* глаз из окна; помнится: в эту ночь я читал в постели какой-то толстый том: «История монашеских орденов». Я читал о Братстве Иисуса; и — думал: не без «*братства*» это мое лежание под глазом.

Перед тем, как загасить свечу, я хотел вскочить и, подбежав к окну, его распахнуть, спугнув *сидящего* на дереве; но хотелось спать; подумалось: «Пусть его газеет».

Презрение к *глазу* было столь сильно, что он даже мне не мешал.

Объяснялось мне чувство за несколько дней перед этим, когда показалось, что за мною кто-то крадется в кустах; *кто-то*, вероятно, крался; у меня удивительно развито кожное ощущение *вшей* и «*глаза*»; и тех, и *этот* я ощущаю безошибочно.

Я думал: «Они пустили воистину сильные средства напуга; *пугают выстрелом*». И тут же отдавалось: если бы *они* и достигли своей цели и был бы я *допуган*, то — все же: я вынужден бы

был вести себя так, как я веду, ибо я же *не знаю того, от чего они меня отпугивают*; никакого эмпирического поступка я не совершал и не намереваюсь совершить; *некий акт, бомба*, о которой подмигивает Трапезников, не есть эмпирическое как-нибудь квалифицируемое действие; это мое «да» — Свету, Христу, делу доктора; это моя верность символу Иоанновой любви, осуществляемая *символически* же в верности Гетеануму, в особом жесте работы под малым куполом, в вахтах; и это — мое лютое «нет»: войне народов.

Мне иногда начинало казаться, что *сила медитативной мысли моей о деле доктора есть меч, уже духовно разящий*; в мыслях я бью по врагу; и вот, желая выбить из головы моей этот меч *мысли моей, влияющей на судьбы Общества*, войны, даже судьбы России, «они» и угрожают мне смертью.

Но тут я неумолим: я готов даже... пасть... под ножами убийц, действительными, а не только ножами-языками, язвящими меня у меня за спиною.

Впоследствии, в 1920 году, в России, мне рассказывал Лигский, как с дерева заглядывали к нему в комнату; и как он, подойдя к окну, накрыл шпики: шпик, спрыгнув с дерева, пустился в бегство.

В эти дни произошел разговор между мною и Поццо, когда мы вдвоем проводили время на *вахте* при «Ваи». Поццо сказал мне:

— «Боря, — надо беречь девочек» — «*девочками*» называл он Наташу и Асю — «какой-то дурной глаз их глазит».

— «А что?»

И тут Поццо стал мне рассказывать о ряде своих наблюдений над окрестностью виллы «*Sans Souci*», где Поццо жили; выяснилось, что какие-то весьма подозрительные незнакомцы кружили вокруг, интересуясь Наташей; по словам Поццо выходило, что это не простые шпики, а почище. Мне отдалось слишком знакомое и таимое:

— «*Они!*»

Июль оканчивался не только уныло, но и тревожно; тревога переходила в густой мрак!

Рихтера брали на войну; он с грустью прощался с нами и все приставал к Асе, чтобы она согласилась принять заведование стекольной мастерской из рук в руки, потому что Седлецкий, выпитый Рихтером, вообразил себя гением и калечит рисунки доктора; кроме того: Седлецкий по его словам оказался подозрительным интриганом. Доктор не может вмешаться и *не допустить* Седleckого до заведования; из намеков Рихтера выходило, будто

доктор ничего не имеет против того, что Ася возьмется за заведение.

Асю пугали интриги, ответственность и неопытность ее: за Седleckими — все права: старшинство лет, имя «художника» Седleckого, сан «*председательницы польской секции*» его жены; я поддерживал Асю в решении не братья за стекла. Рихтер с досадой махал руками:

— «Пустяки: дело идет о спасении рисунков доктора; в вашей неопытности вам помогут *Ашиа*» — так звал он ее — «в сущности будет заведовать весь коллектив, а вы лишь формально возглавлять: надо не дать Седleckим мастерской».

Ася все же отказалась.

С грустью прощались с Рихтером: выбывал из нашей фаланги «*друг*», затащивший нас сюда; «*друзья*» — выбывали; «*враги*» — как нарочно — стягивались: из французской Швейцарии, из Германии! Над Дорнахом носились тучи. Политическое положение напрягалось; прорыв русского фронта, бегство русских, полный разгром армии жутью отдавался в моей душе, ибо я продолжал говорить «*нет*» войне; и это мое «*нет*» точно прочитывалось кем-то; с ростом русских поражений росла *ненависть*, бросаемая на меня из глаз швейцаро-французской партии; клеветы Леви и Шюрэ, распространявшие сплетни о том, что в Дорнахе выращивается русский, предатель своего отечества, шныряли по Дорнаху; не осмеливаясь открыто выступить против доктора, шипели «*германофильство*» Марии Яковлевны; выходило: ближайший к доктору человек разводит в Дорнахе «*шпионов*»; «*шпион*» — я, ходил, как оплеванный; самая моя любовь к доктору уличала меня, как русского, в глазах иных... *антропософов* (?!). Были такие! Среди них — Фитингоф, «*существо*», опять понаглешее, Седleckие, узнавшие о намерении Рихтера отдать Асе мастерскую и вдвойне возненавидевшие нас за это, Зауэрвейн и ряд наехавших французских швейцарцев.

Но странно: с ростом «*лютой*» ненависти ко мне со стороны антропософов-*антантистов* увеличивалась и ненависть ко мне и «*немцев*»-шовинистов; в «*немецкой*» партии Вольфрам, Чирская и другие ненавидели меня, как «*русского*», которого балует доктор, и «*эта русская, frau Doktor*».

Против последней уже начинался открытый бунт; и доктор, отражая его, все грознее и грознее гремел на лекциях.

Лопнуло несколько грязных историй, вскрывался змеиный комок сплетен; выяснилось открыто, что Шпренгель, соединившись с Гёшем, объявили доктора чуть не черным магом; уже они вышли из О-ва, но жили в Дорнахе и сеяли в нем, среди антропософов

и неантропософов густые, темные легенды. Чирская, Штраус и бразильская немка (забыл фамилию) открыто повели кампанию против доктора. Сами Гросхайнцы держались от «*Villa Hansi*» в стороне.

Отовсюду, как коршуны на падаль, съезжались *критиканы*, приехавшие контролировать «*странные*» действия дорнахского Совета, работавшего с доктором, и уличать «*Дорнахскую сволочь*» (так называли группу строителей) в богеме, распутности, которой... не было.

Создавалось впечатление: над Бауэром, доктором, Марией Яковлевной, Штинде и молодежью, которую полюбил доктор, собирался «*Суд*».

Вставала странная картина. Доктора не смели трогать, но *немой ропот* непонимания его действий окружал его; Марию Яковлевну окружало кольцо из шипящей открытой клеветы, в которой немецкие сумасшедшие тетки, кандидатки на ее место при докторе (таких оказалось вдруг десятки) подавали руку *антантистской* партии, открыто называющей ее чуть ли не предательницей; к этому присоединились странные *психические* заболевания среди безработных бездельниц, окружавших «*Vau*» и мешавших нам; сказывалась чья-то темная провокация.

Весь этот внутренний *ад*, вскрывшийся в Обществе, был обложен шпиками всех контр-разведок и темных сил, чьи агенты сидели в Обществе, среди нас, суя носы во все квартиры; пропадали «*циклы*» со стола; иезуиты выкрадывали материалы интимных лекций чуть ли не из запертых сундуков.

В этой «*обстановке*» доктор объявил, что к такому-то числу августа *Малый Купол* должен быть сдан инженеру Энглерту. Эвритмистки спешно репетировали заключительную сцену из Фауста, ненавидимые роем бесноватых теток, завидовавших им и распространявших о них гнусные сплетни.

Так ужасно кончался июль: август не предвещал ничего хорошего: ни в каком отношении.

В июле я сдал доктору мою рукопись; она поступила на его просмотр.

Мария Яковлевна, встретив меня перед домом и прогуливаясь со мною по дорожке, со странной усмешкой сказала: «Да, — разлагается личная жизнь».

Мне отдалось: «*Ваша личная жизнь*».

И душа рванулась в протесте: «Она точно издевается надо мною».

Будучи общественно *за нее* против клевет, на нее возводимых, лично я на всех парах уходил от нее; былого *восторженного* от-

ношения не было и помину; и все более и более меня тянуло к Бауэру.

Я видел, что Ася уже просто в каком-то гипнотическом подчинении у М.Я.; это подчинение безвозвратно отрывало меня от Аси; к Бауэру последняя относилась холодно.

Трапезников мне сказал: «Анна Алексеевна, — удивительно холодная натура».

Т.А. Бергенгрюн возмущалась, глядя на меня: «Ведь вы же в России — имя: во что вас *превратили* здесь». Она разумела отношение многих немцев ко мне, как к «*вахтеру*» Бугаеву, и тот факт, что в сущности «*девчонка*» (Ася) меня рассматривает, как туфлю свою, которую или надевают, или ставят... себе под постель.

— «Вы выказали удивительную скромность, граничащую с самоуничижением. Вы достойны огромного уважения».

Но меня... *не уважали*; скорей, — *презирали*: и дома, и на холме, и в кантине ко мне скорей относились презрительно.

О том, что я написал труднейшую книгу в защиту доктора и произвел гигантскую работу над текстами, не только не говорили, но наоборот: будто нарочно замалчивали, чтобы... не... возгордился.

Уж какая там гордость, когда... грозили... *пристрелить, как собаку*.

*(Окончание следует)*





***ANNEX***

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абетц О. (Abetz O.) 389, 391  
Абрамович (\*Аратов, Н.Кадмин)  
Н.Я. 39, 86  
Аброскина И.М. 161  
Авксентьев Н.Д. 275, 283, 284  
Агурский М.С. 98  
Адамович Г.В. 229, 231, 250, 275,  
294, 296, 306, 319, 320, 326, 327,  
341, 342  
Аджубей А. 399  
Адлер А. 347  
Азадовский К.М. 143, 159, 229  
Аитов В.Д. 315, 318, 319, 325  
Айзентрей, антроп. 414  
Айзенштат А.Г. 105, 106  
Айхенвальд (\*Каменецкий) Ю.И.  
7, 16, 93, 94, 133-137  
Акимова Н.П. 137  
Аксенов В.П. 233  
Аксенов И., юрист 384  
\*Алданов (Ландау) М.А. 99, 133,  
284, 285, 291, 292, 297, 310, 322,  
327, 337, 338  
Александра Федоровна, имп. 230  
Алексеев Н.Н. 224  
Алексей, царевич 230  
Аллой В. 274-281, 331  
Алтаузен Д.М. 170  
\*Альтенберг П. (Englander R.) 57,  
89  
Аматов Н.Н. 374  
Амп П. 177, 193  
Амфитеатров А.В. 98, 333, 335  
Андреев В.И. 384, 385  
Андреев В.Л. 231  
Андреев Л.А. 22, 333, 334, 354  
Андреева Ек., переводчица 225  
Андреева М.Ф. 11, 98  
Андроник, иеромонах 87  
Аничков Е.В. 69, 90  
Анненкова О.Н. 410, 411  
д'Аннунцио Г. 94, 111, 129  
Антелав Г.Г. 181  
Антипов Н.А. 258  
Антокольская Н.Г. 200, 201  
Антокольский П.Г. 238  
Антоний, еп. (Флоренсов) 45, 47-  
49, 53, 54, 87, 88  
\*Арбенина (Гильдебрандт) О.Н.  
186  
\*Ардов (Зильберман) В.Е. 161  
Аренс Е.М. 351  
Аркос Р. 193  
Архангельский, з/к 371  
Архипов Е.А. 382  
Асеев Н.Н. 170  
Атанян В. 379  
Атран С.С. 321  
Ауслендер С.А. 32, 76, 84, 98  
Афанасьев А.Н. 260

---

Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (\*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- \*Ахматова (Горенко) А.А. 203, 306, 335, 336, 340, 341, 346, 352, 382, 390, 392, 395
- Бабель И.Э. 350  
Бабореко А.К. 328
- \*Багрицкий (Дзюбин) Э.Г. 162  
Бажанов Б., редактор 224  
Бай, антроп. 449  
Байрон Д.Н.Г. 241  
Балиев Н.Ф. 217  
Балтрушайтис Ю.К. 19, 32, 43, 80, 99  
Бальзак О. де 177, 193, 196, 197  
Бальмонт (\*Люнель) К.Д. 8, 18, 19, 22, 24-26, 30, 32, 33, 39-42, 49-53, 55, 59, 77, 82, 85, 86, 284, 335, 367  
Барабатин, сотр. НКВД 383  
Баранова-Шестова Н.Л. 305  
Барбюс А. 177, 193  
Бассиано (Bassiano M. de) 271, 272  
Баталин В.А. 364, 378  
Батюшков П.Н. 30, 44-46, 51, 83  
Бауэр М. (Bauer) 425, 444, 452, 460-463, 470, 471  
Бах И.-С. 346, 351  
Бахман, пастор 238  
Бахрах А.В. 286, 289, 290, 292-294, 298, 310, 319, 320  
Бахрушин А.А. 183  
Башмачников, з/к 380
- \*Бедный Д. (Придворов Е.А.) 172  
Безант А. 45, 86  
Безваль А.А. 191, 193  
Безыменский А.И. 170, 226  
Беленсон А.Э. 339  
Белов, участник «Грифа» 84  
Белоконь В.К. 152
- \*Белый А. (Бугаев Б.Н.) 7-10, 14, 15, 18, 27-29, 33-40, 42-55, 57, 60-62, 67, 77, 80, 81, 83, 85-89, 92-102, 105, 107, 109, 110, 112, 114, 141, 179, 202, 203, 235, 237, 242, 248, 331, 367, 368, 409-471  
Беляев Б.Н. 313, 314, 319, 320, 324, 325
- Бененсон, семья 303, 304  
Бененсон А.С. 304  
Берар Е. 387-406  
Берберова Н.Н. 11, 94, 99, 180, 199, 253  
Бергенгрюн Т.А. 417, 425, 428, 435, 463, 471  
Бергсон А. 416  
Бердяев Н.А. 93, 97, 100, 108, 345  
Берзин Р.И. 360  
Бернал (Bernal) Д.Д. 402, 403  
Бернини Л. 116  
Бескин О.М. 163  
Бетховен Л. 224, 354  
Бисмарк О. фон Шёнхаузен 224  
Блаватская Е.П. 45, 86  
Блок А.А. 8, 28, 30, 45-51, 55, 60, 67, 76, 77, 80, 82-90, 95, 100, 103, 112, 139, 145-147, 149, 159, 160, 174, 188, 197, 211, 212, 327, 331, 334  
Блок Л.Д. 48, 49, 85, 88  
Блюм, з/к 374  
Бобель А.Н. 355  
Бобков Ф.Т. 385  
Боброва А.И. 20, 57  
Богданова Э.Г. 371  
Богомолов А.Е. 285, 320, 321, 327  
Богословский Н.В. 365  
Богоявленская Н.Н. 410, 414, 415  
Бодлер Ш. 41, 135, 137, 367  
Боккаччо Дж. 123, 124, 126  
Боливар С. 224  
Бондарев Ю.В. 391  
Бондаренко, сотр. НКВД 383  
Бонч-Бруевич В.Д. 16  
Боткина М.С. 98  
Бразоль А., антроп. 411  
Брантинг К.Я. 401, 402, 403  
Браславская З.Д. 310, 311  
Броун (Brown A.) 231-233, 236, 240, 241, 244, 247, 248, 250  
Брейгель П. 439  
Бриан А. 238  
Бродская (ур. Миллер) Т.А. 317, 320  
Бруни Л.А. 350

- Бруни Н.А. 350  
 Буданцев С.Ф. 369  
 Брюсов В.Я. 7, 8, 11-23, 26, 29, 31, 32, 36, 40-43, 45, 48-87, 90, 93, 99, 105, 122, 123, 132, 181, 182, 249, 367  
 Бугаев Н.В. 86  
 Бугаева (ур. Егорова) А.Д. 103, 413, 426  
 Бугаева (ур. Васильева) К.Н. 114  
 Будберг М.И. 11  
 Бунин И.А. 96, 280, 282-287, 288-328, 335, 349  
 Бунина В.Н. 213, 233, 282-287, 288-328  
 Буравлев М.А. 377, 378  
 Бург Д., журналист 143  
 Бурлюк В.Д. 179, 191, 193  
 Бурлюк Д.Д. 178, 179, 181, 182, 186, 190-193  
 Бурлюк Л.И. 191, 193  
 Бурлюк (ур. Еленевская) М.Н. 292  
 Бурлюк Н.Д. 191, 193  
 Бухарин Н.И. 140, 141, 143, 352, 357, 379, 388, 397  
  
 Вагнер, антроп. 440  
 Вагнер Р. 224, 420, 421  
 Вайсбург А.И. 362  
 Валлер (Waller) М. 421, 435, 437, 441, 444, 450  
 Вальтер Р. 129  
 Ван-дер-Паальс Л. 424, 425, 435, 453  
 Варпаховский Л.В. 380  
 Варшавский В.С. 294, 296, 314  
 Василевский (\*Не-Буква) И.М. 98, 117  
 Василенко С.В. 203  
 Васильев П.Н. 139, 140, 142, 145, 148, 150, 153-157, 159, 162, 164-171  
 Васильева К.Н. см. Бугаева К.Н.  
 Вейдемуллер К.Л. 97, 100, 105, 106  
 Величковский А.Е. 297, 318  
 Венгерова З., критик 100  
  
 Верлен П. 367  
 \*Вертер (Арнгольд-Жукова) В.А. 191-193, 202, 203  
 \*Ветлугин А. (Рындзюн В.И.) 336-338  
 Вик К. (Wieck С.) 431  
 Вико Д. 337  
 Вильгельм II, имп. 224  
 \*Вильдрак Ш. (Messenger Ch.) 242, 243, 245  
 Виноградов А.И. 181  
 Виноградов А.К. 195, 196  
 Винокур Н.Г. 282-328  
 Вишневецкий, нач. лагеря 360  
 Вишневский В.В. 397  
 Вишняк А.Г. 110, 111, 121, 128  
 Вишняк М.В. 82, 275, 276  
 Владимир, митр. 320  
 Владимиров В.В. 35, 85  
 Воеводин А.А. 258  
 Вознесенский А.А. 398, 399  
 Волконский С.М. 231, 265  
 Волошин М.А. 409, 410, 415, 425  
 Волошина (ур. Сабашникова) М. В. 413, 415-417, 423, 425, 436  
 Вольпе Ц.С. 179, 180, 199  
 \*Вольтер (Аруз М.Ф.) 346  
 Вольфензон-Цыбулевская К.А. 373  
 Вольфрам, антроп. 435, 457, 464, 469  
 \*Вольнский (Флексер) А.Л. 10, 40, 80, 86  
 Воронский А.К. 141  
 Ворошилов К.Е. 166  
 Врубель М.А. 78, 123  
 Выгодский Д.И. 180  
 Вышеславцев Б.П. 108  
 Вышинский А.Я. 358, 359  
 Вялова Е.А. 165  
  
 Гавронский, антроп. 435, 438  
 Галлоп-Ремпель Е.В. 12, 16  
 Гальперина-Осмеркина Е.К. 382  
 Гальперн (ур. Андроникова) С.Н. 210, 223, 224, 233, 234, 241, 245, 249, 254, 259, 267, 270, 272

- Гамсун К. 69  
 Ганин А. 159, 173  
 Гаранин, сотр. НКВД 360  
 Гаршин В.М. 174  
 Гарэтто Э. 7-138  
 Гаспаров М.Л. 177, 181, 193, 195  
 Гаухман Ю. 282, 283  
 Гегель Г.В.Ф. 149, 426  
 Гейдебрандт Б. фон 449  
 Геллер М.Я. 100  
 Герцен А.И. 289  
 Герштейн Э.Г. 382, 384  
 Гессен И.В. 337, 343, 348  
 Гессен С.И. 94  
 Гете И.В. 211, 412-416, 421, 426, 432, 438, 439, 453, 458  
 Гёш Г. (Gösch) 425, 429, 432, 435, 454, 469  
 Гинзбург Е.С. 359-361  
 Гиппиус З.Н. 19, 26, 82, 300, 302, 339, 349  
 \*Гитлер (Шикльгрубер) А. 352, 391  
 Гладков Ф.В. 142, 163, 166  
 Гладкова (Gladkova) Т.Л. 210  
 Гоголь Н.В. 94  
 Гозиасон Ф.Г. 93, 94  
 Гойя Ф.Х. 439  
 Голлербах Э.Ф. 339  
 Голованов Н.С. 155, 165  
 Гольцев В.В. 181  
 Гомер 245  
 Гонкуры, братья Э. и Ж. 354, 355  
 Гончарова Н.С. 214-217, 220, 223, 224, 232, 234, 236, 240, 242, 243, 250, 259, 282  
 Гораций 177, 185  
 Горбачева В.Н. 162  
 Горбов Д.А. 163, 259  
 Горкин А.Ф. 382  
 Горлин А.Н. 186  
 Горлов В.М. 378  
 Горнфельд А.Г. 382  
 Городецкая Н., журн. 224, 233, 260  
 Городецкий С.М. 149  
 \*Горький М. (Пешков А.М.) 9, 11, 12, 95, 97-100, 109, 140-142, 145, 147, 148, 151, 156, 157, 164, 166, 167, 170, 172, 199, 295, 336  
 Гофман В.А. 21-23, 36, 37, 81  
 Гребенщиков Г.Д. 291, 292  
 Гречишкин С.С. 8, 9, 12, 84, 88  
 Гржебин З.И. 96, 99, 108, 231  
 Гримм (Grimm) Г. 461  
 Грин М. 283, 290  
 Гронский И.М. 139-143, 144-158, 161, 164-167, 169, 171  
 Гроос, антроп. 414  
 Гроссман В.С. 396  
 Гроссман Л.П. 181, 196, 197  
 Гросхайнцы, семья 452, 455, 470  
 Грузинова И.В. 161  
 Грунтов А.К. 159  
 Гузик Ян 73, 74  
 Гукасов А.О. 319, 321  
 Гуль Р.Б. 11, 98, 99, 123, 125, 216  
 Гумилев Н.С. 182, 337  
 Гюго В. 177, 193, 196  
 Гюнтер, антроп. 414, 449  
 Давид Ж. 193  
 Давыдов К.Н. 280, 281  
 Даманская А.Ф. 288, 289, 294  
 Данте Алигьери 116, 355  
 Дарвин Ч. 346  
 Дашковы, род 353  
 Дворжак А. 351, 354  
 Декарт Р. 432  
 Дементьев А.Г. 388, 394-398, 400  
 Державин Г.Р. 367  
 Дерман А.Б. 382  
 Диккенс Ч. 241  
 Добрая Г.И. 328  
 Добрая Л.Г. 307, 308  
 Добролюбов А.М. 19, 80, 85  
 Долгополов Н.С. 293, 295, 298  
 Домбровский Ю.О. 357, 379, 380  
 Дороднова (ур. Виноград) Е. 255, 258  
 Достоевский Ф.М. 188, 461  
 Дроздов А.М. 98  
 Дубах К.А. 410, 435  
 Дузе Э. 97, 100, 102, 129  
 Дункан А. 147, 148, 161

- Дурнов М.А. 27, 30, 82, 83  
 Дурново И.Н. 333  
 \*Дымов О. (Перельман О.И.) 32, 84  
 Дэвис Р. 208-273  
 Дюамель Ж. 177, 193, 194  
 Дюшен Б.В. 98, 100, 123  
 Дягилев С.П. 94
- Евгенийев-Максимов В.Е. 188  
 Евдокимов И.В. 160  
 Евреинов Н.Н. 190, 192  
 Евтушенко Е.А. 398  
 Егоров А.И. 155, 165  
 Ежов Н.И. 143, 158, 170, 172  
 Ельяшевич В.Б. 296, 307  
 Ельяшевич Ф.О. 293, 296  
 Енукидзе А.С. 155, 166  
 Ермилов, журн. 37  
 Ермилов В.В. 162, 399  
 Есенин С.А. 139, 145-148, 154, 155, 159-161, 165, 171-174, 202, 232, 234, 283, 306, 331  
 Есенина Е.А. 159  
 Ефрон С.А. 93, 94
- Жванецкий И., коллекционер 195  
 Жевержеев Л.И. 181, 183  
 Жданов А.А. 395, 396, 404  
 Жемчужникова М.Н. 435  
 Жид А. 193  
 Жирова Е.Н. 286, 294, 297, 303-305, 310, 314-317, 320-322  
 Жирова О. 286, 310, 317, 324  
 Жировы, семья 297, 319  
 Жироду Ж. 194
- Завадский Ю.А. 249  
 Заволокин П.Я. 185  
 Зайцев Б.К. 22, 93, 94, 97, 99, 101, 107, 108, 114, 116, 118, 133, 135, 137, 284, 286, 290, 306, 310, 349  
 Зайцева В.А. 296, 305  
 Зайцевы, семья 287, 294, 302, 305, 309, 321  
 Закс Б.Г. 393, 394  
 Замошкин Н.И. 181, 197
- Замятин Е.И. 112, 141, 248, 340, 349  
 Зарецкий Н.В. 125  
 Зарудин Н.Н. 142  
 Заурвейн, антроп. 464, 469  
 Звенигородский А.В. 382  
 Зеелер В.Ф. 320, 321  
 Зелинский К.Л. 166, 170  
 Зенкевич М.А. 179-181, 198-202  
 Зенкевич П.В. 379  
 Зелюк Г.О. 308  
 Зензинов В.М. 275, 280, 281, 304  
 Зиновьева-Аннибал Л.Д. 53, 69  
 Злотинский И.Д. 364, 369-371  
 Зонненклар, антроп. 440  
 Зошенко М.М. 395  
 Зуров Л.Ф. 286, 288-290, 292-294, 296-303, 305, 306, 310, 314, 317, 319-321
- Иванов В.И. 52, 53, 69, 86  
 Иванов Вс.И. 331  
 Иванов В.Н. 163  
 Иванов Г.В. 99, 179, 231, 341  
 \*Иванов-Разумник (Иванов) Р.И. 145, 159, 160, 338, 450  
 Иваск Ю.П. 216, 224, 249, 253, 272  
 Извольская (Iswolsky) Е.А. 224, 235, 238, 265, 266, 272  
 Извольская М.К. 267  
 Извольский А.П. 267  
 Илеш Б. 405, 406  
 Ильин И.А. 416  
 Ильина Е.А. 410, 424, 435, 438, 449  
 Ильичев Л.Ф. 394, 398, 399, 403, 404  
 Имбер, соседка Буниных 314, 316, 317  
 Инбер В.М. 170  
 Ирещкий, эмигр. журн. 342  
 Исаковский М.В. 144
- \*Каверин (Зильбер) В.А. 259, 356, 382, 384, 385, 391  
 Каганович Л.М. 140

- Кадар Я. 406  
 Казарновский Ю.А. 364-366, 379  
 Казас, врач 309  
 Калинин М.И. 158, 382  
 Каллаш (\*М.Курдюмов) М.А. 320, 321  
 Калькрейт (Kalckreuth) Р. 434, 443, 444, 452  
 Каляев И.П. 461  
 \*Каменев (Розенфельд) Л.Б. 164, 366  
 Каменский В.В. 179  
 Каминская Т., знакомая Буниных 302  
 Камков Б.Д. 160  
 Кант И. 149, 426  
 Капица (ур. Крылова) А.А. 237  
 Капица П.Л. 237  
 Каплун С.Г. 11, 12  
 Карамзина М.В. 286  
 Карелин В.А. 160  
 Карлинский (Karlinsky) С.А. 209, 210, 234, 250, 253, 255, 258, 265, 267  
 Карпов П.И. 159  
 Карре Ж.М. 194  
 Карсавин Л.П. 108  
 Карсавина Т.П. 284  
 Катаев В.П. 382, 397  
 Катанян В.В. 379  
 Кашкин И.А. 355  
 Кельчевский, редактор 133  
 Кемпер (Kemper) К. 415, 441, 449  
 Керенский А.Ф. 97, 99, 101, 105, 135, 160, 224, 283, 284, 299, 301, 302, 332  
 о.Киприан (Керн) 302, 304  
 Кирдецов Г.Л. 98, 124, 128  
 \*Киров (Костриков) С.М. 142  
 Киселев Н.П. 413  
 Киселева А.Н. 414, 415, 458  
 Киттель (Kittel) Е. 440, 452  
 Классен (Clason) Л. 421, 435  
 Клеопатра 69  
 Клычков Г.С. 143, 161, 164, 165  
 Клычков С.А. 139-141, 145-148, 151-156, 158, 159, 161-168  
 Клычкова Е.С. 164  
 Клычкова В.Н. 165  
 Ключев Н.А. 139, 140, 145-151, 153-156, 158, 159, 161, 162, 167, 169, 170, 172-174, 331  
 Ключников Ю.В. 98, 100  
 Клягин А., инженер 318, 321  
 \*Кнут Д. (Фиксман Д.М.) 294, 296  
 Коврова, домовладелица 183  
 Коган (ур. Нолле) Н.А. 255  
 Коган П.С. 255  
 Койранский (\*Александр -ский) А. А. 24, 31, 36, 37, 61, 82  
 Койранские, братья 82  
 Комиссаржевская В.Ф. 197  
 Кондаков Н.П. 213, 215  
 \*Коневской (Ореус) И.И. 19, 42, 43, 80, 86  
 Коненков С.Т. 164  
 Коновалов А.И. 320, 321  
 Кончаловский П.П. 395, 396  
 Конос (ур. Рахманинова) Т.С. 310, 311, 314, 325  
 Коонен А.Г. 155, 166  
 Корнель П. 198-201  
 Корнилов Б.П. 170  
 Коровин К.А. 395  
 Корш Е.Ф. 197  
 Коряков М.М. 327  
 Костычева О.П. 410  
 Котляревский Н.А. 349  
 Крандиевская Н.В. 110, 111  
 Красиковы, семья 142  
 Краснов П.Н. 326  
 Крейман, владелец гимназии 80  
 Крепс Е.М. 361, 362, 364, 366, 367, 373-377  
 Крепс Т.М. 373  
 Кресанов, з/к 381  
 Кречетов см. Соколов С.А.  
 Кривицкий, з/к 359  
 Кристи М.П. 435  
 Кромвель О. 242, 243  
 Кручных А.Е. 182  
 Крылов А.Н. 237  
 Крылова (ур. Драницына) Е.Д. 235-237

- Крюков, зам. коменданта лагеря 362  
 Крючков П.П. 12  
 Кузин Б.С. 353, 354  
 Кузмин М.А. 32, 36, 69, 84, 181, 186, 187, 339  
 Кузнецов, врач, з/к 368, 369  
 Кузнецова Г.Н. 286, 289-291, 294, 298, 300, 317, 318  
 Кульман Н.И. 288, 289, 305, 315, 316, 318  
 Кульман Н.К. 290, 297  
 Кунрат (Khunrath) Г. 411  
 Куприн А.И. 328, 335  
 Куприянова З.Н. 162  
 Курсинский А.А. 22, 23, 31, 81  
 Кусиков А.Б. 123  
 Кускова Е.Д. 305  
 Кутепов А.П. 221, 224  
 Кучерова (Kucerova) И. 414, 449  
  
 Л., физик, з/к 359, 361, 364, 371-373  
 Лавров А.В. 80, 83, 84, 89, 159, 160  
 Лавров А.С. 8, 9, 12, 84, 88  
 Лавров В. 290  
 Лавров П.Л. 145  
 Ладыжников И.П. 119  
 Ладинский А.П. 294, 296, 307, 327  
 Ландау (Алдановы), семья 294, 295, 297, 307  
 Ландау Т.М. 297  
 Ланг (\*Миропольский) А.А. 21-23, 31, 57, 61, 80, 81  
 Лансере Е.Е. 378  
 Лапин Б.М. 355  
 Ларина А.М. 361  
 Ларионов М.Ф. 243  
 Лапинский, врач 288, 289  
 Лебедев В.И. 271  
 Лебедев В.С. 397, 401, 403  
 Лебедева М.Н. 271  
 Лёв, барышни 414  
 Леви (Lévy) Э. 452, 453, 457, 469  
 Левинсон А., журн. 234  
 Ледебур (Ledeboer) Ф. 436  
 \*Ленин (Ульянов) В.И. 99, 119, 142, 149, 389, 399  
 Лентулов А.В. 395  
 Леонидзе Г. 178, 181  
 Леонов Л.М. 152, 233  
 Лесков Н.С. 306  
 Лесман М.С. 357, 364, 366, 373, 374, 378  
 Либединский Ю.Н. 163  
 Лившиц А.Б. 191, 193  
 Лившиц Б.К. 177-180, 181-207  
 Лившиц (ур. Скачкова) Е.К. 187, 188, 191-193, 199, 200, 207  
 Лившиц М.Н. 192  
 Лигский К.А. 410, 415, 425, 435, 436, 468  
 Лидин В.Г. 133  
 Ликиардопуло М.Ф. 87  
 Линде (Linde) Г. 436  
 Линденбаум В. 31, 39, 83  
 Лиснянская И.Л. 385  
 Литвинов М.М. 396  
 Лихачев Д.С. 365  
 Лихтфогель (Liedvogel) Г. 411  
 Ло Гатто Э. 94, 108, 127, 172  
 Логинова-Муравьева Т.Д. (Loguine T.) 210, 243, 286  
 Лозинский М.Л. 352  
 \*Лоло (Мунштейн Л.Г.) 288, 289, 294, 310, 311  
 Ломан, полковник 160  
 Ломоносов М.В. 211, 212  
 Ломоносов Ю.В. 208, 209, 221, 225, 226, 237, 241, 244, 262, 263  
 Ломоносов Ю.Ю. 215, 217, 219, 222, 236, 240, 241, 243, 244, 264, 265, 271, 273  
 Ломоносова Р.Н. 208-273  
 Лопатин М.Л. 85  
 Лукьянов С.С. 98  
 Луначарский А.В. 99, 141, 167, 196, 197, 341, 399, 435  
 Лундберг Е.Г. 98, 100, 160  
 Луппол И.К. 355  
 Львов Г.Е. 11  
 Львов, дипломат 389, 392



- Львов Л.И. 294, 296  
 \*Львов-Рогачевский В. (Рогачевский В.Л.) 158  
 Любошиц, журн. 32  
 Любченко Н.Ф. 310, 314, 316, 317, 319, 325  
 Людвиг, знакомая Э.К. Метнера 449  
 Людовик XIV, король 231  
 Май, фон, братья 436  
 Майер М. 45  
 Майн-Рид Т. 194  
 Макаров И.И. 142  
 Маковский С.К. 86, 316  
 Максимов Д.Е. 84  
 Малевич К.С. 174  
 Малер (Mahler) Э.Э. 294, 295  
 Маликов Н.А. 410, 415, 435  
 Малышкин А.Г. 152  
 Мальмстад Дж.Е. 94, 114, 409-471  
 Мандельштам А.Э. 363, 373, 382, 383  
 Мандельштам Н.Я. 186, 187, 350-356, 358, 362-366, 371, 372, 379, 380, 382-385  
 Мандельштам О.Э. 178, 179, 186, 187, 194, 203, 247, 250, 306, 350-386, 462  
 Мандельштамы, семья 350-356  
 Манн Т. 321  
 Мансуров П.А. 171-174  
 Марадулина, актриса 187  
 Мариенгоф А.Б. 161  
 Маринетти Ф.Т. 180, 185, 186  
 Марков В.М. 362  
 Маркс К. 149  
 Мартынов Л.Н. 390, 392  
 Матисс А. 395  
 Маторин Д.М. 361, 364, 374-377  
 Маторин Н.М. 374  
 Матюшин М.В. 180  
 Маяковский В.В. 147, 158, 171, 172, 179, 182, 183, 191, 193, 197, 198, 204, 232, 234, 240, 244, 245, 253, 257, 260, 267, 306, 334, 394  
 Медведев Р.А. 166, 170  
 Мейерхольд В.Э. 147, 352, 394  
 Мейн А.Д. 230  
 Мейн С.Д. 228, 230  
 Мережковские, семья 294, 411  
 Мережковский Д.С. 19, 67, 87, 335, 349  
 Меркулов В.Л. 357, 361-364, 366-369  
 Метерлинк М. 86  
 Метнер Н.К. 52, 88  
 Метнер Э.К. 88, 89, 412-417, 423, 425, 426, 429, 432, 433, 434  
 Мещерский, кн., з/к 358  
 Микеланджело 461, 462  
 Микоян А.И. 158, 170  
 Миллер И., врач, з/к 378  
 Милюков П.Н. 137, 257, 272, 276, 279, 284, 303, 306, 320, 337, 343  
 \*Минский (Виленкин) Н.М. 19, 72-74, 108  
 Минц З.Г. 98  
 Минцлова А.Р. 412, 417, 430, 431  
 Мирбах В. 146, 160  
 Митрохин Д.И. 206  
 Митчер (Mitscher) К. 421, 435, 441, 442, 444, 452  
 Михайлов, инженер, з/к 375  
 Михайлов А.А. 165  
 Михайлов П.А. 303, 304, 319  
 Михайловский, врач 263  
 Михайловский Н.К. 144, 158, 344  
 Михельсон Н.И. 288, 289  
 Мицишвили И.Н. 181  
 Мицишвили Н.И. 181, 206, 207  
 Могилевский, скрипач 267  
 Мок (Moch) Ж. 401, 403  
 \*Молотов (Скрябин) В.М. 155, 156, 158, 166, 391  
 Мопсан Ги де 42  
 Моргенштерн (Morgenstern) М. 425, 444, 452, 463  
 Моргунов Ж., з/к 380  
 Мордерер В.Я. 86  
 Мордовин, муж Н.Богоявленской 415  
 Морозов А.А. 353, 355, 364  
 Моссман Э. 226

- Мочульский К.В. 98  
 Мунштейн (ур. Ильнарская) В.Н. 310, 311  
 Муравьев А., архитектор, з/к 374  
 Муратов П.П. 99, 108, 116-118, 122  
 Мусоргский М.Л. 351  
 Муццоллини Б. 101, 103, 104, 118, 224  
 Мутах фон, антроп. 455-458  
 Мюссе А. де 136  
 Мэрион (Maryon) Л.Э. 436  
 Мятлева, домовладелица 173
- Набоков (\*Сирин) В.В. 274-276, 277-280, 281, 284, 373  
 Набоков Д.В. 276  
 Набоков Н.Д. 174  
 Набокова В.Е. 276, 277  
 Навроцкий Б.А. 379  
 Наполеон 214, 216  
 Нарбут В.И. 379  
 Наседкина В.Ф. 145, 154, 159  
 Наумов П.С. 174  
 Нежданова А.В. 155, 165  
 Нейгауз Г.Г. 248  
 Некрасов В.П. 391, 398  
 Некрасов Н.А. 144, 188, 190, 236  
 Немирович-Данченко В.И. 335  
 Немировская И., эмигр. журн. 317, 318  
 Неретина С.С. 375  
 Нерлер П. 177-207, 350-386  
 Несмелов А., журн. 218, 223  
 Никё М. 139-174  
 Никитин, биолог 366  
 Никиш А. 89  
 Никишов, нач. лагеря 360  
 Николаев Л.В. 142  
 Николаевский Б.И. 310, 311  
 Николай I, имп. 236  
 Николай II, имп. 230  
 Никольская Т. 195  
 Нилус Б.С. 302, 304, 306, 315, 317, 319  
 Нилус П.А. 304  
 Ницше Ф. 420, 421, 461
- \*Новиков-Прибой (Новиков) А.С. 152  
 Нозль-Бекер (Noel-Bycker Ph.) Ф. 401, 403  
 Нусинов И.М. 166, 168, 197  
 Ньютон И. 432
- Овидий 266, 267  
 Огнев Л. 196
- \*Одоевцева И.В. (Генике И.Г.) 339, 340  
 Оксман Ю.Г. 373, 377  
 Окулич И.К. 326  
 Оленина-д'Альгейм М.А. 418  
 Оливье М. 194  
 Орешин П.В. 139, 145, 146, 153, 154, 156, 158-160, 164  
 Орт фон, антроп. 436  
 Осмеркина Л. 382
- \*Осоргин (Ильин) М.А. 99, 108, 118, 280, 281  
 Островский А.Г. 179, 180  
 Островский Н.А. 233  
 Оцуп Н.А. 231, 341
- Павленко П.А. 382, 385  
 Павлов, нач. лагеря 360  
 Павлов И.П. 263, 366, 374  
 Павлова К.К. 248  
 Павловский М.Н. 276
- \*Панаева А. (Головачева Е.Я.) 236, 238  
 Пантелеймонов Б.Г. 315, 318  
 Пантюхов (\*М.Пант-ов) М.И. 21-23, 81  
 Панферов Ф.И. 144  
 Папини Д. 94, 129  
 Парнис А.Е. 86, 177-207  
 Парнок С.Я. 195, 199, 200, 283  
 Паскаль Б. 289  
 Пастернак Б.Л. 141, 166-170, 178, 208-215, 217, 219, 221-226, 228, 229, 231, 232, 234-238, 242, 245-250, 253, 255, 258, 260, 262, 267, 268, 273, 367  
 Пастернак Е.Б. 229, 245, 246  
 Пастернак (ур. Лурье) Е.В. 209,

- 210, 225, 229, 237, 242, 245, 246, 248, 258, 267, 268
- Пастернак (ур. Еремеева) З.Н. 246, 248, 243, 258
- Паустовский К.Г. 387
- Пашуканис, Е.Б. 81
- Перальте (Péralte) Л. 436
- Первухин (\*Староверов) М.К. 109, 114, 335
- Первухина Е., внучка М.К. Первухина 109, 114
- Переверзев В.Ф. 369
- Перелешин Б.Н. 367
- Перелешин В.Ф. 210
- Петрарка Ф. 363, 367
- Петрова М.Г. 159
- Петровская Н.Н. 7-16, 17-79, 80-89, 91-137
- Петровская Н.Н., сестра Нины Петровской 113, 114, 128, 130, 132, 134-137
- Петровский А.С. 30, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 83, 88, 410, 412, 413, 425, 429, 433, 434, 450, 455
- Петровский М.С. 129
- Петрожицкая М., знакомая Н.Петровской 138
- Печковский А.И. 61, 89
- Пешков М.А. 172
- Пикассо П. 392, 395
- Пилсудский Ю. 335
- \*Пильняк (Vogau) Б.А. 99, 141, 142, 155, 166, 233, 242, 244-246, 248, 252, 331
- Пиранделло Л. 94, 126
- Писарев Д.И. 341, 344, 345
- Плакий А., з/к 361
- Планк М. 432
- Платон 426
- Плеханов Г.В. 145
- Плотников М.А. 152, 162, 163
- По Э. 73
- Повереннов, дактилоскопист 381
- Поделков С.А. 165
- Поликарпов Д., парт. деятель 397
- Полляк (Pollak-Karlin R. и Н.) семья 435, 436
- Полонская (ур. Ландау) Л.А. 298, 305
- \*Полонский (Гусин) В.П. 140, 141, 189, 190
- Полонский Я.Б. 298, 305
- Поляков (\*Ешбоев) С.А. 8, 19, 33, 39, 43, 68, 71, 72
- Полякова С.В. 200
- Поольман-Мой (Polman-Mooy) Д. 409, 412, 417, 437
- Поплавский Б.Ю. 231
- Попов Б., студент 61, 65
- Поскребышев А.Н. 398
- Поступальский И.С. 181, 359, 361, 364, 379
- Постышев П.П. 140
- Потехин Ю.Н. 98, 100
- Пощо А.М. 410, 412, 415, 417, 423, 424, 427, 432-434, 450, 463, 468
- Пощо (ур. Тургенева) Н.А. 410, 412-417, 419-421, 423, 424, 427, 428, 431-433, 436-438, 441, 442, 445, 447-451, 454, 459, 460, 462, 463, 468
- Поярков (\*Н.Ярков) Н.Е. 31, 39, 84
- Прегель (ур. Авксентьева) А.Н. 282, 283, 288, 289, 291-293, 297, 298, 301, 304, 311
- Прегель Б.Ю. 283, 297
- Прегель С.Ю. 282, 283, 288, 289, 317, 324
- \*Приблудный И.П. (Овчаренко Я. П.) 154, 165
- Прокофьев А.А. 170
- Прокофьев С.С. 404
- Протасов Н.И. 320, 321
- Протопопов А.Д. 333
- Проффер Э. 267
- Пунин Н.Н. 331, 332-349
- Пушкин А.С. 177, 185, 211, 216, 223, 246, 259, 271, 272, 336, 340, 344, 355, 459
- Пшавела В. 178
- Пшибышевский С. 86
- Пяст В.А. 179

- Радлова А.Д. 340, 346  
 Раевская-Хьюз О. 9  
 Райф (Reif) М. 422  
 Райх З.Н. 147, 160  
 Раков Л.Л. 186, 187  
 Ракоши М. 406  
 Расин Ж. 193, 198, 199, 201  
 \*Раскольников (Ильин) Ф.Ф. 189, 190  
 Рахманинов С.В. 293  
 Ребиков В.И. 61, 89  
 Резникова Н.В. 210  
 Рейзен М.О. 155, 165  
 Ремарк (Remarque) Э.М. 240, 241  
 Рембо А. 177, 185  
 Ремизов А.М. 32, 84, 86, 93, 94, 99, 233, 259, 348  
 Ремизовы, семья 294  
 Ремпель Е. 100  
 Ресневич-Синьорелли О.И. 7-11, 16, 91-133, 171-174  
 Рильке Р.М. 227, 229, 252, 255  
 Рихтер Р. 421, 422, 429, 435, 436, 438-441, 446, 451, 452, 460, 468, 469  
 Ришар Э. 194  
 Роговский Е.Ф. 313, 314, 318  
 Родзевич К.Б. 264  
 Рождественский, худ. 174  
 Рождественский Р.И. 384, 385  
 Рожков П., критик 166, 167  
 Розанов В.В. 332, 335, 339, 346-348  
 Роллан Р. 177, 194, 321, 365  
 Ромм А.И. 181, 194, 195  
 Ромм М.И. 403  
 Ронсар П. де 367  
 Рославлев А.С. 21, 22, 24, 33, 34, 36, 37, 81, 84  
 Ростовцев М.И. 294, 296, 297  
 Ростовцева (ур. Кульчицкая) С.М. 296  
 \*Рошин Н. (Федоров Н.Я.) 294, 296  
 Рубинин П. 210  
 Рублев А. 149  
 Рудаков С.Б. 382  
 Руднев В.В. 230, 253, 254, 275-280, 282, 284, 294, 295, 297  
 Руднева В.И. 294, 297  
 Руставели Ш. 153  
 Рыков А.И. 352  
 Рыльский М.Ф. 402, 404  
 Рындина Л.Д. 90  
 Рябушинский Н.П. 61, 78, 89, 90  
 Саакянц А.А. 224  
 Савинков Б.В. 461  
 Савоева Н.В. 378, 379, 381  
 Садовской (Садовский) Б.А. 32, 81, 82, 84, 87, 185  
 Сартр Ж.П. 397  
 Сварог В.С. 157, 170  
 Святополк-Мирский Д.П. 208, 211, 212, 215, 221, 222, 226, 233, 235, 236, 242, 244, 247, 249, 250, 258, 270, 272  
 \*Северянин И. (Лотарев И.В.) 182, 253, 255  
 Седлецкие (Siedlecki F. и W.), семья 410, 429, 436, 451, 455, 457, 468, 469  
 \*Седых А. (Цвибак Я.М.) 287, 322, 327, 328  
 Селивановский А.П. 180, 199  
 Семенов Л.Д. 37, 38, 86  
 Семенов М.Н. 43, 86  
 Семенов С.А. 186, 187  
 Семенова (\*Волотова) Н.Г. 186, 187  
 Сергей Александрович, вел. кн. 461  
 Серебрякова Г.Н. 398  
 Серов В.А. 395, 398  
 Серов С.М. 309, 311  
 Сеченов И.М. 373  
 Сизов М.И. 410, 412-415, 429, 433, 434  
 Симонов К.М. 328, 396  
 Синьорелли А. см. Signorelli A.  
 Синьорелли О.И. см. Ресневич-Синьорелли  
 Сиротинин В.Н. 261, 263, 318  
 Скачкова Е.К. см. Лившиц Е.К.

- \*Скиталец (Петров) С.Г. 328  
 Скотт В. 194  
 Слоним М.Л. 216, 223, 224, 254, 272, 275  
 Смеляков Я.В. 154, 164  
 Смык, нач. лагеря 362, 376  
 Сновидов, з/к 374, 375  
 Соболев Л.С. 402, 404  
 Соколов (\*Кречетов) С.А. 7, 8, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 33, 35-39, 44, 46-48, 52, 53, 56, 57, 61-67, 70, 71, 76, 80-82, 84, 88-90, 99  
 Солженицын А.И. 387, 391, 397-400  
 Соловьев В.С. 27, 38  
 Соловьев С.М. 8, 55, 57, 83, 85, 89  
 Сологуб М.А. 302  
 Сологуб (ур. Зайцева) Н.Б. 294, 296, 302, 304  
 \*Сологуб (Тетерников) Ф.К. 55, 69, 85, 91, 339  
 Спиридонова М.А. 160  
 Ставров П.С. 319, 321  
 Ставский В.П. 140-142, 354, 355  
 \*Сталин (Джугашвили) И.В. 139-143, 150, 151, 156, 158, 170, 172, 203, 356, 365, 368, 376, 384, 385, 387, 395-399, 403  
 Старцев И. 160  
 \*Стендаль (Бейль А.) 194  
 \*Стенич (Сметанич) В.О. 197, 198  
 Степанов Н.Л. 180  
 Степун Ф.А. 77, 90, 94, 291, 318  
 Степун М.А. 286, 289-291, 294, 297, 298, 300, 302  
 Стецкий А.И. 141  
 Столыпин П.А. 333  
 Стракош, семья 435  
 Струве А.П. 294  
 Струве В. фон 117, 127, 131, 132  
 Струве Г.П. 98, 161, 210, 326, 327  
 Струве М.А. 294, 296, 315, 318  
 Струве Н.А. 210  
 Струве П.Б. 229, 260, 296, 300-302  
 Ступницкий А.Ф. 320, 321  
 Стютен, антроп. 449  
 Субботин С.И. 143, 161  
 Суворин А.С. 347  
 Сувчинский П.П. 258  
 Суриков В.И. 395  
 Сурков А.А. 163, 170, 402, 404, 406  
 Суслов М.А. 405, 406  
 Табидзе Т. 178, 181, 205, 206  
 Тагер Е.М. 377  
 Таиров А.Я. 155, 166  
 Тарасенков А.К. 178, 181, 204  
 Тарсис И. 379  
 Татлин В.Е. 395  
 Твардовский А.Т. 144, 387-394, 397, 398  
 Телешов Н.Д. 328  
 Тескова А. 210, 211, 213, 215-217, 223, 224, 229, 230, 233, 238, 243, 245, 248, 253-255, 260, 261, 263, 267, 271, 272  
 Тетюхин Д.Ф. 378  
 Тилье К. 194  
 Тименчик Р.Д. 86  
 Тиняков (\*Одинокый, Герасим Чудаков) А.И. 31, 39, 84, 181, 184, 185  
 Тихвинский Л.М. 262, 263, 265  
 Тихвинский М.М. 263  
 Тихомиров Р.Г. 384  
 \*Тихонов (Серебров) А.И. 189, 190  
 Тихонов А.Н. 12, 112  
 Тихонов Н.С. 402, 404-406  
 Толь, бар. 266  
 Толстая А.Л. 294, 296, 298, 323  
 Толстая С.А. 147, 174  
 Толстой, врач 174  
 Толстой А.Н. 9, 10, 54, 75, 95, 96, 98, 100-104, 106-108, 110, 111, 113-122, 124-126, 128, 129, 152, 154, 156, 157, 164, 283, 284, 335, 336  
 Толстой Л.Н. 81, 85, 174, 296, 328, 461  
 Томашевский Б.В. 355  
 Томчинский Л. (\*Гарбуз), з/к 366, 367  
 Торбин М.А. 382

- Травникова Т.В. 351  
Травниковы, семья 351, 352  
Трапезников Т.Г. 414, 415, 417, 421, 425, 428, 429, 433, 435, 442, 450, 459-463, 468  
\*Троцкий (Бронштейн) Л.Д. 141, 331, 332-349  
Тумаркин А.С. 313-315, 323, 324, 328  
Турганов, осведомитель 379  
Тургенева А.А. 409-412, 414, 415, 417, 419, 421-432, 434, 436-444, 447-454, 458, 459, 463, 465-469, 471  
Тухачевский М.Н. 155, 166  
Тынянов Ю.Н. 189, 233, 356, 373, 382  
\*Тэффи (Бучинская, ур. Лохвицкая) Н.А. 231, 284, 290-293, 304, 312, 314, 315, 318, 319, 323  
Тюков, сосед Буниных 300, 301
- Уайльд О. 41, 42, 225, 241, 341  
Удальцова Н.А. 395  
Уитмен У. 51  
Унгер (Unger) К. 411, 444-446, 452  
Усиевич Е. 166  
Усольцев, врач 78  
Успенский В.А. 186  
Успенский Г.И. 144  
Успенский Н.В. 190  
Устинов, журналист 172  
Устинова, жена Устинова 172-174  
Ухтомский А.А. 366
- Фадеев А.А. 141, 151, 163, 382, 390, 392, 396, 397  
Фальк Р.Р. 395  
Фарж (Farges) И. 395, 397, 400  
Федин К.А. 397  
Федорченко С.З. 195, 200  
Федотов Г.П. 275  
Фейгин А.Л. 277  
Фельштинский Ю.Г. 160  
Феничка, знакомая Буниных 288, 289, 305, 306, 310, 314, 317  
Феофилактов Н.П. 35, 85
- Фетисов, домовладелец 80  
Филиппов Б.А. 161  
Фитингоф, антроп. 410, 439, 441, 447-449, 464, 469  
Флейшман Л.С. 9, 141, 142, 166, 167, 170, 171, 237, 238, 248, 272  
Флоренский П.А. 45, 87  
Фомичев С.В. 355  
Фондаминская (ур. Гавронская) А.О. 277, 289  
Фондаминские, семья 288, 289  
Фондаминский (\*Бунаков) И.И. 275-277, 280, 284, 289  
Форсман, антроп. 434  
Фохт Б.А. 36, 37, 85  
Франк С.Л. 108  
Франс А. 194, 230  
Фрате, з/к 374  
Фрейд З. 347, 416  
Фрейденберг О.М. 226, 237, 248  
Фрейдин Ю.Л. 203  
Фридкина (Fridkin) Г. 410, 415, 423, 424, 427, 435, 447  
Фуке Ж. 346
- Хазин, з/к 364, 365, 379  
Хазин Е.Я. 351, 382  
Халатов А.Б. 163  
Харджиев Н.И. 180, 382  
Хенкин В.Я. 218  
Хенкин К.В. 210, 223  
Хенкина (ур. Нелидова) Е.А. 217-219, 223  
Хикмет Н. 394-396, 399, 400  
Хинт, з/к 365  
Хлебников В.В. 180, 182, 191, 354, 355  
Хлебников Л.М. 99  
Ховин В.Р. 347, 348  
Ходасевич В.Ф. 8, 9, 11, 15, 21, 31, 76, 84-87, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 180, 185, 199, 241, 253, 274, 289  
Хольцлейтер, антроп. 414, 449  
Хомяков А.С. 72-74  
Хрущев Н.С. 143, 388, 394, 397-404  
Хьюз Р. 9

- Цакни А.Н. 285  
 Цветаев А.И. 230  
 Цветаев И.В. 228, 230, 246  
 Цветаева А.И. 210, 228, 230, 234, 238, 244, 255, 259, 263  
 Цветаева В.И. 230  
 Цветаева (ур. Мейн) М.А. 228, 244, 246  
 Цветаева М.И. 99, 200, 208-210, 211-273, 276, 335, 340, 346  
 Цебрибов Е.И. 379  
 Цетлин В.М. 283, 303, 304, 306, 308  
 Цетлин М.О. 282-311, 318  
 Цетлина А.М. 283, 295, 297, 300, 303, 306, 308, 313  
 Цетлина (ур. Тумаркина) М.С. 282-328
- Челпанов Г.И. 254  
 Челпанова Н.Г. 251, 254  
 Червинская Л.Д. 294, 296  
 Чернов В.М. 144, 158  
 Чернова О.Е. 215  
 Чернышевский Н.Г. 144, 274-281  
 Чертков (Tchertkov) Л.Н. 212  
 Чехов А.П. 317, 402  
 Чильс, антроп. 425, 429, 431  
 Чириков Е.Н. 215, 217, 219, 335  
 Чирикова (по мужу Штитникова) Л.Е. 215, 217, 219  
 Чирская (Tschirschky) Г. фон 422, 457, 464, 469, 470  
 Чистяков И.В. 379  
 Чуковская М.Б. 189  
 Чуковская М.К. 189  
 Чуковская Е.Ц. 181
- \*Чуковский К.И. (Корнейчуков Н. В.) 69, 112, 181, 187, 188, 190, 208-210, 221, 224, 225, 238, 338  
 Чуковский Н.К. 203
- Шаблэ М. 325, 327  
 Шагинян М.С. 335, 352  
 Шагинян М.Я. 352  
 Шаламов В.Т. 378, 379  
 Шаншиашвили М. 205, 206
- Шаншиашвили С.И. 181, 205, 206  
 Шапиро И., секретарь ОСО 358  
 Шатриан А. 195, 196  
 Шатуновская Л.Я. 142  
 Шахов А.И. 200  
 Шаховской Д.А. 250  
 Шварц В., журналист 358  
 Швейцер В.А. 209, 210, 259  
 Шевченко Т.Г. 188, 355  
 Шемшурин А.А. 182  
 Шершеневич В.Г. 161
- \*Шестов (Шварцман) Л.И. 229, 250, 272, 276, 305  
 Шешуков С., критик 140  
 Шиловская С.Н. 320, 321  
 Шиваров Н.Х. 379
- \*Ширяевец (Абрамов) А.В. 159, 160  
 Шкапская М.М. 346  
 Шкловский В.Б. 178, 348, 382  
 Шмелев И.С. 294  
 Шолль (Scholl) М. 432, 435, 437, 438, 446  
 Шолохов М.А. 144  
 Шоррокс Л. 208-273  
 Шостакович Д.Д. 354, 396, 404  
 Шполянский (\*Дон Аминадо) А. П. 284, 338  
 Шпренгель, антроп. 422, 454, 469  
 Штейман З.Я. 199  
 Штейнберг А., з/к 350  
 Штейнер (ур. Сиверс) М.Я. 409, 411, 413, 418-422, 425, 434, 437, 449, 451-453, 456-460, 463, 469-471  
 Штейнер Р. 409-471  
 Штемпель Н.Е. 350, 351, 382  
 Штинде (Stinde) С. 428, 452, 460, 461, 463, 470  
 Штих А. 255  
 Штранге, семья 224  
 Штраусс (Strauss) Г. 422, 457, 464, 470  
 Шуман Р. 431  
 Шухаев В.И. 373  
 Шюрэ Э. 452, 469
- Щеголев П.Е. 351  
 Щипачев С.П. 397

Щуко, з/к, сын В.А. Щуко 374  
Щуко В.А. 374  
Щупак Н.А. 103

Эйзенпрейс, семья 449  
Эйхенбаум Б.М. 189  
Эккартштейн И. фон 435, 436,  
445, 464

Экстер А.А. 179  
Экхарт И. 425

\*Эллис (Кобылинский Л.Л.) 30,  
49, 52, 83, 409, 412, 413, 417

Энглерт (Englert) И. 417, 435, 436,  
443, 470

Эразм Роттердамский 437

Эрдман Н.Р. 350, 351

Эренбург И.Г. 115, 117, 121, 283,  
357, 363-369, 387-406

Эркман Э. 195, 196

Эрлих В.И. 148, 161, 172, 173

Эртель М.А. 30, 46, 83

Эткинд (Etkind) Е.Г. 232

Эфрон А.С. 210, 212, 214-216, 219,  
220, 229, 233, 234, 237, 238, 251-  
253, 255, 262, 269, 271, 273

Эфрон Г.С. 214, 217, 219, 220,  
222, 223, 232, 240, 242, 262, 264,  
269, 270

Эфрон И.С. 252, 254

Эфрон С.А. см. Ефрон С.А.

Эфрон С.Я. 213, 215, 219, 220,  
224, 229, 231, 234, 235, 237, 244,  
251-253, 256-259, 262, 269, 271

Эфрос А.М. 198, 200-202

Юденич Н.Н. 348

Южный Я., режиссер 218

Юнг К.Г. 347, 416

Юркун Ю.И. 186

Юрова М.Д. 355

Юсупова, кн. 94

Ягода Г.Г. 139, 151, 172

Яицких А.В. 367

Яковенко Б.В. 93, 94

Яневич Н. 143

Яновский В.С. 294, 296

Янтарев Е.Л. 93, 98

Яр-Кравченко А.И. 161

Ясенский Б. 369, 378

\*Яшин (Попов) А.Я. 391

Ященко А.С. 9, 98, 103, 117

Alvaro C. 126, 127, 129

Angermann S. 263

Aplin H. 210

Astier E. de 400

Ayres L. 241

Bacchelli R. 126, 127

Baldini A. 126, 127

Barilli B. 126, 127, 129

Barnes C. 210

Bertelli (\*Vamba) L. 106

Bianco Z. 100

Blanc E. 210

Bontempelli M. 116, 117, 126

Borgese G.A. 122, 123, 125, 126

Bridgham F. 210

Campbell T. 248

Cicognani B. 129

Collins D. 210

\*Collodi (Lorenzini) C. 129

Davidson P. 210

De Amicis E. 125

Deledda G. 107, 108

Di Verona G. 93, 97

Gillespie D. 210

Gollop M. 210

Graffy J. 210

Halgouet H. du 230

Hutchings S. 210

Johnson C. 210

Joliot-Curie F. 403

Kelsey M. 222, 225, 226

Kemball R. 260

Keys R. 210

Lavroukhin N. 212

Limbou G. 250

Lossky V. 210

Ludwig E. 221, 224

Makin M. 210

Margueritte P. 119

McVay G. 160, 161, 164, 165



Meester P. de 237  
Meyerfeld M. 225  
Miles P. 210  
Milestone L. 241  
Moretti M. 126, 127  
Morison J. 210  
Mnukhin L. 210  
Negri A. 126, 127, 129  
Nivat G. 210  
Parain B. 251, 254  
Pea E. 126, 127  
Podrecca G. 122, 123  
Provenzal D. 116, 117  
Razumovsky M. 210  
Reed B. 225  
Rostand E. 216  
Sandmeier J. 263  
Sapir B. 103  
Savoir A. 243  
Schoenberg D. 210  
Signorelli A. 103, 109, 112, 114,  
116, 118-120  
Smith G. 210, 212  
Storck J.W. 210, 255  
Storm Th. 217  
Summerville G. 241  
Tamborra A. 100, 110  
Thomann, домовладелица 424,  
425, 455-458, 466, 467  
Thyss M.-L. 210  
Tillon Ch. 400  
Trovisch, издатель 132  
Undset S. 262, 263  
Valéry P. 272  
Vanecková G. 210  
Venturi A. 110  
Wunderly-Volkart N. 255  
Wytrzens G. 210

## АННОТАЦИИ

### В о с п о м и н а н и я

**ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НИНЫ ПЕТРОВСКОЙ.** Публикация Э.Гарэтто.

Воспоминания Н.И. Петровской, одной из наиболее трагических фигур русского символизма, о становлении и развитии этого литературно-художественного течения, о рождении издательства и альманахов «Гриф», о В.Брюсове, К.Бальмонте, А.Белом и др. Вторая часть публикации состоит из писем Петровской берлинского (1922-26) и парижского (1927-28) периодов и освещает жизнь и быт эмигрантской общины «русского Берлина» эпохи его расцвета. Подробный комментарий воссоздает контекст описываемых событий. 10 + 69 + 59 с.

**И.М. Гронский. О КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ.** Публикация и примечания М.Никё.

Крупный советский функционер — бывший редактор «Известий» и «Нового мира», один из создателей Союза советских писателей — рассказывает о своих встречах и работе с Есениным, Клюевым, Орешиним, Клычковым, Васильевым. Мемуары дают представление о том, как политическая власть осуществляла «руководство литературой». Обширный комментарий восстанавливает общую картину «приручения писателей». В приложении приводится письмо П.А. Мансурова, близкого друга Есенина, о самоубийстве поэта, — дополняющее рассказ Гронского. 5 + 26 + 4 с.

### И з и с т о р и и л и т е р а т у р н о й ж и з н и

**«СЛОВО В ДВИЖЕНИИ И ДВИЖЕНИЕ В СЛОВЕ».** Письма Бенедикта Лившица. Публикация П.Нерлера и А.Парниса.

Переписка известного поэта, переводчика, мемуариста, погибшего в 1939 г., охватывает более чем 25-летний период его литературной деятельности (1911-37) и раскрывает эстетические воззрения Лившица, его профессиональные и личные взаимоотношения с целым рядом литераторов — от Бурлюка, Брюсова и Кузмина до Чуковского, Зенкевича или Тарасенкова. В примечаниях содержится богатейшая фактическая информация о художественной и литературной жизни и о деятелях этой эпохи. 31 с.

**ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К Р.Н. ЛОМОНОСОВОЙ.** Публикация Р.Дэвиса.

22 письма 1928-31 гг. к неизвестной ранее корреспондентке М.Цветаевой дают представление о тяготах ее жизни после переселения в Париж, прослеживают ее взаимоотношения с Б.Пастернаком, Д.Святополк-Мирским, К.Чуковским и др. литераторами. Примечания дают богатый материал об упоминаемых событиях и лицах. 67 с.

**ИЗ АРХИВА В.В. НАБОКОВА.** Публикация В.Аллой.

Пять писем В.В. Набокова к В.В. Рудневу и И.И. Фондаминскому касаются публикации романа «Дар» в «Современных записках» и скандала, связанного с отказом журнала печатать главу «Жизнь Чернышевского»; проливают дополнительный свет на редакционный быт и политику эмигрантской печати. Комментарий восстанавливает контекст событий. 8 с.

**НОВОЕ О БУНИНЫХ.** Публикация Н.Винокур.

26 писем И.А. и В.Н. Буниных к М.О. и М.С. Цетлиным периода 1940-47 отражают трудности военной и послевоенной жизни писателя, его взаимоотношения с Алдановым, Зуровым, Кузнецовой, Тэффи и др. литераторами эмиграции. Комментарий прослеживает историю дружбы Буниных и Цетлиных и дает фактический материал об упоминаемых лицах. 47 с.

## Л и т е р а т у р а и в л а с т ь

**Н.Н. Пунин. РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ.**

Статья крупного отечественного искусствоведа отвечает на работу Л.Троцкого «Внеоктябрьская литература», появившуюся в «Правде» сразу после указа о высылке из страны оппозиционных философов, писателей, ученых. Здесь же приводится и сама статья Троцкого. 19 с.

**П.Нерлер. «С ГУРЬБОЙ И ГУРТОМ...»** Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама.

На основе опубликованных и архивных источников, а также устных свидетельств очевидцев автор восстанавливает события последнего года жизни поэта — от возвращения из воронежской ссылки до гибели в дальневосточном пересыльном лагере. 37 с.

**ВОКРУГ МЕМУАРОВ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА.** Публикация Е.Берар.

Письма и документы, связанные с публикацией мемуаров «Люди, Годы, Жизнь» в «Новом мире» и полемикой вокруг книги. В комментариях восстанавливается картина недолгой хрущевской «оттепели» и последующего разгрома интеллигенции на «встречах с руководителями партии и правительства» в 1962-63 гг. 23 с.

**И з и с т о р и и д у х о в н ы х т е ч е н и й в Р о с с и и**

**АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ.** Публикация Дж.Мальмстада.

Вторая часть «интимной» автобиографии А.Белого охватывает период 1914-15 гг., освещая внутренние метания поэта и начало его отхода от Антропософского Общества Р.Штейнера. 63 с.

## ABSTRACTS

### Memoirs

**THE LIFE AND DEATH OF NINA PETROVSKAYA.** Edited by E.Garetto.

The memoirs of N.I. Petrovskaya, one of the most tragic figures of Russian Symbolism, are about the formation and development of this movement in literature and art, about the birth of the «Grif» publishing-house and miscellanies, about V.Bryusov, K.Bal'mont, A.Belyi and others. The second part of the publication comprises Petrovskaya's letters of her Berlin (1922-26) and Paris (1927-28) periods and illuminates the life and activities of the émigré community in «Russian Berlin» at its apogee. The detailed notes reconstruct the background to the events described. 10 + 69 + 59 pp.

**I.M. Gronsky. ON THE PEASANT WRITERS.** Edited by M.Niqueux.

A major Soviet functionary (a former editor of «Izvestiya» and «Novyi Mir» and one of the creators of the Union of Soviet Writers) recounts his meetings and work with Esenin, Klyuev, Oreshin, Klychkov and Vasil'ev. His memoirs show how the political establishment brought about its «control of literature». The extensive notes recreate the overall picture of the «taming of writers». The appendix presents a letter of Esenin's friend, P.A. Mansurov, writing about the poet's suicide and expanding Gronsky's account. 5 + 26 + 4 pp.

### From the history of literary life

**«THE WORD IN MOVEMENT AND MOVEMENT IN THE WORD».**

Letters of Benedikt Livshits. Edited by P.Nerler and A.Parnis.

The correspondence of this famous poet, translator and memoirist, who perished in 1939, covers more than 25 years of his literary activity (1911-37) and reveals Livshits' aesthetic views and his professional and personal relations with a large number of literary figures — from Burlyuk, Bryusov and Kuzmin to Chukovsky, Zenkevich and Tarasenkov. The notes contain a wealth of factual information about the artistic and literary life of that period. 31 pp.

**MARINA TSVETAeva'S LETTERS TO R.N. LOMONOSOVA.** Edited by R.Davies.

22 letters (1928-31) to this previously unknown correspondent of M.Tsvetaeva show how full of hardships her life was after she moved to Paris and trace her relations with B.Pasternak, D.Svyatopolk-Mirsky, K.Chukovsky and other literary figures. The notes provide a wealth of information on the events and people mentioned in the letters. 67 pp.

**FROM THE ARCHIVE OF V.V. NABOKOV.** Edited by V.Alloy.

Five letters from V.V. Nabokov to V.V. Rudnev and I.I. Fondaminsky concern the publication of the novel «The Gift» in «Sovremennye zapiski» and the controversy over the journal's refusal to print the chapter «The Life of Chernyshevsky». The letters shed additional light on the editorial practices and internal politics of the émigré press. The notes reconstruct the historical context of the events described. 8 pp.

**NEW MATERIAL ON THE BUNINS.** Edited by N.Vinokur.

26 letters from I.A. and V.N. Bunin to M.O. and M.S. Tsetlin written in 1940-47 reflect the writer's difficult life during and after the War and his relations with Aldanov, Zurov, Kuznetsova, Teffi and other émigré literary figures. The notes trace the history of the Bunins' friendship with the Tsetlins and give factual information about the people mentioned. 47 pp.

**L i t e r a t u r e   a n d   P o w e r**

**N.N. Punin. A REVOLUTION WITHOUT LITERATURE.**

This article by the major Russian art historian, N.N. Punin, is his answer to L.Trotsky's article «Literature Outside the October Revolution», which appeared in «Pravda» immediately after the decree ordering the exile of opposition philosophers, writers and scholars. Trotsky's article is also included in the publication. 19 pp.

**P.Nerler. «IN A GANG AND ALTOGETHER...».** A chronicle of the last year in the life of O.E. Mandel'shtam.

Using published and archival sources, and also the oral evidence of eye-witnesses the author reconstructs the events of the last year of the poet's life — from his return from exile in Voronezh to his death in a Far Eastern transit camp. 37 pp.

**ON THE MEMOIRS OF IL'YA ERENBURG.** Edited by E.Bérard.

Letters and documents connected with the publication of Erenburg's memoirs «People, Years, Life» in «Novyi Mir» and the controversy that surrounded the book's appearance. The notes reconstruct the situation during the shortlived Khrushchev «thaw» and the subsequent crushing of the intelligentsia at the «meetings with party and government leaders» in 1962-63. 23 pp.

**From the history of spiritual movements in Russia**

**ANDREI BELYI AND ANTHROPOSOPHY.** Edited by J.Malmstad.

The second part of A.Belyi's «intimate» autobiography covers the period from 1914 to 1915 and illuminates the poet's inner turmoil and the beginning of his break with R.Steiner's Anthroposophical Society. 63 pp.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Воспоминания

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ НИНЫ ПЕТРОВСКОЙ. Публикация Э.Гарэтто . . . . .	7
И.М. Гронский. О КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЯХ. Публикация М.Никё . . . . .	139

### Из истории литературной жизни

«СЛОВО В ДВИЖЕНИИ И ДВИЖЕНИЕ В СЛОВЕ». Письма Бе- недикта Лившица. Публикация П.Нерлера и А.Парниса . . . .	177
ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К Р.Н. ЛОМОНОСОВОЙ. Публикация Р.Дэвиса . . . . .	208
ИЗ АРХИВА В.В. НАБОКОВА. Публикация В.Аллоя . . . . .	274
НОВОЕ О БУНИНЫХ. Публикация Н.Винокур . . . . .	282

### Литература и власть

Н.Н. Пунин. РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . .	331
П.Нерлер. «С ГУРЬБОЙ И ГУРТОМ...». Хроника последнего года жизни О.Э. Мандельштама . . . . .	350
ВОКРУГ МЕМУАРОВ ИЛЬИ ЭРЕНБУРГА. Публикация Е.Берар . . . . .	387

### Из истории духовных течений в России

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ. Публикация Д.Мальм- стада . . . . .	409
Аппех . . . . .	473

ACHEVÉ D'IMPRIMER  
LE 18 SEPTEMBRE 1989  
PAR L'IMPRIMERIE  
DE LA MANUTENTION  
A MAYENNE  
N° 304-89